

## Георгий Хосроевич Шахназаров С вождями и без них



Вагриус; 2001  
ISBN 5-264-00460-9

### Шахназаров Георгий С вождями и без них

Георгий Шахназаров  
С вождями и без них  
Несколько слов об авторе:

Человек, который помог Горбачеву вырвать жало у дракона... Он-таки стреножил этого монстра (тоталитаризм).

(Комсомольская Правда, 11.11.1992 г.)

Георгий Шахназаров известен в России и в мире как ученый и политик, чей анализ общественных и политических тенденций всегда глубок и честен, а прогноз всегда сбывался один к одному.

(Рабочая трибуна, 5.06.1993 г.)

Он осуществил интеллектуальную операцию, которую можно назвать очищением теории от мифов.

(Новое время, No 11, 10.03.1989 г.)

Он реформатор, учитывающий интересы своей страны и окружающего мира, один из тех, кто помогал Горбачеву разрабатывать "новое мышление".

(Die Welt, No 96, 25.04.1988 г.)

Юрист, политолог, автор документально-художественных произведений, продвигающий основные реформы во внутренних и международных сферах. Шахназаров вместе с другими сформировал в значительной части политику "нового мышления" в области внешней политики, взаимной безопасности и контроля над вооружениями.

("Time")

Несколько слов о книге:

Каким был советский человек, какими были наши вожди и какие нравы царили в Кремле, в здании ЦК на Старой площади, как делалась большая политика и какова подоплека бурных событий, потрясших страну и мир во вторую половину 80-х годов.

Сочетание живых зарисовок и свидетельств очевидца с глубоким анализом - в книге известного политолога и политика, бывшего госсоветником Президента СССР, многие годы причастного к формированию международной и внутренней политики СССР.

## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

### ЧАСТЬ I. ДО ПЕРЕСТРОЙКИ.

#### СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК

На войне

В Баку. Учение

В Москве. Учение

В Политиздате

В журналах

С Андроповым

В Отделе ЦК КПСС

С Ярузельским, Фиделем Кастро, Гусаком, Хонеккером

Дома

В науке

С Брежневым

В МКД

С Горбачевым

### ЧАСТЬ II. В ПЕРЕСТРОЙКЕ.

#### ЦЕНА СВОБОДЫ

На подступах

Гласность

Сотворение парламента

Укрощение Молоха

Президентские метания

Соперники

В тисках

Ново-Огарево

Несгибаемая

Заговор

Последняя попытка

Финал

Рок событий

С высоты истории

### ЧАСТЬ III. ПОСЛЕ ПЕРЕСТРОЙКИ

В Фонде

Истоки и итоги

Роковое расставание с прошлым,

или Pastshok

Стихотворное приложение

Моим внукам

в порядке передачи опыта

## ПРЕДИСЛОВИЕ

В свое время нашумела пьеса Назыма Хикмета "А был ли Иван Иванович?". Ее запрещали, обзывали переделкой, потом все-таки выпустили на сцену. В наше время

социологи и философы задаются в некотором роде глобальным вопросом: "А был ли советский человек?" Если был, то кем: неутомимым тружеником и непобедимым воином, рыцарем без страха и упрека, беззаветно преданным идее коммунизма и видящим цель жизни в том, чтобы "землю в Гренаде крестьянам отдать", осчастливить человечество? Или безгласным, покорным винтиком государственной машины, гнувшим спину из-под палки, вечно озабоченным тем, как свести концы с концами и ухватить что можно в царстве тотального дефицита, затюканным партийными боссами и запуганным бдительными стражниками системы? Словом, гомо советикус или совок, как презрительно кличут его новообращенные литераторы. Заслуживают зваться им только такие, как Чкалов, Стаханов, Маресьев, Королев, Гагарин, или эта характеристика приложима ко всей человеческой массе, населявшей Страну Советов? Что за уникальные качества составляют квинтэссенцию этого понятия, в какой пропорции сочеталась "советскость" с "русскостью" и другими передаваемыми по наследству чертами национального сознания? Наконец, самый существенный вопрос: как долго сохранится "советский менталитет" в людской массе, проживающей в независимых государствах на постсоветском пространстве, имеют ли шанс какие-то отдельные его черты укорениться в генетическом коде и очнуться, обнаружить себя где-то в грядущих поколениях?

Могут сказать, что все это представляет теперь сугубо исторический, если не археологический интерес, как, скажем, изучение питекантропа, неандертальца, человека античности, Средних веков, Нового времени. Но это не так. Все названные и иные виды или типы человеческого сознания, составлявшие до сих пор предмет антропологии, формировались естественным путем, хотя, конечно, с каждым витком развития цивилизации умножались попытки искусственно совершенствовать человеческую природу. Аскетизм спартанца, доблесть римлянина, бережливость немецкого бюргера, патриотизм русского крестьянина вырастали не из одной традиции, становясь (притом со временем - во все большей мере) результатом кумулятивного воздействия церкви и государства, опекаемой ими школы. В наше время повсюду существует огромная воспитательная индустрия. Выполняя государственный и социальный заказ, средства массовой информации методически внедряют в умы определенную систему ценностей, из которой складывается национальный менталитет.

И все же нигде и никогда не предпринималось такой массивной, целенаправленной попытки в короткие исторические сроки перенастроить национальную идеологию и психологию на принципиально иную волну. В какой мере она удалась, в какой нет, и почему именно - ответы на эти вопросы позволят более уверенно судить, решается ли в принципе подобная задача, и если да, то нужно ли за нее браться, и если нужно, то как к ней подступиться. А ведь это ключевое звено всех проектов, основанных на идее улучшения человеческой природы как условия создания более разумного и справедливого общественного строя. И не только утопических. К примеру, одна из самых насущных проблем современности - распространение в глобальном масштабе экологического сознания, воспитание человека, живущего в гармонии с матушкой-природой.

Бессмысленная мода отрицания всего советского, похоже, приближается к концу, и можно надеяться, что социологи вернутся к теме "советского человека". А один из ее аспектов - отношения между руководителями и подчиненными. Здесь существует огромный запас эмпирических данных, есть потребность их классифицировать, вынести общие оценки. Мне же пришла в голову мысль предложить в качестве подсобного материала собственный опыт, рассказав о своих начальниках, о том, как складывались наши отношения, какие эпизоды отложились в памяти, что можно отсюда извлечь для темы о советском человеке.

В первую очередь - из разряда элиты, к которой принадлежало большинство моих шефов. И не просто элиты, а самого-самого ее верха. Вообще я делю людей на две категории - исторических и неисторических. Не по их человеческому измерению, а по их судьбе. Скажем, бездарному Черненко, правившему страной чуть больше года, как и царственному узнику Иоанну V, отстраненному в младенчестве от престола, обоим достанется как

минимум одна строка в истории России. С этой точки зрения они принадлежат к первой категории. Ко второй относятся не обязательно люди малозначимые, но и многие из тех, кто оставил после себя кое-какой след. Однако история все же может без них обойтись. Разве что их имена будут упомянуты в каких-нибудь специальных исследованиях. В учебниках им места не найдется\*.

Соответственно и отношение к мемуарам. В принципе жизнь каждого - это роман, если за ее описание берется мастер слова. Но то, что пишет сам о себе "неисторический человек", представляет интерес для узкого круга знавших его, для его профессиональной среды. Сознывая себя именно таким, я бы не стал браться за перо для своего жизнеописания, если бы не одно обстоятельство: судьба свела меня с "людьми историческими", с теми, кого можно назвать "вождями", да и многими, близко к ним стоявшими.

Представляю:

Командующий артиллерией 2-й гвардейской армии генерал-майор Стрельбицкий.

Директора Госполитиздата Сергей Митрофанович Ковалев и Михаил Алексеевич Сиволобов.

Главный редактор журнала "Политическое самообразование" Анатолий Григорьевич Егоров.

Главные редакторы журнала "Проблемы мира и социализма" Алексей Матвеевич Румянцев и Константин Иванович Зародов.

Заведующие Отделом ЦК КПСС, секретари ЦК КПСС Константин Федорович Катушев, Константин Викторович Русаков, Вадим Андреевич Медведев.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов.

Генеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев.

Лидеры союзных государств - Войцех Ярузельский, Фидель Кастро, Густав Гусак, Эрих Хонеккер.

Я не собираюсь писать их полновесные биографии - разве что штрихи к портретам. Причем из одного источника - опыта непосредственного общения с ними. То, о чем здесь будет рассказано, не столь уж важно для Большой Истории, но мало кому еще известно, если вообще не мне одному. Однажды Луначарский, выступая с лекцией, сослался на какие-то слова Ленина. Знаток ленинских текстов выкрикнул из зала: "Ленин этого не говорил!" "Вам не говорил, парировал нарком, - а мне говорил".

Часть I

До перестройки. Советский человек

На войне

Моя "военная карьера" началась до войны. Летом 1940 года в нашей 4-й средней школе г. Баку, расположенной в солидном здании бывшего Армянского человеколюбивого общества, появился симпатичный капитан-лейтенант в безукоризненно отглаженной морской форме с кортиком на бедре. Он ходил в сопровождении завуча по классам, рассказывая о дальних плаваниях русских моряков Крузенштерна и Лисянского, победах флотоводцев при Гангуте и Чесме, героях обороны Севастополя - Нахимове и Корнилове, о боевых традициях Каспийской флотилии, и зазывал в только что учрежденную Бакинскую военно-морскую спецшколу. Я и раньше бредил морем, повторяя читанные вслух отцом гумилевские стихи:

На полярных морях и на южных,

По изгибам зеленых зыбей,

Меж базальтовых скал и жемчужных

Шелестят паруса кораблей.

Быстрокрылых ведут капитаны,

Открыватели новых земель,

Для кого не страшны ураганы,

Кто изведаль мальстремы и мель.

Словом, я соблазнился. Посоветовался с родителями, они не были в восторге, но и не возражали. Уже через неделю я щеголял в полной военно-морской форме тельняшка, бескозырка, пояс с бляхой, годящийся при случае и для драк, брюки клеш. Мне и моим новым соученикам нравилось отдавать честь, переходя на строевой шаг. Поприветствуешь лихо офицера, бежишь параллельной улицей до перекрестка, и опять можно козырнуть. На занятиях по морскому делу учились вязать узлы, различать типы военных кораблей в советском и иностранных флотах, постигали азы навигации. В остальном школа как школа, те же предметы, что и в общеобразовательной, только с более сильными преподавателями - их отбирали по всему городу.

И конечно, казарменный быт. Тешила возможность отпартовать о выполнении приказа, щелкнув каблуками. Пройтись строем, распевая во все горло "Катюшу" или, не поверите, марш из "Аиды" на сочиненные кем-то слова. Увлекали прогулки на шлюпках: "Весла на воду! Суши весла!" Нравилась вкусная еда. Кормили на славу, по воскресеньям даже угощали пирожными.

Я стал привыкать к военной службе и вполне возможно был бы сейчас отставным капитаном какого-нибудь ранга, если б не обрушившиеся на спецшколу неприятности. Свирепый служака старшина - а старшины, как я позже убедился, почти всегда такие, - загонял нас строевой подготовкой, несколько курсантов заболели, их отчислили, родители подняли шум, начальству Каспийского военно-морского училища, при котором была наша школа, еле удалось замять скандал.

А за ним другой, похлеще. Нам рассказывали, что Каспийское море опасно внезапно налетающими шквалами. Небо ясное, солнце палит, ничто не предвещает беды. Вдруг появится малюсенькое облачко, которое насторожит только сверхопытного морского волка, стремительно разрастется, хлынет жуткий ливень, сопровождаемый порывами ветра, - держись! Так и случилось однажды, когда мы на нескольких шлюпках вышли в море. Командир этой "экспедиции" на какие-то минуты запоздал с приказом поворачивать к берегу, две шлюпки опрокинулись, несколько человек утонули. Приезжала комиссия из Москвы, завели уголовное дело. Не знаю, чем оно закончилось, но репутация школы в городе была подорвана.

О нападении Германии на СССР мы узнали в летнем лагере у моря. Приняли его без всякого беспокойства, даже с энтузиазмом: "Ну, теперь наши зададут перца фашистам!" Не могли еще понять, что такое война, не видели крови, да и первые похоронки стали приходить в Баку не сразу. Представление о непобедимой Красной Армии черпали из кинофильмов, вроде "Если завтра война", песен - "Броня крепка и танки наши быстры". Счастливое неведение длилось недолго - отрезвляли вести о стремительном продвижении немцев, падении Минска и других городов. Все равно в конечной победе не сомневались. Свидетельствую: и в самое тяжелое для страны время верил в нее, как миллионы соотечественников. Без такой веры ее бы и не видать.

Школьные неприятности не лишили меня желания стать моряком. Но подвело "свободомыслие" - написал эпиграммы на держиморду-старшину и командира роты. Стишки, лежавшие в тумбочке, кто-то обнаружил и донес начальству. Меня вызвали, крепко отчитали, и я полагал, что на том наказание исчерпано, но недооценил мстительности флотских командиров. По окончании 9-го класса полагался медосмотр. Неожиданно меня приглашают, чтобы сообщить об отчислении из-за конъюнктивита. Смехотворное объяснение. Пришлось, однако, смириться, жаловаться в инстанции гордость не позволяла. Да и себе дороже. Ну, обяжут оставить, так тот же старшина в отместку три шкуры с меня сдерет.

Отучившись выпускной класс в 7-й бакинской школе, я почти сразу был мобилизован и направлен в Тбилисское артиллерийское училище. Расположено оно было на бродвее грузинской столицы - Плехановке. Здесь пригодился опыт спецшколы. В то время как мои товарищи должны были осваивать казарменный быт, маялись на строевой подготовке, допускали непозволительную оплошность, осмеливаясь перечить старшине, я чувствовал

себя ветераном. Один раз таки сорвался, надерзил, за что был отправлен на двое суток на гауптвахту. Однако же нет худа без добра: после губы полагалось отбыть еще наряд вне очереди на кухне, чистить картошку, мыть котлы - и шанс досыта поесть. Кормили нас в училище не ахти как, почти все время ходили полуголодными, подбирали жмыхи, ели семечки с кожурой, которые можно было купить у мальчишек через решетчатую изгородь. Получив на денек увольнительную, шли на рынок, там торговцы привечали юных солдат, угощали пури (кукурузная лепешка), персиками, сочными помидорами. Однажды мне повезло: послали стоять в карауле в доме, где лежал потерявший обе ноги адмирал флота Исаков. Его мы не видели, а вот на кухне добросердечный повар дал каждому по кастрюле пшенной каши.

С большой охотой ходил я на занятия по верховой езде - видно, память в генах от кавалеристов-предков. Правда, не слишком преуспел. Мне досталась "прикусочная", то есть с отдышкой, лошадь по кличке Иматра. Норов у нее был странный, капризный: то упрется, никакими шпорами с места не сдвинешь, то вдруг понесется, хорошо хоть не галопом. Я все время попадал с ней впросак, когда мы выезжали на учения в Сабуртало, отставал или выскакивал из строя, за что, естественно, получал нагоняй.

При всей моей спецшкольской закалке поначалу было нелегко привыкать к маршам: поднимут ночью и с полной выкладкой тридцать километров. Безжалостно гонял не только старшина - ему вроде положено, - но и командир роты старший лейтенант Стороженко. Мы горели жаждой отмщения и на полном серьезе обсуждали, как его избить после окончания училища. Потом только посмеялись. Да и выпуск прошел не совсем обычно. В февральский день построили курсантов по сигналу, начальник училища объявил, что действующая армия нуждается в пополнении подготовленными офицерами-артиллеристами, нам осталось до завершения учебы два месяца, добровольцам сразу будет присвоено звание "младший лейтенант".

- Кто хочет на фронт, шаг вперед! - заключил генерал.

На глазок, вызвались воевать девять десятых. Им приказано было разойтись и продолжать занятия, а оставшихся на месте действительно отправили на фронт, причем в звании старших сержантов. Оказывается, срочно понадобились командиры орудий, и наш начальник исполнил "заказ" таким своеобразным способом.

Учились мы прилежно, свежие знания (только-только со школьной скамьи!) позволяли быстро осваивать нехитрые воинские науки на "лейтенантском уровне". В школе я отличался склонностью к математике, геометрии, тригонометрии, научился готовить данные для стрельбы с помощью логарифмов в считанные секунды. Как-то начальство устроило соревнование, осталось довольно нашими успехами и наградило всю роту увольнительной в город. Гордились мы недолго. Кто-то разузнал, что истинной причиной необычного поощрения послужил приезд жены командующего артиллерией Воронова. Ее сын был в нашей роте, вот и нашли достойный предлог, чтобы он побыл с матерью. На другой день училище выстроили на плацу, она обратилась к нам с напутствием. Хотя мы и не склонны были к критицизму, многих покорила эта подмена маршала маршалшей.

Наконец сданы последние экзамены, за редкими исключениями, всем присвоено звание "младшего лейтенанта", выдано новое обмундирование, и мы отправлены на фронт. Кто-то сумел позвонить домой, и в Баку на железнодорожной станции эшелон встречали родители. Мама сунула мне банку с солью. Не хотел брать, но она настояла: "Там, где вы будете проезжать, соль на вес золота". Действительно, ехали мы недели три, часто простаивали на полустанках, кормились неважно, а вынесешь мешочек соли - тебе взамен каравай хлеба, сало, арбуз.

В конце апреля 1943 года я и двое моих товарищей-бакинцев прибыли к месту назначения - в штаб тогда еще Южного, позднее переименованного в 4-й Украинский, фронта. Оттуда нас направили в распоряжение 2-й гвардейской армии, штаб которой размещался в большом селе, недалеко от реки Миус. Через две недели на этом участке разгорятся ожесточенные бои. Из-за неудачного маневра группировка наших войск окажется

в полуокружении в так называемой Крутой балке, прозванной "балкой смерти". Но пока - затишье, лишь изредка звучат хлопки минометных выстрелов да в небе покружится немецкий разведывательный самолет "Рама".

По-летнему тепло. Мы сидим чуть в сторонке от входа в большой дом, служивший, вероятно, сельским клубом. Поглядываем на спящих взад-вперед штабников и с высоты свежеприобретенных военных знаний осуждаем выбор столь заметного для вражеской авиации места расположения штаба. Не сказывается ли некая потеря бдительности после грандиозного разгрома немцев под Сталинградом? Вообще-то, надо полагать, сейчас мы будем гнать их до самой границы, вопрос только, где будет направление главного удара. Здесь точки зрения разошлись. Нас позвали в дом. Еще раз оправив гимнастерки, мы не без трепета последовали за адъютантом, предстали пред генеральскими очами и бойко отрапортовали о "прибытии в ваше распоряжение".

Генерал кивнул, жестом велел сесть, стал просматривать поданную ему сопроводилку.

- Так, Быков, Энгель, Шахназаров... Все трое из Баку... Тбилисское училище... Так это же горная артиллерия. Значит, вы лошадики?

Кто-то из нас подтвердил, что обучены и верховой езде, тактике артиллерийского боя в горных условиях. Генерал усмехнулся:

- Ну, вам едва ли пригодятся эти знания, у нас все орудия на механической тяге... Готовить данные для стрельбы умеете? - спросил он. Когда мы дружно, в один голос, заявили, что да, умеем, сказал: - В таком случае проверять не буду, устрою вам другой экзамен. Берите бумагу, карандаши, - кивнул он на большой стол, примыкавший к письменному, - пишите сочинение по литературе.

- Как?! - ахнули мы.

- Да вот так. Писали же на выпускном экзамене, вот и повторите. Или что-нибудь новенькое придумайте. Даю полчаса. - Он погрузился в чтение бумаг.

Не помню уж, что писали мои товарищи, один, кажется, про образ Евгения Онегина. А я, не раздумывая, повторил слово в слово свою поэму о войне, написанную "под Маяковского" на выпускном экзамене. Стишки, разумеется, были так себе, но ведь из-под пера десятиклассника да с патристическим пафосом. Их зачитали даже по радио как лучшее выпускное сочинение.

Сдали мы свои листки. Стрельбицкий почитал, подумал, потом встал из-за стола, подошел ко мне. Я вытянулся, он похлопал по плечу, усадил. Спросил:

- Пойдешь ко мне адъютантом?

- Нет, - сказал я. - Спасибо за честь, товарищ генерал, но я ведь воевать приехал. - У меня хватило сообразительности удержать чуть было не сорвавшиеся с языка слова: "а не в штабах околачиваться".

- По-твоему, адъютанты не воюют? - спросил улыбаясь генерал. - А в общем, ты прав. Покрутись на передовой, наберись ума, опыта, там видно будет. Даю тебе назначение в самую отборную нашу часть.

Так я стал командиром огневого взвода 1095-го пушечно-артиллерийского полка, преобразованного потом в 150-ю армейскую артиллерийскую орденов Суворова и Кутузова бригаду. С нею прошел до Днепра, форсировал Перекоп, брал Севастополь. Потом нас перебросили на 3-й Белорусский. Бригада участвовала в освобождении Минска, а в составе 1-го Прибалтийского - в освобождении Литвы, взятии Кенигсберга. Два года, день в день, на фронте. После огневого взвода командовал взводом управления, был начальником разведки дивизиона, закончил командиром батареи. В таком качестве пришлось бывать в боевых порядках пехоты. На войне как на войне, не обошлось без ранений. Но бог миловал.

Тогда я догадывался, а теперь уже не сомневаюсь, что генерал Стрельбицкий, усмотрев в 18-летнем младшем лейтенанте поэтические задатки, сделал что мог, чтобы поберечь его. Хотя быть убитым в этой мясорубке можно было где угодно, даже в штабе за три десятка километров от фронта (там, кстати, получил тяжелое ранение один из нашей тройки,

ставший тогда адъютантом). Все же воевать в тяжелой армейской артиллерии калибра 152 мм было безопаснее, чем в полковых батареях 76-миллиметровых пушечек, не говоря уж о противотанковых сорокапятках, которые называли "смерть наводчику": не попадешь первым выстрелом в танк или "фердинанда" (немецкое самоходное орудие), тебе каюк.

Не ручаюсь, что в памяти отложился точный облик Стрельбицкого. Но мне сейчас он видится высоким и красивым, с открытым мужественным лицом, большими серыми глазами, волнистой шевелюрой, в мундире, увешанном орденами и медалями. Не могло быть у него тогда много наград, не настало еще время, когда они золотым дождем посыпались на генеральские, офицерские и солдатские груди. Все равно он вспоминается мне таким, как на парадном портрете - бравым советским военачальником.

В качестве существенного дополнения расскажу о двух эпизодах своих отношений с другими начальниками, рангом пониже. Когда мы сидели у Перекопа, ожидая сигнала к наступлению, командиром нашего дивизиона был майор Тищенко, до войны учительствовавший где-то на Украине. Был он заядлым шахматистом; разувшись, что я тоже увлекаюсь игрой "в сто забот", стал приглашать с ним сразиться. Происходило это своеобразно. Где-нибудь под вечер, часов в семь-восемь, с командного пункта дивизиона поступал приказ командиру огневого взвода Шахназарову срочно явиться в дивизион. Я хватал в охапку планшет, проверял, на месте ли пистолет, в крошечной тьме, полуболотистой местностью, где на каждом шагу можно было попасть под трассирующую пулю, мчался по вызову. Прибегаю, руку к козырьку, докладываю: "Товарищ майор, по вашему приказанию прибыл". Майор кивком указывает на место за топчаном, на котором уже расставлены шахматные фигурки. Играл он похуже, постоянно проигрывал и злился. А я, также обозленный, старался не дать ни малейшего шанса одержать верх. Где-то под утро, часикам к пяти, он наконец отпускал меня, и, проделав обратный путь, валясь от усталости, я забывался тревожным сном.

Но самое скверное было впереди. Едва всходило солнце, майор появлялся на батарее, как всегда аккуратно одетый, подтянутый, с лихо подкрученными усами, приказывал выстроить взвод, а сам ходил от орудия к орудью, придирчиво осматривая каждую деталь. Стоило ему обнаружить пылинку где-нибудь на затворе или даже на стволе, как тут же перед строем начинал распекать командира взвода, и эта экзекуция продолжалась не две-три минуты, а час-полтора. Ровным, нудным, назидательным тоном (вероятно, так он вколачивал свой предмет в умы школяров) говорил, что идет кровавая война, несмотря на блистательные победы Советской Армии, противник еще силен, необходимо сохранять бдительность, не допускать паникерства, разгильдяйства и ротозейства, свято беречь воинскую честь, держать в чистоте и сохранности боевую технику, которой снабжает наши доблестные войска героический тыл, и так далее.

Стоишь по стойке "смирно", слышишь этот поток назиданий, голова начинает кружиться, держишься ценой невероятных усилий. А майор, отомстив таким образом за поражение, отбывает восвояси, чтобы вечером как ни в чем не бывало вновь вызвать к себе нерадивого младшего лейтенанта. Батарейцы, бывшие в курсе всей этой процедуры, советовали проиграть ему раз-два: "Ну, уступи ты этому мерзавцу, себе ведь дороже!" Я и сам склонялся капитулировать. Но как протопаешь два километра, проклиная все на свете, кровь взывает, и жаждешь отмщения. Плевать, что будет завтра, сейчас я его заматую!

Майора Тищенко куда-то перевели. Спустя год, уже в Прибалтике, я встретил его случайно в солдатских погонах. Не знаю, за что его разжаловали. Шевельнулось было в душе злорадное чувство, да погасло. Те ночные броски оказались не без пользы для выносливости.

Еще один мой начальник, Бородин, тоже командир дивизиона и тоже майор, но совсем другого склада. Балагур, любитель выпить и потаскаться за связистками. Человек не то чтобы храбрый, а бесшабашный. В Восточной Пруссии, где временами отсутствовала ясно обозначенная линия фронта, немцы отрывались и уходили на десятки километров, чтобы устроить где-нибудь в подходящем месте засаду и встретить наших убийственным огнем, комдив на полуторке лихо объезжал пехоту, рвался вперед в надежде отличиться, а заодно



прихватить в каком-нибудь пригородном домике брошенное хозяевами добротное тряпье, до которого был чрезвычайно падок.

Ко мне благоволил, выражая это своеобразно. Держал он штаб в небольшом городке - не то Норденбурге, не то Бартенштайне, не помню. Приехал я к нему докладываться после рейда, на мне длинное кожаное пальто, раздобытое где-то в брошенном на разграбление магазине моим ординарцем Мурзой. Хорошее пальто, я им ужасно гордился. Посмотрел на меня комдив и говорит:

- Ты вообще парень ничего, но ростом не вышел, пальто это висит на тебе, как балахон. Уродуешь себя. Дай-ка я примерю. - Надел, повертелся и заключил: - Поношу несколько дней, отдам. - Черта лысого, так до сих пор и отдает.

Матерщинник был отменный. У него это был своего рода диалект, чуть ли не каждое второе слово сопровождалось красочным эпитетом. Представляю, каких усилий стоило ему общаться с начальниками, если только те не разговаривали на том же языке, что случалось. Из-за этой речевой особенности нелегко было понять, когда майор ругается, когда по-дружески беседует. Но раз, уж очень на меня рассерчив, покрыл десятиэтажным без просветов - тут ошибиться было невозможно. Уловив на моем лице выражение обиды, обезоруживающе сказал:

- Ты не обижайся, я из беспризорных, хулиганом рос. Лучше я тебя обложу, чем рапорт стану писать. Это не по мне. Мы между собой сами разберемся.

Он меня произвел в начальника разведки, а когда тяжело ранили комбата, позвонил:

- Принимай батарею.

Случилось несколько дней передышки. Немцы заняли укрепленные позиции на подходе к Кенигсбергу, наше командование подтягивало резервы для последнего рывка. Моя батарея стояла в помещицкой усадьбе. В фольварке нашли старинную карету, в конюшне - лошадей. Мурза опоясался красным кушаком, мне притащил цилиндр, обрядились и мои офицеры. Едем, а навстречу майор на джипе. Замедлил ход и показывает две растопыренные ладони - десять суток ареста. Тогда это означало, что у тебя за эти дни вычтут из "денежного довольствия" не то 25, не то 50 процентов.

Знаешь о человеке многое и разное, "нравится - не нравится", а вот запечатлевается он в твоей "портретной галерее" по какому-то одному эпизоду, может быть, и не самому впечатляющему. Мы с майором ехали в его машине, когда пересекли границу Восточной Пруссии. Двигались медленно, впереди шла пехота, не объехать. Издалека увиделось: метрах в ста впереди колонна приостанавливается на миг, все поворачивают головы вправо. Вот и наша очередь. На обочине лежит обнаженная мертвая женщина. Если кто-то из наших решил, вступив на вражью землю, отомстить за мать, жену, дочь, - это был единственный случай на моих глазах. Вероятно, случались и другие, чего не бывает, когда наступает миллионная армия, да еще с живой памятью о зверствах, которые творили у нас фашисты. Да вот лично я нигде больше от границы до Пиллау (ныне Балтийск) такого не видел.

Майор снял с себя плащ-палатку, дал приказ водителю:

- Ступай прикрой.

Не бог весть какое человеколюбие, и все же, как говорил Твардовский, и все же...

В другой раз майор возвысился в моих глазах при романтических обстоятельствах. В Кенигсберге наша бригада простояла с неделю, делать было нечего, батарейцы отсыпались и "отъедались". Остатки супа и каши повар щедро раздавал толкавшимся вокруг полевой кухни ребятишкам. Ходили по цехам расположенного рядом завода электрического оборудования. Дивились красоте чудом уцелевших зданий - на одном из них уже была приколочена памятная доска в честь Иммануила Канта. Заводили знакомства с вылезавшими из подвалов оголодавшими женщинами. "Ночь любви" стоила банку-другую американской тушенки.

Неподалеку предприимчивые немки устроили парикмахерскую - раздобыли в развалинах побитые трельяжи, столики, стулья - чего еще надо, от посетителей не было отбоя. Со слов своего ординарца я узнал о такой сцене. Наш майор брился, когда

ввалившийся в комнатенку подвыпивший пехотный лейтенант плюхнулся на свободное место и знаками велел юной парикмахерше снять с него сапоги, сделать педикюр. Та безропотно повиновалась, начала обмывать ему ноги, а он матюгался и время от времени тыкал ступней ей в лицо. То ли нашего командира пробрал запах грязных портянок, то ли в нем разыгрался рыцарский дух, он вскочил и гаркнул на пехотинца:

- Встать!

Тот не сразу понял, чего к нему пристают, тяжело поднялся, став на пол босыми ногами.

- Извинитесь перед женщиной! - приказал майор. Лейтенант, вынужденный подчиниться старшему по званию, что-то буркнул себе под нос, схватил сапоги с портянками и вылетел наружу. Оскорбленная девица затараторила на своем языке надо полагать, благодарила нашего джентльмена за заступничество, - а он пересел к ней добриваться.

На другой день, встретив комдива, я спросил:

- Идут слухи, товарищ майор, что вы вчера проучили пехоту.

- Не выношу хамов. Пришлось врезать, - ответил он самодовольно. Подмигнул и добавил, смачно хохотнув: - А девица-то оказалась на большой палец.

Что, кроме хорошего, могу я сказать о других своих начальниках военного времени - капитанах Алипове, Гладкове, Веприке, с которым изредка встречаюсь до сих пор. Были они немного старше меня, учили уму-разуму, опекали, раза два выручали. Один был на гражданке недоучившимся студентом, другой - завучем, третий - геологом. Куда прикажете их отнести - к советским людям или к русским интеллигентам?

Ну а те, кому я был начальником? Их ведь у меня, 19-летнего, было около 80 человек. Среди них два-три моих ровесника, остальные постарше, некоторым уже за сорок. По национальному составу моя батарея могла служить своего рода миниатюрной моделью нашей многоликой, многоязычной страны. Но ее основной костяк, наряду с русскими, составляли татары и башкиры, поскольку бригада изначально формировалась где-то в Западной Сибири. Однако никакого кучкования по национальным общинам не было, жили одной большой семьей. Да и как иначе среди людей, над которыми изо дня в день нависала общая смертельная опасность, жизнь которых в любой момент могла оказаться в прямой зависимости от товарищей - их сметки, расторопности, готовности прийти на выручку.

Впрочем, еще принимая под командование взвод, я получил от бригадного политрука наставление: постоянно сохранять смешанный состав оружейных расчетов. Это диктовалось не одними "интернационалистскими" соображениями. Стрельба из тяжелых орудий требует не только знания, как прицелиться да спустить курок, но известного уровня культуры. Среди русских солдат были городские жители, несколько москвичей с 10-летним образованием, а татары в моей батарее вербовались главным образом в сельской местности. Так что им поначалу пришлось идти в обучение.

Командирами орудий у меня были два сержанта - Семенычев и Козин. Первый уже "старик" - за тридцать, второй - моего возраста, только что из школы. Оба с характером. Семенычев был на гражданке слесарем. Неглупый, волевой, жесткий человек, державший свое маленькое подразделение в строгом подчинении, может быть даже чуть склонный к тиранству. Козин - полная противоположность: разбитной парень, веселый, общительный, любитель побалагурить, но при всем при том ревностно соблюдавший повеления военного устава. Они еще до моего появления на батарее соперничали, каждый лез из кожи вон, стараясь переплюнуть другого по содержанию в чистоте своего орудия, боевой подготовке расчета и уж тем более по меткости стрельбы. С Козиным я быстро нашел общий язык. Семенычев, хотя и подчинялся как положено, не мог скрыть неприязни, думал, должно быть, примерно так: прислали в начальники зеленого юнца да к тому же "нацмена". После нескольких боев мы притерлись друг к другу. Правда, он зауважал меня не столько за командирские качества, сколько за эрудицию. Человек он был любознательный, спросить больше было не у кого, а я все-таки был начитан, рос в интеллигентной семье, так что в его глазах казался всезнайкой.

Особенно симпатизировал я младшему сержанту Красногиру - славному юноше из Белоруссии, светловолосому, с розовыми щеками и ясными голубыми глазами. Мы с ним нередко беседовали "за жизнь", он делился планами: после войны решил идти учиться в консерваторию, неплохо играл на гитаре и пел. Просился в разведчики. Став начальником разведки дивизиона, я взял его к себе. Был он храбрецом, но с расчетом: зря пуле не подставлялся. А вот погиб нелепо. Пройдя уже всю родную Беларусь, где-то на позиции надумал почистить заряженный автомат, видимо, задел курок и прошел себя очередью. Не могу передать, как мы горевали, его любила вся батарея.

Таким же общим любимцем был ординарец Мурза. Тоже храбрец, но, в отличие от Красногира, бесшабашный. Казалось, от природы был лишен инстинкта самосохранения. Однажды выкинул такой номер. Я был на наблюдательном пункте у командира пехотного полка, мы с ним о чем-то толковали, сидя в окопе. Вдруг прибегают, зовут. Передовая проходила через бахчу, Мурза под перекрестным огнем полез за арбузом. И ведь не задело, словно заговоренный. Я сильно его отругал, но арбуз мы все-таки с полковником отведали.

Раз уж зашла речь о храбрости, скажу, как сам я чувствовал себя на войне. В книгах, кинофильмах старых вояк спрашивают, было ли им страшно. Они, как правило, отвечают, что да, было, соль не в том, чтобы не бояться, а в том, чтобы иметь мужество подавить страх. Может быть, у многих это так. Я же принадлежу к тем, у кого страх и бесстрашие чередуются.

Я уже упоминал о Крутой балке, в которой мне пришлось принять боевое крещение. Заключив нашу сравнительно небольшую группировку в кольцо, немцы начали методически уничтожать угодивших в капкан. Минометный и артиллерийский обстрелы не прекращались ни на минуту в течение нескольких дней и ночей. Особенно тяжело переносились налеты бомбардировщиков. Чудовищный грохот, разрывы, даже если они где-то в 100-200 метрах от тебя, кажутся буквально рядом. От панического ужаса я чуть не потерял сознание, сидел в ровике, согнувшись в три погибели, минут пятнадцать-двадцать, пока длился этот ад. Потом опомнился, невероятным усилием воли заставил себя выглянуть. Пушки чудом уцелели, расчеты тоже укрылись в ровиках. Пронесло!

В тот же день, однако, судьба подкинула еще одно испытание. Ближе к вечеру на батарею пожаловал командир дивизиона, остался доволен тем, что для нас все обошлось без потерь, потом сказал, что хочет переместить мои орудия примерно на полтора-два километра. Там пехотные ряды сильно поредели, если противник сунется - встретим прямой наводкой. Он привел меня на выбранную позицию, показал, как поставить пушки, и велел возвращаться на свою огневую, ждать приказа. Беда, однако, в том, что шли мы не по дороге, а тропками по сильно пересеченной местности - овражки, холмы, рощицы. Я заблудился и вышел прямо на заградотряд.

У меня были кое-какие представления о том, что это такое. Созданные для борьбы с дезертирами и перебежчиками, заградотряды сыграли свою роль в тяжелую для нас пору отступлений. Не знаю, сохранились ли они на заключительном, победном этапе военных действий. Рассказывали, что туда отбирают людей беспощадных и жестоких, у которых не дрогнет рука покарать труса и предателя. Насколько это так, мне предстояло теперь испытать на собственной шкуре. Их было двое - старший лейтенант и старшина, офицер был изрядно пьян. Не вступая в расспросы, он кричал, что я решил податься к немцам, позорю гордое звание советского человека. Особенно врезались в память слова: "Двойной позор тебе, гордому сыну Кавказа!" Начал поднимать автомат, но стоявший рядом старшина придержал его рукой и сказал:

- погоди, старшой, пусть объяснит, куда шел.

Я сказал, что ходил на рекогносцировку, заблудился.

- Врешь! - заорал старший лейтенант. - Я тебя сейчас пристрелю как собаку!

Но старшина не уступал.

- Может, он правду говорит, потом, посмотри, совсем мальчишка. Отпусти его, не бери грех на душу.

Тот, однако, не унимался, продолжал кричать:

- Пусти, я его сейчас!..

Старшина крикнул:

- Иди, не бойся!

Я повернулся и пошел. До поворота дороги, где можно было укрыться за деревьями, метров двадцать. Прошагал половину этого расстояния и слышу сзади звук взведенного курка. Тогда я обернулся, ни живой ни мертвый и выдавил из себя:

- Стреляешь, стреляй в грудь, не в спину.

Старшина опять с силой пригнул руку своего начальника книзу и закричал:

- Уходи, тебе говорят!

Я повернулся, прошагал оставшиеся несколько метров и, очутившись под спасительным прикрытием леса, задал такого стрелка, что чуть не перемахнул всю Крутую балку до другого заград-отряда.

Потом, уже придя в себя, я стал размышлять, случайно ли пьяненький старший лейтенант не нажал курок. Не было ли это спектаклем, разыгранным по заранее продуманному сценарию с целью запугать насмерть, чтобы мысль о дезертирстве, если она и была, впредь отвергалась с порога?

Как бы то ни было, хотите верьте, хотите нет, после этого потрясения я перестал бояться, просто забыл, что такое страх. Даже начал бравировать своей удачей: не залегал в ровик при артоб-стреле, не торопясь пересекал простреливаемое оружием пространство. В конце концов схлопотал выволочку от начальства за безрассудство и дурной пример, который я показываю подчиненным, лезя на рожон.

Мое бесстрашие, однако, подверглось еще одному испытанию, когда батарея заняла позицию у Днепра. Ничто не предвещало беды. Мы спокойно отрыли укрытия для пушек, добротные ровики для расчетов и расположившегося здесь же взвода управления. Поставили полевую кухню, пообедали, вдруг над головами послышался нудный, протяжный гул. Его узнавали безошибочно - "Рама". "Жди неприятностей", - буркнул кто-то, остальные отмахнулись: может быть, пронесет, ведь не узнаешь, кого высматривал фашистский летчик.

Увы, именно нас. Не прошло и получаса, как на батарею налетела эскадрилья "музыкантов", как окрестили низколетящие штурмовики. Сбросили бомбы над орудиями, развернулись, осыпали пулеметными очередями людей в ровиках, затем по второму кругу над орудиями, и так несколько заходов, пока не истратили весь боезапас. Этот первый налет мы, уже привычные к бомбежкам, перенесли сравнительно легко, надеясь, что тем дело и кончится. Не тут-то было. В течение нескольких часов, до полной темноты, одна эскадрилья за другой методически утюжила батарею, вдавливая ее в приднепровский песок. Пользовались тем, что у нас не было никакого прикрытия с воздуха. Командование собирало силы для форсирования Днепра, и весь участок напротив Херсона остался под открытым небом.

Мы, конечно, палили по стервятникам из автоматов, противотанковых ружей, кажется, даже подбили один. Но это не принесло утешения. За всю войну не было дня страшнее для моей батареи. Были выведены из строя, искорежены, превращены в груды металла обе пушки, получила ранения треть личного состава. Особенно потрясла всех гибель четырех девушек-связисток - их, укрывшихся в одном ровике, накрыло прямым попаданием бомбы. Под покровом темноты батарея была выведена с проклятого места. Две недели приходили в себя в тылу, получили пополнение, новую технику, и снова военная страда.

Последний раз приступ безотчетного ужаса охватил меня в Прибалтике. Мы совершили долгий марш, чертовски устали. До позиции, которую должна была занять батарея, оставалось полтора-два десятка километров. Решили переночевать. Наскоро укрыли пушки, отрыли землянки, настелили сверху валявшиеся неподалеку ледяные балки, зажгли печурки и завалились. Через некоторое время просыпаюсь от падающих на лоб с потолка капель и невыносимого зловония. Выскакиваем наружу, со сна ничего не соображая, и только теперь обнаруживаем, что покрытием блиндажа послужили обледенелые трупы.

Больше до конца войны я уже ничего не боялся.

С охранительными органами еще раз столкнулся при драматических обстоятельствах. Где-то в Белоруссии батарее пришлось занять позицию перед большим фруктовым садом, принадлежащим, видимо, какому-то колхозу или совхозу. Траектория снаряда могла задеть ветви, стрелять можно было только фугасными. Надо было отбить немецкие самоходки, огонь вели по площади безостановочно, подносчики едва успевали бегать за снарядами. В этой напряженной суете случилось несчастье: заряжающий свинтил колпачок по привычке, поскольку почти всегда до этого стреляли осколочными. Я стоял в десяти шагах от пушек, когда вслед за звуком выстрела раздался грохот разрыва. Поначалу показалось, что это вражеский снаряд, только через несколько секунд до сознания дошло: наш, разорвался у самой пушки, задев за ветку. Наводчик и заряжающий были тяжело ранены, ранение получили еще несколько батарейцев, один осколок угодил мне в переносицу, другой - в левую руку.

К счастью, ранения оказались не опасными, но мне угрожало быть наказанным за нерадивость. Вроде бы не было моей вины в том, что солдат машинально отвинтил колпачок. Но по армейским законам командир в ответе за все, что происходит с его подразделением. Могли в таком случае и разжаловать, и в штрафную сослать. Но я уже тогда носил Красную Звезду на гимнастерке, был на хорошем счету, начальство решило прикрыть дело. Рассудили так: никто не погиб, так зачем умножать число пострадавших. Юрист и техник, допросив очевидцев, пришли к выводу, что причиной взрыва могло стать самовозгорание бракованного снаряда. Такая вот печальная история.

На войне не всегда "как на войне", там тоже своя череда событий и впечатлений; по Беранже, "то вдруг гроза, то солнышко взойдет". Долго мы стояли в большом украинском селе Алешках. На другой стороне Днепра по ночам виднелись редкие огни Херсона. Иногда там вспыхивали пожары - может быть, немцы отогревались таким образом. Ждали, когда дадут приказ форсировать реку, освобождать Правобережье. Правда, нашей бригаде так и не довелось в этом участвовать, помогли только мощной артподготовкой, а затем повернули на юг, к Перекопу, освобождать Крым. До той поры было относительно тихо. Редко-редко ухнет гаубица, светящаяся цепочка трассирующих пуль прочертит сумерки. Словно кому-то надоело сидеть без дела, решил поразвлечься. Не повторялись и авианалеты - очевидно, немцы не ждали прорыва на нашем участке, собирали силы в другом месте. Изредка тешились пропагандой. Установят мощный динамик и на всю округу на ломаном русском языке приглашают переходить на их сторону, обещая счастливую, сытую жизнь. В день 7 ноября поздравили нас с праздником, назвав персонально командира части, комдивов и комбатов. Продемонстрировали, как бойко работает их разведка. У нас был небольшой переполох, искали, откуда они могли дознаться.

Устроились неплохо в беленькой чистенькой украинской хатке со старушкой-хозяйкой. Мы ей давали продукты, она готовила. Читать нечего, за исключением каким-то чудом оказавшегося здесь томика из сочинений Ромен Роллана. Я его перечитал несколько раз, познакомился с французскими композиторами, предшественниками Мейербера, - Рамо, Люлли, Гретри. До одурения играли в преферанс или в очко, выигрывали и проигрывали условно, живых денег ни у кого не было. Маялись от безделья. Расторопный Мурза раздобыл где-то бутылку тройного одеколона. Я пить побоялся, позвал для консультаций военного фельдшера Дьякова. Тот долго разглядывал жидкость на свет, взболтнул флакон, откупорил, проглотил три четверти, кивнул - мол, годится. Мы с Мурзой допили остатки. Три дня после этого выпьешь глоток воды, от тебя несет благоуханием.

Зашел как-то дружок из соседней батареи. Пойдем, говорит, познакомлю тебя с красивой дивчиной. Действительно, оказалась хороша: черноглазая, чернобровая, как полагается украинке, с легкой походкой, длинной косой, начитанная, главное - умеющая проникновенно слушать. Мы с ней гуляли по заснеженному саду, я читал стихи, которых знал немало. Любовь к ним привил мне отец, а память была отменная. Однажды он прочитал, с выражением, с жестами, романтическую поэму Хозе Марии Д'Эредиа

"Торжество Сида". Больше тысячи строк, а я их по памяти восстановил от первой до последней, и сейчас помню. Сочинял я ей свои стихи, пока однажды, придя на свидание, не застал с тем самым моим дружкой. Они торжественно объявили, что решили пожениться. Непонятно, зачем он меня с ней знакомил.

Из крымской кампании больше всего запомнилось взятие Севастополя. Я не очень тогда разбирался в высоком военном искусстве, мой кругозор сводился в основном к участку, на котором действовала батарея, в меньшей мере - и бригада. Кое-какие представления были о роли нашей 2-й гвардейской армии. Но и этих знаний хватило, чтобы восхититься безупречным мастерством, с каким была спланирована и проведена операция по взятию Севастополя. Сначала авиация долго молотила по передовой линии противника, затем она обрушилась на глубину обороны, а по передовой нанесла мощный удар артиллерия, в том числе наши пушки; дальше пошли барабанить минометы. Понесся колоссальные потери, буквально втоптанные в землю, немцы не оказали сильного сопротивления пехоте. Город был разрушен дотла - такое мне пришлось видеть только в Минске и Кенигсберге. Вдобавок улицы были завалены трупами лошадей - их немцы свезли со всего полуострова, надеясь вывезти морем, но не успели и решили не оставлять нам живыми.

Не обошлось и здесь без забавных эпизодов. Бригадой нашей командовал полковник Иванов. До этого я его видел только раз. Заявился на батарею, задал несколько проходных вопросов, удостоверился, что пушки в порядке, и собирался уже отбывать, когда обратил внимание на лежавшую в сторонке кучу, накрытую брезентом, подошел, поднял, а там целый лошадиный бок. Помрачнел, строго уставился на меня:

- Младший лейтенант, что это такое?
- Остатки лошади, товарищ полковник.
- Что, солдатам еды не хватает?

- Наверное, не хватает, раз едят, - ляпнул я довольно дерзко и, уже чувствуя, что могу нарваться на неприятность, добавил: - У нас ведь, товарищ полковник, татары, башкиры, а это их национальное блюдо.

Он отозвал меня в сторонку, чтобы не слышали подчиненные, дал выволочку:

- Немедленно убери это безобразие, чтоб ничего такого впредь не было. Ты что, не понимаешь, какая зараза может случиться от лошадиного мяса? А за непочтительное обращение с начальством получишь десять суток. - И неожиданно улыбнулся. Как я потом узнал, нигде не было записано про этот арест. То ли он позабыл, то ли просто хотел на словах меня приструнить.

По бригаде ходила легенда, будто полковник наш графского рода, родители, удирая за границу, бросили его мальчишкой, воспитывался в детской колонии. Не знаю, так ли, но человек он был бедовый. В Севастополе мы занимали позиции рядом с морем, так он вздумал искупаться, полез в воду, немцы его засекли, открыли шквальный огонь. Пришлось бедолаге сидеть в воде минут десять - это в апреле, когда смельчаки отваживаются только окунуться. Потом все-таки не выдержал, пробежал метров двести, спрятался за скалу. Уцелел.

Другой эпизод с ним случился в Литве, которую мы прошли вдоль Немана. До сих пор отложилась в памяти необыкновенная красота этих мест, небольшого городка Вилькомир со сверкавшими на солнце разноцветными крышами. Там боя не было, а вот подальше немцы укрепились на подступах к двум небольшим не то селам, не то городкам. Пехотной дивизии было поручено выбить их оттуда, а нам, естественно, подкрепить ее огнем. Дальше - анекдот. Звонят из штаба, спрашивают, найдутся ли в батарее добровольцы пойти в бой вместо пехоты. Приказ не обсуждают, нашлись несколько храбрецов, а из уст в уста, от батареи к батарее дали этому такое объяснение. Наш бригадный и пехотный командиры якобы хорошо выпили и поспорили, кто быстрее и без лишних потерь возьмет один из городков. У пехоты опыт, "профессиональная" закалка, у артиллерии - огневая мощь. Своего рода соцсоревнование. Дело могло обернуться большими жертвами, но, к счастью, оборона у

немцев там была хилая. Ее к тому же подавили, израсходовав солидную часть боезапаса, наши добровольцы вышли победителями. Не хочу брать грех на душу, не знаю, такая ли интрига стояла за этим казусом, ведь он тянул на уголовное дело. Но то, что собирали добровольцев и брали сами, без пехоты, городишко, - это факт.

Из сказанного ни в коем случае не должно складываться впечатление, будто на заключительном этапе война стала для нас своего рода увеселительной прогулкой. Отступая, противник устраивал засады, и как результат - немалые потери нашей рвущейся без оглядки вперед армии. Если русский солдат с полным правом может считаться лучшим в мире, то второе место должно быть присуждено немецкому. В этом я убедился, когда нам пришлось брать старинный замок на Балтийской косе. Это было величественное мрачное сооружение, с мощными стенами, бойницами, башнями, в котором засели несколько сот эсэсовцев. Наступающие части обтекли замок с двух сторон, а нам с пехотным полком было приказано подавить сопротивление гарнизона. Били прямой наводкой по бойницам, начали выкуривать, не раз по мегафону предлагали сдаться, обещая сохранить жизнь. Но защитники крепости в течение нескольких дней держались. Возможно, боевой дух поддерживался переданной из Берлина, перехваченной нами радиogramмой, в которой Гитлер обещал всем железные кресты, благодарил за героизм и велел устоять, пока не подоспеет подмога. Какая там подмога, если уже вся Восточная Пруссия была в наших руках и оставались считанные недели до конца войны. Когда в конце концов наши заняли крепость, то нашли в ней только трупы да несколько десятков полуобгоревших, тяжело раненых людей.

Незадолго до окончания войны я научился водить автомобиль. Батарее была придана газовская полуторка, машина неказистая, но на редкость выносливая. С запчастями было туго, но она, благодаря искусным механикам, протрусила пройденные бригадой 6-7 тысяч километров по нашим жутким дорогам и бездорожью. В тот день мы выехали на разведку и оказались, сами о том не догадываясь, впереди пехоты. Едем, едем, вокруг ни души, щелчок в голове: не могли наши за сутки так далеко продвинуться. Я велел остановиться, вышли из машины, начали осматриваться и стали мишенями для густого оружейного огня. И без бинокля было видно бегущих к нам немцев. Водителя тяжело ранило, мы с разведчиком втащили его на заднее сиденье, я сел за руль и по его указаниям выжал сцепление, включил скорость, развернулся, дал газу. В тот момент клял себя за то, что не удосужился раньше научиться вождению. Вот уж действительно, пока гром не грянет. Все тогда обошлось, ноги мы от фрицев унесли. Помогло, что я имел все-таки общее представление об автомобиле, во всяком случае водил трактор.

На гражданке приобрести машину было поначалу не по карману, а потом ни к чему: появилась казенная. Только после ухода из Кремля купил "Жигули", а теперь езжу на "Нексии" узбекской сборки. Остановил как-то инспектор ГАИ, парнишка лет двадцати, стал выговаривать за превышение. Строго спросил, давно ли я за рулем. Я ответил, не соврав, что 55 лет. Он опешил, даже права не стал спрашивать, махнул рукой: езжайте, мол, что с вами поделаешь.

Последний бой, в котором мне довелось участвовать, был связан с захватом Пиллау. Собственно говоря, это даже нельзя назвать боем. Мы постреляли вдогонку сброшенным в море немцам и вошли в город, когда там уже распоряжалась пехота. В портовой части, в огромных складских помещениях скопились товары и продукты, которые немцы не успели вывезти. Чего там только не было: автомобили и велосипеды, ящики с сардинами, шоколадом, отборными французскими коньяками и прочими деликатесами, много изысканной мебели. Все это было расхвачено (как теперь сказали бы - приватизировано) в течение нескольких часов, пока не подоспели тыловики, объявили оставшееся государственным имуществом и поставили часовых. Я плохо использовал этот шанс обогатиться, соблазнился лишь небольшим ящиком гаванских сигар.

В то время, разумеется, никто не оценивал происходящее с этической точки зрения, да и сейчас только ненавистники нашего народа могут именовать это мародерством. Немцы в течение первой половины войны кромсали нашу землю, уничтожили безмерные ценности,

ограбили страну. Теперь настал час расплаты. То, что досталось нашей армии в качестве законной военной добычи, да и все полученные затем с Германии репарации не возместили и десятой доли понесенных страной потерь.

Другое дело - насколько справедливо распределялись военные трофеи. Мои солдаты ухитрились спрятать в объемистых полостях пушечных станин добытые в брошенных магазинах и домах костюмы, одеяла, вещи обихода. Кто-то из бригадных управленцев засек эту хитрость. Послали специальную команду по батареям, отобрали все эти приобретения, и, можно не сомневаться, они не поступили в государственную казну.

Не слишком обогатились и офицеры. Когда нашу бригаду отправляли эшелоном на постой в Бобруйск, всем было велено сложить свой скарб на железнодорожные платформы и обещано вернуть его по прибытии на место. Действительно, было предложено разбирать, кому что принадлежит, но, явившись на товарную станцию, несостоявшиеся владельцы обнаружили исчезновение всех более или менее ценных предметов, оставалась никому не нужная рухлядь. Претензии предъявлять не к кому, стало известно, что изъятие добра произведено для украшения дома маршала Тимошенко. Скорее, большую часть растащили интенданты, а сам маршал и не знал, что творят от его имени. Впрочем, и он был наказан. Уже в Бобруйске, когда весь командный состав собрался на празднование годовщины Октября в Доме офицеров, его дом в пригороде был обчищен, говорят, до нитки, и банда, совершившая этот дерзкий налет, оставила издевательскую записку, что-де плохо с караульной службой в подведомственном вам округе, товарищ маршал. Эта история пересказывалась не без злорадства.

Один ушлый фронтовик-бакинец догадался послать домой посылку с иголками. На них тогда был жесточайший дефицит, и он сказочно обогатился. Ну а моим военным трофеем стали драповое пальто, которое я доносил до дыр, и те самые сигары. В Баку в то время шла пьеса Симонова "Русский вопрос". Представить американца на сцене без сигары было невозможно. Мы заключили с труппой устный договор: я им по две сигары на каждое представление, они мне контрамарку на двоих. Так бесплатно посещал все спектакли русской драмы вместе со своей пассивой.

Закон войны: не убьешь ты, убьют тебя. Пехотинец знает, скольких отправил на тот свет, артиллерист не всегда. До сих пор не могу с уверенностью сказать, есть ли на мне человеческие жизни. Нрав у меня от природы гуманный, но как минимум дважды я испытал кровожадный восторг от мысли, что попал в цель. Примерно так, как футболист, забивший вожаденный гол. Под Шяуляем вел прицельный огонь с командного пункта и видел воочию, как после выстрела взлетел и рассыпался блиндаж с людьми. В другой раз батарее пришлось отражать танковую атаку. Редкий случай стрельбы прямой наводкой для тяжелых орудий. Я отстранил наводчика, сам прицелился. Танк ткнулся стволом в землю и застыл. Этот выстрел стал для меня как бы личным вкладом в победу - все-таки не зря провел два года на фронте.

"Красную звездочку" я получил "просто за фронт" - после года участия в боях. А вот за танк - "Отечественную войну" II степени. Скажу уж и о других наградах. Два "трудовика" схлопотал за усердие на политическом поприще. Дальше награждался по заведенному в аппарате ЦК порядку за каждое прожитое десятилетие. В 50 лет - "Дружбой народов", в 60 лет - "Октябрьской Революцией". Вторую "Отечественную войну" дали, как всем фронтовикам, к 40-летию Победы. Медалей не считал, но ими тоже не обижен.

К этой теме. Был у меня в батарее солдат Кац - часовой мастер из Одессы со всеми особыми приметами жителя этого славного города - уникальным говорком и юморком, философическим восприятием жизненных передраг и умением приспособиться к любым обстоятельствам. В отличие от утесовского Мишки-моряка он не был героем, но однажды оговорил меня просьбой представить его к ордену.

- За что?

- Да так. Всем вокруг дают. Представляете, возвращаюсь я в Одессу, иду по Дерибасовской, а на груди "Звезда". Уж не Кац ли это, спрашивают прохожие, гордые



земляки-одесситы, рукоплещут...

- Уймите воображение, - остановил я его, - ничего этого не будет.

- Будет! - уверенно возразил он и оказался прав. Когда мы вступили в Восточную Пруссию, едва ли не каждый офицер и многие солдаты обзавелись ручными часами. Ими обменивались вслепую - на фронтовом жаргоне это называлось "махнуть" или "чиркнуть". В азарте запросто можно было отдать первоклассный хронометр и получить взамен зажатую в ладонь "штамповку", а то и один футляр без механизма. Развлекались стрельбой из пистолетов по часам, подвешенным на сучок. Ну и, разумеется, возник спрос на часовых дел мастеров. То ли кто-то из начальства прослышал о профессии Каца, то ли сам он позаботился, чтобы о нем узнали, - я получил приказ откомандировать его в штаб бригады. А где-то перед концом войны мы встретились, и первое, что бросилось в глаза, - Красная Звезда на его гимнастерке.

- Видите, старший лейтенант, вы пожалели мне ордена, а Родина не пожалела, - съязвил он.

- Браво, Кац! - только и мог ответить я.

- Если вам нужно будет починить часики, не стесняйтесь. Вам я всегда услужу. Несите любую марку. Кац заставит двигаться что угодно, хоть Кремлевские куранты.

Сознаю, что этот эпизод выглядит хрестоматийно. Могут даже усомниться, не выдуман ли. Заверяю: все так и было. Вообще в этой книге нет ни слова сознательной неправды. Подчеркиваю, сознательной, потому что может подвести память, увы, уже не безупречная. Но если у меня возникали малейшие сомнения в достоверности того или иного эпизода, я его без колебания вычеркивал. К сожалению, случается так, что не сомневаешься.

Самое частое воспоминание о войне - дорога. Идешь ночью впереди трактора "Челябинца", который с натугой тащит по разбитой проселочной дороге тяжеленную пушку (8 тонн!), посвечиваешь фонариком. Отрываться нельзя, но и дистанцию нужно сохранять, чуть заезаешь, окажешься под гусеницами. Такие трагедии бывали. На ходу начинаешь засыпать, слышишь нарастающий рокот двигателя, рванешь с перепугу, протопашь полчаса, и опять неудержимо клонит ко сну. Только в Пруссии нам заменили трактора "студебеккерами". Дороги там были не чета российским, и, если позволяла боевая обстановка, мы лихо катили по асфальту.

А самый большой стыд я испытал после войны, на учебных стрельбах в Белоруссии. Командиры батарей вызывались демонстрировать свое умение перед комиссией, состоявшей сплошь из генералов. Пришла моя очередь, готовлю данные, передаю на огневую: "Первому один снаряд, огонь!" Гляжу в стереотрубу, глазам не верю - разрыв за пару километров от цели. Лихорадочно ввожу поправку. Огонь! Еще хуже, на сей раз в другую сторону.

- Этак вы, старший лейтенант, по селу ухнете, - сказал председатель комиссии. - Поезжайте, разберитесь, что там у вас происходит. Доложите рапортом.

Вернувшись на батарею и выяснив, в чем дело, я с яростью набросился на командира огневого взвода, по халатности которого случился этот позор. Он ухитрился "отметиться" по шесту, который был воткнут в сено на телеге. Крестьянин переехал на несколько десятков метров собирать сено с другого участка, соответственно наводилась пушка.

Доложил. Пожурили, но наказывать не стали.

Спустя 40 лет, 9 мая 1985 года, мы вспоминали эти и другие эпизоды войны страшные, горькие, веселые, радостные, - были ведь и такие, - с моим другом Иваном Михайловичем Хромушкиным на встрече в музее 2-й гвардейской армии в 102-й школе Москвы. Был Иван скромным безотказным работягой на войне, таким остался и после. С жильем плоховато, пенсия нищенская, глаза почти не видят.

- А так ничего, нам повезло, мы еще живы, другие, совсем молодые, умирают в Афганистане, - сказал он, поднимая граненый стакан со ста граммами. Теперь помянул бы Карабах, Чечню, Косово... Что еще впереди?

Обсуждали и главнокомандующего - как без этого. Историкам есть, конечно, в чем его винить: пересажал добрую треть высшего комсостава, не прислушался к сигналам разведки.

Но чтобы оценить роль Сталина, достаточно представить на его месте Ельцина.

В Баку. Учение

Победоносная армия, еще не расхоложенная долгим миром и готовая - дай только приказ! - рвануть до Ла-Манша, неохотно отпускала молодых офицеров, прошедших выучку войны. Меня приглашали в штаб Белорусского военного округа, предлагали на выбор Военно-политическую либо Артиллерийскую академию. Пришло приглашение и из Военно-юридической - это уже постарались московские родичи, знакомые с тогдашним ее начальником Виктором Михайловичем Чхиквадзе. С ним я встретился позднее, когда он уже стал директором Института государства и права. При нем я защищал докторскую, с его "подачи" унаследовал президентство в Советской ассоциации политических наук. Он постарше меня, теперь уже реже выбирается на академические сходки. Всякий раз, когда это случается, я рад сказать ему и услышать от него доброе слово. Наверное, у каждого есть такие люди - не близкие друзья, но и не просто знакомые.

Но в то время у меня было стойкое желание "снять шинель и идти домой". Отклонив несколько прошений о демобилизации, местное военное начальство махнуло на меня рукой и согласилось удовлетворить просьбу о переводе в Бакинский военный округ. Там тоже не обошлось без волокиты, но вопрос все же удалось решить "по-восточному", то есть посредством кумовства. Впрочем, кажется, это грех общечеловеческий. У отца нашелся знакомый адвокат, у которого был знакомый инженер, чей знакомый врач был братом жены начальника отдела кадров округа. Не ручаюсь, но примерно так. Сигнал, прошедший по этой цепочке, вернулся с благоприятным ответом, еще несколько раз проследовал туда-обратно, и через пару месяцев я сидел перед моложавым полковником, который листал мое дело, отправляя в рот одну за другой сочные инжирины. Если б не они, я его никогда б не запомнил.

Тяжело вздохнув, он захлопнул папку.

- Понимаешь, есть проблема.

- В чем дело? - Я встревожился. По цепочке передали, что дело в шляпе, остаются формальности. И вдруг...

- У тебя нет наказаний, выговоров, не за что зацепиться.

- Не может быть! В училище получил два наряда вне очереди. На фронте десять суток ареста.

- Это ерунда, не записано.

- А что, увольняют только провинившихся?

- Нет. Отпускаем тех, кто учился в вузе или работал до войны по профессии. Если, конечно, сам захочет. А кто стал офицером после десятилетки, хорошо себя показал на фронте, - считается перспективным кадром. Таких отпускать не приказано. Наоборот, выдвигать, посылать в академии. Хочешь, я тебя направлю?

- Спасибо. Мне уже предлагали. Что же делать, товарищ полковник?

Он, забросив в рот очередную инжирину, состроил сочувственную мину и пожал плечами, давая понять, что не видит выхода. У меня сердце упало. Насладившись моим замешательством и сочтя, что достаточно набил цену своей услуге, полковник сказал загадочно:

- Есть одна статья... - Я встрепнулся. - Разрешено увольнять с плохими характеристиками: нарушал дисциплину, склонен к выпивке, недостаточно строг к подчиненным...

- Вот! - вырвалось у меня.

- Что, эту статью хочешь?

- Не то что хочу, но переживу.

Он посмотрел на меня с усмешкой.

- А ты действительно был запанибрата с солдатами?

- Как сказать... Если так называется хорошее к ним отношение...

Полковник черкнул несколько строк, протянул мне записку.

- Иди в комнату напротив, там тебя оформят.

Я рассыпался в благодарностях.

- Не меня благодари, Ашота Арамаисовича. Передай ему привет от меня.

Упомянутый Ашот был самой влиятельной фигурой в цепочке.

Моим первым начальником на гражданке следует, очевидно, считать декана юридического факультета Азербайджанского университета Касума Джафаровича Джафарова. С ним я столкнулся дважды: при поступлении на учебу и после ее окончания.

Фронтовики, окончившие десятилетку, освобождались от вступительных экзаменов. Оформив честь по чести все документы, я получил студенческую книжку и отправился за подписью декана на факультет, расположенный отдельно от основного здания университета. Секретарша, окруженная стайкой абитуриентов, кивнула в сторону массивных дверей. Стучу - ответа нет, погромче - тишина. Оглядываюсь, она жестами дает понять, что декан у себя, спит. Дергаю дверь заперта. Начинаю барабанить - слышу раздраженный голос:

- Кто там?

- Касум Джафарович, к вам можно?

- Касума Джафаровича здесь нет, он в университете.

Я недоуменно смотрю на секретаршу. Она смеется:

- Теперь уж ни за что не откроет. Придется вам прийти в другой раз. - И дает дружеский совет: - Не признавайтесь, что это вы его разбудили.

Учился я экстерном. Память свежая, за два-три дня вы зубрил учебник и пошел сдавать. Если предмет не очень интересовал - на другой день половину свежеприобретенных знаний выбросил из головы, очистил место для следующего. Зато в поте лица штудировал любимые - теорию государства и права, государственное, международное право, философию, политэкономия, английский. Тут уж по совести, с первоисточниками.

Впрочем, больше времени, чем сама учеба, занимала беготня за всякими справками и направлениями, необходимость уломать преподавателя, упротить, чтобы принял у тебя зачет или экзамен. За экстерников им платили гроши, так что они от нашего брата бегали. Приходилось и в подъездах сторожить, и за пуговицу хватать, а молоденькую симпатичную преподавательницу латыни сводить в кино.

Но вот позади пять курсов юрфака, пора писать диплом. В те дни в газетах часто печатались выступления Вышинского на международных форумах. Зловещая роль бывшего генерального прокурора в процессах 37-го года, проповедовавшаяся им, академиком от юриспруденции, "презумпция виновности" стали обсуждаться и осуждаться лишь после его смерти, последовавшей сразу после кончины Сталина. А тогда Андрей Януарьевич был весьма популярен своим ораторским искусством. Тем более в Баку, где еще сохранился дом с проступающей на стене надписью: "Аптека Вышинского". Кажется, она принадлежала дяде будущего министра.

Его свирепое красноречие на конференции по Дунаю и толкнуло меня в международники.

Полагалось иметь научного руководителя, я выбрал преподавателя кафедры международного права - не стану называть его фамилии, чтобы не срамить лишний раз. Его научное руководство свелось к утверждению темы, двум-трем собеседованиям и написанию отзыва на законченную работу. Поэтому я был не то что удивлен, а ошарашен, получив спустя несколько лет грозное письмо из Баку, в котором ставилось под сомнение мое авторство и заявлялось, что если я не смогу его доказать, то лишусь свидетельства о получении высшего образования. Оказывается, научный руководитель опубликовал мою дипломную работу под своим именем в университетском сборнике, а когда его схватили за руку, стал утверждать, что я писал под его диктовку.

Опровергнуть домысел было нетрудно. К тому времени у меня в Москве были напечатаны несколько статей и две брошюры ("Социализм и равенство", "Коммунизм и свобода личности"). Достаточно было сличить стиль, чтобы убедиться, что диплом вышел из-под того же пера. Так я и отписал в ответ на угрозы. Хотел послать в ректорат резкое

письмо, но воздержался по просьбе своего отца, который написал мне, что плагиат был случайный, просто нужно было сдать плановую работу, мой "тьютор" не успевал, стал перелопачивать свои архивы, натолкнулся на мою рукопись и принял ее за свою забытую студенческую работу, он раскаивается, а его враги ухватились за этот предлог, чтобы вышвырнуть из университета, откуда одного за другим изгоняют армян.

Объяснение было никудышное, я лишний раз подивился доверчивости своего родителя, потом решил, что он просто заступился за человека по природной своей доброте. Как бы то ни было, от меня отвязались, видимо, удовольствовавшись изгнанием незадачливого плагиатора. Он переехал в другой город. Спустя несколько лет мне пришлось побывать в Баку, я получил приглашение выступить перед студентами и преподавателями юрфака и был удостоен радушного приема. Полагаю, это можно считать нормализацией моих отношений с alma mater. И моральной компенсацией за неприятности, которые пришлось пережить при получении все того же злосчастного диплома.

Иду за свидетельством об окончании университета. Джафаров хмуро просматривает документы, поданные секретаршей, и изрекает:

- Диплом не получишь.

- Как?

- В сорок седьмом поступил, а сейчас лето сорок девятого.

- Ну и что?

- За два года хочешь университет окончить? Посмотри на него, - обращается к секретарше, - какой ловкий.

- Ленин за полтора года окончил.

- Ты что, Ленин?

- Я не Ленин, но мы все должны подражать ему.

Этот довод несколько сбивает его с толку. С минуту он размышляет и находится:

- Они там, - указывает пальцем в потолок, давая понять, что речь о вождях, - а мы здесь.

Иди, через год придешь - подпишу.

Выхожу убитый. В Москве уже начинаются приемные экзамены в аспирантуру, у меня все рассчитано по дням, а тут такой афронт. Иду к ректору - не принимает. Проректор по общественным дисциплинам вежливо выслушивает, сочувственно кивает, даже соединяется с Джафаровым по телефону, при мне начинает говорить, после двух-трех фраз переходит на азербайджанский. Кладет трубку, пожимает плечами: ничего, мол, не могу сделать.

- Но вы же вправе его обязать!

- Э, дорогой, при чем тут право. У него знаешь какие связи!

Я был близок к отчаянию, когда кто-то посоветовал обратиться к секретарю партбюро университета Анушавану Агафоновичу Арзуманяну. Умный, порядочный человек. Выслушав меня, обещал разобраться, через день пригласил и вручил диплом.

Так я получил возможность поступить в аспирантуру. Вскоре и Арзуманян переехал в столицу, где основал один из самых сильных академических институтов - "мировой экономики и международных отношений" и был его директором до своей кончины.

\* \* \*

Баку не был провинциальным городом в обычном понимании, он обладал тем, что я бы назвал "интеллектуальным шармом". Дело не в том, что в азербайджанской столице были опера, театры, консерватория, филармония, университет, технические, медицинские и другие вузы - таким набором уже до войны могли похвастать все республиканские центры и крупные российские города. Приподнимал его над средним уровнем "класс" интеллигенции. В здешней индустрии подвизались тогдашние светила нефтехимии во главе с самим Губкиным. Филармоническим оркестром управлял маэстро Ниязи. Скрипичному мастерству в консерватории обучал Давид Ойстрах. На оперной сцене блистала лучшая в Союзе Кармен - Фатма ханум Мухтарова. В оперетте - неподражаемый Аллегров, отец популярной поп-звезды.

Самородки не являются на пустом месте, без школы, благоприятной атмосферы,

отзывчивой и взыскательной публики. Вспоминаю своих школьных учителей математики и географии Авилова и Саллойда. В прошлом преподаватели гимназии, со знанием двух-трех языков, эрудированные, остроумные, аккуратно и даже чуть щегольски одетые, что было непросто в то время с их заработком. Полагаю, они потянули бы на нынешних университетских профессоров. Из таких, собственно говоря, и состояло бакинское общество. Мой отец был адвокатом, у нас дома часто собирались его друзья - врачи, инженеры, коллеги из юридической консультации, играли в преферанс за неимением других развлечений. Осмелюсь сказать: это были рафинированные интеллигенты.

Чему азербайджанская столица обязана своим преуспеянием, не подлежит сомнению. Это - нефть. Вместе с передовой по тем временам техникой нефтедобычи Нобель привнес сюда элементы европейской культуры, на его промыслах рабочим строили приличные жилища, школы и больницы. Магнаты, вроде Нагиева и Манташева, не только просаживали миллионы за границей. Нефтеимперии нуждались в специалистах, которых вербовали где можно. Вокруг них складывалась инфраструктура сервиса - приглашали гувернанток со знанием французского, как петербургская знать в послепетровские времена. Звали для развлечения популярных артистов. Один из мультимиллионеров, Тагиев, щедро меценатствовал, построил для города оперу, университет и другие здания, посылал за свой счет юношей учиться в Сорбонну. "Черное золото" притягивало наряду с авантюристами искателей фортуны - энергичных администраторов, расторопных торговцев, толковых людей разных профессий. Революция порастрясла сложившуюся таким путем социальную среду, но она уцелела. Власть сменилась, нефть осталась.

Особый культурный статус Баку подчеркивался и тем, что к нам в обязательном порядке жаловали все тогдашние знаменитости. Не проходило недели, чтобы местные театралы и меломаны не были озабочены доставанием билетов на очередного знатного гастролера. Сразу по возвращении на родину побывал с концертами Вертинский. Моя студенческая компания отбила ладони аплодисментами. В антракте меня уговорили сходить за автографом: орденоносцу не откажет. Артист сидел перед зеркальцем в уборной, вокруг щебетали несколько его поклонниц. Был он оживлен, говорил, что ожидал теплого приема, но бакинская публика просто его покорила: "Здесь меня не забыли". Я вклинился, сказав, что не только старшее поколение любит его песни, теперь ими увлекается и молодежь. Это было чистой правдой, во всяком случае в моем кругу. (Я абсолютно лишен певческих способностей и обделен голосом, но, как ни странно, наловчился прилично подражать исполнению песен маэстро, причем моим "хитом" был "Прощальный ужин".) Старик был растроган, обнял меня, пожелал счастья. Тысячи лиц стерлись в памяти, в том числе многие, с которыми пришлось долго общаться. А вот лицо Вертинского, стоит прозвучать этому имени, сразу как живое перед глазами.

Смолоду привыкнув жить своим горбом и даже помогать родителям (они получали "денежное довольствие" и продовольственный паек за сына-фронтовика), я испытывал неловкость от того, что пришлось два года учебы быть на отцовском иждивении. Зарабатывал он рублей семьсот-восемьсот, жили мы скудно, хватало только на пропитание. Как-то подзащитный из деревни, которого он выручил, принес барашка. Отец его прогнал, за что получил нагоняй от мамы, упреки в гордычестве при неспособности содержать семью: "Посмотри на своих коллег!"

Действительно, в юридической консультации, где он трудился, таких горемык было немного. Адвокаты, менее отягощенные представлениями о чести, не стеснялись брать "калым" поверх официальной мизерной платы. Были и рекордсмены, загребавшие бешеные деньги. Рассказывали о хитреце, который разыгрывал целый спектакль, чтобы вселить в клиента уверенность в благополучном исходе дела и заставить его раскошелиться. Служитель Фемиды доставал из ящика письменного стола телефонный аппарат, якобы связывавший его непосредственно с могущественным "начальником Азербайджана" Багировым.

- Мир Джаффар Аббасович? Приветствую вас! Такое вот уголовное дело... Да, человек

осужден несправедливо... Вы дадите указание?.. Можно надеяться?..

На темного сельского ходатая сценка производила неотразимое впечатление. Спрятав телефон, адвокат объяснял, что Багиров обещал лично рассмотреть дело, но гарантий оправдания, конечно, дать не может. Плохо кончится - гонорар, исчислявшийся в десятках, а то и в сотнях тысяч рублей, будет возвращен. Дальше все делалось "по совести": давалась взятка судье, приговор смягчался, клиент оставался доволен. Ну а если по каким-то причинам плутовство срывалось, мошенник честно возвращал гонорар, удерживая скромную оплату издержек.

Для тех, кто усомнится в возможности подобного казуса, расскажу о нашумевшем деле, иллюстрирующем размах коррупции в те времена. Согласно пятилетнему плану в одном из сельских районов республики следовало построить школу. Были выделены ассигнования, зафиксирована приемка здания, набран штат учителей, выплачивалась зарплата, в отдел народного образования стали исправно поступать тетрадки с ученическими диктантами, исправленными ошибками и оценками. Ну а затем выяснилось, что школы нет и в помине, а тетрадки скупались в соседнем районе.

Грандиозная афера? Детские забавы по сравнению с размахом и изобретательностью жулья в 90-е годы. Тогда воровали тайно и время от времени все-таки попадали за решетку. Теперь воруют в открытую, на виду у всего мира, и чаще всего это сходит с рук. С другой стороны, тогда у несправедливо осужденных в том же Азербайджане или других республиках была надежда, что в Москве ошибку исправят. Отцу и дяде удавалось в ряде случаев добиться прокурорского протеста и пересмотра приговора. Теперь усилиями коррумпированной власти и продажных "хранителей Закона" престиж правосудия в глазах граждан упал дальше некуда, а Генеральная прокуратура вообще ассоциируется с вертепом.

Решив помочь родителям, хотя бы не брать из тощего семейного бюджета деньги на личные нужды, я стал наниматься в помощники по следственным делам. Доход это занятие приносило не ахти какой (на папиросы да билеты в кино), зато засчитывалось за обязательную на юрфаке практику. Самым любопытным из дел, в расследовании которых мне пришлось участвовать, стало хищение на пивзаводе. Началось с недолива в киосках. Уличенные на месте продавцы оправдывались тем, что с завода поступают неполные бочки. Приехала туда наша бригада, нас разослали по цехам с заданием "присмотреться". Три дня толкались, расспрашивали технологов и рабочих, усиленно припоминая похожие случаи в читанной детективной литературе и пытаясь угадать, как стал бы на нашем месте действовать Шерлок Холмс. Ни малейшей зацепки. На четвертый день собрал практикантов следователь (кажется, его фамилия была Сеидбейли), опытный сыщик, терпеливо выслушал наши доклады и рассказал, каким простым способом плуты проворачивали свое дельце. Перед отправкой в торговую сеть добавляли в пиво химикалий, увеличивался слой пены, бочка наполнялась до краев. Конечно, обман легко обнаруживался при контроле веса, но там у них был свой человек.

Этот опыт оказался для меня по-своему полезен, помог понять, что следствие - не моя планида. От природы я рассеян, чувствую себя комфортно в сфере логических абстракций, обделен цепкой наблюдательностью и вниманием к деталям, которыми славятся настоящие сыщики.

Иду как-то по городу, вижу объявление: приглашаются желающие поступить на двухгодичные курсы иностранных языков. Положение супердержавы, в которую превращался Советский Союз, требовало многократного умножения переводческих кадров, да и нужны были преподаватели языков в сельских школах. Для меня находка - изучу английский, осуществив давнее свое намерение. Не помешает и стипендия, которой я, как экстерник, был лишен в университете. Двести рублей не так уж мало, если пачка "Казбека" стоит три с мелочью.

Курсы были очные, занимались по вечерам, но я был на вольном режиме. Среди слушателей всего четверо-пятеро мужчин и те со школьной скамьи. Я оказался в роли своего рода паши, был с ходу избран секретарем партячейки, преподаватели обращались ко мне с

подчеркнутым уважением. Прав был Цезарь, сказавший, что лучше быть первым в провинции, чем последним в Риме. Курсы стали моей провинцией. Я был верховным авторитетом для "мальцов" (моложе на пять лет, а в юности это целая вечность), мирил и разнимал их, когда они сцеплялись, милостиво принимал почести, позволял девицам влюбляться в себя, но не снисходил до интрижек и держался особняком. У меня была своя компания - мои сверстники.

Почти все школьные соученики по разным причинам на фронт не попали. Одни пошли работать на военные заводы, получили бронь. Других признали негодными к воинской службе. Третьи откупились. Были и такие, что перед призывом внезапно заболели дизентерией, которая чудесным образом излечивалась после. Додика Рысс, с которым мы дружили с 3-го класса, забраковали за плохое зрение. Он и вовлек меня в свою компанию. Молодые люди только что обзавелись дипломами инженеров, врачей, юристов, делали первые шаги на трудовом поприще.

Я был единственным в компании с одной десятилеткой за спиной, но не чувствовал себя ущемленным. У меня было более весомое образование, чем вузовское, - тысячи километров, пройденные дорогами войны. К тому же быстро наверстал время, упущенное для учебы. Поэтому и выбрал юридический. Не будь войны, пошел бы на физмат.

Собирались по выходным, а иной раз и в будние дни побалагурить за бутылкой вина, устраивали танцевальные вечера, играли в карты, упражнялись в остроумии и стихосложении. В жаркие дни ездили в загородные пляжные местечки искупаться и позагорать. Словом, занимались тем, чем занимаются молодежные компании во всем мире, - тусовались. Только теперь я понял, насколько удачно придумано это словечко. Оно неизмеримо богаче унылого выражения - проводили время.

Странно устроена наша память. Иной раз нужные тебе позарез сведения из нее клещами не вытянешь. Но если все-таки всплывет со дна эпизод, заваленный чем попало, то он может зацепить и вытянуть на поверхность все, что лежало рядом. Вот сказал я "ездили на пляж", и перед глазами ожила в подробностях колоритная сценка. Сбор назначен в 7 у входа в рынок, стоящий в двухстах метрах от вокзала, где нам предстоит погрузиться в пригородные электрички. Мне поручено купить провизию, поэтому я прихожу пораньше. Официально рынок еще закрыт, но проскользнуть за ворота можно. Торговцы уже расположились на своих местах, столы завалены огромными сочными помидорами, аппетитными огурчиками, ароматным перцем, вкуснейшими сортами местного винограда (шаани и саргилля), финиками, инжиром, арбузами... Чего там только нет! Прицениваясь, замечаю приближение упитанного милиционера и прячусь за стойку: еще заорет, что рынок не открыли, придется околачиваться у ворот. Он подходит к стойке, долго выбирает, наконец, указывая пальцем, велит положить в корзину приглянувшиеся продукты. Корзина быстро наполняется, милиционер, вероятно призванный наблюдать за порядком на рынке, отдает ее подростку, видно сыну, наказывая бежать домой и вернуться за второй порцией. Продавцы, у которых страж порядка что-то взял, не выказывают и тени недовольства (себе дороже!), напротив, похоже, рады, что их благородие обратился именно к ним. Наконец милиционер удаляется, и я приступаю к покупкам.

В преферанс я научился играть чуть ли не в дошкольные годы. Телевизоров не было, карты были основным развлечением. У нас дома собирались чуть ли не через день, и мне дозволяли присутствовать при игре, которая велась обычно по азартным южным или кавказским правилам, со скачками. Популярен был преферанс на фронте в выдававшиеся промежутки между боями и особенно во время долгого сидения в обороне. И уж совсем не обходилось без него в железнодорожных путешествиях. Случалось, едущие на курорт проигрывались в пух и прах и возвращались домой, не добравшись до моря.

У нас до таких трагедий не доходило. Играли "по маленькой", проигрывали и выигрывали умеренно, не стрелялись и канделябрами друг друга не били. Больше риска случалось при игре в покер. Как я ни старался, но изобразить непроницаемое выражение лица не удавалось. А раз не можешь подражать героям Брет Гарта Гэмлину и Окхэрсту,

рассчитывай на "госпожу удачу". Она ко мне располагалась не лицом и не спиной - боком, позволяя не слишком много проигрывать и примерно столько же выигрывать. Очевидно, я - центрист не только по темпераменту и политическим убеждениям, но и по приговору фортуны.

Время от времени случались забавные эпизоды. Алик Вержбицкий, без сомнения, самый красивый молодой человек в городе, кумир бакинских девиц, появился однажды с Золотой Звездой Героя на лацкане пиджака. Как ни в чем не бывало уселся играть. Кто-то не удержался, спросил, откуда "звезда". "Не хочу хвалиться, ребята, - ответил Алик, - недавно меня вызвали в Москву, вручили награду за спасение нескольких человек во время поездки на фронт. Эшелон разбомбили, ну, я вытащил их из-под горящих обломков. Ладно, не отвлекайтесь на пустяки, сдавайте".

Я, только приобщившийся к компании, простодушно осведомился потом у других, правда ли это. Надо мной посмеялись: оказывается, у Алика как раз и случилась допризывная дизентерия, а "звездочку" он выпросил у владельца-героя, который от безденежья иногда сдает ее в аренду. Походил Алик с неделю, потом был вызван в ректорат мединститута, где учился, с требованием представить документы на награду. Пришлось с ней расстаться.

Был в нашем обществе другой выразительный персонаж - Лаптев. Недурной поэт, печатался изредка в местных изданиях и готовился завоевать мир. Стихи у него были изысканные, декадентские, вполне гармонизировавшие с обликом: безупречно очерченное бледное лицо, томные глаза, тонкие девичьи брови, блестящие черные волосы. Читая свои стихи, сопровождал их изящными жестами, чем-то напоминая автопортрет Антониса Ван Дейка. Увы, так и не взобрался на Парнас, кажется, осел в каком-то издательстве. К другим фортуна тоже оказалась не то что злой - равнодушной. Додика на старости лет приютила родина предков Израиль. Словом, одних уж нет, а те далече.

Компании все-таки существуют для времяпрепровождения. Для души был у меня свой дружеский круг: моя двоюродная сестра Нонна и ее подруга по консерватории Женя Серович. Обе преуспели в своей профессии, одна - известный музыковед, другая многие годы преподает в Гнесинке. Друзья тоже в грязь лицом не ударили. Раймонд Гарегинович Карагедов был отличным экономистом, трудился в научных институтах в Новосибирске и Ереване. Гриша Шакарян возглавлял конструкторское бюро, награждался государственной премией за создание навигационного оборудования для военных кораблей. Несколько лет бился за разрешение передать свои изобретения в гражданский флот, доказывал: потеряем время - аналогичные технологии появятся за рубежом, упустим выгоду, будем вынуждены догонять там, где могли бы задавать тон. Не сумел доказать, точнее - не успел.

Самый близкий мой бакинский друг Рафик Матевосян, меломан, романтик и незаурядный математик. Успех в жизни достался ему непросто. Рвался после десятилетки на фронт, не пустили - отец, крупный хозяйственник, был осужден как "враг народа". Впоследствии реабилитирован, но Рафику пришлось ловить подозрительные взгляды кадровиков и ощущать на своем жизненном пути постоянное "сопротивление материала". Он пробился, не сохранив и тени обиды на Систему. Будучи уже доктором наук, руководителем отдела в засекреченном институте, так и не получил партийного билета, но горевал за распавшийся Союз больше, чем иные его столпы. Вот кто, наверное, может без оговорок считаться советским человеком.

Вспоминаю вас, друзья, молодыми и полными надежд. Мы лениво прогуливаемся по бульвару, вдыхая смесь запахов моря и цветов. Очарование южной ночи настраивает на лирический лад. Рафик, все еще не расставшийся с мечтой стать оперным певцом, пропоет вполголоса арию Герцога. Потом мы затайем под гитару модную в те времена песенку из французского фильма:

Жизнь так хороша,  
Нет ни гроша,  
Надо смеяться и петь.



Если денег нет,  
Мой тебе совет:  
Их и не стоит иметь.  
Крыши Парижа  
Ты видишь вокруг,  
Счастье не в деньгах,  
Мой друг!

К нам присоединяются прохожие, образуя круг - символ общения. В карманах пустота, но мы безумно веселы. Все ведь впереди.

К началу 50-х годов, когда я приобрел профессию и задался вопросом: "Что дальше?", из Баку уже начинался великий исход. Почин положили "звезды". Едва загорясь на местном небосклоне, они получали лестные приглашения перебраться в столицу. Потянулись туда, как растиньки в Париж, честолюбивые юноши и девицы, не чаявшие найти применение своим талантам в родном городе. Это было еще в рамках извечной традиции. Москва, как всякий столичный град, жадно всасывала в себя даровитую молодую поросль вместе с искателями легкой карьеры, просто желающими получше устроиться в жизни или путешествующими, чтобы мир посмотреть, себя показать. "Человеческая дань", которую провинция платит столице, не имея даже возможности предъявить встречный счет, чувствительна, но в конце концов возмещается приростом новых дарований. К тому же часть "искателей", не найдя себе места в мегаполисе с его изматывающим жизненным ритмом, возвращается восвояси.

Словом, в общественном механизме существуют своего рода узлы саморегуляции, более или менее рационально распределяющие мятущуюся людскую стихию. Власть может помогать этому органическому процессу "определения судеб" умными законами, а может и коверкать его. Именно это случилось, когда Багиров и его соратники начали методически выдавливать из республики "инородцев", высвобождать место для выпускников вузов - азербайджанцев. Первыми, кому пришлось "посторониться", стали армяне, русские, евреи и прочие "инородцы", занимавшие командные посты. За ними - служилые среднего звена. А там и рядовые.

Мои дядя и отец были профессионалами. Порядочные люди, подношений от клиентов не требовали, с коллегами жили ладно, перед начальством не заносились. Но вот началась "кампания", их, как и других адвокатов "некоренной национальности", стали выживать, лишая даже скромного заработка. Отец сдался первым, уехал в Краснодар. Дядя еще несколько лет держался, в конце концов против него начали фабриковать дело о взятке. Прямо дали понять: не уедешь посадим. Искать правды было не у кого. Его с семьей приютили родственники в Москве.

Все это, как и финальная операция по "зачистке" от инородцев, было еще впереди. Но предвидеть нечто подобное не составляло труда. В том числе и на моем частном опыте. Добившись в конце 46-го года перевода в родной город, я, боевой офицер, получил здесь назначение заместителем командира батареи к юному лейтенанту-азербайджанцу, только что вышедшему из стен училища. Меня это не слишком трогало, поскольку я не собирался оставаться "в кадрах" и вскоре был отпущен на гражданку. Но еще только подавая документы в университет, решил для себя: здесь мне рассчитывать не на что. А летом 49-го, прочитав в "Правде" объявление о большом наборе аспирантов в академические вузы, решил окончательно: в Москву!

Была еще одна веская причина отряхнуть бакинскую пыль со своих ботинок. В этом городе я встретил свою первую любовь - девушку с головкой, словно послужившей моделью для ангельских голубок французского живописца Ж.Б. Грёза. Два года длился наш роман, было уговорено пожениться, как только мы с ней получим дипломы (она училась в индустриальном). Но в последний момент ее увел сын академика. Я сильно терзался, написал ей, пытаюсь удержать:

Ты уйдешь - меня не станет.

Нет, не то что я умру.  
Тело жить не перестанет,  
Не грозит ничто уму.  
Просто я не буду мною  
Головешка от огня.  
Да и ты совсем иною  
Тоже будешь без меня.

Потом успокоился, усмотрев в этом перст судьбы. "Во всяком плохом деле надо видеть хорошее", - изрек Мао Цзэдун, перефразировав по-своему пословицу "нет худа без добра". Поженись мы тогда, я мог, видимо, на годы застрять в Баку в роли следователя или адвоката, по отцовскому примеру.

Много лет спустя узнал от приезжих бакинцев, что моя несостоявшаяся невеста вскоре развелась и уехала по назначению на работу в Небит-Даг.

Чем дольше я живу, тем сильнее посещающее меня временами желание увидеть из окна железнодорожного вагона огни Баку, пройтись по его центральным улицам (если они еще сохранились!) - Кривой, Торговой, Сураханской, Красноармейской, Видади... Зайти во двор старенького дома, в котором прожиты детские годы, посидеть на скамейке на приморском бульваре и в парке Площади Свободы. Увы, это невозможно. Гейдар Алиев обвинил меня и других армян, близких к Горбачеву, в отторжении Карабаха от Азербайджана. Есть и армяне, упрекающие за недостаточную помощь в обретении Карабахом независимости. Между тем Горбачев и его окружение, независимо от национальной принадлежности, исходили из задачи сохранения единого союзного государства. Этим все сказано.

Говорят, история всех рассудит. Ничего подобного! Остается предметом жарких споров едва ли не каждый значительный ее эпизод. Нет оснований полагать, что в этом случае будет иначе. Надо смириться.

И все-таки жаль, что нельзя посетить Баку еще раз, последний.

В Москве. Учение

Как ни гордился я бакинским "интеллектуальным шармом", столица есть столица, она сразу ставит на место самоуверенных провинциалов.

Устроившись жить у родственника, я без промедления отправился сдавать вступительный экзамен в Институт философии Академии наук. Хотя и окончил юридический факультет, в душе считал себя политологом, а эту науку относил к философии. На орденские ленты не надеялся, готовился беззаветно, проштудировал "основоположников", почитал Чернышевского, кое-что из Канта с Гегелем, даже полистал диалоги Платона. С тем отправился на Волхонку, не допуская мысли об осечке.

Заносчивость меня и погубила. Не думаю, чтобы юные выпускники московских институтов, получившие в тот день проходной балл, уж очень превосходили меня познаниями и способностью мыслить. Но они были вежливы, а я дерзок. Экзаменатор, тучный рыжий невзрачный очкарик, выслушав без замечаний мой ответ по билету, задал вопрос: "Сколько глав в "Анти-Дюринге"?" Я назвал наугад и промахнулся. Еще пара вопросов по существу, с которыми я легко справился. Тогда он опять подставил подножку: "Сколько у Ленина "Писем из далека"?" Тут уж я взорвался: "Послушайте, я пришел сюда сдавать философию, а не арифметику!" Разозлившись, он стал откровенно меня "сыпать". В итоге - тройка. Сдавать дальше не имело смысла, возвращение в Баку исключено. Решил рискнуть еще раз, вооружившись горьким опытом. Философа из меня не вышло, вдруг повезет на другом поприще. Понес документы в Институт права (теперь - государства и права), благо что с Волхонки до улицы Фрунзе (теперь - Знаменка) рукой подать.

Встретили меня на удивление радушно и предложили завтра же сдавать... философию. Э, нет, это удовольствие лучше оставить на десерт, а начать с английского, поскольку благодаря курсам чувствовал себя уверенно. Правда, Диккенс был мне не по зубам - на одной странице находил до полусотни незнакомых слов, зато Оскара Уайльда читал бегло - вот как надо писать! Короче, своими познаниями я поверг в шок приемную комиссию и

получил в зачетной книжке первую пятерку. Дальше подтвердилась формула: деньги к деньгам, пятерки к пятеркам. Сдавая теорию государства и права, я еще малость волновался, а на философии разошелся, начал сыпать цитатами, молодой симпатичный экзаменатор куда-то торопился, в ужасе замахал руками, потребовал зачетку, дружески мне подмигнул и вписал заключительное "отлично".

Вместе со мной в аспирантуру были приняты еще несколько "партизан", то есть претендентов на свой страх и риск. В большинстве - выпускники московских вузов, явно превосходившие знаниями молодых людей из провинции, а в некоторых случаях и заручившиеся солидной протекцией. Среди них была чемпионка по конькобежному спорту, принятая, по-видимому, чтобы укрепить академическую команду. Вокруг нее постоянно гуртовались лица "кавказской национальности", любители пикантных историй из спортивной жизни. Популярностью пользовался рассказ о том, что каждый раз, когда муж начинает ей надоедать, она пинком отправляет его с кровати к противоположной стене. В подтверждение предъявлялись железные икры, и желающим дозволялось их пощупать. Через год ее отчислили за несдачу кандидат-ского минимума.

Основную массу свежееиспеченных аспирантов составляли не "партизаны", а приехавшие из республик по "разнарядке". Баллы им натягивали, поскольку за каждым заранее закреплялось место. Отсылали ни с чем разве уж совсем темных, балбесов. Особенно большие группы прибыли из Грузии и Азербайджана. Всего же в тот год было принято в аспирантуру института почти 100 человек. Такие же квоты выделялись и другим гуманитарным институтам, а уж технологическим, надо полагать, как всегда в два-три раза больше.

Вспоминая об этом, не могу не отдать должное предусмотрительности властей. После опустошительной войны, кособокой прошедшей и по научным кадрам, восстановить потенциал науки можно было только масштабным вливанием свежей крови. При всех тогдашних тяготах государство не остановилось перед значительными расходами. Аспиранты ведь получали по 780 рублей - такие деньги тогда зарабатывал не каждый специалист на производстве. Понятно, какая-то часть из этого массового "призыва" отсеялась, но большинство все-таки состоялось, оказалось способным переосмыслить неприкасаемую твердь нашего гуманитарного знания, подступить к его капитальному ремонту. Сходя теперь со сцены, оно вынуждено передавать эстафету главным образом внукам по возрасту, так как подготовить должным образом "среднее звено" не позаботились.

\* \* \*

Итак, моим очередным шефом следовало считать директора Института права, члена-корреспондента Академии наук Евгения Александровича Коровина. С большой натяжкой, потому что Институт, как все важные идеологические учреждения, управлялся партийным бюро и находился под неусыпным контролем Киевского райкома КПСС. Кое-какой властью обладал Ученый совет, директор же, если и значил что-либо, умело это скрывал. Европейски образованный человек, свободно изъяснявшийся на нескольких языках, говорили, лучший по тем временам в Союзе знаток международного права, он часто выезжал в зарубежные командировки, а с 57-го года до кончины представлял СССР в Постоянной палате Третейского суда. За все время учебы мне посчастливилось пару раз увидеть его в Институте всегда торопящегося и, несмотря на солидную комплекцию, прыгавшего по лестнице через ступеньку.

Правда, однажды мы его, что называется, "застукали". Мэтр завел интрижку с молоденькой кандидаткой наук и, опасаясь нескромных взоров, выбрал для свидания ресторан "Якорь" на улице Горького (ныне там располагается Палас-отель). Худшего не мог придумать - как раз в этом здании размещался так называемый Дом для приезжающих ученых, в просторечии - аспирант-ское общежитие Академии... Вдобавок подслеповатый академик, а может быть, и не помнящий в лицо подопечных, усадил свою даму и стал с ней флиртовать через столик от нашей компании. Пришлось незаметно ретироваться, чтоб не ввести в конфуз почтенного человека.

Я благодарен судьбе за три аспирантских года. Прежде всего за возможность общаться с людьми, составлявшими цвет российской юриспруденции. Не стану даже их перечислять, скажу только, что все тогдашние крупные теоретики права либо значились сотрудниками Института, либо регулярно в нем бывали, участвуя в заседаниях Ученого совета и различных дискуссиях. Не проходило дня без какого-нибудь знаменательного события. То "сам" Андрей Януарьевич Вышинский пожалует просветить ученую братию. То схватятся два блистательных полемиста, разинув рты, как замороженные, следим за искрометной интеллектуальной дуэлью. То на партийных собраниях, продолжающихся по два-три дня, косят друг друга враждующие группировки и научные "школки", обвиняя в невежестве, догматизме, ревизионизме и прочих смертных грехах.

Бездна эрудиции. На заседании сектора теории историк Галанза мимоходом замечает, что "еще Максим Ковалевский сказал... цитирую по памяти..." Заведующий сектором, любознательный Гаврила Иванович Федькин удивленно вопрошает: "Неужто так и сказал?" Галанза, не отвечая, обращается к одному из аспирантов: "Голубчик, сходите в библиотеку, найдите там работу Ковалевского "От прямого народоправства к представительному", если память мне не изменяет, на такой-то странице должна быть эта мысль". Память ему не изменяет.

Каскады остроумия. Степан Федорович Кечекьян при обсуждении вопроса о происхождении русского государства сочувственно излагает концепцию, согласно которой россы были рабами в каком-то нордическом племени, рассорились с господами, ушли на юг и основали собственное государство. Владимир Покровский возмущается: "Что же, мы, русские, по-вашему, приходим от рабов?!" - "Не вижу ничего обидного, - отвечает Кечекьян, - на вашем месте я, как марксист, гордился бы, что не от рабовладельцев".

Вагон желчи. В ходе заседания Ученого совета, переходящего в разбор персональных дел на партбюро, два ведущих специалиста по колхозно-земельному праву, свирепые соперники, обмениваются сначала аргументами, потом инвективами и личными оскорблениями. "Какую еще позицию может занять мой оппонент, если он сын кулака и кулацкий нрав унаследовал по наследству!" - ехидничает один. "Да, я сын кулака, и как только начал понимать это - ушел из семьи. Я был сыном кулака, но никогда не был сукиным сыном, как мой оппонент".

Обоим влепили по строгачу.

Вообще, достаточно было пошататься по коридорам старинного особняка или потолкаться в буфете, чтобы собрать баул оригинальных мыслей, тонких намеков и язвительных шуток. Но мое восхищение блестящими столичными мудрецами достигло апогея, когда в Институте была организована научная конференция по поводу очередной гениальной работы товарища Сталина. Под Новый год вождь, по заведенному обычаю, давал интервью японскому агентству "Киодо Цусин". На вопрос корреспондента: "Можно ли предотвратить новую мировую войну?" (цитирую по памяти) - он ответил: "Да, можно". - "А что для этого надо сделать?" "Надо, чтобы народы взяли дело мира в свои руки и отстаивали его до конца".

Представьте тех же Коровина, Галанзу, Кечекьяна и прочих светил права, выступающих с докладами по этому поводу. Я искренне жалел их и в то же время с любопытством думал, как же они выкрутятся. Никакого смущения. Один за другим выходили на трибуну, произносили обязательный панегирик, а потом говорили что кому нравится. Один поведал, что первым борцом за вечный мир в Европе был чешский просветитель Ян Амос Каменский. Другой - тот самый правовед-аграрник доказывал преимущества коллективной формы землепользования. Третий ударился в разоблачение поджигателей войны.

С тех пор я перестал чему-нибудь удивляться. Раз и навсегда усвоил, что высокому сообществу ученых одинаково подвластны и пытливый поиск истины, и искусство мимикрии. Они, за редкими исключениями, научились переключаться с одного занятия на другое без усилий, как переходят с языка на язык люди, усвоившие оба с детства. А иные

виртуозы наловчились соединять их в один "новояз", сопровождая каждую мысль оговоркой. "Я думаю... но, возможно, ошибаюсь". Еще лучше поменять утверждение и опровержение местами: "Возможно, я не прав, но мне кажется...". Догадайся Андрей Платонов заглянуть в наш институт, у него был бы материал для написания второй части "Чевенгура" - на сей раз из научной жизни.

Молодежь, по обычной своей беспечности, позволяла себе иронизировать над духом рабOLEпия, пока не получила предметного урока. Один из аспирантов был арестован за антисоветские высказывания, распространился слух, что это было сделано по доносу Серафима Александровича Покровского. Очень неглупый человек, Покровский имел несчастье вступить в полемику с самим Сталиным, поплатился ссылкой и был там завербован, получив взамен возможность вернуться в Москву. То ли сам вошел во вкус, то ли от него требовали периодических жертвоприношений для выполнения плана борьбы с антисоветчиками (я склоняюсь ко второй версии), не имело принципиального значения. Все осознали, что среди нас стукач; атмосфера в институте омрачилась. Мало кто был посвящен в "догадку", чьих рук это дело. Даже те, кто знал, предпочитали помалкивать: спасая из альтруистических побуждений других, можно нарваться еще на какого-нибудь скрытого доносчика.

Меня предостерег Борис Назаров - добрый малый из состоятельной, по меркам того времени, московской семьи. Отец его был председателем коллегии адвокатов, располагал по роду своих занятий обширными связями и, вероятно, получил сигнал от доброжелателя для передачи сыну-аспиранту. В свою очередь я поторопился поделиться с моим другом Федей Бурлацким, нигде его не нашел и уже собирался идти по своим делам, как наткнулся в коридоре на Покровского. Мы с ним поболтали о том о сем, тут откуда ни возьмись появляется Федор. Вот и принимайте потом за безвкусный вымысел странные совпадения, случающиеся в детективах, когда автор по прихоти сюжета сводит в одно место и час всех нужных персонажей.

Серафим Александрович, милейший мужчина с бородкой а-ля Троцкий, любил общество молодых, говоря, что с ними сам "освежается душой". Зная о стесненном (изысканное определение!) материальном положении аспирантов, он пригласил нас пообедать в Доме журналистов. За обедом поинтересовался нашим мнением о текущих политических событиях. Федя поддался на удочку и начал делиться своими, отнюдь не ортодоксальными воззрениями. Мне пришлось наступить под столом ему на ногу и одновременно перевести разговор на другую тему. Через некоторое время Серафим повторил заход. На этот раз я с такой силой вдавил каблук в ногу Федора, что он вздрогнул и наконец сообразил, в чем дело.

Этот эпизод описан в одной из его книг\*, так что желающие могут сверить два изложения. Бурлацкий даже считает, что я тогда спас ему жизнь, а мне порой приходит в голову, что Серафим, выполнив свою "норму", не собирался нас сдавать, а действительно интересовался, как настроена молодежь. Наверняка он оставался в душе оппозиционером и искал хоть какого-то оправдания своей опоганенной жизни. Спустя несколько лет, когда все это выплыло наружу, уверял, что отводил, как мог, удар от самых достойных. Очевидно, это можно было делать, "закладывая" никчемных. Оправданице.

Но вот что любопытно. При тиране Сталине политическая жизнь была намного интенсивней, чем при милейшем Леониде Ильиче. В 70-е годы на партийных собраниях царила откровенная скука - не было нужды кого-то преследовать и что-то запрещать, поскольку все раз и навсегда согласилось, что это не место для "разборок". У партийного актива отбили охоту делиться с товарищами сомнениями, искать их поддержки, рассуждать вслух. Может быть, где-то в глубинке дело обстояло иначе, не спорю, я говорю о партжизни в аппарате ЦК и некоторых академических институтах, где пришлось бывать по долгу службы.

И как же отличались от этого парадного действия, проходившего по заранее заготовленному и утвержденному начальством сценарию, баталии, на которых сановитые

ученые вступали в перепалки, полагаю, не менее страстно, чем в периоды борьбы с "рабочей оппозицией", троцкистами, бухаринцами и прочими нечестивцами. Атмосфера особенно накалялась при пере выборах партийного бюро. Ведь тогда это была реальная власть, ни одного приказа директор не мог подписать без согласия партийного секретаря, а на характеристиках, рекомендациях и других важных для самочувствия документах - и "тройки", то есть добавлялся председатель профсоюзной организации. Влиятельные группировки старались протолкнуть "своих" и просто с целью не пропустить "чужих", которые, получи они перевес, могли при случае сильно навредить. В результате голосование затягивалось до поздней ночи, приходилось бесконечно пере голосовывать, а иной раз и переносить финал на следующий день.

Не обходилось без шуток. Был среди нас великовозрастный аспирант Глинка. Прямой потомок великого композитора не отличался ни талантом, ни трудолюбием так и просидел аспирант-ский срок, причем не первый, не сдав кандидатских экзаменов. Но человек был душевный: выпивоха, остролов, гостеприимный хозяин, охотно устраивавший посиделки в своей уютной квартире. Так вот, каждый раз при оглашении результатов голосования объявлялось: "И один голос за Глинку". Встречалось общим смехом и несколько разряжало атмосферу. Раз и я вписал его фамилию, ожидая, что теперь за Глинку будет два голоса. Нет, опять один.

Уже на первом году аспирантской жизни меня избрали секретарем комсомольской организации и одновременно поручили заведовать агитпунктом. Под него отдали большую светлую комнату на первом этаже, таким образом я стал обладателем кабинета почище директорского. Посетители не докучали - изредка заглянет пенсионер с просьбой о материальной помощи или женщина с ребенком, умоляя предоставить давно обещанную жилплощадь. Просьбы и жалобы передавались в райком и исполком. Как правило, не оставались без ответа: пенсионеру в разовом порядке выдавали на бедность двести рублей, женщину в очередной раз ставили в очередь. Мои агитаторы знали жителей своего участка в лицо, налаживали с ними добрые отношения, чтобы не подвели, явились "исполнить гражданский долг". Отличился мой земляк Фирудин. Получая от отца, председателя колхоза, увесистые посылки с фруктами, раздавал их "своим" избирателям и в день выборов привел всех до единого за час до начала голосования, а затем без обиняков потребовал, чтобы этот пример политической активности советских людей был отмечен всенародно. Мы сообщили об этом в сводке, отсылавшейся в райком, на другой день наш герой мог прочитать свою фамилию в "Правде", а в его селе по этому поводу устроили байрам.

В качестве комсомольского вожака мне пришлось часто бывать в райкоме, выполнять всевозможные поручения: быть бригадиром на уборке картофеля в подмосковном совхозе и звеньевым на строительстве университета, опекать гостей молодежного фестиваля, в составе райкомовской комиссии проверять работу комсомольской организации в других академических институтах. На различных постах в райкоме было немало славных ребят. Тогда еще не выкристаллизовался тот тип комсомольского бюрократа, который стал притчей во языцех в 70-е годы, в секретарях ходили не успевшие "забронзоветь" вчерашние офицеры-фронтовики, ударники производства, бойкие выпускники московских вузов. Меня тоже пытались перетянуть к себе, суля начать карьеру аж со второго секретаря РК. Я вежливо отклонил эту честь.

Много времени отнимали свои. Почти все аспиранты носили комсомольский значок, члены Бюро должны были выслушивать их жалобы, хлопотать об устройстве в общежитие, разбирать склоки, увещевать нерадивых, поддерживать дух у тех, кто, завалив кандидатский экзамен, готов был повеситься. Словом, выполняли роль строгих, но заботливых родителей. Правда, в основном для иногородних.

Москвичи держались независимо. У них было неоценимое преимущество возможность жить дома, быть избавленными от постоянного изнурительного поиска - где спать, что есть, как постираться. Немало весило и усвоенное чуть ли не с пеленок знание городской культуры. Она ведь своя у каждого большого города, у столицы - тем более. Как принято в

Москве говорить, вести себя на улице, в магазине, ресторане, общаться с сослуживцами, что здесь принимается за проявление дурного вкуса, где дешевле починить прохудившиеся брюки, как быстрее добраться от Центра до станции "Удельная" Казанской железной дороги, где поначалу поселили приезжих, - не посвященные во все тонкости московской жизни могли стать предметом насмешек и даже влипнуть в неприятную историю.

Мне настраиваться на московскую волну не пришлось - здесь у меня было много родственников по материнской линии (Даниэлянцы), я гостил у них по несколько недель. Запомнился эпизод. Мне 13 лет, разгуливаю по Центру, дивясь красивым зданиям и глазая на витрины. Покупаю с лотка французскую булочку с горячей котлетой (их называли "микояновскими"). Лакомлюсь арбузом, который продавался тогда ломтиками. Так дохожу до "Ударника", где на щите читаю: "Большой вальс". Захожу в зрительный зал, гаснет свет. На экране появляется ослепительная Милица Корьюс, обаятельный Жюльен Дювивье и два часа льются потоком волшебные мелодии. Многие мои сверстники писали, что этот фильм буквально потряс их (например, Юрий Нагибин). Готов подтвердить. Я вышел из кинотеатра ошеломленный, немедленно приобрел на остатки денег, ссуженных дядюшкой, билет и поторопился на второй сеанс. В последующие дни моего пребывания в столице еще несколько раз побывал в "Ударнике". После войны в Баку компанией ходили в сад, усаживались на скамейки у дощатых стен летнего кинотеатра, слушали дивную музыку и соревновались, произнося реплики, которые должны были последовать. И сейчас я несколько раз в год просматриваю пленку с любимым фильмом, он возвращает мне ощущение молодости. Может быть, мания? Что ж, дай бог каждому занять такую.

Итак, я без усилий "вписался" в московскую жизнь. Это по-своему выразилось в том, что аспиранты-москвичи быстро приняли меня за своего. Вообще-то ребята были воспитанные, старались не заноситься, но ощущение своего превосходства, как его ни скрывай, нет-нет да вырвется наружу. Подмывает ведь блеснуть эрудицией, чтобы утереть нос грузину, не читавшему в подлиннике Локка и Монтескье, но нахально отбивающему у вас красивых девушек. Или поиздеваться над корейцем, который никак не овладеет шипящими. Его невинно спрашивают, знает ли он, где город Мытищи. "Мытиси? - переспрашивает он, не чувствуя подвоха. - Мытиси не знаю". - "А Пушкина читал?" - "Пушкин? Читал, читал!"

Впрочем, подобные развлечения не нарушали аспирантского товарищества. Москвичи помогали иногородним подыскать жилье, натаскивали перед сдачей зачетов, исправляли грамматические ошибки в рефератах, приглашали отоцавших коллег на сытный домашний обед. Иногда звали и позаниматься вместе. У нас образовался небольшой кружок: Борис Назаров, Вера Малькевич, Коля Микешин, Валя Клеandroва. Спорили "по науке", обсуждали институтские события, вполне откровенно, не боясь, высказывались "по политике". Отношения - самые целомудренны, флирт и развлечения только на стороне.

С Микешиним нас связывали приятельские отношения долгие годы. Вместе трудились в Политиздате и жили год в одном дачном домике в Кратово, позднее вновь "сошлись" в редакции международного журнала в Праге. Признаться, я был шокирован, когда уже после смерти Николая прочитал в журнале "Наш современник" статью его дочери с самыми злобными на себя нападками, какие пришлось когда-либо слышать. Через некоторое время еще одна статья с тем же градусом ненависти, если не больше. Чем это я так досадил милой Танечке, которую знал с четырехлетнего возраста? Сознаю, это не довод в политической полемике. И все-таки...

Состоялся ли наш "аспирантский набор"? В общем, да. На глазок, две трети "остепенились", треть вышла в доктора наук. Борис Назаров возглавлял Комитет по защите прав человека. Исмаил Алхазов был членом Верховного Суда СССР. Леван Алексидзе стал помощником по международным вопросам у двух президентов Грузии. Ираклий Сакварелидзе занимал высокий пост в Совмине республики. Гиви Инцкирвели был ректором Тбилисского университета. Несколько наших аспирантов из среднеазиатских республик работали министрами юстиции, председателями Верховных судов, республиканскими

прокурорами. А те, кто избрал научное поприще, оставили заметный след в юридической литературе и законодательной практике.

Но, за редкими исключениями, это поколение не дотянуло до перестройки или, встретив ее на пенсии, осталось в стороне от накотившейся на страну бури. Валерий Савицкий, Александр Николаевич Яковлев, Анатолий Собчак, Сергей Шахрай, Сергей Станкевич и другие юристы, "сходившие" с ее помощью во власть, были уже из другого поколения, по большей части не из того гнезда.

Сказал и задумался: а Федор Михайлович Бурлацкий не "сходил" во власть? Формально да: заведовал консультантской группой в Отделе ЦК КПСС. По существу, нет. Посидеть в кабинете и походить по коридорам здания на Старой площади ему довелось недолго. А ведь мог, будь похитрей. Ему благоволили поначалу многие "наверху", надо было только не слишком "светиться" в критицизме либо, напротив, идти уж в открытую, как диссиденты. Бальзак сказал, что во французское высшее общество можно было проникнуть двумя способами: вползти змеей или ворваться пушечным ядром. У нас до перестройки можно было только змеей, а после - ядром. Федор Михайлович, вероятно, как и ваш покорный слуга, завис между этими двумя крайностями. Ну и что? Написал несколько отличных книг, поучаствовал в политических схватках, позанимался вволю спортом. Мы с ним с аспирантских времен соперничали. По-моему, я его перебивал в шахматы и настольный теннис, он меня - во всех остальных видах.

В последние годы мне крайне редко, но все же приходилось бывать в особняке на Знаменке, и всякий раз открытая Марселем Прустом "память чувств" рисует картину читального зала с согнутыми над книгами аспирантскими спинами. Верхний свет погашен, маленькие лампы на столах вырывают из темноты сморщенные в творческом усилии лбы. Скрипят перья, мудрые мысли из старинных фолиантов перекочевывают в линованные школьные тетрадки. Они найдут место в диссертациях, в редких случаях - послужат удобрением для вызревания какой-то новой идеи. Можно подойти к библиотечарше, спросить, что нужно, но шепотом. Как в храме. Нельзя отвлекать верующих от молитвы, аспирантов от учения. Они сами отвлекаются, да еще как!

Нужно добывать хлеб насущный. 780 рублей стипендии - приличные деньги, при том что в институтском буфете можно перекусить за трешку, пачкапельменей стоит пятачку, столько же стограммов деликатесов - буженины, черной икры, севрюги горячего копчения; бутылка водки - 6 рублей, автомобиль "Волга" - 16 тысяч. Но из стипендии вычитается подписка на очередной заем, раз в неделю надо сходить в баню и заплатить четвертак уборщице тете Маше, подрабатывающей стиркой белья. Что-то регулярно случается с туфлями и единственным комплектом верхней одежды, сам не можешь поправить - иди в мастерскую. Проезд на городском транспорте и электричке тоже не бесплатный. Есть потребность сходить в кино и сводить в театр знакомую девушку. Глядишь, уже к середине месяца в карманах пусто, бери, где сумеешь, в долг, иначе зубы на полку. Можно, конечно, попроситься в гости к родственникам, но частить неприлично. Мы бедные, но гордые.

До сих пор кажется фантастикой, как мы ухитрились прожить вторую половину месяца. Во многом выручала развитая кредитная система. "Стреляли" друг у друга, у соседей-философов, у той же тети Маши и сторожа дяди Коли. А самые нахальные брали в долг у научных сотрудников, в том числе - своих научных руководителей. Эту жилу открыл Ефимов. Длинный, худой, с волосами цвета соломы и озорными глазами, неизменно в кирзовых сапогах и гимнастерке, туго затянутой армейским поясом с бляхой, жизнерадостный, умный, может быть, самый талантливый из всего набора 1949 года и, к несчастью, запойный пьяница. Как только мы не старались его излечить - все впустую. Увещевания воспринимал благосклонно, каялся, клятвенно обещал завязать, а назавтра за свое. Попытались даже на пересменку держать его под надзором. Куда там! Отвернешься, он уже мчит в ближайший ларек хватить 200 граммов с прицепом - то есть кружкой пива или томатного сока.

Кончил плохо: оставшись один в общежитии, собрал одеяла, белье, какую-то утварь,



продал на рынке, напился до бесчувствия и завалился спать. Два дня не мог очухаться. Его судили, срока за хищение не дали, пожалели фронтовика, отослали на принудительное поселение, кажется, в Салехард. Через несколько дней после отъезда я получил письмо, в котором он просил у коллектива прощения, а полагавшуюся за месяц последнюю стипендию "завещал" раздать заимодавцам. Обойдя Институт, я установил, что к ним относятся директор, заведующие секторами и добрая половина научных сотрудников. Общая сумма долга перевалила за 3 тысячи рублей, а остатки от стипендии после вычета стоимости одеял - 150 рублей. Примерно столько же Ефимов позаимствовал у меня и других аспирантов. Посовещавшись, мы рассудили, что преимущественное право на возмещение убытков имеют самые бедные. С этим согласились и крупные кредиторы: давая Ефимову займы, они и так не рассчитывали получить что-либо обратно. Мы отправились в Домжур и посидели за рюмкой водки, вспоминая эту бедовую голову.

Спустя три года Ефимов внезапно появился в Кратово, где мы с женой снимали комнатуху. Так я и не понял - не то отпустили, не то сбежал. Побыл с нами день, переночевал и исчез - на сей раз бесследно.

Признаюсь, поначалу мне было очень туго. "Первогодкам" не полагалось общежития - Академия не хотела выбрасывать деньги на ветер, как правило, отсеивались случайные "ходоки" в аспирантуру. Сдавших кандидатский минимум уже можно было дотянуть до диссертации, выполнить тем самым государственный план по подготовке квалифицированных специалистов. Вот о них стоило позаботиться. Пришлось мне принять предложение В. Буздакова, с кем мы вместе приехали из Баку, и снять на двоих комнату в доме на улице Горького, выходявшем одной стороной на Пушкинский бульвар. Что и говорить, место - лучше не придумаешь, комната уютная, хозяйка доброжелательная старушка. Одна беда - платить приходилось по 250 рублей каждому. Для Буздакова, отец которого был председателем Бакинского горисполкома и ежемесячно высылал сыну тысячу рублей, это ничего не значило. Для меня, чьи родители сами нуждались в помощи, такой расход был куда как ощутимым. Вдобавок он любил поговорить и, вернувшись поздно вечером домой после сытного ужина в "Арагви" или другом близлежащем ресторане, начинал делиться своими мыслями о странах народной демократии со мной, полуголодным, смертельно хотевшим спать. Однажды, вернувшись домой, я обнаружил под подушкой пустую винную бутылку. Попировав с девицей, сын бакинского мэра так подшутил над товарищем. Тут уж я не выдержал, придушил свою гордость и пошел просить партбюро о помощи.

Мне в виде исключения выделили койку в общежитии в Удельном, где Академия снимала дачные домики у частных хозяев. Удобств, понятно, никаких, кроме колодца во дворе и чуть подальше - выгребной ямы с водруженной над ней дырявой будкой. Дорога до Института отнимала полтора-два часа. Зато можно почитать в электричке, по выходным дышать свежим воздухом. И платишь за это удовольствие всего ничего.

Какая счастливая карта мне выпала - обнаружилось в первый же день моего пребывания в Удельном. Я приобрел там друзей на всю жизнь. Помню, приехал рано утром в будний день, комендант повел меня в один из домиков. В комнатухе стояло четыре кровати, в трех - мирно спали черноволосые молодцы.

- Дрыхнут круглые сутки, - раздраженно сказал комендант, - неизвестно, когда учатся. - Разозлился и выкрикнул: "Подъем!" Поскольку никто не пошевелился, махнул рукой. - Устраивайся, может, ты на этих лодырей повлияешь.

Стоило ему выйти, как все трое поднялись, высказались об "этом болване" и стали знакомиться. Итак, Ким Георгий Федорович, в последующем заместитель директора Института востоковедения, доктор исторических наук, член-корреспондент Академии наук СССР. Сафарян Степан Рубенович, министр финансов и торговли Армянской ССР. Мунчаев Рауф Магомедович, директор Института археологии Академии наук СССР, тоже членкор.

Бывает, людям нужны годы, чтобы понять и оценить друг друга. В молодости это происходит побыстрее. Нам понадобился один теплый день глубокой осени. Сначала мы

отправились на рынок, расположенный в полутора километрах, у станции. Скинувшись, закупили продукты в ларьке, бутылку водки, чтобы отметить знакомство. После затянувшегося пиршества отправились гулять, присоединились к подросткам, гонявшим на полянке в футбол, с треском им проиграли. Завалились спать. Наутро стали шарить по карманам - чем позавтракать. Безуспешно. Но тут повезло. На первом этаже жили аспиранты из Средней Азии, организованные ребята, по очереди варили в ведре суп, потом дежурный подсчитывал стоимость варева и раскладывал на всю компанию. Получалось, скажем, по рублю 37 копеек. Рассчитывались... хотел сказать, как в банке, потом, вспомнив нынешние банки, постеснялся. Как в аптеке.

Так вот, Мунчаев вышел во двор, увидел ведро с жидкостью, решил, что какая-то бурда, и выплеснул, чтобы набрать воды в колодце. Выскочили таджики, пришли в отчаяние. Рауф извинился, пообещал возместить убытки с процентами, а заодно занял до стипендии 100 рублей. В то время для нас сумма почти астрономическая. Тут же было решено ехать в Москву, прошвырнуться по "пикадилли" - участку улицы Горького от Елисеевского до Охотного. К утру следующего дня мы уже знали друг о друге почти все.

Д'Артаньяном в этой "мушкетерской четверке", одной из тех, что гуляют по романам и в бессчетном количестве воспроизводятся жизнью, был Ким. Гу Фу, как мы его называли, обладал качествами прирожденного лидера. Без колебаний решал стратегический вопрос: пойти по девочкам или сесть за карты? Брался за организацию Нового года, прочих праздников и просто компанейских застолий. Проявлял участие и первым бросался на выручку товарищам. Чаше других водил в ресторан и щедро одалживал деньги, когда они заводились.

А это случалось у него чаще, чем у других. Ким занимался историей КНДР, был знаком с сыном Ким Ир Сена, тем самым, что заступил теперь на место создателя "чучхе". С началом корейской войны у него не было отбоя от приглашений написать статью или прочесть лекцию. Как-то у него разболелись зубы, пришлось выступать с повязкой на щеке. Один из слушателей спросил, не вернулся ли уважаемый лектор прямо с фронта. "Это частный вопрос, - нашелся Ким, - подойдите ко мне после лекции". Аудитория приняла ответ за скромность и устроила ему овацию. Потом он честно пояснил любопытному, в чем дело.

Сколько знаю, его любили все, кто с ним трудился. Когда Гафуров ушел с поста директора Института востоковедения, коллектив однозначно высказался за назначение Кима. Отделение истории Академии тоже было настроено в его пользу. Но шел месяц за месяцем, а он оставался "и.о.", его кандидатуру наглухо заблокировали в Отделе науки. За него ходатайствовали многие. Я добился заверения Русакова о поддержке, но, не слишком ему веря, пошел к Зимянину, курировавшему идеологию. Михаил Васильевич, побывав в редакторах "Правды", был прост в обращении, даже чуть бравировал мнимой принадлежностью к журналист-ской братии. Никакие мои доводы его не брали. Сначала увертывался, валил на кого-то "наверху", потом все-таки выложил причину - он кореец, а на востоковедении должен сидеть русский. Я позволил себе несколько резких выражений, после чего он заявил, что таким тоном не разговаривают с секретарем ЦК. И припомнил мне позднее.

В конце концов нашли хорошего директора - Евгения Максимовича Примакова. Он сам был в дружеских отношениях с Кимом и постарался смягчить нанесенную ему обиду. Георгий Федорович не был карьеристом, но тяжело пережил очевидную несправедливость. Боюсь, эта история ускорила его кончину.

Не менее колоритной личностью был Степа Сафарян. Даровитый экономист, быстро нашел признание у себя в республике. Цепкий прагматизм - эта обязательная черта профессиональных финансистов - сочетался в нем с натурой глубокой и романтической. Он любил интеллектуальные споры, знал множество стихов и хорошо их читал.

На своем веку я встречал немало людей с такой же "двойной ориентацией", но они как бы отгораживались друг от друга - одна для дела, другая для развлечения. Степан же все старался как-то совместить прозу с поэзией, облагородить скучную материю денежных

знаков и торговых рядов. Когда я ездил в Ереван на премьеру своей пьесы "Тринадцатый подвиг Геракла", он показывал возведенный по его замыслу огромный рынок, с гордостью обращая внимание не столько на обилие снеди на полках, сколько на художественные изыски в архитектуре и оформлении.

В один из своих приездов в Москву пригласил меня в армян-ский ресторан "Арапат" на Неглинной, за шашлыком поделился грандиозным планом преобразовать это заведение в шедевр национальной культуры с имитацией величественных красот Армении, картинами из ее древней истории, подлинными хачкарами (каменные глыбы, на которых в Средневековье вырубались крест, орнамент, поминальные тексты), живописными полотнами, подвешенной, словно на горном выступе, эстрадной площадкой, миниатюрным ботаническим садом и другими чудесами. Ресторан-музей, ресторан-выставка, посетители которого, вкушая земную пищу, одновременно получали бы эстетическое наслаждение.

- А чем кормить там будут? - приземлил я своего увлекшегося друга.

- Разумеется, севанской форелью, доставляемой прямо с самолета, отмахнулся он. - Я назову его "Ахтамар".

Так называется стихотворение Аветика Исаакяна, которое он любил декламировать. Степа не дожил до воплощения своей мечты. Может быть, в Москве построят шикарный армянский ресторан, только вряд ли в его залах будет витать возвышенный, романтический дух.

Самым молодым в нашей компании был Рауф Мунчаев, олицетворение "горского" характера - независимый в суждениях и поступках, немногословный, верный слову и кунацким привязанностям. Способный археолог, он смолоду участвовал в экспедициях и привез оттуда немало ценных находок. Мы подшучивали: Мунчаев опять за горшками отправился.

Жить на природе полезно, но в центре столицы куда веселее. Мы ликовали, когда появилась возможность переселиться. Правительство, откликаясь на настойчивые просьбы Академии, передало в ее распоряжение вполне приличную по тем временам гостиницу на улице Горького, в квартале от Белорусского вокзала. Нас разместили по двое в чистеньких номерах с умывальником и телефоном, в коридоре - туалет и душ. В Удельном мы обитали в отдельном домике, не было возможности заводить светские знакомства. Здесь вместительное шестизэтажное здание было густо заселено молодыми людьми из всех городов и весей Союза. Вся эта многоязычная орава с утра до вечера перемещалась по гостиничным коридорам, устраивала посиделки, крутила любовь, рыскала в поисках пищи и развлечений. Случались драки и скандалы с вызовом милиции, но в целом среди постояльцев "Дома для приезжающих ученых" преобладали люди законопослушные и не торопившиеся вылететь из вожаделенной аспирантуры.

В период моей учебы в Университете у меня не было того, что принято называть счастливой порой студенчества. Слишком скоропалителен был срок, да и заполнен большей частью корпением над учебниками. Теперь я получил возможность испытать это состояние. Трудисься как вол, забот полон рот, а спроси, как жилось, первое слово просится на язык - беззаботно. Должно быть, изюминка в том, что ты сам себе хозяин. По крайней мере, за исключением обязательки (заседания сектора, партбюро, сдача зачетов), волен проваляться полдня в постели, читая сногшибательный роман, фланировать в компании по "московскому бродвею", играть в шахматы или карты, отправиться в поисках приключений в сад "Эрмитаж" или (и) напиться до чертиков.

Кстати, однажды так и получилось. У меня вконец износились брюки, пришлось потратиться на новые. Тут как раз подоспела стипендия, и друзья вызвались меня сопровождать. Выбрали какой-то диковинный вариант того самого цвета, какой был у лошади Д'Артаньяна. Естественно, решили обмыть, и все, наверное, обошлось бы чинно, если б на свою беду не наткнулись на Ефимова. Узнав, в чем дело, он с энтузиазмом к нам присоединился и взял инициативу в свои руки, сообщив, что знает одно подходящее местечко, где кормят вкусно и недорого. Этим местом оказался ресторан гостиницы

"Москва". Оттуда мы еще вышли в приличном виде, но ненасытный Ефимов потащил в какую-то забегаловку у Главпочтамта, затем в пивнушку на площади Пушкина, которую в народе звали "Бар Бадаева". Где-то с полдороги я перестал соображать, хотя, как уверяли самые стойкие на следующее утро, не буянил, а только спал на ходу. Лишь однажды, много лет спустя, повторился со мной такой пассаж. Слава богу, зеленому змию я не подвластен.

После того как Ефимова услали в Сибирь, возлияния случались, но вполне цивилизованные. Времяпрепровождение в гостинице отличалось чересполосицей, как в "Республике ШКИД". То на всех нападает вирус творчества: кто сочиняет поэму, кто гнет спину над рефератом, кто строчит статейки для радио, приносящие неплохой заработок. Трудовой порыв сменяется картежным загулом, дни и ночи напролет продолжается резня в очко. Неукоснительно соблюдается правило: выигравший в обязательном порядке ведет наутро в ресторан, где каждый волен выбирать что душе угодно. Миша Мелконян, бедняга, отчаянно проигравшись, решил хоть частично возместить понесенный ущерб и заказал столько, что две недели потом болел желудком. У него я, кстати, занимал костюм, идя на свидание.

Был у нас и свой Федерико (по Мериме) - Меджид Эффендиев. Наделенный от природы живым умом, но безгранично избалованный матерью, которая души в нем не чаяла, он категорически не признавал необходимости трудиться. Поднимался к полудню, занимался туалетом как заправский светский дэнди, не спеша поглощал изысканный обед в "Баку" или каком-нибудь другом близлежащем ресторане, наносил визиты знакомым дамам. Все это было прелюдией к "ночной жизни" Меджид либо исчезал, либо садился за карты. Играл цепко, жестко, беспощадно и почти всегда выигрывал. Остальные злились, даже подозревали, что он нечист на руку, но уличить не могли. Я думаю, секрет был не в мошенничестве, а в особом игровом таланте - памяти на вышедшие карты, интуиции, способности по выражению лица партнера, промелькнувших на нем радости или огорчения, угадать, сидит он с вожделенной "двадцаткой" или недобрал до несчастной "казны" (семнадцать очков).

Спустя годы, когда я работал в аппарате, Меджид позвонил, попросил помощи. Его выставили за нерадивость из Издательства иностранной литературы, а мама уже вышла на пенсию, не в состоянии была содержать отпрыска. Я его пристроил в какое-то другое издательство.

*Sic transit gloria mundi.* Тогда же, выпотрошив скудное содержимое наших карманов и нацепив цветастый галстук, Меджид царственным жестом приглашал нас спуститься в "Якорь". За рестораном на первом этаже гостиницы сохранились прежние название и даже национальный профиль. Здесь готовили традиционные блюда еврейской кухни - эсик-флейш, росл-флейш, форшмак и т. д. Ходили ли сюда московские старожилы-евреи, не знаю, а для "приезжающих ученых" ресторан стал просто дорогой столовой. Официанток звали по именам, они тоже к нам привыкли, любили поболтать "за жизнь". А уж Меджида, щедрого на чаевые, принимали как принца.

Кто только не захаживал в "Якорь". Там я познакомился с Тиграном Петросяном, заглянувшим навестить земляков. Мигом раздобыли несколько шахматных досок и организовали сеанс одновременной игры. Знаменитых посетителей, приезжавших навестить своих детей или племянников, встречала сама Алла Генриховна - дородная директриса, обладавшая навыками надзирательницы в пансионе благородных девиц. Однажды наша компания, заявившись домой в середине ночи, нашла двери гостиницы запертыми. Безуспешно в нее побарабанив, мы пробрались во двор, разыскали лестницу и приставили ее к своему, третьему этажу, благо окна на галерее были отворены. Один за другим начали восхождение. Неожиданно является разбуженная Алла Генриховна и берется за лестницу, словно намереваясь сбросить нас на землю.

- В следующий раз, - заявила она своим зычным голосом, - сброшу, милицию звать не буду.

Мы дружно заверили, что следующего раза не будет и вообще вернулись так поздно со

свадьбы.

- Знаю я вас! - проворчала директриса, но смиростивилась. Потом у нас с ней установились хорошие отношения, несмотря на грозный вид, она оказалась добрым человеком.

По весне мужская часть "Якоря" выходила чуть ли не в полном составе на улицу в поисках приятных знакомств. Тогда это было не слишком сложно. Сразу после войны дисбаланс между женским и мужским населением превысил все нормы, а теперешняя подозрительность к "лицам кавказской национальности" еще не созрела. Нацмены не успели надоест москвичкам, напротив, принимались за иностранцев. Преуспевали, как всегда, нахалы. Миловидный Сурен Овнанян охотно делился своим методом: "Пристаю к десяти, пять не ответят, три обманут, две придут на свидание, одна уступит. Чем плохо!" Назначал встречу этот обольститель "у тунгуза", то есть с соответствующей стороны памятника Пушкину. Обращался к очередной пассии: "Ты моя прелость!"

За лирической полосой следовала спортивная. Ездили в Серебряный Бор или Щукино купаться, загорать, играть в футбол. Троллейбусы ходили исправно, берег был доступен всем, общепит на высоте. Все, конечно, скромно, если судить по нынешним стандартам. Теперь в Москве почти два миллиона автомобилей, вокруг нее дач и коттеджей настроено видимо-невидимо. А природа, постаревшая за полвека, выглядит намного старше своего возраста. Да и доступна не каждому.

Надо сказать, при всех особенностях национального характера, о чем теперь так любят рассуждать, наша многонациональная братва мало чем отличалась в житейских склонностях от "средневзвешенных" жителей столицы. Любили погулять в парке Горького, Сокольниках, саду "Эрмитаж". Посещали концерты Утесова, представления ансамбля Моисеева и "Березки". Самым большим праздником были для нас футбольные матчи на стадионе "Динамо". Не такой уж я заядлый болельщик, а все-таки старался не пропустить ключевых поединков: ЦСКА-Динамо-Спартак, в особенности же со всякими заезжими из-за рубежа командами. Тут главное было в неповторимом ощущении единения с огромной массой людей, ожидание "события" забитого на твоих глазах, вроде бы с твоим участием, гола, и раздающегося затем победного рева.

Я все говорю о своих друзьях, но "Якорь" наряду с малыми "общинами", жившими своим уставом, был и общим домом для поселенцев. Собирались собрания, избиралось самоуправление, прорабатывали нарушителей порядка, скидывались для совместного проведения праздников. К этим формализованным связям добавлялись стихийные, основанные на душевном тяготении. Одному парню из Узбекистана отец регулярно посылал яблоки и орехи. Ими питались, сидя на мели. Ким, опубликовав очередную статью, звал к себе на сабантуй чуть ли не весь этаж. Так же употребил и я свой первый гонорар, полученный за статью в журнале "Государство и право" (отчет о конференции в Институте). За несколько дней до стипендии, когда были исчерпаны все ресурсы, напрашивались в гости к аспиранткам. Более бережливые, девушки распределяли свои доходы на месяц, к тому же им не приходилось платить за ухажеров в кино или ресторане. Они попеняют, мол, ухаживать вы мастера за другими, а кормиться к нам, но чая и бутербродов с маслом для голодающих товарищей не пожалеют.

Учение и развлечения отнимали много времени, но надо было и подрабатывать. Неожиданно у меня появился источник "левого" дохода. Привязался знакомый паренек из Института народного хозяйства: сдай за меня зачет по английскому. Я ему: "Ты что, рехнулся, это же подсудное дело!" - "Не бойся, я экстерник, меня там никто не знает". Пообещал сотнягу, я соблазнился. Сдал за первый курс, через пару месяцев за второй. И чуть не влип. Слишком легко и быстро справился с заданием, преподавательница восхитилась, сказала, что хочет рассказать обо мне на кафедре, там собираются ставить на английском любительский спектакль. Кое-как отговорившись, я навсегда зарекся от "левых" заработков.

Все эти невинные и "винные" забавы не мешали мне продвигаться к кандидатской диссертации. Правда, возникали некоторые шероховатости в отношениях с научным

руководителем. Мария Павловна Карева занимала видное место среди тогдашних правоведов, была человеком широких взглядов, отзывчивым на новизну, и все же с каким-то внутренним сопротивлением принимала мой уклон в запретную, по существу неведомую у нас политологию. Юристы-нормативисты принимали ее за научный коммунизм, философию, социологию, в общем, нечто не относящееся к юриспруденции. Спустя три десятка лет при обсуждении на Ученом совете Института моей кандидатуры в члены-корреспонденты Академии Михаил Соломонович Строгович пытался меня "зарубить" на том основании, что я вообще не юрист. Выступал явно по наущению кого-то из моих соперников. Большинство не приняло всерьез его аргументов, тем более что за несколько лет до этого тот же Ученый совет присудил мне степень доктора юридических наук. Но любопытно, что маститые правоведы не понимали (не хотели понять): теория политики - не что иное, как философия права, преподававшаяся в таком качестве еще в средневековых университетах. Не сознавали и того, что, отмежевываясь от политологии, юриспруденция теряет часть исконной "территории", притом самую ценную своей связью с властью.

Впрочем, в то время все это выглядело не так отчетливо, да и Мария Павловна не посягала на мою индивидуальность, лишь деликатно обращала внимание на то, что, по ее опасениям, могло вызвать неодобрение у членов Ученого совета. Все, однако, обошлось, я получил 10 белых и 2 черных шара.

К тому времени я уже работал в издательстве, но с Институтом так или иначе был связан всю жизнь. В 1969 году защитил перед его Ученым советом докторскую диссертацию, здесь же был избран президентом Советской ассоциации политических наук, в течение нескольких лет возглавлял на общественных началах сектор политологии. Из собравшихся в нем молодых людей почти все сделали успешную научную карьеру. Вильям Смирнов заменил меня в руководстве сектором и участвует во всевозможных правительственных комиссиях в качестве авторитетного эксперта. Анатолий Ковлер удостоен представлять Россию в Европейском Суде по правам человека. Юрий Батурин был моим сотрудником в аппарате Президента СССР, перешел вместе со мной в Фонд Горбачева, побывал в помощниках российского президента и неожиданно взлетел в "небеса", став первым в мире космонавтом-политологом. Илья Шаблинский подвизается в Думе.

Вот немногие, кого я мог бы назвать своими учениками. Если, конечно, они не возражают.

Судьба в некотором роде физически соединила меня с Институтом, когда после перемены нескольких мест жительства я окончательно осел в Староконюшенном переулке, в десяти минутах ходьбы от особняка на Знаменке. Изредка приглашают поучаствовать в заседаниях Ученого совета, когда защищается "вери-импортантная персона", например Иван Петрович Рыбкин, бывший тогда спикером Думы. Бывая в Институте, заглядываю в комнаты, где прошла молодость и толпятся теперь незнакомые люди. Редко-редко встретишь кого-нибудь из "бывших", похлопаем друг друга по плечу, осведомимся взаимно о здоровье. Захожу к директору Борису Николаевичу Топорнину. Он настойчив попить с ним чаю, в который раз предложит пойти главным научным сотрудником - жить стало туго, лишние тысяча-полторы не помешают.

Не хочется получать деньги ни за что, как милостыню. Проживем как-нибудь. В Институт я в конце концов все равно вернусь. С членкорами принято прощаться в актовом зале.

В Политиздате

Не успел я защититься, звонят из Госполитиздата, приглашают на смотрины. В те годы был настоящий голод на подготовленные кадры, их ведь поубивало на войне, да к тому же, должно быть, лучших. Идеологические учреждения буквально охотились за выпускниками академических институтов. Меня, кстати, приглашали и в Юриздат. Чуть было не сговорился, но тут предложение более заманчивое.

Издательство политической литературы располагалось в конструктивистском здании в Орликовом переулке, построенном, как говорили, самим Корбюзье. Меня принял заведомо

кадров. За шестьдесят, лоб узкий, нос мясистый, глаза маленькие. Сейчас вспоминаю - ну, копия кадровика из фильма моего сына "Курьер". Вероятно, на студии подбирали "типаж", полагая, что именно так, "не Спинозой", должен выглядеть человек этой профессии. А тут он, что называется, в натуре.

Позднее я узнал, что анархист Самсонов дважды был приговорен к смертной казни - в России и Англии, оба раза сбегал, перед революцией подался в большевики. Кое-какие детали его романтического прошлого раскрылись мне неожиданным образом. Однажды, когда я уже в издательстве пообвык, Самсонов пожаловал ко мне, положил на стол рукопись страниц за тысячу и пояснил:

- Я присмотрелся к вам, вижу, вы разбираетесь в литературе, почитайте мой роман.

Я тогда не понял, чем заслужил такую честь, - еще не пробовал сил в научной фантастике, да и мои научные опыты сводились к паре статей в журнале "Советское государство и право". Но не отказывать же заслуженному человеку. Несколько дней одолевал захватывающий рассказ о кознях британских империалистов в Баку, жестокой схватке "Интеллидженс сервис" с турецкой разведкой, об отважных подпольщиках, которые разоблачили и вышвырнули всю эту публику из Советского Азербайджана. Роман был написан в жанре политического детектива, содержал все полагающиеся компоненты - от описания ледящих душу зверств до лирических излияний. Промежутки между ними были заполнены многостраничным изложением документов. Наряду с Черчиллем, Энвер-пашой и другими историческими личностями в действии участвовали с "той" и "нашей" стороны вымышленные лица. В центре повествования был отчаянный храбрец, стилизованный под Камо, Котовского и Красина, вместе взятых.

Врезалась в память одна сцена. В Лондоне премьер и прочие высокие чины, плетущие заговор против советской власти, собираются на секретное совещание в загородном поместье. Встав поутру после затянувшегося ночного бдения, принимают душ и, как это свойственно англичанам, идут размяться на спортивную площадку. Жена хозяина, леди, выходит на крыльцо и кричит: "Лорды, кончайте играть в волейбол, идите завтракать!"

Возвращая рукопись, я поинтересовался, в какой мере роман автобиографичен. Самсонов застенчиво улыбнулся и возразил:

- Это художественное произведение.

Я не стал его огорчать, сказал, что читается с интересом, посоветовал убрать отмеченные в тексте языковые огрехи и отослать в один из журналов. Увы, не дожил, бедняга, до своего литературного дебюта.

Тогда, при первой нашей встрече, Самсонов внимательно прочитал мою анкету, остался, видимо, доволен (боевой офицер, член партии, награды, вот-вот "остепенится" - куда лучше) и повел к директору.

Мы сидим в красивом светлом кабинете, вместо стен стекла. Хозяин велит секретарше принести чай. Тонкие черты лица, голубые до прозрачности глаза, рыжеватые волосы, впрочем, всего одна длинная прядь, которой хватает, чтобы покрыть голову, но приходится то и дело поправлять, чтобы не сползала куда-то вбок (на улице, при ветре, и вовсе рвется в сторону). Говорит негромко, культурно, с еле заметным, как мне показалось, белорусским акцентом. Типичный профессор.

Первый наш разговор был обычным при знакомстве. Порас-спрашивал меня о диссертации, остался, видимо, удовлетворен тем, что принято называть "общей подготовкой" или "интеллектуальным уровнем", и предложил работать старшим редактором в редакции Дипломатического словаря с окладом 1600 рублей. Добавил, что, хотя Политиздат и не значится официально в кругу цековских учреждений, но его непосредственно курируют отделы ЦК КПСС, вся выручка издательства идет в партийную кассу, поэтому работать в нем почетно и перспективно. Я с энтузиазмом закивал, поскольку в тот момент главным для меня было обещанное жалованье. Шутка сказать, с аспирантских 780 да сразу на 1600! Как раз в этом месяце, несколькими днями раньше, у меня родился сын, и надо было думать, как содержать семью. Я был на седьмом небе и не очень внимательно прислушивался к тому, о

чем говорил Ковалев. Только потом вспомнилось несколько странное его напутствие.

- Я посылаю вас в один из самых интересных коллективов, где работают, можно сказать, лучшие редакторы издательства. Это профессионалы высокого класса, набирайтесь у них опыта. В то же время вы фронтовик, человек партийный, а это очень важно при работе над таким изданием, как Дипломатический словарь.

Смысл этого напутствия стал мне ясен несколько позже. В редакции, которая располагалась тогда на улице Горького, недалеко от Главного телеграфа, меня встретили приветливо. Заведовала ею старая большевичка Вера Семеновна Соловьева. Под ее началом трудились три молодых редактора - Александр Беленький, Семен Персиц и Илья Кремер. С их помощью я довольно быстро постиг азы редакторского мастерства. До сих пор считаю, мне повезло начать свою профессиональную деятельность именно со словарной редакции. Здесь приучаешься излагать мысли предельно четко и лаконично. Хотя есть и обратная сторона склонность к чрезмерной сухости. Не случайно излюбленной присказкой в нашем кругу было: "Что такое телеграфный столб? Это хорошо отредактированная сосна".

Безмятежная пора моего редакторского ученичества продолжалась недолго. В то время разворачивалась кампания против космополитизма, и ее объектами стали прежде всего идеологические учреждения. В Политиздате первый удар пришелся на нашу редакцию. Придирчивая проверка обнаружила, что подавляющее большинство авторов словаря относятся к числу лиц с "пятым пунктом", как тогда говорили для краткости, а последние автоматически причислялись к безродным космополитам. Опытный аппаратчик Ковалев решил смягчить удар, заменив заведующего редакцией. Он не принадлежал к числу ретивых охотников за ведьмами, но и лезть на баррикады, жертвовать своим положением тоже не собирался. Выдвижение молодого офицера-коммуниста руководителем этого "нездорового коллектива" должно было засвидетельствовать, что руководство издательства принимает должные меры для очищения от скверны. Между тем, предложив мне возглавить редакцию, директор ни словом не обмолвился, почему понадобилась такая смена, просто сослался на то, что Соловьева попросила освободить ее от организационных забот, она по-прежнему будет передавать свой опыт, работая старшим редактором, а вести дело должен молодой, энергичный человек с хорошей партийной закалкой.

Если у меня и были какие-то сомнения, то после разговора с Верой Семеновной они отпали. Она настойчиво убеждала, что сама попросила ее освободить и назвала мою кандидатуру. Спокойно восприняли это и другие редакторы, с которыми у меня завязались к тому времени ровные товарищеские отношения. Конечно, все мы понимали, почему понадобился руководству издательства этот маневр. Но, может быть, в немалой мере благодаря своей молодости надеялись, что тем самым удастся избежать дальнейших гонений. Мои коллеги сами взялись обновлять авторский состав в соответствии с жестким предписанием главной редакции.

Увы, ограничиться этим жертвоприношением уже не удалось. На Госполитиздат обрушились другие гонения. В частности, усмотрели злой умысел в фотографии, воспроизведенной в книге по истории партии (бородка клинышком на лице одного из персонажей, смахивающего на Троцкого), в корректорской ошибке, из-за которой Маркс превратился в Мракса, и т. д. Вкупе со всем этим выросло значение и "еврейского уклона" в редакции Дипслова. На партийном собрании с присутствием представителя агит-пропа директор дал, как тогда говорили, принципиальную оценку ошибок, допущенных коллективом издательства, после чего виновные один за другим поднимались на трибуну и каялись в грехах.

Пришлось выступать и мне. Признай я, по примеру других, что несу полноту ответственности и готов положить все силы, чтобы "не допустить" (обеспечить, утвердить и т. д.), то был бы, вероятно, отпущен с миром. Вместо этого я заявил, что не вижу никакой своей вины. Пришел в редакцию недавно. Портфель был сформирован задолго до этого. Мои коллеги не дают повода для упреков при работе над текстами. Больше того, брякнул я неосторожно, принимая меня на работу, директор издательства сказал, что направляет в



самый сильный творческий коллектив, у работников которого можно многому научиться. Тут в зале поднялся шумок, кто-то из президиума выкрикнул: "Он ничего не понял!" - и было внесено предложение поставить мне на вид "за отсутствие бдительности".

Признаться, я не сразу понял, почему так легко отделался: редакция Дипсловаря была разогнана, но вместо нее создали новую редакцию справочной литературы, а меня оставили ею заведовать. Не думаю, чтобы в данном случае могло сыграть какую-то роль заступничество Ковалева, да и не уверен, что у него хватило бы на это мужества. Скорее все дело было в пафосе самой кампании борьбы с космополитизмом. Она ведь была направлена не столько на уничтожение так называемых антисоветских элементов в рядах интеллигенции, сколько на воспитание вполне "здоровой" в своей основе советской молодежи - той самой, что прошла с боями Европу, осознавала себя победительницей и считала вправе устроить жизнь на родине по своему разумению. Сталин не мог допустить, чтобы brave офицеры с орденами и ленточками о ранениях выступили как в свое время декабристы, и решил перехватить инициативу, упредить их. Самым простым и безошибочным способом было лишить фронтовую молодежь политической невинности, втянуть в погром космополитов на университет-ских кафедрах, вузовских партийных собраниях, в тех же издательствах и других идеологических учреждениях. Таким образом, мне, в числе многих других, было сделано серьезное предостережение.

К счастью, атмосфера вскоре разрядилась. Мои бывшие коллеги по Дипсловарю избежали худшего и, насколько мне известно, нашли себе работу по призванию. Мне же предстояло выдержать еще одно испытание, связанное уже с Политическим словарем.

В то время как в высших сферах разворачивалась скрытая от глаз простых смертных борьба за власть и оттуда исходили противоречивые импульсы, на местах ретивые хранители чистоты марксизма-ленинизма продолжали упорно искать и выжигать скверну. В Госполитиздате одним из них был заместитель главного редактора Н.И. Матюшкин. К редакции справочников, хотя она и была полностью обновлена, у него всегда было подозрительное отношение, а найти, к чему придраться в таком многослойном издании, как словарь, не составляет труда. Прицепились к фразе в одной из статей: "В.И. Ленин говорил, что..." на том основании, что Ленин на самом деле ничего подобного не говорил и вообще эта мысль принадлежит Троцкому. Назревало мое личное дело с угрозой строга, а то и похуже. Моя редакция, состоявшая из молодых выпускников московских вузов, была в панике. Дни и ночи, оставшиеся до заседания партбюро, шли поиски: откуда взялась эта фраза, кто ее вписал в словарь? И уже накануне рокового дня кое-что удалось отыскать.

На другой день в кабинете директора собралось расширенное заседание партийного бюро. Сам Ковалев сидел понурый, ему явно не нравилась вся эта затея, но и вступить он не смел. Зато обвинители, Матюшкин и два-три его сподвижника, чувствовали себя как инквизиторы, раскрывшие козни дьявола. После того как они повторили свои обвинения, слово было предоставлено ответчику. Я, признаюсь, не удержался от театрального эффекта: сделав прискорбное выражение лица, признал, что редакция допустила грубую ошибку. Видели бы вы, как расцвели торжествующими улыбками лица моих гонителей. После короткой паузы добавил: да, мы ошиблись, эта цитата принадлежит не Ленину, а Сталину.

Немая сцена. Кинув беглый взгляд в сторону директора, я поймал его легкую улыбку. Таким и запомнился мне этот мой начальник. Осторожный, боязливый, мыслящий советский человек.

Из политиздатовской поры видятся мне и те, кому сам я был начальником. Мой сверстник Гриша Лобарев, пововавший в Польской Армии Людовой; помоложе нас с ним на десяток лет - Марина Лебедева, Леша Никольский, Инна Колосова, Эдик Микаэлян, Володя Чертихин. Приходили со студенческой скамьи, постигали вместе со мной секреты редакторского ремесла или искусства - как кому нравится. У каждого свои - нрав, склад ума, "потолок", "бзики". У всех одно комсомольский энтузиазм, возвращенный на веру в справедливость и величие дела, которому служим. XX съезд изрядно эту веру потряс, но не опрокинул. Такие крепости не берутся одним, пусть и мощным, штурмом, падают только

после долгой осады, да и то не все.

Засиживались за полночь над рукописями, когда требовалось сдать в набор или подписать в печать строго по графику - иначе придется платить неустойку типографии. В обеденный перерыв резались в настольный теннис. Спорили, сумеют ли американцы обогнать нас в космосе. Возмущались тем, что "народный академик" Лысенко, загубивший радиационную генетику, опять на коне. Радовались успеху французских коммунистов на парламентских выборах. Восхищались Фиделем Кастро и Че Геварой. По куцей газетной информации, слухам и сплетням пытались угадать, что происходит в Кремле, чего ожидать завтра - послаблений или "закручивания гаек". Обменивались восторгами по поводу увиденного вчера очередного шедевра "итальянского неореализма". Сочиняли эпиграммы для издательской стенгазеты, походившей на дацзыбао.

Две мои басни удостоились обсуждения на партбюро. Вот одна из них.

Петух - ревизор

Ученому Коту редактор Бегемот

Однажды заказал для важного издания

Статьку под названием "Кот

И роль его в расправе с грызунами".

Статья была написана Котом,

Одобрена редактором потом,

Оплачена, как водится, ну и почти забыта,

Как вдруг в редакцию с визитом

Явился ревизор Петух.

Он перерыл внимательно заказы,

И сразу

Его натасканный, привычный нюх

Почуял запах криминала...

- Скажите мне, любезный Бегемот,

Спросил ехидно он, - что за фигура Кот

И каковы его инициалы?

- Да это автор наш, - редактор отвечал,

А звать его известно как - Василий,

Мышей и крыс он долго изучал,

Как знатоку ему и поручили.

- Я не о том ведь спрашиваю вас,

сказал Петух, переходя на бас.

Мы говорим об авторе, а вовсе не о теме

Скажите мне, ваш Кот усат,

Он доктор или академик?

- Да нет, он даже и не кандидат.

- Так почему же, не пойму,

Статью не заказали Льву?!

- При чем тут Лев, - заметил Бегемот,

Известно всем от века, что

Специалист по крысам Кот.

Но тут Петух совсем закукарекал:

- Семейственность, и блат,

И связь, и групповщина!..

- И дальше в духе петушином.

Вот для такого Петуха

Все, кроме чина, чепуха.

Ему давай чины и званья

И наплевать на содержание.

Очередным моим издательским "боссом" стал пришедший на смену Ковалеву Михаил Алексеевич Сиволобов. Его фамилия каким-то неуловимым образом соответствовала внешности. Первое, что бросалось в глаза при взгляде на этого человека, - выпуклый, угрожающе нависший над носом лоб, большие, пронзительные серые глаза. Ростом невелик, полноват, кургуз, словом, какими-либо чертами физического величия природа его не наградила. И тем не менее умел внушать окружающим почтение к своей особе, а подчиненные приходили в трепет, когда он, набывшись, не мигая, уставившись глаза в глаза, выговаривал кому-нибудь за допущенный "ляп". Тут мне на память невольно приходил майор Тищенко.

Вообще, не знаю, у каждого ли это так, но у меня новый знакомый непременно ассоциировался с кем-нибудь из прошлого - так я их подсознательно классифицировал. Иногда, правда, случались недоразумения, приходилось переносить кого-то из одной категории в другую, а то и открывать в своем "компьютере" новый файл, поскольку персонаж не желал уподобляться ни одному из известных мне характеров.

Именно так получилось с Сиволобовым. Поначалу у издательской братии сложилось не слишком лестное впечатление о его умственных способностях. Он явно уступал своему эрудированному предшественнику, который блистал не только знанием классиков марксизма-ленинизма, мог при случае вернуть цитату из Гегеля. По коридорам шушукались, что идейный багаж нового директора не выходит за пределы Краткого курса истории ВКП(б). Постепенно выяснилось, что это не совсем так. Наш мрачный босс был достаточно начитан и не чужд порассуждать о высоких материях. А главное - обнаружил хозяйственную хватку, какая и не снилась его предшественнику. Он выпросил в Управлении делами ЦК КПСС согласие на своего рода сделку: издательство обязуется резко повысить свою прибыльность, а взамен будет получать некую фиксированную долю (не помню уж точно какую) суммы, перечисляемой в партийную кассу сверх 100 миллионов рублей. Добился предоставления Госполитиздату нового здания в районе Миусской площади, повышения зарплаты коллективу, даже права посещать хорошо оборудованную столовую в Партийной школе\*, расположенной через сквер напротив. Нечего говорить, что после всего этого работники издательства зауважали нового шефа, стали прощать ему грубость и снисходительно относиться к маленьким "человеческим слабостям", в числе которых были периодические запои.

У меня с ним отношения складывались примерно по той же схеме. Моя молодая редакция буквально фонтанировала идеями, создавая все новые виды словарно-справочной продукции, а это была основная статья доходов издательства. Один только отрывной календарь печатался тогда тиражом десятки миллионов экземпляров и был едва ли не главным источником информации для каждой крестьянской семьи. А тут к нему прибавились спортивный календарь, женский, художественный, для юношества и т. д. Точно так же к новым изданиям Дипломатического и Политического словарей стали добавляться справочники "Зарубежные страны", "Словарь семилетки". Сиволобов поощрял нашу неутомимую активность, с лету понимая, какие выгоды сулит издательству новая массовая продукция. Так мы с ним трудились рука об руку, просвещая народ и пополняя партийную кассу, пока не разразилась гроза.

В наше время, спроси на улице прохожих, далеко не каждый скажет, что был такой XX съезд КПСС, на котором Хрущев выступил с закрытым докладом о культе личности Сталина. Да и историки, сказав о переломном значении этого события, о том, какой переполох оно вызвало в международном коммунистическом движении и какую смуту породило в умах не знавших до того сомнений преподавателей научного коммунизма, не станут вдаваться в малозначные детали, вроде того, как метались в ту пору издательские работники. А они в самом деле метались. Да и как иначе, если в первое время после съезда приходилось довольствоваться слухами, потом в партийных организациях стали зачитывать секретный доклад о культе, затем некоторые из них "взбунтовались", сочтя, что пришла долгожданная свобода. Их незамедлительно поправили, распустив решением ЦК. Никита

Сергеевич при этом заявил, что "Сталина мы не отдадим". После чего опять выступил с сокрушительной критикой генералиссимуса на XXII съезде КПСС и разрешил Твардовскому напечатать рассказ Солженицына "Один день Ивана Денисовича" в "Новом мире".

Это сейчас можно излагать события в хронологическом порядке, не испытывая больших неудобств. Тогда же у работников "идеологического фронта" трещала голова. Приходилось решать головоломные задачи, поскольку чуть ли не со дня на день менялись высочайшие установки - то ли ругать отца народов, то ли защищать его или даже вернуться к привычным восхвалениям. В этой неразберихе и суматохе ничего не стоило получить по шее, а то и вылететь из партии и с работы только потому, что не успел вовремя сориентироваться или, как горько шутили, вильнуть вместе с партийной линией.

Был, конечно, безотказный способ избежать неприятностей - потянуть время, пока обстановка не прояснится. Кстати, к нему рекомендовали прибегнуть и мудрецы из агитпропа, которые не желали брать на себя ответственность, давая "добро" на выпуск той или иной книги. Десятки готовых к выпуску изданий легли на полку. Но у меня не было возможности использовать этот маневр. По тогдашним условиям полиграфии, чтобы ко времени отпечатать 20-миллионный тираж настенного календаря, его следовало подписать к печати и сдать в производство за полтора года. Будучи уже достаточно искушенным в издательских передрыгах, я решил по крайней мере заручиться прямым распоряжением начальства. Пошел к директору и спросил, что делать с листками календаря 21 декабря и 5 марта, на которых в соответствующих торжественных выражениях сообщается о рождении и смерти Сталина.

Сиволобова чуть не перекосило.

- А что, отложить нельзя?

- Ни на день. Типография снимет с себя ответственность за выпуск в срок, а это скандальное дело. Я бы оставил упоминание о рождении и смерти без всяких эпитетов. Из истории все-таки этого имени не выкинуть.

Михаил Алексеевич хмуро уставился в потолок, поразмыслил с минуту и, решив в свою очередь "заручиться", поднял трубку правительственной связи ("вертушки", как ее принято называть), соединился с секретарем ЦК Петром Николаевичем Поспеловым и почтительно перекинул ему "горячую картофелину". Тот, сделавший карьеру на восхвалениях генералиссимуса и с таким же усердием старавшийся теперь угодить новому генсеку, пожурил шефа: неужели, мол, он, опытный партийный работник, не понимает, что не следует пропагандировать Сталина в массовом издании.

Исполнив высочайшее указание, мы отправили календарь в типографию, машина заработала, а спустя год разразился скандал. Грузинская республика отказалась принимать тираж календаря, в котором не был упомянут товарищ Сталин. Агитпропу поручили разобраться с допущенной издательством грубой ошибкой, нас с Сиволобовым, то на пару, то поодиночке, стали таскать ко всяким инструкторам и требовать записок с объяснениями.

Здесь наступает самое интересное. В первой же своей записке я, естественно, сообщил о прямом указании, полученном от секретаря ЦК. Только представил ее директору, как он потребовал меня "на ковер". Сиволобов был в бешенстве и, едва я переступил порог, покрыл меня матом. Прошу заметить, это был первый и единственный случай за всю мою служебную деятельность "на гражданке". Ни секунды не раздумывая, я ответил ему тем же, ожидая, что тут же буду вышвырнут из издательства. Но результат оказался противоположным. Ошеломленный моим решительным отпором, видимо, чуть отрезвев, Сиволобов неожиданно улыбнулся и сказал:

- Не сердись, я же по-отечески. Мы с тобой влипли в историю, а ты по молодости чуть еще большую глупость не сморозил.

- Что вы имеете в виду? - осведомился я.

- Да вот ты ссылаешься на указание секретаря ЦК. Наивный человек! Он скажет, что это выдумка. Кому поверят? А за попытку оклеветать начальство тебя еще из партии выгонят.

- Как это - кому поверят? - искренне удивился я. - Вы ведь лично получили это указание и передали мне.

- И что, прикажешь мне класть голову на плаху? - Он уставился на меня мутными глазами, явно принял с утра "за воротник".

- Михаил Алексеевич, - возразил я горячо, - если мы оба дружно подтвердим, нам поверят.

Он посмотрел на меня с явным сожалением, словно сомневаясь в моих умственных способностях. Потом устало махнул рукой.

- Ладно, иди, я подумаю.

На другой день я был вызван к заведующему сектором издательств агитпропа Сеницыну. Сиволобов был с ним в приятельских отношениях и посвятил в детали нашего разговора. Тот принял меня радушно, велел принести чаю с лимоном, поговорил насчет сложной обстановки в партии и стране, сообщил, что руководство принимает меры к ускорению коммунистического строительства, и дал понять, что на этом фоне мое упрямство неуместно. Даже если секретарь ЦК и дал какое-то частное указание, не следует спекулировать на этом, бросая тем самым тень на авторитет партийного руководства.

- Не упрямясь, - увещевал он, - иначе дело для тебя может плохо кончиться. Пойми, я же о тебе забочусь. Ты молодой еще, у тебя все впереди, стоит ли портить себе жизнь!

- Что вы от меня хотите? - спросил я, капитулируя.

- Прими на себя, тебя пожурят и отпустят с миром. На Секретариате покаешься, как положено, скажешь недодумал, опыта не хватило. - Он прервался, почувствовав во мне настороженность, заглянул в глаза. - Да ты не сомневайся, мы тебя не обманем. - Наклонился чуть ли не к самому уху и добавил выразительным полупшепотом: - Вопрос согласован. - Пальцем ткнул вверх.

Так оно и было прокручено. Я был вызван на Секретариат ЦК КПСС, тогда его заседания проходили в просторном зале 2-го подъезда здания на Старой площади. Все, кто вызывался по различным вопросам повестки дня, приглашались одновременно. Очевидно, такой порядок преследовал дидактические цели. Присутствуя при разборе чужих персональных дел, которые преобладали на открытых заседаниях, коммунисты получали предметный урок партийной этики и дисциплины, как они тогда понимались. Позднее мне не раз доводилось бывать на заседаниях Секретариата "по вызову" или в качестве дежурного представителя своего отдела. Но, разумеется, ни в какое сравнение с этим не идет то первое переживание, когда я должен был предстать перед высшей партийной инстанцией и понести наказание за то, в чем не было никакой моей вины.

Когда весь зал был заполнен, на подиум вышли и расселись за длинным столом секретари во главе с председательствующим Суловым. По его сигналу инструктор начал докладывать один за другим пункты повестки дня. В некоторых случаях решения принимались без дискуссии, секретари вполголоса обменивались репликами, смысл которых не доходил до зала, и Михаил Андреевич делал знак перейти к следующему вопросу. В других случаях, после инструктора, который вел "дело", на трибуну вызывались причастные к нему лица - по большей части партийные и советские работники высокого ранга, директора предприятий, руководители научных и идеологических учреждений, т.е. те, кого принято называть номенклатурой. Одни обосновывали какие-то свои просьбы, им шли навстречу или отказывали. Другие, стуча себя в грудь, клялись, что не виновны в приписываемых проступках, или униженно каялись - их прощали либо выносили им строгача, а одного, помнится, тут же исключили из рядов КПСС. После этого они благодарили за доверие и удалялись на свои места, чтобы, не без злорадства, присутствовать при "порке" других.

Вот очередь дошла до меня. Инструктор коротко изложил суть вопроса, затем меня пригласили на трибуну. Сулов предложил объяснить скандальный пробел в отрывном календаре. Используя заготовку, согласованную с Сиволобовым и Сеницыным, я ответил, что не хватило места. В зале раздался смех, на что я довольно нахально сказал:

- Чего смеетесь? На каждый день падает множество годовщин - рождений, смертей,

других исторических событий. А ведь нужно еще давать информацию о долготе дня, указывать время восхода и захода солнца, помещать другую информацию. Приходится даже классиков упоминать в связи с круглыми датами.

- Но для кого-то вы все-таки делаете исключение? - спросил Суслов.

- Да, - ответил я без запинки, - для Маркса, Энгельса и Ленина.

В зале опять прокатился смешок. Суслов и сам улыбнулся.

- Ну хорошо, вы согласны с тем, что предлагает агитпроп? - Вопрос прозвучал неожиданно. Ничего подобного в "сценарии", которым была обусловлена моя готовность выполнить роль стрелочника, не значилось.

- А со мной ни о чем таком не говорили, - возразил я.

Михаил Андреевич укоризненно покачал инструктору головой.

- Тут вам предлагается поставить на вид. Согласны?

Я, откровенно говоря, опешил от подобной благожелательности и выпалил:

- Нет, конечно.

Суслов махнул рукой.

- Ладно уж, идите.

Секретарь, академик и Герой Труда Пospelов восседал благочинно на подиуме, устремив в зал ясный взгляд. Как принято говорить в таких случаях, на лице его не дрогнул ни один мускул. Не проявили желания подать голос и другие участники высокого синклита. Думаю, не всем из них была известна подоплека случившегося. Просто берегли себя, не будучи уверенными, куда завтра свернет партийная линия в этом каверзном вопросе.

Кстати, спустя несколько лет, поступая на работу в аппарат ЦК, я записал в анкете: "Поставлено на вид Секретариатом ЦК КПСС за то, что в календаре 1958 года не отмечена дата рождения И.В. Сталина". На другой день кадровик выдал мне чистую анкету, попросив заполнить ее без упоминания о взыскании. На мой немой вопрос лаконично ответил: "Снято".

То заседание Секретариата отложилось у меня в памяти и другим эпизодом. Обсуждался, по докладу Отдела культуры, "вопиющий факт напечатания в журнале "Новый мир" романа Дудинцева "Не хлебом единым". За сим следовал полный набор идеологической анафемы: произведение порочное, клеветническое, в черном свете изображающее советскую действительность, и т. д.

Приглашенный на трибуну Константин Симонов держался достойно. Он сказал, что не считает роман Дудинцева антисоветским, хотя в этом произведении подвергаются острой критике некоторые негативные стороны нашего прошлого. Прежде чем выпустить его в свет, редакция много работала с автором. Возможно, где-то не дотянули, главный редактор готов нести всю полноту ответственности.

Словом, это было хорошо продуманное, произнесенное на официальном партийном жаргоне объяснение, которое, мне казалось, занесут в протокол, и на том неприятный инцидент будет исчерпан. Но на трибуну поднялась Екатерина Фурцева и, встав в позу разгневанной фурии, звенящим голосом разнесла в пух и прах роман, журнал и самого Симонова. Врезались в память грозные инвективы:

- Вы, товарищ Симонов, кандидат в члены ЦК, не имели права допустить такую грубейшую ошибку, граничащую с идеологической провокацией! - И далее в том же духе.

Признаюсь, я большой поклонник Симонова, особенно его лирических стихов. Ни один другой советский писатель не сделал так много для нашей победы в Отечественной войне. Было невыносимо стыдно и больно слушать, как эта чиновная дама буквально смешала его с грязью. Повторно поднявшись на трибуну, он попросил освободить его от обязанностей главного редактора. На это ему было сказано, что так вопрос не стоит, если ЦК сочтет необходимым заменить Симонова, ему об этом сообщат. А сейчас редакция журнала должна сделать выводы и извлечь уроки.

Чего уж тебе хорохориться, если таких людей гнут в колесо, подумал я и отправился в Политиздат, где тут же был приглашен уже вернувшимся восвояси директором. Мы с ним

выпили прямо в кабинете. Если бы Михаил Алексеевич сказал при этом что-то вроде: "Знаешь, мне самому тошно!", я бы сохранил о своем очередном начальнике незлобивую память. Увы, вместо этого он изрек: "Видишь, вот все и обошлось. Не покаешься, не спасешься".

Долго он не продержался, уступил директорское кресло беззаветному работяге Николаю Васильевичу Тропкину, который почему-то напоминал школьного учителя. Милейший человек, хотя пришлось с ним повоевать, когда издавалась моя трилогия - "Социалистическая судьба человечества", "Фиаско футурологии", "Грядущий миропорядок". Приведу его письмо по поводу последней книги, из которого видно, что и относительно высокое положение в партийной иерархии не давало права на теоретические вольности.

"Уважаемый Георгий Хосроевич! Возвращаю Вам рукопись "Грядущий миропорядок". Отношение к ней издательства определяется следующими обстоятельствами. В рукописи рассматриваются важнейшие проблемы, являющиеся предметом напряженной идеологической борьбы на международной арене между двумя общественно-политическими системами. Именно поэтому Ваша работа является политически чрезвычайно острой. С учетом этого издательство дало принципиальную оценку рукописи, высказало немало замечаний и предложений по тексту рукописи. Большинство замечаний конкретного характера Вами учтены. В то же время общая концепция работы продолжает оставаться недостаточно определенной. В работе излагается скорее футурологическое, чем научно обоснованное, представление о вероятных перспективах основных направлений общественного развития.

Ряд предположений о дальнейшем развитии мирового социализма, мирового капитализма, освободившихся стран выглядит неубедительно.

Недостаточно внимания уделено классовой борьбе двух систем в ходе мирного сосуществования государств с различным социальным строем. Создается впечатление, что процесс мирового развития в предстоящие десятилетия будет носить преимущественно эволюционный характер.

Марксистско-ленинское мировоззрение и методология требуют, чтобы анализ перспектив общественного развития в мире основывался на революционном оптимизме. К сожалению, ряд положений, содержащихся в работе, не отвечает этому требованию. Вряд ли целесообразно говорить о маловероятности в ближайшее пятидесятилетие победы социализма в ведущих капиталистических странах. Не означает ли это недооценки возможностей мирового коммунистического движения? Думается также, что в работе, несмотря на оговорки, отдается предпочтение влиянию научно-технической революции (по сравнению с социальной) на общественные процессы.

Выдвигая различного рода гипотезы, Вы опираетесь главным образом на работы буржуазных футурологов и политологов.

А исследования и выводы советских ученых используются недостаточно. Чрезмерное значение придается политологическим концепциям в противовес реальной политике.

Наконец, само название работы несколько претенциозно, создает впечатление о всеобъемлющем охвате темы, ко многому обязывает.

В связи с вышеизложенным полагаю, что издание работы в таком виде было бы нецелесообразным.

С уважением,  
директор Политиздата Н.В. Тропкин".

Повезло моим бывшим сотоварищам на следующего шефа Александра Прокофьевича Полякова. До сих пор не могу понять, как состоялось это назначение - настолько оно выпадает из обоймы кадров, подбиравшихся на значимые идеологические посты.

Что до трилогии, то при некоторых заблуждениях молодости, я не изменяю убеждениям и по-прежнему считаю, что судьба человечества - социализм (весь вопрос - какой), футурология действительно терпит фиаско, а новый миропорядок грядет.

В журналах

После казуса с календарем я не жаловал Сиволобова. На совещаниях вступал с ним в спор из-за пустяков, иной раз просто дерзил. Он озлоблялся в ответ. Так что ко времени подоспело предложение перейти на работу в журнал "В помощь политическому самообразованию". Позднее он был переименован просто в "Политическое самообразование". А главным редактором там был Анатолий Григорьевич Егоров.

Когда я начал думать, как "изобразить" этого моего начальника, пришла в голову мысль, что начать нужно с коллективного портрета группы ученых, к которой он принадлежал. Такой метод вообще предпочтителен, когда речь идет о людях с не слишком ярко выраженной индивидуальностью. У Анатолия Григорьевича, конечно, были свои личностные особенности, но преобладали черты, свойственные клану партийных академиков. Его ядро составляли философы и историки: Георгий Федорович Александров, Павел Федорович Юдин, Федор Васильевич Константинов, Юрий Павлович Францов, Леонид Федорович Ильичев, Петр Николаевич Федосеев, Марк Борисович Митин. Многие из них были выпускниками Института красной профессуры и сделали стремительную академическую карьеру, перемещаясь из научных институтов в агитпроп и обратно.

Назвать их учеными в прямом, профессиональном значении этого понятия можно лишь с большой натяжкой. Дело не в том, что они уступали своим менее удачливым коллегам в интеллектуальном отношении. Вовсе нет. Вероятно, при других обстоятельствах каждому из них было гарантировано место "кафедрального профессора". Больше того, справедливо сказать, что у них был особый дар, позволяющий возвыситься над заурядным уровнем, - я бы назвал его даром примирения противоположных сущностей. Может быть, это определение покажется несколько напыщенным, но именно своей способности строить правдоподобные теоретические схемы из несовместимого логически материала, беспрекословно и старательно выполнять "социальный заказ" наши мыслители были обязаны своим преуспеянием. Должно быть, не все они получали от этого занятия такое же удовольствие, как, к примеру, Митин, который просто не умел делать ничего другого. Были и такие, как Францов, начинавший с серьезных исследований по истории религии и атеизма. Однако эти нюансы представляют интерес разве только для психоаналитика. В сухом остатке простой факт: поставленные перед необходимостью выбирать между наукой и идеологией, исканием истины и служебной карьерой, прозябанием и успехом, они выбрали вторую часть этих извечных альтернатив.

Если бы понадобилось причислить "партийных академиков" к какой-нибудь известной философской школе, то это, пожалуй, софисты - народ жизнелюбивый и бесхребетный. В то время как советские сократы и платоны, такие как А.Ф. Лосев, Р.Ф. Асмус, М.М. Бахтин, корпели над многомудрыми фолиантами, лидеры философского фронта разъезжали по миру в составе делегаций КПСС, представляли советскую науку на международных конгрессах, заседали на пленумах Центрального Комитета и сессиях Верховного Совета СССР. А в промежутках занимались профессиональной деятельностью, сводившейся к написанию установочных статей и руководству коллективами, которым поручалось готовить учебники и учебные пособия по марксизму-ленинизму, истории философии, научному коммунизму.

Согласно господствовавшему в те времена мнению, марксизм, как венец философской мысли, ее закрыл. Даже теоретически не допускалась возможность сотворения более высокой и совершенной системы гуманитарных знаний, поэтому задача науки сводилась к ее пропаганде, разъяснению и в редких случаях интерпретации в соответствии с потребностями момента. Упомянутые учебники приобретали тем самым значение новейшего завета, а их авторы - статус апостолов. Причем сами они в лучшем случае редактировали тексты, подготовленные "писучими" докторами и кандидатами. Это наводит на мысль, что у святого Луки и других евангелистов тоже были подсобные писари.

Вот к этому клану заслуживает быть причисленным мой очередной шеф, несмотря на то что был помоложе и потому отзывчивее к новым веяниям. Специализируясь по эстетике, он разбирался во всех закоулках философского хозяйства, и не только философского. Мог с одинаковым успехом порассуждать о теории стоимости в политэкономии, презумпции



невиновности в юриспруденции и концепции "либидо" из фрейдовского психоанализа. Раз даже мне довелось услышать, как Анатолий Григорьевич разнес мистический уклон в современной западной космогонии. Он не был ретроградом, но и новатором назвать его нельзя. Он был "партийным академиком".

И неплохим человеком. Невысокий, грузный, неуклюжий, наш главный занимал место председателя на заседаниях редколлегии, с паузами, слегка заикаясь, вводил в курс указаний, полученных только что на совещании в агитпропе. Затем мы выслушивали комментарии по поводу появившихся за последнее время публикаций в конкурирующих изданиях ("Коммунист", "Пропагандист", "Агитатор"). Вступительная речь заканчивалась призывом к руководителям отделов привлекать именитых авторов, повышать качество статей и искать новые свежие сюжеты.

После этого начиналось обсуждение материалов, подготовленных к очередному номеру. Егоров был неплохим редактором. Мне запомнился один его урок. Как-то он вызвал меня перед подписанием в печать очередного выпуска и попросил убрать из подготовленной в моем отделе статьи целый абзац, не уместившийся в полосу. Я стал доказывать, что это невозможно, из песни слова не выкинешь. Тогда он попросил назвать наугад страницу, поднял резинку, аккуратно уронил ее, перечеркнул крест-накрест текст, на который она упала, и предложил мне посмотреть, что получилось. Я был посрамлен. Не знаю, сам ли он придумал этот трюк или перенял у кого-то, но с тех пор я зарекаюсь от безоговорочных суждений. Поистине никогда не говори - никогда.

Никогда Анатолий Григорьевич не возвышал голоса. У нас с ним было немало стычек из-за различного толкования статей либо даже отдельных фрагментов и фраз. Я горячился, доказывал, что там, где он усмотрел крамолу, на самом деле творческая мысль, упрекал его в догматизме, чрезмерной осторожности и даже трусости. Он терпеливо сносил все это, но стоял на своем. Не я один, вольнолюбивая журналистская братия (Н. Кристостурьян, Н. Барсуков), хотя и считала его своим и именовала по-дружески Толиком, собираясь после очередного выпуска журнала где-нибудь в Домжуре или близлежащем ресторане "Прага", поругивала главного за цензурный перебор. Тем более неоправданный, что Егоров, по слухам, был женат на родственнице Суслова и, следовательно, мог рассчитывать, в случае чего, на высочайшее покровительство.

Слухи эти на наших глазах подтвердились, когда он был назначен заместителем заведующего агитпропом, а затем стремительно продвинулся в полные академики и занял престижное место академика-секретаря отделения философии, социологии и права Академии наук СССР. Целую вечность оставался он на этом посту, теряя отпущенные ему природой крохи творческой удали и одновременно совершенствуя до виртуозности искусство фарисейской диалектики: "С одной стороны, с другой стороны".

Но тогда, в 61-м, мы сильно жалели о Толике, поскольку его кресло занял Александр Степанович Вишняков, терпимый в качестве зама, кем он был до того, и труднопереносимый в роли шефа. И без того не слишком широкая свобода мышления в редакции была сужена на порядок. Более или менее нестандартные мысли, не то что имели шанс "проскочить" в журнал - ими стало опасно обмениваться даже в редакционных коридорах. Возможно, дело было не только в церберских склонностях нового шеф-редактора. Начиналось уже общее похолодание идеологического климата, импульс XX съезда угасал. Мне чертовски повезло, что как раз в это время я был приглашен работать в издание, которое признавалось читающей публикой за цитадель вольной политической мысли. Мой "журналистский этап" получил продолжение в Праге.

Из всех моих начальников Алексей Матвеевич Румянцев был самым красивым мужчиной. Высокий, с внушительной осанкой, правильными чертами лица, ярко-голубыми глазами, смотревшими на мир с неизменным доброжелательством, исключая те моменты, когда он гневался. А делал он это от души, как всякий большой начальник мог пошуметь, разнося нерадивого подчиненного, однако неоскорбительно, необидно, скорее укоризненно: "Как же это вы, братец, могли подвести меня!"

Впрочем, со мной такого не приключалось. С первой нашей встречи в маленькой комнатке секретариата международного отдела, где Алексей Матвеевич вербовал меня в консультанты своего журнала, и до последних дней его жизни, когда он, похудевший, изможденный, приходил ко мне, уже бывшему помощником Генерального секретаря ЦК КПСС, прося посодействовать, чтобы руководство Академии оставило ему казенную машину, ничто не омрачало наших отношений. Я относился к нему с неподдельным уважением и симпатией, он отвечал мне той же монетой. Да и не только я. Со всеми, невзирая на чины, он был одинаково прост, открыт к душевной беседе, способен проявить сострадание к чужим горестям. Ко всему этому - редкостное обаяние, располагавшее к нему сердца.

Вот наблюдение. Чиновная публика, чуткая к регалиям, привычно гнет шею перед партийным вельможей и молча глотает от него любую обиду. Зато, окажись он выбитым из седла, не то что посочувствуют, выслушать никто не захочет. Уже после того, как Алексея Матвеевича вывели из состава Центрального Комитета, лишили депутатского мандата в Верховном Совете и освободили от обязанностей вице-президента Академии наук СССР, он несколько раз заходил к нам в отдел, и всякий раз в цековских коридорах его встречали приветливыми восклицаниями, затаскивали на чай, расспрашивали о жите-бытье, терпеливо выслушивали длинные монологи (под старость он любил рассказывать о своих научных изысканиях).

Мало ли людей хороших на свете, но ведь не каждый пробивается в верхний эшелон политической элиты, для этого потребны как раз иные свойства. Подозреваю, не душевные качества Румянцева подняли его с университетской кафедры политэкономии на партийный олимп, а колесо фортуны. Скорее всего, сыграло свою роль то, что эта прихотливая дама свела Алексея Матвеевича с Леонидом Ильичом, когда они вместе трудились в Днепропетровске. Можно предположить без боязни ошибиться, что высокое заступничество не раз выручало, когда ему грозило обвинение в потере бдительности или, что хуже, в пособничестве ревизионизму. А таких случаев было немало, потому что Алексей Матвеевич был не только обаятельным, но и ищущим человеком. Не хотел принимать на веру теоретические формулы, расходящиеся с тем, что происходило в жизни. Притом не только сам любил размышлять, отбросив предрассудки, но и опекал людей, у которых обнаруживал такое же свойство, старался, как мог, дать им ход.

Здесь уместно вспомнить рассуждение о коллективном, групповом, и индивидуальном, частном, портрете. Румянцева по многим показателям следовало бы отнести к упомянутым "партийным академикам". У него не было капитальных научных трудов. При пытливом уме он был вполне правоверным марксистом и не помышлял ставить под вопрос устои официальной идеологии. Будучи человеком смелым, не боящимся взять на себя ответственность за дело, которое, был уверен, принесет пользу партии и стране, он в то же время не был лишен тактической изворотливости, без которой невозможно было засидеться в коридорах власти даже при самом благосклонном отношении "первых" лиц.

И все же язык не поворачивается безоговорочно зачислить его в названный клан. Не только потому, что он отваживался печатать крамольные по тем временам статьи, но и потому, что он создал журнал, ставший провозвестником обновления нашей системы, сыграл в политике примерно такую же роль, какую сыграли "Новый мир" в литературе и Театр на Таганке в искусстве. Убежден, никто из других "маршалов" нашей общественной науки с такой задачей не справился бы. Да вот наглядное тому свидетельство: Ю.П. Францов как ученый был посильнее Румянцева, но, став, в свою очередь, шеф-редактором журнала, удержать его на прежнем уровне не сумел.

Справедливости ради надо сказать, что и в этом случае немалую роль сыграло время. Когда "Проблемы мира и социализма" только появились на свет, их первые выпуски расхватывались молниеносно, а некоторые статьи перепечатывались и распространялись из рук в руки. Такого ажиотажа, разумеется, не стало, когда в Союзе появились свои очаги свободомыслия. Алексею Матвеевичу явно благоприятствовало и то, что международное

коммунистическое движение, официальным органом которого был журнал, пребывало еще в состоянии относительно прочного единства. Мощные западные партии, особенно итальянская и французская, уже начинали мыслить некоторыми категориями еврокоммунизма, но еще ценили свое сотрудничество с КПСС, не теряли надежды обратить нас в свою веру. Журнал открывал для этого уникальную возможность, которой они спешили воспользоваться. Его портфель был буквально завален статьями Берлингуэра, Марше, Карильо и других генсеков. Вдобавок редакцию осаждали просьбами печатать выдержки из партийных программ и другие документы - для этого пришлось выпускать специальный бюллетень.

Не все принималось в Москве с одобрением. По мнению ревнителей чистоты марксизма-ленинизма, кое-какие публикации пахивали ревизионизмом. Но, не желая ссориться с влиятельными зарубежными соратниками в условиях острого конфликта с китайской компартией, на это закрывали глаза. А когда стало уж совсем неважно, велели сократить тираж на русском языке и ограничить распространение журнала в открытой продаже.

Надо сказать, немалая заслуга в создании журнала принадлежит еще одному "партийному академику", сумевшему вознестись выше всех остальных, - Борис Николаевичу Пономареву. Сколько на его долю пришлось нареканий за матерый догматизм! Между тем за долгие годы своего секретарства он собрал в отделе ровный, сильный состав профессионалов-международников. А создавая журнал компартий, который полностью находился под контролем руководимого им Международного отдела ЦК, видел в нем не только средство сплочения комдвижения, но и "кузницу кадров". Уже в первой половине 60-х годов "проблемисты", как мы себя называли, начали появляться в 3-м подъезде здания на Старой площади, где располагались международный отдел и отпочковавшийся от него отдел по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран (для краткости назывался Отделом ЦК КПСС). Со временем выходцев из журнала становилось все больше, некоторые из них удостоились выдвижения на руководящие должности, другие оставили заметный след в разных сферах деятельности.

Хулители перестройки, наслышанные о "Проблемах мира и социализма", утверждают, что это было "осиное ревизионистское гнездо", которое чуть ли не повинно во всех случившихся со страной бедах. Я бы посоветовал им искать виновных рангом повыше. Бисмарк как-то сказал, что династия Бурбонов сделала для революции больше, чем все Бонапарты, вместе взятые: Людовик XIV абсолютизмом, XV - непристойностями регентства, XVI - слабостью\*. Примерно то же самое можно сказать о вкладе наших правителей в крушение советской модели социализма и распад СССР. Сталин способствовал такому исходу тем же абсолютизмом, Хрущев - ноздревщиной, Брежнев - нарциссизмом.

Начало моей работы в "Проблемах мира и социализма" ознаменовалось двумя малоприятными инцидентами. Первый был связан с учебником "Обществоведение". Вот какая к нему привела цепь событий. Вскоре после XX съезда мы с Бурлацким решили воспользоваться поветрием свободы и сочинили довольно острую по тем временам статью, раскрывающую огрехи нашего управленческого механизма. В "Литературной газете" ее отдали в отдел, которым заведовала Алина Писаржевская. Статья была опубликована, а мы нашли хороших друзей в Алине и ее муже Олеге. Химик по образованию, он был секретарем у кого-то из наших корифеев - кажется, у самого Прянишникова. Пушкин говорил, что нет занятия более увлекательного, чем следить за мыслью великих людей. Вероятно, опыт общения с мэтром и его окружением натолкнул Олега на идею заняться популяризацией науки, точнее даже - ее выдающихся представителей. Публицистический дар, безупречное владение словом и профессиональное знание предмета позволили ему написать ряд интересных очерков и книг, в том числе в серии "Жизнь замечательных людей".

Нельзя не пожалеть, что многие популярные произведения этого жанра не переиздаются, а новых не видно на полках магазинов, заваленных детективами и сериями о тиранах, вождях, женах правителей и т. п. Помню, в юные годы огромное впечатление на

меня произвела книга Поля Де Крюи (в другой редакции Де Крайфа) "Охотники за микробами". Думаю, она привела в науку целую армию биологов, медиков, а может быть, ученых и других профессий.

Мы уже сблизились домами, когда Олег однажды явился ко мне в сопровождении высокого симпатичного блондина - Владимира Васильевича Суходеева с неожиданным предложением. Оказывается, объявлен конкурс на написание лучшего учебника для выпускного класса школы по вводимому впервые курсу обществоведения. Дело заманчивое, обещает в случае успеха и почет, и солидное материальное вознаграждение. Игра стоит свеч.

Сочинили заявку, отправив ее, как и полагалось по условиям конкурса, под девизом, и засели за работу. Очень скоро обнаружилось, что мои соавторы готовы разрабатывать отдельные темы, а вот их логическая увязка, "укладка" в целое, редактura - всем этим придется заниматься мне. Энциклопедический по сути своей характер курса, включавшего элементарные познания по философии, политической экономии и теории коммунизма, да еще необходимый каждому минимум знаний об устройстве политической системы, о Конституции, гражданских правах и обязанностях, вынуждал то и дело садиться за специальные монографии и вмещать их мудрое содержимое в параграф на полторы-две страницы, написанный, по возможности, живым и доступным для усвоения подростком языком. К тому же желательно, чтобы текст был увлекательным, приучал к самостоятельному мышлению.

Долго мы мучились, стремясь соединить глубину с простотой и яркостью, далеко еще не были довольны результатами своих усилий, но поджимали сроки, пришлось отсылать рукопись и ждать приговора конкурсной комиссии. Прошло несколько месяцев, жизнь шла своим чередом, я уже две недели осваивался в журнале и любовался красотами Праги, когда поступило сообщение, что нашему опусу присужден первый приз, правда, с требованием существенно его переработать, включив в коллектив авторов рукописи из Ленинграда, занявшие второе место.

Так к нам присоединились Юрий Андреевич Красин и Александр Дмитриевич Боборыкин. Один философ, другой экономист. Оба - преподаватели университета, успевшие уже поднатореть в дидактике, они легко состыковались с нашей троицей. Хватило одного продолжительного разговора с последующим застольем, чтобы мы ощутили себя единой командой, готовой взяться за создание учебника. Нас пригласили в Отдел науки ЦК КПСС, которым заведовал в то время Иван Иванович Удальцов. Были приглашены видные ученые, педагоги, руководители Министерства просвещения. После того как общими усилиями более или менее отчетливо сформулировали стоящую перед нами задачу, Удальцов заявил, что мы должны будем выехать за город, на одну из цеховских дач, чтобы в течение четырех месяцев подготовить и сдать в издательство учебник. В этом случае он поспеет к началу нового учебного года.

Я испытывал сильное смущение. С одной стороны, заманчивая возможность отключиться от других дел и основательно поработать над нашим "детищем". С другой - неловкость перед Румянцевым. Только приехал и сразу же "в бегах", хотя бы и по высочайшему повелению. Мелькнуло даже опасение, что редакция не пожелает ждать четыре месяца моего возвращения на рабочее место. Поделился своими опасениями с Удальцовым, который, усмехнувшись, заметил, что я, видимо, не очень понимаю, о чем идет речь. Наш коллектив едет не загорать, а выполнять чрезвычайно ответственную работу, связанную с воспитанием подрастающего поколения. Решением ЦК за каждым из нас закрепляется рабочее место и, несмотря на отсутствие, нам обязаны выплатить за этот срок зарплату.

- Так что, друзья, - заключил Удальцов, - ни о чем не беспокойтесь, засучив рукава беритесь за дело.

В наше распоряжение была предоставлена дача, подаренная в свое время Сталиным Горькому, когда тот вернулся из эмиграции. Красивый особняк, недалеко от Горок-10 по Рублевскому шоссе, с парком, фонтаном, прилегающим лесным массивом и спуском к

Москве-реке, еще сохранил многие предметы обихода и мебели, принадлежавшие Алексею Максимовичу. Парадный вход сторожили два бронзовых льва, подаренные писателю каким-то иностранным скульптором. Над домом витал дух не одного его знаменитого хозяина. Здесь, как рассказывал нам Борис Николаевич Пономарев, сочиняли под руководством Хрущева в обстановке строжайшей секретности доклад XX съезду о культе личности. Ну а в дальнейшем чего там только не писали, в том числе с моим участием. Бывало, консультанты сидели там по несколько месяцев. До нас, по рассказам старожилов, дачу облюбовало окружение Хрущева - Аджубей, Замятин, Ильичев, Харламов и другие соавторы книг и фильмов, общим условным названием которых можно считать "Дорогой Никита Сергеевич". Иначе говоря, там же, где ниспровергали один культ, буквально не сходя с места, творили другой. Поистине свято место пусто не бывает.

Всякое случалось на даче Горького. И "тайные вечера" с участием первых лиц государства, и острые политические дебаты. По поводу начала и завершения работы, а иногда и отдельных ее разделов устраивались застолья. В свободное время гуляли по парку, купались, играли в волейбол, бильярд, шахматы, зимой ходили на лыжах до расположенного поблизости знаменитого конного завода с бронзовой статуей мощного жеребца Квадрата - родоначальника конюшни отменных скакунов, которых продавали иностранцам на ежегодном аукционе. По вечерам два раза в неделю приезжал киномеханик показывать заказанные по общему выбору фильмы. Спрос был, естественно, в первую очередь на нашумевшие иностранные ленты, у которых не было шанса попасть в прокат. Но старались не пропускать и отечественные новинки, о которых печать трубила до выхода на экран. После сеанса, за чаепитием, обменивались впечатлениями. Запомнилось, как Пономарев возмущался неприличным содержанием фильма "Еще раз про любовь" по пьесе Э. Радзинского с участием Татьяны Дорониной и Александра Лазарева; он нашел в нем чуть ли не порнографию. Заметив на наших физиономиях искреннее недоумение, сказал: "Ну как же, товарищи, неужели вы не видите... познакомился парень с девушкой, и она тут же приглашает его к себе домой". Вот ведь какая разница между нравственными принципами поколений. Впрочем, на "Последнее танго в Париже" Борис Николаевич не реагировал так остро: скорбно покачал головой и удалился.

Дачу Горького по очереди "арендовали" международники и агитпроповцы, а иногда совместно выполнялись поручения ЦК. В этом случае в соответствующем постановлении заглавным, т.е. отвечающим за сбор и организацию работы, назывался какой-нибудь из этих отделов. Долгое совместное сидение под руководством заведующего агитпропом Владимира Ильича Степакова было в связи с подготовкой 50-й годовщины Октября. Каким-то образом он пришелся по душе генеральному и сделал феерическую карьеру - из помов в замы, из замов в главные редакторы "Известий", из главных в завы - должность, сопровождаемая, как правило, членством в Центральном Комитете, депутатством в Верховном Совете и прочими весомыми почестями. И все это за какие-то два-три года. Мы тогда шутили, что, если бы можно было клонировать Степакова, его бы назначили на все посты.

Нечто похожее происходило недавно: стоило кому-то понравиться Ельцину, и уж он публично изъяснялся в любви к своему фавориту, объявлял его лучшим министром обороны или внутренних дел, финансов или железных дорог, намекал, что хотел бы видеть его своим наследником. Но проходило несколько месяцев, и на смену прежнему любимцу отыскивался новый. Типичная болезнь слабых правителей, не уверенных в себе, ищущих охранителя и спасителя, который будет делать за них всю тяжелую и грязную работу, а им оставит царствовать и наслаждаться властью.

Если кто полагает, что пребывание на даче Горького было действительно "дачным", то это не так. Ритм работы всякий раз задавался бешеный, рассчитанный на перенапряжение. Жесткие сроки вынуждали корпеть над документами по 12-14 часов в сутки, включая субботу и, как правило, воскресенье. Без конца нас навещали высокие заказчики, требовали отчета, заставляли по несколько раз переделывать вполне приличный текст, причем в девяти случаях из десяти - в худшую сторону.

При всем том ездили трудиться на дачи с охотой. Это позволяло выключиться из повседневной бюрократической суеты, избавиться от необходимости отвечать на десятки телефонных звонков, дробить свое время на выполнение различных, зачастую не очень приятных поручений. Здесь, несмотря на плотный контроль, мы все-таки были больше предоставлены себе. Да и дышалось повольнее, чем в цековских коридорах, "отпускало" состояние настороженности, подсознательной боязни ляпнуть ненароком что-нибудь лишнее. Казалось бы, не велико расстояние - 40 километров от Москвы, но сама атмосфера "выездной" работы не только допускала, но и как бы обязывала к большей откровенности. Даже посещавшее нас начальство, погружаясь в этот "мирок", позволяло себе чуть-чуть расслабиться и выслушивало, хотя и с кислой миной, то, что оно ни при каких обстоятельствах не пожелало бы слышать от своих подчиненных в здании на Старой площади, а те не посмели бы это высказать.

Приехал однажды на дачу Горького Пономарев и стал рассказывать работникам двух отделов о предвыборной поездке в свой избирательный округ. С видимым удовольствием живописал, как сердечно встретили его не только местные власти, но и население, с каким энтузиазмом трудящиеся готовятся к выборам. А когда секретарь ЦК зашел в продовольственный магазин, он порадовался обилию продуктов на полках, в том числе насчитал шесть сортов колбасы.

Вот эти шесть сортов нас окончательно добили. Не назови он цифру, возможно, молча проглотили бы этот самогипноз. Но тут нас, что называется, прорвало. "Борис Николаевич, неужели вы не понимаете, что вам демонстрировали все ту же потемкинскую деревню! Ну, завезли колбасы, можно не 6, а 60 на один день раздобыть. А знаете ли вы, что в подмосковных магазинах одно мыло, спички да консервы столетней давности? И пошло-поехало, старик только отбивался: "Да что вы, товарищи, да этого не может быть... Конечно, перебои в торговле случаются, ЦК недавно принял постановление..." И дальше в том же духе. Не помогло. Наверное, впервые за годы сотрудничества выложили ему все, что накопело.

По аналогии. Однажды мне пришлось присутствовать на заседании Секретариата, где Дмитрий Федорович Устинов, член Политбюро, министр обороны, рассказывал о своей поездке в российскую глубинку. Кажется, в одном из поселков Кузбасса он встретился с шахтерами и, по его словам, был приятно поражен тем, что все пришли в приличных костюмах, белых рубашках с галстучком. Это ассоциировалось у министра с хорошей жизнью. Заглянуть в шахтерские жилища у него времени не было.

Как-то мне на глаза попала статья какого-то критика, большого поклонника Горького, он, в частности, предлагал создать музей писателя на даче в Горках. К сожалению, Управление делами распорядилось иначе, решив переоборудовать это здание под отдых приезжавших к нам в гости высокопоставленных иностранцев. Полбеда, если бы старый дом использовали по этому назначению. Так нет, в созидательном раже надумали построить на территории усадьбы коробку в несколько этажей, сломав строгую симметрию здания и парка, разрушив атмосферу старины, которая составляла очарование этой обители...

Учебник сдали в назначенный срок, он выдержал 24 издания общим тиражом 40 млн. экземпляров, был переведен на десятки языков и удостоен Государственной премии СССР. В его основе лежит марксистская теория, описание логически сконструированной модели социализма, как она виделась в идеале. Наш учебник не мог, разумеется, избежать разрыва между теорией и жизнью, который отличал идеологию советского периода. Но он не был и рождественской сказкой для юношества, давал известное представление о тех реалиях, с какими выпускниками школы придется столкнуться на производстве, в быту, в гражданском обиходе. Пожалуй, вернее всего назвать это сочинение полуутопией. Ну а что касается содержавшегося в нем заряда политической культуры, то авторам стыдиться нечего. Мы старались, как могли, помочь воспитанию гражданина, умеющего самостоятельно мыслить и по возможности бесконфликтно стыковать личный интерес с долгом перед обществом. Некий гибрид спартанца с афинянином. Словом, советского человека.

Сразу после возвращения в Прагу мне пришлось столкнуться с деликатной и крайне неприятной проблемой. Дело в том, что все четыре месяца пребывания в Москве я официально числился на работе в журнале и поэтому получал лишь часть заработка, которая выплачивалась в рублях. Семье приходилось экономить, мы, естественно, рассчитывали несколько поправить свои дела, получив причитающуюся за это время чехословацкую валюту. Мне и в голову не приходило, что могут возникнуть препятствия к этому. Однако ответственный секретарь журнала Александр Иванович Соболев, разозленный моим длительным отсутствием на рабочем месте, заявил, что я не получу ни кроны, пусть платят те, кто устроил эту командировку. Я обратился в Управление делами с просьбой выплатить зарплату хотя бы в рублях, но там заявили, что все это время согласно решению ЦК я работал в журнале, вот пусть он и платит. Тяжба продолжалась два или три месяца, пока наконец я не набрался духу и не пошел к главному. Выслушав, Алексей Матвеевич возмутился, поднял трубку и велел бухгалтерии немедленно произвести полный расчет. Нечего говорить, что потерпевший в этом деле афронт Соболев меня невзлюбил и где мог ставил подножки.

Другой неприятный эпизод, случившийся на старте моей работы в журнале, в какой-то мере иллюстрирует тогдашнюю атмосферу в отношениях между "братскими партиями". По прибытии в Прагу я был определен в отдел партийной жизни, которым заведовал уже знакомый читателю Сергей Митрофанович Ковалев. Таким образом, судьбе было угодно вторично поставить меня под его начало. И этот второй срок прошел безоблачно. Трудились мы дружно и достаточно эффективно. У Ковалева был наметанный политический глаз, а я за 6 лет работы в аппарате ЦК приобрел кое-какое представление о хитросплетениях комдвижения.

Однако первый блин вышел комом. Мне было поручено отредактировать статью Генерального секретаря Французской компартии Жоржа Марше. Материал вышел из перевода не то что сырой, а просто неудобоваримый. Стилистические и даже грамматические ляпы, местами непонятная абракадабра, отсутствие всякой логики. Я обратился к переводчику, но тот заверил, что строго следовал букве оригинала. Может быть, беда была как раз в том, что букве, а не духу. Вместо того чтобы заставить его еще раз тщательно выверить перевод, я сдуру взялся сам править текст. Хотя на нем живого места не осталось, правка носила редакционный характер, я старался как можно бережнее сохранить мысли автора. Тем не менее представитель Французской компартии в журнале Жан Канапа устроил скандал, объявив, что статья его генсека подверглась недопустимым искажениям. Мне было предложено уладить конфликт, и я отправился к нему на переговоры.

Тощий, желчный француз, не выпуская из рта вонючую сигарету "галуаз", многие годы проработал корреспондентом "Юманите" в Москве, поэтому прилично знал русский язык, хотя иной раз и допускал "ляпы" (какой-то из наших шутников уверил его, что русские аристократы, расставаясь, употребляли изысканное слово "покедова", вот он им и щеголял перед дамами). Он был не только журналистом, но и писателем. Причем, как потом стало известно, наряду с политическими трудами сочинял порнографические романы. Очевидно, для заработка, а может быть, по зову натуры, поскольку был охоч до женщин, особенно русских. Из Праги он тоже увез красивую стенографистку.

Я старательным образом, не пропуская ни запятой, обосновал ему свою правку, а затем предложил взять в руки перо и лично поправить те места, где допущены искажения. Он внес какие-то пустяковые изменения, после чего я доложил руководству, что текст согласован. Статья была напечатана, а через несколько дней из Парижа в Москву поступило гневное послание с протестом против вольного обращения со статьей Марше. В международном отделе поднялся переполох. Меня заставили писать объяснительную записку, Канапа же без зазрения совести отрекся от того, что лично санкционировал правку. Наши кураторы журнала довели до сведения французских друзей, как обстояло дело, и там в конце концов этим удовлетворились. При встрече Канапа покровительственно хлопнул меня по плечу и сказал, что я могу не беспокоиться, ему удалось предотвратить конфликт между КПСС и

Французской компартией, чуть было не вспыхнувший из-за этого инцидента. После этого я попросил Ковалева никогда больше не поручать мне статей из Парижа.

Вот ведь как много значит национальный характер. Я преклоняюсь перед французским гением, считаю его заглавным в германо-латинском мире. Но, вероятно, именно сознание принадлежности к этой великой и блестящей культуре способствовало вызреванию известной амбициозности и высокомерия. Впрочем, возможно, причина здесь совсем не в национальном характере. У англичанина, западного немца, американца было ведь не меньше оснований заноситься, однако наши редакторы без особых трудностей находили с ними, как и с представителями многих других партий, общий язык. А вот гораздо сложнее, хотя и не в такой драматической форме, как описано выше, проходили согласования с итальянцем Мигелем Росси и испанцем Аскарате. То есть с представителями самых крупных по тому времени компартий Западной Европы, уже вступивших на путь еврокоммунизма и бросавших вызов идеологическому диктату КПСС в международном комдвижении.

Намного легче было сотрудничать с представителями компартий стран социалистического содружества. И не мудрено: финансируя журнал, они входили в состав редколлегий, в то время как все остальные были членами редакционного совета. Но и здесь была своя иерархия, поскольку на КПСС приходилась львиная доля расходов. Существенное бремя несла, естественно, Компартия Чехословакии, где журнал создавался и печатался. Примерно равные доли падали на остальных, при том что румыны вскоре вовсе отказались вносить свой вклад, ссылаясь на экономические трудности, да и венгры задерживали платежи.

Наше доминирующее положение гарантировалось и тем, что журнал создавался на русском языке, а уже потом переводился. Редакторский состав процентов на восемьдесят был из Советского Союза. Должен, однако, засвидетельствовать, что своим, безусловно, господствующим положением мы пользовались умеренно; журнал, особенно в первый период, был действительно свободной трибуной. Там нередко публиковались материалы, которые не имели шансов появиться в национальных партийных изданиях, и это было уже немалой заслугой как первого шеф-редактора, так и созданного им творческого коллектива.

Одним из существенных преимуществ нашего пражского бытия был доступ к гораздо более обширной, чем в Москве, информации. Журнал получал периодические издания со всего мира. У него была отличная библиотека, и к тому же многое мы узнавали от своих иностранных коллег. Все это давало богатую пищу для ума, а условия жизни небольшой профессиональной колонии за границей способствовали тесному интеллектуальному общению. Дискутировали в редакционных кабинетах и коридорах, в столовой за обедом или в близлежащей пивнушке за кружкой "праздроя". Часто водили компании и дома, поскольку весь коллектив был размещен в основном в двух зданиях на улице Живкова и Дейвице.

В Чехословакии было немало соблазнов для собирателей добра: недорогая посуда, люстры из хрусталя и фарфора, модная одежда, изысканные изделия из граната. Рассказывали, что некоторые дипломаты сидят буквально на хлебе и воде, чтобы по возвращении домой украсить свое жилище, а то и приобрести кооперативную квартиру и вожденный автомобиль. Среди нас тоже встречались "собиратели". Одна семья, по слухам, завезла из Москвы огромную партию консервов, мыла, зубной пасты, спичек, словом, всего необходимого, чтобы из продуктов тратить драгоценные кроны только на хлеб. Но в большинстве своем журналистская братия не отличалась страстью к накопительству. Ездили на экскурсии в соседние страны, посещали театры, не пропускали кинопремьер, бывали на выставках и уж обязательно на празднике открытия "Пражской весны" в Соборе святого Вита, где оркестр в составе нескольких сот музыкантов под руководством знаменитых дирижеров исполнял Бетховена, Чайковского, Баха, Сметану, Дворжака...

Сравнительно молодые, 35-40-летние, мы свободно обсуждали в своем кругу острые проблемы, с которыми сталкивалось советское общество, считали перемены неизбежными и верили, что они не за горами. Никто, конечно, не мог предугадать, чем они обернутся для каждого из нас, кого ждет какая судьба. Вот некоторые из этих судеб.



Юрий Карякин сыграл видную роль в рядах радикал-демократов, или либералов, как их теперь часто называют, особенно на начальном этапе перестройки. Несколько раз поднимался на трибуну Кремлевского Дворца съездов в качестве народного депутата СССР. Но "вошел в историю" прежде всего фразой, сказанной в сердцах, когда его партия потерпела поражение на выборах: "Ну, Русь, ты сдурела!" Человек с несдержанным характером, язвительный и болезненно самолюбивый, он не располагал к общению. Написал интересную книгу о Достоевском, но на том и остановился. Не устоял перед самым распространенным у нас губительным пороком. В Праге хвастал тем, что собрал чуть ли не сотню русских слов, красочно описывающих это занятие: принять на грудь, заложить за воротник, дерябнуть, дербалызнуть, опрокинуть и т. д.

Борис Грушин основал одно из самых авторитетных социологических агентств "Vox populi", чьи опросы регулярно печатаются в "Независимой газете" и оглашаются телевидением. Пригодился опыт, накопленный им еще в "Комсомольской правде" и послуживший материалом для книги "Мир мнений и мнения о мире". В Праге Борис тоже занимался любимым своим делом, но это не мешало ему участвовать во всех приятельских сходках и гордиться способностью поглощать одновременно до двенадцати кружек пива.

Одним из менее удачных проектов агентства стал ежемесячный рейтинг "Сто ведущих политиков России", печатаемый по заказу "Независимой газеты". Поскольку приговор выносятся "присяжными", принадлежащими, за редкими исключениями, к либеральному сектору нашей интеллектуальной элиты (политологи, обозреватели), он страдает откровенной тенденциозностью. В критической статье, опубликованной в той же "НГ" (16 авг. 1996 г.),

я обратил внимание на некорректность метода, согласно которому политическое влияние оценивается преимущественно в соответствии с должностным положением, лишь время от времени президент меняется местами с премьером. Для подобных умозаключений не нужны никакие опросы. Вдобавок имел неосторожность порекомендовать качественную оценку - как влияют, с плюсом или минусом. Грушинские социологи игнорировали критику, но советом воспользовались, еще более усугубив односторонний характер рейтинга. Теперь, к примеру, Зюганов, если даже был в отпуске за оцениваемый период, неизменно получает минус, а Явлинский, пусть он вытворил что-нибудь неумное, что, к сожалению, с ним случается, - столь же обязательный плюс. "НГ" напечатала и вторую мою критическую статью на ту же тему, после чего продолжает как ни в чем не бывало публиковать пресловутые "100 политиков".

Мераб Мамардашвили получил признание как крупный философ и у себя в Грузии, и в российских научных кругах. Мы встречались несколько раз в компаниях. Он не принадлежал к числу людей, завладевающих вниманием, был скромн, тих, молчалив, в прикрытых очками глазах виделась внутренняя сосредоточенность. Это отнюдь не пришло мне в голову сейчас - отложилось в памяти. Словом, настоящий философ.

Евгений Аршакович Амбарцумов долго ходил в "полудиссидентах", хотя по нынешним меркам не "потянул бы" на махрового ревизиониста. Он заведовал отделом в Институте экономики мировой социалистической системы, при этом несколько лет оставался фактически невыездным. Немалых трудов стоило пробить ему возможность поездок даже в страны, изучением которых он занимался. Зато воспрял с перестройкой, став депутатом и председателем Комитета по международным делам Верховного Совета РСФСР, затем - послом России в Мексике.

Ахмед Искандеров написал ряд интересных работ по истории Японии, избран в Российскую академию наук, возглавляет журнал "Вопросы истории".

Но магистральный путь большинства хорошо зарекомендовавших себя "проблемистов" пролегал через аппарат Центрального Комитета КПСС. Иван Тимофеевич Фролов, несколько лет проработав помощником тогдашнего идеолога П.Н. Демичева, достиг всех мыслимых почестей и на политическом поприще (член Политбюро ЦК КПСС, главный редактор "Правды"), и на научном (академик, президент философского общества). Мы с ним были

помощниками Горбачева, изредка встречались на "сидениях" в Отделении философии, права, социологии и психологии Академии наук. Хорош был в молодости - высокий, стройный, ясные голубые глаза, чуть выющиеся золотистые волосы - Иван Царевич из сказки. А натурой прям, резок. Редактируя "Вопросы философии", печатал статьи, вызывавшие раздражение наших обскурантов. Не раз Сергей Павлович Трапезников, гонитель всякой свежей мысли, заведовавший по недоразумению отделом науки, пытался его снять. Я его защищал как мог, ходил к Русакову, Зимянину, просил заступиться. За пределами созданного им Института человека Ивана стало не слышно - то ли устал, то ли махнул рукой на обманувшую всех нас историю.

В помощники генсека вышел из "Проблем мира и социализма" Вадим Печенев. Только другого, серого генсека - Черненко.

С Георгием Аркадьевичем Арбатовым мы сразу же после возвращения в Москву оказались в одной команде - консультантами у Андропова. По соседству в международном отделе оказались в таком же качестве, а затем быстро выдвинулись Загладин, Черняев, Брутенц, Жилин.

Покидая Прагу в 1964 году, я не предполагал, что через несколько лет мне предстоит сюда вернуться, но уже в роли ответственного секретаря и члена редколлегии журнала. Вдобавок так случилось, что накануне моего приезда шеф-редактор журнала Константин Иванович Зародов слег с обширным инфарктом, и в течение шести месяцев на мне лежали все заботы по руководству журналом. Политическая атмосфера в Праге, у нас в Союзе да и в мире в целом была уже не та, что в первый мой срок. Минуло всего два года после подавления Пражской весны. Хотя наши войска были дислоцированы в нескольких гарнизонах, солдаты и офицеры не мелькали на улицах столицы и других городов, страна все еще чувствовала себя полуоккупированной. Чехи - люди воспитанные и сдержанные в проявлении эмоций. Тем не менее мы, можно сказать, шкуркой чувствовали неприязненное к себе отношение. Старались меньше бывать в общественных местах, проводя больше времени в своем кругу на улице Тхакурова, 3, где в дореволюционной Чехии помещалась семинария, а потом международный коммунистический журнал (кстати, кажется, семинария вернулась на свое место). Намного более строгая цензура исключала возможность печатания "вольных" материалов, какими журнал блистал при своем появлении. Мне было категорически запрещено публиковать статьи, содержавшие хотя бы косвенную критику политики КПСС. И если удавалось поместить что-нибудь интересное, то главным образом за счет политической публицистики с использованием эзопова языка.

Я выкладывался, стараясь поддержать все еще высокую репутацию журнала. Помогали, как могли, представители партий, с которыми у меня установились ровные уважительные отношения. Хуже было со своими - среди редакторов-консультантов почти не осталось ярких, самобытных "перьев", а ведь их умением и старанием определяется в конечном счете уровень большей части статей. У меня вышел спор с приехавшим в качестве консультанта Егором Владимировичем Яковлевым. Создатель популярного в свое время "Журналиста", знаток ленинских текстов, он утверждал, что журнал может и должен быть интересным для читателя от первой до последней страницы. Симпатизируя в принципе этой идее, я объяснял, что в наших условиях это невозможно. Три четверти содержания журнала составляют материалы, присылаемые компартиями. Мы не можем обязать их писать так, как нам нравится. Много лет спустя в Москве, прочитав от корки до корки один из номеров "Общей газеты", я позвонил Егору Владимировичу и сказал, что он таки доказал свою правоту. Правда, не в отношении "Проблем мира и социализма".

У меня в ту пору было несколько интересных поездок. Одна в Блэкпул на конференцию лейбористской партии, где с триумфом был встречен тогдашний ее лидер Гарольд Вильсон. Вскоре, приведя партию к победе на выборах, он подал в отставку, уступив место премьеру и лидера, в связи с достижением 60-летнего возраста. Доживем ли мы когда-нибудь до подобной щепетильности политических деятелей?

Забавная история приключилась в Бухаресте. Журнал как международный орган

компартий посылал свою делегацию на их съезды. За отсутствием шеф-редактора мне выпала честь возглавить делегацию "Проблем мира и социализма" на съезде Румынской компартии. По традиции при его открытии Чаушеску огласил список гостей, а после каждой очередной фамилии лидера делегаты стоя аплодировали. И вот объявляется: "Делегация журнала "Проблемы мира и социализма" во главе с ответственным секретарем Георгием Хосроевичем Шахназаровым". Я поднимаюсь, кланяюсь, вижу, что вместе со всем президиумом встает и аплодирует Брежнев, и думаю: "Небось припомнит когда-нибудь". И ведь действительно припомнил, но без досады. По возвращении в Москву при первой нашей встрече сказал с улыбкой: "Ну вот, ты и в главы делегаций вышел!" Я сказал, что чувствовал неловкость, поднимая своего генсека. "Все по правилам", - возразил он.

В Вене я поучаствовал в съезде социал-демократической партии Австрии, брал интервью у Бруно Крайского.

В Бейруте представлял КПСС на съезде ливанских коммунистов. В этой партии много армян, у одного из них был организован ужин в мою честь. Меня расспрашивали о жизни в Советском Союзе, о нашей политике, о том, чего ждать в будущем. И, конечно, об Армении, о которой, увы, я не мог сказать много, поскольку до того побывал в Ереване лишь однажды.

В перерыве между заседаниями отправился на рынок приобрести японский радиоприемник. Зайдя в одну из лавок, поинтересовался ценой; услышав в ответ "120 долларов", повернулся и пошел к выходу. Хозяин догнал, спросил, сколько у меня есть, я сказал: "Сорок". Он покачал головой, потом поинтересовался, откуда я. "Из Советского Союза". - "А кто по национальности?" - "Армянин". "Так вы же мой соотечественник, берите за сорок". Пока упаковывали приемник, я спросил, много ли он на мне потеряет. Хитро улыбнувшись: "Ничего. Просто я заработаю лишь пять баксов".

Очень увлекательной оказалась поездка на съезд журналистов в Гаване. Не обошлось без приключений. Когда подлетали к Багамским островам, в самолете, который вез большую советскую делегацию, отказала рация. Дотянуть до Кубы не могли из-за нехватки горючего, надо было садиться на Багамах или Бермудах, а там, как рассказал нам командир корабля, командовал военной базой брат того пилота, которого наши заставили приземлиться во время разведывательного полета из Турции над советской территорией; он якобы заявил, что-де пусть только попадутся мне эти русские - я им задам перцу. Рация молчит, начнем ему покачиванием крыльев показывать, что просим разрешения на посадку, а он делает вид, что не понимает, бабахнет и останется прав.

Короче, пилот спросил у руководителя делегации, тогда еще редактора "Правды" Зимянина, как быть. "А вы что предлагаете?" - поинтересовался Михаил Васильевич. "Лететь обратно".

Развернулись и полетели назад в Рабат, где ждали два дня, пока пришлют новый самолет. Слава богу, запас времени был. За это время съездили в Касабланку, красивый белый город, раскинувшийся на прибрежных холмах. По дороге на Кубу мы с Михаилом Васильевичем играли в шахматы. Он был страстным любителем, а играл примерно в силу моего старого знакомого майора Тищенко. Проигрывая, злился. Наблюдавшие за игрой мои друзья-журналисты, воспользовавшись моментом, когда руководитель делегации отвлекся, слезно попросили проиграть пару раз, "иначе он всем нам задаст жару". Я благоразумно последовал этому совету. В Гаване, в перерывах работы Конгресса, мы продолжали резаться в шахматы друг с другом. Однажды на летучке Зимянин спросил, удастся ли кому-нибудь выиграть у Шаха? На что я ответил: "Где им, это только вы можете, хоть и нечасто".

Были и другие развлечения - посещение кабаре в знаменитой Тропикане, купание в лазурных водах океана. На приеме в советском посольстве, устроенном по заключении Конгресса, нас представили Фиделю и Раулю Кастро. Тогда все дело свелось к рукопожатию, и я не предполагал, что мне придется много раз бывать на Кубе, непосредственно общаться с братьями Кастро.

Я часто навещал в больнице Зародова. Ближе познакоившись с ним, пришел к выводу, что и с этим шефом мне повезло. По моей "классификации" он относился к категории,

которую уместно назвать "солью земли русской". При этом я имею в виду вовсе не выдающихся людей, которыми богата Россия, а как раз многих рядовых ее воинов и тружеников, чьими стойкостью и старанием она держалась в трудные моменты своей истории. Таких, как капитан Тушин из "Войны и мира", я встречал на войне. Но там их легче распознать. Гораздо труднее - в мирной жизни, где место подвига часто занимает невидимая глазу преданность делу.

Непритязательный в личном плане, равнодушный во всем, что касалось общественного, государственного интереса, профессиональных обязанностей, поручения, на него возложенного, не лишенный изворотливости и хитрости, без которых не сделать ничего путного в аппаратных дебрях, - таким видится мне Зародов. Был самолюбив. Оправившись от болезни, не замедлил взять в свои руки бразды правления, прежде всего председательствование на редакционном совете и редколлегии, отчетность перед Москвой, переговоры с компартиями. На мне по-прежнему оставалась подготовка журнала к печати. Впрочем, наша совместная работа длилась недолго. Весной 1972 года по представлению

К.Ф. Катушева я был вызван в Москву, утвержден заместителем заведующего Отделом ЦК и вернулся в Прагу лишь для того, чтобы сдать дела и собрать вещи.

Почти четыре года жизни прошли в этом необыкновенном городе. Вот как он отложился в моей памяти.

Люблю я Прагу, все подряд  
Воспринимаю в ней как сны я:  
И Вышеград, и просто Град,  
И знаменитые пивные,  
Средневековое лицо  
Соборов Вита, Микулаша  
С тенями рыцарей, купцов,  
Монахов, дравшихся за Чашу.  
И Прашной Браны красоту,  
И Яна Гуса лик суровый,  
И Карлов мост, и суету  
Наместья Вацлава святого,  
И населенные толпой  
Террасы парков Петржины,  
И клич свободы той весной...  
За грешный шестьдесят восьмой  
Я каюсь перед ней поныне.  
С Андроповым

Строго говоря, согласно обещанию рассказывать о непосредственных начальниках, я должен был бы перейти к Бурлацкому, который был назначен руководителем только что созданной консультантской группы в Отделе ЦК КПСС и порекомендовал Андропову обратить внимание на мою скромную персону. Но с Федором мы дружим уже полвека, я его не мог воспринимать в начальственном качестве, да и группой он почти не занимался, пребывая постоянно где-то в верхах, - писал для Хрущева, о чем поведал в своей книге "Вожди и советники".

Мало занимался консультантами и другой "промежуточный шеф" - Лев Николаевич Толкунов, бывший тогда первым заместителем заведующего отделом. Он был и не прочь, поскольку подбирал и опекал консультантов. Сам журналист, видел в нас родственные души, и мы ответно к нему тянулись. Человек он был мыслящий, живой, к тому же обладал свойствами великолепного организатора никогда не суетился, не давил на психику подчиненных, не дергал по пустякам, даже в "пиковых ситуациях" был собран и хладнокровен. Все эти драгоценные качества пригодились ему позднее, когда он руководил агентством печати "Новости", был главным в "Известиях", наконец, возглавил одну из палат Верховного Совета. Не берусь сказать, кого в нем было больше: остроглазого журналиста

или искушенного аппаратчика, оба этих противоречивых свойства как-то уживались, вроде бы даже не мешали друг другу. По крайней мере, Лев Николаевич спокойно развязывал узлы, которые, казалось, можно было только рубить.

Я многому научился у этого человека и с особенной теплотой вспоминаю последние наши встречи. Так получилось, что летом 1990 года мы вместе отдыхали в санатории "Южный" на Крымском побережье. Часто прогуливались, обменивались мнениями о событиях, которые, как волны, набегали тогда на страну, каждая последующая выше и опасней предыдущей. Секретов у нас друг от друга не было, а поводов для тревоги было предостаточно. Судили-рядили, кое-что придумали и условились по возвращении в столицу написать совместную записку Горбачеву. Увы, сначала набегали всевозможные срочные дела, потом на Льва Николаевича обрушилась тяжелая скоротечная болезнь. Хоронил я его вместе с другими; воскрешая в памяти, вижу живым, улыбающимся, с черными озорными глазами, слегка прихрамывающим вследствие фронтового ранения.

Повторяю, Толкунов хотел бы руководить консультантами, и иногда ему это удавалось. Но урывками, потому что заведующий Отделом секретарь ЦК жестко установил: консультантская группа находится в прямом его подчинении, и без его указаний никто из "замов" не должен давать ей каких-либо поручений. Причем это была отнюдь не пустая декларация. Не проходило дня, особенно в первые полтора-два года, чтобы он не призывал нас к себе поручить какую-то работу или просто посоветоваться.

Вот как состоялось мое знакомство с Андроповым. Когда я вошел в большой светлый кабинет с окнами на Старую площадь, Юрий Владимирович встал из-за стола, поздоровался и предложил сесть в кресла лицом к лицу. Его большие светлые глаза светились дружелюбием. Во всей крупной, чуть полноватой фигуре ощущалась своеобразная "медвежья" элегантность. Он словно стеснялся своего роста, величины, старался не выпячивать грудь, как это делают уверенные в себе сановитые люди, а, наоборот, припрятать ее сколько можно. Чуть горбился, и мне кажется, не столько от природной застенчивости, сколько от того, что в партийных кругах было принято демонстрировать скромность, и это становилось второй натурой.

Вообще в цеховских коридорах на Старой площади чиновный люд - от младших референтов и инструкторов до "замов" и "завов" - за редкими исключениями, передвигался бесшумно, всем своим поведением и обликом говоря: чту начальство и готов беззаветно следовать указаниям.

Не составлял исключения и Андропов, без чего, вероятно, было бы невозможным его продвижение по ступеням партийной иерархии. Но каким контрастом с традиционными повадками партчиновника было все его поведение, когда он оставался наедине с человеком, которому доверял, в кругу бывших ему по душе людей из журналистской, научной да и партийной среды.

Официальная часть беседы продолжалась десять минут, в течение которых он расспросил меня о работе журнала "Проблемы мира и социализма", поинтересовался семейными обстоятельствами, проявил заботу об устройстве быта и одобрительно отозвался о последней моей статье - не помню какой. Затем разговор переменялся, он заговорил о том, что происходит у нас в искусстве, проявив неплохое знание предмета.

- Я стараюсь, - сказал Андропов, - просматривать "Октябрь", "Знамя", другие журналы, но все же главную пищу для ума нахожу в "Новом мире", он мне близок.

Поскольку наши вкусы совпали, мы с энтузиазмом продолжали развивать эту тему, обсуждая последние публикации журнала. Затем перешли на театр, где он проявил живой интерес к судьбе Таганки, а я, будучи в дружеских отношениях с Ю.П. Любимовым, смог проявить осведомленность о положении вещей в этом "диссидентском" коллективе. Позднее, кстати, именно Таганка стала камнем преткновения в наших отношениях с Андроповым.

Так мы живо беседовали, пока нас не прервал грозный телефонный звонок. Я говорю "грозный", потому что исходил он из большого белого аппарата с гербом, который соединял секретаря ЦК непосредственно с "небесной канцелярией", то есть с Н.С. Хрущевым. И я стал

свидетелем поразительного перевоплощения, какое, скажу честно, почти не приходилось наблюдать на сцене. Буквально на моих глазах этот живой, яркий, интересный человек преобразился в солдата, готового выполнить любой приказ командира. Изменился даже голос, в нем появились нотки покорности и послушания.

Впрочем, подобные метаморфозы мне пришлось наблюдать много раз. В Андропове непостижимым образом уживались два разных человека - русский интеллигент в нормальном значении этого понятия и чиновник, фанатично преданный своему партийному долгу и видящий жизненное предназначение в служении партии. Я подчеркиваю: не делу коммунизма, не отвлеченными понятиями о благе народа, страны, государства, а именно партии, как организации самодостаточной, не требующей для своего оправдания каких-то иных, более возвышенных идей.

Это различие проявлялось весьма существенно. Общение с интеллигенцией было, так сказать, отдыхом, источником получения информации, служило утешением души. Оно было и небесполезным в том смысле, что помогало нащупать какие-то оригинальные политические решения или иметь представление о настроениях в журналистской, научной среде, к которым партийные лидеры во все времена чутко прислушивались, но не более.

Будучи, безусловно, самым ярким и одаренным среди своих коллег по тогдашнему руководству, Юрий Владимирович, тем не менее, ориентировался на тех самых послушных партчиновников, о которых шла речь выше. Из этой среды выбирал себе непосредственных помощников, с ними перешел затем в Комитет государственной безопасности и, хотя некоторые из консультантов продолжали навещать его на Лубянке, никому из них он так и не предложил сколько-нибудь высокого поста в своем ведомстве. Интеллектуальные беседы - пожалуйста; обсуждать книгу Делакруа об искусстве - милости просим, писать друг другу мадригалы - отлично. Но, не обессудьте, для выдвижения на руководящие партийные и государственные должности нужен другой тип людей. Из тех, кто будет выполнять приказ, не раздумывая над его целесообразностью.

Нечто подобное, хотя в меньшей мере, свойственно и Горбачеву. При всем при том, что он чувствовал себя по-настоящему раскованным с людьми, если можно так выразиться, "консультант-ской породы", партийно-бюрократическая сторона его натуры требовала неустанной классовой бдительности, сохранения определенной дистанции в отношении интеллектуалов. Пользоваться их услугами в качестве своего рода буржуазных спецов - эта большевистская традиция протянулась от 20-х годов до нашего времени. Вплоть до парадоксальной ситуации, когда генсек, вполне относящийся к этому слою по своему образованию и превосходящий многих своим интеллектом, сам по духу еретик или, как говорили раньше, ревизионист, предпочитал при всем при том опираться на партократов, рассчитывая на их безусловную собачью преданность. И как просчитался!

Но вернусь к Андропову. На протяжении 1964-1966 годов обнаружилось и то новое, что он стремился внести в нашу закостеневшую идеологию, и тот предел, который он не мог перейти.

Справедливо говорят: нет худа без добра. Яростная идейная борьба, разгоревшаяся у нас с Китаем с конца 50-х годов, дала редкий шанс для пересмотра наиболее одиозных постулатов марксизма-ленинизма в сталинской интерпретации. Только шанс, не более, потому что в действительности страсти с обеих сторон полыхали не столько из-за высоких идейных принципов, сколько из-за борьбы двух социалистических держав за руководство революционным лагерем и личного соперничества Мао Цзэдуна и Хрущева за роль "коммуниста No 1". Враждующие гиганты могли обвинять друг друга в реваншизме и догматизме, не посягая на "устои". И если все-таки из этой ситуации удалось извлечь хоть какую-то пользу для нашей обветшалой теории, то прежде всего благодаря Андропову.

Юрий Владимирович собирал консультантов и предлагал провести "мозговую атаку" на предмет маоистских концепций (большой скачок, коммуны, окружение города деревней, "ветер с Востока одолеет ветер с Запада", "пусть погибнет полмира в ядерной войне, зато оставшаяся половина построит коммунизм" и т. д.). Потом брал перо и собственноручно,

фразу за фразой, начинал при общем содействии писать письмо китайскому руководству. С каждым очередным письмом тон становился жестче, аргументы - увесистее, ирония - злее. И главным адресатом были при этом отнюдь не китайские, а отечественные догматики. Критика маоистского "мелкобуржуазного революционализма" позволяла, не скажу обновить, но хотя бы подправить нашу теорию в духе новых веяний - и рождавшихся в наших краях, и шедших тогда от Итальянской компартии.

Тогда же обозначилась и граница "обновительских" настроений Андропова.

Так получилось, что дважды мы остались с ним один на один и, отрываясь от работы, в течение нескольких часов говорили о положении в стране и в мире, о том, какая политика предпочтительна.

Речь, в частности, зашла о гонке вооружений. Я высказал мнение, что мы ошибочно трактуем понятие паритета с американцами. Такой паритет фактически был достигнут уже тогда, когда Советский Союз стал обладателем ядерного оружия и средств доставки, способных уничтожить Соединенные Штаты, стереть их с лица земли. Таким образом шансы сторон уравнились. Но, право же, ни к чему и губительно пытаться достичь арифметического паритета, то есть заполучить столько же оружия по всем основным его видам - самолетам, подводным лодкам, военным базам и т. д. Это нам просто не под силу, надорвет хребет страны. В особенности неоправданно делать ставку на океанский флот и начинать строительство баснословно дорогих авианосцев. А зачем, спрашивается, создавать свои базы во Вьетнаме, Анголе, Йемене? Это же чистое разорение для Союза.

Андропов внимательно выслушал мою тираду, затем встал, походил по кабинету, собираясь с мыслями, вернулся в свое кресло и сильным звонким голосом с обычной для себя убежденностью сказал:

- Вот тут ты не прав, Георгий Хосроевич. Все дело как раз в том, что основные события могут разгореться на океанах и в "третьем мире". Мы и американцы держим друг друга на почтительном расстоянии. Обе стороны понимают, что отважиться на прямую атаку, ядерный удар по противнику - чистое безумие. И хотя у американцев "ястребы" не отказались от планов первого удара, все же, я думаю, у правящего класса хватит сообразительности, чтобы не пойти на авантюру. В Карибском кризисе ведь обе стороны не перешли грань и удалось добиться более или менее приемлемого компромисса.

А это значит, - продолжал он, - что борьба будет переноситься туда, где ее можно вести без прямого для себя ущерба. Помнишь у Ленина: исход схватки будет решаться в Китае, Индии и других странах Востока, где миллиарды людей, подавляющее большинство населения Земли. Так сейчас и получается. Туда, в развивающиеся страны, перемещается поле боя, там поднимаются силы, которых империализму не одолеть. И наш долг им помочь. А как мы сумеем сделать это без сильного флота, в том числе способного высаживать десанты? Ведь только это и удерживает американцев от разбоя, да и то не всегда.

- Юрий Владимирович, - возразил я, - но ведь мы себе живот надорвем. Мыслимо ли соревноваться в гонке вооружений, по существу, со всеми развитыми странами, вместе взятыми?

- Это ты прав, нам тяжело. Но ведь, честно говоря, мы еще по-настоящему не раскрыли и сотой доли тех резервов, какие есть в социалистическом строе. Много у нас безобразий, беспорядка, пьянства, воровства. Вот за все это взяться по-настоящему, и я тебя уверяю - силенок у нас хватит. - Он посмотрел на меня с укоризной. - Вижу, тебя не убедил. Что с вами, консультантами, поделаешь! Вы все пацифисты.

- Ну какой же я пацифист? Я реалист, исхожу из того, что безопасность свою мы обеспечили и теперь надо бы позаботиться о людях, ведь живем-то плохо, бедно.

- Я тебе сказал: резервы у нас огромные. К тому же ты не учитываешь, что у Запада дела с экономикой не ладятся, социальных волнений не избежать. То, что было в Париже в 1968 году, ведь не случайность. Кое-как капиталистам удавалось до сих пор залатывать дыры, но ведь не бесконечно же... Давай работать.

Как всегда, последнее слово осталось за ним. Перечитывая свою запись этой беседы, я

подумал, что и тогда, в середине 60-х годов, у нового советского руководства сохранялась надежда, говоря традиционным языком, на очередное обострение общего кризиса капитализма, на то, что революционная волна, захлебнувшаяся в Германии в 1919-м, все-таки накроет Европу.

При этом, естественно, сохранялась неизменной установка на бескомпромиссную борьбу и победу над силами империализма. Не сомневались в этом и умнейшие в тогдашнем руководстве, к числу которых, конечно, принадлежал Андропов. Вероятно, эта их уверенность питалась пионерским прорывом Советского Союза в космос, относительно стабильным ежегодным экономическим ростом. А больше всего - тем понятным энтузиазмом, который был связан с приходом к власти нового руководства. В тот момент его курс не определился еще окончательно, оставались надежды, что страна наконец получит разумное, стабильное управление, оправится от надоевших всем кульбитов своенравного Хрущева. Не случайно девизом брежневского правления поначалу стали лозунги научности, преодоления субъективизма. Я и другие консультанты под руководством Андропова писали первое программное выступление для Л.И. Брежнева, которое он произнес на праздновании Октябрьской годовщины. Признаюсь, и мы находились тогда во власти радужных ожиданий, которые, увы, начали рушиться очень скоро.

В другой раз мы серьезно поспорили с Юрием Владимировичем, обсуждая внутреннюю тему. Он пригласил меня к себе в кабинет и, когда перед нами появились два стакана горячего чая, начал так:

- Вот ты юрист, занимаешься вопросами государственного строительства, пишешь статьи, книжки о демократии. - К тому времени книг я еще не писал, но не стал его переубеждать. - Скажи мне, что, по-твоему, нужно нам сейчас сделать, как улучшить государственный механизм, чтобы он работал безотказно, надежно, без перебоев?

- Могу говорить совершенно откровенно? - спросил я.

- Ты меня обижаешь, - сказал Юрий Владимирович. - Неужто я вас, консультантов, когда-нибудь прижимал? Да вы у нас говорите, как в Гайд-парке. Так что давай говори, что думаешь, если, конечно, не станешь нести антисоветчину, - добавил он с улыбкой.

Получив такое благословение, я довольно откровенно выложил все, что было в то время у меня в голове. Что у нас колоссальный разрыв между Конституцией и жизнью, что депутаты Верховного Совета все до единого не избираются, а назначаются, всякое инакомыслие подавляется в зародыше, аппарат командует выборными органами, хотя на каждом шагу твердим, что власть принадлежит Советам, на деле всем заправляют райкомы и обкомы и т. д.

Юрий Владимирович не прерывал меня, но лицо его постепенно темнело. Он как-то посуровел, и мне даже показалось, что в какой-то момент стал тяготиться тем, что вызвал меня на откровенный разговор. Был он по природе осторожен, опасался соглядатаев, и не без оснований: хотя новый генсек явно благоволил ему, но и зорко присматривал. Брежневу, разумеется, давали читать статьи из иностранных журналов, в которых говорилось о восходящей звезде советской политики - Андропове, ему предрекали в скором времени стать лидером. Это не могло не насторожить хитрого и коварного генсека, и он в своей обычной интриганской манере нашел оригинальный способ не только обезопасить себя от соперника, но извлечь из этого максимальную выгоду - отправил Андропова в Комитет государственной безопасности. Зная о его безусловной порядочности, Леонид Ильич мог спать спокойно: наиболее ответственный участок был поручен умному человеку, а одновременно его, мягко говоря, отодвинули в сторону.

Эта версия была изложена впервые в "Цене свободы"\*. Рой Александрович Медведев в своей фундаментальной, на мой взгляд, лучшей до сих пор биографии Андропова ее оспорил на том основании, что в 1967 году о Юрии Владимировиче мало что знали и в нашей стране, и за границей, иностранные журналы не писали о нем как о "восходящей звезде", а Брежнев "не читал иностранных журналов; он очень бегло просматривал обзоры ТАСС и не считал Андропова своим соперником, хватало других, более влиятельных"\*\*.



По лености своей я никогда не взялся бы соперничать с великим тружеником и собирателем документации, каким является мой друг Медведев. Но в данном случае от своего мнения не отступлюсь. Дело в том, что в одном из номеров журнала, не то "Тайм", не то "Ньюсуик", был напечатан очерк об Андропове с высокой оценкой его интеллектуальных качеств и с прогнозом, что этот политический деятель может как раз стать той самой "восходящей звездой". Были и другие оценки подобного рода со ссылками на его роль в продвижении Кадара после венгерских событий, создании сильного отдела, им возглавляемого, и даже, помнится, с упоминанием нашей консультантской группы, в которой усматривали аналог мозговых центров, входивших тогда в моду.

К сожалению, говорю об этом по памяти. Что же касается того, что Брежнев читал лишь сводки ТАСС, то это и вовсе не аргумент - любая публикация о потенциальном сопернике немедленно ложилась ему на стол, вполне вероятно, что их-то он как раз и читал самым внимательным образом. Вдобавок у Леонида Ильича был сильнейший инстинкт по этой части - тут он даже Ельцину дал бы сто очков вперед. В том-то и заключался его гениальный и иезуитский ход: "ставя" на КГБ сильного, талантливого человека, он тем самым надежно защищал себя от самого опасного в тот момент соперника - Шелепина и одновременно на годы загонял в угол самого Андропова.

Продолжу рассказ о том откровенном разговоре.

- Кое в чем должен согласиться с тобой, - сказал Андропов, - во многом ты преувеличиваешь. Но сейчас я бы не хотел вступать в идеологический спор. Меня интересует, что можно сделать конкретного в плане совершенствования государственного механизма, вы же, юристы, над этим думаете?

Уловив нотку легкого раздражения в голосе шефа, я стал ему пересказывать те робкие предложения, какие кочевали по страницам "Советского государства и права", "Социалистической законности" и других журналов. Речь там шла, как всегда, о том, чтобы обогатить законодательство, поднять роль суда, укрепить процессуальный порядок рассмотрения уголовных и гражданских дел. Самой дерзкой идеей было робкое предложение подумать о возрождении суда присяжных.

Юрий Владимирович вяло комментировал все это псевдоноваторское словоблудие. Оно ему явно наскучило, и он сказал недовольным тоном:

- Ну вот, завел бодягу.

- Так вы сами этого хотели.

- Ладно, считай, мы квиты, начнем все сначала. Только теперь для затравки я сам скажу, что думаю. Понимаешь, наша система не то что плоха, ведь она свои задачи выполняла, да еще как. Коллективизацию провели, индустриализацию осилили, в такой страшной войне верх взяли, да и после войны быстро поставили страну на ноги, в космос вышли. Все так. И тем не менее все мы чувствуем неполадки в государственном механизме, причем такие, каких не исправишь двумя-тремя умными решениями. Машина, грубо говоря, поизносилась, ей нужен ремонт.

- Капитальный, - вставил я.

- Может быть, капитальный, но не ломать устои, они себя оправдали. Причем реформы нам нужны и в экономике, и в политике. Тут центральный вопрос - с каких начинать. Я с тобой согласен, не обойтись без существенных поправок в государстве. Советам больше прав дать, чтобы они действительно хозяйствовали, а не бегали по всякому пустяку в райком или даже в ЦК. Позволить людям избирать себе руководителей - политическая культура выросла, иной рабочий или крестьянин нам с тобой сто очков вперед даст, а мы его все держим за несмышленища, учим, как жить, ставим над ним дураков-начальников.

Но в чем я абсолютно убежден: трогать государство можно только после того, как мы по-настоящему двинем вперед экономику. На поверхности здесь дела вроде бы неплохо идут: прирост ежегодный есть; нефтью, газом и себя обеспечиваем, и братским странам даем, и на экспорт остается. Вроде бы пусть и дальше так идет. А ты знаешь, в Политбюро крепнет убеждение, что всю нашу хозяйственную сферу нужно хорошенько встряхнуть.

Особенно скверно с сельским хозяйством: нельзя же мириться дальше с тем, что страну не можем прокормить, из года в год приходится закупать все больше и больше зерна. Если так дальше пойдет, скоро вообще сядем на голодный паек. И виноваты здесь не колхозы, а плохая организация производства, низкая заинтересованность. Хрущев и так и эдак пытался поправить дело, лозунги вроде бы выдвигались на пленумах и съездах правильные, а все по-прежнему идет наперекосяк.

Юрий Владимирович воодушевился и долго еще рассказывал, как он представляет себе реформу сельской экономики, затем о назревших нововведениях в промышленности, финансах. Все, что он говорил, было по направленности своей близко к тому, что затем стало чуть ли не постоянным лейтмотивом выступлений и принимавшихся на партийных форумах программ. Это был план хотя и неглубокой, не структурной, но достаточно серьезной реформы, которая в конечном счете была официально провозглашена, детально документирована в решениях правительства и умерла тихой, естественной смертью, поскольку у Брежнева не было никакого желания рисковать своим положением и авторитетом, ввязываясь в предприятие с непредсказуемым результатом. Чего ради! На его век, по расчетам, должно было хватить нефти, на которую можно было закупать зерно. И вместо того чтобы заняться экономической реформой и техническим прогрессом, он решил ознаменовать свое правление присоединением к соцсодружеству Афганистана.

Я возразил Юрию Владимировичу:

- Об экономической реформе у нас говорят без перерыва уже десять лет. А если покопаться в бумагах, то еще при Сталине начались эти разговоры. Толку же никакого. Почему? Да потому, что политическое устройство не позволяет, правящий слой заостенел, живет неплохо, а на остальное ему наплевать. С какой стати все это менять? До тех пор, пока этот слой не заменят, хотя бы не освежат, все попытки реформировать экономику пойдут прахом. Разве это правильно, Юрий Владимирович, если человек попал в номенклатуру, стал членом ЦК, это уже гарантирует ему посмертно передвижение с одного высокого поста на другой. Провалит дело в промышленности, давайте пошлем его на село, там не справится - в послы.

- Это ты прав, - вставил Андропов, - дураков наплодили уйму, но их сразу не выживешь. А ждать, пока перемрут, нельзя. К тому же они ой как живучи. Я на своем веку навидался этой публики...

Эта тема сильно его задела. Видно, как всякий умный человек, настрадавшись он от встреч с глупыми чиновниками и, только набив шишек, научился быть осторожным.

- Все-таки, - продолжал Андропов, - начинать надо с экономики. Вот когда люди почувствуют, что жизнь становится лучше, тогда можно будет постепенно и узду ослабить, дать больше воздуха. Но и здесь нужна мера. Вы, интеллигентская братия, любите пошуметь: давай нам демократию, свободу! Но многого не знаете. Знали бы, сами были бы поаккуратней.

- Так нам бы и сказали, чего мы не знаем. Это ведь тоже, кстати, элемент демократии: свобода слова, печати...

- Знаю, знаю, - прервал меня Юрий Владимирович, - всякому овощу свое время. В принципе согласен, здесь нужны подвижки. Об этом шла речь и на Секретариате. Скажу тебе, между нами, на агитпроп, в науку, культуру придут новые люди.

И они пришли. С.П. Трапезников - куда до него Аракчееву! - сел на науку, а агитпроп, после того как А.Н. Яковлева отослали в Канаду, на годы остался без главы, пока не посадили туда бесхребетного говоруна В.И. Степакова.

Вспоминая тот наш спор с Андроповым, нельзя не признать, что, конечно, куда как предпочтительнее начинать реформы с экономики. И вроде бы китайский опыт, на который все сейчас усердно ссылаются, говорит о том же. Не дрогнули Дэн Сяопин, руководство КПК, подавили студентов на Тяньаньмэнь, и вот теперь страна процветает, промышленное производство продвигается семимильными шагами, рынки завалены продуктами, да и Запад, пошумев, быстро утих, переключил внимание на других нарушителей великих лозунгов

свободы и прав человека. Интерес всегда сильнее принципа.

Вроде бы все так, да не так. В Китае сохранилась традиционная сельскохозяйственная структура. Крестьяне по-прежнему сидели на земле и, избавившись от навязанных им коммун, быстро расправили плечи, стали кормить народ. Промышленность находится еще на том уровне, когда в принципе возможны 15-процентные приросты.

Главное - забывается, что при отъявленной приверженности марксистской догме китайское руководство (видимо, в силу национального характера) всегда было склонно подходить к вещам прагматически. К тому же уроки, которые преподавал своей нации "великий кормчий", на десятилетия отбили охоту ко всякого рода большим скачкам и прочим экспериментам, в буквальном смысле толкнули в направлении, противоположном коммунизации. Задолго до печальных событий на Тяньаньмэнь Китай был широко открыт для иностранных инвестиций, а обширные приморские пространства - для свободных экономических зон. От них, кстати, в огромной мере и исходит нынешнее процветание.

Теперь давайте подумаем, пошел бы Брежнев на подобные новшества? Да что там Брежнев, если за семь лет своего правления и Горбачев при всем его радикализме не рискнул по-настоящему распахнуть ворота страны. Да и сейчас они лишь чуть-чуть со скрипом приоткрылись, так что крупному капиталу трудно и палец протянуть в щель, не то что протиснуться туловищем.

Эпизоды, о которых я рассказывал, были в период, если можно так выразиться, расцвета наших отношений с Андроповым. Он чуть ли не ежедневно звонил мне, звал к себе, и мы часами "гоняли" тот или иной вопрос. В отделе у меня появилась куча завистников, ожидавших с часу на час моего повышения в должности. Однако неожиданно все поломалось. И вот как.

В то время у меня завязались дружеские отношения с Ю.П. Любимовым. Все, кто относил себя к прогрессистам (теперь их называют "шестидесятниками" и ругают почему-то зря), были горячими поклонниками Театра на Таганке, не пропускали ни одного спектакля, где могли, заступались за этот яркий творческий коллектив. Московские партийные власти да и все ретрограды из идеологических учреждений, поднявшие головы с явным ужесточением политического курса ЦК, буквально навалились на Таганку, всеми способами добиваясь ее закрытия. Наряду с журналом "Новый мир" это была, можно сказать, последняя оборонявшаяся еще цитадель демократического сознания. Но как ни велики были симпатии передовой части общества, как ни шумны овации публики, среди которой были прославленные физики, лучшие наши писатели и поэты, и герои труда, и знатные зарубежные гости, - все это не могло остановить надвигавшейся роковой развязки. Снятия Любимова ждали со дня на день, и сам он как-то вполухутку-вполусерьез сказал, что, если театр закроют, ему не останется ничего иного, как пойти в шоферы такси.

Тогда-то я и отважился обратиться к Андропову с просьбой помочь Таганке. Юрий Владимирович на редкость легко согласился. Он и сам питал слабость к театру, а кроме того, как истинный политик, считал не вредным создать себе хороший имидж у творческой интеллигенции.

Встреча вскоре состоялась. Я привел Любимова в кабинет секретаря ЦК, а затем поднялся к себе. Через некоторое время Юрий Петрович зашел "отчитаться". У них была "милая" полуторачасовая беседа, он весьма откровенно выложил Андропову все, что думает о партийных чиновниках, ведающих искусством, и, как ему показалось, некоторые крепкие выражения по их адресу покорили Андропова. Зная манеру Юрия Петровича честить начальство (например, П.Н. Демичева он не называл иначе как "Ниловной"), я легко представил, как мог отреагировать на подобные вольности наш секретарь, весьма строгий по части этикета. Но на мой тревожный вопрос, не испортил ли Любимов все дело своей несдержанностью, он меня успокоил, ответив, что Андропов, кажется, все понял и обещал помочь чем сможет.

Через несколько дней Юрий Владимирович пригласил меня и сказал, что у него был разговор относительно Любимова. Обещано оставить его в покое при условии, если Таганка

тоже будет "вести себя более сдержанно, не бунтовать народ и не провоцировать власти".

В то время были и другие обращения к Брежневу. Не берусь судить, какое из них сыграло решающую роль, но действительно наши "идеологические волки" на некоторое время, хотя и ворча, отступились от Таганки.

Однако буквально через пару недель у Юрия Петровича снова возникли репертуарные проблемы, и он обратился ко мне с просьбой устроить еще одно свидание с Андроповым. Я рискнул это сделать. Вторая встреча их состоялась, но на сей раз разговор принял нежелательный оборот, и они расстались хотя не врагами, но и не друзьями. Так вот, сразу после этого я почувствовал резкое изменение в отношении к себе Андропова. Он не бросил мне ни слова упрека, но просто перестал общаться и приглашал к себе других консультантов. Эта явная холодность продолжалась и после его ухода из отдела. Бовин, Арбатов часто навещали его по собственному почину или по его просьбе. Я же таких приглашений не получал, а обратился к нему за помощью только раз, в 1979 году, когда в качестве первого вице-президента Международной ассоциации политических наук и президента советской ассоциации проводил в Москве Всемирный конгресс политологов. Тогда нужно было обеспечить визы ученым из Южной Кореи и Израиля, с которыми у нас не было дипломатических отношений. Юрий Владимирович молча выслушал просьбу и помог.

В последний раз мы встретились с ним на совещании Политического консультативного комитета государств - участников Варшавского Договора в Праге. В длинном коридоре, прилегающем к Испанскому залу Пражского Кремля, прохаживались во время перерыва руководители стран-участниц, их окружение, наши коллеги-международники. Я сидел в сторонке на диване и был, откровенно говоря, удивлен, когда Андропов вдруг подсел ко мне и стал расспрашивать, как живу, чем занимаюсь. Потом сказал:

- Знаешь, мы ведь только начинаем разворачивать реформы, сделать надо очень многое, менять круто, основательно. Я знаю, у тебя всегда были интересные идеи на этот счет. Может быть, напишешь и зайдешь? Поговорим...

Естественно, я с готовностью откликнулся на это лестное для себя предложение. Затем Андропов спросил:

- А ты продолжаешь поддерживать отношения с Любимовым?

Я ответил, что мы с ним не ссорились, но после его разрыва с Целиковской перестали встречаться. Спектакли, поставленные на Таганке в последнее время, уже не такого класса, как "Добрый человек из Сезуана" или "Гамлет".

- Возобнови знакомство, - посоветовал Андропов, - постарайся повлиять на него. Скажи ему, что теперь, когда я стал генеральным, он может спокойно работать. Но пусть и сам поймет, что не следует загонять власти в тупик.

Я сказал, что постараюсь выполнить его поручение, и спросил, можно ли рассчитывать в этом случае, что генеральный примет Любимова? Юрий Владимирович кивнул и повторил:

- Воздействуй на него. Он человек яркий, талантливый, но его заносит.

По возвращении в Москву я стал звонить на Таганку и узнал, что Любимов в длительной командировке за границей. Затем спешно сочинил записку, о которой просил Андропов. Когда она была готова, позвонил ему. Он ответил, что помнит о приглашении, но просит дать ему неделю разделаться с текущими делами. Когда я позвонил через неделю, мне сказали, что генсек заболел и принимать никого не может.

Размышляя сейчас над причиной той резкой, скажем так, неадекватной реакции, какая последовала на мое второе обращение о его встрече с Любимовым, я прихожу к выводу, что ему был сделан сильный "реприманд". Скорее всего, это был Суслов. Вероятно, Юрию Владимировичу было сказано, чтобы он занимался соцстранами и не запускал руки в чужие епархии. Кстати, это вообще считалось неукоснительным законом в аппарате. Секретари ЦК панически боялись, чтобы их не упрекнули в попытках проникнуть в сферы, порученные их коллегам.

Что это было так, меня убедил другой эпизод, случившийся намного позднее. В 1974 году, когда я уже был заместителем заведующего Отдела ЦК, раздался звонок, и властный

женский голос спросил: "Это товарищ Шахназаров?" "Да, Екатерина Алексеевна", - ответил я, узнав Фурцеву. Последовал диалог:

- Вы проталкивали пластинку с песнями Высоцкого?
- Да.
- Зачем вы это делали?
- Потому что это талантливый человек, которого зажимают, ему надо дать дорогу.
- Так вот, не вмешивайтесь не в свои дела.
- Как ответственный работник ЦК, считаю, мне до всего есть дело.
- Я вас предупредила. Будете продолжать - вылетите! - и повесила трубку. Да, идеологи буквально свирепели, когда международники пытались пособить страдающим деятелям культуры.

Конечно, причиной резкого охлаждения ко мне Юрия Владимировича была не только боязнь быть вовлеченным в чужие дела и получить выговор от начальства. Более существенную роль сыграл другой эпизод. Как я уже говорил, в первые недели прихода к власти Брежнева у нас царила в известном роде эйфория. Она питалась и тем обстоятельством, что Андропов был с самого начала привлечен к составлению текстов для нового генсека, а Юрий Владимирович был в тот момент бесспорно самым прогрессивно мыслящим из партийных руководителей. Да и сам Брежнев на первых с ним встречах держался демократично, говорил о назревших реформах, корил Хрущева за отступления от идей XX съезда.

Поэтому буквально громом среди ясного неба прозвучали для нас первые свидетельства того, что руль нашего государственного корабля резко переключается вправо. Долго я отказывался верить этому и окончательно расстался с надеждами только тогда, когда было предложено восстановить пост Генерального секретаря и исключить из Устава КПСС формулу о запрещении занимать руководящие посты более двух раз подряд. Помню, на партийном собрании отдела Андропов без вдохновения пытался растолковать нам, что сие не означает возврата к прежним временам, а необходимо для укрепления престижа передового и демократичного лидера. Мыслящее меньшинство эти аргументы мало убедили, а большинство, кажется, было довольно, что все возвращается на круги своя.

Итак, мы расстались с Юрием Владимировичем. А он, будучи политиком до мозга костей, в течение 17 лет был вынужден заниматься, скажем так, не своим делом. И годы эти оставили на нем свой отпечаток. Реформаторский пыл, владевший им в начале 60-х годов, изрядно поугас, на первое место выдвинулись соображения, навеянные вновь приобретенной профессией, знанием многих пороков и преступлений, умело скрывавшихся от глаз общества. И все же делает честь Юрию Владимировичу, что, едва получив возможность действовать, он был исполнен решимости очистить страну от поразившей ее скверны.

Вспоминая Андропова, часто предпочитают говорить о "железной руке", облавах на бездельников и притеснении инакомыслящих, ему приписывают организацию покушения на А.И. Солженицына\* и другие не делающие чести поступки. При этом забывают, что годы его "сидения" на Лубянке относятся все-таки к самому либеральному периоду советской истории. А главное - был ведь не только Андропов - председатель КГБ, но и Андропов - секретарь ЦК, громивший революционаризм, Андропов - генсек, требовавший изучить общество, в котором мы живем, и привести его в согласие с социалистическим идеалом.

Говорят, душа человека светится в его глазах. А по мне, лучшего "индикатора души", чем стихи, не придумаешь.

15 июня 1964 года, когда Юрию Владимировичу исполнилось 50 лет, я написал ему стихотворное послание от группы консультантов. К сожалению, оно у меня не сохранилось (может быть, в архиве Андропова?), помню лишь начальные строки, заимствованные у Александра Сергеевича: "Мы пишем Вам, чего же боле..." Шеф сочинил ответное послание. Кажется, оно уже публиковалось, но я все-таки приведу его целиком. Ничто другое не дает такого представления о личности Андропова, как эти шуточные строки.

Товарищам Ю.А. Арбатову,

А.Е. Бовину, Г.Х. Шахназарову  
Друзья мои, стихотворенье  
Ваш коллективный мадригал  
Я прочитал не без волненья  
И после целый день вздыхал:  
Сколь дивен мир! И как таланты  
Растут и множатся у нас,  
Теперь, смотри, и консультанты,  
Оставив книги-фолианты,  
Толпою "чешут" на Парнас.  
И я дрожащими руками  
Схватил стило в минуты те,  
Чтобы ответить Вам стихами  
И зацепиться вместе с Вами  
На той парнасской высоте.  
Увы! Всевышнего десницей  
Начертан мне печальный старт  
Пути, который здесь, в больнице,  
Зовется коротко - инфаркт.  
Пути, где каждый шаг неведом,  
Где испытания сердцам  
Ведут "чрез тернии к победам",  
...А в одночасье к праотцам.  
Среди больничной благодати  
Сплю, ем да размышляю впрок,  
О чем я кстати иль некстати  
Подумать до сих пор не смог.  
Решусь сказать "чудок похлеще",  
На сердце руку положая,  
Что постигаешь лучше вещи,  
Коль сядешь ж... на ежа!  
На солнце греюсь на балконе,  
По временам сижу "на троне".  
И хоть засесть на этот "трон"  
Не бог весть как "из ряда вон",  
Но, как седалище, и он  
Не должен быть не оценен.  
Ведь будь ты хоть стократ Сократ,  
Чтоб думать, должен сесть на Зад!  
Но хватит шуток. Сентименты,  
Известно, не в ходу у нас,  
И все ж случаются моменты,  
Когда вдруг "засорится глаз".  
Когда неведомое "что-то"  
В груди твоей поднимет вой,  
И будешь с рожей идиота  
Ходить в волненье сам не свой.  
Вот это самое, друзья,  
Намедни испытал и я.  
Примите ж Вы благодаренье  
За то, что в суете сует  
Урвали "чудное мгновенье"

И на высоком вдохновенье  
Соорудили мне сонет.  
Он малость отдает елеем  
И, скажем прямо, сладковат.  
Но если пишешь к юбилею,  
Тут не скупись кричать "виват!"  
Ведь юбилей - не юбилей,  
Когда б не мед и не елей!  
Кончаю. Страшно перечесть.  
Писать стихи - не то что речи.  
А если возраженья есть  
Обсудим их при первой встрече.  
В Отделе ЦК КПСС

Наше "ведомство", по сути дела, целое десятилетие было полем проходившего с переменным успехом соперничества двух деятелей: Константина Федоровича Катушева и Константина Викторовича Русакова. Вначале Русаков, оставшийся "на хозяйстве" по рекомендации Андропова, имел шансы быть утвержденным на этом посту. Но, видимо, Брежнев тогда еще не слишком ему благоволил, искал более подходящую фигуру и, как ему показалось, нашел ее в лице молодого первого секретаря Горьковского обкома партии. Генсек побывал у него с инспекционной поездкой, его приняли с должной почтительностью. Прием, разумеется, был несравним с тем, какие оказывались ему впоследствии Алиевым, Шеварднадзе и другими республиканскими вождями. Но Брежнев в то время еще не окончательно вошел во вкус почестей, способен был оценивать людей по их деловым качествам. Очевидно, Катушев пришелся ему по душе своей живостью, бьющей через край энергией, обилием всевозможных замыслов, обещавших подстегнуть начинавшую давать перебои экономику. С аналогичными проблемами сталкивались и "братские" страны. В Москве ломали голову над тем, как посодействовать им в преодолении казавшихся временными трудностей, одновременно сделать более выгодными и для нас самих торговлю и экономическую кооперацию с ними, по меньшей мере облегчить бремя "интернациональной помощи". Вот и резон доверить это свежему, инициативному человеку.

Беда, однако, в том, что трудности как раз были не временными, а хроническими. Действуя в рамках существовавшей системы, не отступая от сакраментальных политических формул, что, разумеется, исключалось с порога, ни Катушев, ни, окажись на его месте, прославленные творцы "экономических чудес" ничего путного сделать не могли бы. С той же удручающей реальностью пришлось столкнуться и Горбачеву с Рыжковым. Уже не располагая ресурсами, растраченными в предыдущем периоде, они вынуждены были завершить начатый при Брежневе и Косыгине перевод экономических отношений со странами социалистического содружества на коммерческую основу, и это стало одной из серьезных причин, подготовивших распад содружества. Интернациональная солидарность вообще и дружба с Советским Союзом в частности - великие вещи сами по себе, но они особенно прочны, если подкрепляются поставками советской нефти по цене в 3-4 раза ниже, чем на мировом рынке. Мне приходилось слышать, как Николае Чаушеску с пафосом упрекал советского руководителя: почему Румыния получает всего 5-6 млн. тонн советской нефти в год, в то время как другие страны в 2-3 раза больше. Какой же это пролетарский интернационализм!

Судьбы людей предопределяет, конечно, то, что мы называем объективными тенденциями общественного развития или волей провидения. Но чаще - каприз начальства. В отпущенном нам коридоре "от и до" добрый десяток лет отдел то находился в двойном подчинении Катушева и Русакова, то перебрасывался из рук одного в руки другого. Вначале Катушев курирует его как секретарь ЦК, а Русаков им заведует. Затем Русаков становится помощником генерального по тому же направлению, а Константин Федорович объединяет посты секретаря и зава. Потом Русаков возвращается в свой кабинет. После того как

Катушева назначают заместителем Председателя Совета Министров СССР, советским представителем в СЭВе, Русакова возводят в секретари ЦК.

Мне кажется, такой исход был предreshен неравенством сил. Константин Федорович, конечно, был достаточно искушен в аппаратных играх, без этого просто немыслимо было, не имея родственного покровительства, добраться до ранга первого секретаря областного комитета партии, члена ЦК. Но в этом искусстве, как и во всяком другом, есть свои ступени, и дается оно не всем в равной мере. Одни вступают на стезю бюрократии, видя в этом лишь средство достижения каких-то иных, более высоких целей, для других в этом - сам смысл жизни. Одни подчиняются ее правилам без охоты, с внутренним сопротивлением, другие легко или даже с наслаждением. Одни чувствуют себя в коридорах власти неуютно, для других быть изгнанными оттуда смерти подобно.

Примерно к двум таким категориям и принадлежали, на мой взгляд, два Константина. Оба взошли на партийно-государственный олимп из одной и той же социальной среды - технической интеллигенции. Но, взяв старт из менее выгодного исходного положения, "старый волк" Русаков на длинной дистанции обошел-таки не столь искушенного и более простодушного молодого соперника. Кстати, тот и сам сыграл ему в руку: будучи упрямым и порой излишне самоуверенным, никому не желал уступать в спорах, к тому же позволял себе говорить что думает смелее, чем ему "полагалось" по рангу и возрасту. Это вызывало раздражение на пятом этаже здания ЦК на Старой площади, где располагались кабинеты генерального, других членов Политбюро, их помощников и референтов, чей внятный шепот на ухо своим патронам иной раз играл решающую роль в возвышении или низложении чиновной братии. Милейший человек, вежливый и доброжелательный со всеми, Катушев не приглянулся "окружению", и оно его "спроводило".

Я уже говорил, что только Сиволобов позволил себе однажды материться по моему адресу. Другие начальники иной раз говорили на повышенных тонах. А вот Катушев ни разу не выразил недовольства моей работой. Что, она была безупречна? Конечно, нет, в том числе, иной раз, и с его точки зрения. Но в таких случаях он не выговаривал, не пытался меня переубедить и не просил переделать текст, как он считал правильным, а молча брался за это сам. Не уверен, что можно назвать такой метод руководства эффективным, но он кое-что говорит о душевных качествах человека.

Не берусь судить, в какой мере его "подсидел" Русаков, но полагаю, без этого гротескнейшего интриги дело не обошлось. Забегая вперед, расскажу по этому поводу об одном характерном эпизоде. Перед тем как секретари ЦК в порядке опроса давали согласие на назначение заместителя заведующего отделом, он вызывался к ведущему Секретариата для беседы. Когда Константин Федорович представил мою кандидатуру, Суслов был в отпуске, меня принимал Андрей Павлович Кириленко. Беседа длилась недолго, но он ухитрился в течение 15 минут раза три-четыре покрыть извилистым матом руководителей социалистических стран, которые "только и знают, что цыганят у нас нефть, металл, валюту, а как нам от них что-нибудь надо, клещами не выдавишь". С ними надо поостороже, натаскивал он меня и, демонстрируя свое расположение (тут явно сказалось словечко, замолвленное за меня Рахманиным, которому он благоволил), добавил, что, к сожалению, в отделе проявляют излишнюю щепетильность там, где нужно твердо отстаивать интересы нашей страны. Высказал еще несколько поучений, особенно налегая на необходимость во всем ориентироваться на Леонида Ильича, и отпустил с миром.

Общаться с ним после этого мне не пришлось. Раз два-три бывал я на заседаниях Секретариата, когда принимались решения по подписанным мною, в числе других, запискам. Но Андрей Павлович не обращал на меня никакого внимания. Это - предыстория. А теперь сам эпизод. Я сидел в кабинете у помощника Брежнева Георгия Эммануиловича Цуканова, обсуждали порядок работы над одним из разделов Отчетного доклада съезду КПСС, когда вдруг вошел Кириленко. Мы встали, поздоровались. Он благосклонно поинтересовался, как идет работа, дал понять, что знает о предстоящем выезде в Завидово вместе с генеральным, поделился некоторыми мыслями о положении в экономике, даже рассказал анекдот. Тут



завонил телефон, соединявший Цуканова с его шефом. Кириленко поднялся, поманил меня пальцем и отвел в угол кабинета. Я, признаться, принял это за деликатное стремление не подслушивать доверительного разговора. Но Андрей Павлович, уцепив меня за пуговицу и просительно глядя в глаза, вдруг сказал:

- Ты там, в Завидово, при случае замолви за меня словечко. - И, видимо, заметив мою недоуменную реакцию, поспешно добавил: - Не грубо, при случае.

Я был буквально потрясен. Один из самых могущественных людей в стране, если уж быть точным, пятый в партийно-государственной иерархии (после Брежнева, Косыгина, Подгорного и Суслова), просит ходатайствовать за него какого-то мелкого чиновника, которого и сам ни в грош не ставит. Ну совсем по-молчалинскому правилу угождать "собаке дворника, чтоб ласкова была". И вот ведь как помогает классика. Когда эта параллель пришла мне на ум, я понял: истинный смысл этого маневра как раз в том, чтобы "не кусали". Искушенный в аппаратной подковой возне, наверняка имевший повсюду своих осведомителей, Кириленко, конечно, знал, что при работе над документами иногда ненароком, а иногда и "нароком" прохаживаются по адресу тех или иных деятелей. Не раз бывало, что генсек сам поворчит по поводу того, что Подгорный чрезмерно покровительствует украинцам, словно по-прежнему секретарствует в Киеве, а не возглавляет Президиум Верховного Совета. Или "уколит" Косыгина за недостаточное внимание к цеховским директивам. Хитрющий вождь тем самым подает сигнал, что можно почесать языки. Промолчат - значит, не одобряют, плохой знак. Но так почти не бывает, обязательно найдется кто-нибудь, подкинет компрометирующий слухок или врубит со всей прямоотой, что давно пора навести в этих органах должный порядок. Ну а если разойдутся, позволят себе лишнего (нельзя допускать, чтобы непочтительно отзывались о членах высочайшего синклита, во всем меру надо знать, что можно Юпитеру, нельзя Быку), жестом остановит, давая понять, что "вольная пауза" закончилась, пора продолжить работу над докладом.

Все эти соображения пришли позже, как говорится, по зрелом размышлении, а в тот момент я лишь кивнул, с ужасом думая о том, как советовать Брежневу оставить Кириленко в составе Политбюро. К счастью, выручил Цуканов, закончивший разговор с шефом и присоединившийся к нам. Когда Андрей Павлович нас покинул, я, недолго думая, посвятил Георгия Эммануиловича в странную ситуацию. Он рассмеялся, махнул рукой.

- Не тебя одного, всех обойдет, от кого хоть что-нибудь зависит. Насколько я знаю, ему беспокоиться-то не о чем. В списке. Да бог с ним. Давай трудиться.

Русаков был в свое время одним из самых молодых "сталин-ских" наркомов. Как-то раз в Завидово (готовились материалы к визиту генсека на Кубу), когда мы с ним пили чай, ожидая возвращения Брежнева с охоты, я спросил, правду ли рассказывают, как он стал народным комиссаром рыбной промышленности.

- А что говорят? - осведомился он, хотя прекрасно знал, о чем речь.

- Ну, якобы Сталин вызвал к себе наркома, тот находился в отпуске, и пришлось ехать вам, его заместителю. Вождь расспрашивал о том о сем и пришел к выводу, что зам знает положение дел в отрасли лучше наркома. В итоге, когда тот вернулся из отпуска, кресло было занято.

Русаков улыбнулся и таинственно сказал:

- Не совсем так, но что-то похожее было. Понимаете, я был тогда молод, честолюбив, полон замыслов, видел, как подпереть рыбное хозяйство инженерными проектами. А Иосиф Виссарионович - культ не культ, надо отдать ему должное такие вещи схватывал с лету.

И все. Замкнулся. Так и не удалось мне выяснить, то ли КВ, как мы его между собой называли, "подсидел" своего тогдашнего шефа, то ли ему подфартило, то ли, наконец, продвигался по достоинствам. Склоняюсь все-таки к последнему мнению, потому что он обладал полным набором качеств, которые так ценились в тогдашней чиновной среде и были залогом успешной карьеры: работоспособностью, дисциплинированностью, безоговорочным послушанием руководству, въедливым, чрезвычайно ответственным отношением к любому поручению и, что, может быть, важнее всего остального, умением держать язык за зубами.

Неоспоримым подтверждением всех этих достоинств стал крайне редкий феномен вторичного возвращения на высоты власти. Как правило, человек, оттуда низринутый, навсегда переходил в другую "весовую категорию". Даже после того, как менялся лидер и начиналось поношение предыдущего, "обиженным" светили в лучшем случае кое-какие послабления. А вот Русаков, скатившийся несколько пролетов по карьерной лестнице (до посла в Монголии), опять пошел в гору инструктор, потом зав. сектором, заместитель заведующего отделом, зав. отделом, помощник генерального секретаря и, наконец, секретарь ЦК.

Надо отдать ему должное, КВ не напускал на себя начальственного вида, был прост в обращении, не чужд юмора, ценил профессионализм в работниках, умел, когда ему это было очень нужно, убедить, уговорить. Ну кто еще из секретарей ЦК способен был, полуобняв своего подчиненного за плечи и заискивающе глядя ему в глаза, говорить примерно так: "Голубчик, я очень на вас рассчитываю, пожалуйста, выложите, я же знаю, на что вы способны!" Подчиненные, разумеется, разбивались в лепешку, чтобы не обмануть ожидания такого начальника.

И все-таки, странное дело, его побаивались, распознавая за маской "отца-командира" натуру сухую, холодную, себялюбивую. Знали, чувствовали, что при любой оплошности ждать снисхождения от этого образцового служаки не придется. Разве только, если ему окажется выгодным.

Вот на этом и строились наши отношения. Исполняя после ухода Андропова обязанности заведующего отделом, Русаков реальной власти над консультантами не получил - почти все мы вербовались Цукановым и помощником генерального по международным вопросам Андреем Михайловичем Александровым-Агентовым в рабочие группы, готовившие речи и документы. В то время шла работа над докладом XXIV съезду КПСС, и у меня вышла острая сшибка с Александровым вокруг небольшого фрагмента, посвященного роли интеллигенции в советском обществе. "Воробышек", как мы его называли из-за сухонького, остренького личика с носом Буратино, которым он чуть не задевал бумагу из-за близорукости, не был ретроградом в своей международно-политической сфере. Но когда дело касалось внутренних проблем, этот изощренный интеллектуал, знавший несколько языков и читавший наизусть "Фауста" по-немецки, начинал рассуждать почти как два других помощника генсека, отпетые ретрограды Трапезников и Голиков. Притом с такой горячностью, что было видно - это не чужие указания, исполняемые по долгу службы, а собственные, выношенные мысли.

\* \* \*

Между тем к тому времени обстановка на идеологическом небосклоне уже начала покрываться грозowymi тучами. Ретивые "охранители" сочли, что наступил подходящий момент окончательно прикрыть все рычаги свободомыслия, расцветшие после XX съезда и полупритушенные к концу правления Хрущева. Крепчала цензура, запрещались спектакли в театрах, либерально мыслящих редакторов "толстых" литературно-политических журналов меняли на бдительных товарищей, которые "не подведут".

Словом, маразм крепчал, и я, разгораясь, доказывал, что нужно поддержать в докладе свободное слово и свободную мысль, причем сделать это по возможности предметно, не пустыми, бессодержательными фразами о дальнейшем развитии социалистической демократии. В перепалке мы оба не удержались от резких слов: Александров-Агентов заявил, что больше в моих услугах его рабочая группа не нуждается. При чрезвычайной обидчивости, желчном, скверном характере, который делал совместную работу с ним утомительной, он не был зловерден и ябедничать на меня не побежал. В дальнейшем мы не раз сотрудничали в подготовке текстов по направлению, которое было мне поручено как заместителю заведующего отделом (с 1972 г. - наши отношения с Германской Демократической Республикой, Польшей, Чехословакией и Кубой), сохраняя вежливость, но и не скрывая взаимной неприязни. После смерти Брежнева он перешел "по наследству" к Андропову, Черненко и Горбачеву. Когда я в свою очередь заступил на эту должность,

Андрей Михайлович прислал мне записку с подробными советами, как вести международные дела. Я ответил благодарностью, на том мы, похоже, примирились незадолго до его кончины.

Но в тот момент я, обескураженный, вернулся в отдел, где был довольно радушно встречен Русаковым. От отдела ждали ряда аналитических материалов, да и новому заведу хотелось, естественно, показать себя с лучшей стороны, а тут на беду забрали лучшие "перья". КВ немедленно засадил меня за работу. В последующие два-три месяца мы встречались с ним чуть ли не ежедневно. Писать он не умел, просто терялся, беря в руки перо, тем больше ценил этот дар у других. А будучи опытным хозяйственником, разбирался в запутанных проблемах экономического сотрудничества Советского Союза с государствами "социалистического содружества". Словом, дело у нас пошло. Приезжавшие в отдел мои коллеги (их отпускали периодически передохнуть, побывать в семьях) не без сарказма подшучивали, что "Шах внедряется в доверие к Косте". Вообще относились они к нему свысока, полагая стопроцентным ретроградом, каким он, безусловно, не был. А вот пресловутое "доверие" не помешало ему легко отступить от меня при первой же неприятности.

По мере того как Пражская весна все более дерзко порывала с советской теоретической и политической догматикой, возникала угроза выпадения Чехословакии из социалистического лагеря. Дело с нарастающей быстротой катилось к развязке, и чуть ли не весь аппарат Центрального Комитета, не говоря уж о нашем отделе, был вовлечен в написание всякого рода аналитических материалов, подготовку циркуляров, речей для руководителей, убеждавших Дубчека и его соратников одуматься, установочных статей для нашей прессы. Коллеги-консультанты были погружены в эту работу, Арбатов и Бовин сопровождали делегацию КПСС на встречу в Чиерне над Тисой. После того как я завершил другие поручения, Русаков предложил мне целиком переключиться на тематику чехословацкого сектора.

Я отдавал себе отчет, насколько серьезны могут быть последствия отказа, и, тем не менее, попросил пересмотреть это решение.

- В чем дело? - спросил он, сощурив свои и без того узкие глаза, что было признаком крайнего раздражения. - Мы все этим заняты, почему вы должны оставаться в стороне?!

Я отнекивался под разными предлогами, но в конце концов, буквально припертый к стенке, вынужден был признаться, что мне не по душе вся ситуация и я просто не хочу быть лично к ней причастным.

КВ взорвался.

- Вы понимаете, чем вам это грозит, если я расскажу, что консультант Шахназаров не согласен с линией партии? - провокационно спросил он.

- Константин Викторович, - ответил я, - конечно, вы можете так поступить, но кому от этого будет польза? Кроме Чехо-словакии у отдела есть другие, не менее важные дела, хотя бы на китайском направлении.

Он походил по кабинету, успокоился, поразмыслил и кивнул.

- Ладно, считайте, что такого разговора не было.

Этот маленький бунт прошел для меня без последствий, видимо, потому, что разговор был приватный. Иначе обернулось дело, когда идеологические церберы унюхали в моей небольшой работе признаки ревизионизма. Тут уже Русаков без колебания от меня отступился. Известно, всякий, кто подаст слово не то чтобы в защиту, но хотя бы о снисхождении к обвиняемому в идеологической ереси, сам становится "нечистым".

\* \* \*

В 1969 году я защитил докторскую диссертацию на тему "Социалистическая демократия". Позднее она была издана Политиздатом, а в то время издательство "Знание" обратилось ко мне с просьбой подготовить брошюру на основе фрагмента из диссертации. Я назвал ее "Руководящая роль Коммунистической партии в социалистическом обществе". При вполне трафаретном заголовке содержание этой книжицы было, осмелюсь сказать,

нестандартным. В основе нашей идеологии лежал не подлежащий сомнению тезис о единстве интересов всех классов и социальных слоев советского общества. Не посягая на догму, я внес лишь "небольшое" уточнение - единство общих интересов. Наряду с ними у каждого класса и социального слоя есть свои специфические потребности, формирующиеся на основе социального, профессионального, физиологического (молодежь, люди среднего возраста, старики, мужчины и женщины), географического (жители крупных городов и деревень, европейской части страны и Дальнего Востока, Севера, Средней Азии, Закавказья), религиозного и других принципов. Свои нужды и у таких "общин", как писатели и артисты, охотники и рыболовы, шахматисты и нумизматы. Эти многообразные интересы представляются профсоюзами и различными общественными организациями перед властью. Выражая коренные общие интересы трудящихся, партия в то же время учитывает в своей политике специфические потребности, а государство согласует их и определяет порядок их удовлетворения с учетом возможностей страны.

Казалось бы, тут и спорить не о чем. Но нет, бдительные цензоры нашли крамолу, брошюрку с лупой в руках изучали в специальной комиссии. В конце концов было доложено самому Суслову. Щекотливый момент заключался в том, что речь шла о работнике аппарата ЦК КПСС, привлекавшемся время от времени к написанию текстов для генсека. Конечно, это не помешало бы суровой расправе при более серьезном проступке. Но здесь был тот случай, который с одинаковым основанием можно было подвести под ревизионизм и "творческое развитие марксизма-ленинизма". В ЦК было немало мыслящих людей, тяготившихся застылостью, заскорузлостью канонических формул, разительной противоречащих жизненным реалиям. Убежден, если бы Русаков вступился, меня бы оставили в покое. Но он и не подумал.

Помощь пришла оттуда, откуда я ее никак не ждал. Исполнявший обязанности заведующего агитпропом Георгий Лукич Смирнов (в 1985-1986 гг. - помощник Горбачева по идеологии) и первый заместитель заведующего оргпартотделом Николай Александрович Петровичев, которым поручено было со мной разобраться, решили спустить дело на тормозах. Со мной провели душевную беседу, порекомендовали вычеркнуть несколько фраз и вставить столько же "страховочных" формул, после чего было разрешено выпустить брошюру в свет. На выручку пришел и Пономарев, предложивший направить меня на освободившееся в тот момент место ответственного секретаря в журнал "Проблемы мира и социализма".

Поведаю теперь о других "нервных эпизодах" в моих отношениях с Русаковым. Вторая фаза моего сотрудничества с ним затянулась надолго и была относительно спокойной. Мы притерлись друг к другу. Он по-прежнему нуждался в моем пере, я, в свою очередь, ценил то, что КВ меня не опекал, давал возможность посвящать часть времени писанию книг и организационным хлопотам, которых потребовало мое избрание президентом Советской ассоциации политических наук. Но без стычек все-таки не обошлось. Одна из них, самая острая, возникла в связи с очередным "идейным наездом" на меня из-за пьесы "Шах и мат".

Собственно говоря, я написал ее несколькими годами раньше. Но, не видя возможности напечатать, держал где-то в глубине ящиков письменного стола и даже позабыл о ней. Вдруг явилась "оказия". Ко мне обратились с просьбой стать научным руководителем ленинградского партийного работника (впоследствии он возглавил Центральное радио) А.П. Тупикина. Познакомившись с ним, я с удовольствием согласился, найдя в Анатолии Петровиче умного, симпатичного человека, с близкими мне взглядами. Вдобавок оказалось, что он большой любитель шахмат и друг самого Карпова. Он предложил нас познакомить и как-то привез его ко мне домой на Староконюшенный. Мы с женой и сыном были рады принять знаменитого чемпиона, оказавшегося обаятельным человеком и остроумным собеседником. Несколько раз Анатолий Евгеньевич побывал у нас в гостях, и каждый раз не обходилось без схваток за шахматным столиком. Он давал нам с Тупикиным по 5 минут, а себе оставлял одну и при этом выигрывал у Анатолия Петровича 8 из 10 партий, у меня же - неизменно все десять. Поскольку мы с Тупикиным играли примерно в равную силу, я

поинтересовался, почему так происходит, на что Карпов ответил: "Вы пытаетесь выиграть у меня комбинационно. А это бесполезно, поскольку, не зная дебютов, допускаете элементарные "ляпы" уже в начале партии. Тупикин же, давно поняв, что так ему ничего не светит, делает время от времени необычные, извиняюсь, идиотские ходы, вынуждая меня задуматься, и в результате изредка выигрывает по времени".

Мы посмеялись, и я попытался использовать "тупикинский метод", но безуспешно. Карпов утешил меня тем, что, очевидно, строгая логичность мышления не позволяет делать "идиотские ходы".

Между тем Анатолий Евгеньевич в то время стал главным редактором журнала "64. Шахматное обозрение". Познакомившись с моей пьесой, он без колебаний предложил ее напечатать. Я, честно говоря, поначалу сомневался - не столько из-за боязни предъявления каких-то политических обвинений, сколько не считая маленький шахматный журнальчик подходящим местом для пьесы и надеясь со временем напечатать ее в "Театре", где, кстати, уже публиковалась ранее другая моя пьеса "Тринадцатый подвиг Геракла". Но в конце концов чемпион уговорил. Пьеса печаталась начиная с марта 1980 года в каждом номере по акту. И уже после выхода в свет первого номера редакцию начали тягать в агитпроп. Поначалу собирались даже приостановить печатание 2-го и 3-го актов, но потом, вероятно из уважения к Карпову, бывшему общим любимцем, дали скрепя сердце закончить публикацию, чтобы потом предъявить обвинительное заключение автору.

В двух словах поясню суть дела. Замысел пьесы с подзаголовком "Драматический анализ шахматной партии в трех актах" не состоял, конечно, в том, чтобы разыграть на сцене шахматную партию и раскрыть таким образом красоту игры "в сто забот". Хотя герои пьесы соблюдают правила, предписанные шахматным регламентом, это не деревянные фигурки, выполняющие предназначения игрока, а живые люди, движимые своими интересами и страстями. Когда-то гениальный изобретатель шахмат закодировал социальную иерархию своей эпохи, зашифровал систему ценностей, нашел алгоритмы для многообразных жизненных ситуаций, и это позволило ему создать своеобразную модель большого мира, уместив ее на шестидесяти четырех клетках шахматного поля. А что если сделать обратный ход?

Ход не ради хода. Философия шахмат дает интересную возможность исследовать одну из наиболее важных и вечных проблем, на которой человечество без конца спотыкается, - соотношение цели и средств. Основная цель игры - достижение победы или, на худой конец, ничейного результата. Цель здесь оправдывает любые средства: если победу можно вырвать ценой жертвы нескольких фигур, игрок, не задумываясь, идет на это. Больше того, чем эффективнее жертва, тем красивее шахматная партия. Существует лишь одно чисто прагматическое ограничение. Жертва считается некорректной, когда не обеспечивает желанного исхода, не ведет к победе. Иначе говоря, шахматам, как и электронно-счетной машине, чужда этическая оценка средств достижения цели.

Именно в этом заключается принципиальное отличие философии игры от философии жизни. То самое отличие, которое издавна зафиксировано в понятии "пиррова победа", то есть победа ценой самоуничтожения, и приобрело зловещий смысл в связи с появлением и накоплением оружия массового уничтожения. В кратком предисловии я напомнил известное рассуждение Мао Цзэдуна о том, что ничего страшного, если в мировой ядерной войне погибнет половина человечества, поскольку-де вторая половина быстрыми темпами построит на развалинах прекрасное будущее. Но и эта "прямая наводка" не помогла. В образе Белого короля цензоры с первого взгляда усмотрели намек на тогдашнего нашего лидера и подняли переполох. Не думаю, что его самого поставили в известность. Ведь к тому времени он уже был в плачевном состоянии, старика не беспокоили по пустякам. Скорее всего, дело ограничилось уровнем Сулова. Но не исключая и того, что с подачи моих "доброжелателей" в агитпропе или отделе науки заглавную прокурорскую роль сыграл сам Русаков. Панически боясь быть обвиненным в пособничестве вольнодумству, исходящему от одного из его замов, он, видимо, решил использовать подвернувшийся шанс, чтобы запугать

меня и, может быть, даже навсегда отвратить от занятий, способных хоть как-то повредить имиджу секретаря ЦК.

Был разыгран следующий сценарий.

Акт первый. Русаков вызывает меня к себе и драматическим тоном возвещает, что публикация пьесы вызвала резкое неодобрение, вопрос идет о моем увольнении из аппарата. Мои попытки выяснить, в чем состоит крамола, ни к чему не приводят - еще бы, не может же он официально признать, что в Белом короле ничтоже сумняшеся узрели самого генсека. Нехотя рассуждает о безыдейности и смотрит на меня прищурившись, с молчаливым подтекстом: что, мол, сами не понимаете, нечего придуриваться. Мы расстаемся на том, что мне следует собирать вещи. Поднимаюсь к себе в кабинет и, серьезно расстроенный, действительно начинаю укладываться.

Акт второй. Буквально через час Русаков вновь вызывает меня к себе и заявляет, что переговорил с руководством, решено оставить меня на работе, если соглашусь признать, что допустил ошибку, и обязуюсь отказаться от постановки своей пьесы где-либо. Поразмыслив, я прихожу к выводу, что если отрекались такие люди, как Галилей и Мольер (по свидетельству Булгакова, сравнив себя с ящерицей, спасающейся ценой потери хвоста), то и мне не возбраняется. Пишу объяснение, упирая на то, что имел в виду разоблачить империализм и маоизм, коли пьеса воспринимается не так - готов признать свою ошибку.

Акт третий. В кабинете заведующего собираются его замы - Рахманин, Чуканов, Киселев, Смирновский. Таким образом, то, что можно назвать "судом партийной чести", происходит в закрытом порядке. Сам этот факт дает мне лишний повод думать, что вся операция искусственно оркестрована Русаковым, в противном случае "аутодафе" состоялось бы на отдельском партсобрании, как это и положено по уставу, как обычно, такие вещи и делались. Как бы то ни было, Русаков спрашивает, хочет ли кто-либо высказаться. Видимо по договоренности, Рахманин присоединяется к оценке публикации как ошибке, мною допущенной. Другие ограничиваются согласными кивками. Затем КВ зачитывает мое объяснение, предлагает поставить на этом точку и разойтись. Вся процедура занимает не более 15 минут.

Наконец, четвертый акт. На другой день мне звонят якобы от имени какого-то шведского режиссера, предлагая поставить "Шах и мат" в Стокгольме. Моего знания английского языка вполне хватает, чтобы понять, что говорит кто-то из наших же отделов, проверяя таким примитивным образом мою решимость выполнять обязательство. Разумеется, я благодарю за предложение и отвечаю твердым отказом.

Через два года повторилась похожая история. Один из ведущих в то время советских театральных режиссеров, народный артист, Герой труда и прекрасный человек Рачья Капланян обратился ко мне с предложением написать пьесу о том, как в Соединенных Штатах создавалась атомная бомба. Я потратил довольно долгое время на скрупулезное изучение первоисточников, проштудировал стенограмму процесса Оппенгеймера, другие материалы. В конце концов мы с Рачиком, с которым быстро подружились, сочинили пьесу. Первоначально она называлась "Бомба", позднее была напечатана в журнале "Театр" под названием "Работа за дьявола" - так сам руководитель "Лос-Аламосского проекта" оценил собственную работу, ошеломленный сообщением о последствиях ядерной бомбардировки японских городов. Пьеса пошла в радиопостановке, ее принял Малый театр. Был уже полностью подготовлен первый акт, дело шло к премьере, когда неожиданно постановку запретили, невзирая на произведенные затраты (порядка 250 тыс. рублей, сумма весьма значительная по тому времени). На сей раз мне не предъявляли никаких претензий, да это выглядело бы смешно, поскольку речь шла о вполне благонадежном, по самым строгим меркам, произведении. Но никто не объяснял, чем вызван запрет.

На мой прямой вопрос Русакову, не его ли это инициатива, он категорически отрекся. Умыл руки и Зимянин, заявив, что понятия не имеет, кому это понадобилось. Когда же я напросился на прием к Демичеву, тот понес несусветную чепуху: сейчас, мол, разворачивается общеевропейский процесс, дело идет к потеплению международного

климата, посему не стоит задевать лишний раз, без нужды, чувства американцев. Это говорилось в то время, когда идеологическая война между двумя сверхдержавами достигла пика, в Европе стояли чуть ли не ствол к стволу советские и американские ракеты с ядерными боезарядами, а наша печать костила империалистов последними словами. К тому же мы с Капланяном не опускались до площадной брани. Нашей целью было не столько лишний раз пригвоздить к позорному столбу американских "ястребов", сколько показать психологическую драму ученого, чья одержимость научным поиском обернулась преступлением против совести.

Я вежливо дал понять лидеру нашего культурного фронта, что его объяснения не выдерживают критики. Он мог бы просто выставить меня из кабинета, но, будучи человеком воспитанным, продолжал талдычить свое. А когда это уж совсем ему надоело, дал понять, что инициатива запрета исходила в первую очередь от моего шефа.

Я был беспредельно возмущен очередным проявлением коварства Русакова и при первой же встрече заявил ему об этом в резких выражениях. Ничуть не оскорбившись, он продолжал утверждать, что это не его рук дело. Запрет пьесы сильно ударил по самолюбию Капланяна и, боюсь, ускорил его кончину. А мне пришлось еще раз столкнуться с маниакальным стремлением Русакова воспрепятствовать успеху не только моих любительских опытов в театральном искусстве, но и трудов в научной сфере, где я чувствовал себя профессионалом. В 1984 году, после того как я недобрал одного голоса на выборах в члены-корреспонденты Академии наук СССР, сведущие люди по секрету сказали, что это было сделано по прямому указанию Зимянина, а тот действовал по просьбе и сговору с Русаковым. Как правило, партийные инстанции не слишком давили на академиков: свобода выбирать себе коллег была одной из их привилегий. Но уж если начальство хотело кого-то протащить или, напротив, придержать, высочайшая воля вежливо, но твердо доводилась до каждого голосующего, и, несмотря на то что голосование было тайное, редко кто осмеливался ослушаться. "Вычислят" хлопот не оберешься.

Я уже не удивлялся степени лицемерия шефа и не стал обращаться к нему за бесполезными объяснениями. Что толку! Все равно опять открестится. Всякая власть, как известно, от бога, и если не можешь ее поменять - терпи.

Описанные стычки, касавшиеся моих "внеотдельских" занятий, не мешали достаточно ровным взаимоотношениям с Русаковым во всех служебных вопросах. Вторая половина 70-х годов была относительно спокойной на нашем направлении международной политики. В социалистических странах Центральной и Восточной Европы царили бессменные, казавшиеся уже вечными лидеры, что гарантировало относительную стабильность существовавших там режимов. Этому способствовала и неплохая экономическая конъюнктура. Обращение за валютными кредитами еще не приняло повального характера, а жесткое подавление Пражской весны заставило приумолкнуть нарождавшуюся исподволь оппозицию. Словом, моя работа на новом месте начиналась при сравнительно благоприятной политической конъюнктуре.

Как я уже говорил, в течение 15 лет (с 1972 по 1987 г.) мне было поручено в качестве заместителя заведующего Отделом ЦК заниматься нашими отношениями с Польшей, Чехословакией, Германской Демократической Республикой и Кубой. Признаться, я не сразу понял причину такого распределения - три наиболее развитых европейских государства и "форпост социализма" в Латинской Америке. Оказалось, за этим не стояло никаких принципиальных соображений. Просто Куба была одинока, ее можно было с одинаковым успехом "присоединить" к группе европейских или азиатских стран, а нагрузку замам старались по возможности сделать равномерной. Вот она мне и досталась. У другого зама, Киселева, были Болгария, Венгрия, Румыния, Югославия и формально, поскольку никаких отношений с ней в то время не поддерживалось, Албания. Смирновский занимался Кореей, Вьетнамом, Монголией, позднее Лаосом и Камбоджей, охотно "переуступленными" отделу соседями-международниками, когда Въентьян и Пномпень провозгласили свои страны социалистическими. Наконец, Китаем занимался Рахманин, бывший первым заместителем

заведующего.

В обиходе нередко употребляли выражение, что мы "курируем" отношения с соответствующими странами. Разумеется, это было преувеличение, притом непомерное. На деле каждый сколько-нибудь серьезный шаг с нашей стороны был возможен только с официальной санкции ЦК, т.е. решения Политбюро, принимавшегося коллегиально на заседаниях высшего партийного синклита или в рабочем порядке, путем опроса секретарей ЦК. Другое дело, что сами эти решения в значительной мере принимались по запискам, подготавливавшимся в отделе. То есть какие-то возможности косвенно влиять на нашу политику на этом направлении, конечно, были. Но использовались они по-разному, в зависимости от того, кто этим занимался, какие взгляды исповедовал, насколько ему удавалось убедить в своей правоте "зава", без подписи коего ни один документ не покидал наших стен.

Здесь проходил своего рода водораздел между консультантами, незначительной частью тяготевших к ним референтов из "страновых" секторов и основной массой сотрудников. Нельзя сказать, чтобы между ними существовал непроницаемый барьер. Люди, в общем-то, из одной социальной среды, близкого возраста, взращенные на одной советской идеологии. И все-таки консультанты, вербовавшиеся преимущественно из научной и журналистской публики, отличались более вольным образом мыслей, склонностью ничего не принимать на веру, как говорится, "сметь свое суждение иметь". Трудясь в аппарате, в полной мере соблюдая обязательную для него дисциплину, они не были аппаратчиками в распространенном смысле этого слова, т. е. послушными служаками, не смеющими ставить под сомнение разумность распоряжений руководства, отбрасывающими всякую крамольную мысль, если вдруг она приходит им в голову.

Некоторые невзлюбили консультантов за то, что тем якобы без трудов достались жизненные блага (лечение в 1-й поликлинике, получение пайка в кремлевской столовой, право вызывать автомобиль), до которых им самим приходилось дослуживаться годами. В этом смысле консультантская группа действительно была в отделе "белой костью". Вдобавок консультанты имели неоценимую в глазах чиновников привилегию непосредственно общаться с высоким начальством, распивать с ним чай, чего были лишены не только референты, но и заведующие секторами. Тем приходилось довольствоваться "приобщением к уху" всего лишь заместителя заведующего.

Генезис консультантской группы восходит к решению Андропова пригласить в качестве консультанта Владимира Михайловича Хвостова. Избрав по примеру отца профессию историка, он вполне вписался в группу "партийных академиков", о которых шла речь выше. Получая "кремлевский паек" на уровне зам. зава, Хвостов должен был всего лишь пару раз в неделю приезжать на Старую площадь, чтобы дать свое заключение на документы преимущественно теоретического свойства. Не мог же в самом деле корифей науки безвылазно гнуть спину в аппарате, ничем не отличаясь от скромных референтов! Очень скоро обнаружилось, что толку от этого эксперимента всего ничего. Андропов, с его цепким практичным умом, понял, что ставку нужно делать хотя и на людей науки и журналистики, но не сановных, а "свежемыслящих" и готовых служить за приличное вознаграждение. Тогда-то Толкунов, с его благословения, и собрал первую консультантскую группу в составе нас с Бурлацким, Арбатова, Бовина, Делюсина, Богомолова, Петренко и Бориса Горбачева.

Однофамилец будущего генсека работал с Юрием Владимировичем в нашем посольстве в Будапеште, был человеком уравновешенным, порядочным, к тому же отменным шахматистом. Он успешно играл за отдел в цеховских турнирах на первой доске, мне доверяли третью. Борис вполне вписался в нашу группу, а вот другой андроповский выдвиженец очень скоро обнаружил полную "профнепригодность". Поначалу ему что-то поручалось, но из-под его пера выходили такие неудобоваримые и по содержанию, и по форме тексты, что они почти сразу же летели в корзину для бумаг. Несколько раз руководители нашей группы пытались сбросить этот балласт, найти взамен подходящего



человека. Ходили с этой целью к Андропову, но тот отказывался увольнять своего протеже, - видимо, чем-то был ему обязан или жалел сослуживца. Хитрец Арбатов, получив однажды важное задание, нарочно передал последнему, а затем отнес подготовленный "шедевр" шефу. Тот не на шутку разозлился и, как рассказывал Георгий Аркадьевич, набросился на него:

- Ты что, смеешься, нашел кому дать!
- Так он же консультант, - возразил Арбатов.
- Ладно придуривайтесь! Чтоб этого больше не было.

После столь грозного предупреждения "протеже" оставили в покое, и он целый год не занимался ничем другим, как чтением сводок ТАССа. Уволили его только после того, как, заснув за этим увлекательным занятием, он уронил голову и сильно расшиб себе подбородок.

Бурлацкий сам рассказал в упоминавшейся уже книге "Вожди и советники", при каких обстоятельствах произошла его размолвка с Андроповым. Мне было искренне жаль, что своим неосторожным порывом он на годы закрыл перед собой возможность политической карьеры. Уходя, Федор, по просьбе Андропова, назвал в качестве подходящих преемников меня с Арбатовым. Шеф выбрал Георгия Аркадьевича. Работалось с ним легко. Будучи неплохим организатором, что позднее он доказал, создав один из самых эффективных академических институтов - США и Канады, он не принимал начальственного вида, да и сам характер консультантства, занятия по природе своей индивидуального, сводил функции руководства в основном к распределению заданий между членами группы.

Изредка мы собирались у него в кабинете обменяться мнениями о последних событиях, театральных премьерах или книжных новинках. Политическое чутье, совмещенное с гибким характером, острословием, природной жизнерадостностью, позволяло ему ладить с начальством и часто добиваться от него того, что другим и не снилось. Входя в узкий круг "спичрайтеров" для Брежнева, он, как и Бовин, был там своего рода ходатаем от "шестидесятников". Пиком его политической карьеры стали полтора-два года горбачевских реформ, когда он впервые вышел из исполнявшейся десятилетиями роли удачливого царедворца и заявил о себе как политический деятель. Я имею в виду прежде всего несколько его выступлений на пленумах ЦК в защиту политики перестройки.

Человек серьезный, когда дело касалось большой политики, Арбатов отличался компанейством, был, что называется, хохмач. Однажды, получив поручение передать личное послание Брежнева Кастро, он поспорил, что в шифртелеграмме употребит сильное выражение. И действительно, вскоре мы читали примерно такой текст: "Фидель решительно осудил американских империалистов и их политику (слово "говно" было при этом не самым сильным)". По прибытии в Москву он собрал нас и рассказал подробности своей миссии. "Гранд-хефе" отнесся к нему благосклонно, даже пригласил на подводную охоту. А когда "нырнули мы, Фидель мне говорит...". Этот пассаж послужил предметом нескончаемых подначек: "Что, Юра, сказал тебе Фидель, когда вы нырнули?"

Короткое время мне пришлось ходить под начальством Александра Евгеньевича Бовина. Его стиль руководства ничем не отличался от арбатовского. Не уверен, что они закадычные друзья, но судьбы у них явно схожи. Стать одним из любимцев Брежнева, каким он, по общему признанию, был, ему помог не только литературный дар, но и язвительное остроумие в сочетании с добронравием сангвиника. Подозреваю, на генерального благотворно действовал вид неунывающего толстяка, любящего, как и сам он, плотно поесть и прилично, но в меру, выпить, нередко посапывающего за коллективной работой над очередным историческим документом, но способного, внезапно проснувшись, подать дельную реплику.

Иногда Бовин переходил границы дозволенного при генсековском дворе. Однажды, когда главный был не то на охоте, не то где-то еще, он пиршествовал в компании Демичева. Расчувствовавшись, тот имел неосторожность сказать:

- Что это ты меня "на вы", Петр Нилович, а я тебя по-простецки, Саша? Зови и ты меня по имени.

Вероятно, Демичев действительно допускал возможность такого обращения при

частной встрече. Но вышло иначе. На другой день за завтраком Бовин кладет руку ему на плечо и говорит нечто вроде:

- Петя, подай, пожалуйста, соль.

Демичев чуть со стула не свалился. Брежнев неодобрительно на них зыркнул: при всей своей демократичности, он соблюдал официальный партийный этикет. "Тыкать" подчиненным члены Политбюро, разумеется, были вправе, но допускать такое же обращение с их стороны - значило непростительно подрывать авторитет коллективного руководства.

Другой раз Бовин имел неосторожность отправить какой-то даме письмо, в котором непочтительно отзывался о самом Леониде Ильиче. Этого добросердечный генсек не мог стерпеть, охальник был отправлен в опалу, т. е. в отдел, на ту должность, какую он формально занимал. Правда, через год-два Брежнев, видимо озирая оставшиеся вокруг него скучные физиономии, ощутил нехватку своего веселого Ламме Гудзака и великодушно амнистировал.

Мне кажется, Бовин почувствовал себя "в своей тарелке" только после того, как скинул наряд фаворита и занялся публицистикой - сначала в "Известиях", потом на телеэкране. Это был его пик, а уж назначение послом в Израиль в благодарность за услуги, оказанные новой властью, отвечая природной склонности Александра Евгеньевича "хорошо жить", едва ли прибавило что-нибудь нового этой колоритной фигуре поздней коммунистической элиты.

Еще одним консультантом "первой волны" был Олег Тимофеевич Богомолов. Чуткий на новое экономист, он не слишком блистал в то время, может быть, потому, что в занятиях отдела преобладала политика, экономика считалась прерогативой правительства и СЭВа. Позднее появился у нас и заместитель заведующего по экономическим вопросам, хороший специалист и порядочный человек Олимп Алексеевич Чуканов.

Зато Олег раскрыл свои способности, пересев в кресло директора вновь созданного Института экономики мировой социалистической системы (ИЭМСС). На протяжении почти трех десятилетий ИЭМСС был поставщиком добротной аналитической информации о том, что творится в экономике соцсодружества, своевременно предупреждал о назревавших кризисных явлениях. Из стен его вышло немало способных ученых, заявивших о себе в бурные перестроечные годы (Анатолий Бутенко, Александр Ципко, Лилия Шевцова, Евгений Амбарцумов, Александр Некипелов). Заметную роль в эти годы сыграл сам Олег, войдя в группу академиков-экономистов (Абалкин, Шаталин, Аганбегян, Петраков, Львов), которые предложили свой план преодоления кризисных тенденций, а затем выступили с критикой гайдаровской шокотерапии, загнавшей Россию в экономический тупик.

К старожилам нашей консультантской группы относился Федор Федорович Петренко - скромный беззаветный работяга, имевший вкус к теме партийного строительства и почти целиком взявший на себя писанину по этой части.

Время шло, с годами консультантская группа пополнялась. Пожалуй, самым видным из "нового призыва" был Николай Владимирович Шишлин. Бывшие "проблемисты" Геннадий Герасимов и Юрий Мушкатеров, в прошлом разведчик Рафаэль Федоров, историк, работавший в ИМЭЛе Николай Коликов - все они по взглядам, культуре, стилю жизни продолжали традиции, заложенные первыми консультантами, хотя, не в обиду им будет сказано, уже без того блеска. Давно замечено, что "римейк" всегда уступает оригиналу.

Эксперимент с консультантами довольно скоро получил распространение. Была ли в этом продиктованная временем потребность "онаучивания" политики, или просто другие секретари, позавидовав "лихости" текстов, исходивших от коллег-международников, решили, что и они не лыком шиты, вполне могут обзавестись собственными "сочинителями", чтобы в лучшем свете изобразить свою кипучую деятельность? Вероятно, играли свою роль оба мотива. Консультантские группы возникли первоначально в агитпропе, отделах культуры и партийно-организационной работы, а затем и в остальных подразделениях аппарата. Повылся спрос на "писучих" докторов и кандидатов наук, готовых променять призрачную академическую карьеру на паек в кремлевской столовой диетического питания. Но то ли кадровые закрома наук и политической публицистики были уже изрядно

подчищены, то ли приманка оказалась не столь уж соблазнительной, консультантство "широкого разлива" не отличалось высоким качеством. Скорее всего, потому, что сам этот институт по своему происхождению предназначен все-таки для "оркестровки" политического мышления, которое было не в почете в идеологических отделах, а в управленческих тяготело к пустой риторике. Там легко приживались начетчики, критически мыслящим людям нечего было делать, если такие попадались, то через год-два торопились сбежать либо глушили в себе творческий инстинкт и постепенно превращались в тех же заурядных "талмудистов".

То, что консультантство для одних становилось лабораторией, помогавшей раскрыться их способностям, а для других - кунсткамерой, в которой такие способности (если они, конечно, были) гасли, определялось не только их собственными интеллектуальными задатками и волевыми свойствами, но, в неменьшей мере, масштабом собиравшей их личности. Андропову и Пономареву нужны были теоретики, умеющие писать, они, если позволено будет выразиться с долей пафоса, призывали думающих людей под свои знамена. Другим нужны были преимущественно писари, затвердившие в головах партийный канон, приглашали их к себе на службу. А генсек произвел в консультанты своих стенографисток, просто чтобы обеспечить им приличный кошт.

А вот свидетельство из собственного опыта. Пришлось мне однажды сотрудничать с И.В. Капитоновым при подготовке совещания секретарей ЦК компартий соцсодружества по организационно-партийным вопросам. Дело это было для него новое, непривычное. До сих пор он общался со своими зарубежными партнерами, так сказать, оперативно: встретились, обменялись, условились, доложили записками начальству, и все тут. На сей же раз предстояла многосторонняя встреча с принятием заключительного документа, и он панически боялся допустить какой-нибудь "ляп". Должно быть, именно этот страх заставил его довериться мне, как доке в подобных предприятиях. Но как чудовищно трудно с ним работалось! Нисколько не преувеличиваю: по часу-полтора мы могли обсуждать, как следует говорить о сотрудничестве или взаимодействии братских партий. Иван Васильевич проявлял высочайшую бдительность, не пропуская ни строчки, на которую не находилось источника, предпочтительно - из выступлений Брежнева. Без конца переспрашивал: "Ты уверен, Георгий, что эта формула не вызовет вопросов?" Приходилось вновь и вновь доказывать, что нет, не вызовет, текст вполне ортодоксален. Мнением своих консультантов он не интересовался, да и они почти не подавали голоса. Только выйдя из секретарского кабинета и с облегчением вздохнув, давний мой приятель Валерий Шапко (кстати, университетский соученик Горбачева) и Алексей Масягин, с которым мы трудились в Праге, говорили: "Теперь ты понимаешь, как нам работается!"

Есть над чем поразмыслить, приняв во внимание тот факт, что в перестройку активно втянулись почти все консультанты, "взращенные" в международных отсеках аппарата и мало кто из внутренних. Во всяком случае, двое из этой среды, к кому я относился с уважением и симпатией, как к людям ищущим, с нестандартным мышлением, Левон Аршакович Оников и Ричард Иванович Косолапов оказались в числе самых яростных критиков Горбачева и перестройки. Не ставлю под сомнение их идейную принципиальность, но свою роль, вероятно, сыграла и личная обида.

Завершу суждения о консультантах и референтах небольшой притчей, в которой пытался передать "дух аппарата".

Притча о Перегудове, молодом референте R  
и Большом начальнике

На работе все было как на работе. Начальство начальствовало, подчиненные подчинялись, инициативные выступали с инициативами, трудяги трудились, бездельники бездельничали, подхалимы подхалимничали, карьеристы делали карьеру, а некарьеристы тоже делали карьеру.

Синягин, встретив меня в коридоре, доверительно сообщил на ухо, что Перегудов уходит. Не могу сказать, что эта новость потрясла меня до основания или хотя бы выбила из

колеи. Тем не менее, поскольку Синягин передал новость мне по дружбе, причем только мне, я многозначительно покачал головой и поохал. В течение последующих двух часов ко мне заходили все, кто проходил мимо, и доверительно, по дружбе, сообщали, что Перегудов уходит. Когда пришел Зубов, я молниеносно кинулся навстречу и доверительно, на ухо, по дружбе, совершенно секретно сообщил ему, что Перегудов уходит. У него вытянулось лицо, опустились плечи, и я почувствовал легкий стыд. Вот всегда я так. Ну что мне стоило дать ему высказаться?

Я стал думать о Перегудове. Бессистемно. Сначала прикинул, как это отразится на моем положении. Выяснилось, что никак. Я ничего не приобретаю, потому что никто не предложит мне занять место Перегудова. На это место есть три достойных претендента, и, чтобы их устранить, надо обладать не меньшим нахальством, чем Жорж Дюруа, или не меньшим коварством, чем Ричард III. Кроме того, у меня и желания особого нет. Говорю как на духу, зачем бы мне обманывать самого себя.

Терять я тоже ничего не теряю. Хотя Перегудов был моим непосредственным начальником, мне от него ни жарко ни холодно. Терпимо. Я вообще не боюсь начальства и не рвусь вступать с ним в доверительные отношения, потому что дело свое делаю хорошо, цену себе знаю, и оно знает мне цену, и мы мирно сосуществуем, и я пользуюсь относительной самостоятельностью, могу сказать все, что мне хочется, или почти все, уж во всяком случае не говорю того, чего не хочется, или очень редко.

А ведь мы с Перегудовым считаемся друзьями и знаем друг друга целую вечность. Впервые мы с ним встретились в 1942 году в военном училище. Убей меня бог, если я помню, как он себя там вел и что я о нем в ту пору думал, но в память навсегда врезалась картинка: неуклюжий, изломанный, дико худой человек с покатыми плечами бежит, догоняя взвод, по проселочной дороге, ухитряется угодить во все лужи, обмотку волочит по грязи - словом, интеллигентный солдатик из маминых сынков.

Поглядели бы вы теперь на этого солдатика. Грудь навывкат, брюхо, как у монаха, которого за предательство гёзов Уленшпигель велел закормить насмерть, взор орлиный, голос... впрочем, о голосе стоит сказать особо.

Перегудов, несомненно, один из самых талантливых людей, каких мне довелось встретить. Ерунда, он один из самых одаренных на земле. У него острый ум, обширные познания, безмерная трудоспособность, вполне приличный литературный слог, столь необходимый человеку, который болтается между наукой, журналистикой и политикой. Добавьте легкий и живой нрав, умение с ходу завязывать приятельские отношения со всеми без разбору, приправьте эту смесь обезоруживающим простодушием, подсыпьте острословия и допустимую по современным стандартам дозу сквернословия, наконец, примите во внимание невероятную пробивную силу, эквивалентную снаряду 152-миллиметровой гаубицы-пушки образца 1937 года, батареей коих мне довелось командовать, и вы получите отдаленное представление об этом человеке. Будь он гладиатором в Древнем Риме, можно не сомневаться, что ему удалось бы выбиться в императоры, на худой конец - в Цицероны. Словом, он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес, у нас он - офицер гусарский.

У нас Перегудов тоже занимал немаловажное положение и был образцом правильного сочетания личных интересов с общественными. Я сейчас поясню эту мысль. Представьте рядового руководящего работника (обозначим его буквой А). Сидит он в кабинете, листает бумаги, делает пометки, поглядывает в окно, почесывает затылок, подумывает, что заказать на обед. Внезапно это благодушное трудовое действие нарушает молодой референт Р. Движимый неумным желанием принести пользу Отечеству и робкой надеждой прославиться, он излагает свою гениальную идею, и уже ему слышится звон литавр, и уже он ощущает благоухание лавра, и уже читает благодарность в приказе.

Меж тем за высоким челом А. идет бешеная калькуляторская работа, решается задача, чем это для меня обернется. Десятки неизвестных: что скажет Иван Петрович, как откликнется Иван Демидыч, понравится ли Ивану Прокоповичу, не подумает ли Иван Степаныч, что я ему дорожку хочу перебежать, не поперхнется ли Иван Ильич? Это еще

пустячки, следующая стадия посложнее. Надо влезть в шкуру Ивана Ильича и с этой позиции решить ряд уравнений, которые в общем виде можно описать таким образом: если Ивану Петровичу идея покажется подходящей, то не следует ли отсюда, что Иван Захарыч отнесется к ней отрицательно, поскольку при обостренных отношениях Ивана Кирилловича с Иваном Алексеевичем Иван Николаевич делает ставку на выдвижение Ивана Георгиевича, а последний, состоя в родственных связях с Иваном Акимовичем, отнюдь не станет рисковать расположением Ивана Кузьмича. На первый взгляд подобные уравнения нуждаются в применении дифференциального и интегрального исчисления, теории игр и мыслительных способностей на уровне Гауса и академика Колмогорова. Но нет пределов возможностям среднечеловеческого мозга, если он одушевлен поиском истины. И трепещущий R еще не успел пригорюниться, а ответ уже готов: идея может сказаться на моей судьбе положительно, во всяком случае худо не будет.

Теперь настало время пораскинуть мозгами над ее общественной полезностью. При решении этой задачи известную пользу может сослужить метод анализа, примененный в первом случае. Так, если речь идет о международных делах, следует предположить, что скажут Англия, Франция, Соединенные Штаты и княжество Лихтенштейн, можно ли рассчитывать на позитивный отклик Австралии в условиях обострившейся конкуренции между великими державами и отрицательной позиции Бразилии по вопросу импорта осветительных приборов в момент, когда вновь образовавшееся государство островов Фиджи не завершило формирование национальных вооруженных сил. Если б весь этот арсенал мудрости, это мощное излучение мозговой энергии, филигранную методику анализа, изощренное хитроумие, этот бесценный дар предвидеть последствия несовершенных действий направить на постижение законов природы - не осталось бы для нас тайн и была бы планета наша для веселья с избытком оборудована.

Однако я увлекся. Проследуем теперь в соседний кабинет, где сидит инструктор Б, листая бумаги, делая пометки, почесывая затылок и подумывая, что заказать на обед. Внезапно заходит сюда молодой референт R со своей гениальной идеей. И что же? То же самое. За высоким челом завертелись, завихрились счетные костяшки: делим Англию на Лихтенштейн, умножаем США на Австралию, вычитаем Японию, извлекаем корень квадратный из ФРГ, вводим в степень Сан-Марино... Постойте... Ну, конечно же, как можно было не заметить сразу: то же самое, да не то же, ибо Б начал операцию со второй задачи, а уж потом перешел к Иван Ивановичам.

Если вы полагаете, что я собираюсь воспеть его как образец добродетели, то зря. Просто нормальный человек с нормальной человеческой психикой, хорошим пищеварением и нежеланием отягощать совесть. Если ответы на задачки сошлись нет человека счастливее Б, он разобьется в лепешку, расстелется в пух, рассыплется в прах, будет настойчиво и планомерно добиваться пользы для общества, благодарности для референта R, ордена или продвижения по службе для себя. Но если ответы не совпали - не обессудьте, не наступать же на горло собственной песне! Не каждый рождается Муцием Сцеволой (см. Большую советскую энциклопедию) и Александром Матросовым.

Но пройдем дальше по коридору, до двери с табличкой "В". За ней личность, относящаяся к числу бесхитростных существ, которые вообще не подозревают о задачке с Иванами Ивановичами или высокомерно ее игнорируют. Таких принято называть чудаками или донкихотами, хотя идалго из Ламанчи не совершил ничего путного и к тому же не был бесребреником в широком смысле слова: им двигало гипертрофированное честолюбие. Отсюда наш герой не уйдет без признания своих талантов и отеческого благословения. Но, всем сердцем ему посочувствовав, благородный хозяин кабинета, к сожалению, слишком занят собственными замечательными мыслями, и R уйдет от него несолоно хлебавши.

Вообще мнение, будто именно чудаки двигают прогресс, глубоко ошибочно. На самом деле эта почетная роль принадлежит перегудовым.

Вся соль Перегудова в том, что задачи, которые А и Б решают в разной последовательности, а В вовсе не знает, как к ним подступиться, он решает одновременно,

причем его гибкий ум и лукавое воображение позволяют любое противоречие свести к согласию. Там, где личный интерес кажется абсолютно, чудовищно несовместимым с интересом дела, Перегудов поколдует, поворожит, и все приходит в стройность - оказывается, задачку надо решать на малых числах или переместить идею с международной арене в жилищное строительство, или подкинуть некоему Ивану Эдуардовичу маленькую компенсацию в форме устройства его дочери в Институт театрального искусства. Нет здесь никакой мистики, один полет творческой фантазии.

А каков в деле! Был я свидетелем сцены, которую даже Шекспир не погнушался бы ввести в одну из своих трагедий. Можно сказать, она уже использована, если принять Перегудова за Ричарда, а нашего шефа за леди Анну. Шеф резко отводит предложение Перегудова (отредактированный вариант гениальной идеи референта R). Перегудов живописует выгоды и деликатно напоминает о пристрастии Ивана Данилыча к подобным решениям. Шеф упорствует. Перегудов пускает в ход неожиданный козырь: если не мы, нас опередит Иван Лукич и все лавры, натурально, достанутся соседней конторе. Шеф продолжает сопротивляться, со стороны Перегудова следует еще один маневр. "Может быть, вы и правы, - говорит он кисло, - игра рискованная, стоит ли связываться?" Расчет безошибочен, самолюбивый шеф не потерпит, чтобы кто-либо усомнился в его личном мужестве. Он замечает, что Перегудов, видимо, струхнул, не надолго его хватило, видали вы такого борца за правое дело. Другие подхватывают, сам Перегудов добродушно потешается над своим оппортунизмом, рассказывает по случаю анекдотец, а затем вдруг предпринимает бурный штурм - начинает петь шефу дифирамбы, восхваляет его мудрость и прозорливость, буквально на глазах лижет ему зад и завершает заверением, что за это дело ему поставят памятник.

Зрители ошеломлены, кажется непостижимым, чтобы шеф, с его незаурядным умом, клюнул на такую дешевую приманку; сейчас он стукнет по столу кулаком - и конец нашему хитрецу! Не тут-то было. Мягко пожурив Перегудова за лесть и назвав его пронырой, шеф заявляет, что он ему надоел, пусть делает как знает, лишь бы отвязался. Поистине Перегудов - великий знаток человеческой души, и разве не оправдана самая наглая лесть, если к ней обращаются ради стоящего дела!

Скажу теперь еще об одном своем начальнике, скорее, впрочем, косвенном, первом заместителе заведующего Отделом ЦК Олеге Борисовиче Рахманине. Косвенном, потому что формально другие замы не были у него в подчинении, находились на равном "статусе". На деле мы нередко получали из его уст задания шефа. Ему поручалось проводить еженедельные летучки руководящего состава с участием замов и заведующих секторами. И разумеется, он замещал Русакова, когда тот по какой-либо причине отсутствовал.

Мой ровесник с разницей в три дня (я родился 4 октября 1924 г., Олег 7-го), родом из подмосковной деревни, расположенной где-то неподалеку от Клязьминского водохранилища, он получил тяжелое ранение, но инвалидность левой руки не бросалась в глаза и не мешала ему быть отменным теннисистом. Ему выпала честь участвовать в Параде Победы. Чувство фронтовой солидарности положило начало нашим приятельским отношениям. Позднее к этому прибавилось и сотрудничество на китайском направлении. Рахманин несколько лет прослужил в нашем посольстве в Пекине, о его достоинствах китаиста можно судить по тому, что Олегу поручалось быть переводчиком на встречах Хрущева с Мао Цзэдуном. Тогда ли или по другому случаю он был замечен и приглашен в Отдел ЦК, где быстро пошел в гору, был удостоен членства в ЦК и Верховном Совете, пользовался благосклонностью, сколько я знаю, всех членов тогдашнего руководства. Этому немало способствовали вынесенные с военной службы исполнительность, с дипломатической - гибкость. Он не только был хорошим специалистом, но и умел показать себя с лучшей стороны, быть в нужный момент в нужном месте, при случае деликатно польстить начальству. Эти качества, в той или иной мере свойственные всем преуспевающим "номенклатурщикам", не исчерпывали его натуры. В нем как бы параллельно (повторяюсь, говоря об этом феномене, но что поделаешь, он довольно широко распространен), не

пересекаясь, словно прямые линии, существовали два разных человека. Один - хрестоматийный чиновник, беспрекословно подчиняющийся вышестоящим и требующий того же от нижестоящих, вполне правотворный партиец. Другой - жизнелюб, с некоторой долей цинизма относящийся к официальным заповедям, "свой парень" с удалью подмосковного молодца, умеющий неплохо играть на гитаре и песни петь, любящий побалагурить в дружеской компании. Лишенный литературного дара, он обладал своеобразным чувством слова, придумывал выразительные словосочетания. Например, посылает Рахманин кого-нибудь из нас на совещание в другой отдел и напутствует: "Вы к этой проблеме прислонитесь, но не ввинчивайтесь". Китаисты составили даже целый словарь этого аппаратного новояза.

Олег сумел собрать в секторе Китая сильный состав специалистов. Немногословный, по-восточному сдержанный в словах и поступках Борис Кулик, знаток китайской философии вспыльчивый Михаил Титаренко (ныне директор Института Дальнего Востока), склонный к сочинительству Владимир Лазарев - с ними и другими членами этой команды мы часто и подолгу сидели над составлением пространных писем китайским руководителям, упрекая их в догматизме и призывая включиться в творческое развитие марксизма, чем, естественно, занималась КПСС. В свою очередь где-то в Пекине группа консультантов и знатоков Советского Союза сочиняла ответные послания, содержавшие упреки в ревизионизме и призыв блюсти верность великому учению Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. От письма к письму язык становился все более жестким, в выражениях ни мы, ни они не стеснялись. Запомнилось, как наши оппоненты отозвались об одном из выступлений советского министра иностранных дел: "Врет, как сивый мерин". Видно, консультанта, из-под пера которого вышла эта накрутка, подвела память.

Эта перепалка, как известно, привела к вооруженному столкновению на Даманском. Понадобились три десятилетия, чтобы ввести отношения между двумя странами в нормальное соседское русло. Решающее слово было произнесено при встрече Горбачева с Дэн Сяопином в Пекине, на которой мне довелось присутствовать. Тогда же Дэн возглавлял китайскую делегацию на переговорах в Москве и отнюдь не производил впечатления мудреца. Они проходили в Доме приемов на Ленинских горах. Наша делегация, возглавляемая Сусловым, в составе Андропова, Пономарева, кого-то еще из высоких должностных лиц, беседовала с китайцами в парадном зале на втором этаже. А мы сидели в комнатухе на первом у выведенного туда передаточного устройства, записывали наиболее интересные пассажи, обменивались впечатлениями. Ничего путного из той дискуссии не вышло. Стороны остались при своем, даже еще более ожесточились. На поверхности это был теоретический спор, в действительности же - острая схватка за власть в социалистическом лагере и международном коммунистическом движении, представлявших тогда немалую ценность для обеих держав и в особенности - их амбициозных лидеров.

В то же время эта полемика предоставляла редкую возможность под видом критики "китайского догматизма" потеснить собственных, не менее свирепых ретроградов, подготовить почву для переосмысления некоторых устаревших или ошибочных тезисов официальной марксистской доктрины, все еще считавшихся неприкосновенными, как священная корова. Разумеется, все это кажется сегодня пустяками. Но из таких "пустяков" и выложена дорога к истине.

Олег никогда не говорил мне об этом, но я не сомневался, что он приложил руку к моему назначению заместителем заведующего. Мы с ним безмятежно сотрудничали, хотя придерживались разных взглядов на многие проблемы. Как это удавалось? Вероятно, благодаря сходству характеров. Поспорим - иногда мне удается его убедить, в другой раз ему меня. Бывало и так: сделает вид, что уступает, а сам пойдет к Русакову и получит от него санкцию поступить по-своему. Я тоже прибегал порой к такому приему, хотя с гораздо меньшим успехом: шеф чаще становился на сторону своего первого зама. Понервничав, позлившись, но не рвать же из-за этого отношения с товарищем по оружию в прямом и переносном смысле.

Рахманину по статусу полагалась отдельная дача в одном из загородных поселков Управления делами ЦК по Рублевскому шоссе (Успенское, Усово, Ильинка), но он предпочитал пансионат "Клязьма", где отдыхали работники аппарата всех рангов. Его, как потом и меня, урезонивали: мол, подаешь плохой пример, нечего выкаблучиваться. Но мы устояли. На моих глазах вырастали его дети, и мне приятно видеть время от времени на экране Володю Рахманина, вещающего от имени нашего МИДа, а затем и президента России.

С Ярузельским, Фиделем Кастро,  
Гусаком и Хонеккером

Когда в 1980 году разразился польский кризис, в цековском аппарате, правительстве, КГБ, МИДе, среди всех, кто был вовлечен в разработку и реализацию политики на этом направлении, произошло незримое разделение. Все думали о том, как помочь партнерам выбраться из противостояния, угрожавшего гражданской войной. Не допускали мысли о потере Польши как нашего надежного союзника. Общей была позиция и по другому принципиальному пункту: категорически исключалась военная акция, аналогичная подавлению Пражской весны в 1968 году. Может быть, и были отдельные экстремисты, но я никогда ничего подобного ни от своих коллег, ни от начальства не слышал.

А вот дальше начинались разногласия. Одни - их было большинство - стояли за жесткое давление на польское руководство с требованием ввести военное положение и подавить оппозицию; добивались замораживания связей с Польшей, чтобы, не дай бог, зараза "Солидарности" не проникла в наш дом. Другие полагали, что поляки должны сами решить свои проблемы, а руководству ПОРП следует найти взаимоприемлемый консенсус с этим независимым профсоюзом, поскольку за ним не какая-то жалкая кучка диссидентов, а, по сути дела, весь рабочий класс страны, который, по нашим верованиям, является ее суверенным хозяином.

Собственно говоря, нет ничего нового в таком "раздвоении". Во все времена и во всех империях, которым приходилось сталкиваться с реформаторскими или освободительными движениями в "вассальных государствах", были сторонники их жесткого подавления и те, кто считал разумным добиваться умиротворения на основе компромиссной формулы. К последним в отделе принадлежали почти все полонисты во главе с заведующим сектором Польши Петром Кузьмичом Костиковым. Начинать он как журналист, за годы корреспондентства в Польше досконально изучил язык, историю, культуру, местные нравы, обзавелся широким кругом знакомств. Мы с ним несколько раз были в командировках в Варшаве, Кракове, Познани и других польских городах. Повсюду у Петра находились друзья, бывало, его, узнавая, даже останавливали на улицах. Он, можно сказать, чувствовал Польшу, поэтому редко ошибался, высказывая предположение о том, как отреагируют поляки на ту или иную нашу акцию. Впрочем, этим свойством пониманием национального характера - в той или иной степени обладали и другие полонисты, работавшие в МИДе и нашем посольстве в Варшаве, с которыми мне пришлось в ту пору сталкиваться.

Но не зря говорят: нет правил без исключений. В нашем отделе таким исключением был Виктор Анисимов. Молодой человек аскетического склада, заиклившийся на ортодоксии, он просто не мог взять в толк, как это люди говорят то, что им не положено. А к непоколебимой его убежденности в нашем праве наставлять слушников на путь истинный добавлялись карьерные соображения. Анисимов через голову заведующего сектором уведомлял заместителя заведующего отделом О.Б. Рахманина о настроениях своих коллег и подготавливаемых в секторе с моим участием аналитических записках, снискал его полное доверие и в конце концов выбился-таки в зав. Костикова вытеснили из отдела, хотя и "не обидели", назначив заместителем председателя Госкино СССР.

Различия в подходах, о которых я веду речь, могут показаться несколько абстрактными. Поэтому проиллюстрирую их на одном примере. Кризис в Польше разразился не сразу, как землетрясение, а нарастал исподволь, что, кстати, ввело в заблуждение тогдашнее руководство. Первые забастовки гданьских портняжников, создание "Солидарности" и



появление на политическом горизонте харизматического рабочего лидера Леха Валенсы застали первого секретаря ПОРП Эдварда Герека и чуть ли не весь состав польского руководства на отдыхе у нас в Крыму. Получив соответствующую информацию, он даже не поторопился вернуться на родину. На выраженное с нашей стороны беспокойство польский лидер беззаботно отвечал, что нет оснований для тревоги, его в стране любят и порядок будет быстро наведен. Между тем началась настоящая позиционная война между властями и нарождавшейся оппозицией - сначала профсоюзной, потом политической. "Солидарность" с помощью церкви распространяла влияние - с портовиков на шахтеров, с шахтеров на крестьян, с крестьян на интеллигенцию, в то время как партийно-государственные верхи, полагая себя неприступными, упрямо отказывались вступать в переговоры и сдавали одну позицию за другой.

Мне не раз приходилось общаться с Герексом в Москве и Варшаве, где польский генсек почти всегда принимал нас с Костиковым. Он был дружелюбен, деловит, с нескрываемым удовольствием рассказывал о позитивных итогах своих микрореформ, которые были, по сути, очередной попыткой достичь западного преуспевания, введя в хозяйство страны рыночные элементы и чуть раскрыв ворота, скорее щель, для иностранного капитала. Обильно сдобренная кредитами и еще не ощутившая бремени долгов, польская экономика обнаружила признаки оживления, преждевременно принятые за прорыв к искомому качеству. Причем не только в Варшаве. Многие наши экономисты тоже увлеклись польским опытом и писали записки в ЦК, советуя перенести его на нашу почву. Трагедия Герека в том, что он, как и все предшествовавшие ему реформаторы советской модели, рассчитывал добиться успеха, не затрагивая политической сферы. А окончательно добил его непомерный апломб, сродни вошедшему в поговорку высокомерию польского шляхтича. Ведь прояви он, как, к примеру, Янош Кадар в Венгрии, способность сманеврировать, поискать компромисс, то, возможно, смог бы удержаться. Но, судя по установкам властей на первом этапе переговоров с оппозицией, им владели обида, чувство оскорбленной гордости: "Как так, я сам из рабочих, столько для них сделал, а они меня предали!"

В польском руководстве были люди, которые еще за несколько лет до событий 80-го года с большой точностью их предсказывали. Об этом говорил мне Станислав Кania. Ведая органами безопасности, он получал информацию о настроениях в рабочей и интеллигентской среде, готовившейся, не без участия церковных иерархов и западных разведок, к мощным антиправительственным выступлениям. Тогда едва ли считали возможным вырвать Польшу из социалистического лагеря, но явно рассчитывали на перераспределение власти в стране. По мнению Кани, встречными мерами на манер "иммунных уколов" можно было предотвратить обострение политической обстановки, но Герак ничего и слышать об этом не хотел, да и побаивался, что Москва обвинит его в оппортунизме.

Но если Кania, министр обороны Войцех Ярузельский и другие прозорливые члены польского руководства, связанные партийной дисциплиной, в лучшем случае могли довести свои опасения до советского посла, да и то опасаясь, что об этом прознает Герак, то с призывом к реформам не побоялись выступить публично "польские шестидесятники". Глашатаями этого направления стали главный редактор газеты "Политика" Мечислав Раковский, мой давний знакомый известный польский политолог Ежи Вятр, с которым мы многократно встречались на конгрессах Международной ассоциации политических наук, и другие. И чем сильнее был отклик в польском обществе на эти выступления, тем больше гневались на их авторов наши "ястребы".

Согласно донесениям спецслужб, все зло в Польше шло не столько от "Солидарности", сколько от Раковского и его единомышленников. Вечная болезнь видеть самого большого врага в инакомыслящем соратнике.

Мечислав Раковский в конце концов стал председателем Совета Министров Польши и первым секретарем ЦК ПОРП, но время было уже безнадежно упущено. Так же, как избрание Кани (сентябрь 1980 г.), а затем Ярузельского (октябрь 1981 г.) первым секретарем. Реформаторам пришлось вступать в переговоры с позиций непомерной слабости, вести в

некотором роде арьергардные бои. Не стану утверждать, что, приди они к власти "вовремя", им удалось бы радикально изменить течение истории. Но было вполне возможным избежать военного положения и того резкого охлаждения наших отношений с Польшей, которое последовало за избранием Валенсы президентом.

Впрочем, это уже относится к сфере гаданий. Тогда развернулась закулисная междоусобица внутри отдела. Прочитав шифровки по линии КГБ и ГРУ (Главное разведывательное управление Генштаба) с изложением очередной статьи Раковского, члены Политбюро и их помощники звонили Русакову или Рахманину с требованием заткнуть наконец рот этому антикоммунисту и антисоветчику (агенту влияния, сказали бы сейчас). В отделе начиналось срочное писание записки в ЦК или в созданную в связи с кризисом польскую комиссию. Представлялся текст телеграммы в Варшаву с поручением нашему послу примерно следующего содержания: "Посетите т. Каню (т. Ярузельского) или лицо, его замещающее, и скажите, что в Москве крайне обеспокоены статьей Раковского в газете "Политика", в которой льется вода на мельницу "Солидарности", атакуются устои социалистического строя..." и т. д. Я переписывал этот текст, убирая грозные инвективы, и шел убеждать Русакова, что нам следует не бить по Раковскому, а привлечь его в свои союзники. Эти аргументы производили на него впечатление, тем более что примерно в том же ключе мыслил советский посол в Польше Борис Иванович Аристов, с которым шеф в дни кризиса перезванивался чуть ли не ежедневно. В то же время он дико боялся быть обвиненным в либерализме. Изрядно помаявшись и даже ворча: "Куда это вы меня толкаете!", секретарь ЦК в конце концов соглашался убрать наиболее грубые обвинения. Бывало, однако, и так, что уже после этого проинформированный Анисимовым Рахманин добивался восстановления жестких формул.

По моему глубокому убеждению, события в Польше могли бы приобрести намного более взрывной и трагический характер, не окажись во главе ее генерал Войцех Ярузельский. Ему досталась незавидная участь - стать у штурвала корабля, когда тот уже на три четверти затонул, в команде назревал бунт, а среди пассажиров паника. В этой отчаянной ситуации генерал сделал главное: введением в стране военного положения 12 декабря 1981 г. он предотвратил кровавую разборку, жертвой которой могли стать многие тысячи, если не десятки тысяч людей. Причем сделал это, зажатый в тисках между Москвой и фундаменталистами из ПОРП, с одной стороны, мощной оппозицией - с другой; вынужденный выбирать между своим долгом первого лица в партии и государстве, т. е. главного гаранта существовавшей политической и общественной системы, и служением народу, подчинением его суверенной воле. Похожий выбор пришлось делать Горбачеву в августе 1991 года.

"Кажется, поляки в конце концов поняли, чем они обязаны генералу Войцеху Ярузельскому", - писал я в книге "Цена свободы"\* и явно поторопился. На состоявшемся в Яхранке

близ Варшавы 8-10 ноября 1997 году круглом столе "Польша 1980-1982 годы: внутренний кризис, международное измерение" главным предметом дискуссии стало: следует ли благодарить Ярузельского за введение военного положения в декабре 80-го года или клеймить его как предателя своего народа. После Яхранки правые из чисто конъюнктурных соображений подвергли его нападкам в парламенте, а левые не стали энергично защищать. Пришлось вступиться Горбачеву, письмо которого в защиту Ярузельского было опубликовано в газете "Жиче Варшавы" одним из тех, кого польские фундаменталисты преследовали с особой яростью, - Адамом Михником.

На круглом столе в Яхранке для меня стало откровением личное знакомство с ним и другими провозвестниками "польской весны", которых мы костили на все лады, - Геремеком, Буяком, Модзелевским, Мазовецким. Ей-богу, если бы наши руководители решились в свое время познакомиться с этими людьми, польские события могли принять другой поворот. Куда там! Опуститься до того, чтобы встретиться с диссидентами, признав их "стороной в переговорах"! Между тем эти диссиденты, прислушайся мы к ним, помогли бы решить

"польскую загадку". Они ведь в большинстве своем центристы и не случайно не пользуются особым расположением у нынешних властей, у правых и левых на политической сцене.

В дни симпозиума я имел возможность пообщаться с Войцехом Владиславовичем и еще раз убедиться в том, насколько это цельная и благородная натура. Наблюдатели ставят обычно в заслугу великим людям, что они не зазнаются, просты в обращении, "ничто человеческое им не чуждо". Примерно то же сказал бы я о Ярузельском, когда он был польским президентом. Но не менее существенно для познания человеческой природы, как чувствует и ведет себя лидер, решавший судьбы миллионов людей, привыкший к искреннему или лицемерному поклонению, когда он оказывается в тени. В особенности же - потерпев очевидное или кажущееся фиаско в достижении прокламированных им целей. В таком положении одни озлобляются, клянут весь свет, другие замыкаются в себе, спиваются.

Я нашел Ярузельского, при новой встрече с ним, достойно переносящим удары судьбы. По-прежнему прямой, подтянутый, с ясной мыслью и образной речью, он ни перед кем не оправдывался, а пытался объяснить своим соотечественникам, почему необходимо было ввести военное положение в декабре 81-го и каковы реальные последствия этого решения. Последствия... Противники называют его польским Пиночетом, но никто не был убит на варшавском стадионе, где в первые дни интернировали лидеров оппозиции. Все они были отпущены. На протяжении этой "свирепой" акции погибли, и то по недоразумению, несколько человек - не больше, чем ежедневно гибнет на дорогах Польши в автомобильных катастрофах. Но страна была спасена от гражданской войны.

И от иностранной интервенции, добавляли некоторые участники круглого стола в Яхранке. Здесь был фокус дискуссии. Лучшим оправданием для генерала было бы доказательство намерений Советского Союза и других государств Варшавского Договора вторгнуться в Польскую Народную Республику, чтобы "подавить контрреволюцию и защитить социализм". С таким предложением, кстати, обращались к Москве Э. Хонеккер и даже Н. Чаушеску, который в свое время отказался принимать участие в коллективной акции против Чехословакии. Поддержать версию возможной интервенции было оптимальным способом защитить себя на этом подобию уголовного процесса. Но Ярузельский не поддался искушению. "Я не могу судить о том, что было в головах советских руководителей. Но из того, что они мне говорили, из той информации, какую я получал, следовало: ничего нельзя исключать". Таково было "свидетельское показание" генерала. Я с чистой совестью мог его подтвердить, и, чтобы этот вопрос не был отнесен к числу неразрешимых исторических загадок, хочу повторить: советское руководство категорически исключало возможность военной интервенции в Польшу.

Возможно, такие мысли и бродили в головах кого-то из генералов и членов Политбюро, но Кремль, как целое, как воплощенная воля партии и государства, отчетливо понимал, что в условиях войны в Афганистане, начавшегося хельсинкского процесса, наметившегося упадка в экономике, да еще при дряхлеющем лидере, военная акция в Польше была бы губительной для страны. Я присутствовал на всех заседаниях Польской комиссии ЦК КПСС. Все ее сменявшие друг друга председатели - М.А. Суслов, Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачев - начинали с констатации того, что следует использовать любые меры для сохранения Польши в соцсодружестве, кроме военных. Более того, своими ушами я слышал, как главный наш идеолог и хранитель принципов марксизма-ленинизма Михаил Андреевич Суслов с горечью сказал: "Примирился, даже если там к власти придет "Солидарность". Главное, чтобы Польша не уходила из Варшавского Договора".

Но именно потому, что военное решение исключалось, считали необходимым оставить поляков и весь мир в убеждении, что оно не исключено, демонстрировали угрозу силой как могли. Верил в это Ярузельский или нет - не имеет особого значения. Как руководитель страны он обязан был не исключать такой возможности. Помимо всего прочего, события ведь могли выйти из-под контроля Кремля. Сознательная провокация против размещенных на территории Польши советских войск поневоле вынудила бы их сопротивляться. Вмешательство стало бы неизбежным и даже оправданным в качестве ответной меры на

агрессивные действия НАТО. В том и другом случае судьба Польши перешла бы в руки иностранных государств. Генерал Ярузельский, как истинный патриот, сказал своим соотечественникам: это наша проблема, мы должны решить ее сами.

Кажется, с опозданием на пять лет мое предположение, что поляки поняли, чем они обязаны генералу, все-таки начинает сбываться. По данным социологических опросов, более половины населения Польши позитивно оценивают роль, сыгранную в истории страны Войцехом Ярузельским.

Я встретился с ним еще раз в конце октября 1999 года, когда был приглашен участвовать в конференции: "События в Польше 1986-1989 гг. Конец системы". Дискуссия протекала плавно, без всплесков. Глядя со стороны, можно было подумать, что собрались приятели, давно не видевшие друг друга, вспоминают былое. А ведь за квадратным столом расположились представители трех основных политических сил, чье противоборство стало одной из первых, если не первой открытой схваткой "за" и "против" советской модели социализма, и в придачу всей Ялтинской системы. На этот раз в отеле "Босс" в пригороде Варшавы собрались не первые лица - нездоровилось "генералу", как здесь все называют Ярузельского, не захотел почтить конференцию своим присутствием Валенса. Тем не менее его старые советники - бывший премьер Модзелевский и нынешний министр иностранных дел Геремек - встретились лицом к лицу с бывшим министром иностранных дел в правительстве Раковского Марианом Ожеховским, членом Политбюро ЦК ПОРП Рейковским и секретарем ЦК Чосеком, которым было поручено вести переговоры с "Солидарностью". Третью силу, костел, представляли два епископа. И бывшие противники, отнюдь не ставшие друзьями, прилежно выясняли, "как это было".

На секунду мне почудилось, что в Грановитой палате Кремля уселись за таким же квадратным столом с одной стороны Горбачев с Яковлевым, Медведевым и другими перестройщиками, с другой - Ельцин, Бурбулис, Гайдар и прочие его сподвижники, с третьей - Зюганов, Лукьянов, Рыжков, гэкачеписты, намеревавшиеся спасти Союз, с четвертой - Назарбаев, Каримов, Ниязов, Алиев, Шеварднадзе, бывшие пролетарские интернационалисты, ныне главы независимых государств. Еще одна сторона понадобится для Кучмы, Лукашенко, Кочаряна новых правителей. Может быть, отдельный столик для Масхадова. Сидят, рассказывают историкам и журналистам, "как это было", мирно уточняют детали... Кошмарный сон! Не может быть, потому что у нас этого не может быть никогда.

В день отъезда я позвонил Ярузельскому и получил приглашение к нему на чай. Вместе с В.В. Загладиным и посольским работником А.А. Карасевым приехали мы в особнячок на тихой варшавской улице. Пани Барбара поехала к врачам. Генерал сам встретил нас у калитки, провел в небольшую, заставленную старинной мебелью комнату, где уже стояли чайные приборы и графин с домашней наливкой. С давних пор ему причиняет много неудобств болезнь глаз, из-за которой он вынужден носить очки с затемненными стеклами (недоброжелатели и это используют, чтобы изобразить его свирепым диктатором, боящимся смотреть людям в глаза). В остальном не изменился - все тот же ясный ум, образная речь, живая реакция на все, что творится вокруг.

Разумеется, беседа началась с обмена приветствиями. Я передал слова Горбачева: Ярузельский был и останется самым незаурядным и близким мне по духу лидером. Войцех Владиславович, как мы, по примеру Брежнева, привыкли его называть, в самых возвышенных выражениях говорит о своем отношении к Михаилу Сергеевичу. Дальше беседа обо всем, в некотором роде интервью.

Спрашиваю, как он относится к маршалу К.К. Рокоссовскому.

- Конечно, - отвечает, - преклоняюсь перед полководцем, уважаю как человека. В бытность министром обороны Польши он много сделал для укрепления армии, но, к сожалению, не совсем учитывал национальные чувства. Привез с собой из Москвы много генералов - Ивановых, Петровых, Сидоровых. У чутких к этим вещам поляков складывалось впечатление, что страна чуть ли не оккупирована. Потом, когда его уже отозвали, мы встретились на праздновании 20-летия Победы в Москве (Ярузельский был тогда

начальником польского Генерального штаба. - Г.Ш.). Маршал подошел ко мне и громко сказал: "Я поляк и всегда им буду, запомните!"

По своей инициативе Ярузельский вернулся к военному положению - видно, эта тема не дает ему покоя. "Я должен был его ввести. Вы правы, Георгий Хосроевич, хотя советское руководство не собиралось идти на вторжение, я не мог исключать такой возможности. Куликов\* как-то прямо мне заявил: "Мы готовы вас поддержать, если понадобится". Окончательно у меня сложилось намерение, когда "Солидарность" объявила о проведении 17 сентября (дата введения советских войск в Польшу в 1939 г.) факельного шествия. Там было много всевозможной публики, могла возникнуть буча как в Венгрии". Генерал вспомнил по этому случаю мою статью об опасности анархо-синдикализма, сам я ее, признаться, давно забыл.

Посетовал, что его не оставляют в покое: "Хотят добраться до руководства компартии, которой все больше боятся (за нее, по опросам, готова голосовать уже треть избирателей), а я для них вроде мишени, пока ее не сразят, не могут приняться за других". Поблагодарил Горбачева за поддержку.

Когда генерал вышел нас провожать, мы спросили, охраняют ли дом.

- Вроде бы да, только я их не вижу, видно, умело конспирируются.

Посмеялись. Он с грустью оглядел свое жилище.

- Вот, смотрите, я не бедствовал в жизни, был министром, членом Политбюро, премьером, президентом, а имею один этот домик. Машины нет, на книжке 10 тысяч долларов, полученных за лекцию в Штатах. Вот и все мое наследство.

- Вы оставили главное свое наследство Польше.

- Пожалуй. Начатые при мне реформы помогли ей легче других перейти к новой системе.

Таким было единственное признание собственных заслуг, какое он себе позволил.

Как для польского президента центральным "спорным" эпизодом политической карьеры явилось введение военного положения, так для кубинского лидера загадка Карибского кризиса. Вроде бы вся эта история отошла в прошлое, да и выяснять особенно нечего. Ну, решили завезти ракеты с ядерными боезарядами на Кубу, чтобы защитить ее от американской интервенции и заодно обеспечить военный паритет СССР с США еще до того, как это удалось сделать наращиванием вооружений. Американские самолеты-разведчики засекли подготовку площадок для советских ракет, президент США ультимативно потребовал прекратить эту операцию. Несколько дней мир находился на грани апокалипсиса, между Москвой, Гаваной и Вашингтоном шли интенсивные переговоры, затем Н.С. Хрущев и Дж. Кеннеди сошлись на компромиссном решении, благодаря которому американцы оставили Кубу в относительном покое и были заключены соглашения, понижающие риск ядерной войны.

Все ясно, да не очень. Все ли детали хрущевского плана были заблаговременно согласованы с Фиделем Кастро; имелось в виду доставить на Кубу ядерные боеголовки или ракеты с обычным зарядом; кто из советских военачальников отдал приказ открыть огонь по американским самолетам-разведчикам; участвовали кубинские руководители в достижении компромисса или их просто поставили перед фактом? Эти и ряд других, второстепенных, вопросов были предметом пристального интереса историков и политиков, однако ответа на них не находилось, потому что основные участники Карибского кризиса занимались этим вразброд. Почему бы не усадить их за один стол, пособив поиску истины, и одновременно, что не менее важно, пробив тем самым хотя бы узкую брешь в плотной блокаде Кубы? Ведь тогда под строжайшим запретом вашингтонских властей находились любые контакты с островом Свободы, в том числе научные.

Тут как раз пришло приглашение из Гарварда поучаствовать в обсуждении Карибского кризиса. С советской стороны были приглашены Ф.М. Бурлацкий, сын Анастаса Микояна Серго - автор ряда работ о Кубе, главный редактор журнала "Латинская Америка" (он летал с отцом в Гавану в те роковые дни) и я. С американской, помимо группы историков и

политологов, специализировавшихся на этой теме (Гарткоф, Алисон, Бишлос и др.), участвовали ряд видных деятелей, входивших в 60-е годы в команду президента Кеннеди, Макджордж Банди, Роберт Макнамара, Тед Соренсен и другие. В течение двух дней в Бостоне удалось прояснить кое-какие моменты, по итогам встречи американцы с их расторопностью быстро издали книгу. Но главное - все ее участники с американской стороны с энтузиазмом встретили идею продолжить изыскания в расширенном составе сначала в Москве, а затем, если удастся, в Гаване.

На будущий год нам действительно удалось провести представительную встречу в Москве. Она была, как полагается, оформлена решением ЦК и проводилась в зале Института мировой экономики и международных отношений АН СССР. Энергично включился в ее подготовку Евгений Максимович Примаков, тогда директор Института. От нас там были помимо академического люда дипломаты (включая А.Ф. Добрынина, О.А. Трояновского и первого советского посла на Кубе А.И. Алексеева), военные (генерал армии А.И. Грибков, командовавший в 1962 году нашим соединением), а главное - Андрей Андреевич Громыко, который был, вероятно, самым осведомленным на этот счет человеком, даже более осведомленным, чем Хрущев и Кеннеди, поскольку, будучи министром иностранных дел, ему довелось стать основным передаточным звеном между ними. Ныне освобожденный от груза государственной ответственности, он, пожалуй, впервые на моих глазах держался раскованно, охотно отвечал на вопросы и даже (о чудо!) позволял себе время от времени усмехнуться. Представительной, примерно в том же составе, что в Гарварде, была делегация американцев. Я вот сказал "делегация", но это по привычке, так мы были приучены, иначе как делегациями, советские люди практически не выезжали за рубеж. Американцы же, напротив, всякий раз подчеркивают, что каждый из них в личном качестве, хотя на практике во всех научных встречах, какие у меня с ними были, они выступали весьма сплоченно и имели-таки свою "главную фигуру".

Украшением дискуссии стало участие в ней внушительной кубинской делегации во главе с одним из соратников Фиделя Серхио дель Валье. В дни Карибского кризиса он возглавлял службу безопасности и вместе с Раулем Кастро отвечал за оборону страны. Он охотно отвечал на многочисленные вопросы о событиях, как они виделись с кубинской стороны, и от имени Фиделя выразил готовность провести еще одну "тройственную" встречу в Гаване.

Участие кубинцев в Московской встрече оказалось возможным вот каким образом. 7 ноября 1987 года в СССР торжественно отмечалась 70-я годовщина Октябрьской революции. Кубинскую делегацию возглавил Фидель. Я имел возможность несколько раз беседовать с кубинским лидером в его резиденции на Ленинских горах. Рассказал ему о завязке нашей дискуссии с американцами и спросил: не стоит ли и кубинцам подключиться к ней, чтобы с максимальной достоверностью осветить драматический эпизод истории Кубы и всего мира? Фидель задумался, привычным движением поглаживая бороду. Потом сказал: "Не только стоит, но и необходимо. Вокруг этих событий нагромождено немало выдумок, остаются загадки, мы могли бы помочь, сообщив о том, чему были прямыми свидетелями. Но нас ведь никто и не приглашает".

Я попросил дать согласие на участие кубинцев в Московской конференции, Фидель обещал и сдержал слово. Он положительно откликнулся и на идею провести "третий раунд" на Кубе, а затем начал вспоминать октябрьские дни 62-го года, когда судьба человечества разыгрывалась в партии Москва - Вашингтон - Гавана. Получилось своеобразное интервью, которое, с согласия Фиделя, я записал на видеопленку. Собственно говоря, это было не столько интервью, сколько монолог. Кубинский лидер заключил его так: "Сегодня я понимаю, что действия Хрущева в тот период были рискованными, если не сказать - безответственными. Ему следовало осуществлять политику, которую проводит сейчас Горбачев. Мы, однако, понимаем, что в то время у СССР не было стратегического паритета, какой есть сейчас. Я не критикую Хрущева за то, что он преследовал стратегические цели, однако выбор времени и средств для их достижения не был удачным".

На мои слова о том, что американцы вынуждены были все прошедшее время соблюдать договоренности, достигнутые в период Карибского кризиса, Фидель ответил: "Действительно, это так. Поэтому я не считаю себя вправе критиковать Хрущева. У него были свои соображения. Да и не имеет большого смысла переигрывать историю, гадая, что могло бы случиться, если бы...".

Кастро высказался за публикацию мемуаров участников тех событий и добавил, что готов сам поучаствовать в дискуссиях на эту тему. "Кое-что о Кубинском кризисе мне все-таки известно", - сказал он с улыбкой.

"Третий раунд" действительно состоялся в Гаване в январе 1991 года. К сожалению, я не смог в нем участвовать из-за накала событий в нашей стране.

Я не вел записей других своих разговоров с Фиделем и очень сожалею об этом. Американская пропаганда демонизировала этого человека, до сих пор на Западе многие воспринимают его как тирана, равняя с другими латиноамериканскими диктаторами. Обвиняют его в создании непосильной для кубинской экономики мощной системы обороны и безопасности. А как, скажите, надо было ему действовать, при том что над Кубой постоянно нависала угроза интервенции, самого Фиделя бесчисленное количество раз ЦРУ пыталось физически уничтожить? Если это и была тирания, то тирания особого рода, при которой приоритетное внимание уделялось медицине и народному образованию. Конечно, никуда не уйти от того факта, что сотни тысяч кубинцев искали фортуны во Флориде. Но не является ли это хрестоматийным примером противоречий между идеями равенства и свободы? Народ Кубы наглядно проиллюстрировал, что выбор в пользу одной из этих великих ценностей рубит нацию в процентном соотношении примерно 60:40. И предпочтение той или другой определяется не одним материальным фактором (слабые - за государственное попечительство, сильные за частную инициативу). Свою роль играют склад ума, религиозность, многие другие факторы. Удастся ли когда-нибудь синтезировать эти ценности? Если да, то очень не скоро.

Ну а в кубинской истории есть и поучение для великих держав. Когда молодой Фидель Кастро с группой смельчаков высадился с "Гранмы" и победным маршем вступил в Гавану, он не был еще марксистом, как его брат Рауль, и собирался наладить нормальные отношения с Соединенными Штатами. Новое кубинское руководство несколько раз обращалось в Вашингтон с предложением организовать встречу на высшем уровне. Но Белый дом, раздраженный тем, что бородатые юнцы свергли Батисту, который был, конечно, "сукиным сыном, но нашим сукиным сыном", презрительно молчал, а ЦРУ уже начинало строить козни и готовиться к вторжению. Фиделю не оставалось ничего другого, как повернуться лицом к Москве и обратиться в марксистскую веру, чему способствовал уже обращенный в нее Рауль. Высокомерие силы (определение Джорджа Кеннана) обернулось для Соединенных Штатов колоссальными расходами и серией позорных провалов, продолжающихся четыре десятилетия. А ведь встретиться Джон Кеннеди с Фиделем Кастро - люди примерно одного возраста, сходного социального происхождения и, за небольшими нюансами, одной культуры, - они вполне могли найти общий язык.

Почти зеркальное отражение этой истории можно найти у нас. Став президентом Чечни, кстати, не без помощи тогдашнего ельцинского окружения, Джохар Дудаев первое время настойчиво просился на прием в Кремль. Но подаваемые им сигналы там не желали принимать. Сначала "всемирно избранному" не до Чечни, потом самовольности Грозного вводят Москву во гнев, и она уже намеренно игнорирует надоедливые притязания чеченцев. Дудаеву не остается ничего другого, как обратиться к исламу, что обещает ему политическую и военную поддержку мусульманского мира. Но еще в самый канун рокового решения о бомбардировках Грозного он звонит Горбачеву с просьбой стать посредником. Это предложение немедленно передается в Кремль и остается без ответа. Далее кровопролитная война, фактическое поражение, тупиковая ситуация в политическом плане, метастазы в Дагестане и еще одна чеченская война. А ведь встретиться Ельцин в свое время с Дудаевым, предложи этому толковому советскому генералу пост министра обороны или

какой-то разумный компромисс (Дудаев был тогда согласен на "татарскую модель" отношений с Центром), этой раковой опухоли на теле Российского государства могло не быть.

Вспоминая о своих встречах с Фиделем и Раулем Кастро, я хочу отдать должное Олегу Павловичу Дарусенкову, который заведовал сектором Кубы. Благодаря прекрасному знанию языка и пониманию кубинского характера, его принимали на Кубе как "своего". То же могу сказать о его предшественнике Арнольде Ивановиче Калининe, который сейчас, когда пишутся эти строки, представляет на Кубе Россию, о многих других специалистах, работавших у нас в отделе, в МИДе и советском посольстве.

Поневоле тянет к обобщениям. Не стану говорить о "советских людях", но то, что в советский период у нас были подготовлены отличные кадры страноведов, непреложный факт. В этой среде было, можно сказать, два неписанных закона. Один - безусловное служение Родине, защита ее интересов, другой - искреннее уважение и симпатия к стране, с которой они профессионально работали, ее людям и культуре. Бывали, конечно, такие, кто, в силу большей частью личных причин, относился к своим "подопечным" с неприязнью. Или, что немногим лучше, у кого дружелюбие перерастало в обожание, и они, сами того не замечая, начинали больше заботиться о представлении интересов "обожасмой страны" в Советском Союзе, чем наших интересов в ней. Но таких попадалось немного, и от них старались избавиться.

В целом же правомерно сказать, что у нас была первоклассная страноведческая школа. Боюсь, в передрягах последних лет безвозвратно потеряны многие из воспитанных ею людей. В последние годы приходилось встречать опытных полонистов, чеховедов и других специалистов этого профиля, занимающихся чем попало. А ведь готовить их намного сложнее, чем дипломатические кадры для великих держав. Редко какой молодой человек изъявляет желание выучить, скажем, венгерский или камбоджийский язык, который ему нигде за пределами этих небольших стран не пригодится.

Кстати, о Камбодже. Когда Егор Кузьмич Лигачев был приглашен в Москву и назначен заведующим организационно-партийным отделом, а затем избран секретарем ЦК, одним из первых его нововведений стало решение, согласно которому занимать должности в аппарате ЦК КПСС могли только люди, состоявшие ранее на руководящей партийной работе. Эта мера еще более понижала планку и без того куцей партийной демократии. Получалось, что коммунист-рабочий, колхозник, учитель, ученый и т. д. не могут рассчитывать когда-либо занять место в центральном аппарате партии. Такая привилегия целиком отдавалась партбюрократии, чиновничеству, номенклатуре. С грехом пополам можно было еще как-то ее объяснить применительно к оргпартотделу - здесь действительно требовался опыт партийной работы. Но особенно нелепо требовать его там, где нужны специалисты узкого профиля.

Как раз в это время Международный отдел ЦК передал нам ведение дел с Камбоджей (тогда еще Кампучией), поскольку считалось, что она вступила на "социалистический путь развития". Понадобился референт со знанием кхмерского языка, и оказалось, что таких в Союзе всего два, причем один советник-посланник, а другой - молодой парень, только окончивший институт и год проработавший в Пномпене. Он согласился перейти к нам, и мы написали записку, не сомневаясь, что получим разрешение. Ничего подобного. Кадровики встали стеной, ссылаясь на необходимость выполнять решение ЦК. Я несколько раз разговаривал с первым замом заведующего оргпартотделом Н.А. Петровичевым, он сочувствовал, но разводил руками. В конце концов посоветовали записать в анкете, что наш кандидат "выдвигался" на организационно-комсомольскую работу во время учебы в институте. Все знали, что это липа, но таким образом спасали лицо. Насколько мне известно, это идиотское решение так и не было отменено.

С 1972 года, когда меня возвели в ранг заместителя заведующего отделом, зарубежные лидеры социалистических стран стали в какой-то мере моими "подопечными", а я вправе был считать их очередными своими начальниками. Мне приходилось вместе с одним из



членов Политбюро встречать их в аэропорту, везти в закрепленный за каждым особняк на Ленинских горах (ул. Косыгина), оставаться с ними после того, как высокое лицо, поговорив, а то и отужинав с гостем, отбывало. Присутствовать на другой день на переговорах с Брежневым. Выслушивать пожелания членов делегации.

Что касается быта, тут вступали зав. секторами и референты из специального сектора хозотдела, руководимого Михаилом Могилицем (позднее его сменил Владимир Шевченко - затем начальник протокола Администрации президента при Ельцине). Они подбирали подарки для главного гостя (их всякий раз придирчиво осматривал сам генсек), принимали встречные подношения, грубо говоря, ведали хозяйской кладовой. В их обязанности входило также принимать заявки от гостей - съездить с ними в закрытую секцию ГУМа, где можно было купить импортные товары, свозить супругу главного к врачу и т. д.

Не будучи политическими деятелями, замы не относились и к обслуживанию. Пожалуй, самое точное определение их миссии - посредники, через которых могла передаваться информация, точка зрения на тот или иной предмет, в расчете, что она будет доведена до высочайших ушей, высказывались какие-то просьбы и пожелания.

Я уже рассказывал о своей работе в "Проблемах мира и социализма". За первые два года моего пребывания в Чехословакии у меня не было возможности ближе познакомиться с кем-нибудь из видных деятелей этой страны - редакция существовала все-таки в сравнительно изолированной, замкнутой среде. Став в 1970 году ответственным секретарем, я уже должен был часто бывать в международном отделе ЦК КПЧ, которому было поручено заниматься журналом. Регулярно встречался с первым заместителем заведующего этим отделом Михаилом Штефаняком, референтом по Советскому Союзу славным Франтой Хладом. Изредка нас с шеф-редактором К.И. Зародовым принимал Василь Биляк. Как-то раз в подъезде дома на Дейвице столкнулся с бывшим секретарем ЦК (при Дубчеке) Славиком, исключенным из партии. В руках у него была шахтерская лампа, он потряс ею перед моим носом и сказал с горькой усмешкой: "Видишь, я теперь в метро работаю, рабочий класс, значит, моя диктатура!"

Назначение заместителем заведующего Отделом ЦК дало мне возможность познакомиться практически со всем составом чехословацкого руководства. Густав Гусак располагал к себе интеллигентностью, вежливой, доброжелательной манерой общения со всеми, как говорится, независимо от чинов и званий. Обстоятельства, которые привели его к власти в 1968 году, были, мягко говоря, не слишком благоприятны, и мне казалось, что он так и не вошел до конца в роль властелина, не ощущал себя в ней вольготно, как, скажем, Живков или Чаушеску. Похоже, ему, человеку совестливому и мыслящему, претило быть компрадором в глазах немалой части сограждан.

Не думаю, что он был втайне солидарен с А. Дубчеком, Смирновским и другими инспираторами Пражской весны. Но наверняка сочувствовал идее, что Чехословакия заслуживает более демократического социализма, чем тот, который был ей определен Москвой. И уж, конечно, не одобрял классовой непримиримости, с какой относились к Дубчеку и его единомышленникам "твердые искровцы" в чехословацком руководстве. Об этом он однажды в приватной беседе откровенно признался.

В Москве на каком-то приеме мы с женой познакомились с миловидной и симпатичной парой из Чехословакии - журналистами Отой и Евой Выборными, представлявшими чешское радио. Побывали у них в гостях, пригласили к себе. Эта пара была просто влюблена в Россию, ее культуру, оба свободно владели русским языком, у нас было много тем для общения. В августе 68-го года, сразу после вторжения, на партийном собрании в посольстве ЧССР Выборные отказались проголосовать за одобрение этой акции, были вычеркнуты из КПЧ и немедленно отозваны на родину. Там они оставались без работы, жили на случайные заработки, выступая в прессе под псевдонимами, потом с помощью Л. Штроугала все-таки устроились на телевидение. Но все их апелляции о восстановлении в партии встречали решительный отказ. По существу, они, как и 500 тысяч других вычеркнутых и исключенных из партии, вместе с семьями, т. е. немалая часть населения страны, были гражданами второго

сорта, находившимися под подозрением.

Я не раз пытался помочь Оте и Еве. Однажды говорил на эту тему с Биляком. Тот не отказал, обещал подумать и сделать что можно. Вероятно, это была просто отговорка. Тогда я обратился к самому Гусаку. Рассказал ему об этом случае, выразил мнение, что Выборные - убежденные коммунисты. В осторожной форме спросил: не получится ли так, что, наказывая значительную часть общества, партия окончательно оттолкнет от себя этих людей, сделает их своими непримиримыми противниками? Откровенно говоря, это был рискованный шаг с моей стороны. Никто не уполномочивал меня вести такие разговоры с чехословацким лидером, и если бы об этом стало известно, мне было несдобровать. Но Гусак меня "не продал" - полагаю, как раз потому, что и сам так думал. По крайней мере он сказал, что знает Выборных, ценит их выступления, но проблема в том, что вопрос надо решать в комплексе по отношению ко всем вычеркнутым из партии. И откровенно дал понять, что против этого значительная часть руководства. Заключил каким-то туманным обещанием.

Так Ота и умер "вычеркнутым".

Осенью 1999 года, после десятилетнего перерыва, я еще раз посетил Прагу. На конференцию "Демократическая революция 1989 г. в Чехословакии" была приглашена также группа советских историков во главе с академиком Григорием Николаевичем Севостьяновым и директором Института славяноведения РАН Владимиром Константиновичем Волковым. Расположились в отеле "Дуо" в районе новостроек. Три дня подряд заседали, разматывая звено за звеном цепь драматических событий, в уникально короткий срок изменивших общественный строй в ЧССР и получивших название "бархатной революции". Рассказывали ее непосредственные участники, докладывали о результатах своих исследований историки, делились переживаниями эмигранты, получившие возможность вернуться на родину после долгих скитаний на чужбине, но, за редкими исключениями, доживающие свой век в Вене, Париже, Стокгольме...

Выступали, отвечали на вопросы, сидя за столом президиума на подиуме. В зале не было предусмотрено круглого или квадратного стола, потому что не присутствовал ни один представитель той, ниспровергнутой в 89-м году власти.

- Вилем, - спросил я у неутомимого организатора конференции Вилема Пречана, - почему нет никого из прежнего коммунистического руководства? Разве можно искать истину, опираясь на показания свидетелей одной, победившей стороны? Любой суд отправил бы такое дело на следствие.

- Вы правы, - ответил он смущенно, - но бывшие не захотели прийти, они боятся.

- Само по себе плохо, если боятся. Значит, очень уж их запугали. А кого приглашали, если не секрет?

- Обращались к Цолотке.

- Допустим, он не захотел. Почему не пригласили других? Например, Хнёупека? Министр иностранных дел, писатель.

- Он плохо себя вел после революции.

- А вот ваш польский коллега Анджей Пачковский пригласил для исторического разбирательства весь состав тогдашнего польского руководства. Что, силовые польские министры, в свое время участвовавшие в установлении военного положения, вели себя лучше вашего министра иностранных дел?

- Возможно, мы еще до этого доживем, - с некоторой грустью заметил Пречан.

Печально, но факт: в Чехии доминирует та самая конфронтационная политическая культура, какая у нас господствует со времен Гражданской войны и пока не собирается сдавать позиции. Перемена власти не превратила жителей этой прекрасной страны в равноправных и, что еще важнее, равноценных для государства граждан. Существовавшую до того "социальную башню" с двумя этажами просто перевернули, как раньше в больницах переворачивали песочные часы. Те, кто занимал нижний этаж, вычеркнутые из политики, переместились на верхний, обитателей верхнего столкнули вниз, теперь они оказались на положении вычеркнутых. Кто-то скажет: на то и революция! Да, когда речь шла о

пролетарской. А если она демократическая, не является ли ее главной целью покончить с ситуацией, из которой только один выход - очередное перевертывание "башни"?

Примерно таков был смысл нескольких моих выступлений, мне показалось, в зале многие встретили их сочувственно. Но герои революции 89-го и их летописцы были заняты своей идефикс: доказать собственное авторство событий десятилетней давности: "да, конечно, перестройка в СССР, бунт "Солидарности" в Польше, крушение Берлинской стены - все это сыграло известную роль, но решающее значение имел внутренний фактор".

Помог хоть отчасти преодолеть эту заикленность на своем приоритете президент Вацлав Гавел, явившийся ответить на вопросы участников конференции. После газетных сообщений о перенесенных им тяжелых операциях я ожидал увидеть изможденного, рано состарившегося человека. Но он выглядел бодро. На вопросы отвечал точно и образно - сказывалась профессия драматурга. Сравнивая лидера "бархатной революции" с его сподвижниками, я должен был признать, что он на голову выше их как политический деятель.

Впрочем, свою роль сыграло и десятилетнее пребывание на посту президента. Я помнил, как робко, хотя и с достоинством, он держался на встрече с Горбачевым в Москве в 1990 году (мне пришлось записывать содержание состоявшейся беседы, Гавел не взял с собой помощника). Тогда он, буквально совершив скачок из тюрьмы, подполья и театральных кулис в Пражский Кремль, просто боялся произнести ненароком не ту реплику, что полагалась по законам не слишком знакомой ему драматургии. Теперь держался уверенно, с легким чувством превосходства, присущим людям, которые достаточно долго находились у власти и воспринимают преклонение перед ними как должное.

Меня он не узнал, а если узнал - не подал вида. Я спросил, какую роль в событиях 89-го года в Чехословакии сыграли перестройка и президент Горбачев. Он ответил честно: огромную. Казалось бы, это авторитетное заявление должно было поставить точку в споре, какой фактор важнее, внутренний или внешний, но и в заключительный день эту тему не оставили в покое. В конце концов сошлись на предложенной мною формуле: перестройка стала для реформ и революций в Центральной и Восточной Европе *conditio sine qua non*.

С солидными докладами выступили все мои российские коллеги. Мне пришлось отвечать на множество вопросов: правда ли, что посол Ломакин по поручению Горбачева предостерег чехословацкое руководство от применения силы против оппозиции; когда поступил приказ советским войскам, дислоцированным в Восточной Европе, не выходить из казарм и ни при каких обстоятельствах не вмешиваться в ход событий; звонил ли первый секретарь ЦК КПЧ Якеш Горбачеву, спрашивая совета; почему Горбачев не покаялся за подавление Пражской весны во время своего визита в Прагу в 1987 году? И так далее. Ответив как мог, я, в свою очередь, задал вопрос: чувствуют ли чехи себя теперь независимыми, не сменилась ли для страны одна зависимость другой? Ответа не последовало.

Вечером заехали за мной давние друзья Иржи Пурш, бывший председателем Комитета по кино, и его жена Дарья. Посидели за бутылкой моравского вина, порассуждали о сюрпризах времени. К сожалению, не удалось встретиться с Богумилом Хнѣупеком, но мы хотя бы поговорили с ним по телефону. Я спросил, правда ли, что приглашали Цолотку, а тот не пошел, побоялся. Ничего подобного, сказал Богуш, это они боятся. Даже наших аргументов.

Вот тебе и "революционный бархат".

Свободный воскресный день перед отъездом я употребил для прогулки по Праге. Добрался на метро до станции "Мустек" в самом центре, прошагал туда-обратно по Вацлавке, постоял с японскими и немецкими туристами на Староместской площади, пока не прозвонили башенные часы с движущимися фигурками рыцарей, монахов, купцов, спустился к Влтаве, пересек Карлов мост, полюбовался Малостранской площадью. Господи, какое значение имеют громоподобные революции, пока все сводится к смене человеческого "караула" и остается невредимой эта ошеломляющая красота.

Как ни значительны сами по себе были главные проблемы Ярузельского (военное положение), Фиделя Кастро (безопасность), Гусака (Пражская весна), какой бы отзвук они ни вызвали в мировой политике, все-таки самой сложной по существу и трагической по последствиям была проблема, стоявшая перед еще одним моим зарубежным "начальником-подопечным" Эрихом Хонеккером, - проблема германского единства. Ее разрешение было воспринято как окончание "холодной войны" и просуществовавшей полвека Ялтинской системы, драматически сказалось на судьбе самого немецкого лидера.

Мне пришлось общаться с ним значительно чаще, чем с другими, прежде всего в силу более интенсивного характера связей между Советским Союзом и Германской Демократической Республикой. Свою роль играла и большая, в сравнении с другими восточноевропейскими столицами, зависимость Берлина от Москвы. Когда я приезжал в Прагу, Варшаву, Гавану, мне по уровню "полагался" прием у члена руководства, ведающего международными вопросами, реже удостаивал встречи сам лидер. Иное дело ГДР. Здесь каждый раз меня и заведующего сектором ГДР Александра Ивановича Мартынова непременно принимал Хонеккер. И в Советском Союзе он бывал гораздо чаще других - помимо официальных визитов приезжал, чтобы открыть памятник Тельману и Музей немецких антифашистов, побывать в Волгограде и других городах, посетить МГУ, Высшую партшколу, промышленные предприятия. В этом смысле он был, что называется, публичным политиком.

Помню, как Хонеккер выразил желание познакомиться с автозаводом имени Ленинского комсомола. Предприятие как раз закончило установку нового оборудования, директор с гордостью показывал просторные цеха, где у станков стояли молодые симпатичные ребята в аккуратных спецовках, рассказывал о построенных новых домах для рабочих и инженерного состава, своих школах, спортивных площадках, бассейнах, поликлиниках. Весь этот комплекс производил отрадное впечатление, а венцом осмотра стал показ нескольких новых моделей автомобилей, которые АЗЛК собирался освоить в ближайшие годы. Оригинальные конструкции, эффектное исполнение - словом, модели выглядели привлекательно, по крайней мере пока стояли на стендах. На вопрос Хонеккера, насколько они отвечают мировым стандартам автомобилестроения, директор, не задумываясь, заявил, что в ближайшие несколько лет завод намерен создать лучшие в мире марки автомобилей. Хонеккер улыбнулся и пожелал успеха. Однако вечером за ужином в особняке сказал, что его несколько смутила излишняя самоуверенность азэлковцев. "Наша техника, - добавил он, - не уступает вашей, но с автомобилями пока ничего не можем сделать, хотя конструкторы обещали мне модернизировать "Вартбург", чтобы он не уступал "БМВ" и "Мерседесам".

Это было сказано без малейшей иронии.

Как ни странно, несмотря на частые встречи, этот человек был для меня менее понятен, чем другие лидеры. Нельзя сказать, что он был закрытым по натуре. Достаточно разговорчив, охотно отвечал на вопросы о том, как идут дела в республике, предпочитая, однако, все подавать в розовом свете. За вечерним застольем в кругу своих сподвижников мог и пошутить. Но даже это у него выходило строго. Что же касается высказываний на политические темы, они отличались неукоснительным соблюдением канонических марксистско-ленинских формул. Поди разберись, что у него на уме, действительно ли закоренелый фундаменталист, не видит реальности, ни в чем никогда не позволяет себе усомниться, или просто держит свои сомнения при себе, не желает раскрываться.

Соответствовала характеру лидера и атмосфера в политбюро. Члены руководства, с которыми мне чаще пришлось общаться (Курт Хагер, Герман Аксен, Гюнтер Миттаг, Вилли Штоф, Вернер Кроликовский), держались, по сравнению с людьми того же ранга в других партиях, более официально, пожалуй, даже чопорно. Не думаю, впрочем, что таков немецкий характер, поскольку совсем иначе вели себя "функционеры" нашего уровня. Открытый, душевный Пауль Марковский (погиб в авиационной катастрофе), сменивший его на посту заведующего международным отделом ЦК СЕПГ Гюнтер Зибер, Гарри Отт и Герд Кёниг,

ставшие позднее послами в Советском Союзе, Бруно Малов и другие наши партнеры-международники были отнюдь не сухие педанты и закоренелые догматики, а люди веселые, остроумные, широко мыслящие. При безусловном соблюдении партийной дисциплины и безоговорочной исполнительности они позволяли себе умеренную критику тех или иных несуразностей у себя дома, а иногда, в "деликатной форме", и у нас.

Один из "политологических" выводов, который я сделал по итогам своей многолетней работы в отделе, состоит в том, что политическая система, сложившаяся в Советском Союзе и растиражированная затем в других странах социалистического лагеря, была создана как бы для разового употребления. Поскольку ее обязательным элементом был самовластный лидер, постольку за его уходом с неизбежностью следовала не одна лишь перестановка людей в правящем слое и какие-то новые акценты в политике, а смена режима. При том что всем социалистическим странам были присущи некоторые базовые принципы политического устройства, его функционирование на треть определялось институтами, а на две трети - личностью вождя. ГДР в этом смысле не была исключением. Личность Хонеккера накладывала свой отпечаток на всю жизнь республики, как до него Вальтера Ульбрихта (мы в шутку называли его режим "вальтерянским") и, наверное, не меньше чем два века назад личность короля Фридриха на всю тогдашнюю прусскую действительность.

В отличие от Ульбрихта Эрик Хонеккер, особенно в первые годы своего правления, не претендовал на лавры теоретика. Но ему поневоле пришлось этим заняться. После заключения Московского договора 1970 года между СССР и ФРГ, урегулирования отношений последней со странами Восточной Европы, руководство ГДР пыталось оттянуть развитие связей с Бонном, с полным основанием полагая, что вторжение западных телепередач и туристов в "Мерседесах" поубавит, если не подорвет, веру граждан ГДР в преимущества социализма. Долго удержаться на такой позиции не удалось. Добиваясь международного признания, ГДР была вынуждена приоткрываться миру со всеми вытекающими отсюда плюсами и минусами.

С другой стороны, взяв курс на созыв Общеввропейского совещания и вступив в этой связи в политический флирт с Бонном, наше руководство дало понять немецким союзникам, что не будет возражать против умеренного развития связей между двумя германскими государствами. В частности, хотя и не без колебаний, закрыли глаза на предоставление ГДР беспроцентного торгового кредита, так называемого свинга, платежей, связанных с посещением республики большим количеством туристов из Западной Германии.

Ситуация в треугольнике "СССР - ГДР - ФРГ" сложилась на редкость странная. Все его "углы" делали, что называется, хорошую мину при плохой игре. Москва требовала от Берлина энергичней влиять на Бонн в интересах продвижения "общеввропейской идеи" и в то же время предупреждала об опасности попасть в зависимость от своей мощной соседки. Берлин, уже залезший в долги и неспособный жить без ежегодных вливаний западного капитала, храбрился и делал вид, что идет на развитие отношений с ФРГ только в той мере, в какой этого требует стратегия социалистического содружества в Европе. Ну а Бонн, методически приобретая право на проникновение в ГДР, заверял Москву, что ей нечего беспокоиться, никаких завоевательных планов у него нет.

Именно тогда, задолго до падения Берлинской стены, начался первый этап объединения Германии. Германисты всячески стремились препятствовать сближению западных и восточных немцев, спокойней относились к этому те, кто считал, что воссоединение Германии раньше или позже неизбежно: "Не нам, естественно, форсировать этот процесс, но следует сделать все, чтобы в его финале наша страна получила в лице Германии надежного и доброго партнера".

Вокруг этих вопросов велась оживленная дискуссия на нашей "политической кухне". От советских посольств и резидентур в Берлине и Бонне, по линии ГРУ, временами от руководства Компартии Западной Германии поступали тревожные сообщения о том, что связи ГДР и ФРГ грозят выйти за предел, диктуемый соображениями безопасности. Политбюро поручало Отделу ЦК и МИДу "проанализировать обстановку и представить

предложения". На Старой площади или Смоленском бульваре собирались непосредственные исполнители и начинались долгие сидения по германскому вопросу. Вьедливый и осторожный Анатолий Григорьевич Ковалев (печатал под псевдонимом стихи, на которые написано немало хороших песен), знаток истории и искусства Валентин Михайлович Фалин\*, медлительный, но глубоко копающий Анатолий Иванович Блатов, красноречивый Анатолий Леонидович Адамишин, рассудительный Рафаэль Петрович Федоров - все они были интересными собеседниками, и наша работа сопровождалась экскурсами в историю и философию. В итоге появлялась на свет очередная записка в ЦК КПСС, на основе которой принималось решение поручить послу встретиться с Эрихом Хонеккером и выразить обеспокоенность руководства КПСС в связи с наращиванием присутствия ФРГ в ГДР.

\* \* \*

Один из таких эпизодов наглядно продемонстрировал разницу в порядках, царивших в ЦК и МИДе. Пока мы корпели над документом, Андропов и Громыко уединились в кабинете Юрия Владимировича и время от времени посылали секретаря узнать, скоро ли мы управимся с проектом. Мы действительно "закопались" в поисках точных формул. Наконец сошлись на чем-то и условились отстаивать подготовленный текст совместно. Пошли к начальству. Те прочитали, начали обсуждать. Громыко сделал замечание, Андропов с ним не согласился и спросил: "А как думают товарищи?" И хотя был торжественный уговор, мидовцы тут же капитулировали, дружно поддержав своего шефа. Выйдя, мы упрекнули их в предательстве. "Да, - возразил кто-то из наших коллег, - вам легко с таким начальником, здесь у вас почти Гайд-парк. Попробуй с нашим поспорь, мигом поставит на место".

У нас была, смею сказать, превосходная школа германистики. Ее питомцы в большинстве своем получали солидный багаж знаний в Московском государственном институте международных отношений и многие годы работали в Германии, хорошо знали страну, язык, культуру, национальную психику. Именно среди людей, для которых советско-германские отношения стали делом жизни, была более всего распространена подозрительность к немецкой политике. Особенно отличались в этом смысле заведующий отделом Германии МИДа Александр Павлович Бондаренко, сотрудники нашего отдела - уже упоминавшийся Мартынов и референт его сектора Александр Яковлевич Богомолов. Грамотные, толковые специалисты, они не то что с упорством, но порой даже с фанатизмом добивались сохранения жесткого контроля за каждым шагом ГДР во внутренней и тем более внешней политике. Их кредо было: не допустить никакого изменения ситуации, сложившейся после войны.

Цель, заведомо недостижимая уже хотя бы потому, что ничто не вечно под луной. Контроль Москвы над Берлином в 70-е годы ослабевал и просто в силу дряхления советского руководства. Вот примечательный эпизод. Одна из последних встреч Хонеккера с Брежневым. Высокую делегацию СЕПГ проводят в зал заседаний на пятом этаже здания ЦК КПСС. Леонид Ильич и Эрих трижды обнимаются и целуются. После жарких объятий делегации усаживаются лицом к лицу. Брежнев раскрывает заготовленный текст и начинает:

- Здравствуйте, товарищ Хонеккер...

Слова даются ему с трудом, смысл их уловить нелегко. Слава богу, переводчик, слушая генсека, "шпарит" по собственной копии - "памятке". Заверив в личной преданности и готовности ГДР быть надежнейшим союзником СССР, Хонеккер уезжает в уверенности, что из Москвы, кроме старческого ворчания, ничто ему не угрожает, а посему он отныне сам себе голова.

Раз уж зашла речь об этих переговорах, расскажу о таком эпизоде. Брежневу врачи порекомендовали поменьше курить. Сначала ему изготовили портсигар, который открывался только через каждый час. Он приспособился, в промежутках стал "стрелять" у охранников, не смевших отказать. Тогда эскулапы потребовали вовсе бросить курение. Пришлось подчиниться, но Леонид Ильич и здесь нашел лазейку, прося курящих дымить ему в лицо. На переговорах я сидел рядом с ним, отступив на полшага вправо, слева такую же позицию занимал А.Я. Богомолов в роли переводчика. Зная, что мы оба курим, он попросил

обкуривать его, причем не довольствовался тем, что мы дымили попеременно, то и дело оборачивался, жестами давая понять, чтобы постарались. Сидевший рядом Суслов, болевший легкими, кивнул, давая понять: не надо стесняться. Потом мы с Александром Яковлевичем долго не могли отдышаться.

С того момента, как немецкий лидер уверовал в обретенную независимость, он стал действовать гораздо смелее. Можно сказать, что, за исключением Гельмута Коля, никто не внес столь большого вклада в дело германского единства, как генеральный секретарь СЕПГ Эрих Хонеккер. Западногерманские туристы разъезжали по городам республики, сюда потянулись бизнесмены, в берлинских магазинах появились в изобилии товары западного соседа. Наши послы - Петр Андреевич Абрасимов, затем Вячеслав Иванович Кочемасов - слали в Центр депешу за депешей и при каждом удобном случае пеняли Хонеккеру на то, что связи с ФРГ переходят всякие разумные размеры. Но тот только отмахивался, а при встречах с членами советского руководства, навещавшими его в Берлине, говорил, что советский посол зря нервничает, СЕПГ надежно контролирует ситуацию и не даст никаких поправок классовому врагу.

Думается, он искренне верил в это. Конечно, его не могли не тревожить донесения спецслужб о широком проникновении ФРГ в республику, но догматический склад ума и изрядная амбициозность препятствовали трезвой оценке своего политического курса. Он считал (и не раз говорил об этом, беседуя с нашими представителями), что "перехитрил" Коля, заставив западногерманский капитал вкладывать средства в укрепление рабоче-крестьян-ского немецкого государства. Похоже, продолжал оставаться при этом мнении даже тогда, когда начался массовый исход граждан ГДР на Запад через Венгрию и Чехословакию.

Вилли Штоф и некоторые другие члены руководства СЕПГ конфиденциально доводили до сведения Москвы, что Хонеккер попал под влияние своего "злого гения" Гюнтера Миттага, уступает домогательствам Бонна, позволяя Западной Германии шаг за шагом захватывать контроль над экономикой и другими сферами жизни республики, готовя тем самым ее аншлюс.

Критиковали своего генсека и выдвинувшиеся в 70-е годы руководители среднего звена, считавшие, что болезненную для ГДР проблему отставания от ФРГ следует решать на путях всесторонней модернизации экономической, политической и духовной жизни. Можно сказать, это была, хотя и робкая, своя, гэдээровская "заявка на перестройку". Ее выразителем стал первый секретарь Дрезденского окружного СЕПГ Ганс Модров. Хонеккер косился на его нововведения, терпел критические выступления на пленумах, потом рассердился и был уже готов подписать решение об освобождении Модрова. Удержало его только вмешательство советского посла.

В 1989 году я сопровождал Горбачева в Берлин на празднование 40-й годовщины ГДР. Толпы жителей, особенно молодежь, восторженно приветствовали человека, от которого в тот момент ожидали перемен в своей достаточно сытой, но несвободной, скучноватой жизни. Повсюду несли плакаты, резавшие Хонеккера по сердцу: "Нам нужен свой Горби!" На следующий день после красочного парада и ночного факельного шествия состоялась конфиденциальная беседа между двумя лидерами, на которой присутствовали я и помощник Хонеккера П. Этингер. Тональность разговора была спокойной, но собеседники, казалось, не слышали друг друга. Хонеккер в традиционном духе поведал об успехах ГДР, хотя и воздержался от упреков по нашему адресу. Горбачев настойчиво подводил немецкого руководителя к мысли о необходимости перемен. Хонеккер сделал вид, что не понял.

- Весь мир вокруг нас втянулся в перемены, - сказал Горбачев. - Свои требования предъявляет научно-техническая революция. Социализму нужно второе дыхание. Будучи убеждены и в теоретическом плане, и на опыте в возможностях социализма, мы сейчас свободней размышляем о перспективах этого строя. Но одной констатации недостаточно: автоматически ничто не срабатывает. Нужна настойчивая деятельность партии, народа. И этот процесс не может быть легким, простым. Начиная перестройку, мы высказали такое

предположение, но жизнь показала, что трудностей у нас оказалось гораздо больше, чем думалось. Время сейчас великое, ответственное, судьбоносное, проиграть мы не можем.

- И не проиграем, - бодро заметил Хонеккер.

- Да, но для этого необходимы высокий уровень взаимопонимания и новое качество сотрудничества во всех сферах... Вчера я сказал, что в твоём выступлении убедительно показаны достижения республики. Хорошо, что ты бросил также взгляд в будущее. В такой день и в такой речи, видимо, не было необходимости развивать эту тему. Как я понимаю, этим вам придется заниматься сразу после праздника, в ходе подготовки к съезду. Проблема, которая нас с вами беспокоит, нуждается в этом. Инициатива должна быть за партией, за руководством, опаздывать нельзя. Социально-экономическая ситуация у вас благоприятнее, чем у нас, и на этой базе можно двигать назревшие процессы в области политики и демократии.

Горбачев вежливо подводил собеседника к мысли о необходимости перемен. А в ответ услышал следующую реплику:

- Сейчас наши противники требуют реформ. Партия должна усилить работу по разъяснению некоторых идеологических вопросов, которым уделялось недостаточное внимание. В ходе подготовки к съезду мы эти проблемы решим. Создали ряд комиссий, одна из них занимается анализом, каким будет социализм в XXI веке.

О наших проблемах я сказал в своём вчерашнем выступлении. Мы находимся на границе ОВД и НАТО, существует раскол Германии. Это является источником нарастающей классовой борьбы во всех сферах. Коль сказал в интервью, что, если ГДР вступит на путь реформ, ФРГ окажет ей помощь. Но мы не позволим диктовать нам правила поведения.

Накануне событий в Венгрии, о которых я жалею, Немец\* был гостем СДПГ. Они договорились, что ФРГ предоставит кредит 55 млн. марок, если венгры откроют границу. И венгры пошли на это. А у нас до 3 млн. туристов ежегодно ездили в Венгрию. В связи с этими событиями мы вынуждены отменить безвизовый обмен с ВНР...

Хонеккер говорил об этом как о чем-то само собой разумеющемся. Вероятно, ему и в голову не приходило, что, если люди хотят уехать в другую страну, государство не должно им в этом препятствовать. А главное - все-таки еще раз задуматься над причиной такого повального бегства. Ведь несмотря на стену, на жестокий пограничный режим, тысячи граждан ГДР ежегодно находили способы эмигрировать в Западную Германию; население ГДР неуклонно сокращалось, при том что в ней был достаточно высокий уровень жизни.

Почему люди бежали из Восточной Германии в Западную, из Северной Кореи в Южную, из Кубы в США? История, похоже, специально создала подобные ситуации, чтобы облегчить сравнение. Отсюда не обязательно следует обвинительный вердикт по адресу социалистической системы. У нее свои положительные стороны, что, кстати, довольно быстро ощутили жители Восточной Германии. Несмотря на значительные вливания капиталов, эта часть страны все еще заметно отстает от Западной, а многие бывшие ее граждане с ностальгией вспоминают о надежном социальном обеспечении, отсутствии безработицы и других привычных удобствах образа жизни ГДР. Но если люди все-таки уходили, отсюда с непреложностью следовало, что не все благополучно "в социалистическом королевстве". Большинство коммунистических лидеров не решилось сделать такой вывод, а те, у кого хватило на это интеллектуальной смелости, безнадежно опоздали.

Почти сразу же после беседы с Хонеккером состоялась встреча Горбачева со всем составом руководства ГДР. Здесь он более развернуто изложил те же мысли, которые пытался внушить Хонеккеру. Пожалуй, ни в одной другой беседе с лидерами восточноевропейских стран не изъяснялся он столь прямо и столь жестко, сказав примерно следующее:

- СЕПГ, ГДР имеют немалые успехи. Но сейчас не только Советский Союз и социалистические страны, весь мир вступает в новую эру. В вашем обществе накоплен большой запас энергии, нужно найти ему достойное применение, дать выход. Если это не



будет сделано, люди начнут искать свои способы самовыражения. Лучше проводить реформы сверху, чем ждать, пока знамя перемен перехватят враждебные политические силы.

Мне тогда показалось, что большинство членов политбюро СЕПГ приняли эти высказывания с одобрением, может быть, не столько из-за полного согласия с ними, сколько из общего чувства неудовлетворенности руководством Хонеккера в последние годы. Много у них накопилось претензий к своему лидеру, они уже готовили ему замену, и нажим высокого московского гостя облегчал решение задачи.

Но смена партийных лидеров мало что могла изменить. Уже не Хонеккер и новый генсек Эгон Кренц, даже не Горбачев и Рейган решали судьбу Германской Демократической Республики, а народ Берлина, собравшийся у Бранденбургских ворот, чтобы разрушить стену, возведенную почти 30 лет назад и разделявшую на две части город, Европу, мир.

Падение Берлинской стены - это, безусловно, веха, с которой начала отсчет новая эра международных отношений. С другой стороны - одно из самых важных следствий горбачевской реформации, которое с полным основанием можно назвать реформой международной системы.

26 января 1990 года у Президента СССР было совещание по Германии, в котором приняли участие Н.И. Рыжков, А.Н. Яковлев, Э.А. Шеварднадзе, В.А. Крючков, В.М. Фалин, А.С. Черняев, Р.П. Федоров, В.А. Ивашко и автор этой книги. Вот что говорил там Горбачев:

"Процессы в Германии ставят в сложное положение и нас, и наших друзей, и западные державы. СЕПГ распадается. Теперь уже ясно, что объединение неизбежно, и мы не имеем морального права ему противиться. В этих условиях надо максимально защитить интересы нашей страны, добиваться признания границ, мирного договора с выходом ФРГ из НАТО, по крайней мере - с выводом иностранных войск и демилитаризацией всей Германии. Надо посоветовать друзьям подумать о возможности объединения СЕПГ с СДПГ.

Наше общество болезненно воспринимает отрыв ГДР, тем более ее поглощение Федеративной Германией. Живы еще миллионы фронтовиков. Не только люди старшего поколения, но и молодежь привыкли видеть в социалистической Германии один из устоев современного мира. Общественному сознанию будет нанесена серьезная травма. Но ничего не поделаешь, придется это пережить".

Иных мнений не было. Объединение Германии произошло в темпе кинобоевика.

В 1991 году Горбачев с Рейганом принимали в Берлине звание почетных граждан германской столицы. Из списка почетных граждан были вычеркнуты маршал Конев и первый комендант Берлина генерал Берзарин. Эрих Хонеккер находился в городской тюрьме Моабит, той самой, где его в течение 14 лет держали нацисты. Горбачев выступил с осуждением преследования лидера ГДР. В конце концов Хонеккера выпустили. В Москве отказались дать ему убежище, он нашел последнее пристанище у дочери в Чили. Печальная участь.

В последующие годы Президенту СССР предъявлялись обвинения двоякого рода. Одни говорят, что он лишил нашу страну плодов победы в Великой Отечественной войне, разрушил послевоенный порядок. Другие утверждают, что воссоединение Германии произошло вопреки его воле. Правда же заключается в том, что Горбачев, безусловно не ставивший целью "отдать ГДР", осознав, что немецкий народ хочет воссоединения, признал это его право и не стал препятствовать. То, чему суждено было раньше или позже свершиться, свершилось, потому что немцы все-таки одна нация.

В 1999 году Горбачев вместе с Бушем и Колем были героями празднества в честь 10-й годовщины падения стены и объединения Германии. На этот раз у нас обошлось без язвительных комментариев о "лучшем друге немцев". Умнеем.

Дома

Отдохнем от политики.

Летом 1951 года мой друг Ираклий Сакварелидзе познакомился с симпатичной блондинкой и попросил ее прийти на свидание с подругой. Так в "Якоре" мы встретились с моей будущей женой. Распили припасенную Ираклием бутылку грузинского вина, гуляли по

Тверской, потом я проводил ее домой на Красную Пресню. Достало одного вечера, чтобы убедиться, что с яркой привлекательной внешностью сочетаются живой, не замкнутый на одной "женской материи" восприимчивый ум, начитанность, не столь уж часто встречающаяся у москвичек, с которыми мне до сих пор посчастливилось общаться. Мы очень быстро нашли тьму общих тем, проговорили до полуночи, и я влюбился если не с первого взгляда, то уж наверняка с третьего дня.

С того времени наша компания пополнилась женской частью. Аня вместе с подружкой Ираклия, Валей, ездила по воскресеньям с нами на Москва-реку, запасаясь провизией, подкармливала голодную аспирантскую ораву. Она окончила народнохозяйственный техникум, работала тогда в райпищеторге, но мечтала об артистической карьере. В юности пела в детском хоре, даже сольными концертами заработала деньги на танк, за что получила традиционную личную благодарность от Верховного главнокомандующего. Будучи завзятой театралкой, часто приобретала билеты на свой скромный заработок, мы с ней ходили в Театр Маяковского, МХАТ, раз даже в Большой на "Ивана Сусанина".

Мы поженились. Прохожу мимо памятника Гоголю работы Томского, установленного в начале Гоголевского бульвара, читаю на нем дату "2 марта 1952 года" и вспоминаю свою свадьбу и Горбачева... (Это день его рождения.) Впрочем, слово "свадьба" не совсем подходит к данному случаю. Мы вернулись из загса в "Якорь", распили в компании с Ираклием и Валей, ставшей уже его женой, бутылку вина, после чего собрали свои манатки и отправились на заранее арендованную комнатуху в районе Заставы Ильича. Весь наш скарб состоял тогда из одного чемоданчика в основном с Аниными вещами. Зато у нее была котиковая шуба, которую мы продали за три с лишним тысячи рублей. На эти деньги, плюс моя аспирантская стипендия, сняли временное пристанище и кормились до того момента, когда мне удалось устроиться на работу.

Слово "кормились" самое точное, поскольку "питание" предполагает нечто более разнообразное. Нашим же постоянным блюдом были макаронные рожки с зеленым сыром. Впрочем, этого было вполне достаточно. Любовь и ласка с лихвой возмещали отсутствие деликатесов на нашем столе. А пожилая хозяйка квартиры одолжила во временное пользование кастрюлю, пару тарелок и столовых принадлежностей. Чего еще надо! С утра до позднего вечера я лихорадочно писал свою кандидатскую, читал фрагменты, которые, как мне казалось, особенно удались, молодой жене, а она тогда еще безоговорочно восхищалась всем, что выходило из-под моего пера.

Аня родила сына в Краснодаре, куда переехали из Баку мои родители и сестра с мужем. Моя политиздатовская зарплата не позволила и дальше арендовать жилье в городе, пришлось переместиться в деревню. Мы сняли комнату в уже знакомом поселке Удельное в двух километрах от станции. Зима была суровая, дача не отапливалась, отогревались у небольшой печурки, как на фронте. Электрички до Москвы ходили исправно, удавалось найти и местечко, чтобы почитать в дороге. А вот от станции к даче тропку заносило снегом, пробираться по ней в кромешной тьме было не слишком приятно. Больше доставалось, конечно, жене с ребенком в этом неустроенном быте.

На следующий год чуть полегчало - Политиздату дали несколько домиков в Кратово, недалеко от поселка старых большевиков. Здесь нам, по крайней мере, не пришлось выкраивать из бюджета плату за аренду. Рядом были сослуживцы, в случае чего можно было позвать на помощь соседей. Начали появляться и друзья. Неподалеку поселились Олег и Алина Писаржевские. Они познакомили нас со сценаристом Владимиром Крепсом, владельцем шикарного загородного дома, в котором собиралась время от времени компания живших в округе приятелей хозяина. Он любил блеснуть какой-нибудь байкой, обсуждали киноновинки, умеренно выпивали, танцевали.

Все же зимы переносились трудно, и в конце концов мы перебрались на Черногрязскую. К этому времени Анины сестры повыходили замуж и стало возможным в пятнадцатиметровой комнате отделить закуток. Тесно - не то слово. Свои первые брошюры я писал, стоя на коленях, разложив бумаги на кровати. В туалет надо было бегать на улицу.

Это был своеобразный общинный быт, отличавшийся крайней скудостью жизненных условий и в то же время подобием семейного товарищества. В конце концов, слова "коммуна" и "коммуналка" происходят от одного корня. Теперь, когда я вспоминаю о "барачном" отрезке своей жизни, невольно приходит на память прочитанный много позже "Чевенгур" Андрея Платонова.

Ко всему люди привыкают, привыкли и мы, поставив в убогой комнатенке только что появившийся тогда широкоэкранный телевизор "Темп". Раз в неделю мы с Кареном ходили в баню. Теперь уже регулярно посещали театры, случались и "светские рауты". Как-то Борис Назаров пригласил нас в новогоднюю ночь поехать с ним в гости. Приехали в красивый новый дом где-то на Садовом кольце. Шикарно обставленная квартира, с иголки одетые молодые люди, лениво развалившиеся в креслах и тянущие изысканные напитки. Так же лениво с нами поздоровались и тут же забыли о нашем присутствии, продолжая изнывать от скуки. Одна пара танцевала, для остальных даже это казалось непосильным. Мы потолкались полчаса и по-английски улизнули. Могли бы, впрочем, и хлопнуть дверь, все равно никто бы не заметил. Потом Борис назвал участников этой компании, принадлежащих все как один к золотой молодежи. В основном сыновья или внуки Ворошилова, Буденного, еще кого-то из маршалов и политических "небожителей". Кажется, единственным исключением была актриса Бескова, жена знаменитого форварда.

Жилищная комиссия Политиздата, побывав у нас в бараке, решила поставить меня во главу очереди - хуже никто не жил. Как только издательству предоставили несколько квартир в очень приличном новом доме на 3-м проезде Алексеевского студгородка, мы въехали в две светлые просторные комнаты, третья в квартире была отдана сослуживцу с матерью. Старуха оказалась вредная, портила нервы, но даже это не могло притупить нашей радости. Обставившись, получили возможность не только ходить в гости, но и устраивать у себя дружеские вечеринки. Гуляли на расположенной рядом ВДНХ, ездили с сыном на велосипедах в парк "Сокольники". Первую отдельную квартиру я получил только к своим сорока годам, а следующую и последнюю (три комнаты) - к пятидесяти. Это к вопросу о привилегиях партноменклатуры.

У Ани была профессия экономиста, она поработала несколько лет в таком качестве, но после рождения сына решила всецело посвятить себя его воспитанию. Это не помешало ей окончить заочно ГИТИС, получить диплом театрального критика и начать печататься. Обладая талантом рассказчика, она написала повесть о своей юности, в которой живо изображены народные характеры, быт и нравы "Черногрязской слободки" перед войной и в начале 40-х годов\*. Жена была взыскательным судьей моих первых опытов на литературном поприще.

Дом - это, конечно, не жилое пространство, а дух, который в нем витает. Не случайно англичане отличают слово home от слова haus, т. е. здание. У нас было то, что принято называть открытым домом. Гостей здесь принимали хлебосольно, и они охотно шли провести время в доме, хозяин которого, скажем так, не чурался передовых идей, а хозяйка, красивая и радушная, умела к тому же прекрасно готовить. Костяк нашего общества помимо упоминавшихся Писаржевских составляли Анатолий и Галина Аграновские. Он тогда только начинал свое восхождение в журналистике. Человек, уютно чувствовавший себя в компании, исполнявший под гитару популярные песенки на слова Окуджавы и Пастернака, а иной раз - из полублатного репертуара. Толя был немногословен, избегал участия в шумных спорах, особенно на политические темы. Предпочитал слушать. Он был журналистом до мозга костей. Мне казалось, что каждое, даже случайно оброненное слово, любую информацию он перебирает в уме на предмет - можно ли как-то использовать в одной из своих публицистических статей. Работал над ними долго, тщательно, выписывая каждую фразу, вновь и вновь пробуя ее на слух. Это не наблюдение со стороны - он делился со мной своим творческим методом, сетуя, что не умеет писать быстро, как другие. Да и длинно, поскольку "душа" не переносит лишнего, пустого.

Это сказывалось на семейном бюджете, нужно было обустроить сыновей, помочь им

на старте самостоятельной жизни, и он ухватился за предложение Цуканова писать знаменитую брежневскую трилогию вместе с Аркадием Сахнинным и кем-то еще. Косвенно повинен в этом и я - порекомендовал Георгию Эммануиловичу привлечь Аграновского к редакции публичных выступлений. А уж потом он сам, познакомившись с Анатолием и оценив его перо, привлек к созданию биографической эпопеи генерального, пообещав помочь с жильем. С авторов взяли слово, что они будут немые как рыбы, и они его держали. Даже со мной Анатолий не поделился этим секретом. Впрочем, стоило прочитать несколько страниц, чтобы по стилю и манере изложения угадать одного из авторов. К смеху, я обнаружил в тексте целую страницу, слово в слово списанную из моей брошюры - той самой, за которую меня винули в ревизионизме.

Я особенно зауважал Анатолия Аграновского, когда он поднял перчатку, брошенную нашему общему другу. Дело в том, что Писаржевский взялся разоблачать Лысенко, а у "народного академика" было еще достаточно покровителей. Олега начали блокировать, по негласному указанию сняли из специального журнала несколько его статей. Отбиваясь, он написал хлесткий материал для "Литературки", но когда нес его в редакцию, сердце остановилось. Анатолий, насколько я знаю, не занимавшийся до того биологией, засел за книги, проконсультировался у знающих людей, съездил в совхоз, где получались запредельные урожаи благодаря подогреву опытных участков проложенными под землей трубами с горячей водой и рекордные надои от коров, которых кормили шоколадными жмыхами. Основанное на фактах, его резкое выступление сыграло свою роль в крахе лысенковского мифа.

Другой заслугой Аграновского я считаю "открытие" Святослава Николаевича Федорова. У Анатолия было много статей, посвященных незаурядным личностям - он помогал им вырваться из небытия, доказать свою правду. Но и в этой галерее Федоров должен занять по праву первое место. Ни один из других героев Аграновского не состоялся так значительно, как он.

Анатолий как-то дал мне прочитать в рукописи свой очерк о молодом враче из провинции, прокладывающем революционные пути в офтальмологии, а спустя некоторое время познакомил нас. Святослав Николаевич так вдохновенно рассказывал о своем волшебном хрусталике, что я с первой нашей встречи проникся верой в его "звезду". На другой день позвонил Игорю Макарову (тогда он был заместителем заведующего Отделом науки ЦК КПСС, потом долгие годы главным ученым секретарем Академии наук СССР), сказал, что в Москве появился "замечательный парень", попросил его поддержать. Федорову поверили, дали лабораторию, помогли "зацепиться" в столице.

У нас сложилась одна из тех московских компаний, участники которой встречаются по праздникам, делятся семейными новостями, судят-рядят о политике, в будни перезваниваются, в трудные минуты готовы подставить друг другу плечо. Вскоре мы с женой познакомились со Славиной избранницей, Ирэн. Умная, яркая, безмерно ему преданная и обладающая такой же неумной энергией, она составила с ним одну из тех супружеских пар, которые обычно приводят в доказательство того, что "браки совершаются на небесах". Другой такой парой, которую мне пришлось наблюдать вблизи, были Горбачевы.

Целеустремленный, как ракета, в творческих своих начинаниях, умеющий быть жестким и бескомпромиссным, Святослав Николаевич был по натуре человеком добрым и отзывчивым. Меня он звал ласково "Жорочка", я его - Славой. Помогая ему чем мог, радуясь его восхождению, я, как, вероятно, и многие другие, не сразу оценил масштаб этой необычайной личности. Общаешься по-свойски годами с человеком, а потом вдруг начинаешь понимать, с кем свела тебя судьба. И почувствовал себя обязанным написать об этом, начав с того, что Святослав Федоров из ряда таких людей, как Пастер, Маркони, Форд, сумевших открыть нечто важное и создать собственное Дело. Среди наших, если упомянуть лишь самых-самых, Туполев, Королев, Курчатов. Причем Дело Федорова существует одновременно в технологическом и социально-экономическом измерениях. Оно замыслено и

предназначено не только для решения конкретной задачи (лечение глазных болезней), достижения личного успеха (популярность, материальное преуспевание) и создания мини-империи, определяющей прогресс одной из отраслей медицины. Это еще модель экономической реформы, обещающей если не излечить наше больное общество от всех его хворей, то, по крайней мере, серьезно поправить его здоровье.

Вероятно, главной чертой его характера была дьявольски сильная жажда жизни и деятельности, постоянная готовность к преодолению всех и всяческих препятствий. Каждый раз, когда мы с ним встречались и он делился своими планами и проблемами, создавалось впечатление, что именно в этот момент ему надо взять самый высокий барьер, последнее препятствие перед победным финишем. Но из года в год финиш отодвигался, "замах" становился все более дерзким и соответственно множились трудности, которые надо было преодолеть.

Сначала скромная лаборатория с двумя-тремя ассистентами. Потом собственная клиника со специальным отделением для детей. Автобус, оборудованный первоклассным инструментарием, разъезжающий по стране с двумя хирургами, чтобы делать операции на месте. Самолет, выполняющий ту же функцию, но уже на больших расстояниях, в том числе в других странах. Что он еще придумает, говорили с восхищением его поклонники и с содроганием - администраторы от здравоохранения. Хватало и завистников, называвших его пронырой, который, в отличие от скромных коллег, пробивает себе дорогу, беззастенчиво используя знакомства и влезая в доверие высочайших особ. В одном они были правы Федорову действительно помогали очень многие, потому что он обладал свойством, без которого не смог бы пробить себе дорогу ни один из упомянутых новаторов. Это - магнетическая способность убеждать в своей правоте и привлекать на свою сторону. Да, ему приходилось "ходить по мукам", там и здесь просить, уговаривать, требовать, головой пробивать бюрократические стены. Но постепенно его Дело приобрело целую армию лоббистов - врачей, публицистов, партийных работников, управленцев и особенно больных, которым созданный им хрусталик возвращал возможность видеть мир во всей его радужной красоте.

Святослав Николаевич воспитал десятки врачей, которые работали с ним в головной клинике, руководили филиалами, передавали опыт коллегам в других странах. По отзывам специалистов, есть у нас школы в этой и других отделах медицины, не отстающие от мирового уровня. Примерно та же приятная сердцу мысль, что не оскудела Русь талантами, звучала в выступлениях на торжествах по случаю 275-летия Российской академии наук. Правда, сопровождаемая предостережениями: пока не окончательно потерял могучий потенциал нашей науки, но еще несколько "таких лет" (называли конкретно - до пяти), и ее умирание станет необратимым. Должно быть, потенциальные Федоровы еще бьются за свою мечту в удушливой атмосфере троецарствия самоуправной верховной власти, разгульного "нового купечества" и подвластных им угодливых средств информации. Не сумеют пробиться, как в свое время сумел Святослав Николаевич, - изойдут в другие страны, смахнув слезу по Родине, станут американскими Сикорскими, Сорокиными, Леонтьевыми.

Умер он, как и жил, в полете. У нас любят награждать высокими эпитетами. В 50, 60, особенно 70 лет многих хороших артистов, писателей, музыкантов щедрые на похвалу журналисты поименовали великими. Упаси бог корить их за перебор; в конце концов и у величия есть свои ступени. Да и в изъятии признательности выдающимся соотечественникам лучше преувеличить, чем преуменьшить. Мне кажется важным не столько для него самого, сколько для нас, для национального самоуважения, понимать, что в Святославе Федорове Россия обрела и, увы, потеряла одного из своих действительно, без скидок, великих - врача, гражданина, общественного деятеля.

Во "втором круге" наших знакомств самыми примечательными фигурами были, безусловно, Любимов и его жена Людмила Целиковская. Я уже рассказывал, что беззаветно пытался помочь Таганке, обращаясь к кому только мог - к заведующему отделом культуры Василию Филимоновичу Шауро, человеку умеренных взглядов, который так же умеренно

противодействовал коршунам, собравшимся вокруг "босса" Москвы Виктора Гришина. К его заместителю Альберту Беляеву. К Демичеву через его тогдашнего помощника Ивана Фролова. И конечно, через Цуканова к "Самому". Не берусь судить, в какой мере было эффективно мое заступничество, но о нем, благодаря заведовавшей литчастью Таганки Элле Петровне Левиной, знала вся труппа. Аня, к тому времени окончившая ГИТИС, приходила на репетиции "Гамлета" и записала чуть ли не все любимовские реплики. Словом, нас в театре принимали за своих, пускали через черный ход прямо в кабинет главного режиссера, стены которого были исписаны благодарственными надписями знатных посетителей. Свой скромный росчерк оставил там и я.

Подозреваю, что чрезмерная прыть в защите любимовского театра сыграла негативную роль в отношении ко мне Андропова. Вначале, как я уже говорил, он благосклонно откликнулся на мою просьбу встретиться с популярным режиссером, но, видимо, получил реприманд за вмешательство в "чужие владения" и настроился против меня, вовлекшего его в неприятности.

Сблизились мы тогда с Любимовым и Целиковской и домами. Они бывали у нас на Староконюшенном, мы - у них в просторной красивой квартире в доме напротив американского посольства. Говорили обо всем, как принято в московских гостиных. Как-то мы сидели вчетвером за бутылкой водки и обильной закуской (грибы, соленья), на которую Целиковская была большой мастерицей. Юрий Петрович, опрокинув несколько рюмок, стал рассуждать о том, как он видит "Гамлета", которого как раз собирался ставить. Главное - зримо и выпукло выразить в спектакле мысль - "распалась связь времен", ведь именно это случилось у нас в Октябре 1917-го, от революции пошла цепочка бед, постигших Россию в нынешнем столетии. При том что в нашей компании не было запретных тем и существовало полное доверие, сказать такое в то время значило перейти некий предел гражданской лояльности. Людмила Васильевна резко отругала мужа, он вяло защищался. Я сказал, что революция подобна разбушевавшейся стихии, судить ее с этической точки зрения в терминах "хорошо-плохо", "полезно-вредно" бессмысленно, она состоялась, и все тут. Аня постаралась перевести разговор на другую тему, хотя, как призналась потом, когда мы, вернувшись домой, обсуждали этот эпизод, была возмущена этой антисоветчиной.

Людмила Васильевна и Юрий Петрович часто вступали в жаркие перепалки между собой. Он - по природе склонный к вольности, задиристый, любящий блеснуть оригинальной мыслью. Она - постоянно учившая его уму-разуму, как умудренная опытом классная дама зеленого юнца, считавшая, что, подчиняя его себе, оказывает ему же, разумеется, большую услугу. За эволюцией их отношений угадывалась фрейдистская формула. Вначале она, блистательная кинозвезда, бывшая предметом внимания многих выдающихся мужчин (одни мужа чего стоят Алабян, Жаров; со смехом рассказала однажды, как сумела "отшить" Берию), находит в нем не просто красивого мужчину, но подходящий объект для материнского попечительства. Целиковская часто так и говорила ему при нас: "Учу, учу тебя, дурака, все без толку". Он вроде бы не обижался, но, надо думать, педалируемое ее превосходство досаждало, ущемляло мужскую гордость, тем более что самолюбия Юрию Петровичу не занимать. Словом, не раз описанный сюжет о подспудном соперничестве двух незаурядных артистов, мужа и жены, неизменно заканчивающийся трагедией - гибелью одного из них. На ум приходит "Нью-Йорк, Нью-Йорк" с преуспевшей героиней (Лайза Миннелли) и потерпевшим жизненное фиаско ее возлюбленным (Роберт Де Ниро).

Нечто подобное случилось с Любимовым и Целиковской - с некоторого момента они начали меняться местами. Поначалу Людмила Васильевна не хотела признаваться в этом. В то время как все вокруг восхищались первыми постановками Любимова, особенно "Добрый человек из Сезуана", она отзывалась о спектакле прохладно. Возможно, сказывалась и привычка к своей вахтанговской, при всех новациях все-таки реалистической школе театрального искусства, неприятие "мейерхольдовского балагана", как поклонники классики оценивали авангардистов. Но к этому явно примешивалось инстинктивное нежелание отдать пальму первенства в их семейном дуэте Юрию Петровичу, не терять моральное право

поучать его. Они буквально на глазах "рокировались". Она из кинодивы превращалась в полузабытую актрису, вынужденную довольствоваться вторыми ролями на вахтанговской сцене, даже не удостоенная из-за мелочной мстительности чиновников от культуры звания народной артистки СССР, которым увенчали Ладынину, Т. Макарову, Окуневскую, Смирнову, уж во всяком случае не превосходивших ее талантом и популярностью. Он из посредственного артиста, исполнявшего роли героев-любовников в лирических комедиях, превратился в художника первой величины, всемирно известного режиссера-новатора, буквально купался в обожании поклонниц и в конце концов отплатил ей за опеку, уйдя к молодой венгерке.

После их разрыва мы не встречались ни с ним, ни с нею. Аня несколько раз перезванивалась с Людмилой Васильевной, но у той было понятное нежелание выносить на люди свою обиду. А Таганка примерно в то же время начала утрачивать свою жгучую привлекательность. Казалось, Любимов исчерпал дарованный от бога талант, место открытий заняли повторения. К тому же не стало Высоцкого, на долю которого по справедливости приходится добрая треть таганской славы.

Больше мы не виделись с Любимовым. Когда я стал помощником Горбачева, ко мне пришел Николай Николаевич Губенко с просьбой походатайствовать, чтобы главрежу Таганки разрешили вернуться на родину. Я пошел к шефу, и он тут же отдал по телефону соответствующее распоряжение. Вернувшись в Россию на пике своей славы, Любимов ни разу не пригласил нас на премьеры, не вспомнил и в день своего 80-летия, когда на Таганку собрался весь обновленный политический и художественный бомонд.

Однажды, встретившись в "консультантской компании" по случаю дня рождения Бурлацкого, мы затеяли разговор о Любимове. Почти все присутствующие Черняев, Бовин, Арбатов, Делюсин - в меру своих возможностей помогали ему пробиться. Теперь преобладало разочарование. Полбеда, если б речь шла о личной обиде. Беспреданно понося советскую власть, Любимов ни разу не нашел слова благодарности за то, что ему, тогда еще малоизвестному начинающему режиссеру, дали возможность собрать свою труппу, потом "подарили" театр, наконец, специально для него построили прекрасное новое здание. Не убежден, что такими же дарами осыпали бы новатора где-нибудь в "цивилизованной стране". Словом, чувства благодарности и справедливости явно не входят в набор достоинств Юрия Петровича.

Что поделаешь, не он ведь один такой. Многие значительные люди, создавая вечные ценности, отличались в быту мелочностью, скопидомством, эгоизмом. А судят их не по порокам - по делам.

"Третий (не по значению, а по очередности) круг" нашего общения составили кинорежиссеры. Мы подружились с Владимиром Евтихиановичем Баскаковым, который был инструктором в отделе культуры, затем первым заместителем председателя Госкино и директором Института кинематографии. Тонкий эрудированный критик, "человек на своем месте", он оставил заметный след в нашем киноискусстве. Для него, фронтовика, было приоритетом создание киноэпопеи об Отечественной войне. Бегал по инстанциям, помогая "пробивать" такие крупные проекты, как многосерийные документальные фильмы Романа Кармена и Льва Кулиджанова, монументальная картина Юрия Николаевича Озерова, авторский фильм Константина Симонова о битве за Москву.

Володя с юмором рассказывал, как Симонов собрал в качестве консультантов наших прославленных маршалов и между ними вышел спор. Конев высказал предположение, что Сталин нарочно заманивал немцев поближе к столице, чтобы потом взять их в кольцо и уничтожить. Жуков и Рокоссовский набросились на него примерно так: "Ты что, старый дурень, городишь, нас тогда били, вот и отступали, не от хорошей жизни. Тоже Кутузов нашелся!"

Вообще был отличным рассказчиком, любил едкую шутку. А внешне мог и отпугнуть: высоченный, со строгим взглядом, орлиным профилем, схожий с Черкасовым, в шляпе, нахлобученной на лоб. Рассказывал, однажды в Штатах к нему развязно подошел негр-бомж

с требованием отдать "зеленые". Я, говорит, испугался, еще ножом пырнет, а сам от страха как гаркну на него матом, так его ветром сдуло.

Баскаков и его жена Юлия Стефановна, учившаяся на опереточную актрису, но так и не ставшая ею, любили устраивать вечеринки, на которые приглашали и нас. Перезнакомившись, мы, в свою очередь, стали звать к себе "киномэтров". Впрочем, за исключением Сергея Федоровича Бондарчука, остальные не были еще признаны в таком качестве. Мы подружились с Озеровым и его очаровательной женой художницей Делей. С другой известной творческой парой - Игорем Васильевичем Таланкиным и его супругой балетмейстером Лией Михайловной. С удовольствием принимали приглашения посидеть за "кавказским" столом у хлебосольного Льва Кулиджанова. Постоянным нашим гостем стал Гия Данелия, приглашающий нас на все свои премьеры. На "баскаковских" вечерах встретились и долгие годы поддерживали приятельские отношения с Филиппом Тимофеевичем Ермашом, сменившим его позднее на посту председателя Госкино Александром Ивановичем Камшаловым.

Имена, имена, имена... Старикам они говорят о многом, пробуждая память о встречах или, если речь идет о режиссерах, запавшие в душу образы их героев. Когда при мне заговаривают о Бондарчуке, перед глазами автоматически возникает сам он в роли солдата, признающего несчастному мальчугану в своем отцовстве, Род Стайгер - Наполеон, колышавшаяся рожь в "Степи" по Чехову. Сам он уверял, что лучшим его фильмом должна стать сага о мексиканской революции. Было это у нас дома, гости оставались за праздничным столом на кухне, а Сергей Федорович выразил желание посмотреть передававшийся в тот вечер по телевидению "Октябрь" Эйзенштейна. Я взялся составить ему компанию. Когда на экране появились скульптурные лица бойцов революции, Бондарчук обхватил голову руками и, раскачиваясь в кресле, стал повторять: "Нет, мне никогда такого не создать, никогда..."

В другой раз в гостях у Баскакова мы сидели рядом, он стал делиться своими мыслями о философии Толстого - как раз в это время готовился к съемке "Войны и мира". Не помню деталей нашего разговора, но меня поразило, что рассуждал Бондарчук абсолютно по-толстовски, причем не просто повторяя мысли писателя, а продолжая их, как бы развивая применительно к нашему времени.

Свели мы знакомство с Андреем Сергеевичем Кончаловским. Баскаков предложил посмотреть выходящий на экран фильм Андрона, как все его называли, "Ася-хромоножка". До этого прошел не очень отмеченный критикой его режиссерский дебют - "Первый учитель" по повести Чингиза Айтматова. На меня картина произвела сильное впечатление заложенной в ней идеей: попытки насильственно осчастливить людей, живущих по родоплеменным законам, перетащить их через несколько ступеней цивилизации оборачиваются, как правило, трагедией. Не обманула ожиданий и новая работа Кончаловского. Прямо с просмотра поехали к нам домой, далеко за полночь обсуждали достоинства фильма. Была и совсем юная жена Андрона - Аринбасарова.

Мы с ним, несмотря на разницу в возрасте, пришли друг другу по душе. Может быть, сказалась свойственная роду Михалковых тяга к контактам с политическими "функционерами". Андрон, как его отец и брат, жил на Николиной Горе, недалеко от Рублевки, где как раз в это время отдельская команда корпела над каким-то документом. Приехал на дачу Горького, перезнакомился со всеми, пригласил к себе в гости. Потом несколько раз заезжал нас навестить. Однажды привез показать написанный им в соавторстве с кем-то сценарий под названием "Седьмая пуля". Объяснил замысел - создать наш, советский "истерн". Я был разочарован, прямо сказал Андрону, что после созданных им прекрасных фильмов заниматься подобными пустяками ему не следовало бы. Природа даровала ему большой талант, и если он будет строг к себе, как Тарковский, то может стать выдающимся художником.

Вероятно, упоминание Тарковского в невыгодном для него ракурсе обидело Кончаловского. Он вежливо покивал головой на мои назидательные рассуждения, с явным



удовольствием выслушал лицемерные похвалы других читателей сценария и после этого не звонил. Фактически наши отношения прервались, лишь спустя много лет мы встретились в Доме кино, он обещал прислать мне свою снятую в Голливуде ленту и сдержал обещание. Принес кассету сам Сергей Владимирович, не упустивший случая встретиться с помощником президента. Впрочем, мелкие его слабости не умаляют заслуг перед литературой. Он ведь, по моим представлениям, первый в России поэт для детей и второй, после Крылова, басенник.

Андрон поставил много фильмов, но, мне кажется, его звездный час остался в молодости с "Первым учителем" и "Асей-хромоножкой".

Тепло вспоминаю о своем знакомстве с Владимиром Высоцким. Он обладал органической аурой. С людьми, которые пришлись ему по душе, был прост и искренен, перед высокомерными чиновниками разыгрывал простака, нуждающегося в поучении. Вообще любил подурачиться. Однажды Володя заявился к нам без приглашения в обеденное время, поел с нами, потом озадачил вопросом, на ком ему жениться. У меня, говорит, есть выбор - актриса нашего театра (не помню фамилию, которую он назвал) или Марина Влади.

- Володя, я тебе удивляюсь, женись на той, которую любишь!

- В том-то и дело, что люблю обеих, - возразил он, и мне на секунду показалось, что не шутит, действительно стоит перед выбором и ищет хоть какой-то подсказки.

- Тогда женись на Марине, - брякнул я безответственно, - все-таки кинозвезда, в Париж будешь ездить.

В другой раз, праздничным вечером у нас дома он много пел, что называется, по заказу. Его без конца теребили: "Володя, спой про вещего Олега", "Давай про того... как его.... ну, служил в Таллине при Сталине". Пленки у нас сохранились, правда, еще с катушечного магнитофона. Может быть, есть даже записи неизвестных песен.

Много было у меня "пересечений" с интересными людьми. Какие-то ничтожные минуты общения, но иногда они проливали больше света на характер человека, чем то, что сам он о себе пишет или пишут о нем другие.

В Театре Вахтангова мы встретились с Леонидом Зориным на спектакле, как я полагаю, лучшей его пьесы - "Варшавская мелодия". Узнали друг друга. Он был буквально ошеломлен, когда я прочитал несколько строк его детского стишка о Сталине. В Баку была опубликована маленькая книжка со стихами девятилетнего Лени Зальцмана. Она попала мне на глаза и я, не знаю уж почему, запомнил эти строки. Потом он часто у нас бывал, к себе, однако, пригласить не удосужился. Зато сделал нас с женой прототипами какой-то не слишком умной из своих эстрадных миниатюр.

Раза два-три я сталкивался с Евгением Евтушенко, и каждый раз оставался неприятный осадок от его непомерной гордыни. В Баку, во время встречи писателей Азии и Африки, когда ее участники собирались отправиться на теплоходе в прогулку по Каспию, на пристани к нему подошел молодой парень, попросил дать автограф. Все вокруг охотно откликались на подобные просьбы. Евтушенко вдруг с вызовом сказал:

- А почему, собственно, я должен вам давать автограф?

Парень смешался, стал что-то бормотать. Кто-то из писателей, присутствовавших при этой сцене, сказал в сердцах:

- Ну и свинья ты, Женька. - Они чуть было не подрались.

В Москве на Таганке я купил по случаю книжку его стихов, подошел с той же просьбой.

- У меня нет ручки, - нарочито заявил он.

Я достал свою, и ему ничего не оставалось, как подписать. Проделав это, положил ручку в карман. Я сказал:

- Ручку, - показав жестом, что он должен ее вернуть.

- Что же, - сказал он с ухмылкой, - вам жаль для меня паршивой ручки? Вы же мой поклонник.

- Не до такой степени, чтобы подарить вам "Паркер", - ответил я в тон.

Однажды, воскресным утром, зазвонил телефон. Жена сняла трубку, мужской голос потребовал позвать Карена Шахназарова. Карен спал, накануне пришел поздно. Ане жалко было его будить и она попросила перезвонить через час. Он сделал это в назначенное время, но ему опять было предложено перезвонить - на сей раз через полчаса. Проходит полчаса, звонок, в трубке раздраженный голос: "Если Карен еще спит, разбудите и скажите, что его просит к телефону поэт земли русской Евтушенко!" Жена засуетилась, побежала будить сына. Евгений Александрович поздравил Карена с успехом фильма "Мы из джаза", сказал ему много лестных слов и одновременно попенял, почему текст песен не заказали Евтушенко. "В следующий раз не стесняйтесь, обращайтесь ко мне запросто", заключил он.

Этот звонок для меня много важнее проявлений, скажем так, сварливого характера. Шопенгауэр сказал, что высшее достоинство человека заключается в способности радоваться достижениям других.

Однажды я опубликовал в "Известиях" статью о русском языке. Там была фраза о том, что большой поэт малого народа Расул Гамзатов благодаря русскому языку приобрел мировую известность. Через несколько дней он позвонил мне и стал с обидой выговаривать, упрекая в неуважении к его родному аварскому. Впрочем, быстро согласился, что неправильно понял мою мысль, после чего подарил мне сборник своих стихов с дружеской надписью. Мы не раз встречались с ним по разным поводам, и я убедился, что Расул не только прекрасный, позволю себе сказать, великий поэт, но и очень простой, душевный человек. Вот уж действительно кавказский характер в лучшем его проявлении.

Под влиянием "горячих событий" на Северном Кавказе мне вдруг пришло в голову обратиться к нему со стихотворением. Отослал ему, но ответа не получил. Может быть, не дошло?

Расулу Гамзатову  
Скажи, Расул, певец Кавказа,  
Ты слышишь ли подземный гул,  
Лавину видишь ли, что разом  
Грозит снести родной аул?  
Взволнован край многострадальный,  
Повсюду выстрелы гремят,  
Казбек насутился печально,  
Грустит и седовласый Шат.  
От подстрекателей нет спаса,  
Что рвутся обескровить нас.  
Но что Россия без Кавказа,  
А без России что Кавказ?  
Начнут чеченцы, ваххабиты,  
Казаки, "партия войны"  
Все в равной мере будут квиты,  
России мертвые сыны.  
Твоя пленительная лира  
Служила дружбе и любви.  
Скажи разумным слово мира,  
А неразумных - вразуми.  
Мы не джигиты (между нами),  
Но есть работа для души,  
И улететь за журавлями,  
Прошу тебя, ты не спеши.  
В час роковой всесветной ломки  
Обоим нам покоя нет.  
Но голос мой звучит негромко.  
Тебя услышат.

Ты - поэт.

27 января 1998 года.

В начале 1986 года я опубликовал в "Вопросах философии" статью под названием "Логика политического мышления в ядерную эру". В ней было несколько тезисов, какие до того не могли появиться в нашей печати. Через некоторое время мне позвонили и напросились на встречу Даниил Гранин и Алесь Адамович.

- Мы пришли, - сказал Адамович, - поблагодарить вас за эту статью, в особенности за принципиальное положение о том, что не существует политических целей, которые могли бы оправдать применение ядерного оружия.

- Ну что вы, - сказал я не без смущения, - ведь это же очевидно.

- Да, - включился Гранин, - но дело в том, что эту самую очевидность у нас невозможно было провозгласить. Теперь же, благодаря вашему выступлению, она в некотором роде приобретает легитимность.

Разумеется, я не принял всерьез этой явной переоценки, но был польщен.

Однажды мы с женой были приглашены на приватный обед в посольство Чехословакии. Кроме нас там были Алла Пугачева с видным брюнетом, не знаю, кем он ей приходился. В то время она уже пользовалась обожанием толпы, но еще не удостаивалась королевских почестей, как сейчас, исполняла мелодичные шлягеры Раймонда Паулса и избегала вопить под барабанный бой. Мы искренне восхищались ею и признались в принадлежности к армии ее поклонников. Беседа была светской - о музыке, погоде, ничего заслуживающего внимания. Если я запомнил ту встречу, то только из-за странного эпизода. Когда уже собирались разъезжаться, мы с Аллой Борисовной на минуту оказались в сторонке от остальных, и она вдруг спросила:

- Какая у вас машина?

Я решил, что не расслышал, она спрашивает, есть ли у меня машина, и предложил ее подвезти.

- Нет, - возразила она с досадой, - я спрашиваю, какой марки ваш автомобиль?

- Московская черная "Волга", - сказал я, все еще не понимая, куда она клонит.

- А у меня "Мерседес"! - сказала она с вызовом и глянула на меня, прищурив глаза: мол, утерла нос чиновнику!

- С чем вас и поздравляю. Пугачева и должна ездить на "Мерседесе", если не на "ЗИЛе".

Такова, вероятно, природа "звезд" - витая в небесах, они должны для самоутверждения чувствовать - и доказывать! - свое превосходство не столько над простыми смертными (это само собой разумеется), сколько над "начальством" да и всеми, кто способен конкурировать с ними по известности.

Спустя какое-то время мы встретились с Пугачевой на дне рождения Святослава Федорова. На этот раз Алла Борисовна не приняла меня за бюрократа со Старой площади, общалась без "подначек". А может быть, уже перешагнула черту, за которой не нуждаются в самоутверждении.

Однажды мне позвонил Каспаров: он знает, как остановить эскалацию армяно-азербайджанского конфликта из-за Нагорного Карабаха, и готов взяться за это самолично. На вопрос, в чем суть спасительной идеи, сказал, что разговор не телефонный, если можно, он приедет. Через полчаса сидел в моем кабинете. Симпатичный, мог бы даже считаться красивым, если б не излишне крутая горбинка носа, холодные, не теплеющие и при редкой улыбке глаза, нервное беспокойство во всем облике. Чем-то подтверждает формулу Ломброзо - в гениальности частица безумия, как отклонения от нормы.

Я усадил его за маленький столик, сел напротив, поздравил с недавней победой на каком-то турнире.

- Это не столь важно. Я могу принести мир в Закавказье! - говорил он короткими, отрывистыми фразами.

- Каким образом, Гарри Кимович?

- Буду посредником.

- Сколько их было! И своих, и европейских.

Он посмотрел на меня с явным сожалением.

- Вы не знаете, как они меня любят. И армяне, и азербайджанцы. Поступят, как я скажу.

- Не сомневаюсь, что вы пользуетесь большой популярностью. Но там идет настоящая война. Мало ли что может случиться...

- Я не боюсь! - сказал он гордо, и я почувствовал уважение к этому баловню судьбы, готовому поставить на карту так сказочно начавшуюся жизнь

- Гибнут люди с обеих сторон, я единственный, кто может их разнять.

- Как вы себе представляете свою миротворческую миссию?

- Поеду в Баку, потом в Степанакерт, если понадобится, пойду на передовую. Буду выступать перед людьми. Они послушают.

- Да, но что вы им предложите? Вернуть Карабах в состав Азербайджана армяне не согласятся, признать его независимым - азербайджанцы. Чью позицию будете защищать?

Он замешкался. После секундного раздумья нашелся.

- Надо остановить бойню и начать переговоры, можно поискать компромисс.

- Вы совершенно правы. Именно этого добивается сейчас Горбачев. Я скажу ему о вашем предложении. Может быть, действительно можно будет использовать и ваш авторитет для этого благого дела.

Мне показалось, что такая концовка его устроила. Свой долг он выполнил, предложил властям миротворческие услуги, а уж если они не захотели или не сумели ими воспользоваться - не его вина.

Все равно. Никто ведь его не звал в добровольцы.

8 августа 1997 года около 7 часов вечера позвонил мне на дачу Солженицын. Сказал, что с интересом прочитал мою книгу "Цена свободы". В ней необычный для него взгляд на события. Я ответил, что, конечно, убеждения у нас не совпадают, но, наверное, много и общего, ведь мы люди одного поколения, да еще оба фронтовики. Затем он поблагодарил за то, что я действительно обращался к Горбачеву с предложением вернуть ему гражданство.

- Почему он упирался? - спросил Александр Исаевич.

- Сам не знаю, - отвечал я, - до сих пор не могу понять. Может быть, потому, что вы из одной местности? - сказал я, но не стал продолжать свою мысль: Солженицын из богатых землевладельцев, а Горбачев из бедных крестьян. Подумал, может быть, сам догадается. Нет, не догадался, возразил:

- Да это вроде бы должно было, наоборот, подтолкнуть.

Бросил эту тему, спросил, чем занимается "Горбачев-Фонд", благотворительностью? Частично, сказал я. Но главное занятие исследовательские проекты.

Самое интересное: вместе с признательностью за мои записки\* возразил, что никогда не был экстремистом по отношению к советской власти.

- Я осуждал ее за ГУЛАГ, за безвинные жертвы и только.

- Что ж, - сказал я, - это делает честь вашей объективности, тем более что вы сами пострадали.

Попробовал пригласить его на наши круглые столы. Он сказал, что получает сотни приглашений подобного рода, но решительно отклоняет: жизненного срока осталось мало, а хочется еще завершить кое-какие замыслы.

На том попрощались.

Не помню уж, при каких обстоятельствах познакомились мы с Роем Александровичем Медведевым. То ли кто-то из общих знакомых нас свел, то ли он, прочитав какую-то мою статью, позвонил. Так или иначе, мы условились встретиться, понравились друг другу, обнаружили общность взглядов. Так начались наши долгие и ничем не омраченные дружеские отношения. Мы никогда не сидели с ним за одним столом, не поднимали тостов за здоровье друг друга, не общались семьями. И все-таки я всегда чувствовал интеллектуальную связь с этим человеком. На меня большое впечатление произвела

прочитанная в рукописи его книга о Сталине. Благодаря Рою я, также в рукописи, смог ознакомиться с солженицынскими "В круге первом" и "Раковым корпусом".

Потом он перестал к нам заходить, очевидно, не хотел меня подставлять. За ним была установлена слежка, он прекрасно об этом знал; понимал, что визиты диссидента к работнику аппарата ЦК могут кончиться для последнего плачевно.

С началом перестройки Рой вздохнул наконец полной грудью и стал публичным политиком. Вопреки распространенному представлению, он никогда не был 100-процентным диссидентом, задолго до перестройки выдвинул вполне разумную концепцию реформ, не посягавшую на социалистические принципы общественного устройства. На позициях социализма остался и потом, как всякий порядочный российский интеллигент. Правда, созданная им Социалистическая партия трудящихся не стала массовой - все-таки Рой Александрович больше историк, чем политик. Нельзя не поразиться его плодовитости. Последние годы он выпускает книгу за книгой, одна лучше другой. Во всяком случае, никто не написал более правдиво об Андропове.

Много позднее я познакомился с его братом-близнецом Жоресом. Сходство поразительное, притом не только внешнее. Они, можно сказать, двойняшки и в духовной своей сути. Видный биолог, начавший свою творческую работу с разоблачения Лысенко, Жорес публикует затем ряд публицистических произведений на самые различные темы: международные научные связи, землепользование, Сталин... Огромная эрудиция и невероятная трудоспособность. Недавно Жорес Александрович прислал мне пачку своих статей, которые он прилежно рассылает в областные газеты, поскольку в центральные пробиться трудно.

В братьях Медведевых Россия подтвердила, что еще способна выдвигать выдающихся людей.

Мои однажды - схваченные фотоаппаратом памяти штрихи к портретам знаменитостей. А сколько я перевидал людей, может быть, не столь известных, однако не менее интересных. В том числе среди работяг, с которыми любил пообщаться, чтобы лучше понять, чем дышит народ, зарядиться демократическим духом. Всем чем-то обязан, у каждого чему-то научился. Считается открытым вопрос о смысле жизни, а для меня здесь нет загадки: мы приходим в этот мир, чтобы познавать себе подобных и через них - себя.

По моему рассказу можно понять, что атмосфера, царившая в нашем доме, была как нельзя более благоприятна для воспитания творческой личности. Моя роль здесь, впрочем, невелика. Неизмеримо больше сын обязан самоотверженной любви и заботе своей матери, наделенной от природы даром сказительницы и художественным вкусом, сумевшей заложить в нем твердые нравственные принципы. Карен рано проявил склонность к самовыражению, сначала увлекся рисованием, потом попробовал силы в литературе, но в конце концов нашел призвание в кинематографе. Ему, конечно, пришлось ловить на себе косые взгляды завистников и слышать за спиной шепот, что-де сановный родитель пробивает дорогу отпрыску. Довольно скоро, впрочем, эти домыслы замолкли по очень простой причине: вышедшие один за другим несколько фильмов наглядно засвидетельствовали полноценную творческую самостоятельность. Кстати, если на первых порах мы с женой еще в состоянии были помочь ему советами, то с того времени, как он почувствовал себя состоявшимся художником, за нами осталась лишь привилегия быть в числе первых зрителей его картин.

Вслед за своим дебютом ("Добряки", кстати, единственная картина, поставленная по чужому сценарию) ему удалось сделать "хет-трик" - подряд три ленты, завоевавшие первый приз зрительских симпатий: "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Курьер". Затем резкий поворот к философской трагедии и сатире - "Цареубийца", "Город Зеро", "Сны". Лирическая "Американская дочь" и новаторский, к сожалению плохо понятый нашими критиками, но получивший признание на зарубежных фестивалях "День полнолуния".

Избрание директором "Мосфильма" несколько выбило его из колеи, вынудив отложить творческие замыслы и заняться восстановлением старейшей и крупнейшей кинофабрики,

находящейся, как, впрочем, и все другие, в состоянии крайнего запустения. Желая ему успеха в этом исключительно тяжелом деле, все-таки не теряю надежды увидеть хотя бы еще один новый его фильм.

В науке

Вся моя общественная жизнь протекала в двух измерениях - политическом и научном. Попеременно одно из них вырывалось на передний план, но и второе не отдыхало, исподволь готовилось чем-то о себе заявить. Я весьма скромно оцениваю то, что мне удалось на научной ниве. Если что-то и заслуживает быть упомянутым, так это становление у нас политической науки. Как раз своеобразный синтез двух составных моей профессиональной деятельности.

Ну а с точки зрения социологии я принадлежу к той группе людей, которая обслуживала "теоретические потребности" власти, служила, пусть шатким, мостиком между нею и наукой. Ее существование, можно сказать, было предопределено природой государственного строя, который, согласно официальной доктрине, всецело основывался на научном социализме. Его создатели видели историческую миссию революции в том, чтобы, грубо говоря, "укротить", упорядочить стихию общественного развития, ввести его в плановое русло, вместо проповедуемого религией царства божьего построить на земле царство разума.

Отсюда почетное место, отводившееся науке с первых дней советской власти, уважительное отношение к ней, вещественным выражением которого явились немалые привилегии ученому сословию. Обеспечивая ему высокий сравнительно с другими социальный статус и даже снисходительно относясь к исходившим от этой среды маленьким вольностям, партия требовала взамен без-оговорочного признания коммунистической идеологии и подчинения ее державной воле. Таков был своеобразный общественный договор между наукой и властью, который, надо признать, позволил сохранить мощный научный потенциал, созданный в России со времен Ломоносова, и существенно обогатить его за семь советских десятилетий во многих сферах естественно-технического, а частично и гуманитарного знания.

Иначе обстояло дело с общественными дисциплинами. Они подверглись полному разгрому, все более или менее значительные умы, подвизавшиеся в философии, истории, праве, экономической теории, были подвергнуты остракизму или лишены всякой возможности продолжить свою творческую работу. Позднее, вырастив в достаточном количестве новые научные кадры, вскормленные на строгой марксистской "диете", партия формально уравнивала обществоведение с физикой, химией и прочими ветвями дерева знания, ввела его на равных с последними в святилище - Академию наук. Но, похваливая обществоведов наряду с естественниками и технарями за усердие на стройке коммунизма, вожди все-таки смотрели на них с прищуром. Мол, мы-то с вами знаем, что кардинальные вопросы философии, истории, права и прочих общественных дисциплин решаются не на дискуссиях в академических институтах и провозглашаются не с университетских кафедр. Это привилегия товарища Сталина (Хрущева, Брежнева), Политбюро, агитпропа. Да и могла ли партия уступить кому-либо функцию хранителя и толкователя марксизма-ленинизма, если его превратили в катехизис и подгоняли под каждый очередной изгиб политического курса.

У нас не было философии, социологии, права вообще, так сказать, в чистом виде. Были марксистско-ленинская философия, социология и т. д. Парадокс, однако, заключался в том, что эта приставка отнюдь не гарантировала 100-процентной благочинности ученой публики, поскольку сам марксизм в его первоизданном виде содержал мощный заряд критицизма, своим методом отрицал собственную претензию на абсолютную истинность. Это присущее марксистскому учению внутреннее противоречие было тысячекратно умножено подгонкой под нужды политической практики. В сущности, у нас был узаконен суррогат марксизма, признавалась полноценной лишь часть канонических текстов. В этом смысле главным ревизионистом следует считать автора четвертой главы Краткого курса истории ВКП(б) и партийных академиков, помогавших кроить из марксистских лоскутьев теорию, далекую от

оригинала. А уж возлагать на "основоположников" ответственность за все, что творилось от их имени, так же несправедливо и нелепо, как обвинять Христа во всех глупостях и злодеяниях, совершенных церковью.

Историки, философы, юристы, которых вербовали в партийный аппарат, должны были выполнять две функции. Во-первых, обобщать информацию, размышлять и подсказывать пути решения тех или иных проблем. Иначе говоря, делать то же, чем испокон веков занимались советники при государях. А во-вторых, писать доклады, записки, речи для начальства. С этой точки зрения выше всего ценились не аналитические способности и глубина научных знаний, а литературное дарование, умение облечь банальные мысли в красочный словесный наряд. Кто-то пошутил, что у меня "династическая профессия". Фамилия Шахназаров переводится как "царский писарь".

Естественно, далеко не все в "консультантском корпусе" умели на одинаково, скажем так, приличном уровне исполнить названные функции. Да и ритм партийного механизма, господствовавшие в нем нравы и традиции очень скоро гасили склонность к самостоятельному мышлению. Посидев пару лет на Старой площади, многие кандидаты и доктора наук превращались в исправных аппаратчиков, их принадлежность к науке становилась чисто символической, и по части подачи руководству дельных советов они иной раз уступали смекалистым референтам и инструкторам.

Меня служба в аппарате не только не отвлекла от научных занятий, но, напротив, стала их продолжением и в прямом, и в переносном смысле. В прямом потому что участие в теоретической полемике, написании программных документов расширяло кругозор, было, по сути дела, той самой тренировкой, без которой немислим профессионализм ни в одном деле. Большим преимуществом была возможность получать разнообразную информацию, в том числе из закрытых источников, чего были лишены наши коллеги, трудившиеся в академических институтах. Я не отличаюсь особой организованностью, но все же удосужился завести несколько папок, куда "сбрасывал" информацию по интересующим меня темам. Они весьма пригодились потом, когда стало несколько свободней со временем и я смог во внеурочные часы написать несколько монографий.

Под переносным же смыслом я имею в виду неоценимую возможность наблюдать власть изнутри, под микроскопом: как она рождается и чем дышит, в чем ее сила и слабость, кому она больше служит и как ею злоупотребляют. Вполне вероятно, у людей, достигших моего уровня, была самая благоприятная возможность для исследования феномена власти. Достаточно высокое в чиновной иерархии положение позволяло проникать в ее секреты, хотя далеко не во все. С другой стороны, замы не имели сколько-нибудь серьезной власти, в лучшем случае, по выражению Рахманина, "прикасались" к ней, и это предохраняло от опасного самообольщения, которого ее носителям редко удастся избежать. Быть во власти и наблюдать ее отстраненно - не одно и то же, потому что во всех случаях, когда научное суждение входит в противоречие с политическим интересом, приоритет отдается последнему.

Пожалуй, самым наглядным доказательством этого постулата служит сама судьба политической науки. Это одна из первых, если не первая из научных дисциплин, основы которой были заложены еще в знаменитой "Политике" Аристотеля. Мало какая из наук может похвастать таким созвездием блестящих умов: Макиавелли, Эразм Роттердамский, Локк, Монтескье, Джефферсон, Токвиль, Чернышевский... По сути дела, девять десятых всех выдающихся мыслителей, которых принято называть философами, были создателями политических учений, т. е., строго говоря, политологами. Ими были все утописты и создатели революционных теорий новейшего времени, включая, естественно, Маркса, Энгельса, Ленина, а также идеологи различных политических партий и социальных движений.

При всем при том политика как наука чуть ли не с античных времен куда-то запропастилась. В Средние века, когда возникли университеты, там преподавались философия, богословие, медицина, право. Политологию растащили, растворили, и, грешным

делом, думается, не случайно, а в силу некоего заговора правителей, не заинтересованных в том, чтобы их дела и делишки становились предметом научного анализа, размышлений и пересудов "критиканствующей" профессорской публики. В качестве самостоятельной научной и учебной дисциплины политология начала возрождаться лишь в XX веке, а окончательно оформилась только после Второй мировой войны. И то не везде, главным образом в США, Франции и других западных странах. У нас ее в глаза не видели. Какая может быть политическая наука, если марксизм-ленинизм состоит из трех составных частей: философии, политической экономии и научного коммунизма? Последний и есть настоящая наука о политике. Политология - это всего лишь буржуазная антинаука, поставляющая сырье для антисоветской пропаганды, а ее жрецы - псевдоученые, состоящие на службе у мирового империализма.

Я ни в малейшей степени не утрирую, именно такое понимание декретировалось идеологическими инстанциями и покорно принималось в научной среде. Кое-какие изменения произошли после XX съезда КПСС. Воспользовавшись новыми веяниями, тогдашние лидеры нашей юриспруденции выпросили согласие на создание Советской ассоциации политических наук (САПН, 1961 г.). Аргументировалось это тем, что нужно знать своего идеологического противника, чтобы вести с ним успешную борьбу. На практике дело свелось к возможности раз в три года посылать небольшую делегацию на всемирные конгрессы Международной ассоциации политических наук (МАПН). С каждого из таких конгрессов наши немногочисленные делегации возвращались с победными реляциями: дан отпор противникам марксистского учения, наша берет верх!

В 1973 году по рекомендации Виктора Михайловича Чхиквадзе и с согласия ЦК меня избрали президентом САПН. Вместе с коллегами мы стали думать, как переломить ситуацию. Пришли к выводу, что нужна очень крупная акция, которая позволит легализовать политологию. Это казалось возможным, поскольку к тому времени частично была реабилитирована другая изгнанница из нашего научного пантеона - социология. Родилась идея провести у нас в стране очередной международный конгресс политологов. Но уже первые попытки поставить этот вопрос вызвали решительный отпор. Заведующий отделом науки С.П. Трапезников, пожалуй, самый большой ретроград в брежневской команде, другие идеологические церберы слышать не хотели, чтобы пустить эту буржуазную, проституированную, как выразился один из них, науку на порог советского дома.

Помог случай. Мне довелось сопровождать делегацию КПСС, возглавляемую Суловым, на первый съезд кубинской компартии. В самолете Катушев, посвященный в наш замысел и сочувствовавший ему, рассказал о нем Михаилу Андреевичу. Я был приглашен в отсек главы делегации, где в течение десяти минут изложил существо дела. Естественно, налегал на то, что проведение конгресса в Москве позволит воздействовать на ученых из многих развивающихся государств. Да и чего бояться идеологической схватки с буржуазными учеными нам, обладающим всемогущей марксистско-ленинской наукой! Внимательно выслушав, Сулов задал несколько уточняющих вопросов - о количестве делегатов съезда, порядке его проведения, возможности пресечения прямых антисоветских высказываний. Мои ответы его удовлетворили, после чего он сказал: "Пишите записку в ЦК".

После нашего возвращения такая записка была написана, Секретариат принял соответствующее решение, и, вооруженный им, я смог на конгрессе в Эдинбурге предложить Москву в качестве места проведения очередного всемирного конгресса МАПН. Там это было встречено как сенсация. Нашлись сильные противники, заявлявшие, что сбор политологов в советской столице станет подарком Кремлю, послужит для него своего рода отпущением грехов, на это следует идти только тогда, когда будут выпущены все политические заключенные, покончено с помещением диссидентов в психушки и т. д. Однако ведущие деятели международной ассоциации, с которыми у меня установилось хорошее взаимопонимание, энергично выступили "за", мотивируя тем, что как раз проведение всемирного политологического форума станет стимулом к большей открытости советского



режима и будет способствовать повышению престижа самой Ассоциации.

Свою роль сыграло то, что впервые за многие годы Советский Союз был представлен на конгрессе не одним-двумя юристами, а делегацией в составе почти 30 человек. И титулованных, как вице-президент Академии наук Петр Николаевич Федосеев, член-корреспондент Академии Михаил Трифонович Иовчук, и уже известных к тому времени в международной научной среде, как Бурлацкий, Владимир Александрович Туманов (в будущем председатель Конституционного Суда России). На упиравшихся оппонентов мы напускали Владимира Власовича Мшвениерадзе, приехавшего специально из Парижа, где он возглавлял Советское представительство в ЮНЕСКО. Он прекрасно владел английским и французским, а перед его остроумием и грузинским обаянием мало кто мог устоять. Короче, наше предложение было принято.

Организация научных конгрессов - дело крайне сложное. Сразу после одного научного форума начинается подготовка к другому - выбор темы, назначение руководителей секций, детальное планирование их работы, порядка выступлений при открытии и закрытии конгресса. Нужно заранее позаботиться о размещении участников, их транспортировке к месту заседаний, культурной программе. Хотя добрую половину расходов приняла на себя МАПН, немалую их часть пришлось изыскивать и нам. Здесь проявилось одно из несомненных преимуществ советской системы, позволявшей концентрированно решать подобные задачи. Имея на руках решение ЦК, мы могли обращаться в самые различные правительственные инстанции и везде получали необходимую помощь. В том числе в решении самого сложного, политического тогда вопроса - допуске в Москву участников из Израиля и Южной Кореи.

В МИДе наотрез отказались выдавать им визы, ссылаясь на отсутствие дипломатических отношений. Попытки решить проблему на "чиновном уровне" ни к чему не приводили, никто не хотел брать на себя ответственность. Между тем шли неделя за неделей, руководство Международной ассоциации стало нервничать и известило нас, что, если визы этим двум делегациям не будут выданы, конгресс не состоится. Тогда я позвонил по "вертушке" Андропову и напросился на прием. Это была первая моя встреча с Юрием Владимировичем после того, как он ушел из отдела, и единственный за всю жизнь визит в здание на площади Дзержинского. Он встретил меня радушно, согласился, что Советский Союз не рухнет от приезда в Москву южнокорейских и израильских политологов, обещал решить этот вопрос.

- У тебя нет опасения, что туда прорвутся наши диссиденты и учинят какие-нибудь антисоветские вылазки?

- Да нет, руководители Ассоциации - люди вполне порядочные, обещали, что ничего подобного не допустят. Конечно, среди тысячи с лишним человек могут найтись охотники политических провокаций, но мы постараемся этого не допустить.

- Я своим скажу, чтобы подстраховали, - заключил Андропов, давая понять, что аудиенция закончена.

Последняя фраза несколько меня смутила: как бы зарубежные коллеги не стали жаловаться, что Московский конгресс проходил под опекой спецслужб. Но комитетчики действовали культурно, их и видно не было. Единственный инцидент возник, когда охранники не захотели пускать в здание университета известного диссидента, поскольку он не был в списке участников. Чтобы не давать повода для скандала, я распорядился пропустить его и дать возможность выступить. Небо из-за этого не обрушилось (любимая поговорка Мао Цзэдуна).

Более серьезный инцидент возник в секции, в которой два политолога из Голландии выступили с полным набором политических обвинений в адрес советской системы. Вдобавок пригрозили созвать на завтра пресс-конференцию, на которой соберутся разоблачить нарушение прав человека в СССР. Случись это, организаторам конгресса не поздоровилось бы. Попытки руководителей МАПН утихомирить разбушевавшихся голландцев не имели успеха. Это удалось израильтянам. Всей делегацией они пошли к смутьянам, сказали, что

советские организаторы конгресса добились для них не только виз, но и возможности по туристическим путевкам посетить дорогие им места с могилами предков, пакостить в ответ на это было бы просто свинством, настоящие политологи не могут поступать как провокаторы. Короче, голландцам пришлось отказаться от своих намерений.

Конгресс торжественно открылся в Колонном зале, затем неделя заседаний секций в здании Московского университета и заключительное собрание в Доме Союзов. Я зачитал послание Брежнева\*, которое фактически положило начало легализации политической науки в Советском Союзе. И не только у нас. Ободренные этим примером, наши коллеги в социалистических странах начали создавать у себя профессиональные ассоциации политологов, проводить международные конференции и круглые столы. В Чехословакии, ГДР, Венгрии, Румынии, Болгарии политология после нашего конгресса явно пошла на подъем.

Что касается Польши, то и до этого теоретики политики пользовались здесь относительной свободой. В последний день конгресса принято было на заседании Исполнительного комитета избирать президента ассоциации на три года. Кто-то предложил кандидатуру Ежи Вятра, но такие вопросы решались у нас только с согласия ЦК. Мои попытки заручиться им ни к чему не привели, пришлось заблокировать избрание нашего польского коллеги. Я откровенно объяснил ему причину, он встретил это, как говорится, с пониманием, но на душе у меня остался неприятный осадок.

Избрали мы тогда Кандидо Мендеса. Крупный предприниматель, принадлежащий к "сливкам" бразильского общества (его брат - кардинал, а кто-то из представителей старшего поколения был премьером страны), Мендес построил и содержал на свои средства в Рио-де-Жанейро университет, в стенах которого укрывал от преследований хунты ученых левой ориентации. Позднее стал лидером социалистической партии, многие годы возглавлял совет социальных наук ЮНЕСКО. В моем представлении он олицетворяет лучшие черты не одного бразильского, а латиноамериканского характера. Скорее публицист, чем кабинетный ученый, свободно владеющий несколькими языками, красноречивый и обаятельный мастер компромисса, Кандидо был, пожалуй, лучшим президентом МАПН. Эти качества в сочетании с материальными возможностями обеспечили успех следующему после Москвы двенадцатому конгрессу, в котором участвовало уже свыше сорока советских ученых. По его окончании Кандидо закатил шикарный ужин в парке вокруг озера, с фейерверком, балетным дивертисментом и, разумеется, зажигательной самбой.

Кандидо учредил в ЮНЕСКО Совет старейшин и пригласил меня на его первое заседание в Париж. В свободный вечер состоялся званый ужин с участием именитых его приятелей - не то ученых, не то банкиров, я так и не разобрался. Разговор был светский, обо всем и ни о чем. Ресторан - не запомнил названия - походил на модель Версаля. Лепнина на стенах и потолке, люстры "Мария Терезия", старинные гобелены и подлинники французской школы. Вокруг нас суетились официанты, прибежал почтить важных гостей осанистый седовласый мэтр. Нам вручили меню, что-то в нем показалось мне странным. Ну, конечно, нет цен! Они могут себе позволить не интересоваться такими пустяками.

Сам я не жаден до денег. Не испытывал в них особой нужды, но и никогда не имел в излишке. Привык считать. Особенно в зарубежных поездках, когда надо из скудных командировочных удовлетворить заказы домашних да не забыть сувениры. Тут уж каждый жалкий цент на учете, не позволяешь себе выпить чашку кофе, сидя, как другие, на выносной площадке какого-нибудь ресторанчика и лениво глаза на уличную суету, или выпить кружку пива у стойки бара. Прочь соблазны! У советских собственная гордость, нас не проймешь дешевой рекламой сладкой жизни.

Вместе с моим верным соратником Вильямом Викторовичем Смирновым (сейчас он руководит политологическим отделом в Институте государства и права) я побывал почти на всех конгрессах МАПН, встречался и беседовал, иногда вступал в горячие споры с учеными из многих стран. Храню добрую память о Карле Дойче из США, Жане Лапонсе и Джоне Тренте из Канады, Марселе Мерле из Франции, Энрике Сарториусе из Италии. Да разве

упомнишь всех, с кем довелось заседать на научных симпозиумах и конференциях. Нигилисты и циники считают их одной из форм праздного времяпровождения. Действительно, отдача от них была не слишком велика, если мерить ее в научных открытиях и публикациях. Но ведь через такие "сидения", взаимное узнавание, диалог и складывались предпосылки для формирования некой универсальной политической теории, шла своего рода "глобализация политологии". Сказав это, слышу громкие возражения со стороны тех, кто превыше всего ставит национальную самобытность, в том числе в сфере науки. У меня на этот счет другая точка зрения. Политическая практика, институты могут быть эффективны только при условии их плотной "привязки" к особенностям той или иной страны, национального характера. Наука же тем ближе к истине, чем она меньше зависит от частных пристрастий - национальных или социальных.

В 70-е годы советская и американская ассоциации политических наук договорились провести несколько симпозиумов, с тем чтобы сблизить хотя бы понятийный аппарат и, если удастся, подход к некоторым узловым проблемам политической теории. Заседали поочередно у нас и в Штатах. На одной из таких встреч в старинном городке Вильямсбро, где какое-то время нашел убежище от преследования английских войск американский конгресс, обсуждали вопрос о легитимности и эффективности высшей власти. Американцы с жаром убеждали нас в преимуществах своей системы, основанной на свободных выборах. Расхваливать существовавшую тогда у нас практику избрания вождя десяти-пятнадцатью членами Политбюро язык не поворачивался, поэтому я предложил подойти к проблеме в более широком историческом плане и спросил наших коллег, кто из американских и советских лидеров заслуживает, по их мнению, быть признанным выдающимся. Посовещавшись, они назвали в СССР - Ленина, Хрущева и Горбачева, в США Рузвельта и Кеннеди. Кто-то из наших сказал, что они поскромничали, могли бы добавить со своей стороны еще и Вудро Вильсона - все-таки он может считаться учредителем Лиги Наций.

"Даже при этом, - заключил я, - ваша демократическая система и наша недемократическая осчастливливают народы хорошими правителями примерно с одинаковой регулярностью, ни больше ни меньше. Это можно объяснить только одним: настоящий выбор совершается не публично народом, а закрыто элитой, выдвигающей их из своего состава. То есть в конечном счете из нескольких тысяч могущественных людей, в первую очередь политических деятелей и капитанов индустрии, что еще более сужает возможность выбора и делает наши системы сходными хотя бы по результатам".

Если бы эта встреча состоялась теперь, я бы добавил, что события на постсоветском пространстве подтвердили мою гипотезу. Во главе всех вновь созданных суверенных государств встали те же, кто выдвинулся при советской власти. При том что были и время, и условия для альтернативных решений, нигде не нашлось достаточно сильных и авторитетных политических лидеров, чтобы соперничать с выдвиженцами советской поры - Шеварднадзе, Алиевым, Назарбаевым, Каримовым, Ниязовым, Акаевым. Оппозиционеры, вынесенные кое-где на вершину власти "народными фронтами" (Эльчибей, Гамсахурдия), быстро потерпели фиаско, обнаружив свою несостоятельность и неспособность конкурировать с бывшими первыми секретарями. Рахмонов в Таджикистане, хотя и пробился в последние годы, принадлежит к первой категории. Вроде бы единственным исключением должна быть признана Армения, но и здесь оба лидера, пришедших на "карабахской волне", Тер-Петросян и Кочарян, не сумели завоевать прочный авторитет, нация фактически вновь востребовала Демирчяна, и если б не злодейское его убийство, можно не сомневаться, что в скором времени он вернул бы себе положение первого лица. Тогда картина была бы завершенной.

Конгрессы, научные конференции - все это имело какое-то значение, но не могло отменить подозрительного отношения к политической науке. Мы с Бурлацким начали за нее ратовать еще в 50-е годы. После Московского конгресса Советская ассоциация учредила свои отделения во всех союзных республиках и многих крупных городах. Удалось наладить выпуск политологического ежегодника, "пробить" присуждение ученых званий по

политической науке. Но настоящий прорыв произошел, конечно, только с началом перестройки. Преподавание научного коммунизма в вузах постепенно было заменено курсом политологии, стали выпускаться профессиональные журналы, появились учебники и учебные пособия, в обилии присуждаются научные звания. С пугающей быстротой растет число специалистов разного профиля и журналистов, объявивших себя политологами. Насколько мне известно, в США их около 20 тысяч. Думаю, мы теперь переплюнули Штаты и вообще "впереди планеты всей". Разумеется, наплыв новобранцев не гарантирует высокого уровня исследований. Политологические поиски у нас носят преимущественно отвлеченный академический характер, плохо состыкованы с практикой, не подают ей звучных сигналов: что идет не так, как нужно поправить дело, с какого конца за это взяться. А ведь в этом и состоит главное предназначение всякой науки.

Не слишком ладно обстоит дело и с организационной точки зрения. Достигнув почтенного возраста, я охотно уступил место президента советской ассоциации Анатолию Васильевичу Дмитриеву с надеждой, что в новых, более благоприятных условиях САПН расправит крылья. К сожалению, этого не произошло. Все достижения прошедшего периода свелись к учреждению Академии политической науки. Созданная келейным способом, ничего нового и полезного она не могла принести. Затем и Дмитриев уступил место представителю следующего поколения Михаилу Васильевичу Ильину. При протекции Совета Федерации были проведены два конгресса политологов России. Мне показалось, на них преобладал конформистский дух, особенно противопоставленный в условиях глубокого политического кризиса, когда страна нуждается в правдивом и веском слове науки.

Своеобразным свидетельством того, что политология все еще остается полупризнанной в нашем обществе, служит отсутствие ее в перечне научных дисциплин, декларируемом руководством Российской академии наук. Неоднократно я поднимал этот вопрос в отделении философии, права, социологии и психологии, на встречах с президиумом Академии. Всякий раз меня благосклонно выслушивали, обещали распахнуть академические врата перед политологией, на том дело кончалось. Можно понять, почему правители, как я уже говорил, не слишком рвутся покровительствовать этой "зловредной" для них науке. Но почему от нее отворачивается сама Академия в лице доминирующих в ней физиков, химиков и прочих "нелириков"? Непостижимо.

В марте 1994 года я хотел говорить об этом на общем собрании, но не получил слова. Текст несостоявшегося выступления опубликовала "Независимая газета". Хочу привести несколько тезисов из него.

"Наша академическая наука напоминает старого джентльмена, изрядно поизносившегося и поиздержавшегося. Живет он впроголодь, но гордость не позволяет ему выйти на паперть с протянутой рукой. Поэтому чаще отсиживается в своей конуре. А если уж приходится появляться на публике, то тщательно латает дыры на прохудившихся штанах и шагает с поднятой головой: я еще ого-го-го!"

Стремление подать себя в виде, достойном наших великих предков, объяснимо и похвально. Есть, однако, одна опасность. Как бы в правительстве не приняли это за свидетельство того, что Академия процветает, по крайней мере не жалуется, что с наукой дело обстоит не так плохо, как с угледобычей, транспортом, здравоохранением, энергетикой, армией и денежным обращением. И, успокоенные тем, что ученые не собираются бастовать, срежут их бюджет еще на порядок (так, кстати, и произошло).

В сущности, речь идет о том, какой путь избрать для выживания и самосохранения нашей фундаментальной науки. Апеллировать к обществу, бить во все колокола или не шуметь попусту, не раздражать могущественную чиновную братию, а расположить ее к себе и тем самым выжать побольше для благого дела. В прошлом такая кабинетная стратегия была безотказной еще и потому, что в ведомствах всегда находились люди, желавшие быть причисленными к сонму "бессмертных".

Есть они и теперь, но с переходом к рынку произошла монополизация и девальвация академического звания. Теперь его, пусть не первой пробы, приобрести почти так же просто,

как, скажем, купить подержанный автомобиль. Правда, многочисленные новые академии фундаментальной наукой не собираются заниматься, да и не в силах. Но какое это имеет значение, если можно написать на визитке "академик". Чего ради благоволить и проявлять особое внимание к нуждам той из них, которая была учреждена Михаилом Ломоносовым.

Во вступительном слове президента Академии провозглашается неоспоримый принцип: она не должна принимать непосредственного участия в политической борьбе, ее долг помогать обществу и государству объективной экспертизой, предупреждать о вероятных последствиях принимаемых решений. Что же касается формы участия Академии в общественных и государственных делах, ее, так сказать, поведения, то рекомендуется "не делать резких движений". Совет превосходный для всех, и с ним можно согласиться, сделав лишь одну оговорку. Время от времени все-таки двигаться и подавать свой голос надо. Иначе ведь могут принять за покойника и в морг снести.

Опять-таки, тут нет никакой иронии, дело ведь слишком серьезное, наука обязана помочь обществу понять, что с ним происходит. Пока же политические партии ломают копья вокруг понятий капитализм и социализм, окончательно запутали народ, а наука отмалчивается. Массовая культура захлестывает сознание молодого поколения, а наука отмалчивается. Уже освящают кабинеты иных членов правительства, как бы не дошло до того, что начнут кадиллом очищать от чертей научные лаборатории. Из всех щелей лезет обскурантизм: астрологи, колдуны, вещуны и иностранные проповедники завладели телеэкраном, а мы стесняемся противопоставить им слово критического разума. Коммерция, богословие, политика завоевали себе выход в эфир, ставший самым могущественным инструментом влияния на умы, а науку лишили практически единственной постоянной рубрики "Очевидное - невероятное", которую так умело многие годы вел С.П. Капица.

Спрашивается: неужто и в этом отношении не делать резких движений, не требовать своего законного места в средствах массовой информации? Разве Академия наук не должна была выступить с протестом, когда в новую Конституцию записывалась норма, фактически ограничивающая право граждан на всеобщее бесплатное образование? Вправе ли Академия молчать, когда на ее глазах происходят упадок и деградация многих учреждений, составлявших славу отечественной культуры? Не будет ли в конце концов это затянувшееся молчание принято за отказ Академии от своей исторической роли - быть коллективным хранителем российского разума?"

Едва ли есть нужда говорить, что в 2000 году положение науки, по сравнению с 1994 годом, не стало многим лучше, а причину упадка, если не сказать вырождения, следует искать в 91-м году. Принципиальный вопрос о статусе академической науки в России решался тогда долго и мучительно. Выступая на одном из последних заседаний Государственного совета СССР, президент Академии Гурий Иванович Марчук объяснил главам республик, какой невосполнимой потерей для всех грозит обернуться ее распад. Все присутствующие согласились, что необходимо сохранить Академию как общесоюзное учреждение и в новом конфедеративном государстве. Но тогда уже всю была раскручена пружина российского сепаратизма. Ельцин и его команда методически разрушали союзные структуры, отбирая у бывшего Центра одну за другой отрасли промышленности, банки, культурные учреждения. Дошла очередь и до Академии. Ее тогдашнее руководство едва ли не коллективно ополчилось на своего президента, требуя объявления Академии российской. Думаю, при этом немалую роль сыграли щедрые посулы Белого дома и опасения остаться без средств существования. Как бы то ни было, случилось неизбежное: вместе с распадом Союза ушла в небытие и союзная Академия.

Все это было бы не так страшно, если бы на ее месте появилась прежняя Российская академия наук в ее уникальном качестве. Дело обернулось иначе.

Уже в сентябре 1991 года в результате соглашения Горбачева с Ельциным мне было поручено на рабочем уровне подготовить предложения о судьбе Академии. Вооружившись позицией Марчука, я отправился в Белый дом для переговоров с Г.Э. Бурбулисом. Со мной был Юрий Михайлович Батурин, со стороны Бурбулиса - С.М. Шахрай, С.А. Станкевич,

член-корреспондент Академии яростный бородатый эколог А.А. Яблоков и заместитель министра иностранных дел Шелов-Коведяев. Вначале обсуждались вопросы Союзного Договора - в то время российские лидеры делали вид, что все еще намерены содействовать его заключению. Затем перешли к Академии, и наши партнеры раскрыли свой замысел: "рассредоточить научные силы страны в целях творческого соревнования". Говорили примерно так:

"Что мы носимся с Академией как с писаной торбой! Она у нас превратилась из научного центра в заурядную бюрократическую структуру, тяжеловесную, неповоротливую, неспособную откликаться на веяния времени. Надо перенести центр тяжести на университетскую науку, как это делается во всех цивилизованных странах. Речь не о том, чтобы ликвидировать Академию, пусть остается, но следует отобрать у нее большинство институтов, пустить их в самостоятельное плавание. А кроме того, дать возможность другим группам ученых создавать свои академии. Пусть и на академическом поле будет широкая конкуренция".

Я решительно возразил, сказав, что эта концепция губительна для российской науки. Прежде всего несправедливо мнение, будто она, как и все общество, переживает застой или находится в глубоком кризисе. Напротив, повсюду в мире высоко ценят достижения нашей фундаментальной науки, и это в первую очередь заслуга Академии, той структуры, которая была создана в стране два века назад и сохранилась при советской власти. Как же можно разрушать уникальную организацию, на которую с завистью поглядывают из-за рубежа? Другой вопрос, что в Академии действительно много бюрократизма, ее структура чересчур громоздка. Тут надо подумать и провести нужные преобразования. Не может быть возражений и против развития университетской науки. Одно другому не мешает.

Эти доводы произвели некоторое впечатление на Станкевича и Шахрая и ровно никакого на Бурбулиса и Шелова-Коведяева. Находясь в зените фаворитизма, фактически полновластно в тот момент распоряжаясь государством, Бурбулис просто не желал слушать ничего, что противоречило его замыслам. А замыслы эти сводились к одному - рабскому копированию западной системы во всех ее деталях. Человек чрезвычайно амбициозный, склонный к риторике, за пару лет капризом судьбы вознесенный из скромного положения преподавателя научного коммунизма на вершину власти, он просто купался в сознании собственного всемогущества и, как мог, его демонстрировал.

Мы сидели в большом просторном кабинете в здании Белого дома за длинным столом, а в другом углу на диване и в креслах расположились представители Шаймиева, которые вели с Центром переговоры об особом статусе Татарстана. Так вот, Бурбулис демонстративно переходил от одного стола к другому, выслушивал для приличия одну-две реплики, после чего вторгался в разговор с безапелляционными суждениями. А это ведь было еще за пару месяцев до Беловежской Пуши, когда существовал Советский Союз и "россияне" имели дело с представителями главы Союзного государства.

В конце концов мне надоело это представление, и я сказал, что прошу сосредоточиться на одном предмете. Если у Геннадия Эдуардовича нет времени, лучше перенести наше обсуждение на другой день, но безответственно решать вопрос об Академии - значит совершить настоящее преступление, потому что это одно из самых великих достояний России. Это несколько остудило Бурбулиса, он даже полуизвинился за то, что "вынужден" одновременно с переговорами заниматься неотложными государственными делами, и заверил, что у российского руководства нет намерений разрушать Академию. В конце концов решили встретиться еще раз, чтобы определиться более конкретно. Но этой встрече уже не суждено было состояться.

Спустя несколько лет передача "Как это было" свела меня с Бурбулисом и Шушкевичем. Последний был агрессивен, доказывал правомерность "исторического акта", который они с Ельциным и Кравчуком учинили в Беловежской Пуще. Бурбулис, напротив, держался пассивно, даже не возразил, когда я характеризовал их деяние как преступный заговор и государственный переворот. Не думаю, что причиной этого послужили угрызения

совести, припозднившееся понимание своей ответственности за черное дело. Скорее, не очень хотелось обелять шефа, который нанес ему глубокую обиду, вышвырнув из своей команды, как впоследствии и всех других фаворитов. Он пытался выгораживать себя, ссылаясь на то, что решение было принято "большой тройкой" во время долгого сидения в бане. Мне пришлось напомнить, что при его непосредственном участии еще в 90-м году начались интриги по сколачиванию так называемого четвертного союза (Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан) в противовес инициированному Горбачевым процессу подписания нового Союзного Договора всеми республиками. А Егор Гайдар и Сергей Шахрай оспаривали друг у друга "приоритет", утверждая, что проект Беловежского соглашения был у них в кармане. В чем именно - вот вопрос. Теперь и эти "беловежцы" предпочитают уклоняться от подобной чести. У победы, как говорят, много родителей, поражение - сирота.

Весной 99-го года мне удалось наконец прорваться на академическую трибуну: благодаря заступничеству Владимира Николаевича Кудрявцева предоставили, как редко кому из членкоров, слово на годичном собрании. В первой его части я сказал о мытарствах политологии, о том, что даже теперь, став самой востребованной из общественных наук, она все еще остается на "периферии" и, пока Российская академия наук не освятит своим решением введение ее в научный российский пантеон, будет находиться на положении приживалки.

Далее я сказал дословно следующее.

"Академия, как и вся наша наука, испытывает тяжелейшее безденежье, вынуждена выпрашивать ассигнования у правительства, которое само сидит по уши в долгах и имеет обязательства, пожалуй, более срочные, перед миллионами людей, месяцами не получающих зарплату. По некоторым данным, эти долги составляют уже порядка 60 миллиардов, так что рассчитывать на большие поступления из этого источника не приходится.

Между тем деньги есть, но не у Академии, а у одного из ее членов. Две недели назад Борис Абрамович Березовский в интервью газете "Файнэншл таймс" подтвердил, что его личное состояние приближается к 3 млрд. долларов. Среди первоисточников этого состояния - перепродажа автомобилей "Жигули", распространение акций концерна "АВВА", действующего по образцу безвозвратной "пирамиды" Сергея Мавроди, и скупка за бесценок многих предприятий, в первую очередь нефтяного комплекса.

Березовский недавно высказал интересное соображение о том, как должна строиться наша политическая система. В интервью по телевидению он объяснил, почему нельзя голосовать за Юрия Михайловича Лужкова в качестве следующего президента России. Оказывается, тот грозит пересмотреть итоги приватизации, а, по мнению Бориса Абрамовича, это непрактично, несправедливо, неэтично и даже опасно. Но может быть, тогда лучше Березовскому отдать если не все три, то два с половиной миллиарда долларов Российской академии наук? Академия положила бы эти деньги в банк и получала в виде процентов около 50-70 млн. долларов ежегодно.

Я не шучу, рано или поздно кто-то из наших нуворишей должен начать движение "Миллионы назад - народу!" Я сам держатель трех акций "АВВА", т. е. как бы совладелец этого концерна, и готов передать свою собственность в пользу Академии наук. Думаю, так поступят и остальные.

Если Борис Абрамович как интеллигентный человек решится на такой поступок, ему надо поставить бюст в Академии с надписью: "Величайшему алхимику всех времен, научившемуся делать золото из воздуха и вернувшему его людям".

Эту реплику встретили аплодисментами. Президент Юрий Сергеевич Осипов так откомментировал мое выступление: "Георгий Хосроевич, конечно, прав в том, что касается политологии, а Академии наук следует более активно привлекать спонсоров к финансированию своей деятельности".

Ни одна газета, падкая на сенсации, не осмелилась опубликовать мое выступление, поэтому я и привел его здесь целиком.

Березовского сравнивают с Распутиным. Тот был темным, неграмотным мужиком, что,

конечно, не оправдывает царя и царицу, но в какой-то мере извиняет самого Распутина. А что может быть оправданием для члена-корреспондента Российской академии наук, который мошенническим путем создал огромное состояние и не сделал ни одного полезного для страны дела - не построил какого-нибудь завода, не дал денег на оборудование больницы, не пожертвовал десяток миллионов "зеленых" в фонд помощи беспризорным детям. Все, что он делает, направлено на одно - накопление своего несправедливо нажитого богатства.

Академия наук Советского Союза выстояла против мощного прессинга ЦК КПСС и не позволила исключить из своих рядов академика Сахарова. Российская академия наук никак не выразила своего отношения к проделкам позорящего ее Березовского. Она погрязла в конформизме.

А в Академии наук,  
Где в прошлом заседал Дундук,  
Теперь, с улыбкою бесовской,  
Борис Абрамыч Березовский.

Но еще не конец истории. Воспрянет Россия, воспрянет с нею и российская наука.

Ассоциация, Академия - все это важные вехи в моей жизни. Но как мне оценить собственное научное творчество?

Я не строю иллюзий. Написав два десятка монографий и брошюр, сотни статей, понимаю, что большинство из них принадлежит к "временкам", как товар, служивший удовлетворению какой-то потребности и не оставляющий после себя следа. Некоторым утешением может служить то, что такова общая участь девяти десятых, если не больше, научных поисков. Лишь ничтожная их часть, принадлежащая гениям, удостоивается вечности, на худой конец - исторической памяти.

Поэтому я осмеливаюсь оценивать свои труды не в отношении всей науки, а в отношении друг друга. Из того, что мне лучше удалось, назову "Фиаско футурологии", "Грядущий миропорядок", "Цену свободы", "Откровения и заблуждения теории цивилизаций", эссе, представленное на конкурс "Освободить прошлое от будущего и будущее от прошлого?".

Ну, а если говорить о главном уроке всех моих научных занятий, он сводится к простой мысли: как человек по природе своей обречен метаться между полюсами добра и зла, сострадания к ближнему и эгоизма, так и общество вынуждено без устали искать равновесие между свободой и равенством, рынком и планом, частными интересами и коллективными потребностями, диктатурой и демократией. А достигнув такого равновесия (или посчитав, что оно добилось этой цели), способно удержать его лишь на короткий срок, как нельзя держать в покое маятник часов, не остановив весь механизм.

Скажу и о своих научно-фантастических произведениях. Я не отношу их к художественной литературе да и вообще никогда не считал научную фантастику видом литературы. Рей Брэдбери не фантаст, а такой же писатель, как Эрнст Гофман или Николай Гоголь. Станислав Лем не писатель, а такой же ученый-фантаст, как Артур Кларк или Иван Ефремов. У научного фантаста героем является мысль, а не человек. Попробуйте вспомнить, как звали уэллсовского "путешественника во времени" и каким был его характер. Иногда хорошему фантасту удастся чуть-чуть стать писателем, а писателю - научным фантастом. Но это лишь подтверждает правило.

Я никогда не умел описывать характеры, но кое-какие мысли мне приходили в голову. Например, мысль о том, что, если профессионализация и дальше пойдет как до сих пор, неизбежно настанет время, когда сложатся профессиональные языки и агрономы перестанут понимать речь математиков, а математики агрономов. Об этом мой роман "Нет повести печальнее на свете".

Или другая мысль - накопление информации нынешними темпами логически должно сопровождаться утратой огромного массива ценностей цивилизации. Об этом рассказ "И деревья как всадники".

Ну, а самым удавшимся своим произведением этого жанра я считаю пьесу "Шах и мат",



сюжет которой уже излагал. Михаил Александрович Ульянов вроде бы хотел ее поставить у себя в театре. Это ведь "вахтанговская" по театральной стилистике пьеса, ее надо ставить как "Турандот". Послал ее Г.А. Товстоногову, А.А. Гончарову, Б.Н. Полевому, дал читать Зорину. Все как один усмотрели сходство с фантазмагориями Шварца, но режиссеры, похвалив за литературную основу, усомнились в возможности ее сценического воплощения. Приведу отзыв Товстоногова - мне кажется, он интересен, безотносительно к моей пьесе.

Уважаемый Георгий Хосроевич!

Пьесу прочитал с удовольствием, нахожу ее чрезвычайно остроумной. В ней есть игра ума, логика и фантазия, что я ценю чрезвычайно. Но мне она кажется литературной, вернее, пьесой для чтения. А может быть, это впечатление идет от того, что лично я не знаю, как эту вещь воплотить на сцене. Во всяком случае, моя фантазия в этом направлении не заработала. Тут очень многое зависит от убежденности, личной убежденности режиссера.

Есть много прекрасных пьес, которые мне ставить не хочется, хотя отношусь я к ним с огромным уважением и люблю. В частности, до сих пор не могу решиться на личную встречу с драматургией Евгения Шварца, которую ставлю необычайно высоко. К Вашей пьесе отношусь примерно так же. Это вопрос глубоко индивидуальный. И если Вы захотите, при личной встрече готов развить эту тему.

С искренним уважением

Г.Товстоногов.

Мы не встретились, я отказался от дальнейших попыток пристроить "Шах и мат". Без всякого моего вмешательства ее поставили в Театре русской драмы в Ереване, но, кажется, не слишком удачно. Все-таки не теряю надежды, что когда-нибудь она увидит свет ramпы.

С Брежневым

12 сентября 1999 года в программе "Итоги" Евгений Киселев огласил результаты гипотетического опроса: кого бы выбрал в президенты российский избиратель, если бы наряду с нынешними лидерами он мог отдать предпочтение кому-нибудь из предыдущих, начиная с Ленина. Любопытный эксперимент обернулся сенсацией: предпочтение с равными показателями (12%) было отдано Брежневу и Андропову.

Проливает ли это какой-то свет на личность Леонида Ильича? Ровно никакого. Уже сам факт одинаковой оценки совершенно разных по характеру и манере властвования генсеков свидетельствует, что в данном случае выражалась ностальгия по мирному, относительно благополучному периоду советской жизни. Обратное тому подтверждение - всего 2 процента, отданных Ленину. Что это не оценка личности - очевидно. Во всех проводившихся до сих пор опросах Ленин безоговорочно признается величайшим русским политиком XX века. Но видеть такого человека во главе государства не хотят, потому что боятся революции и потрясений.

Мы привыкли говорить "во времена" Ивана Грозного или Петра I, "при" Александре II и Сталине, но далеко не каждый правитель олицетворяет свою эпоху в такой же мере, как эти деспоты и реформаторы, с которыми связаны крутые повороты в истории страны. Правомерно ли, в частности, судить о 1964-1982 годах как о "времени Брежнева"? Здесь мы сталкиваемся с явным парадоксом. В то время как значительная часть общества отдает предпочтение именно этому времени, мало кто почтительно отзывается о нем как о лидере. При жизни его не боялись, но и не уважали, именовали "бровеносцем", негодовали и издевались над детским пристрастием к орденам и Золотым Звездам героя. После смерти вспоминают больше немого, плохо соображающего и заговаривающегося старца, мертвой хваткой цепляющегося за трон. Анатолий Рыбаков, раздосадованный тем, что не успел при Хрущеве опубликовать своих "Детей Арбата", а при Брежневе это стало невозможным, сказал, что тот "18 лет опускал страну в трясину"\*.

Эта характеристика не совсем справедлива. Она не учитывает изменений, происшедших с Брежневым на протяжении его пребывания у власти. Есть ведь некая общая закономерность, делящая всякое правление на две части - восходящую и нисходящую. За редкими исключениями, все правители (даже Калигула) начинали с исправления ошибок и

преступлений своих предшественников, старались, как могли, создать о себе доброе мнение в глазах подданных и сограждан. И опять-таки, почти все раньше или позже отступались от первоначальных добрых намерений, то ли сталкиваясь с непреодолимыми препятствиями, разочаровываясь в невозможности реализовать свои замыслы, то ли в силу деградации личности, развращаемой властью. Хрущев как-то напомнил образное народное выражение по этому поводу: "Идти на ярмарку и с ярмарки". И сам он, и пришедший ему на смену Леонид Ильич не избежали такой участи.

Мне довелось впервые познакомиться с ним незадолго до "воцарения". В сентябре 1964 года в отделе как всегда началась подготовка к поездке советской делегации на очередную годовщину Германской Демократической Республики. Мне было поручено писать проект выступления для главы делегации, и вначале я взялся за это, не представляя, для кого именно пишу. Откровенно говоря, это самый неприятный вариант, с каким приходилось сталкиваться. Все-таки намного легче готовить текст для произнесения человеку, о котором имеешь хоть какое-то представление. Привыкая, уже заранее знаешь, что ему придется по душе, а что будет отвергнуто с порога, так что нечего и пытаться вписывать в речь. Какая-то часть, разумеется, остается под вопросом, но на 80 процентов "спичрайтеры" ориентируются на вкусы и пристрастия заказчика.

А впрочем, в данном случае для меня мало что изменилось и после того, как стало известно, что делегацию КПСС возглавит Председатель Президиума Верховного Совета СССР Брежнев. В то время выступал он нечасто, был, как и все, в тени генсека. Ни я, ни мало кто еще в отделе знал о нем как об ораторе. Кое-что стало проясняться, когда меня пригласил к себе помощник Брежнева Цуканов. Встретил радушно, и мы с ним засели за многочасовое сидение над текстом, во время которого делались отвлечения на всевозможные темы. Быстро вошли друг к другу в доверие.

В моих глазах Георгий Эммануилович остается самым добропорядочным из всего окружения Брежнева. Не помню уж, тогда или в другой раз рассказывал, как "угодил" в помощники. Инженер по профессии, он продвинулся до директора крупного металлургического комбината в Днепропетровске и приглянулся секретарствовавшему там в то время Брежневу. Любил свое дело и вовсе не собирался менять его на аппаратную работу, когда вдруг Леонид Ильич срочно вызвал его в Москву и предложил стать помощником по Политбюро, то есть фактически главным. Он отнекивался, ссылаясь на свою узкую специализацию, не подходящую для столь важной работы. В действительности претила мысль идти в помощники, даже зарплата оказалась меньше директорских заработков с премиальными. Но отговорки были решительно отклонены, и ему, как "солдату партии", пришлось переехать в Москву и стать самым доверенным человеком у нового лидера. Таким, как Поскребышев у Сталина.

Людей, которых судьба отметила таким образом, нельзя назвать фаворитами, несмотря на их исключительную близость к "Самому". Их не любили, не баловали, не прислушивались к ним - им доверяли. Доверяют тоже по-разному. В большинстве случаев, предпочитая подстраховаться, восточные владыки доверяли свои гаремы евнухам, а современные политики нередко прячут в сейфе компромат на свое окружение в качестве гарантий от предательства. Насколько я понимаю, Брежнев доверял Цуканову как порядочному человеку, и не ошибся. Пожалуй, мало кто, как Георгий Эммануилович, посвящен в закулисные, в том числе неприглядные стороны жизни своего шефа, знает о его страстях и страстишках. Но он никогда не позволял себе откровенничать на эти темы даже в кругу близких товарищей. И не только при жизни шефа, когда это могло плохо для него кончиться, но и после его смерти, когда приставали журналисты, алчущие пикантных фактов из биографии ушедшего вождя, или издатели, настойчиво уговаривавшие бывшего помощника написать книгу воспоминаний. Живет он в последние годы плохо, на одну пенсию, но решительно отказывается от этих предложений.

Грешным делом, и я, как-то встретившись с ним на Арбате, спросил, почему теперь, когда чуть ли не все, кто издавна видел Леонида Ильича, пишут о нем книги, не возьмется

за это дело он, знавший его, может быть, лучше всех.

- Знаешь, Шах, - возразил он, - я не могу, не имею морального права его подвести даже после смерти. Если бы стал говорить, пришлось бы высказать многие неприятные для его памяти вещи. А мне этого не хочется.

К чести Георгия Эммануиловича, он остался лояльным к своему шефу, несмотря на то что был подвергнут опале, фактически полуотстранен от дел в последние годы жизни Брежнева. По рассказу самого Цуканова, это отчуждение произошло не сразу. Четко улавливая настроение своих сподвижников, генсек с какого-то момента почувствовал, что главный помощник неодобрительно относится к принявшему непомерные размеры восхвалению его персоны. Однажды даже набрался смелости и, естественно из лучших побуждений, посоветовал не приближать льстецов, которые его лишь компрометируют своими панегириками и подношениями. Вместо того чтобы поблагодарить за добрый совет, Леонид Ильич принял это за проявление недостаточной преданности. Начал сторониться, перестал давать "деликатные" поручения. В конце концов - возвел в ранг главного доверенного лица Константина Устиновича Черненко. В отличие от Цуканова последний был предан как пес, не позволяющий себе даже тявкнуть на хозяина. Итог известен: Цуканов, стартовавший с более выгодной позиции, так и остался в положении опального помощника, Черненко, в награду за личную преданность, был поднят на самый верх и даже на короткий срок унаследовал пост генсека.

Сопровождая Брежнева в Берлин, ни я, ни мои коллеги из отдела не знали о предстоящем крутом повороте в нашей политической жизни. Судя по рассказам о том, как произошло отстранение Хрущева от власти, в подготовке этого "легального переворота" участвовало немало людей. Но они умели хранить секрет. Во всяком случае, мы не догадывались о происходящем даже после того, как Брежнев был неожиданно отозван в Москву. Кому-то из членов делегации было поручено продолжить поездку по ГДР в соответствии с ранее намеченной программой. А я, прилетев домой и выйдя на другой день на работу, узнал, что летал с новым генсеком.

Рой Медведев полагает, что Андропов не принимал деятельного участия в снятии Хрущева. Может быть, он действительно не был в числе главных заговорщиков, но уж во всяком случае принадлежал к посвященным и сочувствующим. Полагаю, вовлек его Александр Николаевич Шелепин, с которым Андропов находился в то время в приятельских отношениях. Своеобразным отражением этого явилось довольно широкое представительство так называемых "комсомолят" в нашем отделе. Среди них особенно выделялись заместитель заведующего отделом Николай Николаевич Месяцев, заведующие секторами Владимир Попов и Леонид Мосин.

Месяцев, кажется на другой день после избрания нового генсека, был назначен председателем Комитета по телевидению и радиовещанию - в соответствии с ленинским заветом при захвате власти брать в первую очередь под контроль средства связи. Продержался он там ровно столько, сколько сумел сохранить свой "наступательный порыв" Шелепин, чьим выдвиженцем он был.

С последним мне пришлось встретиться только раз на Карловарской конференции европейских компартий. В гостинице, целиком отданной под нашу делегацию, была просторная комната на первом этаже, где в свободное время собирались помощники и консультанты - пили пиво, обменивались впечатлениями. Присоединившись к нам, Александр Николаевич держался на равных, нарочито подчеркивал "родство душ" с цековскими интеллигентами. Он здраво рассуждал на злободневные политические темы, участливо расспрашивал нас о житье-бытье. Но мне и другим не очень понравился. Может быть, тому виной холодные глаза, казавшиеся настороже даже тогда, когда он смеялся. А возможно, сказалось предубеждение, которое мы к нему питали.

Тогда ведь было распространено мнение, что Шелепин, взявший на себя главную роль в свержении Хрущева, рассматривал Брежнева как промежуточную фигуру, которую ему легко будет через пару лет устранить и самому взойти на престол. Этого откровенно боялись,

поскольку уже в то время не лучшим образом зарекомендовала себя его "команда" - видные комсомольские работники, привыкшие с юных лет раскатывать на казенных "Волгах", путешествовать по заграницам в составе делегаций ВЛКСМ и устраивать гулянки за казенный счет. Так ли это было на самом деле, но у всех у нас было убеждение, что "шелепинцы" рвутся к власти, а захватив ее, будут править по-сталински. Сейчас я подозреваю, что эта версия сознательно распускалась противниками Шелепина и в конечном счете помогла оттолкнуть от него интеллектуальную часть партийной элиты. Конечно, никто не поручится, какой правитель мог получиться из Александра Николаевича, а вот Леонид Ильич действительно возродил сталинскую систему, хотя и в смягченном варианте, без репрессий.

В отделе у консультантской группы было довольно жесткое противостояние с "комсомолятами". Андропов на партийных собраниях избегал становиться на позиции одной из этих групп. После того как Брежнев окончательно взял верх над Шелепиным, убрал со всех более или менее значимых постов его сторонников, самого "задвинул" на второстепенный участок, потом вовсе вывел из руководства, его бывшие соратники лишились былого задора и все это противостояние постепенно сошло на нет. А с ним и неприязнь, которая была между нами. С Володей Поповым и Леней Мосиным у меня установились дружеские отношения, продолжавшиеся и после того, как оба ушли из отдела - первый в заместители министра культуры, второй - в заместители председателя Госкино. Это был не единственный на моем веку пример того, как не принципиальные различия в политических взглядах, а "кучкование" вокруг тех или иных деятелей настраивает на враждебный лад людей, у которых нет для этого никаких оснований. С тех пор я зарекался принимать на веру чьи-то "науськивания" и питать неприязнь к кому-то лишь на том основании, что, по слухам, он "чей-то человек".

Но тогда, насколько мы опасались "железного Шурика" (такая кличка закрепилась за ним в партаппарате), настолько же большие надежды связывали с Леонидом Ильичом. В нем видели прямого продолжателя раннего Хрущева, который не позволит окончательно утратить не слишком значительные, но все еще ощутимые следы XX съезда, и в то же время исправит ошибки и благоглупости, которые нагородил Никита Сергеевич, "идя с ярмарки". Разумеется, в немалой мере эти ожидания подкреплялись тем, что новый генсек и его помощники с первых своих шагов привлекли к написанию политических заявлений и документов Андропова и нашу консультантскую группу. В октябре мы почти безвылазно просидели в кабинетах помощников на пятом этаже, работая над докладом Брежнева на Торжественном заседании в Кремле 6 ноября 1964 года.

Важно не то, что мы и другие соавторы этого документа старались в него вложить, а то, что новое руководство сочло возможным там оставить и прокламировать в качестве своей политической линии. Так, с явным намеком в адрес Хрущева цитировался Ленин: "У нас ужасно много охотников перестраивать на всяческий лад, и от этих перестроек получается такое бедствие, что я большего бедствия в своей жизни и не знал"\*. Вслед за этим говорилось о необходимости осуществлять меры по совершенствованию руководства народным хозяйством, делая это "осмотрительно, без суеты и поспешности"\*\*. Здесь же содержалась похвала XX съезду и доброе слово в адрес интеллигенции с обещанием выдвигать лучших специалистов на руководящую работу. Обращаясь к миру, новый генсек заявил о готовности покончить с ядерным оружием, "да и со всяким оружием, если на это пойдут другие государства". Он предлагал поощрять подсобные хозяйства, делать упор на принципах материальной и моральной заинтересованности, продолжить строительство жилья и т. д.

За этой "декларацией о намерениях" быстро последовали конкретные меры. Ноябрьский пленум ЦК 64-го года принял решение об объединении промышленных и сельских областных и краевых парторганизаций, устранив хаос, возникший из-за их неожиданного разделения. На пленуме 24 марта 65-го года были снижены недостижимые планы производства сельхозпродукции; вводилась твердая норма для республик и областей,

но разрешалось свободно продавать то, что произведено сверх нее; повышалась надбавка к закупочной цене на пшеницу и рожь (на 50%); списывалась задолженность колхозов. Чуть позже, 8 мая 65-го года, в докладе по случаю 20-летия Победы Сталин упоминался без критики, но "подтверждалась решимость последовательно осуществлять генеральную линию, выраженную в решениях XX и XXII съездов, в Программе КПСС"\*. Наконец, на пленуме 29 сентября 65-го года фактически провозглашалась программа экономической реформы в промышленности - улучшение планирования и управления, стимулирование производства. На первый план хозяйственной деятельности выдвигались хозрасчет, использование таких категорий, как цена, прибыль, кредит.

Вся эта скучная политико-экономическая материя 40-летней давности мало кого интересует. Даже профессиональные историки судят о времени Брежнева, за которым прочно закрепилось понятие "застойного", совсем по другим показателям и приметам. Но ведь никуда не уйдешь от того, что и у этого упадка было неплохое начало. Продолжи тогда сравнительно не старый, еще полный энергии генсек начатый курс, своего рода русский вариант дэнсяопиновских реформ, вполне возможно, что сейчас мы жили бы в Советском Союзе, не уступающем по мощи и благоденствию другим развитым странам мира.

Увы, этому не суждено было случиться. Помешало многое: паническая боязнь после сумбурных реформаторских опытов Хрущева вновь "наступить на грабли", отойдя от привычных, десятилетиями проверенных и не так уж плохо себя зарекомендовавших методов управления. Сказался страх партгосноменклатуры хоть в малой степени выпустить из рук контроль над общественным богатством. Тогда ведь, в отличие от перестроечных времен, о необходимости нового нэпа осмеливались говорить лишь в узком кругу специалистов. Не говоря уж о рынке, концессиях, офшорных зонах и прочих ужасах. Однажды, рассказывал Богомолов, он осмелился на совещании в Совмине сказать о признаках инфляции в нашем денежном обращении и встретил гневную отповедь Косыгина: "Глупости, в плановом хозяйстве нет и не может быть никакой инфляции!"

Пожалуй, еще больше помешали реформам положительные факторы. Сравнительно легкий доступ к энергетическому сырью в сочетании с высокими мировыми ценами позволял продержаться за счет нефтедолларов. Не было официально признано, что возможности экстенсивного развития в стране исчерпаны. Словом, при немалом числе недовольных, критически настроенных или просто сомневающихся людей все-таки не стала еще общей мысль "так дальше жить нельзя". Прожить так еще несколько лет можно было, не отдавая себе отчета в том, что это жизнь под негласным девизом: "После нас хоть потоп".

При существовавшей у нас политической системе только всемогущий лидер имел возможность дать старт реформам, позволив тем самым сделать это исподволь, заблаговременно, без спешки, т. е. всего того, что губительно сказалось позднее на перестройке. Брежнев на это не отважился. Не потому, что вовсе не понимал необходимости большой реформы. Он отнюдь не был лишен хозяйственной сметки и обладал всей информацией, в том числе тревожной, предупреждавшей о приближении кризисной волны. Вдобавок его убеждали не терять времени дальновидные экономисты, опытные хозяйственники и даже некоторые из ближайших соратников, в первую очередь тот же Косыгин. Под этим давлением он несколько раз возвращался к мысли о необходимости реформ, давал соответствующие поручения, загорался, а потом все-таки отступал.

Вот и верь после этого в теорию, согласно которой роль личности ограничивается неумолимым действием законов общественного развития. Никаким таким законом не было предписано, чтобы в 64-м году на посту генсека оказался именно Брежнев, человек, в общем, неплохой, незлой, неглупый, но властолюбивый и сластолюбивый, безмерно тщеславный и падкий до лести. Это объясняет, почему благими намерениями, заявленными на заре брежневской эры, оказалась вымощенной дорога к великим потрясениям нашего общества и государства.

Брежнев никогда не был харизматическим лидером и не внушал "массам" особой любви, как, впрочем, и ненависти. В лучшие времена ему симпатизировали, в худшие - над

ним потешались. Но в чем ему бесспорно нельзя было отказать - в личном обаянии. Сколько ни пришлось мне видеть его, никогда не слышал, чтобы он на кого-нибудь поднял голос, был с кем-нибудь груб, отmaterился, как иной раз позволяют себе вполне интеллигентные люди.

Маршрут одной из поездок нового генсека пролегал на совещание ПКК государств - участников Варшавского Договора. Делегация от СССР была более чем внушительной, поскольку Брежнев не успел еще укрепиться на троне. Разумеется, никто не посмел бы оспаривать право генерального на последнее слово при решении любого вопроса - оно принадлежало не столько человеку, сколько креслу. Но малый стаж в новой роли еще не позволял ему чувствовать себя богдыханом. Другие "небожители", только-только его избравшие, т.е. сами поставившие над собой, еще видели его всего лишь первым среди равных. Особенно долго пребывал в таком заблуждении Подгорный, считавший, видимо, что своим участием в низвержении Хрущева принес такую жертву, за которую Брежнев должен быть ему благодарен пожизненно. На ПКК он приехал со своей свитой, не уступавшей окружению главы делегации, хозяева вынуждены были отвести ему отдельный особняк.

Мы сидели в комнатке на первом этаже рядом с кордегардией, куда без конца входили и выходили какие-то люди ("сто тысяч одних курьеров!"). Неожиданно вошел Брежнев. Поздоровался, стрельнул у кого-то закурить и велел Александрову читать вслух шифровки, поступившие на его имя. На слух они воспринимались непривычно. Дело в том, что в международные отделы поступала информация из-за рубежа - от послов, резидентов разведок - да и то не вся. А тут шли потоком сообщения с мест. Больше всего было обращений от руководителей республик и областей со слезной просьбой помочь - деньгами, материалами, льготами, советами. Местные боссы жаловались на министров, иногда на "бессовестных" соседей, кое-кто просто заверял в верноподданнических чувствах.

В телеграммах по линии КГБ попадался и компромат. Теперь этим никого не удивишь, очередную порцию разоблачений можно с гарантией получить ежедневно, достаточно включить телевизор. Тогда "жареные факты" воспринимались как сенсация. Смутно догадываясь, что не все ладно в "датском королевстве", мы не могли вообразить, насколько далеко уже в то время зашло разложение партийно-государственной элиты. А ведь самые громкие скандалы, вроде "рыбного дела" или грандиозной липы с хлопком, были еще впереди.

Александров-Агентов, закончив с кучкой телеграмм с мест, перешел к депешам Секретариата ЦК. Подавляющее их большинство составляли кадровые назначения, требовавшие подписи генсека. Значительную долю занимали всевозможные запросы: можно ли выделить из госрезервов столько-то тысяч тонн мазута, чтобы обеспечить бесперебойную работу электростанции на Дальнем Севере; можно ли дать согласие ЦК Компартии Узбекистана на выпуск республиканской пионерской газеты, которая сейчас выходит на узбекском, также на русском языке для многочисленных русскоговорящих ребят; можно ли включить в государственный план строительство кинотеатра, на чем настаивают партийные органы Чувашии; можно ли наметить запуск очередного космического корабля... можно ли, можно ли?

Брежнев жестом дал понять Александрову: хватит! Он обхватил голову руками и, покачиваясь, проговорил: "С ума сойти можно, никто не хочет брать на себя ответственность, все всё валят на меня".

Со всех сторон сочувственно откликнулись: "Да, уж вам достается!", "У нас ведь, Леонид Ильич, привыкли прятаться за спиной начальства". От этих спонтанных сочувственных восклицаний перешли к советам, которые не только помощник и консультант, но каждый наш человек всегда готов дать незадачливому начальнику. Я уж не помню, что говорили Арбатов, Бовин, те же Александров и Цуканов, только осталось ощущение, что нечто умное и полезное.

Брежнев снисходительно отнесся к этому "Гайд-парку". Покуривая сигарету за сигаретой, внимательно слушал, перебивал вопросами, иногда комментировал. Тогда ему еще было интересно узнать мнение окружающих, это уж потом, когда он сам стал

источником всех знаний, потерял к нему интерес.

Осмелился подать свой голос и я. Как раз занимался тогда теорией управления, писал о модном в то время образе узкого горлышка бутылки, задерживающем свободный поток информации и решений, результатом чего становятся неповоротливость и медлительность управленческого аппарата. Разумеется, я был не настолько глуп, чтобы читать лекции первому лицу в государстве, да и заметил раньше, что он со скукой воспринимает ученые наизидания и что каждому на совет отпускается не более двух-трех минут, - вот и уложись в них. Словом, я сослался на конкретный пример - решение Секретариата заменить одного председателя заготовочно в Армении на другого. Ни тот ни другой никому в Центре не известны. Санкционируя такое решение, члены руководства, сами того не желая, могут честного человека заменить жуликом. Так не лучше ли позволить местному начальству самому решать такие вопросы, а раз в три года посылать комиссию для проверки, как идет в республике работа с кадрами?

Леонид Ильич подумал, зыркнул на меня и сказал примерно следующее: "Так, конечно, можно сократить часть решаемых в Центре вопросов. Но мой опыт показал, что кадры нельзя упускать из рук. Дашь палец - руку откусят". То есть тяжела шапка Мономаха, но уж лучше я в ней похожу, снимешь - потом ищи свищи.

Демократический период правления Леонида Ильича длился недолго. Он, впрочем, никогда не стремился поднять всех под себя, сохранял не только ритуал коллективного руководства, но и некоторые содержательные его элементы. В полном соответствии со своим жизненным девизом - живи сам и давай жить другим, позволял своим соратникам распоряжаться в отведенных им сферах, не сидел у них над душой, не навязывал в каждом случае свое мнение, не держал за руку. Единственное, чего он добивался, это, так сказать, дисциплины на корабле, когда все офицеры и команда знают, кто капитан, и если уж он взялся за штурвал, все кидаются беспрекословно выполнять его команды. Такой стиль позволил Леониду Ильичу до конца дней своих прочно держать в руках бразды правления, обезопасить себя от заговоров, избирательно осуществлять наиболее приятные, "непыльные" функции власти и безмятежно удовлетворять потребности в развлечениях и наслаждениях. В этом смысле он был счастливым человеком. Для себя.

В июле 1965 года, когда в наших писаниях для генерального еще преобладали ссылки на научность, осуждались субъективизм и произвол, партию и страну призывали совершенствовать социалистическую демократию и консультанты были преисполнены на этот счет радужных надежд, мне довелось присутствовать при сцене, что называется, зарождения нового культа.

Делегация КПСС во главе с Брежневым приняла участие в IX съезде Румынской компартии. Чаушеску уже показывал зубы и вел себя довольно независимо, но ритуал братской дружбы и почтительное отношение к "старшему брату" соблюдались. Выступление Леонида Ильича было встречено бурными аплодисментами и вставанием, причем Чаушеску отмерил советскому лидеру точно такую же долю признания, как и руководителю делегации КПК. Зал напряженно следил за своим вождем, а он подавал четкий сигнал, садясь и вставая, начиная и заканчивая рукоплескания.

Была еще такая деталь: когда Брежнев пошел на трибуну, глава делегации Албании Рамиз Алиа решил демонстративно покинуть зал. Но, поскольку стулья были поставлены очень плотно, ему пришлось согнуться и чуть не ползком пробираться к выходу. По этому поводу Юрий Владимирович, сидевший среди других гостей в амфитеатре, воздвигнутом на сцене, послал нам записку с юмористическим стихком. К сожалению, она не сохранилась, но я запомнил рифму: албанца - за...ца.

Вдоволь насмотревшись на боярский двор румынского генсека и попив отличных румынских вин (особенно хороши "Фетяска" и "Мульфатляр"), мы отправились восвояси. И только в самолете узнали, что летим не сразу в Москву, шеф решил заглянуть в дорогую его сердцу Молдавию, где он был в свое время "первым". Сразу по прибытии в аэропорт нас посадили в автомобили и повезли в Дом приемов, где уже был накрыт праздничный стол.

Бодюл суеился вокруг генерального и задал тон пиршеству. Пользуясь правом хозяина открыть "прения", он выразил трепетные чувства, питаемые народом Молдавии к Леониду Ильичу, неизбывную благодарность за все, что он сделал для республики, и заверил, что генеральный секретарь может всецело положиться на здешнюю партийную организацию (т. е. на Бодюла).

Видимо, я все-таки простодушный человек, потому что, как сейчас помню, встретил эту речь с удивлением и возмущением - как же так, трубим на всех перекрестках, что с культом и субъективизмом покончено, начинается новая, демократическая эра, а на практике опять за старое? Почти не сомневался: Брежнев прервет льстеца и жестко предупредит, что впредь не потерпит подхалимажа. А поскольку он промолчал, я решил, что Леонид Ильич преподаст урок всем в конце застолья. Пока же мы все встали и выпили за здоровье нового Солнца. Может быть, на этом изъявления верноподданнических чувств закончатся, подумалось мне, и другие "гостующие" не станут повторяться?

Они действительно не повторялись, каким-то чудом находя все новые и новые замечательные качества в многогранной личности генсека. Планка с самого начала была поднята Бодюлом очень высоко, тем не менее выступавшие один за другим члены делегации и два-три местных деятеля не ударили лицом в грязь, нашли идущие от сердца слова, чтобы почтить нашего вождя. Не стал исключением и Андропов, выразивший уверенность, что партия под руководством Леонида Ильича не допустит отступлений от научного коммунизма, а "наш долг оказать ему всяческую поддержку". Если в этом выступлении и был какой-то намек, то, вероятно, никто, кроме консультантов, его не уловил.

Когда список ораторов был исчерпан, Брежнев произнес получасовую речь рассказал о съезде РКП, критически отозвался о склонности Чаушеску к самовластию, напомнил об очередных задачах коммунистического строительства, поблагодарил за доверие и, в свою очередь, обещал свою поддержку испытанным партийным кадрам. Обменявшись этими сигналами, новый лидер и номенклатура действительно не тревожили друг друга почти два десятилетия. Живи сам - давай жить другим.

Забегая вперед, скажу, что мне пришлось присутствовать не только при зарождении культа, но и в момент его наивысшего расцвета, какой обычно наступает перед концом.

В октябре 1979 года Германская Демократическая Республика отмечала свое 30-летие и советскую делегацию возглавил Брежнев, уже достигший к тому времени всех мыслимых и немыслимых почестей - увенчанный четырьмя Золотыми Звездами, удостоенный маршальского звания и Ленинской премии за трилогию, которую один критик, помнится, приравнял к аналогичным произведениям Льва Толстого и Максима Горького. Ему отвели дворец, возведенный Фридрихом Вторым для своей племянницы, члены делегации и сопровождающие лица размещались в построенных вокруг особняках. Помимо участия в официальных торжествах им пришлось по поручению генсека встречаться со многими руководителями других делегаций. Сам он уже должен был беречь силы; исключение, помимо бесед с Хонеккером, было сделано для Тито.

Стоял теплый солнечный день, поэтому встречу было решено провести в парке, под сенью вековых деревьев. Вынесли стол, расставили вокруг кресла, в ожидании гостя Леонид Ильич решил прогуляться в сопровождении членов делегации, за ним вереницей пристроились посол Абраимов, зав. отделом внешнеполитической информации Леонид Замятин, помощники, генералы, возглавлявшие группировку советских войск, наши коллеги из международного отдела ЦК СЕПГ, прикрепленные к делегации. Ну и мы, отдельцы.

Наконец известили о прибытии югославского лидера. Несмотря на то что ему было далеко за восемьдесят и жить оставалось меньше года, выглядел он неплохо, возраст и недуги выдавали лишь пергаментная бледность лица и замедленная походка на плохо гнущихся ногах. Два маршала облобызались, уселись за стол друг против друга, остальные расположились вокруг. Хотя нас и трудно было удивить лицемерием "великих", здесь все же был особый случай. Не думаю, что правильно приписывать одному Тито заслуги беспримерного сопротивления фашизму, благодаря которому Югославия оказалась



единственной страной Центральной да и Западной континентальной Европы, не покоренной гитлеровским воинством. Но превратил разрозненные партизанские отряды воинственных сербов, черногорцев и других своих соотечественников в мощную армию все-таки Иосип Броз Тито. И уж его воля стоит за отказом покориться Сталину, решимостью искать свою самоуправленческую модель социализма. Хотя этот поиск не увенчался впечатляющим успехом, Тито остается в моих глазах одним из легендарных лидеров XX века.

Беседа двух старцев, пребывающих в зените могущества, славы и самолюбования, носила не столько политический, сколько философско-ностальгический характер. Обменявшись дежурными фразами о том, что бывшие недоразумения между нашими странами улажены и в отношениях между ними нет проблем (на самом деле это не так, потрудиться на этом направлении досталось еще и на долю Горбачева), они стали перескакивать с предмета на предмет, не столько даже ища сочувственного отклика, сколько торопясь высказаться и произвести впечатление на собеседника. Помянули других "великих", в частности Мао Цзэдуна и его наследников. Находясь в Берлине, не могли не задеть уже начинавшие беспокоить Москву и Белград проблемы эрозии Ялтинской системы. Поговорили о перспективах общеевропейского процесса. Словом, посудачили обо всем, старательно обходя идеологические расхождения, к тому времени, впрочем, сильно поубавившиеся.

Когда гость нас покинул, и сам Леонид Ильич, и его соратники подивились хорошей физической форме Тито - ясной памяти, все еще живому интересу к жизни и политике. Действительно, Тито своим примером, казалось, подтверждал язвительное наблюдение кого-то из французских остроумцев: власть - самый сильный эликсир жизни, те, кому она досталась, так не хотят с ней расставаться, что готовы жить вечно.

Теперь я подхожу к тому, что называл "тайной вечерей". Выступив на торжествах с речью, которая, естественно, произвела запланированный фурор, наш генсек пришел в хорошее настроение и велел накрыть стол для членов делегации и узкого круга сопровождающих лиц. Было человек двадцать, только своих, немецких товарищей просили "отдохнуть от нас". Впрочем, никаких секретов присутствующие друг другу не поведали. После короткой переборки одобрительными репликами о том, как Хонеккер и его соратники отметили годовщину Республики ("Все-таки немцы есть немцы!"), особенно о факельном шествии молодежи, началось изъяснение в любви к своему лидеру. Само это слово, правда, произнес один Замятин, так и начавший свою речь: "Леонид Ильич, я вас люблю..." Но к этому сводился пафос и всех остальных речей, причем каждый последующий оратор старался переплюнуть предыдущего или хотя бы не слишком от него отстать, чтобы, не дай бог, не быть заподозренным в недостаточной преданности. Вспоминали героические жизненные эпизоды (Малая земля, целина, космос, военный паритет с США, европейский процесс), славил мудрость, умение по-ленински точно определить звено, ухватившись за которое можно вытащить цепь, благодарили за превосходные человеческие качества - простоту и демократичность в обращении, внимание к людям, отеческую заботу о кадрах. Такого потока славословия ни до, ни после мне не приходилось слышать. Высказавшись, каждый подходил к Леониду Ильичу, тот поднимался и в знак расположения награждал поцелуем в обе щеки.

Когда отметились уже две трети присутствующих, я стал лихорадочно соображать, что сказать. Было стыдно участвовать в этом откровенном раболепии, но и невозможно промолчать одному. Выступать мне пришлось последним, и я не придумал ничего лучшего, как сказать, что, став маршалом, Леонид Ильич остается в душе простым солдатом. Подозреваю, ему этот образ не слишком понравился. Во всяком случае, когда я подошел чокнуться, он не соизволил встать и единственному отказал в монарших поцелуях.

Скажу, чтобы уже не возвращаться к этой теме, что относился он ко мне в целом неплохо. Довольно быстро привык видеть среди тех, кто с ним и у него работал. Называл "Шахом", иногда шутил: "Ну, шахиншах, поедешь править в Иран?" - "Да, - отвечал я в тон, - если иранцы решат вступить в содружество". Потом я почувствовал в отношении к себе

некоторую сдержанность. Видимо, "накапали"; мне, кстати, рассказывали, что кое-кто из отделившихся товарищей этим занимался. Допускаю, что и сам Брежнев мог по какому-нибудь неосторожному моему движению, жесту, слову уловить неодобрение, с каким я воспринимал "курение фимиама". У него на это был очень тонкий нюх. Но если даже так, он не демонстрировал недовольства, просто держался со мной без того благоволения, какое распространял на Арбатова и Бовина.

Помимо нескольких поездок (в основном на съезды компартий стран, которыми я занимался, а также на совещания ПКК Варшавского Договора) мое общение с Брежневым связано с работой над текстами речей в его московском кабинете на 5-м этаже здания ЦК или в загородном хозяйстве Завидово (ныне "Русь"). Вообще-то искать разгадку образа Брежнева в его речах или мемуарах дело пустое. Все они плод другого разума, вышли из-под пера других людей. Сам он не имел дара к сочинительству. Речи читал с пафосом, иной раз останавливался с выражением легкого недоумения на лице, словно удивляясь заложенному в них смыслу. Спустя годы такие же паузы были свойственны другому оратору - Ельцину. Но в отличие от последнего Леонид Ильич в лучшие свои годы, до болезни, свободно владел тем, что можно назвать обиходной или спонтанной политической речью.

Однажды мне представилась возможность лично убедиться в этом. В мае 1978 года Брежнев принял приглашение Гусака посетить Прагу. Чехословацкое руководство явно хотело продемонстрировать, насколько успокоилась и неплохо живет страна спустя 10 лет после подавления Пражской весны. Были, как всегда, тщательно подготовлены основное выступление на торжественном собрании в Пражском кремле, а также две-три небольшие речушки, не помню уж по какому поводу. Но ни мы в отделе, ни помощники не могли предусмотреть, что понадобится еще одна речь. В последний вечер перед отъездом "старшего друга" Гусак дал в его честь ужин, представлявший собой своего рода "чехословацкий вариант" описанной мной "тайной вечери" в Берлине. Леонида Ильича увенчали высшей наградой Чехословакии, неопишимо красивым орденом с бриллиантами. (Кстати, и нам с Александровым-Агентовым "за компанию" дали по ордену "Победного унора", т.е. февраля.) Все члены руководства выступили с восхвалениями в его адрес, и оставить их без ответа было просто неприлично. Брежнев оказался на высоте, произнес 15-минутную логичную речь, вполне отвечавшую потребностям момента.

Но я не случайно употребил понятие "политической обиходности". Расторопный партийный работник, чувствовавший себя как рыба в воде, когда надо было выступить с призывным пропагандистским словом или принять участие в обсуждении злобо-дневных хозяйственных вопросов, он даже не пытался заниматься теоретизированием, полагаясь в этом на Суслова, Андропова, Пономарева и "спичрайтеров", которым доверял. Обладая запасом теоретических знаний на уровне четвертой главы "Краткого курса", мог при чтении фрагментов, претендующих на развитие марксизма-ленинизма, остановить "читчика", попросить еще раз перечитать вызвавшее сомнение место и велеть его вычеркнуть. А в другой раз - пропустить какой-нибудь ужасно смелый по тем временам пассаж, который, однако, потом "ловили" и добивались устранения бдительные стражи чистоты революционного учения.

Читки в кабинете генерального были немногочисленны - как правило, не более пяти-шести человек. Обстановка там была, конечно, не такая вольная, как у Андропова, но достаточно раскованная. Услышав незнакомое понятие, Брежнев не стеснялся спрашивать, внимательно выслушивал, спокойно воспринимал возражения. Одним словом - не подавлял авторитетом своей громадной власти. Но все же сам факт, что это происходило в главном кабинете Советского Союза, накладывал отпечаток определенной строгости на эти "сидения". Тем более что время от времени входили секретари и на ухо шептали хозяину кабинета какую-то срочную информацию, а иногда он уходил в личные апартаменты, чтобы принять важный звонок. Даже необходимость быть "при галстуках" добавляла официозности в атмосферу "читок" на Старой площади.

Иное дело Завидово, здесь обстановка была значительно проще. Как правило, лица,

внесенные в список участников работы, за день-два извещались Общим отделом о дате выезда. В назначенный час вереница автомобилей, сопровождаемая охраной и впередсмотрящими гаишниками, пронеслась по Москве и на большой скорости мчалась по дороге на Калинин. Приехав, мы располагались в скромных гостиничных номерах и в течение нескольких часов слонялись в неопределенности, дожидаясь сигнала к сбору. Особенно малоприятным было вечернее ожидание, предвещавшее запоздалый обильный ужин. Никто не знал, почему задерживается "Сам" - сразу отправился охотиться, проводит время в бассейне или занят сверхсрочными делами.

Но вот зовут на ужин. Аппетит уже перерезел, глаза слипаются - еще бы, около 12 - но, удостоившись приглашения к царскому столу, крепись. К тому же после рюмки водки сон - из глаз, закуска - лучше не придумаешь да и компания любопытная. Патриарх обычно выходит в куртке, по-домашнему, тем самым давая понять, что и другие могут обойтись без галстуков. Садитесь на обычное свое место в середине стола, остальные рассаживаются без протокола, однако оказавшиеся здесь по вызову или по случаю члены руководства садятся, естественно, по обе руки "хозяина" или напротив, поскольку так удобнее следить за его настроением и вовремя подавать подходящие к моменту реплики. После второй и третьей рюмки официантина ослабевает, общение становится более вольным. Но не развязным. Пиетет к "хозяину" соблюдается неукоснительно.

Хочу сразу же опровергнуть встречающееся мнение, будто Брежнев был склонен к сильной выпивке. Ничего подобного. Он и здесь был вполне среднестатистическим советским человеком мужского пола, то есть привычным принимать несколько рюмок, но знающим меру и срывающимся с катушек лишь в чрезвычайных случаях. Он и сам чувствовал, когда нужно остановиться, и зорко посматривал, чтобы другие не хватили лишнего (я, кажется, переберу весь карякинский словарь), шептал на ухо официантке, чтобы не доливала. Так что в застолье царила пристойная обстановка.

Сколько помню, общих разговоров на какие-нибудь серьезные темы не заводилось. Для гурмана, каким, несомненно, был Леонид Ильич, еда была слишком важным занятием, чтобы отвлекаться на какие-то дела, хотя бы и первостатейного государственного значения. Пищи поглощал он много, повара готовили по заказу его любимые блюда, ими он, как радушный хозяин, потчевал своих гостей. По высшему разряду шла кабанятина, шпигованная чесноком. Были, конечно, и другие изысканные блюда, но тут смак состоял в том, что кабана подстрелил сам Леонид Ильич. Кстати, перед разездом по домам каждому участнику заводовского сбора в багажник клали добрый кусок охотничьих трофеев. А они почти всегда были весьма успешны, благо окрестные леса заботами армии егерей были переполнены живностью, а Брежнев был страстным охотником и, по отзывам, неплохим стрелком.

Насытившись и приняв на грудь (или за воротник?) несколько рюмок "зеленого змия", общество приходило в разговорчивое состояние. Темы возникали спонтанно - от той же охоты до наших успехов в космосе. Но чаще всего затрагивался предмет, близкий сердцу генерального: подвиги на Малой земле, Днепропетровск, целина, Молдавия. Зная его слабости и пристрастия, кто-нибудь просил почитать стихи. Леонид Ильич отнекивался, его уговаривали, он сдавался и произносил что-нибудь из своего излюбленного репертуара - чаще всего Есенина, Блока и, кажется, раза два Надсона. К слову, этот выбор напомнил мне, что у нас дома был "чтец-декламатор" и отец любил читать вслух примерно те же стихи. Видимо, у Леонида Ильича в молодые годы была эта книга.

Читал он не ахти как, то и дело спотыкался, и ему чуть ли не хором подсказывали забытую строку. Это еще полбеды. Когда у него появились затруднения с речью, было почти невозможно понять, что он говорит. Тем не менее всегда находились ценители, восторгавшиеся его чтением. Особенно щебетали стенографистки: "Леонид Ильич, вы могли бы выступать со сцены!" Он добродушно улыбался и не без удовольствия принимал эти признания своих разносторонних талантов.

В брежневском застолье ценились острое словцо, забавная байка, анекдот. При этом категорически исключалось сквернословие. Однажды Леонид Ильич рассказал нам, что на

ужине в Берлине Галина Вишневская позволила себе выругаться в его присутствии. "С тех пор не могу ее видеть!" - с чувством заключил генсек. Там, не скажу зубоскалили, больше подшучивали над кем-нибудь из отсутствующих соратников генсека, которых он не очень жаловал за претензии на самостоятельность, в первую очередь - Подгорным и Косыгиным. Иной раз завязывались шуточные дуэли, за которыми, однако, стояло вполне реальное соперничество, желание выглядеть предпочтительно перед очами "Самого".

Раз отличились оба моих прямых начальника. Катушев и Русаков затеяли спор, кто из них лучший рыбак. Брежнев, который, как мне показалось, вообще с подозрением относился ко всем проявлениям взаимного дружелюбия между своими сподвижниками и, наоборот, не имел ничего против, если они недолюбливали друг друга, предложил, чтобы КФ и КВ разрешили на практике свой спор завтра. На другое утро Катушев, горя желанием отличиться, встал в 7 утра и, запасшись удочкой, отправился на расположенный почти у самого дома обширный пруд, где, к своему огорчению, застал Русакова. Хитрый КВ то ли вообще не ложился спать, то ли опередил соперника на пару часов. Вдобавок, как сам потом мне признался, он догадался поспрашивать у обслуги - бывалые люди показали ему участок, облюбованный рыбами. Словом, и в этом случае взял верх, хотя Константин Федорович тоже лицом в грязь не ударил. Он, кстати, звал и меня порыбачить, но у меня никогда не было склонности к этому занятию.

Возвращаясь к описанному застолью, я подумал, а чем оно отличается от любого другого? Гостеприимный хозяин, его друзья-приятели, отменная еда, оживленный разговор, стихи, анекдоты, пение, о котором, кстати, я забыл упомянуть, а оно было частым, причем запевалой выступал опять-таки Леонид Ильич. Все вроде бы так. И тем не менее за столом в Завидово меня да, думаю, и остальных не покидало ощущение напряженности. Не было того полного и безоглядного раскрепощения, какое люди испытывают, отдыхая в семейном или дружеском кругу. Дело было не только в том, что приходилось быть настороже, каждый старался следить за собой, как бы не брякнуть лишнего, одной фразой испортив себе карьеру, а то и весь остаток жизни. Брежнев, конечно, не Иван Грозный, который мог прямо на пиру отдать провинившегося боярина в руки Малюты Скуратова с повелением отсечь ему голову. Но такова уж аура высшей власти, что вокруг нее неизбежно возникает "поле беспокойства", пронизываемое волнами страха и вожделения. Люди, делающие политическую карьеру, чувствуют себя как игроки, которым выпал шанс сорвать банк, но с риском лишиться всего. Их наэлектризовывает мысль о том, что можно одним удачным словом вознестись на ступеньку, а то и несколько ближе к трону.

С чистой совестью могу сказать, что у меня, думаю, и у других "спичрайтеров" такого азарта не возникало. Но была другая причина для внутренней собранности, сосредоточенности, желания потверже запечатлеть в памяти происходящее. Это его историчность. Ведь все, что происходит с главой Российского государства и вокруг него, кем бы, царем или генсеком, и каким бы, великим или ничтожным, он ни был, - все равно составляет часть истории страны. И у каждого пишущего человека есть соблазн довести до потомков диковинные явления, коим ему случилось быть свидетелем, сыграть почетную роль Нестора-летописца.

С этой точки зрения, мне кажется, особенно ценна возможность непосредственно наблюдать, как действует потаенный механизм власти, чем и как она "подзаряжается".

По моему убеждению, всякое правление черпает энергию не в народе, не в таких историей предопределенных или Богом данных факторах, как полученное ею в наследство материальное и духовное богатство, а в поддержке правящего слоя, который в марксистской терминологии значился господствующим классом, а теперь благозвучно именуется политической элитой. Речь идет о нескольких сотнях, может быть, даже десятках тысяч людей, принимающих решения, от которых зависит ход дел в обществе и государстве. В сущности, сумма этих решений и составляет основную эманацию власти. Если правящий слой достаточно сплочен, энергичен, дисциплинирован, верит в полезность (в первую очередь для себя) существующей системы и, главное, готов сам лечь костьми, послать, если

надо, на смерть своих сыновей, чтобы ее защитить, она обладает огромным запасом прочности, и никакой революции ее не смести.

С другой стороны, она обречена, когда в эту среду проникает порча усталость, неверие, скептицизм, нравственная деградация. А главное - когда начинает разрушаться связь между нею и ее вождем, облеченным высшей государственной властью. Связь, в основе которой может лежать самая различная мотивация - от безоглядной веры до животного страха. В моем представлении именно в этом направлении менялись отношения между нашими вождями и опорой советского режима, которую в прошлом было принято называть партийным, государственным и хозяйственным активом, а теперь - номенклатурой. При Ленине эта связь держалась на революционном энтузиазме. При Сталине энтузиазма поубавилось, его заменил страх. При Хрущеве на смену страху пришел групповой интерес, защищающий свои привилегии. При Брежневе сюда добавился личный интерес, поскольку были преданы забвению аскетические нормы большевизма, появилась возможность обогащения, "сладкой жизни".

Этот вид связи вроде бы должен служить еще более мощной мотивацией преданности системе, готовности стать на ее защиту. Но он не сплачивал, а разъедал политическую элиту. В критический момент она оказалась раздробленной, по существу без боя уступила свое господство и связанные с ним блага, лишь постаралась использовать сохранившиеся ресурсы политического влияния, чтобы пристроиться к новой системе. Бывшие номенклатурщики быстро выкинули из головы светлые коммунистические идеи и превратились в промышленных магнатов, банкиров, парламентских ораторов. Героический и вместе с тем трагический период российской истории, поставленный ею социалистический эксперимент завершился очередным перерождением элиты.

По утрам после завтрака нас приглашали в светлый просторный зал. Появлялся Леонид Ильич, помощники докладывали, что случилось за прошедший день, он давал поручения, иногда спрашивал мнение присутствующих, и те наперебой начинали давать советы. Наконец, покончив с оперативными делами, приступали к работе над документом. Кто-нибудь из помощников читал текст. Временами работа прерывалась, поскольку генерального соединяли по телефону с кем-нибудь из соратников по Политбюро, послами, министрами и другими высокими лицами. Особенно интересно и поучительно было слышать его переговоры с руководителями республик и областей.

Вот с утра, еще не приступив к работе, Брежнев просит вызвать к аппарату Кунаева.

- Здравствуй, Динмухамед Ахмедович. Как ты себя чувствуешь?.. Я? Рука побаливает...

Поговорив о здоровье, пообещав прислать какое-то новейшее лекарство, придающее бодрость духа, генсек осведомляется о здоровье супруги, успехах детей и как учится сын в Москве, и не нужна ли ему помощь с жильем. Словом, начало в полном соответствии с восточным ритуалом, как полагается между добрыми кунаками. Покончив с этим, без спешки переходит к делу: как в этом году с зерновыми, сколько даст целина, достаточно ли запасли горючего, нужно ли поддержать, прислав людей и технику с Украины? Выслушав какой-нибудь встречный запрос, обещает разобраться и плавно переходит к третьей части разговора - политической, делится планами: когда предполагается созвать очередной пленум, о чем там пойдет речь, почему возникла необходимость отправить на пенсию Подгорного ("он сам просится, устал")? Получив заверение, что генеральный секретарь может рассчитывать на твердую и безоговорочную поддержку казахской партийной организации, Брежнев заканчивает комплиментом по адресу собеседника, так много делающего для прогресса нашего общества, просит беречь себя и с удовлетворением опускает трубку. Высший пилотаж политиканства.

По такой же кальке строится разговор с Рашидовым или кем-нибудь из секретарей областных партийных организаций. Это и есть новая версия общественного договора между вождем и номенклатурой: я - вам, вы - мне. Через несколько лет тех же Кунаева, Рашидова, Медунова, правившего в Краснодарском крае, как в своей вотчине, и немало других партийных воевод обвинят в приписках, очковтирательстве, самоуправстве, казнокрадстве,

на них напустят бригады дознавателей во главе с сыщиками по особо важным делам - тельманами гддянами и, что хуже всего, ославят перед потомками.

Вот что, например, можно прочитать о Рашидове в Советском энциклопедическом словаре 1989 года издания: "Находясь на посту первого секретаря ЦК КП Узбекистана, посредством массовых приписок дезинформировал союзные гос- и парторганы о состоянии дел в республике, оказался вне критики и контроля и за мнимые достижения был удостоен звания Героя Соц. Труда (1974-1977). Способствовал коррупции, возрождению феод.-байских традиций, игнорировал социалистич. законность, насаждал местничество, национализм". Неужто в жизни Рашидова не было ничего, кроме очковтирательства? А с другой стороны, Брежнев не мог не знать, как его сотрапы управляют в своих "наделах".

Коррупция смертельно поразила вельможную верхушку общества. Увяз в ней и сам Брежнев, не способный устоять перед соблазнами сладкой жизни. Любил подношения и нашел неплохой способ удовлетворять эту страстишку: во время визитов дарить главам других государств как можно более дорогие подарки, побуждая тех, в свою очередь, не скупиться, чтобы не ударить лицом в грязь. Нельзя сказать, что это было его открытие. В конце концов, с древнейших времен государи, направляя послов или наведываясь в гости сами, считали неприличным ехать с пустыми руками. Павел I с супругой, объездив европейские дворы, получили в дар столько картин и всевозможных драгоценных изделий, что для их размещения не хватает ни Павловского дворца, ни Гатчинского, приходится держать значительную часть в запасниках.

Но то были монархи. Они дарили из своей собственности, а приобретенные дары, кстати, оставляли для музеев, то есть всеобщего пользования. Открытие нашего генсека, установленный им "дарообмен" на высшем уровне отличался тем, что не стоил дарителям ни копейки, осуществлялся за счет казны и, разумеется, во имя высших государственных интересов. Разве не в интересах Советского Союза было расположить к нам Францию, вручив ее тогдашнему главе президенту Помпиду "ЗИЛ", чтобы получить взамен какой-нибудь сногшибательный "Порше"? Ну а друзья из соцлагеря тем более сочувственно встретили эту инициативу советских товарищей. Во время одной из поездок в Берлин коллеги-международники, взяв слово, что я их не выдам (это обставлялось величайшим секретом), показали мне подарок, подготовленный для Леонида Ильича, - шкаф из майсенского фарфора, набитый царственным сервизом общей стоимостью, по их словам, порядка 50 тыс. долларов. Всякий раз, когда во Внуково-2 приземлялся спецсамолет, оттуда перегружались в автофургоны и везлись на дачу генеральному десятки коробок с ценными подарками. Не мог Леонид Ильич не знать о дани, которую собирала Виктория Петровна после каждой своей поездки в Карловы Вары, об авантюрных проделках своей дочери, питавшей болезненную страсть к бриллиантам. И уж, конечно, до него доходили сведения о корыстолюбии ближайших друзей - Щелокова, Цвигуна, Медунова.

Но все в этом лучшем из миров относительно. Эпоха Брежнева, представляясь венцом разврата и коррупции по сравнению с эпохой Ленина, когда партийные руководители сидели на "партмаксимуме" и если грешили, то тайком, выглядит образцовым монастырем по сравнению с эпохой Ельцина. Если добавить, что по этой части время от времени грешат и власть имущие в самых цивилизованных государствах, то вполне можно вывести общую формулу: коррупция в той или иной степени свойственна всем существующим политическим системам и возрастает в размерах до тех пор, пока не происходит радикальная смена политической элиты, - потом все начинается сначала. Своего рода общественный закон, коренящийся в природе человека.

Сказал и сам себя поймал на слове. Едва став Генеральным секретарем, Андропов запретил принимать подарки от иностранцев стоимостью свыше 50 рублей - все остальное должно было сдаваться в казну. Брежневу подносили бриллианты баснословной стоимости (Гейдар Алиев во время посещения генсеком Баку), Андропов сдавал все преподносившиеся ему ценные подарки. Так же поступал в бытность свою главой государства Горбачев. Природа в своей любви к многообразию поставляет разных правителей. Кому как повезет.

Нам везет редко.

Запланированные на день звонки состоялись. На душе у генерального спокойно. Элита сплочена и преданна. Никто не осмелится плести заговор, а если кто и рискнет критически отозваться о политике руководства, как Николай Григорьевич Егорычев, первый секретарь МК, то Центральный Комитет дружно даст отпор, смутяна можно будет отправить послом в Данию пофилософствовать у стен замка Эльсинор.

Пройдена за редакционным столом добрая половина доклада на предстоящем съезде партии. После трудов праведных не грех и отдохнуть. На вечер назначается праздничный ужин. Сказать, чем он отличается от обычного, трудно. По части еды разницы никакой. Стол генерального всегда радует глаз обилием закусок, разнообразными деликатесами, изысканным оформлением, дорогим сервизом, блеском на славу начищенных приборов и сиянием хрустальных рюмок. Вот разве атмосфера повольнее. Леонид Ильич, сбросив с плеч груз государственных забот, больше шутит, охотнее поддается на уговоры читать стихи, вызывая общее восхищение. Соответственно, на градус вольнее чувствует себя окружение. Опрокинет пару лишних рюмок, становится говорливее, начинает флиртовать с официантками за неимением других возможностей - стенографистки и медицинская сестра находятся в персональном владении генерального.

После хорового пения у него появляется охота потанцевать на воздухе. В просторную беседку, расположенную над озером метрах в ста от дома, приносят столик, водружают японский проигрыватель и запускают заранее подготовленную пленку с записями старомодных танго, фокстротов, вальсов - публика-то солидная, да и равнение на "Самого", а он - человек устойчивых вкусов, как все мы, не терпит поп-музыки и поп-арта, хотя, в отличие от Хрущева, не считает нужным по этому поводу топтать ногами. Танцы здесь же, на веранде. Танцуют и те, кому за шестьдесят - Пономарев, Русаков, - надо оказать моральную поддержку генсеку. Не одному же ему прыгать рядом с молодежью. А с другой стороны, полезно и себя показать: есть еще порох, готовы к труду и обороне!

Если кто-нибудь думает, что за этим последует описание оргий, то я должен его разочаровать. Все кончается очень прилично, как после танцевального вечера где-нибудь в учрежденческом или заводском коллективе. Хотя и поздно, часу в четвертом-пятом, но веселье затихает, все расходится по своим комнатам, чтобы на другой день с некоторым опозданием продолжить работу над историческим документом. Правда, нас попросят самим пройти оставшуюся часть доклада, поскольку генеральный намерен поохотиться.

Посидев для проформы пару часов над текстом, который знаем чуть ли не наизусть, поскольку сами писали и неоднократно переписывали, мы находим более интересное занятие. Для доклада и совета с генсеком приехал Андрей Андреевич Громыко. Сам он тоже большой любитель охоты, но болит нога, поэтому терпеливо дожидается возвращения шефа. Обычно мрачноватый, застегнутый на все пуговицы и не привыкший считаться с разного рода подчиненной мелюзгой, министр на сей раз в хорошем расположении духа и охотно отвечает на наши расспросы. Ему есть что рассказать, личность он в истории дипломатии уникальная. Имел дело с девятью президентами Соединенных Штатов Америки и, что еще более удивительно, оставался "на высоте" при шести генеральных секретарях.

Подробно, в деталях рассказывает, как ему пришлось крутиться в дни Карибского кризиса, когда из Москвы поступали противоречивые инструкции, приходилось объясняться с нервничавшим президентом Кеннеди, чтобы не довести до ядерного апокалипсиса. Мне кажется, именно в этом итоговая заслуга Андрея Андреевича перед Россией. И по продолжительности пребывания главой нашей дипломатии, и по сыгранной им роли он не уступает князю Горчакову. Только тому довелось восстанавливать международный статус России после Крымской войны, а главной задачей советской дипломатии стало удержание чрезвычайно хрупкого и тонкого баланса в отношениях Москвы с Вашингтоном.

То ли природная, то ли напускная маска жесткости и непреклонности (частично, видимо, то и другое) Громыко удачно прикрывала от отечественных "ястребов" его умную и взвешенную готовность к компромиссу всякий раз, когда было ясно, что нам не к чему лезть

на рожон. За ним закрепились репутация "господина Нет", чему, может быть, он и обязан был долголетним пребыванием на министерском посту. Но, рецензируя по просьбе редакции "Нового мира" двухтомник его произведений, вспоминая читанные за четверть века пребывания в Международном отделе ЦК записки министра иностранных дел с предложениями о тех или иных внешнеполитических акциях или его шифровки с сессий Генеральной Ассамблеи ООН, донесения о встречах с партнерами во многих зарубежных странах, я вполне самостоятельно, без чьей-то подсказки пришел к выводу, что Громыко всегда предлагал разумные решения, и слово "да" слетало с его уст ничуть не реже слова "нет".

Разумеется, он был "человеком системы" и несет свою долю вины за пагубные для страны международные акции, каких, увы, было немало на протяжении того периода, когда Андрей Андреевич занимал кабинет в высотном здании на Смоленской площади. Не знаю, что у него было на уме в роковой момент, когда принималось решение ввести "ограниченный контингент советских войск" в Афганистан, но никто не опроверг распространенного мнения, что это решение было первоначально согласовано "тройкой" (Андропов, Громыко, Устинов) и получило одобрение Брежнева.

Но кто из людей одного времени не грешен в глазах людей другого?..

Со двора послышались звуки подъезжающих машин, забегала охрана, в дверях появился генсек в своей охотничьей тужурке, приветливо поздоровался с Громыко и увел его к себе для приватного разговора. Но прежде сказал, что нынче вечером готов удовлетворить мою просьбу посмотреть фильм Тарковского "Андрей Рублев".

Уже несколько месяцев вокруг этого шедевра шли споры. На практиковавшихся премьерных показах в ЦК картина вызвала сильное неудовольствие. Возмущались натурализмом отдельных сцен, якобы искусственным возвышением роли церкви как хранительницы национальной культуры. И особенно не понравилось реалистическое изображение княжеских междоусобиц, царивших на Руси в раннем Средневековье. Казалось бы, наоборот, эти эпизоды должны были восприниматься как суровый урок потомкам, напоминание о необходимости превыше всего ценить единство земли русской, залог отпора любым недругам. А постановщика обвиняли чуть ли не в антипатриотической пропаганде. Как ни странно, нечто подобное мне пришлось слышать даже от такого сравнительно умеренного ортодокса, как Пономарев. Он счел "ошибочными" суждения о роли русской интеллигенции, вложенные авторами сценария в уста главного героя. Ермаш тщетно добивался разрешения выпустить фильм на экран. Петр Нилович Демичев, ведавший культурой, как всегда умыл руки. Главный идеолог Суслов воздерживался от однозначного решения. Дело зашло в тупик, и высшим арбитром мог выступить только генеральный.

После ужина собрались в небольшой комнате, оборудованной под кинозал. Генсек уселся в кресло в трех метрах перед экраном (он вообще любил сидеть близко). Мы устроились позади, у самой стены.

- Кто-нибудь из вас видел картину? - спросил Леонид Ильич. Случилось так, что к этому моменту я один. - Сядь рядом, будешь мне объяснять, если чего не пойму.

Я расположился на стуле возле кресла.

Мне до сих пор кажется, что, если бы фильм начинался с эпизодов "Набег" или "Колокол", он понравился бы Брежневу, во всяком случае не заставил его скучать. А тут потянулась долгая сцена беседы Андрея Рублева с Феофаном Греком, да еще усугубленная нарочито замедленной в манере Тарковского съемкой: детали росписи храма, выразительные лица монахов. Я почувствовал, что генсек начинает проявлять нетерпение. Он заерзал в кресле, потом спросил:

- Слушай, что они все говорят и говорят. Народ ведь сбежит.

- Тут речь о роли интеллигенции, Леонид Ильич, - возразил я. - У этого фильма найдется свой зритель.

- Не люблю я такие картины, - сказал он. - Вот недавно смотрел комедию с Игорем Ильинским, - кажется, он назвал "Девушка без адреса" или "с гитарой", что-то в этом роде. -



Это да! Посмеяться можно, отдохнуть. А это... - Он пренебрежительно махнул рукой.

- Может быть, широкий зритель на нее и не пойдет, - сказал я, - но ведь есть фильмы массовые, а есть и рассчитанные на определенные категории людей. В данном случае на творческую интеллигенцию. Главное, в картине нет ничего вредного с идейной точки зрения.

- Может быть. - Посмотрел еще минут пять-десять и сказал: - Знаешь, устал я сильно, и рука болит, пойду отдохну, а вы тут досмотрите.

Ну все, подумалось мне, затея сорвалась. Но я ошибался. Через несколько дней от помощников стало известно, что генсек, поверив на слово, что в "Рублеве" ничего вредного для советской власти нет, просто картина "для интеллигентов", сказал не то Суслову, не то Демичеву, чтобы зря не держали, попросили авторов, если нужно что-то поправить, и выпустили на экран. После этого дело пошло веселее, хотя не сразу удалось "сторговаться". Тарковский упирался, и в конце концов удалось выпустить фильм с минимальными потерями, но малым тиражом. В Москве его демонстрировали в одном-двух кинотеатрах.

Пожалуй, это был редкий случай, когда в Завидово показывали художественную картину. Сеансы там вообще были редки, как правило, привозили документальные фильмы о животных, природе, охоте. Зная склонность генсека к "зооэкологической" тематике, председатель Гостелерадио Лапин старался насытить ею телепрограммы, притом требовал ставить эти фильмы на вечерние часы, когда, по его сведениям, генеральный садился к телевизору.

Больше всего мне пришлось наблюдать Брежнева в переговорах и общении с руководителями стран, которые "опекал" наш отдел. В первые годы своего правления, пока еще хватало сил и энергии, он любил наносить визиты. Трудоголиком, в отличие, пожалуй, от всех других советских руководителей, он явно не был, и если подвергивался предлог отвлечься от повседневной административной суеты, охотно этим пользовался. К тому же всякая поездка сулила приток положительных эмоций - почестей, славословия, подарков. Повсюду ему, как лидеру сверхдержавы и "коммунисту No 1", был гарантирован не обязательно сердечный, но уж наверняка пышный прием.

А вот на Кубе его встречали с непоказной, искренней радостью и таким шумным выражением восторга, с каким, должно быть, в Древнем Риме устраивали триумф победоносным полководцам. Довольно длинная дорога от аэропорта до Гаваны была без малейших просветов запружена народом. Люди пели, выкрикивали приветствия, махали без устали флажками, мальчишки гроздьями висели на деревьях, из развешанных вдоль всей трассы радиорупоров доносились величавые звуки советского гимна и зажигательные - кубинского. Свою долю в этот вселенский шум и гвалт вносили небольшие самостоятельные оркестрики, расположившиеся вдоль дороги. Но даже этот торжественный проезд нашего кортежа затмил состоявшийся на другой день митинг на центральной площади Гаваны. Никогда в жизни не приходилось мне видеть такого гигантского скопления людей их было, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона. Вся эта колыхавшаяся человеческая масса восторженно откликалась чуть ли не на каждое слово, произносимое с трибуны Мавзолея Че Гевары Фиделем и Брежневым. Мне кажется, это был апофеоз его политической карьеры.

Надо отдать должное Леониду Ильичу, он умел налаживать доверительные отношения с лидерами государств, входивших в советскую империю. При Ельцине так называемая личная дружба на высшем уровне стала предметом насмешек. Тогда в демонстрации личной близости и взаимной привязанности лидеров тоже присутствовала театральность, вообще присущая политическому стилю Брежнева. Но было и достаточно серьезное содержание. У генсека с партнерами по Варшавскому Договору был примерно такой же общественный договор, как с руководителями союзных республик: вы мне гарантируете лояльность, я вам - пребывание у власти. Только здесь вносилась существенная поправка на суверенитет.

Советологи по недоразумению объявили "доктриной Брежнева" решимость Советского Союза сохранить контроль над Восточной Европой, ставший результатом Ялтинских соглашений. При этом принято ссылаться на опубликованную в "Правде" официальную статью "Суверенитет и интернациональные обязанности социалистических стран" (26

сентября 1968 г.). Но это выступление, имевшее целью идеологически обосновать вторжение в Чехословакию, не содержало ничего принципиально нового. То, что было названо "доктриной Брежнева", следовало по заслугам назвать "доктриной Сталина", хотя сам он как раз мудро воздержался от применения ее на практике против "взбунтовавшейся" Югославии маршала Тито. А до Леонида Ильича доктрину в полном объеме применил Хрущев в Венгрии. И если было отличие между брежневским и хрущевским этапами отношений СССР с партнерами по блоку, то оно заключалось как раз не в ужесточении прессинга Москвы, а, напротив, в его заметном ослаблении.

Не остановившись перед интервенцией, чтобы не выпустить из советской орбиты Чехословакию, Брежнев в то же время заметно отпустил вожжи. Причин тому было много: и начавшийся общеевропейский процесс, необходимость постараться относиться к своим международным обязательствам, и существенное сокращение возможности дотировать поставки союзникам дешевого сырья, и их собственная растущая претензия на самостоятельность. У Чаушеску она стала идефикс, во все совместные документы румыны чуть ли ни на каждой странице вставляли слово "независимость". Действуя намного дипломатичней и умней, без пустячной бравады своего румынского соседа, Кадар на практике пошел гораздо дальше: еще до "бархатных революций" экономика Венгрии на 50 процентов была привязана к Западу. Поляки вообще никогда не были образцом блоковой дисциплины. Герек отмахивался от предостережений Москвы и готовил стартовую площадку для "Солидарности", залезая в валютную кабалу и переключая польскую авиацию с Илов на "Боинги". Клянясь в дружбе до гроба и изъявляя готовность присоединить Болгарию к Советскому Союзу, Тодор Живков, не посчитавшись с мнением советского руководства, развернул кампанию по переименованию болгарских турок и вытеснению их в Турцию, что серьезно осложнило положение в стране. "Самовольничал" и Хонеккер - я уже говорил о форсированном развитии связей с ФРГ. Один Гусак, похоже, ни на что не претендовал. После 1968 года ему было не до независимости.

Этот беглый перечень вполне достаточен, чтобы признать, что из всех советских лидеров Брежнев был самым большим либералом в отношении наших европейских союзников. Я бы даже описал общее положение следующим образом: на том этапе намного больше стали значить личные качества лидеров, их, если хотите, кураж. У нас многим не нравилось, что союзники то и дело выходят из повиновения, ворчали, упрекали отдел в мягкотелости. Между тем тонус отношениям задавал генеральный, и если кто-нибудь в ЦК, правительстве, советском представительстве в Совете Экономической Взаимопомощи пытался поднажать на болевые точки наших друзей, оттуда поступала жалоба на высшем уровне и в ответ - указание Кремля бить отбой. Сколь ни странным может показаться такое утверждение, Брежнев нередко выступал в роли заступника союзников и по заслугам признавался ими за "старшего брата".

Авторитету Леонида Ильича у его зарубежных партнеров в немалой мере содействовала его искусная линия на персонификацию политических отношений Москвы со столицами союзных государств. Без каких-либо официальных решений установился порядок, по которому наши послы в этих государствах стали считаться личными представителями генсека. Все прочие, даже представляющие нашу страну в столицах великих держав, должны были, к примеру, испрашивать согласие на отпуск у своего начальства в МИДе, а "наши" - только у Леонида Ильича. Их главной функцией отныне становилась передача личных посланий и поддержание контактов между генсеком и лидером страны пребывания. Все они автоматически приобретали право на членство в Центральном Комитете, а с другой стороны, подбирались в его составе, среди людей, заслуживших полное доверие Леонида Ильича.

Это было на руку и его коллегам, поскольку позволяло вывести из сферы коллективного руководства и отнести к исключительным функциям лидера главную часть внешней политики, какую, несомненно, составляли для них отношения с Москвой. Когда было выгодно, лидер мог утаивать от соратников нюансы этих отношений. В целом та абсолютная концентрация власти в руках генерального, которая происходила у нас на

протяжении 70-х годов, превращение глав правительств и парламентов, других членов партийного руководства из равноправных членов высшего синклита в помощников первого, - через личные отношения Брежнева с другими генсеками "перетекали" в практику союзных стран, узаконивали у них аналогичное всевластие первых лиц советским авторитетом.

Такой порядок окончательно закрепился, когда в добавление к заседаниям Политического Консультативного Комитета государств - участников Варшавского Договора (ПКК), а иногда в подмену им, стали проводиться так называемые "крымские встречи".

По установленному в отделе раскладу мне помимо четырех стран поручалось заниматься Варшавским Договором и другими коллективными учреждениями или разовыми совместными акциями социалистического содружества, за исключением экономических - ими, как я уже говорил, занимался у нас Олимп Алексеевич Чуканов, превосходный специалист и порядочный человек. Основная моя нагрузка состояла в подготовке материалов к заседаниям ПКК, которые играли роль "социалистического саммита", своего рода аналога западной "семерки". Когда-то, на ранних этапах существования пакта, эти заседания, как рассказывали "старожилы", носили характер деловых совещаний, на которых обсуждались главным образом вопросы военного сотрудничества. Считалось само собой разумеющимся, что политика - прерогатива Москвы, союзники просто принимали к сведению импульсы, исходящие из Кремля. При Брежневе статус Советского Союза в ОВД опустился с "императорского" до "первого среди равных", "младшие" участники, одобряя линию супердержавы, позволяли себе добиваться от блока внимания к их конкретным национальным проблемам, ритуал встреч приобрел вид коллегии равноправных государств.

Решение организационных вопросов, в первую очередь подготовка проекта Заключительного коммюнике Совещания, ложилось на страну, которая должна была по очереди принимать его в своей столице. Сама же процедура сводилась к выступлениям, фактически монологам, глав делегаций. Отчитав заранее заготовленные тексты, они заслушивали доклад Верховного главнокомандующего вооруженными силами ОВД, принимали совместное заявление по какому-нибудь злободневному вопросу международной жизни, общались на банкете и разъезжались. По возвращении готовилась записка, в которой давалась оценка прошедшему Совещанию, отмечались нюансы в поведении союзников и делался вывод, что наша политика находит поддержку и одобрение, а интернациональное сотрудничество стран социалистического содружества еще более укрепилось.

Признаться, поначалу я никак не мог понять, зачем нужны такие реляции. Ведь они шли под грифом "совершенно секретно", т. е. могли быть прочитаны только членами Политбюро, а в состав советской делегации в обязательном порядке входили помимо генсека Председатель Президиума Верховного Совета (пока Брежнев не занял и этот пост), глава правительства, секретари ЦК, занимающиеся международными делами, министр иностранных дел, т.е. добрая половина высшего руководства. К тому же на первом же заседании Политбюро генеральный рассказывал соратникам, как прошла встреча, делился впечатлениями. Выходит, писали сами себе? О нет, эти отчеты предназначались для Истории.

Каждое совещание ПКК отнимало у меня два-три месяца. Вначале мы в отделе готовили проект выступления генсека, дорабатывали его с помощниками, затем сам он подключался для заключительной читки. Параллельно мы с коллегами из МИДа (опытный дипломат Лев Менделевич, зам. министра В.Т. Логинов, Г.Н. Горинович и др.) ездили к хозяевам очередной встречи согласовывать будущее коммюнике. Иногда это выливалось в многодневные "сидения" из-за неуступчивости румын. Получив от своего вождя жесткие установки, их представители упорно бились за свои формулировки, досажая остальным сверх всякой меры. Это, однако, не мешало нашим добрым отношениям с постоянным оппонентом - Василем Шандру, чему немало способствовало прекрасное знание им русского языка. Другие заместители заведующих международными отделами - венгр Дьюла Хорн (тот самый, что в 90-е годы возглавил социалистическую партию и был премьером), Бруно Малов из ГДР, Михаил Штефаняк из Чехословакии, болгарин Дмитрий Станишев, поляк Кшиштоф

Островский, работавшие вместе с нами заместители министров иностранных дел, постоянно встречаясь, сдружились и научились находить взаимоприемлемые формулы легче и быстрее, чем это давалось нашим боссам.

Сближала сама обстановка совместной напряженной работы. Просиживали допоздна за документами, потом хозяева предлагали для "разрядки" посидеть в каком-нибудь ресторанчике, послушать музыку, иногда прямо в резиденции устраивались небольшие концерты. Не обходилось, разумеется, без умеренного потребления веселящих напитков. Однажды в Варшаве возникла необходимость усесться за маленькими столиками и решено было разделить как раз по этому признаку: пивные страны (Чехословакия, ГДР), винные (Болгария, Венгрия, Румыния) и водочные (Польша, Советский Союз).

В мои обязанности входил также контроль за подготовкой доклада Верховного главнокомандующего. Сам этот документ сочинялся в Генеральном штабе, затем главнокомандующий Виктор Георгиевич Куликов или начальник штаба Анатолий Иванович Грибков звонили с просьбой посмотреть проект перед внесением в ЦК. Приезжали военные "спичрайтеры", обычно в чине полковников, сообщая уточняли текст, добиваясь, чтобы его заглавная, политическая часть была синхронизирована с выступлением Брежнева. Иногда, оговорившись, что это мое частное мнение, я позволял себе высказать некоторые замечания и по военным вопросам. Хотя они исходили от старшего лейтенанта, маршал относился к ним со вниманием.

Возможно, вся эта рутина не представляет интереса, но она была частью моей жизни, и я не мог о ней не упомянуть. К тому же без этого трудно было бы понять смысл изменений, внесенных Брежневым в процедуру общения с лидерами союзных государств. С некоторых пор его явно стало тяготить участие в совещаниях ПКС представителей делегаций. Тем самым и отношения между генсеками как бы ставились под коллегиальный контроль, а ему явно хотелось превратить их в свое личное дело. Кому-то из его окружения, привыкшему угадывать желания шефа, или ему самому, пришла в голову хитроумная мысль. Все лидеры проводили отпуск у нас в Крыму, так почему не собрать их у нашего гостеприимного генсека на неформальную дружескую встречу? Там они смогут говорить по душам, не опасаясь собственных соратников, и к тому же в курортной обстановке, располагающей к большей откровенности. Придумано - сделано понравилось. Помимо высоких участников присутствовали на встрече лишь референты-переводчики, которые обычно отправлялись в Крым, чтобы быть в распоряжении высоких гостей. Только от них мы могли узнать, о чем там шел доверительный разговор.

Повторяю, началось все с высказанной кем-то мысли о том, что неплохо оказать внимание друзьям и предложить им попить чайку на даче у генерального. Ну а уж когда собрались, поговорили, возникло желание выдать это за важную работу - не просто так, мол, мы ездим в Крым. А после того как кто-то из находчивых журналистов окрестил это событие "крымской встречей", она из частного случая превратилась в институт укрепления и развития социалистического содружества. От лидеров заранее поступали запросы, намерены ли в Москве проводить очередную встречу в этом году, мы получали официальную санкцию и вводили в план как обязательную составную часть нашей работы, наряду с заседаниями ПКС Варшавского Договора или совещаниями Совета Экономической Взаимопомощи\*.

Похоже, вожди сошлись во мнении, что на отдыхе не следует утомлять себя делами, и эти сходы предназначены лишь для того, чтобы излить друг другу душу. Характерная деталь. Узнав, что в помещении, где должна состояться встреча, устанавливается аппаратура для записи, Брежнев распорядился ее убрать: как можно ожидать откровенности от людей, которые знают, что каждое их слово фиксируется и потом может быть поставлено им в лыко! Тем не менее к каждой встрече готовились обширные справки, генерального предупреждали, с какими вопросами и просьбами может обратиться к нему тот или иной из его собеседников. С другой стороны, вносились предложения, что "можно было бы" или "считали бы целесообразным" сказать тому или иному лидеру. (Закавычено ритуальное обращение к высокому начальству, без которого не обходилась, вероятно, ни одна записка в ЦК.)

Сам я лишь однажды имел возможность побывать в доме, где проводились встречи. На этот раз имелось в виду раскрыть союзным лидерам наши перспективные планы в европейской политике и международном коммунистическом движении. Пономарев и Катушев получили задание "быть под рукой" и поселились на партийной даче в Мисхоре, которую по этому случаю перестали перегружать отдыхающими, за исключением первых секретарей обкомов. Работа была не изнуряющая, море в ста шагах, по вечерам приезжали заведующие секторами и посвящали во время-препровождение своих "подопечных". Заведующий румынским сектором Владимир Ильич Потапов рассказывал, что жена Чаушеску, Елена, за малейшую провинность бьет своих охранников и "сенных девок" по щекам. Сергей Иванович Колесников, "ведавший" Чехословакией, сообщал, что Гусаку надоело мирить Биляка со Штроугалом. По наблюдению Валерия Мусатова (один из немногих моих сослуживцев по отделу, продолжающий успешно трудиться на Смоленской площади), Кадар хандрит. И так далее. Обсуждалось, что из этой информации следует довести до ушей генерального.

Как-то секретари поехали лично засвидетельствовать готовность к встрече, и я с ними. Довольно высоко в горах, в нескольких километрах от Мисхора, расположены здания оригинальной курортной архитектуры. В одном из них, построенном, видимо, уже при советской власти, просторный, со всех сторон остекленный зал. Там уже были расставлены столы с бирками - кому где сидеть. Мне не показалось, что обстановка располагает к сердечной беседе, скорее, к проведению "мини ПКК Варшавского Договора", уж слишком по-канцелярски все было устроено.

Повторяю, только однажды довелось мне побывать на месте "крымских встреч". В остальных случаях я был обязан по партийному этикету вместе с высоким начальством провожать генерального секретаря, отъезжавшего на юг. Всякий раз протокольная служба обзванивала провожающих (или встречающих), называя точное время, когда следовало быть в аэропорту Внуково-2. Младшие чины, к которым относился и зам. зав. отделом, подъезжали пораньше, затем появлялись министры (Громыко, Щелоков), помощники, члены руководства и, наконец, "Сам". Предотъездная суeta длилась недолго, а вот встреча проходила так, словно генеральный вернулся из космического полета или мы с ним не виделись два десятка лет. Выстраивалась длинная шеренга, сойдя с трапа, он троекратно обнимал и лобызал каждого.

Затем шли в просторный холл аэропорта, где подавали чай и кофе со сладостями. Генсек подробно посвящал соратников в содержание своего разговора с союзными лидерами. Если возвращались с Совещания ПКК, подавали реплики и члены делегации. Иногда там же давались поручения помощникам или работникам отдела, но чаще чаепитие сводилось к безусловному одобрению сделанной генеральным титанической работы, похвалам его проницательности и умению тактично направлять развитие социалистического содружества.

Покончив с этой темой, переходили к внутренним делам. Соратники ставили лидера в известность о событиях, происшедших в стране за время его отсутствия. Разумеется, он и в поездках получал информацию, но только крайне неотложную. Договаривались, на что обратить внимание, что обсудить на очередном заседании Политбюро. Затем генеральный, сердечно попрощавшись с каждым из присутствующих, уезжал, за ним в соответствии с рангом покидали аэропорт соратники. Но разъезд имел свою "нагрузку". Люди, принадлежавшие к разным отсекам власти, использовали эту мимолетную встречу, чтобы напомнить о себе друг другу, о чем-то условиться или просто отметить в своей принадлежности к тому, что можно было назвать политическим ядром партии и государства.

На этих встречах и проводах я впервые получил возможность понаблюдать, как Брежнев общается со своими соратниками, но за все 18 лет его правления только однажды был приглашен на заседание Политбюро. Зато позднее, став помощником Горбачева, не пропустил ни одного из этих заседаний, как говорится, *ex officio*. Нет нужды говорить, насколько живее, интереснее, вольнее проходил высший партийный синклит в годы

перестройки. Но сейчас я хотел бы сказать не об этом, а о самом институте Политбюро как форме правления. Можно по-разному оценивать 70-летний опыт советской власти, но невозможно отрицать ее уникального характера, и Политбюро ЦК КПСС было, несомненно, ее ключевым элементом.

Коллегиальность сама по себе не была открытием большевиков. Государи, в том числе в древних деспотиях и средневековых абсолютных монархиях, учреждали при своих особах различные государственные советы и нередко придавали им постоянный статус. Тем более не удивить этим в наше время: современные демократии оснащены многими узлами "коллективной страховки" против глупостей и слабостей единоначалия. Но Политбюро - не парламент, не государственный совет и не кабинет министров. Этот орган, обладавший высшей властью, даже не упоминался в Конституции. Его члены формально несли ответственность перед Центральным Комитетом и партийным съездом, на деле именно они "подбирали" себе и ЦК, и высший партийный форум, и Верховный Совет. Каждый из них в отдельности зависел от вождя, но и вождь, в свою очередь, зависел от них в целом, если им удавалось составить такое "целое", войти против него в сговор или заговор. Даже всемогущий Сталин не мог управлять без Политбюро, потому что оно было кашеевой душой Системы.

Индивидуально члены Политбюро были партийными или государственными деятелями, вместе они уподоблялись ватиканской коллегии кардиналов, уполномоченных под водительством Папы озвучивать Божью волю. Повторяю, это оригинальная форма правления, но если все-таки искать хотя бы отдаленную аналогию, то, видимо, речь должна идти о теократии. С той разницей, что у нас место Слова Божьего заняла идеология марксизма-ленинизма, и следовательно, уместно применить здесь термин идеократия.

Это все политическая философия. Можно, конечно, по примеру Аристотеля задаться вопросом, насколько сия форма правления правильна или неправильна, но нельзя отказать ей в эффективности, исключая те периоды, когда наши лидеры становились капризными богдыханами, переставали считаться с "верховой коллегией" и держали в трепете ее членов. Политбюро с приданным ему цековским аппаратом обеспечивало достаточно высокий уровень принимаемых решений, о чем наглядно свидетельствует вся история возвышения Советского Союза в одну из двух супердержав. Та же история и с такой же очевидностью вскрывает органический порок этой формы политического устройства. Власть, "зацикленная" на идеологии, рано или поздно начинает тащить страну куда-то в сторону от магистральной линии развития. Причина отнюдь не в отсутствии легитимности: и в прошлом, и в настоящем можно насчитать десятки полулегитимных или абсолютно нелегитимных, но достаточно эффективных политических систем. Причина, повторяю, в идеологической зашоренности, заморозенности каноном, неспособности переступить через его веления, хотя бы и верные когда-то, но устаревающие, как всё на свете.

Сталин держал Политбюро в ежовых рукавицах, но заставлял его работать, Брежнев вывел этот орган из строя своей добротой и покладистостью. Выдав каждому члену Политбюро вексель на пожизненное участие во власти, он превратил его в собрание старцев, неспособных откликаться на новые веяния, тративших добрую треть рабочего времени на излечение различных хворей. Средний возраст членов высшего партийного синклита перевалил при нем за 73 года. У нас была не просто идеократия, а геронтологическая идеократия.

Известно, что масштаб правителя точнее всего измеряется через его окружение. Наполеон был велик не только сам по себе, но и своими маршалами, тем, кого он выбрал в соратники, из кого составил свою "команду". Неважно, что некоторые, как Бернадот, от него сбежали, другие, как Груши, его подвели в роковой момент, третьи, как Ней, предали, хотя после Ватерлоо искупили измену ценой собственной жизни. Ленин сумел совершить величайшую в истории революцию благодаря не одному лишь своему гению, но также собравшейся вокруг него когорте незаурядных революционеров. Опять-таки, одни предали его при жизни, другие - после смерти, третьи, причинившие наибольший вред его имени и

его делу, возвели в догму каждое произнесенное им слово, раболепно следовали букве, а не духу коммунистической идеи, чем в конце концов ее загубили - по крайней мере до второго пришествия. Сталинская команда отбиралась из той же породы, выброшенной революционным вулканом на поверхность политической жизни. Спаянные страхом, его сподвижники в большинстве своем были людьми с сильными характерами и способностью каждый на своем участке воплощать волю вождя.

Кое-кто из них "достался" Хрущеву и даже Брежневу - Анастас Микоян, Михаил Суслов, Алексей Косыгин, Дмитрий Устинов и другие. Он обошелся с ними милостиво, оставил при власти, потому что сам был из той же среды, "сталинским человеком", не знал другого стиля работы и не нуждался в ином типе руководителей. Редкие исключения лишь подтверждают правило. С Микояном Леонид Ильич расстался, чтобы освободить место Подгорному, сыгравшему важную роль в смещении Хрущева. Возможно, и потому, что не хотел обнаруживать свои слабости на фоне бесспорно превосходящего его интеллектом и авторитетом в партии Анастаса Ивановича. Косыгина недолюбливал, но попытка отставить лишь перед самой кончиной.

Иначе говоря, у Брежнева не было своей команды в точном значении этого слова. Конечно, он энергично расставлял преданных себе людей и собственную родню на престижные должности, но не потому, что рассчитывал на их самоотверженную помощь в осуществлении своих замыслов, а чтобы упрочить собственную власть да и порадовать родному человеку. Семейственность и кумовство в чистом виде, не более. С годами состав руководства менялся, но, за редким исключением, выбывали только умершие, а прибывали всегда люди той же закваски, можно сказать, взращенные и наученные для Леонида Ильича Иосифом Виссарионовичем. Это, между прочим, и обеспечило относительную стабильность брежневскому режиму, позволило ему уцелеть даже при больном и недееспособном лидере. Система сохранялась, пока на всех ее ключевых постах оставались специально для нее подготовленные люди. При Брежневе, как и при Хрущеве, несмотря на всю антипатию последнего к генералиссимусу, страна шла без Сталина по сталинскому пути.

Мне мало пришлось видеть и общаться с долгожителями на нашем политическом небосклоне. Микоян, будучи еще Председателем Президиума Верховного Совета, вручил мне орден Дружбы народов, пожалованный в связи с 50-летием. Хотя он, вероятно, слышал обо мне от сына Серго да и мог обратить внимание на фамилию соотечественника в списке ответственных работников аппарата ЦК, Анастас Иванович не подал вида, просто с улыбкой пожал руку и пожелал успехов. А вот позднее, когда он был уже на пенсии и мы встретились на приеме в одном из посольств, поинтересовался, откуда я, из каких Шахназаровых, сказал, что знал моего деда, генерала Пирумова. На этом его интерес ко мне иссяк, он переключился на долгую беседу с Аней, кажется, делился тем, как ему удастся сохранять хорошую форму, перешагнув 80-летний рубеж.

Я уже рассказывал, что Суслов помог провести в Москве Всемирный конгресс политологов. В аппарате перед ним трепетали. Причиной, думаю, скорее была не жестокость, якобы ему свойственная, а мрачность, нелюдимость, суровое выражение, не покидавшее его аскетического, изможденного лица. Мне он чем-то напоминал монаха, истово служащего своей "святой троице" - Марксу, Энгельсу, Ленину. Перед поездкой на Кубу он пригласил меня с проектом своего выступления на первом съезде Кубинской компартии, и мы в течение двух часов работали у него в кабинете. Собственно говоря, работой это можно назвать с натяжкой. Речь он принял благожелательно, сделав всего две-три поправки, теперь мы с ним перечитывали абзац за абзацем, проверяя на слух каждую фразу.

В некоторых местах он останавливался и спрашивал, не знаю ли я подходящей цитаты из классиков. Память у меня хорошая, но на все случаи ее не хватило. Тогда Михаил Андреевич подошел к стеллажам, на которых стояли папки с выдержками из ленинских сочинений, и начал искать. Рылся он минут двадцать, я сидел молча. Наконец с досадой махнул рукой, вызвал секретаря и велел звонить в ИМЭЛ, спросить, в каком томе ленинских

сочинений можно найти оценку перспектив революционного движения в Латинской Америке. Текст еще не был дочитан до конца, когда поступила справка с подходящей цитатой. Михаил Андреевич лично с удовольствием ее вписал и пришел в такое хорошее настроение, что даже улыбнулся и поблагодарил меня за "неплохую работу".

Может быть, благодаря этому и состоялся Московский конгресс политической науки?

Суслов был назначен первым председателем Комиссии ЦК КПСС по Польше, созданной в связи с кризисом начала 80-х годов. Мне довелось присутствовать на всех ее заседаниях, и это давало возможность сравнить стиль менявшихся друг друга председателей. При Михаиле Андреевиче Комиссия собиралась регулярно и наряду со злободневными проблемами, которые буквально ежедневно порождала бурлящая польская действительность, углублялась в теоретические изыскания. Чаще других выступал в этом направлении Пономарев, но и Михаил Андреевич, чей ум был хранилищем ленинских цитат, не отставал.

Вот обсуждается на Комиссии положение в польской деревне. Советский посол Борис Иванович Аристов, умный и тонкий политик, много сделавший для того, чтобы с нашей стороны проводился на польском направлении единственно правильный в тех условиях взвешенный курс, докладывая об обстановке на селе, сказал, что, вопреки традиционным представлениям, крестьянство оказалось намного более надежной опорой народной власти, чем рабочий класс, чуть ли не целиком попавший под влияние "Солидарности" и костела. И это при том, что в Польше до сих пор лишь 20 процентов сельского хозяйства коллективизировано.

- Вот-вот, - вклинился Пономарев, - сколько лет мы польскому руководству твердили, что нужно обобщить частных хозяев, Герек нас заверял, что будет действовать в этом направлении, и ничего не сделано. Теперь пожинают плоды.

- Но, Борис Николаевич, - возражает Аристов, - частник, фермер как раз друзьям беспокойства сейчас не доставляет...

- Ах, оставьте, Борис Иванович, - перебивает его секретарь ЦК. - Сегодня не доставляет, так завтра доставит. Надо посоветовать им, - назидательно говорит послу, - объединить крестьянские хозяйства в коммуны. У нас такая форма была в начале 20-х годов и оказалась весьма действенной с точки зрения перевоспитания крестьянства.

- Да, - замечает Суслов, - еще Ленин говорил... - следует цитата на память. - Правда, все-таки с коммунизацией деревни не получилось.

- Думаю, - говорит Пономарев, - недооценили, поспешили отказаться после первых неудач. Но ведь и с колхозами было немало трудностей...

Начинается теоретическая дискуссия между Михаилом Андреевичем и Борисом Николаевичем, остальные вяло подают реплики, пока Дмитрий Федорович Устинов с солдатской (или маршальской?) прямоотой не возвращает теоретиков на грешную землю.

- Михаил Андреевич, Борис Николаевич, чего рассуждать о коммунах, когда со дня на день "Солидарность" грозит отстранить партию от власти!

К чести Суслова, должен сказать, что он с самого начала задал правильное направление работе Комиссии. В первом же его выступлении было заявлено, что Советский Союз никоим образом не может пойти на военное вмешательство в Польшу. Тот же принцип был подтвержден следующим председателем Комиссии, Андроповым. При нем обстановка стала более демократичной. Взять слово и поделиться своим мнением могли уже и "младшие чины", вроде нас с Рахманиным. Несколько заседаний было проведено под председательством Черненко. Убей меня бог, если я в состоянии вспомнить хоть одну высказанную им мысль. То же самое было и на двух заседаниях Политбюро под его председательством, на которых мне пришлось присутствовать. Дав слово всем желавшим, никого не перебивая репликами или вопросами, как это обычно делали все другие, в особенности Горбачев, Константин Устинович молча выслушал "коллегию" и заключил обтекаемой фразой: "Значит, на этом остановимся?" Все, естественно, кивают. После чего он говорит ведущему протокол заведующему Общим отделом: "Так и запишите".



Фигура Черненко может служить своего рода ключом к характеристике личности Брежнева. Ведь не случайно он выбрал себе в наперсники явно скучного, серого, не очень умного и уверенного в себе человека. Не просто обласкал и доверился ему, но за несколько лет возвел в "престолонаследники". В отличие от распространенного мнения, будто Брежнев видел своим наследником Андропова, я полагаю, он как раз готовил на это место своего друга Костю. И только влиятельная "тройка" (Громыко, Устинов, Андропов) помешала осуществить этот план сразу после смерти Леонида Ильича. Черненко пришлось дожидаться своего часа, а когда он пришел, запаса жизненных сил не оставалось.

В который раз хочу повторить, что все эти разрозненные наблюдения за личностью Леонида Ильича и бессистемные размышления о его окружении и стиле власти не претендуют ни на личный его портрет, ни тем более на образ эпохи, связанной с его именем. К настоящему времени накопилось много документальных свидетельств, сочиняются и романы. В одном из них\* генсек предстает среди героев, окруженных мистической аурой, - полусвятого прорицателя отца Арсения, романтического вора Сергея Романовича, оперной дивы Ксении и т.д. Ему приписываются несвойственная реальному прототипу изысканная лексика, возвышенная любовь и гамлетовские метания.

В другом романе, посвященном Андропову\*\*, три четверти занимает детективная история браков и похаживаний дочери Брежнева, а сам он изображен несчастным обиженным стариком, отступающим перед натиском властолюбивого Председателя КГБ. Можно не сомневаться, что появится еще немало интерпретаций этого не сказать загадочного, но содержащего немало секретов отрезка нашей истории.

Пока же, на мой взгляд, самый правдивый политический портрет Брежнева написал Рой Медведев. С одним только в его характеристике трудно согласиться. По мнению Медведева, Брежнев "понимал ограниченность своих возможностей и этим выгодно отличался от многих других советских лидеров"\*\*\*. Прежде всего Брежнев не отличался выгодно ни от одного советского лидера, кроме, может быть, Черненко, которого сам же и поднял на эту высоту. А что до возможностей - он вовсе не был самокритичен, разве не об этом свидетельствует то спокойное, уверенное достоинство, с каким он принимал пять Золотых Звезд, маршальское звание, Ленинскую премию и прочие награды. Нет, Рой Александрович, Леонид Ильич отнюдь не был скромником и если не вступил на путь великих потрясений, то только потому, что был ленив и не обладал (может быть, к счастью) развитым воображением.

Точно так же мне не кажется справедливым, когда Брежнева называют "политической бездарностью"\*. Нет, он не был бездарностью. Он был незаурядным политиканом и в таком качестве - олицетворением посредственности. Это слово принято у нас произносить с оттенком презрения, как нечто ничтожное, убогое, жалкое. Но когда учительница выставляет ученикам тройку, одни огорчаются, что не получили четверку или пятерку, а другие радуются, что проскочили без двойки или единицы. Так и с этим.

Стендалю первому пришло в голову окрасить разные отрезки времени. Под каким же цветом прожила страна 18 брежневских лет? Конечно, под серым. Как, возразят мне, строили коммунизм, продолжали осваивать космос, достигли военного паритета с Соединенными Штатами, заслужили статус одной из двух сверхдержав, распоряжались в Содружестве, поддерживали десятки революционных режимов во всех частях света - и серость? Да, никогда, даже при генералиссимусе, Советский Союз не был так величествен. При Брежневе он достиг пика могущества!

Но, вероятно, именно поэтому стал сначала незаметно для себя и мира, затем все более наглядно деградировать. Такое случается со всякой силой, достигшей вершины, просто потому, что нельзя на ней долго усидеть. И потянулись внешне благополучные, заполненные торжественной суетой и самовосхвалением власти, как при Византийском дворе, а внутренне хилые, болезненные для общества годы. Серость нависла над временем.

В МКД

С международным коммунистическим движением связана немалая часть моей жизни. Я

"соприкоснулся" с ним еще подростком, когда гостил у московских родственников. Мой двоюродный брат Григорий Джавадович Оганесов работал тогда в Молодежной секции Коминтерна, КИМе, откуда потом вместе с Пономаревым перекочевал в Международный отдел ЦК, а перед уходом на пенсию потрудился управляющим делами в "Проблемах мира и социализма". Энергичный рачительный хозяйственник, он хорошо ладил с иностранцами, опекать которых стало, в сущности, его профессией. Несколько дней я погостил у него на даче в поселке, где отдыхали Димитров, Торез, Тольятти, Готвальд и другие деятели Коминтерна. Излюбленным их времяпрепровождением, кроме купания и рыбной ловли в Москве-реке, был волейбол. Играли самозабвенно, не жалея себя падали на землю, чтобы принять коварный мяч, не обходилось без споров - был ли аут или следует за-считать очко. Команды формировались по "служебному" признаку: в одной члены ИККИ, в другой - "обслуга" (инструктора, переводчики, хозяйственники). Последние брали верх, но время от времени, явно из дипломатических соображений, все-таки уступали зарубежным друзьям. Я любил наблюдать за игрой, они ко мне привыкли, приветствуя, похлопывали по плечу, говорили, что похож на старшего брата. Однажды даже попросили занять судейскую вышку за отсутствием более солидного рефери.

Спустя 30 лет мне довелось стать одним из тех, кто готовил совещания и встречи "братских партий", участвовал в официальных переговорах и беседах тет-а-тет, сочинял, точнее, составлял декларации, заявления и прочие документы. Разумеется, не на первых ролях, поскольку не удостоивался чести быть избранным в состав Центрального Комитета или хотя бы Ревизионной комиссии. Я был, можно сказать, в "рабочем цеху МКД", зато почти всегда в эпицентре событий, имея возможность наблюдать за основными действующими лицами и составить представление о характере и масштабе этого уникального исторического явления.

В прошлом МКД было у нас предметом бесконечного славо-словия, а в первые постперестроечные годы - свирепого поношения. Теперь ему, похоже, угрожает самое худшее - забвение. Его адепты и поклонники устали защищаться от обвинений в "мировом коммунистическом заговоре", все еще не оправившись от сокрушительного поражения, каким явились для МКД распад Советского Союза и социалистического содружества, исчезновение КПСС, которую не способна заменить КПРФ, трансформация коммунистических партий стран Центральной и Восточной Европы в социал-демократические. Они рады, что средства массовой информации больше не будоражат эти болезненные для них сюжеты, что их хотя бы на время оставили в покое.

А воинственные противники коммунизма поостыли - не потому, что к нему подобрели, а потому, что не видят в нем прежней опасности, и по-своему правы. Если компартии отдельных стран, оправляясь после разгрома, начинают возрождаться в новом обличье и даже кое-где возвращаться к власти, то мировой коммунизм, т.е. солидарность и организационное единство компартий, превращавшие их в глобальную силу, не уступавшую иной великой державе, почил в бозе. По крайней мере в данный момент.

Подойдя к МКД без политической предвзятости, следует признать, что никогда до него история не знала движения, в такой степени возвышавшегося над государствами и границами. Даже вселенские церкви, не говоря уж о масонских ложах, братстве сенсимонистов и других покушениях на глобальное объединение человеческой массы, не добивались, чтобы преданность интернациональной идее в такой мере ставилась выше лояльности к своему отечеству. В последнее время раскрываются все новые факты о людях, которые с опасностью для жизни вели разведывательную работу в пользу Советского Союза, притом не из-за денег, а из идейных побуждений. Среди них были и нечлены компартий, просто антифашисты, считавшие, что только так они могут приблизить разгром нацизма. Но миллионы коммунистов воодушевлялись чеканной формулой Маркса "Пролетариат не имеет отечества, а завоеует он весь мир" и видели в Октябре зарю новой эры. Верили в это и сами большевики, считавшие, что революция распространится по Европе и миру, стирая границы и объединяя народы на строительстве новой, разумной и справедливой жизни.

Эрозия началась уже в предвоенные годы, когда стало ясно, что вместо глобальной социалистической революции грядет глобальная же националистическая война. Сталину пришлось пожертвовать Коминтерном, обменяв его на антигитлеровскую коалицию. Конечно, он рассчитывал перехитрить Черчилля, будучи уверен, что компартии все равно останутся под контролем Москвы, в сфере ее идейного притяжения как "Мекки коммунизма", лишь формально превратятся из батальонов всемирной армии труда в национальные партии, чтобы пробиться к власти (не получилось революционным путем - попробуем парламентским!). Первые послевоенные годы, казалось, подтверждали подобные расчеты. На Востоке Мао Цзэдун привел в социалистический лагерь пятую часть человечества. На Западе Тольятти и Торез, хотя и вытесненные из правительств, превратили свои партии в неотъемлемый элемент парламентской системы. Число официально зарегистрированных членов компартий перевалило за 50 миллионов. Сюда следует добавить так называемых революционных демократов в странах Африки и Латинской Америки, которые не штудировали "Капитала", но видели в Кремле штаб мировой революции, обращались к нему за советом, деньгами и оружием - этого было достаточно, чтобы числить их в "резерве МКД".

К наращиванию мощи отдельных отрядов добавилась небывалая степень сплоченности движения. Как ни странно, этому способствовала смерть Сталина. Победа в войне вознесла его на вершину международной популярности, но не как вождя трудящихся всего мира, а как главу государства, сыгравшего решающую роль в разгроме фашизма, как одного из лидеров "большой тройки". Начатое с первых сражений "холодной войны" массированное разоблачение тоталитаризма в СССР поставило западные партии перед угрозой лишиться поддержки интеллигенции. Уход Сталина снял эту проблему, а XX съезд породил надежду на то, что первая страна социализма станет и образцовой демократией. С другой стороны, Пекин еще сохранял по инерции пиетет к Москве как к центру мировой революции, а Мао Цзэдун не вступил в соперничество за освободившееся место главного коммуниста планеты. Совпадение благоприятных обстоятельств сделало возможным созыв в 1957 и 1960 годах международных совещаний коммунистических и рабочих партий и принятие общих итоговых документов, Декларации и Заявления, претендовавших сыграть роль нового Комманифеста. Увы, разгоравшийся советско-китайский спор обесценил этот успех и перечеркнул формулу основоположников, ввергнув их последователей в уныние: о каком единении пролетариата всех стран можно было говорить после вооруженного столкновения двух великих коммунистических держав на Даманском. Только после ухода Мао и отстранения от власти Хрущева оказалось возможным предпринять еще одну, третью попытку сплочения компартий, и брежневское руководство КПСС этим воспользовалось.

Я вовсе не собираюсь превращать свои воспоминания в монографию по истории МКД. Эта справка была нужна только для того, чтобы подвести к началу событий, в которых мне пришлось принять участие. Строго говоря, МКД находилось в полном "ведении" Международного отдела ЦК КПСС. Но поскольку наш отдел "ведал" связями с социалистическими странами, а компартии этих стран признавались за авангардный отряд МКД, занимались им оба международных отдела совместно. Впрочем, наш был скорее в пристяжных. Для "пономаревцев" "укрепление МКД", под которым подразумевалось управление им, было главным делом. Для нас на первом месте стояла мировая система социализма, а уж потом МКД.

В обычные времена каждый отдел жил своими заботами, лишь изредка требовалось согласовать с соседями какую-нибудь акцию. Такая потребность возрастала в дни проведения съездов КПСС или праздничных годовщин (50-летие Советской власти, 30-летний юбилей Победы в Отечественной войне и др.), когда все флаги были в гости к нам, надо было синхронизировать работу многочисленных служб приема гостей. Ну и, наконец, пик сотрудничества международных отделов наступал в периоды подготовки и проведения совещаний компартий. Для этой цели решением ЦК или просто по рабочей договоренности двух секретарей создавалась общая команда, в задачу которой входили подготовка проектов

заключительных документов и их согласование на двусторонних и многосторонних подготовительных встречах. От нас, кроме меня, в группу входили консультанты - Н.В. Шишлин, Р.П. Федоров, Ю.А. Мушкатеров, Н.П. Коликов, от международных - В.В. Загладин, Ю.А. Жилин, В.В. Собакин, А. Ермонский, Б. Пышков и другие. Непосредственное руководство этим смешанным коллективом лежало на Пономареве. Бывший в свое время не то помощником, не то секретарем Георгия Димитрова, он ощущал себя хранителем традиций Коминтерна и ревниво оберегал эту привилегию.

Другой сферой "совместного ведения" двух отделов была передача материальной и финансовой помощи зарубежным партиям и близким нам по духу международным общественным организациям.

Вашингтон и его союзники инспирировали создание мощного правозащитного движения, направленного острием против социалистической системы, на что Москва и ее партнеры ответили движением мирозащитным. Было бы явным упрощением видеть в том и другом всего лишь происки ЦРУ и КГБ, массовую агентуру спецслужб и орудия двух сторон на пропагандистско-информационном фронте "холодной войны". В каждом из них по зову совести участвовали миллионы людей. Конгрессы в защиту мира собирали цвет интеллигенции того времени, коммунистам не всегда и не просто давалось проводить их под свою диктовку, приходилось идти на уступки и компромиссы, с годами все менее для себя приемлемые. Вероятно, в этом одна из причин того, что советское руководство где-то в конце 60 - начале 70-х годов пришло к выводу, что игра не стоит свеч. Место "комитетов защиты мира" заняли "общества дружбы с зарубежными странами"; от ТАССа отпочковалось агентство печати "Новости" с задачей нести в мир марксистско-ленинское просвещение; на смену газете компартий "За прочный мир, за народную демократию" пришел журнал "Проблемы мира и социализма". Изменились формы и методы, сохранилась инфраструктура пропаганды на зарубеж. А придаваемое ей значение было подчеркнуто созданием еще одного международного отдела ЦК КПСС внешнеполитической информации, возглавленного сначала Л.М. Замятиным, потом С.В. Червоненко.

Нет нужды говорить, что львиную долю расходов на поддержку МКД нес Советский Союз. Размер вклада соцстран Центральной и Восточной Европы более или менее соответствовал их возможностям, хотя свою роль играло и понимание руководством этих стран своего "интернационального долга". Самой щедрой в этом смысле была ГДР. Немцы, располагавшие всего третью территории и четвертью населения рейха, по-прежнему ощущали себя великой нацией, прародительницей научного социализма, призванной быть авангардом рабочего движения на капиталистическом Западе. СЕПГ вносила следующий по размеру, после советского, вклад в финансирование журнала, брала на себя проведение подготовительных встреч и совещаний компартий, принимала на отдых партийных функционеров со всего света. В центре Берлина, на берегу Шпрее, была построена гостиница для этих целей, которая, насколько я знаю, никогда не пустовала. Примерно таким же был вклад КПЧ - не случайно две европейские конференции компартий были проведены: одна в Праге (1967 г.), другая в Берлине (1976 г.). Посильные расходы несли поляки, венгры, болгары и румыны, хотя Бухарест, ссылаясь на экономические трудности, то и дело задерживал оговоренные платежи в бюджет журнала, а с некоторых пор и вовсе перестал платить.

Теперь не составляет секрета, что многие коммунистические партии получали регулярное "вспомоществование" от КПСС. Но тогда это обставлялось высшей степенью секретности. За четверть века работы в аппарате, притом на достаточно высоких должностях, я ни разу не читал какого-либо документа на этот счет и уж тем более не сталкивался с фактом непосредственной передачи денег из рук в руки. Разумеется, я знал о существовании такой практики, однако в детали был посвящен только узкий круг особо доверенных людей, а тему эту не было принято обсуждать даже в дружеском кругу.

"Дотации" компартиям увеличивались, когда они обращались с просьбами спасти от разорения свои печатные издания или помочь финансированию избирательной кампании. Но

все эти траты не шли в сравнение с расходами на национально-освободительные или "антиимпериалистические" движения. В биполярном мире безотказно действовал принцип, согласно которому приветствовалась любая возможность причинить ущерб противной стороне, не вовлекаясь в прямое вооруженное противостояние. Этим с энтузиазмом пользовались как настоящие борцы освободительного фронта, так и различные спекулянты, усмотревшие шанс нагреть руки на вражде сверхдержав.

Елиазар Кусков (о нем речь ниже) рассказывал, как ему поручено было принять "революционного лидера" из какой-то центральноамериканской страны. Тот потребовал выделить ему 50 млн. долларов и целый арсенал оружия, включая ракеты "земля-земля", пообещав после победы над империализмом привести свою страну в соцлагерь. На вопрос, зачем им при небольшой территории ракеты, которые "приземлялись бы" в океане, ответа не нашлось. Не настаивал проситель и на 50 миллионах, сократив свою "заявку" до нескольких тысяч долларов и партии автоматов Калашникова. Получил он их или ушел ни с чем - не ведаю.

Изрядно порастратившись и убедившись в малой доходности "революционных предприятий", наше руководство стало более осмотрительно воспринимать посулы героических бородачей. Думаю, особую роль в наступившем переломе сыграл исход событий в Никарагуа и Анголе. С подачи кубинцев, лоббировавших в пользу сандинистов, Советский Союз оказал им значительную помощь деньгами и оружием. Однако победоносной революции у братьев Ортега не получилось, а мирным путем оттеснить от власти соперников, щедро финансируемых Вашингтоном, было заведомо безнадежной затеей. Не лучше получилось в Анголе, хотя вроде бы победу здесь одержали "наши" - Партия труда, возглавленная Душ Сантушем. Отбиться от Савимби, получавшего американскую поддержку, удалось только благодаря десятитысячному кубинскому экспедиционному корпусу и поставкам крупных партий советского оружия. Между Москвой и Гаваной даже возникли трения. Фидель жаловался на нашу скарденность при оплате чрезвычайных расходов на эту "интернационалистскую акцию", упирая на то, что Куба идет на жертвы, посылая в Африку своих сыновей, грешно оставить их без снаряжения и современного оружия\*. Но высоко оцениваемое с точки зрения "пролетарской солидарности" советское участие обернулось пустой тратой капитала. В то время как правительство США интриговало против Душ Сантуша, американские компании качали нефть в Анголе. Больше практицизма нам, право же, не помешало бы.

В начале 90-х годов, в разгар антикоммунистической истерии, предпринимались попытки посадить компартию на скамью подсудимых, объявить преступной организацией. Одним из пунктов обвинения была трата народных денег на финансирование МКД. Но на таком основании следовало бы объявить преступными, по существу, все правительства великих держав, поскольку речь идет о самой заурядной практике. И в прежние времена правительства подпитывали оппозицию во враждебных государствах, а уж в наше время подобные методы стали почти легальными. О чем говорить, если сотни тысяч долларов для президентской кампании Ельцина выносились непосредственно из американского посольства в Москве.

Мой дебют в МКД начался с участия в подготовке Европейского совещания коммунистических и рабочих партий, состоявшегося в 1967 году в Карловых Варах. Ему предшествовали две или три подготовительные встречи в Варшаве. По предварительному согласованию, ответственность за подготовку проекта документа была возложена на ФКП и ПОРП. Французам никак не светило собирать в Париже подобие Коминтерна, и они отбоярились, ссылаясь на политическую конъюнктуру и экономические трудности. Расходы и хлопоты достались полякам. Вел встречу с их стороны член Политбюро, секретарь ЦК ПОРП Зенон Клишко - высокий костлявый человек, с лошадиным лицом, обладавший редкостной способностью приводить к компромиссам самые различные точки зрения. Вел заседание с завидным хладнокровием, его не могли вывести из себя возникавшие время от времени перепалки или пустячные придирки к протоколу, без чего не обходится собрание, на

котором представлено три десятка партий и каждая норовит доказать свою самостоятельность, причем ее претензии обратно пропорциональны размерам представляемой ею страны.

Наделенный едким остроумием, Клишко не раз вызывал своими репликами смех и пользовался этим приемом, чтобы разрядить периодически напрягавшуюся обстановку. Уже после того, как с грехом пополам удалось сверстать проект Заключительного коммюнике совещания и обсуждались организационные вопросы, возник жаркий спор - сообщать ли в печати точную дату предстоящего совещания компартий (24 апреля). Делегации соцстран были против, ссылаясь на то, что в нем примут участие генеральные секретари, они же главы государств, интересы безопасности требуют не давать иностранным разведкам шанса учинить какую-нибудь пакость или чего хуже - одним актом обезглавить социалистический лагерь. Нам возражали, что дата созыва совещания все равно окажется секретом полишинеля, поскольку в подготовительной встрече приняли участие в общей сложности полторы сотни человек. Представитель английской компартии заявил: "Ставлю сто фунтов стерлингов, что не успеем мы выйти из этого зала, как Би-би-си назовет день встречи коммунистов в Карловых Варах". Клишко нашелся, сказав, что готов поставить против английских фунтов сто польских злотых. Посмеялись и согласились с предложенным им компромиссом: назвать место совещания, не говоря о дате: "Пусть мучаются цэрэушники, правильно ли угадали".

Уже на встрече в Варшаве проявились разногласия, довольно четко распределившие европейские компартии на две группы - восточную, ведомую КПСС, и западную, равнявшуюся на Французскую и Итальянскую компартии. Правда, в той и другой время от времени находились нарушители групповой дисциплины, преподносившие сюрпризы своим лидерам. В нашем лагере время от времени демонстрировали свою независимость румыны и, скажем так, автономию поляки. Несколько небольших западных компартий, находившихся целиком на иждивении Москвы, отрабатывали гарантийной поддержкой нашей позиции. Спор же велся не столько вокруг теоретических вопросов - уже было молчаливо признано, что каждая партия вольна распорядиться, как ей угодно, марксистско-ленинским наследием и должна только присягнуть пролетарскому интернационализму. Яблоком раздора стало отношение к Пекину. В целом, разделяя нашу критику маоистского революционаризма, западноевропейские компартии были против прямых инвектив в адрес КПК, которые выглядели бы как ее отлучение от МКД. За этим стоял очевидный политический расчет - продемонстрировать независимость от Москвы и отмежеваться от опасной свары двух восточных исполинов. В своем кругу компартии вели геополитические игры, и пролетарский интернационализм не мешал повторять маневры представляемых ими держав.

В назначенный день делегации собрались в Карловых Варах. Чехословацкое правительство по этому случаю выделило 25 млн. крон. И без того чистый городок выскребли добела, выкрасили заново красавцы-отели в центре, приняли экстренные меры для надежной охраны высочайших особ. Что же касается самого совещания, то о нем и сказать-то нечего. В отличие от подготовительной встречи, где состоялось настоящее согласование позиций, заключительный этап свелся к произнесению монологов главами компартий. Сколько помню, никто из них даже не пытался как-то откликнуться на мнение своих коллег, просто зачитывал заранее заготовленный текст. В кулуарах и на банкете лидеры и их соратники имели возможность пообщаться, после чего разъехались довольные друг другом. Леонид Ильич решил возвращаться поездом через Прагу, а нам было дозволено лететь в Москву его самолетом.

С неделю после этого наша печать трубила о сплочении компартии на принципиальных основах марксизма-ленинизма, а китайская - о безуспешных попытках ревизионистов навязать революционным народам свой преступный курс. На деле это было не что иное, как одна из последних попыток продлить существование Коминтерна. При различной направленности есть некое сходство процессов в сфере международных партийных и государственных отношений. Общеввропейский процесс, как известно, начался с серии

Совещаний по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые затем переросли в соответствующую организацию - ОБСЕ. Пролетарская солидарность, напротив, начав с дисциплинированной и эффективной организации, "увяла" до периодических совещаний, чтобы затем вовсе угаснуть.

Следующая попытка вдохнуть жизнь в дряхлеющую коммунистическую солидарность была предпринята сразу после Карловых Вар. Там и была достигнута предварительная договоренность о созыве очередного международного совещания компартий. Возвратясь домой, Пономарев, не теряя ни минуты, принялся проталкивать эту идею. Обстановка, казалось, ей благоприятствовала. Плохо ли, хорошо, все-таки удалось найти общий язык с грандами европейского коммунизма ФКП и ИКП. Следующий после европейского крупный отряд компартий, латиноамериканский, следовал в фарватере КПСС. На стороне Пекина, кроме Албанской Партии труда, было всего несколько малозначных ультрареволюционных группировок, целиком содержащихся на китайские деньги. То есть были реальные шансы на очередной триумф Москвы в качестве штаба мирового коммунистического и революционного движения.

Стоит вспомнить мою притчу о референте Р. Ратуя за скорейшее проведение международного совещания, Суслов, Пономарев и другие сановитые международники держали в голове, что всякая кампания такого рода укрепляет их внутренние позиции и обещает достойную награду за не столь уж тяжелые и неприятные сами по себе труды. После Карловых Вар генсек вошел во вкус выступлений в роли "коммуниста No 1" планеты с трибуны международных форумов. Это обеспечивало благосклонное отношение к тем, кто их готовил. Международные отделы направили в ЦК записки о целесообразности безотлагательно начать работу по созыву международного совещания компартий, были приняты решения с соответствующими поручениями, работа закипела. Консультантов усадили сочинять проект вселенского коммунистического документа. Секретари ЦК и заместители заведующих отделами отправились в столицы соцстран для инструктажа коллег. После консультаций было решено избрать в качестве места подготовительной встречи Будапешт. Мне кажется, Кадар согласился на это, чтобы продемонстрировать, что Венгрия под его руководством залечила раны 56-го года и стала в ряд вполне уважаемых и надежных центров коммунистического движения. Знай он, во что выльется эта сомнительная честь, мудрый и осторожный венгерский руководитель предпочел бы от нее откеститься. Впрочем, может быть, на него просто нажали, приперев к стене все тем же безотказным доводом об интернациональном долге.

Дело в том, что вместо одной, на худой конец, двух-трех сходов, венгерской столице пришлось принять 10 или 11 туров "консультативной встречи" в течение 1968 года. По существу, с промежутком в месяц-полтора делегации нескольких десятков партий съезжались в Будапешт, проводили неделю в жарких дискуссиях, чтобы затем отправиться восвояси, доложить лидерам о содержании споров по документу, получить их согласие на небольшие подвижки и вернуться в венгерскую столицу для новых словопрений. Венграм пришлось надолго закрыть для туристов лучшую гостиницу города со знаменитыми серными ваннами и бассейнами "Геллерт", в которой размещались и заседали делегации. Всю эту ораву надо было кормить, обслуживать, по вечерам увеселять концертами и кинопросмотрами, а почетных гостей, в числе которых были, несомненно, секретари ЦК КПСС, приглашать на ужин в одном из экзотических ресторанчиков, которыми так богат "второй Париж".

Конечно, как всегда, большую часть расходов взяла на себя КПСС, но хлопот сверх головы досталось все-таки венграм. Как хозяева встречи, они должны были взять на себя оформление и рассылку очередного проекта и многочисленных поправок к нему, вставлявшихся делегациями. Поскольку рабочим языком был русский, мы работали с нашими венгерскими коллегами как единая команда. Не знаю, как насчет национального менталитета, но всем нашим венгерским партнерам было присуще то, что можно назвать европейской политической культурой способность внимательно слушать собеседника, не

отбрасывать с порога его доводы, терпимость к чужому мнению. Впрочем, настойчивость в отстаивании собственных взглядов при готовности к компромиссам свойственны, пожалуй, в равной мере всем малым народам Центральной и Восточной Европы, без этого они не смогли бы выжить и сохранить свою идентичность под мощным перекрестным давлением западноевропейских держав, Османской и Российской империй.

У меня установились дружеские отношения с двумя симпатичными молодыми людьми - Матиашем Сюрешем и Дьюлой Хорном. Мы много сотрудничали впоследствии, когда они стали заместителями заведующего международным отделом ЦК ВСРП. Пиком карьеры Сюреша стал пост министра иностранных дел. Признаться, ни мне, ни моим товарищам не приходило в голову, что Дьюла Хорн станет лидером реформированной социалистической партии, приведет ее к победе на выборах и в течение нескольких лет будет занимать кресло венгерского премьера. Вспоминаю, как после заседаний, редакции и оформления текстов мы с ним спускались в уютный бар, где певица в сопровождении небольшого оркестрика исполняла цыганские и джазовые мелодии, за бокалом вина обсуждали мировые проблемы.

Почти каждый тур подготовительной встречи проходил по закону драмы: более или менее спокойная завязка, обострение конфликта, кульминация, финал. А подспудной пружиной сюжета служило противоречие между стремлением КПСС диктовать коммунистическому сообществу свою программу действий и противодействием этому, активным и пассивным, со стороны "бунтарей". Самыми драчливыми из них оказались румыны. Дело даже не в том, что они отчаянно противились любому намеку на осуждение "раскольнической деятельности Пекина" и надоели всем, настырно вписывая в каждый параграф документа фразу о независимости компартий от какого-либо центра. Свои взгляды не менее настойчиво отстаивали и многие другие партии. Однако румынская делегация делала это демонстративно, откровенно провоцируя политические скандалы.

Чаушеску явно стремился таким путем приобрести в социалистическом лагере статус, какой, благодаря де Голлю, принадлежал Франции в Атлантическом союзе. Игру он вел беспроеигрышно, поскольку хорошо знал, что, как бы в Москве ни раздражались его показной оппозиционностью, наказать за нее не могут. Зато в благодарность за болезненные уколы самолюбию Москвы мог рассчитывать на благодарность американцев, сохраняя при этом самый жесткий в Центральной Европе политический режим. К тому же румынский лидер готов был и приторговать своей оппозиционностью. Пожалуй, в самой циничной форме это произошло на Совещании ПКК Варшавского Договора в Праге в 1982 году. Там Чаушеску уперся по одному из пунктов коммюнике, остальные генсеки коллективно и по очереди его безуспешно уговаривали, терпение было на исходе, готовился уже Итоговый документ без участия румын, когда от них последовало деловое предложение: обменять свою подпись на дополнительные поставки 5 млн. тонн советской нефти. Я никогда не видел Андропова в таком крайнем раздражении. Он категорически отказался идти на сделку. В конце концов Чаушеску все-таки вынужден был уступить.

Тогда же румынская делегация устроила представление, которое было явно запланировано заранее. После нескольких часов бесплодной дискуссии ее руководитель Никулеску-Мизил заявил, что не видит возможности продолжать совместную работу в условиях, когда игнорируется мнение РКП, а посему ее делегация покидает консультативную встречу. Надо иметь в виду, что участники собрания в отеле "Геллерт" принадлежали к тому поколению коммунистов, которое не видело на своем веку ничего подобного, а если и были там "аксакалы", то они уже давно позабыли бурные разборки докоминтерновских лет. Поэтому уход румын произвел поначалу впечатление чуть ли не катастрофы. Все побежали строчить телеграммы лидерам, начали увещевать Бухарест образумиться. Румыны вернулись, и возобновилось долгое "сидение" над проектом.

Тогда мне в голову закралась крамольная мысль: можно ли рассчитывать на успех коммунистической доктрины, если не находит подтверждения ее главный постулат, а компартии готовы разбежаться по национальным квартирам?

Почти год, как я уже сказал, продолжалась консультативная встреча, и на все это время



международный отдел чуть ли не в полном составе переселился в венгерскую столицу. Референты со знанием иностранных языков находились под рукой у секретарей ЦК, когда надо было переговорить с какой-нибудь из многочисленных делегаций. Консультанты корпели над бумагами, а организационный штаб нашей делегации возглавлял первый заместитель Пономарева Елиазар Ильич Кусков.

Моих литературных способностей явно недостает, чтобы описать эту колоритную фигуру - как раз потому, что при этом почти не за что зацепиться. Ниже среднего роста, худенький, невзрачный, с сероватым, маловыразительным лицом. Вот уж на ком сломал бы зубы проникательный детектив - ни за что не признал бы в этом мужичке, к тому же неряшливом и плохо одетом, важного партийного чиновника, отнес бы его к категории бомжей или работяг, вкалывающих в жэке. Но не ошибся бы только в одном - в склонности к "зеленому змию" Елиазар был, безусловно, сродни этой людской категории. В остальном же он был неплохо подготовленным партийным пропагандистом. Редактировал в провинции какой-то журнал - и уж не знаю, по чьей воле, переведен в столицу, а здесь сделал довольно быструю карьеру, причем без покушения на это со своей стороны. Мне кажется, этим он обязан был прежде всего своему здравому смыслу, которым обладал в "чистом виде".

Что я имею в виду? Здравомыслящих людей немало, но у одних это свойство искажается излишком воображения, у других - недостатком знаний, у третьих интеллектуальной робостью. Наверное, есть еще и другие варианты, снижающие ценность здравого смысла. У Елиазара он существовал без каких-либо вредных примесей. Послушен по-армейски, не лез на рожон, но мог, согнувшись в полупоклоне, возразить начальству, и отступался от своего, когда уже становилось ясно, что дело это безнадежное. Делу был предан безмерно. У него, казалось, не было никаких других радостей, кроме как дни и ночи сидеть на своем рабочем месте. Вероятно, в этом заключался и свойственный ему организационный талант: постоянное личное присутствие было лучшей гарантией бесперебойной работы подчиненного аппарата.

Хотя Елиазар Ильич вышел не из партийных чиновников, а из журналистов, он вполне освоил язык, на котором писались партийные документы со времен Краткого курса ВКП(б). Просто, без выкрутасов, чтобы было понятно и младенцу, с долей народного юмора и даже издевки, когда речь идет о противнике. Предписывалось избегать иностранных словечек. Считалось хорошим тоном время от времени вставлять поговорку или хлесткую цитатку. Допускались образы. Кстати, именно Кусков назвал мировую социалистическую систему "главным детищем" международного рабочего класса. Как-то ему подкинули текст, в котором революционно-демократические режимы именовались "племянниками" МКД. На подначки он не обижался. Относился к той редчайшей породе людей, которые, продвигаясь по служебной лестнице, остаются самими собой.

Работать с ним было легко и приятно, если не считать состояния, в котором Елиазар Ильич явно нарушал закон природы. Общеизвестно, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. У него же все было наоборот. Он был предельно доброжелателен в отношениях с окружающими, причем не было основания сомневаться, что это идет от доброты натуры. А вот перепив, вдруг начинал костерить всех подряд, без разбору, с непонятно откуда взявшейся злостью. Приходя же в себя, ничего не помнил. Однажды мы с ним вдвоем отправились в ту же Венгрию. В самолете Елиазар поднабрался, в аэропорту нас встретили коллеги из международного отдела ЦК ВСРП, и уже по дороге из аэропорта, а тем более за ужином в гостинице им пришлось выслушать о себе такое, что могло бы стать источником межпартийного разбирательства, если б наши коллеги не были снисходительны к этой человеческой слабости.

Я относился к Елиазару Ильичу с большой симпатией. С горечью узнал о постигшей его беде: в результате инсульта он потерял речь и способность двигаться. Его перевели на пенсию, в соответствии с общепринятым порядком дали возможность еще год прожить летом на закрепленной за ним казенной даче, своей у него не было. В дальнейшем близкие выносили его на улицу, сажали у подъезда, он грустно провожал глазами проходивших мимо

людей. Я, как и другие, обращался к Пономареву с просьбой помочь своему бывшему соратнику - то ли у него руки не дошли, то ли в Управлении делами не сочли правильным делать исключение из железного правила советской жизни: каждому - что положено. Еще одна информация к размышлениям на тему привилегий партноменклатуры.

Если Кусков олицетворял в международном отделе крестьянскую сметку, то Загладин - рафинированную интеллигентность. Безупречное владение несколькими иностранными языками в сочетании с беспримерной работоспособностью, уравновешенным характером и цепкой памятью помогли ему быстро выдвинуться, а добрый нрав - завоевать всеобщее расположение.

Надо отдать должное Пономареву. Все его замы были людьми незаурядными. Анатолий Сергеевич Черняев, став помощником Горбачева по международным делам, может считаться если не соавтором, то по крайней мере "членом авторского коллектива нового политического мышления". Надо обладать редкостной самодисциплиной, чтобы с юных лет и до старости вести дневник, в том числе на фронте. Долгие годы, когда Черняев трудился на Старой площади в роли помощника секретаря ЦК, а затем зама, у него не было никаких шансов опубликовать свои записи, так что это был заведомо сизифов труд. Зато в последние годы Анатолий публикует книгу за книгой, воскрешая минувшее, как он его увидел.

"30 лет на Старой площади" - так назвал свои мемуары еще один заместитель Пономарева Карен Нерсесович Брутенц. Мало кто у нас может соперничать с ним в знании и, что еще важнее, в понимании проблем необъятного "третьего мира", которые были в его "ведении" в международном отделе. Мы с ним земляки и одногодки, в чем-то со схожими судьбами.

Любители "жареного" будут, вероятно, разочарованы тем, что я не говорю ничего, скажем так, пикантного об этих людях. Разумеется, все они, как и сам автор этих воспоминаний, не лишены недостатков. Будь я подвержен приступам злословия, мог бы сказать, что Загладина за спиной уличали в склонности "утилизировать" чужие мысли, Черняева - в сексуальной озабоченности, а Брутенца - в сварливости и амбициозности. Но эти "грешки" во много раз перекрываются бесспорными достоинствами моих многолетних коллег. Мы с ними не были закадычными друзьями, я не бывал у них дома и не приглашал к себе, но с годами все больше ценил общение с этими умными и порядочными людьми. Мы, можно сказать, слеплены из одного "социального теста" и принадлежим к одному клану "шестидесятников".

Десять туров консультативной встречи в Будапеште были, помимо прочего, школой красноречия. Сегодня имена многих тогдашних лидеров компартий преданы глухому забвению. Тогда они были у всех на слуху, хотя бы потому, что торжественно назывались в списке почетных гостей наших съездов и выступали с приветственными речами. Просторный зал отеля "Геллерт" пустел на две трети, пока какой-нибудь малоизвестный коммунистический деятель занудно зачитывал заготовленный заранее текст. Зато сбегались послушать популярных ораторов. Итальянца Джанкарло Пайетта, поражавшего широтой познаний и пленявшего мягким юмором. Немца Герберта Миса, чьи выступления отличались обилием информации и глубиной анализа. Араба Халеда Багдаша, пламенного ратора, разоблачавшего происки империализма и "недоумие китайских товарищей". Американца Юджина Дениса, производившего впечатление не одним красноречием, но также элегантным внешним видом; его белая битловка была в тот момент "криком моды", и молодые люди из нашей референтской команды побегали по будапештским магазинам в поисках вожака наряда.

Свое описание будапештской встречи завершу несколькими фрагментами написанной мной тогда шуточной поэмы. При скромных поэтических достоинствах она неплохо передает атмосферу, которая там царила.

Потомок! Для тебя, дружок,

Я взялся за перо, как прежде,

Чтоб Встрече подвести итог

Консультативной в Будапеште.  
О, Будапешт, краса Дуная!  
Стоял одиннадцать веков,  
Такого сборища не зная,  
Сюда сегодня прибывают  
Посланцы всех материков.  
Мы слышим лай из Вашингтона,  
Пекин не устает нас крыть,  
Им вторят реваншисты Бонна,  
Но, как заметил Корионов\*,  
Плевками солнца не затмить.  
И пусть не злятся в Бухаресте,  
Нас в темных замыслах вина,  
Хотим лишь мы, собравшись вместе,  
Поговорить о дате, месте,  
А также о повестке дня.  
Нет, наша цель не отлученье,  
И собрались мы не за тем.  
Мы добиваемся сплоченья  
При коллективном изученье  
Всех актуальнейших проблем.

\*

Побросали все чай и кофеи,  
Распахнули все блокнотики свои.  
С кулуаров народ в залу повалил,  
Выступает Никулеску-Мизил.  
Не осталось в коридорах ни души,  
Застрочили вперевод карандаши,  
А иные повскакали даже с мест  
Заявляет он двенадцатый протест.  
Выступает осужденья супротив,  
Повторяет свой излюбленный мотив:  
- Если будете касаться КПК,  
Мы дадим отсюда трепака.  
И скажу я вам как братьям брат:  
Нетерпим для нас ничей диктат.  
Я обижен здесь сирийским братом,  
Потому вам ставлю ультиматум.  
Так нам всем Никулеску грозил,  
Никулеску, который Мизил,  
И, сказав под конец "мульцумеску",  
Наконец-то ушел Никулеску.

\*

Острова, острова ... Шум прибоя, лагуны, бананы...  
Для романтиков моря вы вечный приют и кумир.  
К вам стремятся душой бригадин боевых капитаны,  
А порою, как Корсика, вы изумляете мир.  
Острова, острова... С детства снился нам пик Монте-Кристо.  
С Кубой связан волшебный, хотя и недолгий наш сон.  
В Будапеште узнали и надолго запомнят марксисты  
Славный остров Гаити и роковой Реюньон\*.

\*

Пишем в день по телеграмме,  
Но не папе и не маме,  
А, волнуясь слегка,  
Информации в ЦК.  
"Заседали нынче ночью.  
Председатель был Комочин\*\*,  
Выступали делегаты,  
Говорили - очень рады,  
Очень рады этой Встрече.  
Отмечали в каждой речи,  
Что у всех у них одно увлечение,  
Что горою все стоят за сплочение".

\*\*\*

Еще не завершилась встреча,  
Еще речей лилась река,  
КВ - заботою отмечен  
Уже летел на ПКК.  
Лежала впереди София,  
В ней - ожидания большие.  
Маячил побоку Белград  
Ревизьонистов стольный град,  
Догматиков оплот, Тирана,  
Чуть выступала из тумана.  
А позади был Будапешт  
Столица сбывшихся надежд,  
Очаг повторного рожденья  
Единства, силы комдвиженья.

После года упорной и неблагодарной работы, кое-как skleпав наконец подобие нового своего Манифеста, коммунисты собрались в Москве за самым, вероятно, большим прямоугольным столом в мире, поставленным вдоль стен огромного Георгиевского зала Кремля. Если в Будапеште "консультировались" 67 партий, то на Совещание съехались уже 75. В течение почти двух недель (5-17 июня 1969 г.) генеральные секретари произносили свои монологи, а редкомиссия устраняла вновь возникшие к тому времени (в основном - в связи с подавлением Пражской весны) разногласия. Наконец документ принят, Леонид Ильич выступил на банкете с тостом, подчеркнув выдающееся значение нового этапа сплоченности комдвижения. И что осталось?

Сказать, что у меня было в то время ощущение бесполезности всего этого грандиозного, дорогостоящего предприятия, нельзя. Такая оценка во всей ее беспощадности пришла позднее. Но уже в то время и мне, и большинству моих коллег было очевидно, что достигнуть главной цели, которая ставилась перед совещанием, не удалось. Его итогом стал не апофеоз интернациональной солидарности, а раскол МКД, теперь уже закрепленный документом, под которым не стояла подпись крупнейшей коммунистической партии - китайской. Сталин считал, что пролетарская солидарность будет существовать и без формальных уз, как обходятся без брака многие семейные пары. Но, просуществовав в таком состоянии по инерции два десятилетия, МКД все-таки начало распадаться.

Последней отчаянной попыткой помешать этому стала Конференция коммунистических и рабочих партий Европы 1976 года. Ей предшествовало столь же долгое и мучительное, как в Будапеште, "сидение" над проектом Итогового документа в Берлине. Поехав в столицу ГДР той же командой, мы встретились со многими старыми своими знакомыми - французом Канапа, итальянцем Росси, испанцами Мендесона и Аскарате, румыном Шандру, венгром Хорном. На сей раз секретари не пожелали тратить год жизни на бесконечные дебаты и свалили это дело на своих замов. Благодаря этому берлинские

консультации отличались большим демократизмом, чему в немалой мере способствовал искусный председатель заведующий международным отделом ЦК СЕПГ Пауль Марковский. Худощавый, веснушчатый, с ежиком рыжих волос и быстрыми зелеными глазами, Пауль дирижировал собранием, умело используя возможности ведущего: объявить перерыв на кофе или отложить работу на другой день при первых признаках затевавшейся ссоры, поручить рассмотрение спорного вопроса специальной комиссии или подкомиссии и т. д. Практически все организационные вопросы, не говоря уж о содержании документа, наши немецкие коллеги согласовывали с Загладиным и мною, представлявшими в Берлине КПСС.

Если внешне сценарная канва подготовительной работы в Берлине была сходна с будапештской, то существенно изменилась их проблематика: китайский вопрос утратил свою жгучую актуальность, на первый план вышли серьезные разногласия между КПСС, другими партиями соцсодружества и группой влиятельных западноевропейских компартий. По своей теоретической сути это был спор между двумя этапами марксистской мысли - современной, которая была окрещена еврокоммунизмом, и традиционной, консервативной, упорно отстаиваемой нашим руководством. Бесконечный спор разгорелся, к примеру, вокруг понятия "диктатура пролетариата". Французы и итальянцы категорически настаивали на исключении этой формулы из проекта, ссылаясь, в частности, на то, что в современной социальной структуре демократических государств рабочий класс не располагает численным превосходством, к тому же доля его регулярно сокращается, общее соотношение "синих" и "белых воротничков" меняется в пользу последних. С доводами этими невозможно было спорить, наши коллеги из соцстран готовы были пойти им навстречу, мы с Загладиным несколько раз испрашивали согласие на уступки, но встречали требование настаивать на принятии первоначально подготовленного в Москве текста. Недели пролетали в словопрениях, а дело если и двигалось, то главным образом на закулисных переговорах, где изошрялись в поиске компромиссных формулировок (к примеру, вместо диктатуры пролетариата - государственное руководство обществом со стороны рабочего класса). Предлагались варианты "обмена" (мы вам "государственное руководство", вы нам - "взаимодействие с социал-демократами"). Словом, мало-помалу удавалось находить взаимоприемлемые развязки, хотя они и немногого стоили.

Разногласия с коммунистами "цивилизованных стран" не шли ни в какое сравнение со сварам внутри "ядра" МКД. Как и десять лет назад, румыны фактически пытались превратить документ из гимна сплочения в гимн независимости компартий. В Берлине они нашли себе нового союзника в лице югославов, присоединившихся к МКД после долгого перерыва. У Владо Обрадовича, невозмутимого и рассудительного серба, была к тому же своя идефикс - движение неприсоединения, которое он, склоняя на разные лады, пытался всадить в каждый абзац документа. Бесконечные дискуссии с ним требовали стальных нервов иногда я, не жаловавшийся тогда на здоровье, просил пардона и шел спать, Вадим же продолжал отстаивать честь КПСС уже не столько в теоретическом, сколько в спортивном поединке. Его мощная комплекция позволяла поглощать больше коньяка без ущерба для идеологического мышления, так что и упрямый Владо в конце концов сдавался. Где-то около пяти они расставались, после чего, поспав пару часов, позанимавшись с гантелями и освежившись душем, Загладин был готов к очередной нервотрепке.

Берлинская конференция компартий Европы прошла вполне благополучно: я уже рассказывал, что в кругу нашей делегации она была отмечена как очередной триумф Леонида Ильича. Что же касается значения принятого ею документа, над которым мы корпели целый год, я по своему обычаю аллегорически изложил его в стихотворной форме.

I

Дела в Европе просто блеск,  
Добились мы больших успехов.  
Кругом разрядка и прогресс,  
И совещанье стало вехой.  
С другой, однако, стороны,

Дела совсем не безнадежны,  
И это мы признать должны,  
Хотя и крайне осторожно.

II

Капитализм недавно вдруг  
Объял безмерно жуткий кризис.  
Теперь ему совсем каюк,  
Конец его, бесспорно, близок.  
С другой, однако, стороны,  
Увы, как это ни печально,  
Враги еще весьма сильны  
И укрепляются нахально.

III

Все ж обстановка хороша.  
Противоречьям нет предела  
Меж ФРГ и США.  
В ЕЭС неважно также дело.  
С другой, однако, стороны,  
О чем свидетельствуют факты?  
Вынашивая план войны,  
Они там укрепляют пакты.

IV

Как указал сам "Манифест",  
Чтоб быть нам силою ударной,  
Всем партиям из разных мест  
Необходима солидарность.  
С другой, однако, стороны,  
Не дай нам бог друг друга трогать.  
Самостоятельность должны  
Мы чтить почтительно и строго.

V

К борьбе за мир мы кличем всех  
И раскрываем всем объятья.  
Единство - вот где наш успех!  
Сомкнем ряды, друзья и братья!  
С другой, однако, стороны,  
Нельзя держаться слишком близко  
От тех, с кем мы разделены,  
От всякой швали реформистской.

VI

Я знаю: документу быть!  
Но самообольщение вредно.  
Нельзя нам переоценить  
Итогов - малых, бледных, бедных.  
С другой, однако, стороны,  
Опасно быть излишне скромным.  
И мы сказать принуждены:  
Победа все-таки огромна.

VII

Баланс таков: со всех сторон,  
Со всех сторон и смех и стон:  
Виват единство!

Да сгинет свинство!

Берлинская встреча стала последней коллективной акцией МКД и в силу расхождения национальных и региональных интересов, и потому, что бывшая роль Москвы как штаба революционных сил стала анахронизмом. Но, вероятно, особенно потому, что наше руководство разочаровалось в возможностях движения и устало от необходимости доказывать свою "историческую правоту" китайцам и еврокоммунистам, а вдобавок терпеть капризы малых "партиек", которые во времена Коминтерна стояли перед Кремлем навзятку, теперь же, поощряемые расколами, позволяли себе непочтительные выпады, что не мешало им выпрашивать деньги. К тому же принесли результат десятилетние настойчивые усилия нашей дипломатии, и генсек получил возможность обращаться к правительствам и народам мира с трибуны континентального государственного "саммита". Приняв участие в Хельсинкском и последующих совещаниях по безопасности и сотрудничеству в Европе, присягая общеевропейской солидарности, было уже не слишком удобно клясться в преданности пролетарской солидарности. В некотором роде КПСС сохранила верность ленинским заветам - в очередной раз преодолела "детскую болезнь левизны в коммунизме".

Хотя историки всегда могут отыскать дату, к которой можно привязать распад любой великой империи (захват остготами Рима в 476 г. для западной Римской империи, взятие Константинополя турками в 1453 г. для Византии, сговор в Беловежской Пуще в 1991 г. для России), сам процесс распада начинается задолго до рокового момента, а существовавшие в имперских рамках жизненный уклад и формы бытия могут по инерции сохраняться долгие годы после.

Уже никто не заикался о созыве новых совещаний. Международный отдел ЦК, лишившийся главного своего "козыря", вынужден был смириться и пойти на роль пристяжного к МИДу, игравшему главную роль во внешнеполитических делах, но делегации КПСС все еще по традиции направлялись на праздники "Юманите" или "Униты". Посещая западные столицы, Леонид Ильич выделял полчаса-час для символической встречи с лидерами местных компартий. Последние, в свою очередь, периодически наведывались в Москву, чтобы подписать коммюнике о состоявшемся плодотворном обмене мнениями и отправиться отдыхать в Крым или на Кавказ. КПСС все еще выполняла таким образом свой интернациональный долг.

Впрочем, паломничество на отдых не было односторонним. С социалистическими странами Центральной и Восточной Европы заключались соглашения об обмене тремя-четырьмя группами отдыхающих на летний сезон. Группы комплектовались главным образом из числа членов ЦК, секретарей обкомов, министров с женами. Поездки оплачивались принимающей стороной и, естественно, от желающих не было отбоя. В Отдел ЦК часто звонили ответственные работники с просьбой включить их в список для поездки по обмену в ту или иную страну. Но последнее слово в этом смысле оставалось за Организационно-партийным отделом: там следили, чтобы не частили одни и те же, по возможности не было обиженных и т. д.

Хотя далеко не в таком масштабе, но с некоторых пор стали принимать небольшие группы отдыхающих и ведущие западные партии - итальянская, французская, германская, австрийская, финская и две-три других. Поскольку считалось, что в этих поездках наши представители должны не только отдыхать, но и "работать с друзьями", преимущество здесь имели международники со знанием языков и проблематики наших отношений. За годы своей работы в аппарате мы с женой также несколько раз съездили "по обмену". В Западной Германии совершили увлекательную поездку от Гамбурга до Мюнхена, побывали в семьях коммунистов. В Греции, наряду с осмотром великих руин (Олимпия, Эпидавр, Микены, Дельфы), побывали на политических собраниях и массовых митингах. В Испании мне предложили выступить с лекцией о советской политической науке в Мадридском университете, что я охотно сделал. Во Франции нас познакомили с фермерами членами ФКП. В Италии - с опытом работы муниципального совета Флоренции. Почти везде

состоялись встречи либо с руководителями местных компартий, либо с их соратниками самого высокого ранга. Это объяснялось тем, что в составе делегации КПСС были, как правило, несколько членов Центрального Комитета. Да и нашему брату-международнику считали долгом уделить внимание. По большому счету политикой старались все-таки не изнурять, давали возможность нормально отдохнуть и насладиться несчетными красотами своих стран.

В 1987 году Горбачев предпринял попытку хоть как-то "склеить" разбегавшиеся во все стороны компартии и одновременно воссоединить наследников II и III Интернационалов. Она оказалась малопродуктивной из-за непреодолимых противоречий. Ревизуя ортодоксальный коммунизм, перестройщики не были готовы принять социал-демократическую программу. Японские коммунисты и социалисты категорически отказались сидеть рядом за одним столом. Поскольку рассадка шла по алфавиту, пришлось расположить все собрание таким образом, чтобы эти две делегации были разделены проходом. Настороженно взирая друг на друга, представители двух непримиримых ветвей рабочего движения выразили сочувствие намерению обновить советскую модель и согласились, как всегда, сотрудничать в борьбе за мир.

Но я не думаю, что на этом будет поставлена точка. Торный путь к человеческой солидарности далек от завершения. Свою полезную службу на этом пути сослужит опыт и международного коммунистического движения со всем, что было в нем разумного и уродливого.

С Горбачевым

Люди делают великие революции, реформы и перестройки, а те в свою очередь "делают" великих людей, предоставляя им желанный или нежданный шанс выйти из тени на авансцену.

Вообразим, что Французская революция не состоялась или произошла на полвека позднее. Наполеон стал бы удачливым полководцем на службе у короля Людовика XVI. И то сомнительно, поскольку сей монарх был миролюбив и вряд ли затеял бы военные авантюры, которые позволили бы отличиться честолюбивому корсиканцу.

Не разразись Февральская революция, Ленин доживал бы свой век за границей, как Герцен, и был бы в лучшем случае упомянут в Словаре Брокгауза и Ефрона как социалистический проповедник, безуспешно пытавшийся приложить теорию Маркса к самобытным условиям Российской империи.

Ельцин, отработав срок-другой первым секретарем Свердловской парторганизации, окончательно спился бы и был отправлен на пенсию.

Михаил Сергеевич, одержи в нем верх здоровый эгоизм, по-прежнему занимал бы свой кремлевский кабинет в роли Генерального секретаря ЦК КПСС и Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

Тихая старость на пенсии ожидала большинство тех, кто оказался на виду благодаря горбачевской перестройке и ельцинской шокотерапии. Два брежневских десятилетия почти выбили "дурь" из голов "шестидесятников". Поименованные так демократы 60-х годов, достигнув шестидесятилетнего возраста, не изменили своим убеждениям, но смирились с мыслью, что им уже не придется увидеть, как страна обретет политическую свободу. А если все-таки это когда-нибудь случится, то уже без их участия.

Проблеск надежды мелькнул с появлением "наверху" человека, заметно выделявшегося на фоне дряхлого руководства относительной молодостью, вдобавок чуть ли не первого после Ленина юриста в кремлевской когорте. По аппарату поползли слухи о неординарных взглядах и нестандартных поступках бывшего ставропольского секретаря. Трудно сказать, что там было правдой, а что легендой - когда люди очень уж ждут пришествия мессии (вождя, избавителя, новатора), они не скупятся на выдумки, в которые сами свято верят. Но один случай и меня обратил в его поклонника.

В Москву прилетела делегация сельскохозяйственного отдела СЕПГ во главе с секретарем ЦК Грюнбергом. Горбачеву предстояло вести переговоры. Я, как всегда в таких



случаях, представлял отдел. Самолет задерживался, мы почти час прогуливались, беседуя на разные темы. Начали вспоминать общих учителей. Михаил Сергеевич был студентом в те же годы, когда я учился в аспирантуре, на юрфаке МГУ по совместительству читали лекции те же столпы права, которые заведовали секторами в нашем Институте, - Кечежян, Кожевников, Крылов, Галанза и другие. Потом завязался теоретический разговор о самоуправлении, и секретарь ЦК по сельскому хозяйству ошеломил меня, сказав, что читал мои книги "Социалистическая демократия" и "Грядущий миропорядок". Впервые за четверть века работы в аппарате я говорил с одним из начальников России как со своим коллегой-политологом. Потешив авторское самолюбие, он безоговорочно завоевал мои симпатии.

Быстрое, по тогдашним меркам, возвышение (кандидат, потом член Политбюро, ведущий поочередно с Черненко заседания Секретариата) укрепило убеждение, что вскоре на Старой площади воцарится новый лидер, свежие ветры расчистят затхлую атмосферу, грядут благотворные перемены. У нас в семье это для "конспирации" окрестили по Беккету "ожиданием Годо". Дома интересовались, как там Годо, обсуждали его шансы. Такое же настроение преобладало в цеховских коридорах. Помню, после смерти Андропова замы собрались в кабинете Рахманина, ждали его возвращения с заседания Политбюро. Он пришел расстроенный, к общему разочарованию, сообщил, что председателем похоронной комиссии, то есть очередным вождем, утвержден Черненко.

Олег не догадывался, какая судьба ждет его при генсеке Горбачеве. Ему, как и всем, надоело видеть на престоле беспомощных старцев, но он имел весьма превратное представление о новом лидере. Полагая, что тот, с его энергией и задором, начнет с "закручивания гаек", Рахманин опубликовал в "Правде" под псевдонимом (Ковалев) пространную статью, смысл которой сводился к необходимости укрепить расшатавшуюся блоковую дисциплину в соцсодружестве и подтвердить право Москвы на "интернациональную солидарность". Она была принята за подтверждение так называемой доктрины Брежнева, вызвала переполох в столицах союзных государств и привела в крайнее раздражение Горбачева. Советским послам было дано указание разъяснять друзьям, что новое руководство не имеет никакого отношения к этой статье, напротив, придерживается мнения, что каждая партия должна самостоятельно определять политический курс и нести ответственность перед своим народом.

При первой же встрече с партнерами новый советский лидер недвусмысленно дал понять, что не намерен навязывать им свой курс. Истинной "доктриной Горбачева" в отношении стран Восточной и Центральной Европы стало невмешательство, хотя те не сразу в это поверили. Чему удивляться - многие историки до сих пор не верят, хотят дознаться, не лукавил ли тогда Михаил Сергеевич, не пытается ли теперь выдать нужду за добродетель. Нет, не лукавил, в противном случае Европа и мир по-прежнему были бы разделены на блоки, разгороженные Берлинской стеной.

Неудачная эскапада лишила Рахманина шансов "унаследовать" отдел, на что у него были основания рассчитывать. После XXVII съезда партии (февраль-март 1986 г.) он остался в составе ЦК, но ушедшего на покой Русакова заменил никем не ожидавшийся в такой роли Вадим Андреевич Медведев. Между тем это было одно из самых продуманных кадровых назначений нового генсека. "Поручая" соцсодружество близкому своему соратнику, он брал под личный контроль важнейшее в то время направление внешней политики. А доверяя вести здесь дела квалифицированному экономисту, давал понять, что отныне первостепенное значение будет придаваться экономическому сотрудничеству.

Станным образом рисуется в общественном мнении облик политических деятелей. Одни видятся намного более почтенными, чем того заслуживают, других молва обкрадывает достоинствами и награждает несвойственными пороками. Из двух ближайших сподвижников Горбачева Яковлев был ее явным любимцем, Медведев пасынком. Вероятно, тому виной было и неравномерное распределение ораторских дарований - суховатая "профессорская" речь Медведева уступает образной публицистической риторике Яковлева.

Свою роль сыграли характеры: Александр Николаевич везде, где можно было, оказывался на виду, под лучами телесофитов, Вадим Андреевич - даже там, где трудно было, выбирал тень, избегал выходить на авансцену. Должно быть, есть и такой фактор, как прихоть, каприз фортуны. Яковлев был Мирабо горбачевской перестройки, подбирающим славу, которая достается глашатаям, трубачам. Медведева в этом смысле можно уподобить усердному методичному организатору Карно.

Но при всех личностных особенностях подноготная пристрастной оценки двух этих деятелей все-таки в существенном различии их ценностных установок. Яковлев импонировал журналистской братии, большинство которой было изначально настроено на либеральный лад, своим крайним, я бы употребил здесь ленинское выражение, зряшным отрицанием марксизма и безоговорочным поношением советского опыта. Медведев был им неуютен отказом перечеркнуть все, чему поклонялся, метнуться, подобно маятнику, из одной крайней точки в другую, своей умеренной, взвешенной, по сути центристской позицией. "Акулы пера" и камеры соответственно отретушировали его политический портрет, а потом сами приняли этот искаженный образ за правду. До сих пор иной интервьюер от телепрограммы, выясняющей "как это было", спрашивает, ничтоже сумняшеся, почему Горбачев решил в какой-то момент заменить прогрессивного Яковлева в роли главного идеолога консервативным Медведевым.

Да не было, господа, замены демократа на ретрограда, потому что Вадим Андреевич демократ не худшей пробы, чем Александр Николаевич. Признаюсь, назначение это произошло не без моего участия. Как-то, когда я уже был помощником генсека, мы с Михаилом Сергеевичем работали вдвоем в его кабинете, и он поделился своим беспокойством ситуацией в средствах массовой информации: перестройку со все большим остервенением клюют чикины слева и коротичи справа, на телевидении обозреватели то и дело передергивают факты, в искаженном виде представляя нашу политику, идеологи бездействуют, утратили инициативу, вяло обороняются, самого Яковлева приходится защищать от нападков, в то время как надо наступать, доказывать, убеждать. Недавно в "Московских новостях" Гельман напомнил мысль Пастернака: событиями управляют те, кто властвует над умами.

Тогда я и высказал мнение, что стоило бы "рокировать" Яковлева с Медведевым. Вадим Андреевич обладает организаторским даром и сумеет сладить с журналистской стихией; Александр Николаевич с большей охотой займется продвижением "нового мышления" на международной арене; одновременно появится основание отвести от идеологии его антагониста Лигачева. Шефу идея пришла по душе. Советовал я, исходя исключительно из интересов дела, как их понимал в тот момент, но, боюсь, доставил Медведеву много головной боли. С обычной для себя ответственностью он взялся наводить порядок в "информационном омуте", а всякий, кто у нас берется за такую задачу, пусть даже речь идет о порядке элементарном и вполне разумном, становится мишенью призываемых к порядку. С тех пор и потянулась за ним незаслуженная репутация чуть ли не "гонителя" вольной мысли.

Для меня Вадим Андреевич - образец питерского интеллигента. Умный, порядочный, скромный, без усилий и самолюбования ставящий на первое место общественное благо. Человек, которого не бросает в жар и холод перемена места в жизни, остающийся самим собой во всяких обстоятельствах. Такое впечатление сложилось с первых встреч, когда он был заместителем заведующего отделом науки, потом ректором Академии общественных наук, и укрепилось в течение нашей совместной работы, практически не прерывавшейся с его приходом в Отдел ЦК. Тогда он был моим непосредственным начальником, теперь трудится над экономическим разделом исследования, которым мне доверено руководить. В роли начальника и подчиненного одинаков: охотно уступит, если вы его сумели убедить, в противном случае упрется: кто бы ему ни указывал, хоть и Горбачев, будет стоять на своем.

В отделе начал с того, что собрал руководящий состав и "обнародовал" свои представления о научном управлении. Секретарь ЦК не мешает своим замам самостоятельно

действовать на порученных им участках, они тоже не досаждают ему пустяками, обращаются за помощью только тогда, когда недостает полномочий. Никто не поверил. Привыкнув при Русакове к тому, что никакая, даже самая малозначная, бумаженция не должна проскочить мимо бдительных очей "зава", сунулись, как обычно, к начальству и получили "отворот". Внедренный всерьез принцип персональной ответственности довольно скоро обнаружил, у кого недостает деловой хватки и, что еще хуже, чьи взгляды не соответствуют "новому мышлению". Поручив Рахманину подготовить ряд концептуальных записок, Медведев остался недоволен содержанием и стилем представленных проектов, оказался перед необходимостью собственноручно править тексты и нашел выход в учреждении поста еще одного первого зама для меня. Разлад с Рахманиным углублялся. В конце концов ему предложили место ректора Ленинской школы (официально именовалась Институтом общественных наук), но Олег, то ли от обиды, то ли из других соображений, отказался и предпочел уйти на пенсию.

Вадим Андреевич объездил всех наших "подопечных" и принялся перестраивать в прагматическом духе устаревшую систему сотрудничества, о чем потом поведал в книге\*. Я подстраховывал его в отдельской рутине. Кроме того, мы "на пару" написали и направили генсеку несколько записок с далеко идущими предложениями о назревших реформах. Отклика на них не последовало, но, вероятно, кое-какие мысли оказались бесполезными.

Мое назначение первым замом означало переход на более высокий "этаж номенклатуры", где автоматически предусматривалось членство в руководящих инстанциях партии (ЦК или Ревизионная комиссия) и депутатство в Верховном Совете СССР. Первого я так и не удостоился, зато очень скоро получил уведомление оргпартотдела, что трудящиеся Ташаузской области Туркменской ССР выдвинули мою кандидатуру в высший законодательный орган власти и просят согласия баллотироваться. Почему в Туркмении? Очень просто: умер тамошний депутат, освободилось место. Заботиться о предвыборной кампании в те времена не приходилось, за тебя все делали вездесущие партийные органы. Получив командировку, я направился в Ашхабад, был встречен в аэропорту высокими местными чинами и препровожден в кабинет Сапармурада Ниязова. Осторожно, но достаточно внятно я признался, что чувствую некоторое неудобство: человек со стороны, никак не связанный с республикой, должен буду представлять ее в Москве. Ниязов успокоил, сказав, что меня это не должно смущать, партийно-государственный актив и население области рады заполучить "своего человека в Центре". Среди депутатов от республики большинство туркмен, но есть и высокопоставленные москвичи, в том числе союзные министры, оказывающие нам большую помощь.

На том моя совесть успокоилась. Все-таки я смогу хоть что-то сделать для своих избирателей, быть своего рода лоббистом местных интересов. Действительно, удалось, используя свои связи, "протолкнуть" строительство городского дворца культуры в Ташаузе, поставку дефицитных материалов для нескольких строек в селах, увеличения квоты на продажу автомобилей инвалидам Отечественной войны. Помогал я и Сапармураду Атаевичу редактировать официальные выступления и записки в ЦК.

Но в округе своем побывал только раз, перед выборами. Встреча была торжественная, на собраниях в колхозных клубах "доверенные лица" не стеснялись в эпитетах ("выдающийся деятель партии и государства", "крупнейший ученый" и т. д.). Окончательно смутил меня престарелый акын, произнесший под "перебор" национального инструмента огромную поэму в мою честь. Повсюду устраивались пиршества с участием местного начальства, люди там гостеприимные, да и выпить за казенный счет кто не дурак. Побывал я на заводе, где ткуются знаменитые туркменские ковры, на хлопковых плантациях и животноводческих фермах, в крестьянских домах. Жили там небогато, но не бедствовали. Больше всего удивили сельские клубы: массивные сооружения из кирпича и туфа с колоннами, зрительным залом, уставленным мягкими креслами, танцевальной и спортивной площадками, кабинетами для занятий всевозможных кружков.

В заключение показали мне величественную башню, вонзающуюся в небо и

выложенную мозаикой, - ее построила в Средние века безутешная жена правителя, который уехал, кажется, на охоту и пропал без вести. По моей просьбе договорились с соседями из Узбекистана и заехали напоследок в Хиву.

Мой депутатский мандат свелся к "сидению" на двух-трех заседаниях Верховного Совета среди туркменской делегации и подниманию красной карточки "за", когда предлагалось голосовать. Этот ритуал казался нелепым на фоне участвовавших призывов Кремля перестраиваться и утверждать народное самоуправление. Генсек тогда носился с этой идеей, и в одной из поездок в самолете у нас с ним даже завязалась дискуссия. Я говорил, что самоуправленческие механизмы пригодны на местном, муниципальном уровне, на верхних же этажах политической системы нужны представительные, исполнительные, судебные органы власти, олицетворяющие государственность. Михаил Сергеевич упрекнул меня в догматизме, хотя вскоре и сам охладел к самоуправленческой утопии.

С того момента как я был "произведен" в первые замы, мне пришлось сопровождать нового генсека во всех его поездках по социалистическим странам. Тогда сложился и ритуал этих поездок, существенно отличавшийся от брежневского. Хотя "увертюра" - проводы лидера вроде бы проходили по той же схеме, опытный глаз советолога приметил бы некоторые нюансы. Приглашались не все члены Политбюро, а главное - обходились без объятий и поцелуев, простым рукопожатием. При Брежневе члены делегации и тем более сопровождающие лица не удостаивались чести быть приглашенными в его отсек; всю дорогу они были предоставлены сами себе, что, бесспорно, имело свои преимущества. Самолично утвердив текст своего выступления в гостях, Леонид Ильич больше об этом не думал, редко когда призывал он к себе Александрова-Агентова, чтобы внести какую-нибудь поправку.

Иное дело Горбачев. Почти сразу после взлета он приглашал постоянных своих спутников в этих поездках - Яковлева, Медведева, Фролова, меня и Болдина - к себе и предлагал еще раз "пройтись" по проектам речей и памяток для бесед. Нередко эта "проходка" приводила к тому, что заготовленные материалы передиктовывались заново и по приезду на место стенографистки, иногда с помощью срочно мобилизуемых машинисток из посольства, чуть ли не до утра печатали их на больших листках, чтобы генсеку было удобно читать. Само собой разумеется, на мне лежала ответственность за то, чтобы тщательно выверить тексты, удостовериться, что в "самолетном творчестве" не была нарушена логическая связь между абзацами или, чего хуже, образовались прямые повторения. Впрочем, Горбачев почти не заглядывал в "памятку", то и дело отвлекался от заготовленного текста, от чего гораздо сложнее было готовить речи к печати.

По-своему Михаил Сергеевич проводил и концовки визитов. В последний вечер перед отлетом он собирал членов делегации и сопровождающих лиц за ужином. Обстановка была демократической, приглашались и референты-переводчики, не чувствовалось и следа скованности присутствием высочайшего начальства. Веселящие напитки употреблялись умеренно, серьезный анализ итогов визита перемежался обсуждением положения в стране, реминисценциями из прошлой политической жизни, бывало и анекдотами, как во всяком нормальном застолье. Присутствие Раисы Максимовны, сопровождавшей мужа во всех поездках, устанавливало жесткую черту благопристойности, какая обычно пересекается в чисто мужском обществе. При врожденном чувстве собственного достоинства, она обладала своего рода политической интуицией: не перебивая, с подчеркнутым вниманием выслушивала Михаила Сергеевича, давая понять своим видом, что, как и все мы, воспринимает его в качестве лидера. В то же время, когда речь заходила о житейских делах, позволяла себе ненавязчиво поправить его или шуткой смягчить неудачно оброненное словцо. Восстанавливая в памяти эти сцены, уместно сказать, что она была для него ангелом-хранителем.

В тех случаях, когда не удавалось завершить визит ужином в "своем кругу", это делалось обычно уже в самолете. Когда мы возвращались из Белграда, уже незадолго перед посадкой, Раиса Максимовна сказала:

- Миша, мне кажется, здесь товарищи, на которых можно положиться, сложилась

команда Горбачева. - Она обвела глазами присутствующих.

Горбачев смолчал. По выражению лица мне показалось, что его несколько задела эта подсказка. Может быть, не столько по существу - вероятно, такая мысль уже бродила у него в голове, - сколько из затронутого самолюбия. Кроме того, не в его натуре проявлять открытое благоволение к кому-либо - привычка, воспитанная многими годами "тренинга" в партийном аппарате, где не принято вносить эмоции в отношения начальника со своими сотрудниками.

Это, насколько помню, был единственный случай, когда Раиса Максимовна позволила себе при людях дать ему совет по достаточно серьезному вопросу, каким является для всякого лидера формирование своей "команды". И по тому, как он отреагировал, я понял, насколько безосновательны слухи о якобы безоговорочном его послушании ее капризам. Кстати, и упомянутый совет относительно "команды" был воспринят им, ну разве что на одну треть. Горбачев относится к лидерам, избегающим плотно связывать себя с окружением, предпочитающим сохранять полную свободу рук, не быть кому-то слишком уж обязанным.

Конечно, иметь свой круг единомышленников, на которых можешь полностью положиться, большое благо для всякого лидера, будь то глава государства, вождь политической партии или менеджер корпорации. С другой стороны, привыкание к людям осложняет возможность от них избавиться, когда того потребует политическая конъюнктура или в его глазах утратили ценность их деловые качества. Часто бывает и так, что сам он отступил от идей, которые их объединяли в одну команду, пошел на какие-то сделки с совестью, опустил нравственно, и ему не очень приятно выслушивать упреки и назидания от соратников, считающих, что долгое и безупречное служение дает им право воздействовать на шефа - разумеется, в его же интересах. А если даже у них достает осторожности или такта не пускаться в это бесполезное занятие, человеку, который сам сознает, что изменился в худшую сторону, не слишком приятно ловить на себе укоризненные взгляды чем-то недовольных и чувствующих себя обиженными вчерашних любимцев.

Мне кажется, в этом одна из причин, почему Ельцин регулярно избавлялся от своих фаворитов - с него доставало нотаций, которыми потчевали дома, в семье. Избыток эмоций и недостаток культуры послужили причиной непомерной переоценки им своих фаворитов, а неуверенность в себе, явная растерянность перед необходимостью решать самые сложные проблемы, то и дело возникающие на верхнем уровне государственного управления, побуждали всецело довериться человеку, который знает (по крайней мере решительно и безоговорочно заявляет, что знает), что нужно делать. Случай в истории не новый. Она знает множество правителей, подпадавших всецело под влияние решительных и самоуверенных советников, чаще прохвостов и шарлатанов, и позволявших последним править от своего имени. Ельцина в известной мере выручало то, что при невысоком интеллекте он обладает сильной волей, поэтому никому из фаворитов не удавалось завладеть им надолго. Он избавлялся от них не столько потому, что разочаровался в их способностях, сколько потому, что тяготился угрозой оказаться в подчиненном положении. Изгоняя через несколько месяцев человека, который вроде бы послан провидением спасти Россию, президент доказывал всем, и прежде всего самому себе, что он главный.

Горбачев, по моим наблюдениям, избегал чрезмерно приближать к себе кого-либо прежде всего потому, что чувствовал себя достаточно уверенно, не нуждался в интеллектуальном или нравственном наставнике. Человек он живой, отзывчивый, общительный, и, как сам рассказывает в книге "Жизнь и реформы", у них с Раисой Максимовной было много друзей. Но все это частные, личные друзья, не те, кого можно назвать друзьями государственными или политическими. У него, как у лидера, можно сказать, существовало три команды. Первая, с которой он делил труды по управлению страной - Политбюро ЦК КПСС, потом Государственный совет. Вторая, через которую он стремился влиять на умы, состояла преимущественно из руководителей средств массовой информации, известных журналистов, знаменитых писателей, с которыми он регулярно

встречался; попытался даже придать официальный характер своим связям с творческой интеллигенцией, включив ее представителей в Президентский совет. Наконец, третья состояла из узкого круга единомышленников, своего рода мозгового центра, в котором вынашивались и шлифовались замыслы реформ, готовились его речи, выступления, документы. У этой группы, безусловно, больше оснований считаться "командой Горбачева", в особенности после того, как Политбюро утеряло свои функции и власть перетекла в государственные структуры. Но там, где, повторяю, существовало три команды, не приходится говорить об одной. Наш узкий творческий кружок состоял главным образом из консультантов - мыслящих и пишущих людей, так или иначе "ходивших в политику", но не являющихся политическими деятелями в полном значении этого слова.

Сам я, как уже говорил, был призван в эту "третью команду" Горбачева, когда он решился приступить к политической реформе и ощутил потребность иметь в своем "мозговом центре" политолога. Это было сделано в экономной манере, без раздувания штатов, до чего Михаил Сергеевич не охоч. Его помощником по "социалистическому лагерю" был в то время Виктор Васильевич Шарапов, китаист, сотрудничавший в таком же качестве с Андроповым. Его направили послом в Болгарию. Мне же было предложено продолжить то, чем я занимался без малого четверть века работы на Старой площади, и одновременно "размышлять" над проблемами совершенствования политической системы.

Генсек через Медведева заранее поставил меня в известность о своем намерении, поинтересовавшись, как я к этому отнесусь. У меня была стойкая неприязнь к самому слову "помощник", оно ассоциировалось с безликим чиновником, подносящим в полупоклоне бумаги на подпись высокому начальнику. С другой стороны, опыт общения с Горбачевым исключал подобную модель отношений. Уже ходившие в помощниках Черняев, Фролов, Смирнов, тот же Шарапов в один голос заверяли, что "скучно не будет", в окружении генерального каждый волен говорить, что думает, атмосфера вполне демократическая. Главное же - судьба подкинула мне на склоне лет уникальный шанс споспешествовать тому, о чем я думал и по возможности писал на протяжении всей своей творческой жизни, утверждению политической свободы, устранению разрыва между официальной концепцией советской системы и практикой.

...18 февраля 1988 года. В Кремле заседает Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза. Десятки хрустальных люстр заливают светом Зал пленумов, размерами и красотой убранства не уступающий иному православному собору. Сходство усиливают скульптурные фигуры, установленные в нишах стен из белого мрамора, - только это не святые, а люди труда, символизирующие социалистическое царство - рабочий, колхозница, ученый. В просторных креслах из карельской березы - члены ЦК, они же первые секретари областных комитетов партии, руководители республик, министры, генералы, космонавты, академики, народные артисты, художники, ударники производства. Каждый третий - Герой Советского Союза или Социалистического Труда, лауреат Ленинской или Государственной премии.

Сиятельная правящая верхушка общества со смешанными чувствами надежды и тревоги посматривает на сцену, где за длинным столом привычно расположились властители судеб - члены Политбюро. На лицах "небожителей" ничего не прочесть, но у них беспокойно на душе. Ускорение, перестройка, демократизация, теперь аграрная реформа... Что еще придумает неугомонный генсек? Как бы он своими новациями не подорвал "устои". Впрочем, пока все это - декларации, партия крепко держит в руках власть...

Генеральный по-хозяйски ведет собрание, время от времени прерывая ораторов длинными репликами, просматривая записки из зала и даже ухитряясь подписывать подносимые ему документы. Я наблюдаю за происходящим с галереи, куда допускаются приглашенные. Меж рядов пробирается референт Общего отдела, запыхавшись сообщает, что меня требует к себе Горбачев. "Как, - спрашиваю я, прямо сейчас, в президиум?" - "Да, да!" - нетерпеливо подтверждает посланец судьбы.

Я боком вступаю на сцену, чувствуя на себе любопытствующие глаза зала, подхожу к

Михаилу Сергеевичу. На секунду оторвавшись от бумаг, он спрашивает вполголоса: "Пойдешь ко мне помощником?" Времени вспоминать, как принято отвечать в таких случаях, нет. "К вам - да", - шепчу в ответ. Он с улыбкой кивает: "Готовь проект решения". Дело сделано. Я принят в узкий круг соратников человека, которому суждено изменить ход мировой истории.

Отныне я буду присутствовать на заседаниях Политбюро, а затем Президентского совета, Совета Федерации, Госсовета. Записывать беседы Горбачева с руководителями многих государств и сопровождать его в зарубежных поездках. Участвовать в жарких спорах, которые велись в кабинетах на Старой площади и в Кремле, в загородных особняках Волынское и Ново-Огарево. Принимать "ходов" из народа, выслушивать похвалы, сетования и просьбы служивых людей. Вести неофициальные переговоры с представителями различных партий и движений. Заступаться за просителей из творческой среды - ученой и писательской братии. Организовывать коллективы юристов, которым вменялась разработка проектов реформ. Толковать прессе смысл политических инициатив генсека, Председателя Верховного Совета, а затем первого и последнего Президента Советского Союза. И главное - писать. Доклады, речи, статьи, тезисы к дискуссиям, проекты указов и законов, записки, бог ведает что еще.

И так до той поры, пока эта карусель, запущенная с убийственной скоростью, внезапно прервалась, а ее седоки вылетели из седел и оказались в помпезном здании на Ленинградском проспекте, которое к тому же было вскоре у них отобрано. Крошечный Фонд после могущественной супердержавы - какой остров тут уместней вспомнить, Эльбу или Святой Елены? Несколько оставшихся верными помощников и два охранника после многих тысяч придворных и полков охраны.

Три с половиной года, прожитые в бешеном темпе перестройки, составляют центральную часть моей жизни. Но я не могу рассказывать о ней от своего имени, ставя себя в эпицентр событий, как это делает любой человек, вспоминая свое прошлое. Этот отрезок моего прошлого не принадлежит мне одному. Здесь больше исповеди требуется осмысление происшедшего.

До сих пор остаются неразгаданными многие драматические эпизоды реформации Горбачева. Сознательно употребляю слово "реформация", поскольку речь идет не об отдельных преобразованиях и даже не об их комплексе, а об одном из тех социально-политических ураганов, которые сносят с лица земли устоявшиеся порядки и приводят в движение гигантские массы людей, неся им великие испытания и шанс на обновление жизни.

К настоящему времени опубликованы кипы документов, изданы тысячи книг, в том числе воспоминания главных действующих лиц - самого Горбачева, Ельцина, Шеварднадзе, Лигачева, Рыжкова, Яковлева, Примакова и других. Мемуары позволяют лучше понять их мотивы, познакомиться с закулисной стороной событий. Но многие эпизоды этой драмы уже покрываются завесой тайны. Как могло случиться, что перестройка, начатая в интересах обновления общества и улучшения жизни людей, давшая им демократию и свободу, завершилась распадом Союза, погрузила Россию в глубокий кризис? Была у Горбачева продуманная программа реформ, как у Лютера, вывесившего свои 95 тезисов на дверях церкви в Виттенберге, или он действовал по наитию, понукаемый обстоятельствами? Чем объяснить, что неудавшийся августовский переворот 1991 года оказал неоценимую услугу как раз тем, против кого вроде был направлен? В чем причина вражды между зачинателем "второй русской революции" (так окрестили перестройку зарубежные авторы) и его преемником - в различии стратегических установок, политическом соперничестве, несходстве темпераментов или просто в зависти и ревности друг к другу?

И много других вопросов, которые нуждаются в размышлениях и требуют точного знания фактов, своего рода детективного расследования. То и другое сочетание свидетельств очевидца с логическим анализом - во второй части книги.

Часть II

В перестройке.

Цена свободы

На подступах

С 1982 по 1985 год в Советском Союзе умерли три лидера. Повсюду в мире, если вывешивают окаймленные черной полосой флаги и передают по радио траурный марш Шопена, люди спрашивают: кого хоронят? У нас за эти три года приучились спрашивать: кто председатель похоронной комиссии?

Не думаю, впрочем, чтобы подавляющую массу советских людей особенно волновало, кто станет очередным Генеральным секретарем ЦК партии и властителем их судеб. Все знали, что место это пусто не останется, его, разумеется, займет один из нынешних членов Политбюро, и полагали, что от этого не будет ни хуже ни лучше. Поначалу новый лидер чего-нибудь сочинит, чтобы приобрести популярность и показать характер, а там все войдет в свою колею, как не раз бывало. Так что и надеяться на перемены, и бояться их нет оснований.

И только сравнительно небольшое число людей в столице Союза и в главных городах республик, имевшие доступ к кабинетам и коридорам здания ЦК на Старой площади, осведомленные о реальном положении дел и знавшие, хотя бы по кулуарным слухам, кто может претендовать на пост генсека, только эти люди отдавали себе отчет, что речь идет не об обычной рутинной процедуре, а об очень серьезном выборе, поворотном моменте в жизни страны.

Но едва ли кто-нибудь из этих знающих людей, даже самых проницательных, мог предположить, каким резким и глубоким окажется этот поворот. Думаю, в 1985 году и прогрессистам, вынашивавшим замысел глубокого преобразования системы, и консерваторам, полагавшим, что она нуждается в косметическом ремонте, и непримиримым ее врагам, желавшим ей поскорей сгинуть, только во сне (для кого кошмарном, а для кого радужном) могло представиться, какой станет страна к концу правления Горбачева. Тогда же общество страстно хотело одного: чтобы во главе партии встал наконец молодой, энергичный человек. В составе Политбюро такой человек был, и симпатии всех на нем сосредоточились.

Горбачев был избран не потому, что на него указал Андропов в своем устном завещании, переданном через Аркадия Вольского Центральному Комитету. Как известно, с этим завещанием поступили так же, как в свое время с ленинским, просто скрыли, вычеркнув соответствующую фразу из доклада на пленуме ЦК.

И не потому, что коллеги признали в нем бесспорного лидера - в кругу сановных вельмож каждый считает себя подходящим претендентом на роль вождя, если, конечно, нет такого, кто возвышался бы на голову, заведомо обеспечил себе первое место своими прежними деяниями, как Наполеон среди генералов или Ленин среди большевистских вожakov. Таких подвигов за спиной у Горбачева не было. Не выделялся он среди коллег ни выдающимися достижениями в бытность секретарем Ставропольского крайкома, ни успехами на первоначально порученном ему участке руководства сельским хозяйством, ни тем более чем-нибудь заметным в области идеологии и международных отношений, которую он получил по наследству от Черненко на какие-то полтора года.

Горбачев был избран, потому что такова была воля не признаваемого официально, но реально существовавшего общественного мнения. Людям отчаянно надоело участвовать в позорном фарсе, который разыгрывал в течение многих лет своего правления пятизвездный Герой Советского Союза и Социалистического Труда. Лицезреть вождей с трясущимися головами и выцветшими глазами. Думать, что этим жалким полупаралитикам доверены судьбы страны и половины мира. Видеть ежегодные похороны, которые, что само по себе кощунственно, проходили уже в атмосфере не скорби, а откровенных издевок.

Одного этого было достаточно, чтобы категорически отвергнуть возможность избрания очередного старца. Ну а помимо того молва распространила сведения о Горбачеве как незаурядной личности, способной пробудить сонное царство, вдохнуть новую энергию в наш



дряхлающий партийно-государственный механизм.

И конечно же, немалую роль сыграла его харизматическая внешность. Умное, улыбочное лицо с правильными чертами и выразительными глазами (за годы общения мне приходилось видеть Михаила Сергеевича усталым, невыспавшимся, больным, но никогда взгляд у него не был потухшим), с родовым пятном на лбу, как впечатляющем знаке избранности. Ладная, чуть полноватая, но подтянутая фигура. Уверенная манера держаться. Открытость и доброжелательность в сочетании с умением придать себе, когда надо по ритуалу и обстоятельствам, строгий, властный вид. Словом, он весь соткан из обаяния, и этого было достаточно, чтобы с первых появлений на экране и на улице завоевать симпатии. К тому же несколькими хорошо рассчитанными шагами он с самого начала показал себя лидером, близким простому народу (поездки в Ленинград, Киев, на московские заводы и в подмосковные колхозы, на Дальний Восток, Север, Урал, в родные южные края, в некоторые республики).

Правильными были и первые крупные начинания в политике, в особенности ставка на ускорение научно-технического прогресса. Тогда было решено выделить многомиллиардные средства, чтобы подстегнуть отстающие отрасли и сократить разрыв с развитыми странами, наравставший с пугающей быстротой. За одно из центральных направлений было принято создание совместных предприятий со странами СЭВ. Хотя они и сами серьезно отставали от Запада, но все же имели в некоторых областях более современные технологии. По поручению ЦК, министерства подготовили впечатляющие списки предприятий для кооперации с зарубежными партнерами. А дальше произошло то, чего следовало ожидать. Малоподвижная, погрязшая в бюрократизме машина экономического сотрудничества, несмотря на строгие постановления и нагоняи, не сдвинулась с места. Месяцами шли переговоры, делегации навещали друг друга и составляли радужные отчеты. Возникший было энтузиазм нескольких по-настоящему деловых людей угас в обстановке всеобщего равнодушия.

Новый генсек нервничал, собирал совещания, стыдил министров. Но те привыкли выслушивать подобные вещи с каменными лицами и умели выкрутиться из любого положения. Помню, на Политбюро специально было решено заслушать, как обстоят дела с компьютерной технологией. Министр Шохин выложил несколько фантастических баек о том, что наши предприятия чуть ли не наступают на пятки Западу и в скором времени начнут давать ему фору. Для вящей убедительности притащил с собой портативную вычислительную машину, упакованную в кейсе, и сообщил, что не сегодня-завтра начнется ее массовое производство. Машину с любопытством повертел в руках генсек, затем она пошла по рукам членов Политбюро, все поохали, поахали и, уже мягко пожурив министра за невыполнение планов, отпустили с богом.

А между тем невооруженным глазом было видно, что представленная модель содрана с японского образца и почти наверняка нашпигована купленными там же деталями. По части очковтирательства наши чиновники не имеют равных. К тому же, если бы члены Политбюро давали себе труда время от времени читать информацию, публикуемую в открытых технических вестниках, они бы знали, что, по оценкам западных специалистов, страна отстает в сфере информатики на десятилетия или, как острили японцы, навсегда.

Таким же образом складывалась судьба порошковой металлургии, в которой, как говорят знатоки, мы были пионерами. Начали с производства равных количеств, а пришли к тому, что в Соединенных Штатах порошков производится в десятки раз больше, чем у нас. И на эту тему был разговор на Секретариате ЦК еще при М.А. Суслове. Он бурно возмущался тем, что после войны этот вопрос рассматривался Центральным Комитетом десять раз, а воз и ныне там. Кончилось, однако, еще одним постановлением. И уже тогда, наблюдая эту сцену, нельзя было не подивиться: как же так, неужели "они" не понимают, что если десяти постановлений (причем первые принимались еще при Сталине) оказалось недостаточно, значит, таким методом проблема просто не решается, значит, нужно не грозить карами, а искать способ экономически заинтересовать предприятия и министерства в распространении

порошковой металлургии.

К такому выводу и пришел Горбачев после первых неудач с форсированием технического прогресса. Начав с законов о государственном предприятии и кооперативах, он вскоре заключил, что паллиативы не годятся, нужна глубокая экономическая реформа.

Те, кто полагает, что первые три года правления Михаила Сергеевича прошли даром, глубоко ошибаются. На протяжении этого периода были испробованы в более продвинутой форме практически все известные методы облагородить и ускорить развитие, не меняя системы. И к концу 1987 года у Горбачева и его ближнего окружения стало крепнуть убеждение, что одна экономическая реформа не пойдет, если не будет сопровождаться политической. Эта мысль впервые сильно прозвучала на январском Пленуме ЦК (1987 г.), хотя оказалась на несколько месяцев брошенной без последствий.

Говоря о начальном периоде деятельности Михаила Сергеевича, нельзя пройти мимо допущенного тогда серьезного промаха, пагубно отразившегося и на экономике, и на престиже молодого лидера. Я имею в виду противоалкогольную кампанию.

Сам Горбачев вполне может быть отнесен к разряду трезвенников. Он редко испытывает потребность принять горячительное. Во время многих наших "сидений", в том числе ночных, когда порой, чтобы взбодриться, недостаточно кофе, не помешала бы рюмка коньяку, Михаил Сергеевич почти никогда не давал сигнала к такой "психологической разрядке". Крайне редко, и то по какому-то особо торжественному поводу, он предлагал за обедом поднять бокал.

Но, понимая необходимость борьбы с алкоголизмом, он должен был отдавать себе отчет, что наш бюджет держится в значительной мере на доходах от государственной водочной монополии и что простыми запретами проблему не решить. До сих пор непонятно, да и сам Михаил Сергеевич не мог толком объяснить, как руководство пошло на самый непродуманный вариант борьбы с пьянством, подсказанный М.С. Соломенцевым и Е.К. Лигачевым. У меня такое впечатление, что, не укрепившись еще в своем кресле, шеф не стал вступать в пререкания с двумя влиятельными членами Политбюро, дав им, так сказать, карт-бланш. В пользу такого предположения свидетельствует, что вопросы антиалкогольной кампании регулярно рассматривались на Секретариате без участия генсека, он воздерживался от оценок этой кампании. Да и после отнекивался, когда его просили объяснить, как можно было допустить чудовищные глупости вроде вырубки виноградных плантаций в Армении, Азербайджане, Молдове и других южных республиках, переналадки десятков только что закупленных в Чехословакии первоклассных пивных заводов, после чего ценное оборудование пришло в негодность.

С поразительной свирепостью пресекались попытки хоть как-то образумить инициаторов антиалкогольной кампании. Началось с того, что Егор Кузьмич собрал работников аппарата в Большом зале, выступил с просветительской речью о вреде алкоголя, а закончил угрозой: если кто-нибудь из партийных работников не поймет значения момента и будет хоть как-то противодействовать этому твердому решению Политбюро, ему несдобровать.

Почти на каждом заседании Секретариата в то время заслушивались секретари областных комитетов или министры, имевшие отношение к производству и торговле спиртными напитками. От них категорически требовали не выполнять, а перевыполнять планы антиалкогольной кампании. Не смущали при этом сурового идеолога катастрофический рост сивушного производства, спекуляции на продаже водки, исчезновение сахара, а за ним и печенья, конфет, резкое сокращение поступлений денег в государственную казну и осложнение в связи с этим бюджетных проблем. Нет, Лигачев был непреклонен. Требовал исключения провинившихся из партии, раздавал направо-налево выговоры и до того всех запугал, что даже разумные люди ради самосохранения вынуждены были совершать глупости.

Как-то мы с Егором Кузьмичом встречали в аэропорту делегацию, и я рискнул обратиться к нему с вопросом: почему ведутся гонения и на пиво? Вот в Чехословакии и

других странах Европы не без основания считают, что именно оно и чай помогли спасти Европу от тотального алкоголизма и вырождения, к чему она была близка в Средние века. В ответ услышал, что я ошибаюсь, пиво ничем не лучше водки, а тем более в наших условиях, потому что если уж наши люди пьют, то без удержу. А десятью бутылками пива можно накачаться не хуже, чем полулитром водки.

Говорят, антиалкогольная кампания обошлась стране в 100 миллиардов рублей.

Весной 1988 года Горбачев все еще на подступах к решению главной задачи, которая выпала на его долю. Три года прошли даром, особенно если иметь в виду внешнюю политику. 15 января 1986 года советский лидер выступил с программой ядерного разоружения до конца столетия. Поначалу она была принята на Западе даже не за очередную утопию, а только как пропагандистский трюк. Но напористая личная дипломатия позволила растопить ледяные наносы, образовавшиеся за четыре десятилетия "холодной войны". Горбачев сумел убедить своих западных коллег, что Советский Союз не блефует. Тэтчер, Андреотти, Миттеран, Коль ему поверили, а с их помощью он расколол самый крепкий орешек Рейгана. К тому времени состоялись три тура встреч руководителей супердержав в Женеве, Рейкьявике и Вашингтоне, подписан Договор по ракетам средней и меньшей дальности, заявлено о намерении вывести советские войска из Афганистана.

А вот двигаться дальше становится все труднее. С ликвидацией ракет наш ВПК еще кое-как смирился, но ограничения стратегических вооружений, сокращения вооруженных сил, вывода советских войск из Восточной Европы - этого по доброй воле допустить не мог. Уже на ранних стадиях переговоров генсеку приходилось использовать весь свой авторитет, чтобы побудить к уступкам генералитет и руководителей индустрии вооружений. О заговорах в этих кругах пока еще не помышляли, но отчаянно сопротивлялись всякой попытке сократить непомерно разбухший военный бюджет (до 40% национального дохода!). Преодолеть это сопротивление Горбачев уже не мог, не оперевшись на парламент и общественное мнение.

Становилось ясно и другое: как нельзя без политической реформы избавиться от чудовищного бремени милитаризма, так без нее обречены на провал все старания вдохнуть новую жизнь в экономику.

Внесенные за три года новшества выбили ее из накатанной колеи, и вместо ускоренного развития началась ускоренная деградация. Причина - половинчатость, паллиативный характер осуществленных мер. Рынком и не пахнет, а хозяйство уже разваливается. Пытаются подстегнуть предприятия, предоставив им ограниченное самоуправление и переводя на режим самофинансирования. Но это ведь фикция, если нет свободной торговли сырьем и материалами, сохраняется контроль над ценами, не вносятся коррективы в условия найма рабочей силы. О каком самофинансировании вообще может идти речь, когда система финансового регулирования находится в зачаточном состоянии. Поскольку ей не приходилось обслуживать отношения собственности, постольку нет фининспекторов, чтобы фиксировать доходы и взимать налоги, нет разветвленной сети банков, нет бирж, нет компьютеров.

И хозяйствовать по-новому некому, кроме министров, начальников главков, директоров предприятий и совхозов, председателей колхозов, которые всю жизнь привыкли работать по плану, а о рынке имеют самое смутное представление. Только небольшая часть управленческого корпуса приняла нововведения с энтузиазмом, большинство просто не понимало, чего от них хотят. Самые же многоопытные не без основания полагали, что реформаторский пыл скоро иссякнет, поэтому надо выждать, пока не станет окончательно ясно, что к чему. Эта житейская философия, в гораздо большей мере, чем сознательное противодействие, глушила исходящие из Центра новаторские импульсы.

Но главная причина их повсеместного торможения - пассивность партийных организаций. Безупречный механизм, который раньше доводил команды Кремля практически до каждого рабочего места, заартачился, стал давать перебои. Создавался он для нужд тотальной власти и централизованного планового хозяйства, ничего другого делать не

умеет, а тут от него требуют действовать в прямо противоположном направлении - выводить предприятия из-под опеки партии и государства. Нечто вроде того, как если бы помещикам предложили добровольно отпустить на волю крепостных. Получив подобную директиву, секретарь обкома и райкома прежде всего стремится выяснить, не спятило ли партийное руководство и не захвачен ли Кремль агентами империализма. Правда, на первых порах только самые проницательные отдавали себе отчет, куда может привести эта, по их мнению, чрезмерная реформаторская суэта. Но очень быстро круг прозревших ширился, а пути традиционной партийной дисциплины расшатывались. И уже в марте 1988 года накопленный заряд недовольства прорвался в статье Нины Андреевой.

Мне кажется, в то время ни Горбачев, ни все мы не смогли в полной мере оценить значение этого выступления. Статья едва ли пришла самотеком, скорее всего готовилась исподволь. Партийная иерархия еще не поднимала бунта против генсека, но серьезно его предостерегала, как бы говоря: "порезвился, ладно, мы на тебя не покушаемся, но черта дозволенного реформаторства перейдена, включай, пока не поздно, задний ход". Да, в тот момент еще не поздно: верхи были готовы вернуться к старым порядкам, низы тоже не против, поскольку начало реформ не принесло улучшения жизни и не сулило ничего хорошего впереди. Оппозиция не успела окончательно сформироваться и не способна хотя бы отстоять происшедшие изменения - у нее не было еще своих газет, депутатов в парламенте, организаций в Центре и на местах, своей партии и даже идеологии. Даже самые отважные ее представители еще не заикались о частной собственности, не осмеливались поносить Октябрьскую революцию и объявлять КПСС преступной организацией, а радикальная по тому времени программа Андрея Дмитриевича Сахарова не посягала на социалистические принципы общественного устройства и советскую форму государственности. Наконец, притязания союзных республик не шли дальше привычного пожелания "повысить права", поощрить инициативу, избавить от излишней опеки центральной власти. Автономии вообще помалкивали. Репрессированные в прошлом нации не успели сориентироваться и только напоминали, чтобы грядущие перемены не обошли их стороной. Этнические конфликты не выплеснулись наружу. Национально-освободительные и сепаратистские движения находились в стадии поиска организационных форм. Не сложились народные фронты.

Иначе говоря, перемены тогда были далеки от необратимости, не поздно было стукнуть кулаком по столу и заявить, что партия не потерпит ослабления устоев социализма и покушения на свою руководящую роль, основные задачи перестройки следует считать выполненными и "перейти к текущим делам". Так поступил Хрущев, почувствовав, что вызванная им политическая оттепель грозит революционным половодьем. Он без колебаний распустил партийные организации Института физических проблем и некоторых других учреждений, принявшие крамольные резолюции; решительно расправился с выступлениями социальных низов и поднявших было голову национальных движений; устроил разнос писателям и "разным прочим" умникам; умирив венгров, дал понять, что не потерпит беспорядка во вверенном ему военно-политическом блоке. Единственное, чего Никита Сергеевич не сумел предотвратить, - ухода с советской орбиты Китая и Албании.

Повторяю, весной 1988 года самая смелая из реформаторских попыток еще могла быть прервана. Возврат на исходные позиции станет невозможным только после того, как появится парламент и власть начнет перераспределяться между Союзом и республиками, партией и оппозицией. В момент же балансирования на грани "обратимости" именно Горбачеву было дано принять решение. И он его принял, отважившись довести начатые преобразования до логического завершения.

Как нелегко, однако, одолеть препятствия на этом последнем отрезке перед рывком - опасения своих коллег, саботаж номенклатуры, глухую тревогу и страх перед переменами в обществе, перешагнуть через собственные сомнения и предрассудки! Программа политической реформы формулируется на первых порах с уймой оговорок и расшаркиваний перед отцами-основателями марксистской теории и Советского государства, со множеством

экивоков в сторону хмуро насупившихся ревнителей чистоты идеологии. Вот в каких выражениях говорит Горбачев о политической реформе на Пленуме ЦК КПСС в феврале 1988 года: "Мы подошли теперь к необходимости перестройки нашей политической системы. Речь идет, разумеется, не о замене действующей системы, а о том, чтобы внести в нее качественно новые структуры и элементы, придать ей новое содержание и динамизм... Коренной вопрос реформы политической системы касается разграничения функций партийных и государственных органов. И здесь также в основу должны быть положены ленинские идеи. Направляющая и руководящая роль партии - непеременимое условие функционирования и развития социалистического общества. ...И конечно, мы не должны обойти вопросы деятельности Верховного Совета СССР. Предстоит по-новому осмыслить его роль в плане усиления эффективности работы, начиная с Президиума, сессий и кончая деятельностью комиссий и депутатов... В определенном смысле мы говорим сегодня о необходимости возрождения власти Советов в ее ленинском понимании... Хочу присоединиться к тем товарищам, кто, выступая на Пленуме, говорил и о недопустимости заигрывания в вопросах культуры и идеологии. Мы должны и в духовной сфере, а может быть, именно здесь в первую очередь, действовать, руководствуясь нашими марксистско-ленинскими принципами. Принципами, товарищи, мы не должны поступаться ни под какими предлогами. По Ленину, самая правильная политика - принципиальная".

Здесь мысль еще зажата в тисках традиции, не рискует вырваться на волю. В таких же выражениях рассуждали о необходимости "совершенствования социализма" Хрущев, Брежнев, Андропов. И если кто-нибудь из яростных обличителей Горбачева захочет в очередной раз уличить его в том, что поначалу в его планы входило лишь "подправить" социализм, придать ему более благопристойный вид, то для этого можно использовать едва ли не каждую третью фразу в докладе.

Но в том же документе есть слова, какие многие десятилетия немислимо было услышать с высокой партийной трибуны. Генсек еще повторяет, что "направляющая и руководящая роль партии - непеременимое условие функционирования и развития социалистического общества". Но он уже рекомендует: надо твердо усвоить, что "на новом этапе партия может обеспечить свою руководящую, авангардную роль, увлечь массы на глубокие преобразования, лишь используя демократические методы работы". Еще утверждает, что "марксизм-ленинизм - это научная база партийного подхода к познанию общественного развития и практике коммунистического строительства". Но уже акцентирует на том, что "нет и не может быть никаких ограничений для научного поиска. Вопросы теории не могут и не должны решаться никакими декретами. Нужно свободное соревнование умов".

В один из первых дней апреля 88-го года, после возвращения из поездки на Кубу, Михаил Сергеевич собрал "ближний круг", чтобы посоветоваться, как наконец дать толчок политической реформе. Бесплезно, рассуждал он, созывать еще один пленум ЦК. В январе 87-го года ей было посвящено специальное заседание Центрального Комитета, разговор на эту тему завели на последнем, февральском пленуме, все кивают, соглашаются, а толку ноль. Причина в том, что мы все еще пытаемся вразумлять верхушку партии, которая не очень-то заинтересована в серьезных переменах. Надо включить партийную массу. Не обойтись без общепартийного форума, который позволил бы встряхнуть КПСС, а через нее и общество.

Каким же должен быть этот форум? Внеочередной съезд позволял провести перевыборы центральных органов власти, существенно обновить руководящие кадры, а это ведь не менее важно, чем выработать программу реформ. Никогда еще в истории глубокая реформа, не говоря о революции, как уже именовали к тому времени перестройку, не увенчалась успехом, если ее пытались совершить руками "бывших". Не сегодня-завтра несколько тысяч человек, занимающих высшие посты в партии и государстве, армии, промышленности, науке, культуре, поймут, что им грозит лишиться привилегий, и пустятся во все грехи тяжкие, чтобы этому помешать.

Конечно, в элите немало умных людей, видящих порочность существующей системы. Они иронизируют на ее счет в кругу близких и друзей за бутылкой коньяка, не прочь

перекинуться с приятелями смачным политическим анекдотом, полуобнажить свои либеральные взгляды в общении с интеллектуалами. Но если маячит перспектива лишиться закрытой поликлиники или диетической столовой увольте, кто же в ясном уме станет поступать себе во вред. Разве только простодушные "шестидесятники". Но и они, похоже, пристроились, пригреблись в Системе, перестали посещать театр на Таганке и "Современник", с улыбкой вспоминают грешные дни молодости, когда с энтузиазмом шли в МГУ слушать Евтушенко и Вознесенского с их бунтарскими, по тем временам, виршами.

Словом, со всей этой публикой ничего путного не сделать, и если она еще не взяла генсека за горло, то только потому, что судит о нем по своему образу и подобию, не может поверить, что он переступит через собственный интерес. Скоро им придется с этой иллюзией расстаться, и лучше заранее обновить состав центральных органов, чтобы застраховаться от ярости номенклатуры. К тому же сейчас это можно сделать, не прибегая к политическим доводам; достаточно сослаться на необходимость омоложения руководящих органов партии.

Против созыва съезда было нежелание усиливать тревогу в умах, придавать и без того напряженной ситуации совсем уж чрезвычайный характер. С этой точки зрения казалась подходящей для данного случая общепартийная конференция, которую по Уставу можно проводить в промежутках между съездами. К тому же последняя, XVIII конференция состоялась полвека назад, и само обращение к этой форме подчеркнет новизну решаемых задач. А что касается обновления руководящих органов, то в Уставе нет прямых противопоказаний на сей счет, сама конференция может установить прецедент. Последнее соображение сыграло, пожалуй, главную роль в том, что идея созыва конференции никем не оспаривалась. Горбачев в то время, как нам казалось, также был склонен пойти на серьезное обновление партийного руководства. Во всяком случае, когда об этом заходила речь, давал понять, что "думает в этом направлении", "присматривается к возможным кандидатам". Поэтому для всех сторонников реформ было большим разочарованием, когда XIX партийная конференция завершилась без обновления руководства. Был упущен уникальный шанс: поскольку в то время традиционное влияние генерального сохранялось, конференция проголосовала бы за предложенные им кадровые изменения.

В чем причина, почему Горбачев все-таки не использовал возможность привести к руководству партией новых людей, которые могли бы стать надежной ему опорой? Вероятно, в том, что как элита судила о нем по своему подобию, так и он о ней. Если генеральный секретарь способен пойти на ущемление своей неограниченной власти, чтобы устранить чудовищный разрыв между конституционными принципами и политической практикой, почему нужно подозревать, что против этого будут умудренные опытом его коллеги по Политбюро и Центральному Комитету? А если такие и найдутся, то разве только единицы, с которыми легко будет справиться.

И эта простодушная вера в здравый смысл своих коллег находила, казалось, подтверждение в том единодушии, с каким принимались до сих пор все новации генерального секретаря. Даже такие революционные идеи, как гражданское общество и правовое государство, прошли, что называется, "на ура". Не столько потому, что новшества подносились половинчато, облекались в привычную словесную форму, сопровождалась традиционными эпитетами (как, скажем, социалистическое правовое государство), но главным образом потому, что политическая реформа, по видимости, не посягала на главный нерв системы монопольное руководящее положение партии.

Правда, предусматривалось разграничение функций партийных и государственных органов, но этот эвфемизм был достаточно знаком партийным руководителям. С ленинских времен соответствующее требование записывалось в резолюции едва ли не каждого съезда, на практике же все шло в обратном направлении. Так что циники полагали, что и на сей раз случится лишь сотрясение воздуха, а у прочих в головах не раздался предостерегающий трезвон колокольчика: будьте настороже! Партийные агитаторы начали разъяснять, что правовое государство - это торжество социалистической законности и правопорядка, в журналах появились десятки одобрительных статей, юристы и философы в пожарном

порядке изготовили популярные брошюры, и вся реформа предстала в привычном идеологическом обрамлении. Ее глубоко революционные, в полном смысле подрывные для системы идеи, были принаряжены партийной пропагандой, интерпретированы по классическим канонам. Поэтому партийная элита проглотила их, не поперхнувшись.

К тому же она была, если хотите, опьянена сознанием собственной смелости и новаторства, испытывала примерно такие же чувства, какие обуревали многих почтенных сановников и буржуа в феврале 1917 года. Приятно вдеть в петличку красную ленточку и присягнуть свободе и демократии, не ожидая отсюда подвоха своему экономическому и социальному статусу. Отрезвление наступает позднее. В нашем случае - после выборов, когда многие первые секретари к своему безграничному удивлению и возмущению не получили поддержки избирателей и вынуждены были уступить депутатские кресла говорунам "эмэнэсам". Или, чего хуже, бывшим диссидентам и откровенным антисоветчикам.

Но до этого было еще далеко. А пока проект Тезисов ЦК к XIX партийной конференции, первый вариант которых по поручению Горбачева подготовили мы с Фроловым, после многократного обсуждения и доработки на даче в Ново-Огарево был вынесен на Политбюро и получил восторженные оценки. По словам Н.И. Рыжкова, это - "документ, превосходящий все, что принималось другими партийными форумами, причем особое значение имеют намеченные меры демократизации страны, превращение государства в правовое, гарантии прав человека". И все другие, кто участвовал в заседании Политбюро 19 мая 1988 года, в самых возвышенных выражениях отзывались о Тезисах ("документ целиком отвечает революционному курсу партии", "его ждут в обществе с надеждой", "это огромный вклад в развитие ленинской теории" и т. д.).

Конечно, наряду с хвалой, значительная доля которой должна быть отнесена на счет комплиментарного отношения ко всякому документу, представлявшемуся генеральным, бдительные члены руководства предложили "обогащать Тезисы". Е.К. Лигачев заметил, что к общечеловеческим интересам нужно добавить классовые. Ф.Ю. Соловьев посоветовал сказать о незыблемости однопартийной системы, "поскольку КПСС способна обеспечить многообразие мнений". В.В. Щербицкий сказал, что "не отработан механизм: как при демократизации сохранить за партией политическую власть?" И было несколько высказываний против кооптации новых членов ЦК.

Михаил Сергеевич не стал настаивать, и это сыграло позднее роковую роль, помешав реформе партии. Хотя обновление ЦК даже наполовину еще не делало погоды, да и не было гарантии, что на смену престарелым консерваторам придут современно мыслящие молодые люди, все-таки появление в высшем органе партии трех-четырех десятков таких людей могло послужить бродилом перемен.

Доработка Тезисов велась в узком кругу - Михаил Сергеевич и мы с Фроловым. Это было отнюдь не литературное редактирование текста, часто засиживались допоздна в спорах по существу тех или иных проблем. Мне кажется, именно тогда, в майские дни 1988 года, в канун Конференции, Горбачев сформулировал для себя концепцию, которая легла в основу политической реформы. Причем это относится не к деталям - они-то как раз многократно уточнялись впоследствии, - а к узловым, фундаментальным идеям.

В частности, разговор тогда зашел об уязвимости лозунга "Больше социализма!". Арифметические определения вообще до крайности упрощают дело. Конечно, есть соблазн воспользоваться ими для "доходчивости", но вроде бы безобидное популяризаторство оборачивается огромным ущербом, приучает кадры и общество мыслить примитивными категориями. В разоренной войной стране куда как резонно звучали требования: больше металла, больше нефти, больше станков и т. д. Но эта максима настолько въелась в сознание, что упустили момент, когда технический прогресс сделал возможным во многих случаях заменять металл пластмассой или керамикой, снижать потребление горючего и повышать ресурсы двигателей, сокращать станочный парк за счет применения автоматических линий и электроники. В мире рождалась и приносила поразительные результаты новая техника,

причудливо названная новыми технологиями, а мы упоенно продолжали "гнать количество". Причем, чем больше производилось чего-то, тем худшего качества, и эта мания распространялась на все более широкий круг изделий. Словом, работа вхолостую, бессмысленное расточительство труда и природных богатств.

Социализма не должно быть ни больше и ни меньше, чем это необходимо, чтобы обеспечить максимально достижимые эффективность производства и социальную справедливость. К тому же с понятием "социалистическое" у нас привыкли преимущественно связывать уравнильное распределение, а оно-то как раз гасит стимулы к напряженному творческому труду, стало главной причиной нашего отставания от западных стран.

Согласившись с этим по существу, Михаил Сергеевич возразил, что людям нужен "вдохновляющий лозунг". В конечном счете дело свелось к тому, что перед словами "больше социализма" вставили: "больше демократии".

Долго сидели над определением задач внешней политики. Перед этим на пленуме ЦК Г.М. Корниенко, бывший первый заместитель министра иностранных дел, выступил с критической оценкой предпринятых к тому времени разоруженческих инициатив.

- Я спрашивал А.А. Громыко, - рассказал нам Михаил Сергеевич, - не с его ли подачи этот выпад. Он замахал руками, уверяя, что они вообще не общаются. В чем тут дело? Когда мы вскрывали промахи в экономике, в социальной сфере, осуждали нарушения законности, не побоялись сказать об ошибках руководства все было нормально. Но как только коснулись внешней политики - сразу пытаются наложить табу; оказывается, все, что здесь делалось, правильно. А ведь 16 процентов национального дохода шло на вооружения. Прибавить 4 процента на нужды МВД и КГБ - получаются все 20. Самые высокие военные расходы в мире. Во всех других странах они не превышают 8 процентов. Разорили страну, народ держали впроголодь, запороли сельское хозяйство, зато сидели верхом на ракетах. Это называлось классовым подходом. Какой это, к черту, социализм! И стоило сказать, что так вести дела не годится, зашевелились, ошетинились. Но они нас не остановят!

От первых робких попыток изменить закостенелый политический порядок и засилье милитаризма Горбачев переходил к действительно глубоким реформам. И увертюрой к ним, как это было во всех подобных случаях, стала свобода слова.

Гласность

Право выбирать, сказал Виктор Гюго, отменяет право восставать. Но избирательного права недостаточно, чтобы гарантировать устойчивость демократического порядка. Для этого нужны, по крайней мере, две свободы, одна из которых страхует другую. Если власти запугивают избирателей, идут на подлоги, фальсифицируют итоги голосования - печать поднимает возмущенный шум. Если правительство давит на журналистов, ограничивает доступ информации, пытается ввести цензуру - парламент обязан отказать такому правительству в доверии. А если он этого не сделает, избиратели на очередных выборах имеют возможность проголосовать за других депутатов.

Надежнее, конечно, иметь еще несколько свобод, но две - необходимый минимум. Какая из них важнее? Вопрос риторический, потому что демократия, как автомобиль, начинает работать только тогда, когда на месте все детали. В первую очередь нужны мотор, колеса, руль, тормоза, но ведь и без дворников далеко не уедешь.

И все-таки можно сказать, что из всех свобод самая существенная для демократии - свобода печати или, как принято говорить теперь, средств массовой информации. Точнее, свобода слова. Демократия предполагает право и возможность граждан участвовать в принятии решений, а чтобы решать, надо знать.

Всякая тоталитарная система использует для поддержания своего господства два средства - насилие и обман. Умный диктатор всегда отдает предпочтение второму. Гораздо выгодней убедить людей подчиниться, чем заставить их: и обходится дешевле, и не нужно брать на душу грех, проливать кровь. Большевики, придя к власти, поставили в этом плане абсолютный рекорд, потому что имели в своем распоряжении прекрасную гуманистическую



теорию и оказались отменными организаторами. Ленин и его соратники сумели убедить в своей правоте страну и полмира, поскольку сами были в ней непоколебимо убеждены. Ну а в дальнейшем, когда была создана совершенная машина пропаганды и агитации, она работала как бы в автоматическом режиме, не требуя от обслуживавших ее механиков ни твердых, ни вообще каких-либо убеждений.

Россия испокон веков печально славилась свирепой цензурой. Как только не жаловался на нее Пушкин, в результате чего царь сам взялся цензурировать его произведения. Негодовали на цензоров Некрасов, Достоевский да едва ли не все писатели, философы, журналисты. Но они стали бы благословлять свою судьбу, если бы хоть на минуту заглянули в будущее. Потому что девять десятых печатной продукции, пропускавшейся свирепыми цензорами в царской России, не имели никаких шансов увидеть свет в социалистическом Советском Союзе. С опозданием чуть ли не на полвека пришли к нашему читателю такие шедевры, как "Чевенгур" и "Котлован" Андрея Платонова, "Мастер и Маргарита", "Собачье сердце" Михаила Булгакова. Практически были недостижимы для него изданные небольшими тиражами после XX съезда КПСС великие историки Государства Российского - Николай Карамзин, Сергей Соловьев, Василий Ключевский, Николай Костомаров. И уж вовсе запретным плодом были труды оригинальных русских мыслителей - Бердяева, В. Соловьева, Розанова, Федорова, Ильина, Трубецкого и других.

Из художественной литературы кое-что еще проскальзывало: у цензуры не хватило нахальства закрыть всего Достоевского, запрещены были только наиболее одиозные "Бесы". Вовсе плачевна была участь периодики. Газеты выходили стерильными, как новорожденные младенцы. За радио и телевидением бдительно следили цеховские инструкторы, отвечавшие за содержание каждой произнесенной в эфир фразы. Венцом же обольванивания собственного народа было регулярное глушение на всех частотах иностранных станций, вещавших на Советский Союз. Ради того, чтобы оберечь мозги своих сограждан от идейной отравы, денег не жалели. Благодаря этой, не знающей аналогов, информационной блокаде десятки миллионов людей в огромной стране десятилетиями слыхом не слыхивали о таких событиях, как подавление бунта в Новочеркасске, катастрофа в Челябинске, волнения на национальной почве в Грузии, аварии с подводными лодками на Балтике и в Тихом океане.

Причем, если кто-нибудь думает, что от "негативной" информации были отрезаны только рядовые советские люди, то он ошибается. В таком же положении, как я уже говорил, находились работники партийных и государственных органов, в том числе центральных. Им полагалось получать сведения, исключительно касающиеся порученного участка.

С первых дней своего прихода к власти Горбачев начал взламывать эту непроницаемую завесу секретности. Достаточно осторожно, отдавая себе отчет, что слишком большие порции правды могут оглушить общество, а узнай оно сразу обо всем, что творилось, стал бы неминуем взрыв народной ярости. Поэтому сперва ограничились небольшими дозами достоверных или по крайней мере приближенных к истине сведений. Причем по каждому конкретному случаю принималось решение ЦК. Оглашать данные, находившиеся прежде под запретом, поручалось, естественно, только самому генсеку - ведь всякая новая информация была, как принято говорить, изюминкой, украшавшей очередное выступление и привлекавшей пристальное внимание дома и за рубежом. Очень скоро о Горбачеве стали говорить как о поразительно откровенном руководителе, далеко опередившем открытостью всех своих предшественников.

Это было совсем не просто. Всякий раз, когда генсек предлагал предать гласности цифры, касающиеся наших вооруженных сил и особенно вооружений, из Министерства обороны, КГБ, министерств, ведающих производством оружия, поступали настойчивые просьбы и даже требования не делать этого, поскольку могут пострадать государственные интересы, безопасность страны. А ведь речь-то шла о данных, регулярно публикуемых в странах НАТО, без обнародования которых было невозможно всерьез продвинуться на переговорах по разоружению. Михаилу Сергеевичу приходилось в чем-то уступать, и после длительного торга вырывать согласие на публикацию крох новой информации. Нечего

удивляться, что некоторые цифры (например, точные сведения о военных расходах, запасах химического оружия) были названы лишь в 1990 году.

Сейчас предпринимаются попытки обвинять Горбачева в том, что со значительным опозданием была дана правдивая информация об аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В день, когда Политбюро обсуждало это трагическое известие, Вадим Медведев, бывший в то время секретарем ЦК и заведующим нашим отделом, пригласил нас с Рахманиным к себе и подробно рассказал о состоявшемся разговоре. Ни тогда, ни в последующие дни и даже недели не были очевидны все масштабы катастрофы, не говоря уже об ее отдаленных последствиях, которые в полной мере неясны до сих пор. Крупнейшие наши специалисты участвовали в подготовке информации, и она, конечно же, должна была быть взвешенной, чтобы не вызвать ненужной паники. Телеграммы в соцстраны были направлены на другой день. Задержались с оповещением Запада, но нельзя забывать, что "холодная война" тогда еще продолжалась. Очень скоро, однако, была понята недопустимость сокрытия хотя бы толики данных, коль скоро речь идет об экологических катастрофах. И можно утверждать, что Чернобыль нанес решающий удар по мании секретности, побудив страну открыться миру. А в том, что это наконец случилось, никто уже не сомневался после землетрясения в Армении.

Возвращаясь несколько назад, нужно сказать, что первая стадия гласности, когда говорил главным образом один генсек, а почтительно внимавшая ему пресса лишь распространяла эту информацию, длилась сравнительно недолго. Запуганные и затюканные наши журналисты, выждав некоторое время, чтобы не попасться на приманку типа пресловутой кампании Мао Цзэдуна "Пусть расцветает сто цветов", начали там и здесь говорить, что думали, и писать, что говорили. Ни к чему человек, наверное, не привыкает так быстро, как к свободе, и ничто другое так не пьянит, не ударяет в голову, как обретенная наконец возможность "бросить им в лицо железный стих, облитый горечью и злостью" - вывести на чистую воду казнокрада, уличить взяточника, посадить на скамью подсудимых доносчика, ткнуть пальцем в "голых королей" районного, областного, а там, глядишь, и союзного масштаба. И наряду с этим общим разоблачительным пылом, охватившим прессу, начали появляться издания политических группировок, чьи установки и вожелания уже опережали ход реформ, то есть объективно становились в положение оппозиции по отношению не только вообще к властям, но и к самому Горбачеву.

Пока пресса спала и Михаилу Сергеевичу приходилось ее будить и тормошить, он с искренней радостью встречал всякое проявление отважной мысли. Просматривая газеты, жадно искал свидетельство того, что страна начинает приходить в движение, что его постоянные призывы к людям очнуться от летаргии и взяться за переустройство своей жизни находят наконец отклик. Наткнувшись на интересное, свежее по мыслям выступление, Горбачев часто приглашал к себе помощников, и мы обменивались мнениями на этот счет. Нравились ему острые статьи Ивана Васильева в "Советской России", Иосифа Гельмана и Юрия Черниченко в "Литературной газете", Виктора Астафьева в "Правде", Егора Яковлева в "Московских новостях". Прочитав такую статью, он просил соединить его по телефону с автором, а иногда и приглашал к себе поговорить по душам. В свою очередь и мы, обнаружив в газетах и журналах что-то интересное, прошедшее мимо его внимания, посылали на дачу для вечернего просмотра, который, по его словам, начинался часов в 10 и длился до глубокой ночи.

Но вот медовый месяц в отношениях между Горбачевым и прессой стал приближаться к концу. Человек, возродивший гласность, все чаще с раздражением отбрасывал те же "Московские новости" или "Огонек", а с другого "фланга" "Правду" и "Советскую Россию", когда находил, что "эти журналисты слишком много себе позволяют". Иначе говоря, наступил момент, когда намерения и характер реформатора подверглись самому серьезному испытанию - на стойкость. Легко критиковать, громить предшественников за ошибки и тяжело самому быть объектом такой критики, а тем более - иронии, а тем более - обвинений, а тем более - издевательств.

Ведь пресса, которая поначалу жмурилась, как кошка, позволяя себя поглаживать, способна превращаться в рыкающего и готового сожрать тебя с печенками тигра. Тут-то и ломаются слишком слабые или, напротив, слишком авторитарные натуры. К последним явно принадлежал Хрущев, который тоже первое время жаловал гласность и сделал в этом плане немало доброго. Но потом, когда газетчики и писатели, по его мнению, обнаглели, учинил им грандиозный разнос и быстренько покончил со своими "ста цветами". Это ведь не анекдот, что члены Политбюро под его руководством собственноручно правили стихотворение Евгения Евтушенко.

Михаил Сергеевич не топал, не кричал на редакторов газет и журналов, но обижался, переживал, когда считал, что подвергаются необоснованным нападкам сам он или его политика. Однако испытание выдержал, от гласности не отрекся, на свободу слова не посягнул. И это несмотря на то, что стал мишенью зубодробительной критики и безжалостных нападков, каким, пожалуй, не подвергался в наше время ни один другой президент. Конечно, все это не далось без напряженной борьбы с самим собой, с собственным самолюбием. Как всякий русский правитель, он весьма чувствителен к печатному слову и склонен порой придавать ему гораздо большее значение, чем оно того заслуживает.

Вдобавок надо учитывать давление, которое оказывалось на него коллегами по руководству. Уже с конца 1988 года не было, пожалуй, ни одного заседания Политбюро, которое не начиналось бы с поношения прессы и требования призвать ее к порядку. Как правило, начинали сетовать Рыжков, Воротников, Лигачев. Медведев, которому тогда было поручено "вести идеологию", защищался, говоря, что обстановка сложна и неоднозначна, окриком сейчас ничего не решишь, нужно работать с прессой. Яковлев, переброшенный на международные дела, тоже заступался за печать. А в заключение Михаил Сергеевич, поддакнув по адресу "распустившихся газетчиков", рекомендовал не обращать особого внимания на хлесткие выражения - такова уж эта журналистская братия! Добавляя, что Ленин, как известно, считал критику полезной, если в ней содержится хотя бы пять процентов правды, генсек предлагал перейти к повестке дня.

Несколько раз на заседания высокого синклита приглашались председатель Гостелерадио Михаил Федорович Ненашев (потом Леонид Петрович Кравченко) и главный редактор "Правды" Виктор Григорьевич Афанасьев (потом И.Т. Фролов). Они докладывали о мерах, которые намерены принять, чтобы повысить качество телевизионных передач или редакционной работы. Потом на них обрушивался шквал упреков, приходилось отдуваться за всю печать. И Иван Тимофеевич однажды не выдержал, дал резкую отповедь, которая, впрочем, не пошла впрок.

Горбачев, как я уже сказал, старался гасить эти вспышки недовольства. Но и сам несколько раз срывался, в особенности когда дал согласие на рекомендацию агитпропа освободить В. Старкова с поста главного редактора газеты "Аргументы и факты"\*. Это покушение на свободу печати было встречено с возмущением сформировавшейся к тому времени оппозицией и журналистами, опасавшимися, что с одним расправятся - за других возьмутся, и заступившимися за собрата из чувства профессиональной солидарности. ЦК был вынужден отступить. Случай, сам по себе не столь уж важный, стал символичным: впервые в советской истории партийное руководство не сумело снять редактора неугодного издания. Это свидетельствовало уже о новом соотношении сил, о том, что демократия начинает укореняться и защищать себя.

Осаждаемый коллегами и выводимый из себя неприличными эскападами отдельных газет, а с другой стороны - уговариваемый ходаками из писательской и журналистской братии, Горбачев пришел к решению, которое было в тот момент единственно правильным и в то же время целиком отвечало его политическим установкам, - форсировать принятие закона о печати, который защитил бы гласность и положил конец попыткам злоупотреблять ею. Мудрое, чисто центристское решение, направленное против крайностей. Зная о том, что я возглавил подкомитет конституционного законодательства, которому поручено

подготовить проект закона, Михаил Сергеевич велел агитпропу действовать через меня. И уже на другой день я получил вариант, подготовленный в ЦК с участием правдистов, Гостелерадио, Союза журналистов. Академии наук, Главлита и других ведомств.

Прочитав его, я пришел в ужас. Похоже, те, кто сочинял этот документ, даже не выглядывали в окно и не имели представления, что творится в стране, настолько он был кондовый, в полном смысле слова реакционный, не имевший ни малейшего шанса получить одобрение даже ортодоксально мыслящих депутатов. Я стал звонить В.Г. Афанасьеву, В.Н. Кудрявцеву и М.Ф. Ненашеву, спрашивать, как их угораздило подписать такой проект. Все они тут же отrekliсь, заявив, что их просто вызывали в ЦК и велели поставить подписи, "а что там потом наставляли, нам неведомо".

Чтобы читатель мог составить представление о содержании этого варианта, скажу, что едва ли не в первой его статье провозглашалась обязанность средств массовой информации служить делу коммунистического строительства, а где-то ниже упоминалась возможность иметь свои издания и религиозным организациям. Я уж не говорю о том, каким образом можно было обязать вести пропаганду коммунизма печатные издания социал-демократов, монархистов, анархистов и партий всякого иного толка, которые в то время росли как грибы.

Примерно тогда же вышла в свет небольшая брошюра с альтернативным проектом закона о печати. Его подготовили Федотов, Батулин и Энтин - двое последних были сотрудниками сектора теории политических систем в Институте государства и права, которым я руководил на общественных началах. Это была добротная профессиональная работа, но мне показалось, что, увлекшись стремлением учесть мировой опыт, авторы недостаточно приспособили проект к отечественным условиям. Когда мы собрали подкомитет, кто-то из эстонцев предложил свой вариант. Тоже неплохой. Объявились и другие авторские версии. После недолгой дискуссии было решено положить все варианты перед собой и написать проект заново.

Помню, как сейчас: мы заседали в одном из номеров-люкс гостиницы "Москва", предоставленном специально Комитету Верховного Совета из-за нехватки помещений в Кремле. Народу собралось человек 30, было тесновато и жарко. Сняли пиджаки, расселись за столом - Константин Лубенченко, Сергей Станкевич, Михаил Полторанин, Николай Федоров и другие. Взяв ручку, я записал: "Статья 1. Средства массовой информации в СССР свободны, цензура запрещается". Начали подсказывать со всех сторон, шума было много, но дело спорилось. Довольно быстро сложился новый вариант, который и лег в основу принятого потом закона. Хотя трудились над ним долго, особенно затяжной характер приняло прохождение его в Верховном Совете, тем более что подготовить проект было поручено не только нашему, но еще двум комитетам.

Я регулярно направлял генсеку каждый очередной вариант. Однажды на Политбюро кто-то сказал, что в Верховном Совете готовится возмутительный проект закона о печати, который полностью лишит партию возможности воздействовать на средства массовой информации. Михаил Сергеевич поднял меня с места и попросил вкратце рассказать, что происходит. Я сказал, что комитеты работают над проектом, содержание его вполне разумно, учитывает мировой опыт. Полагать, что партия в условиях формирующейся многопартийной системы может, как прежде, держать под монопольным контролем средства массовой информации, значит заниматься самообманом.

Горбачев не дал развернуться дискуссии, только бросил назидательным тоном:

- Смотрите там, не переборщите. Свобода не означает анархии.

Я кивнул, зная, что в подобных случаях лучше не размахивать красной тряпкой.

Так продолжалось некоторое время, но затем дело приняло нехороший оборот. Согласовав весь текст, законодатели разошлись во мнениях по двум позициям. Во-первых, должен издатель иметь право назначать и снимать главного редактора, или это право следует закрепить за редакционным коллективом? Я стоял за первое решение, ссылаясь, в частности, на то, что повсюду в мире последнее слово в таких вопросах принадлежит именно издателю. Предположим, партия издает свою газету, и ей не нравится линия главного редактора, а

коллектив редакции за него горой. Что же, неужели эта партия будет терпеть такое положение? Да она просто перестанет финансировать газету и начнет издавать другую. Не все соглашались с этими доводами, руководствуясь явно максималистскими претензиями журналистов. В чем-то я их понимал. Сам работал в журнале и издательстве, знал, как досадно, когда тебе навязывают нечто неразумное и несправедливое: пиши, что тебе говорят, а не желаешь - собирай манатки. С другой стороны, отдавать власть коллективу, девять десятых которого даже не журналисты, а корректоры, работники типографии, отдела распространения и других вспомогательных служб, явно не следовало.

Другой вопрос, вокруг которого завязалась дискуссия: может ли издавать газеты в Советском Союзе частное лицо? Я был категорически против и остаюсь на этой точке зрения сегодня. Можно признать допустимой и даже желательной частную собственность, но с определенными исключениями. И в первую очередь речь должна идти именно о средствах массовой информации, этого мощного оружия воздействия на умы, которое, попав в частные руки, способно натворить множество бед. После долгих споров я предложил в названных двух случаях сделать сноску, предоставив окончательное решение самому Верховному Совету. Мы закончили поздно вечером, отдав проект на перепечатку и размножение. А утром, придя на работу, я был вызван срочно к шефу. Разразился скандал. Члены Политбюро получили проект без всяких сносок и с теми формулировками, против которых я возражал. Полагаю, это была проделка не очень порядочных членов нашего комитета, решивших таким разбойным методом протащить свою версию. Михаил Сергеевич на этот раз был действительно крайне рассержен:

- Вы что, не понимаете, Георгий, что делаете? Хотите, чтобы у нас появились шпрингеры и мэрдокки! Собирай немедленно свой комитет и переделывайте текст.

При этом он отдал мне листок с перечислением требуемых поправок. Кто-то в агитпропе явно попытался навязать чуть подредактированный первоначальный вариант. Я сказал Горбачеву, что проводить такие поправки не могу. Рассказал об альтернативных позициях по двум пунктам, которые и постараюсь отстоять. Он согласился. Придя в Верховный Совет, я передал в канцелярию просьбу восстановить проект в том виде, в каком он был выпущен накануне вечером. Через два часа этот вариант был роздан депутатам, а поскольку у них на руках уже имелся проект без всяких альтернатив, "региональщики" подняли шум. Последовали парламентские запросы, в газетах промелькнули сообщения, что ЦК КПСС опять выламывает руки, "Свободная Европа", ссылаясь на чью-то информацию, связывала, что помощник генсека по его поручению навязывает депутатам цензуру.

Большей глупости трудно было придумать. Но интрига сработала.

Разобиженные очередным "коварством" партии депутаты проголосовали за частное владение СМИ. А спустя 10 лет Михаил Федотов раздавал интервью и созывал в Доме журналиста пресс-конференцию, без стеснения утверждая, что именно он со товарищи стоял у истоков свободного слова, а закон был принят "в пику" Горбачеву и его соратникам. Пришлось рассказать, как было в действительности\*.

Мне выпала честь представлять законопроект на окончательное утверждение, и я мог бы назвать десятки людей, внесших на разных стадиях существенный вклад в его создание и принятие. Но если уж присваивать ему чье-то имя, то не Филатова, Батурина, Федотова, Шахназарова и многих других соавторов. Как знаменитый кодекс, над которым трудились незаурядные французские юристы, именуют кодексом Наполеона, так и закон, провозгласивший свободу слова в нашей стране, справедливо именовать законом Горбачева.

К слову, его можно считать действующим до сих пор, поскольку творцам соответствующего российского проекта не пришлось перенапрягать мозги, они имели возможность воспользоваться достаточно продуманными и взвешенными формулами советского закона и учесть, пусть недолгую, практику его применения. Ну а опыт всего минувшего десятилетия дает основание сказать, что свобода слова на российской почве, регулярно подвергающаяся тяжелым испытаниям, все-таки выжила. Хотя живет неважно и сама порой ведет себя неприлично, вызывая обоснованные нарекания. Ее то и дело грозят

посадить под арест или оставить без прокорма.

Позволю себе только еще раз пожалеть о том, что не удалось поставить заслон перед частным владением. Теперь и те, кто самозабвенно его проталкивал, вынуждены признать, что "не должно быть концентрации СМИ в одних руках сверх определенного предела". Как не признать, если этот принцип поддержал даже Совет Европы! Непонятно, правда, кто и с какой меркой будет определять предел беспределу. Но хорошо хоть так. Ведь именно благодаря отсутствию всякого общественного контроля газеты и телеканалы оказались "разобраны" олигархами, между ними то и дело разгораются скандальные разборки, в журналистике процветает узкая каста конформистов, а творческой, неординарно мыслящей молодежи пробиться в эфир и печать едва ли не трудней, чем в "подцензурные времена". С угрозой одномерности из года в год деградирует "культурное наполнение" большинства телепередач и публикаций. И все чаще задумываешься: что толку в свободе слова, если оно все меньше очищает и все больше загрязняет общественную атмосферу?

Михаил Сергеевич стал первым советским руководителем, который, как лидеры западных демократий, не отказывался от общения с прессой и регулярно собирал у себя редакторов газет и журналов, руководителей творческих союзов, именитых писателей, музыкантов, художников, театральных деятелей. Такие встречи проходили, как правило, в Мраморном зале, рассчитанном на 100 с лишним мест. Генсек начинал их кратким вступительным словом, терпеливо выслушивал то, что хотела ему сказать интеллигенция, а затем сам на час-полтора брал слово, чтобы прокомментировать выступления, что-то признать, от чего-то откреститься, в чем-то попросить подмоги.

Разговор шел прямой и нелицеприятный. Вот какой телеграфной записью отражено в моем блокноте содержание выступлений редакторов газет и журналов, деятелей культуры на встрече с Горбачевым весной 1990 г. Д.С. Лиходеев: распродают ценности искусства. С.В. Михалков: детская литература гибнет. М.Ф. Шатров: мы вступаем в смутное время. С.С. Залыгин: нужно выжить. Ю. Бондарев: мы разрушили триаду - государственность, народность, веру; гласность - это ложь, больше похожая на правду, чем сама правда; нужен порядок. А.А. Беляев: идеология распалась. Ю.В. Свиридов: спасти русское хоровое пение. Ч.Т. Айтматов: главное - сохранить единство страны. В.Г. Распутин: спасти государство и культуру. Б.С. Угаров: возродить патриотизм. М.А. Ульянов: не допустить, чтобы дошло до голодных бунтов и крови, чтобы к капитанскому мостику прорвались супермены с кулаками.

А вот что говорил им Горбачев: "В час испытаний более всего необходимо общественное примирение. Нельзя допустить углубления конфронтации, необходим еще один "общественный договор", нужно дать народу точку духовной опоры, и ею может быть только идея гражданского согласия. Альтернатива согласию гражданская война или возвращение в тоталитарную казарму. В последнее время все пугают заговором, помогла распространению панических слухов и печать. Думаю, вы не сомневаетесь, из нынешнего президента диктатора не получится. Надо искать такой путь, который позволит навести порядок, не входя в противоречие с Конституцией и волей республик. Они должны понять, что Центр меняется, теперь это их коллективный орган. Но, конечно, придется, где надо, принимать и жесткие меры, сохраняя главное направление перестройки".

Гласность у нас всегда понималась не просто как свобода слова в западном понимании, а как нечто большее - совет властей с народом, их взаимная ответственность. К тому Михаил Сергеевич и вел дело. Беда, однако, в том, что круг участников этих "соборных встреч" был узок и почти не менялся. Приглашались чаще люди знатные, привыкшие к благоволению начальства и считавшие своим долгом платить ему той же монетой.

Мне не приходилось составлять списки приглашенных - этим занимался Фролов, "ведавший" культурой. Но однажды я спросил у Михаила Сергеевича, почему бы не пригласить и тех, кто не станет деликатничать, выложит, что думает. Польза от этого будет двойная: он будет знать настроение творческих слоев, которые чувствуют себя отверженными, а они в свою очередь оценят оказанное внимание. Конечно, не та это публика, чтобы ее приручить, но будут повежливей, и то ладно. Что скажут Сергей Залыгин

или Григорий Бакланов, выступающие на каждой такой встрече, вы заранее знаете. Так, может, послушать, скажем, с одной стороны, А. Проханова, А. Ланщикова, В. Бушина, а с другой - Л. Баткина, Ю. Буртина?

Михаил Сергеевич согласился, но в очередной раз в зале мелькали все те же лица: привычнее было иметь дело со старыми знакомыми. В результате встречи стали походить на заезженную пластинку. И сам президент, и "интеллектуалы" потеряли к ним интерес.

С осени 1990 года, когда пресса безжалостно его молотила, Горбачев, можно сказать, повернулся к ней спиной. Отношения со многими редакторами, ходившими раньше в фаворитах, испортились. Да и как иначе, если, к примеру, "Московские новости" опубликовали прокламацию с требованием его отставки, хотя Егор Яковлев пользовался неизменным расположением президента. Особенно возмущен он был публикациями, в которых нагло передергивались факты. По заявлению Артема Тарасова, Горбачев якобы договорился с японцами продать им Курильские острова за 200 миллиардов долларов. Был возбужден иск с требованием извинения и опровержения. В двух-трех других случаях Михаил Сергеевич потребовал от юридического отдела президентского аппарата начать уголовное преследование на основе принятого Верховным Советом закона о защите чести и достоинства президента. Но мы убеждали его, что игра не стоит свеч. Если суд оштрафует обидчика или засадит его в тюрьму, расхожее общественное мнение будет на его стороне, примет за мученика, жертву травли. Гораздо эффективней поймать газету на слове и заставить опубликовать ответ.

Такой эпизод случился у нас с "Российской газетой". На другой день после инаугурации Ельцина в передовой ее статье утверждалось, якобы Горбачев и в приветственной речи умудрился продемонстрировать враждебное отношение к Борису Николаевичу, упомянув число голосовавших против него на президентских выборах. Я послал редактору письмо, указав на несправедливость упрека. Действительно, Михаил Сергеевич в тот момент повел себя достойно - отложил в сторону прежние споры и поздравил Ельцина с победой, дал понять, что готов лояльно сотрудничать с президентом России. Кстати, это было сделано по телефону сразу же после того, как стали известны итоги голосования 12 июня. А упоминание о значительном количестве голосовавших за других кандидатов обращало внимание на необходимость чувствовать себя представителем всей России, не только избирателей, отдавших ему свои голоса. Заметка была опубликована, хотя, как водится, редакция не обошлась без контркомментария.

Поостыв, Михаил Сергеевич отказывался от преследования за публикации, оскорблявшие достоинство президента.

Когда наши радикалы развернули прямую атаку на Союзный центр и преданные им издания напали на Горбачева, как гончие на медведя, он заявил в Верховном Совете, что печать дает ложную информацию, разжигает страсти и надо подумать, не пересмотреть ли Закон о средствах массовой информации. Эта неосторожная, произнесенная в сердцах фраза дорого ему обошлась. Некоторые газеты устроили истерику в духе Новодворской и Дебрянской, начали вопить, что свободному слову угрожает смертельная опасность, хотя прекрасно знали, что никто не занес над ним ножа и что если кто-нибудь действительно посягнет на гласность (желающих было и есть хоть отбавляй), то Горбачев будет в этом ряду последним.

Можно, конечно, рассуждать и так: уж слишком настрадалась наша страна от цензуры, так велика для нее ценность обретенной свободы, что непозволительно допустить беспечность и позволить вновь ее отобрать. Тут нужна предельная бдительность, и, если даже немного с нею переборщили, ничего страшного. Этим ведь, объяснял мне знакомый журналист, которого я укорил за грубые нападки на Горбачева, мы помогаем и самому президенту, предостерегаем, чтобы он, поддавшись минутному гневу, не совершил поступка, которого потом сам себе не простит. Я ответил, что журналистам нечего беспокоиться. После того эмоционального выступления Михаил Сергеевич признался, что погорячился. Конечно же, у него и в мыслях не было отречься от гласности, потому что без нее можно

ставить крест на всех наших реформах.

Помимо политического расчета и, безусловно, развитого у Горбачева демократического сознания, свою немалую роль играли при этом его человеческие качества. Не мог он, подобно Тарасу Бульбе, убить свое дитя. И как порой ни раздражался, досадовал на газетчиков, а все равно его к ним тянуло, даже к тем, кто больнее "кусал", и больше именно к этим. Его горделивое самолюбие, окрыленное триумфом, с каким встречались первые шаги реформы в народе и во всем мире, отвергало саму мысль заткнуть рот своим критикам, включая тех, кто поносил его незаслуженно. А вот переубедить их поступками, "обаять" при личной встрече, заставить пусть злобные и ехидные, но отнюдь не блеклые и скучные умы пересмотреть свое к нему отношение, привлечь их перья на свою сторону - вот это было ему по душе, по темпераменту. Он всегда с азартом выбирал задачи посложней и часто говорил о своем недоверии к облегченным, простым решениям, достигаемым командой: закрыть, подавить, разогнать.

О том, насколько важно политическому деятелю считаться с чрезвычайно сложным механизмом формирования общественного мнения, свидетельствует история Тельмана Гдляна и Николая Иванова. На одном из загородных "сидений", в "паузе", Михаил Сергеевич рассказал нам, что проведенная прокуратурой проверка обнаружила вопиющие факты нарушения порядка следствия в так называемом узбекском деле. Пошел разговор о том, что этого нельзя оставлять без последствий. О каком правовом государстве мы можем мечтать, если допустим нарушение элементарных процессуальных норм! Согласившись со всем этим в принципе, я в то же время высказал мнение, что в данном случае нельзя не учитывать накаленную общественную атмосферу, всеобщее требование ужесточить борьбу с преступностью. В Гдляне люди видят Жеглова-Высоцкого, отважного сыщика, пусть иной раз действующего не по букве закона. "Подумаешь, пригрозил или даже ударил, да с этой сволочью иначе и не следует обращаться, от того она и наглеет, что слишком уж с ней церемонятся наши законники", - примерно так рассуждал средний наш гражданин в то время, полагаю, и сейчас. В этих условиях винить популярных следователей в каких-то нарушениях, не приводя, кстати, чересчур уж кричащих фактов (никого ведь, в конце концов, пыткам не подвергали), это верный способ сделать их национальными героями и одновременно дать повод для разговоров, что-де партократы "покрывают своих, переполошились, как бы их самих не взяли за жабры, вот и прячут концы в воду". Короче, со всех точек зрения результат будет прямо противоположный ожидаемому.

- Что же ты предлагаешь? - спросил Михаил Сергеевич.

- Я предлагаю, грубо говоря, в это дело не ввязываться. Кстати, если уж говорить о законности, политическим властям здесь вообще нечего делать. Надзор за следствием - забота прокуратуры. Вот пусть она и решает, что тут имело место, нарушение профессиональной этики или что похуже. Вдобавок, включившись в преследование этого человека, власти окончательно его озлобят и наживут еще одного серьезного противника, способного попортить нервы.

К сожалению, Горбачев не согласился с этими доводами. Был дан сигнал "раскрутить" дело Гдляна и Иванова. В ответ окрепшая к тому времени оппозиционная пресса развернула кампанию в защиту следователей от "травли со стороны властей". Начались митинги в Зеленограде, Гдлян и Иванов были с триумфом избраны куда только можно и получили свободный доступ к телевидению, с экрана которого с многозначительным видом, не приводя ни единого факта, обвиняли руководство во всевозможных преступлениях. Больше всего досталось, конечно, Лигачеву, который клеймил следователей с особой страстью. Но не пощадили и самого президента, престижу его был нанесен немалый ущерб.

Отношения Михаила Сергеевича с "генералами прессы", с теми, кто дает камертон общественному мнению, частично восстановились только после августа 1991 года, но уже никогда не были такими же сердечными, как на заре перестройки. Запомнилось первое заседание "Клуба редакторов", проведенное 17 сентября 1991 г. по инициативе Егора Яковлева, пересевшего из кресла главного редактора "Московских новостей" в кресло



председателя Комитета по телевидению и радиовещанию. Участников было немного, беседа проходила в кабинете главного редактора газеты "Известия" Игоря Нестеровича Голембиовского. Она была непринужденной - Михаил Сергеевич без обиды принимал самые острые, "подковыристые" вопросы, старался как можно подробней и детальней прояснить свою позицию.

Собеседники расселись вокруг круглого стола, камера плавно перемещалась вдоль него, как бы нарочито подчеркивая отсутствие центральной фигуры, равное положение участников этого разговора. Со стороны казалось, несколько приятелей встретились потолковать; для вящей достоверности доставало только бутылки и рюмок. Мне тогда подумалось, что сцена эта неплохо символизирует новые отношения между властью и прессой в нашей стране: власть, кажется, начала признавать прессу если не за равного, то, по крайней мере, за серьезного партнера, которого надо уважать, а пресса поверила наконец в свою свободу, разогнула спину и обрела достоинство. Если бы!

Последняя встреча президента с журналистами состоялась все в том же прямоугольном зале, где некогда заседали Политбюро, потом Президентский и Государственный советы. Она носила элегический характер, временами напоминала исповедь. Могут возразить: какая же это последняя встреча, Горбачев и сейчас часто встречается с газетчиками и телевизионщиками, дает интервью, проводит пресс-конференции. Верно. Но это уже встречи не Президента СССР, а президента Фонда Горбачева. И к вечному сюжету "власть - пресса" они отношения не имеют.

После отставки Михаил Сергеевич выбрал в качестве своих рупоров и обещал постоянно сотрудничать с тремя газетами - "Комсомольской правдой", японской "Иомиури" и итальянской "Република". Его выступления широко публиковались и комментировались повсюду, но меньше всего - на родине. Телевидение расщедривалось на полутора-трехминутные сюжеты, газеты в лучшем случае выделяли 10 строк, чтобы сообщить, что экс-президент Советского Союза выступил с очередной речью во время своей поездки по той или иной стране. Чаше ехидничали по поводу его участия в рекламе, хотя в этом нет ничего постыдного - ему приходилось делать это, чтобы содержать свой Фонд.

Трудновато стало печататься и бывшим его помощникам. Глухое молчание, своего рода информационная блокада, которыми окружили Горбачева после его отставки, не могли быть объяснены одним только падением интереса к его личности. Главное - в конформизме, боязни вызвать недовольство властей предрежащих. По той же причине вольготно чувствовали себя те газеты и журналы, которые поносили бывшего советского лидера. Только в последнее время "пресс" стал ослабевать, его приглашают поделиться своим мнением в телепередачах и на печатных полосах.

У нас любили пенять Западу (сам я тоже отдал этому дань) на то, что-де какая свобода печати, если на рынке информации господствуют империи хэрстов и мэркоков, шпрингеров и берлускони. Пеняли не без оснований. Но всем им "утерла нос" империя Березовского. Все-таки не оставляю надежды, что в обществе возобладает инстинкт самосохранения и оно заставит принять закон, запрещающий частное владение средствами массовой информации, особенно телеканалами. Ну а что касается неблагодарности журналистов по отношению к провозвестнику гласности, то пусть она останется на их совести. В конечном счете важно, что сегодня миллионы наших людей могут изучать историю своей страны по Соловьеву и Ключевскому, наслаждаться чтением Платонова и Булгакова, спрашивать в книжном магазине Евангелие или Коран, знать, сколько у нас солдат и танков, следить за текущими событиями по сводкам, на выбор, ИТАР-ТАСС или Интерфакса, а захочется - послушать "Голос Америки" и радио Ватикана.

#### Сотворение парламента

Глубоко ошибаются те, кто определяет советскую политическую систему одним понятием - тоталитаризм, не признавая метаморфоз, происходивших с ней на протяжении 70 лет. В действительности она менялась, и то, что с ней происходило, сродни переменам, связанным с циклами человеческой жизни. В ранний послеоктябрьский период система еще

молода, недостроена, неопытна, не успела обрести устойчивую веру в себя в респектабельные манеры, обеспечивающие допуск в европейские гостиные. Отсюда - комплекс неполноценности и крайняя задиристость. Страна отчаянно отстает экономически, но большевики убеждены, что революционное ускорение позволит им всех обставить. Таков смысл беседы Ленина с Уэллсом, когда он приглашает великого фантаста "приехать к нам годков эдак через десять". Словом, обновленный вариант гоголевской тройки: хоть кое-как сколочена расторопным ярославским мужиком, а рванет, рассечет воздух, заставит другие государства "кося посторониться" и исчезнет за горизонтом.

Это время, когда наш народ, склонный, как никакой другой, к романтике ("землю попашет, попишет стихи"), полон радужных надежд, и даже двойной, бело-красный террор не способен вывести его из этого приподнятого состояния. Да и большевики, за исключением отъявленных циников, каких всегда немало в революционных партиях, и авантюристов, которым революция дала уникальный шанс стать из никого всем, большевики, пострадавшие в тюрьмах, ссылках, вынужденной эмиграции, верят в свое благородное предназначение осчастливить родину. Партия не окончательно обюрократилась, закостенела; выписав себе сертификат на вечную монопольную власть, не успела обзавестись соответствующим механизмом. Советы, особенно на местах, кое-что значат, ближе к массам, отзывчивее на их нужды. Над страной не натянута непроницаемая идеологическая пленка, и хотя самые отпетые оппозиционные газеты позакрывали, не окончательно забиты каналы информации, продолжают переводиться и издаваться новинки европейской литературы, в том числе "сомнительного свойства" с точки зрения ревнителей чистоты пролетарского мировоззрения.

Но, пожалуй, самое существенное в том, что сохраняется еще гражданское общество, то есть сфера отношений, куда не вторгается государственная власть. Не потому, что ей этого не хочется, а только потому, что недостает сил и средств. Первая лихая попытка взять все под свой контроль, какой по существу была политика военного коммунизма, завершилась неудачей. Пришлось отступить, причем только в тех сферах, которые оказались сверхчувствительными к тотальному государственному контролю, отторгли его, угрожая в противном случае посадить страну на голодный паек.

Вопреки тем, кто утверждает, что нэп рассматривался как длительная экономическая стратегия, в нем, конечно же, видели временное средство, к которому пришлось прибегнуть, чтобы накопить силы и перейти затем в контрнаступление на частного. Вполне возможно, что Ленин со свойственным ему прагматизмом, оценив неплохие результаты свободной торговли, продлил бы ее на какое-то время или даже, в очередной раз "переменив свой взгляд на социализм", признал возможность оставить деревню в покое, не навязывать ей коллективизацию. Но это из области догадок. А вот то, что Сталин свернул нэп и установил тотальный государственный контроль над селом, было в полном согласии с первоначальным замыслом вождя Октября.

Отсюда и следует вести отсчет тоталитаризма. Говоря об этом явлении, политологи, как правило, делают акцент на массовых репрессиях, подавлении инакомыслия, установлении абсолютного господства коммунистической партии и единовластия самого Сталина. Но все это признаки скорее тирании или деспотизма. Что же касается тоталитаризма, то есть власти тотальной, абсолютной, то ее главный признак - заполнение всех сфер не только общественной, но и частной жизни, тщательное наблюдение за каждым шагом граждан и детальная регламентация их поступков.

Тотальная власть не обязательно свирепа. Она может обходиться и без устрашающих репрессий, основываясь на хорошо поставленной информации или психологическом внушении. Авторы знаменитых антиутопий были каждый по-своему правы, рисуя различные виды тоталитаризма. У Олдоса Хаксли в "Прекрасном новом мире" тоталитарная система формируется на основе суперсовременной биологической технологии, позволяющей выращивать нужную породу людей. Тоталитаризм в романе Джорджа Оруэлла "1984 год" поддерживается за счет систематического террора. А вот у Г. Замятина в антиутопии "Мы" и

особенно у А. Платонова в "Котловане" и "Чевенгуре" примерно такая же система строится преимущественно на самовнушении. Удивляться не приходится, потому что они наблюдали массы, охваченные революционным энтузиазмом, в то время как Хаксли находился под впечатлением феноменальных успехов технической революции, а Оруэлл анатомировал две наиболее законченные тоталитарные системы, существовавшие в гитлеровской Германии и сталинском Советском Союзе.

Итак, тоталитаризм - это не что иное, как поглощение общества государством, и в этом смысле - антитеза свободы. Но само это явление, как все на свете, может иметь разные степени зрелости и интенсивности. Чтобы всерьез, а не иллюзорно контролировать все жизненные циклы, государство должно иметь бдительных надсмотрщиков и в их лице присутствовать всюду - на каждой фабрике, общественном месте, семье, прислушиваться к тому, что творится в голове и душе каждого человека. Для этого, естественно, нужен аппарат - военный и чиновный, существование которого истощает экономику, рано или поздно приводит ее к неминуемому краху. В этом, между прочим, спасительная причина, по которой все тоталитарные режимы в конечном счете обречены. Их губят отнюдь не революции сами по себе и не отчаянные бунтари, готовые пожертвовать собой ради свободы. Они гибнут от хилости, от того, что убогое экономическое основание начинает рано или поздно оседать, и самим власть предержащим волей-неволей приходится ослаблять зажим. В первую очередь - отпускать на волю земледельца, чтобы он мог прокормить себя и остальных. А всякое послабление режима, образование хотя бы узкого поначалу гражданского сектора дает толчок разрушительному процессу в этот клин вторгаются копившиеся исподволь силы сопротивления, методично или рывком расширяют его и загоняют государство обратно туда, где ему полагается быть, откуда началась его экспансия.

Сталинский тоталитаризм был двойного свойства, имел двоякую опору массовый террор и не остывший, не растраченный еще после революции энтузиазм народа, его готовность к самодисциплине и самоотдаче ради обещанного коммунистического рая. Это - устойчивая, молодая, полная сил система, уверенная в своей правоте и вдобавок неплохо управляемая, способная, пусть на примитивном уровне, удовлетворять основные человеческие потребности. Причем потребности, не сводимые к первозначным - хлебу и зрелищам. Иные ревнители демократии никак не могут понять, в чем секрет популярности Сталина у немалой части наших людей, в том числе молодых. Ставят диагноз: низкая политическая культура. Иронизируют или печалются по поводу рабских склонностей, заложенных в гены многими веками абсолютизма. И того не хотят видеть, что в этом обыкновенная человеческая натура, проявляющаяся повсюду. Та самая, в силу которой монголы боготворят Чингисхана, французы - Наполеона, а многие немцы Гитлера. Все прощает тиранам обыденное народное сознание, если с ними связан хотя бы краткий миг национального величия. В шкале же оценок, которыми оно измеряется, все еще с огромным отрывом лидируют не экономическое преуспевание и не творческий гений, а военная победа и политическое господство. Может быть, со временем приоритеты поменяются местами. Может быть, именно сейчас происходит глубочайший поворот к пониманию истинных ценностей. Но пока над человечеством довлеет его воинственная история.

После смерти Сталина не стало тирании, потому что не стало тирана. Не чуждый народной мудрости и совестливости, Хрущев капризен, деспотичен, от него можно ожидать каких угодно выходок - от сравнительно безобидных, вроде стучания башмаком по столу на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, до весьма рискованных, типа установки советских ядерных ракет на Кубе. К нему разве что можно приложить слова Карамзина о Борисе Годунове: он не был, но бывал тираном. Не допуская полноценной гласности и демократии, Хрущев в то же время вводит коллегиальность правления, которая в конечном счете его и добывает, ибо это - худшая из всех известных форм власти, не что иное, как ее паралич.

Конечно, в теории все обстоит нормально: несколько умов лучше одного. Основательно все обдумали, посоветовались, решили, а затем кому-то поручили в порядке персональной ответственности выполнить. Чем плохо? Беда в том, что эта обычная

управленческая процедура в наших условиях была доведена до абсурда; на всякое, даже самое ничтожное по значению решение требовалась санкция коллективного партийного руководства. Без постановления Политбюро никто не мог и шага шагнуть. Страна начала замедлять движение, потом дергаться, у нее появилась своего рода сердечная аритмия. Государство, которое при тиране, понукаемое им, работало, - при коллегиальном руководстве обленилось, стало выполнять свои функции кое-как, спустя рукава. А в условиях, когда гражданское общество поглощено им, граждане лишены права и возможности самим позаботиться об удовлетворении своих нужд, эту задачу все больше перехватывает и на ней жиреет криминальная среда, которую модно теперь именовать мафией и которая представляет собой не что иное, как теневое гражданское общество.

Опять-таки не следует удивляться тому, что в толще народной жива ностальгия по сталинским временам. Простой народ не дурак, не потому иной раз шофер вывешивает портрет усатого вождя в кабине грузовика, что любит, чтобы его держали на цепи, а потому, что чувствует разницу между тоталитарной системой, хорошо управляемой (пусть даже тиранически), и такой же системой распушенной, вялой, работающей со скрипом. И думает про себя примерно так: "Либо вы, господа хорошие, мной командуете и кормите меня, либо, если не способны, дайте мне настоящую свободу, чтобы я сам о себе позаботился. А то вы меня и на волю по-настоящему не отпускаете, и хлеба вдоволь не даете. Так дело не пойдет!"

Итак, политическая система, созданная Лениным и на первом этапе сочетавшая черты революционной диктатуры и стихийной демократии, при Сталине превратилась в тоталитаризм с тиранией, а при Хрущеве и Брежневе - без нее, с элементами плутократии. Андропов не успел и, как уже говорилось, едва ли пошел бы на радикальную реформу. Горбачев начал упразднять тоталитаризм, создавать гражданское общество и правовое государство. Начал с возвращения власти народу в лице демократически избранных его представителей, с сотворения парламента.

Именно с сотворения, поскольку существовавший у нас до той поры Верховный Совет был сугубо декоративным учреждением. Даже то обстоятельство, что со времен Брежнева вошло в обычай совмещение постов генсека и Председателя Президиума Верховного Совета, ни на йоту не прибавило значения ублюдочному высшему органу власти. Каждый указ "коллективного главы государства" получал путевку в жизнь только после принятия соответствующего решения Политбюро или Секретариата ЦК КПСС. Хотя то же правило распространялось на Совет Министров и все другие органы власти и управления, у них все же была кое-какая свобода рук, по крайней мере в мелочах, до которых не снисходило партийное руководство. А у Верховного Совета и ее не было, им изо дня в день командовали инструкторы и референты оргпартотдела ЦК.

Что же касается депутатского корпуса, то он формировался на основе двух принципов: по должности и по разнарядке. Я уже рассказывал, как стал депутатом. В оргпартотделе составлялся перечень государственных и общественных должностей, обладатели которых получали привилегию быть избранными в Верховный Совет. Большинство депутатов подбиралось на местах согласно "спускаемой" сверху "квоте": столько-то рабочих, колхозников, работников советских органов, женщин, молодых представителей творческих профессий и т. д. С этой точки зрения наш тогдашний Верховный Совет представлял собой идеальное отражение социально-профессиональной структуры общества. И когда первые действительно свободные выборы нарушили все пропорции, члены Политбюро искренне сокрушались, что среди депутатов оказалось мало рабочих и крестьян.

Первой задачей политической реформы стало сделать выборы действительным актом народного волеизъявления. Но эта задача не поддавалась изолированному решению, тянула за собой практически весь комплекс проблем переустройства политической системы. Одновременно с вопросами непосредственно избирательного права - кому, кого и как избирать, надо было ответить на вопрос, куда, с какими полномочиями и ответственностью, то есть определить структуру и порядок деятельности будущего парламента. После нескольких обсуждений Горбачев поручил подготовить предложения юристам - нам с А.И.

Лукьяновым.

С Анатолием Ивановичем мы познакомились лет 20 назад, когда он, руководивший юридической службой Президиума Верховного Совета СССР, обратился ко мне с просьбой быть оппонентом при защите его докторской диссертации. Но по-настоящему узнали друг друга во время работы над проектом Конституции 1977 года. Почти год провели на бывшей даче Сталина в Волынском и построенном для зарубежных гостей доме отдыха в Серебряном Бору, корпели над статьями Основного закона, воодушевленные возможностью хотя бы на бумаге создать образцовую демократию. Анатолий рассказывал о собранной им коллекции голосов поэтов, записанных на грампластинки и пленки, сочинял остроумные эпиграммы. Одну из них посвятил мне.

Шах и Назаров  
близнецы-братья.  
Оба Конституции нужны до зарезу:  
Без Шаха увяла бы демократия,  
Без Назарова - не хватило бы трезвости;  
Без Шаха - всё обязанность и долг,  
Без Назарова - качали бы граждане права.  
Без Назарова - Конституция как без ног,  
А без Шаха - свалилась бы ее голова.  
Резюмирую:  
Дела наши не хороши и не плохи.  
Голова не знает, куда несут ноги.

Все участники рабочей группы, официально возглавлявшейся Б.Н. Пономаревым (Кудрявцев, Бовин, Топорнин, Собакин и другие), видели чудовищный разрыв между Конституцией и жизнью, но надеялись, что, если принятие нового, безусловно прогрессивного Основного закона и не изменит сразу ситуации, этот документ может сыграть немаловажную роль, когда возьмутся за реформы. А что дело дойдет до этого, никто не сомневался.

Я не избежал соблазна попытаться хотя бы устранить опасную мину, заложенную в административно-территориальном делении страны. Оно было сконструировано с прицелом посеять взаимные претензии республик и областей, укрепив позиции Центра как высшего арбитра, то есть в полном соответствии с принципом "разделяй и властвуй". Пономарев почитал мою записку, переговорил с кем-то "наверху" и вернул ее со словами: "Не следует ломать устоявшийся и оправдавший себя порядок". А ведь если б тогда произвели необходимые изменения (в те времена это было вполне осуществимо), возможно, удалось бы избежать многих кровавых конфликтов.

Генеральная направленность реформы была четко задана XIX партийной конференцией. Но когда дело дошло до конкретики, обнаружились расхождения. Первое касалось Съезда народных депутатов СССР. Нет сомнения, что идея эта была навеяна Лукьянову основательным знакомством с историей советской власти. Анатолий Иванович, мне кажется, воспринял ее первые институты в романтическом ореоле. Сами слова "Съезд Советов" звучали в его устах как музыка, гимн подлинно народной и пролетарской демократии. Он был так очарован этим продуктом революционного творчества, что не давал себе труда вслушаться в контраргументы. А они были. Съезды Советов с самого начала обнаружили неспособность выполнять функции высшего законодательного органа. Этот институт не смог противодействовать наступавшей единоличной диктатуре. С ним даже не пришлось расправляться как в свое время с Учредительным собранием преспокойненько ликвидировали росчерком пера и заменили парадным Верховным Советом.

Другое разногласие касалось самого Верховного Совета. По схеме, представленной Лукьяновым, он должен был состоять из двух громоздких, по численности (по 750 человек) равных палат, и каждой вменялось заниматься всем комплексом вопросов, выносимых на рассмотрение парламента. Иными словами, структура Верховного Совета сохранялась почти

без изменений. В противовес этому я считал разумным не только не усложнять политическую систему громоздким Съездом народных депутатов, но и Верховный Совет учредить компактным, общей численностью до 500 человек, с традиционным для федераций делением на высшую (Совет республик) и низшую (Совет Союза) палаты.

Наконец, предлагалось избирать депутатов тремя частями в равной пропорции - по территориальным избирательным округам, от республик и национальных автономий, от общественных организаций. Идея эта обсуждалась на одной из встреч с участием президента и показалась ему интересной. Действительно, при невысоком уровне политической культуры и отсутствии опыта участия в реальных, а не фиктивных выборах важно было заручиться гарантией, что хоть какая-то часть нового депутатского корпуса окажется в состоянии задать тон работе молодого нашего парламента. Так оно в сущности и получилось. Те, кто обрушился на представительство общественных организаций, объявив его нарушением демократических принципов, не дали себе труда поразмыслить либо упустили из вида очевидный факт: без этого на Съезде народных депутатов не оказалось бы ни Сахарова, ни Лихачева, ни многих других, сыгравших заметную роль в становлении парламентаризма.

Признаюсь, сам я склонялся к альтернативному варианту, согласно которому представители общественных организаций должны были составить третью палату Верховного Совета, работающую на общественных же началах. То есть это было бы собрание наиболее уважаемых в стране людей, которые не занимались бы законодательством, а выносили политические вердикты по наиболее значимым вопросам общественной жизни. Разумеется, "профессиональный" Верховный Совет не смог бы с ними не считаться.

Дискуссии возникли также вокруг устройства центральных органов власти. Многие юристы предлагали ввести президентскую республику с ответственным перед парламентом правительством, а также закрепить принцип разделения властей, создав Конституционный суд. Однако Горбачев в то время склонен был сохранить систему Советов "снизу доверху"; президент, как единоличный глава государства, в нее не вписывался. Да и разделение властей не вязалось с полновластием Советов, поэтому вместо Конституционного суда придумали Комитет конституционного надзора, изначально обреченный беспомощно болтаться между законодательной и исполнительной властями. В который раз подтвердилось, что в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань.

Итак, мы с Анатолием Ивановичем убеждали генсека в преимуществах своих предложений, в конце концов ему это поднадоело и он сказал: "Знаете, друзья, мне недосуг участвовать в ваших дискуссиях. Соберите лучших юристов, и пусть они приговорят, чья схема лучше". Через два дня я был приглашен в кабинет Лукьянова, где за длинным столом сидели приглашенные - известные наши административисты и знатоки государственного права. Как и следовало ожидать, все они взяли сторону секретаря ЦК - силен дух партийной дисциплины! Потом мы отчитывались перед шефом, и я откровенно сказал, что не верю в объективность устроенной Лукьяновым экспертизы. Но Михаил Сергеевич махнул рукой: "Жюри вас рассудило, не будем возвращаться к этому". Он переглянулся с Лукьяновым, и я уразумел, что вся эта процедура была придумана для моего успокоения. В действительности генсеку приглянулась по душе концепция Лукьянова. Нигде в мире нет Съезда народных депутатов, а у нас будет!

Разумеется, сейчас трудно судить, как развернулись бы события, если бы остановились на "бессъездовском" варианте, и вместо нерабочего, двух с лишним тысячного собрания, рассчитанного на добрую половину мест в Кремлевском Дворце съездов, был создан оптимальный по численности парламент. Одно можно предположить: это помогло бы повести политические преобразования не взрывным революционным путем, а более спокойным, реформистским.

И есть ирония истории в том, что, увлеченный "революционной поэтикой" Лукьянова, Горбачев создал себе на голову "супердемократического монстра" и должен был, чтобы "держать марку", превозносить его как плод оригинального творчества перестройки. А

Сахаров и его единомышленники, получившие благодаря этому институту возможность сразу же перейти в открытое наступление на систему, напротив, подвергли его зубодробительской критике, как никчемное, неработающее, парадное учреждение, чуть ли не придуманное коварными аппаратчиками, чтобы, как и прежде, манипулировать верховным органом государственной власти.

Впрочем, как ни существенно определение формы будущего парламента, несравненно важнее был состав депутатского корпуса. Началась предвыборная кампания, и предметом спора, на этот раз с самим Горбачевым, стала судьба 100 депутатских мест от КПСС. Список кандидатов был составлен в организационно-партийном отделе по традиционному принципу: члены Политбюро и секретари ЦК, первые секретари обкомов, несколько представителей низовых парторганизаций, передовики труда, ученые, писатели, художники, артисты. Михаил Сергеевич своей рукой вписал фамилии людей, которые значились среди "прорабов перестройки", - Святослава Федорова, Чингиза Айтматова, некоторых других, в том числе двух-трех беспартийных.

Однако я глазам своим не поверил, увидев, что на 100 депутатских мест предлагается ровно столько же кандидатов. Это не только шло вразрез с духом реформы, прямо противоречило заявлениям Горбачева, что пора покончить с фарсом, каким были в прошлом избирательные кампании\*, дать гражданам право действительного выбора. Трудно было придумать более подходящий повод для нападков на партию, обвинения ее в том, что она ничему не научилась. Каких только аргументов не приводили Михаилу Сергеевичу помощники, но он упорно не желал ничего слышать. Даже отказывался объяснить, почему держится за этот вариант - ведь уж ему лично опасаться было нечего, кого-кого, а генсека Центральный Комитет не оставил бы без депутатского мандата. Если же выпадет кто-то из членов Политбюро, то и бог с ним, может быть, это и к лучшему.

С необычайным упрямством Горбачев провел свою линию до конца, хотя поступало множество возражений от коммунистов, в том числе - целых организаций. Вся эта печальная история обнаруживает одну из причин, по которой Михаил Сергеевич растерял почти безграничный кредит доверия, бывший у него в начале перестройки. Совершая гигантского масштаба дело, он пренебрегал вроде бы второстепенными, а в действительности весьма серьезными деталями, часто из гордости или упрямства не прислушивался к добрым советам. Речь шла о первых со времен Думы, а в некоторых отношениях - за всю историю страны демократических выборах. Какое значение в сравнении с этим имело то, что от партии выдвинуто 100 кандидатов на 100 депутатских мест, а не десятью больше? Для историка, может быть, и пустяк, который он, пожав плечами, отнесет к непонятному капризу реформатора. А в глазах публики эти, казалось бы, ничтожные неувязки компрометировали реформу. Тот самый случай, когда ложка дегтя портит бочку меда.

Но особенно пагубную роль в судьбе КПСС сыграла поразительная беспечность, с какой отнеслись ее комитеты всех уровней к предвыборной кампании. Абстрактная дискуссия на тему "Должна ли КПСС оставаться авангардной партией?" потеряла всякий смысл с самого начала реформы. Ведь понятие "авангардная" означало своего рода мандат на вечное правление, выписанный большевиками самим себе в Октябре 17-го года. Если говорить точнее - отнятый у меньшевиков и эсеров путем разгона Учредительного собрания. Пойдя на свободные выборы, КПСС добровольно отказывалась от этого мандата и заявляла, что готова наравне с другими соревноваться за голоса избирателей. В тот момент на деле была введена многопартийная система, хотя, как часто бывает, понадобилось еще немало времени и острых схваток, чтобы официально признать эти исторические изменения и зафиксировать их в Конституции.

Все это, однако, не было по-настоящему осознано партийными функционерами, в том числе самого высокого ранга. Горбачев созывал совещания с участием секретарей обкомов, призывая их серьезно отнестись к выборной кампании, сделать ставку на новых людей, способных отстаивать партийные интересы в парламенте. Но к наставлениям относились, как мне показалось, с легким скепсисом. Привыкшие десятилетиями сидеть в

губернаторских креслах и выслушивать отовсюду заверения в покорности, партийные боссы не допускали мысли, что сами они или их выдвиженцы могут проиграть на выборах.

С другой стороны, если вдуматься, генсек ставил перед ними неразрешимую задачу, потому что большинству избирателей сатрапы либо чем-то насолили, либо просто надоели. "Раз уж вы мне дали возможность выбирать, - рассуждали они, попробуем-ка мы проголосовать за молодых да за ученых, вроде бы они почестнее, властью еще не порчены". Поражение КПСС на выборах было, пожалуй, предопределено. Вторично в истории выиграть власть, притом, так сказать, на чужом поле, она уже была не в состоянии.

Но это обнаружилось не сразу. Когда в Кремлевском Дворце съездов торжественно открылся Первый съезд народных депутатов СССР, партийные лидеры могли чувствовать себя спокойно. Каждый второй в зале находился в их прямом или косвенном подчинении, три четверти народных депутатов были членами партии - больше, чем в прошлом, когда в разнарядках соблюдались пропорции, соответствующие "блоку коммунистов и беспартийных". В канун съезда Георгий Петрович Разумовский, заведовавший организационно-партийным отделом, наставлял республиканских и областных секретарей, а те, в свою очередь, депутатов от своих округов, как вести себя на съезде.

Правда, члены Политбюро впервые за советскую историю не были посажены в Президиум и встречены, как было заведено, вставанием и бурными аплодисментами. Им пришлось довольствоваться скромной правой трибуной или даже разместиться в зале рядом с другими "рядовыми" депутатами. Зато в перерывах между заседаниями можно было собраться в уютно обставленной комнате, примыкавшей к сцене, чтобы обменяться мнениями о ходе съезда, отдохнуть и подкрепиться. Буфет членов Президиума съезда располагался этажом ниже и обслуживался скромнее, по второму классу. Большие черные "ЗИЛы" по-прежнему подкатывали к закрытому для публики боковому подъезду, как в добрые старые времена. И так продолжалось до последней, предавгустовской сессии Верховного Совета 1991 года.

Президент то ли не рисковал, то ли стеснялся сказать своим коллегам по Политбюро, что им пора спускаться в народ. А скорее всего - откупался этим нехитрым способом от партократии, оттягивал неизбежный ее мятеж. Он, можно сказать, действовал по Марксу, считавшему, что пролетариату предпочтительней откупиться от буржуазии, чем насильственно ее экспроприировать. Да и перед глазами у него был печальный пример Хрущева. Пока тот сотрясал устои своей анафемой по адресу культа личности - соратники терпели, а вот когда вознамерился ликвидировать кремлевскую столовую и навести экономию в пользовании автомобилями - этого ему не простили.

Между тем с началом работы съезда стала очевидной иллюзорность расчетов на мощную партийную прослойку. Она сразу же расчленилась на несколько групп, обнаружив уязвимость тезиса о единомыслии коммунистов. Лихорадочные попытки сплотить фракцию КПСС ни к чему не привели. А те депутаты, на лояльность которых партийное руководство могло положиться, в большинстве своем не обладали качествами, необходимыми для ведения политической борьбы перед неумолимым глазом телекамеры. Опытные администраторы, в основном с инженерным и агрономическим образованием, всю жизнь проводившие в коридорах власти, они превосходили нуворишей из науки и журналистики как профессионалы-управленцы. Но тягаться с последними в диспутах не могли. Не случайно уже с первых заседаний на авансцену вышли юристы. Такова природа парламента.

Создав форму, нужно было придать ей достойное содержание, добиться, чтобы избранный Первым съездом народных депутатов Верховный Совет заговорил как настоящий парламент. Еще не угрожала опасность стать послушным и молчаливым орудием власти, исходящей со Старой площади. Не было уже безоговорочного послушания коммунистов Центральному Комитету, а самое важное - гласность породила оппозицию. Рассматривая списки народных депутатов, политологи могли с точностью до одного расположить их в "болоте" и на "горе" либо по другому критерию - справа, слева, в центре. Так надо ли было опасаться, что в парламенте воцарятся тишь и благодать, что он от рождения будет



благовоспитанным тихоней?

Безусловно, нет. Но следовало действительно опасаться того, что Верховный Совет станет полем схватки, в котором преобладающее большинство не то что подавит, а раздавит оппозиционное меньшинство. В результате обесценится сам замысел реформы, все вернется на круги своя и люди скажут: это фарс, попытка поднести нам прежнее постное блюдо под пикантным соусом. Вот чего не хотел допустить Горбачев. И ради поддержания политического баланса, ради, если хотите, воспитания культуры парламентаризма целые дни проводил на сессии Верховного Совета, то и дело включался в прения, а в перерывах и по вечерним часам принимал депутатов, присматривался к ним, добросовестно выслушивал, старался понять и разделить их заботы.

Он решительно отмахивался от своих коллег по партийному руководству, которые пеняли ему на чрезмерное увлечение парламентом, от чего страдают другие, гораздо более важные, по их мнению, участки работы. Доброжелатели говорили Михаилу Сергеевичу, что, фактически взяв на себя роль спикера, он наносит ущерб собственному авторитету. Когда миллионы людей, сидя у телеэкранов, наблюдают, как какой-нибудь безвестный юнец из числа депутатов вступает в пререкание с главой государства, а тот, вместо того чтобы испепелить наглеца, терпеливо с ним объясняется и даже сносит явные оскорбления, ничего хорошего от этого ни для государства, ни для лидера не будет.

Но одной из самых привлекательных черт Михаила Сергеевича как политика было как раз то, что вопреки собственной выгоде он ставил на первый план достижение стратегической цели - введение в стране полноценной демократии. Как генеральный секретарь в ущерб своему престижу не раз заступался на пленумах ЦК за Ельцина, Лациса и других "смутьянов", защищая их от расправы ретроградов, так на съездах народных депутатов президент урезонивал агрессивное большинство, требуя дать возможность высказаться Сахарову, не сгонять с трибуны Черниченко, не заглушать криками Карякина. А в Верховном Совете остужал страсти крикливых ораторов обеих сторон. Это вовсе не благодный нейтралитет, потому что правящая партия, от имени которой выступают алкснисы, коганы и суховы, обладая еще огромным перевесом, запросто могла заткнуть рты своим оппонентам. Горбачев не допускал этого, хотя отнюдь не сочувствовал всему, что произносилось, иногда с яростью выкрикивалось из "межрегионального угла". Иными словами, он добросовестно выполнял роль арбитра, стараясь приучить новый парламент вести дискуссию, а не драться на кулаках. Когда это более или менее удалось, Михаил Сергеевич передал бразды правления законнику Лукьянову, и тот закреплял политическое равновесие с помощью юридических процедур.

Итак, Горбачев создал парламент, которому суждено было просуществовать меньше трех лет и кануть в вечность вместе с Советским Союзом. Будет крайней несправедливостью говорить, что эти героические усилия оказались зряшными. Союзный парламент почил в бозе, это так. Но накопленный им потенциал, как любит говорить Михаил Сергеевич, не рассыпался в прах, а разделился на 15 и даже больше частей, по мере того как автономии по примеру союзных республик обзаводились собственными парламентами. Конечно, у каждого из них свой характер, каждый претендует на специфику, но все-таки перенимает и структуру (президиум, комитеты, комиссии, аппарат, подсобные институты), и вновь обретенный законотворческий дух, выношенный похороненным без почестей их старшим братом.

Что бы отныне ни говорили и ни писали о Горбачеве, как бы его ни ругали, он навсегда останется отцом отечественного парламента. Могут возразить, что впервые в России появилась Дума. Но Николай II не строил ее и не лелеял, он всего лишь декретом, притом вынужденным, позволил ей появиться на свет. А там уже это нелюбимое дитя должно было заботиться само о себе, не только не получая поддержки, но чувствуя на себе хмурый, подозрительный взгляд самодержца, только и думавшего, как поскорее спровадить его на тот свет.

Горбачев, как примерный родитель, заботящийся о своем чаде, ухаживал за парламентом, помогал встать на ноги, не только не ожидая благодарности в будущем, но

снося брыканье депутатов, которые после овации, устроенной ему при первом появлении, начали журить, потом поругивать, а осмелев и войдя во вкус, учиняли форменные разносы, не всегда заслуженные. Президент обижался, досадовал, злился, и это порой прорывалось в резких репликах или невнятных угрозах, которые враждебно настроенная пресса, не прощавшая ему ни одного промаха, немедленно объявляла покушением на демократию.

Наряду с гласностью первые выборы и первый парламент, заслуживающие этих названий, - главное дело Горбачева-реформатора.

#### Укрощение Молоха

Задумаемся, уважаемый читатель, почему указ о создании Красной Армии был подписан Лениным 23 февраля 1918 года, то есть спустя четыре месяца, а не на другой день после октябрьского переворота? Ведь сам Ильич говорил, что революция "только тогда чего-нибудь стоит, когда она умеет защищаться". Как же можно было отложить на столь долгий срок формирование собственных вооруженных сил, да еще продолжая находиться в состоянии войны с Германией и потеряв контроль над тремя четвертями территории страны?

Главной причиной этой странной затяжки была уверенность в том, что, захватив власть в государстве, большевистское правительство на законных основаниях будет распоряжаться и его армией. Понадобилось некоторое время, чтобы осознать, что для этого недостаточно назначить своего главнокомандующего и несколько сот других высших чинов. Сколь революционны ни были бы настроения солдатской массы, дух армии, ее боевое состояние определяют младший и средний офицерский состав - от прапорщиков до полковых командиров. А офицеры, присягавшие государю, в большинстве своем встретили Октябрь враждебно и, когда Колчак, Деникин, Врангель подняли "белое знамя", пошли воевать с Советами; чтобы победить белую армию, понадобилась Красная.

Но не только для этого. Не оправдались расчеты Ленина на то, что Германия, надорвавшая силы борьбой на двух фронтах и вдобавок беременная революцией, с восторгом примет предложенный ей мир и не станет выдвигать никаких претензий. За эту стратегическую ошибку пришлось расплачиваться позорным Брестским миром. Хотя наша историография выдавала его за мудрый тактический маневр, в действительности это была именно расплата за все ту же четырехмесячную затяжку с формированием новых вооруженных сил, всецело лояльных по отношению к революционному правительству.

Помимо обыкновенного просчета, эта оплошность объясняется простодушной верой в постулаты марксистского учения, и не только марксистского. Как всякий социалист по чувству и убеждению, Ленин верил, что воцарение справедливого общественного строя будет иметь одним из своих важнейших следствий искоренение враждебности между народами и государствами, утверждение вечного мира. В благословенном золотом веке, в который Россия шагнула 25 октября, отпадет нужда в деньгах, в полиции, бюрократии и, разумеется, в армии.

Случится это сразу или придется подождать - было не совсем ясно. Даже фанатики коммунистической веры понимали, что скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, а пока революция должна защищать себя. Но как мыслил в канун Октября ее пророк и вождь, эту роль, по примеру Парижской коммуны, могут выполнить отряды вооруженных рабочих. В знаменитом своем труде "Государство и революция" Ленин предрекает превращение государства в полугосударство, имея в виду постепенное отпадение орудий подавления, перенос центра тяжести государственной деятельности на созидательные хозяйственные и социальные функции. А у полугосударства, естественно, должна быть и полуармия. Примерно таков пафос этой работы, свидетельствующий о чистоте помыслов, с которыми большевики шли "штурмовать небо".

Это сознательно игнорируется теми, кто, следуя заданной схеме о "злодействе большевиков", изображает РКП(б) бандой уголовных насильников, своего рода мафией, рвавшейся к власти, чтобы установить кровавую диктатуру. Чепуха! Диктатура пролетариата мыслилась Лениным и его соратниками как царство свободного труда. Крыленко не готовили в главнокомандующие, а Дзержинского - в председатели ВЧК. Распределение

ролей произойдет позднее, когда в их руках окажется власть, а с нею придет отрезвление от иллюзий. В фантастически короткие сроки Ленин пересматривает " всю нашу точку зрения на социализм". И одним из элементов этого пересмотра становится создание регулярных вооруженных сил, способных раздавить "контру", вернуть отторгнутые территории, привести в повиновение вздумавших отделиться националов, гарантировать безопасность страны от иностранного нашествия, наконец, быть опорой советской власти и вместе с чекистами исключить всякие на нее покушения.

Хотя предпринимаются всевозможные уловки, чтобы подчеркнуть новую сущность вооруженной силы, вместо погон знаки отличия пришиваются к воротничкам, военные историки доказывают принципиальное отличие Красной Армии и Флота от прежних, дореволюционных, в действительности происходит возвращение России на европейскую сцену как державы, причем преимущественно военной державы, какой она стала при Петре. Армия, находившаяся короткое время как бы в опале у общества, вновь окружается вниманием и заботой. Ее интересы приобретают приоритетное значение, ей на службу ставится все лучшее, чем располагает страна - и в людях, и в индустрии, и в ресурсах. Отныне и до конца социалистической эры, включая первый, горбачевский этап перестройки, генералы и маршалы будут заседать в президиумах всевозможных собраний вместе с политическими лидерами страны, стоять рядом с ними на Мавзолее, принимая клятву верности Красному знамени и от воинов в парадном строю, и от трудящихся, готовых по зову партии взять винтовки и стать в ряды защитников революции.

Но и в 20-е, и даже в предвоенные 30-е годы это еще не милитаризм. Партия занята переустройством социальной жизни: ликвидируется безработица, вводятся всеобщее обучение и бесплатное здравоохранение, создаются детские сады, пионерские лагеря, санатории и дома отдыха, спортивные базы и стадионы. Все это требует значительных ассигнований, и поневоле приходится соизмерять с этим нужды военного ведомства. Оно вынуждено умерить свои аппетиты в особенности потому, что львиную долю инвестиций поглощает индустриализация, а без нее не поставишь на поток и производство боевой техники. Советский Союз в меру своих возможностей вооружается, но не столько для нападения, сколько для обороны, с опаской поглядывая на воинственного германского соседа и на не уступающие ему в гонке вооружений другие западные государства.

Быть военной державой еще не значит быть державой военных, то есть милитаристским государством, отданным во власть богу войны, причем не в рыцарском обличье Марса, а в личине Молоха, взыскующего бесконечных жертвоприношений. У нас это превращение произошло странным образом. Обычно из милитаризма, из усиленных военных приготовлений рождается война. У нас же из войны родился милитаризм, вся производительная сила общества подчинена новым военным приготовлениям. Обычно поражение стимулирует рост воинственных настроений, стремление взять реванш и одержать победу. У нас победа дала толчок усилению воинственности и в конце концов привела к поражению в "холодной войне".

Вынося тяжелейшие испытания, мы вышли из войны самой могущественной в тот момент военной державой. А мощь рождает соблазн ею воспользоваться. Подчинив себе Восточную Европу, Сталин не рискнул тогда пойти дальше, но не оставил этой мысли. Его танковые армады готовы были при первом же благоприятном стечении обстоятельств совершить марш от Одера к Ла-Маншу. Алчность завоевателя не знает насыщения, едва разжевав и даже не дав себе труда проглотить захваченный кусок территории, он уже выискивает очередную жертву. А с той стороны этой угрозе была противопоставлена своя мощь, опиравшаяся на совокупный экономический и военный потенциал Запада. Советский Союз вступил в неравное, изматывающее противоборство, которое вытянуло из него все жизненные соки. Под чудовищной грудой бесполезных танков, боевых самолетов и подводных лодок были погребены честолюбивые социальные проекты. Год за годом деградировали учреждения, которыми советская власть по праву гордилась. В 70-80-е годы, кое-как еще поддерживая свой тонус за счет торговли нефтью, золотом и некоторыми

другими природными ресурсами, наша страна уже уступала развитым странам практически по всем значащим показателям.

Испокон веков верхом государственной мудрости считалась способность приобрести как можно больше друзей и как можно меньше врагов. Если отвлечься от идеологических соображений, которые зачастую переворачивают реальность вверх ногами, создают искаженное о ней представление, то мы ухитрились заполучить во враги чуть ли не полмира, причем самые могущественные государства. В заочном состязании с ними страна надорвала свои силы. Говорят, якобы сумасшедшая гонка вооружений велась с одобрения и при поддержке народа. Да, разумеется, поскольку его бессовестно обманывали, утверждая, будто наши военные расходы составляют всего 17 процентов союзного бюджета. Причем эта цифра не менялась десятилетия, несмотря на явную абсурдность ситуации: американские военные расходы росли чудовищными темпами, наши якобы оставались на прежнем уровне, но каким-то непостижимым образом Советский Союз ухитрялся не уступать США.

В действительности, как ни горько это признавать, мы были в положении Элочки-людоедки, соревнующейся с дочерью Вандербильда. Разность экономических потенциалов требовала тратить на вооружения значительно б<sup>о</sup>льшую долю национального дохода. В то время как в США даже при рекордном военном бюджете она не превышала 8 процентов, у нас эта доля достигала пятой части создаваемого народом общественного богатства. Вдобавок этот огромный кусок народного труда расходовался крайне нерасчетливо, бессмысленно и во многом по-воровски.

Поскольку сама сумма военных расходов считается высшей государственной тайной, постольку тщательно засекречиваются и все сведения, касающиеся ее употребления, она всецело выводится из-под общественного глаза. Итогом подобной бесконтрольности становится цепь нелепостей и злоупотреблений. Боевую технику ставят на поток и только потом начинают соображать, можно ли всю ее использовать либо кому-нибудь продать. Оригинальные технические новации, рождающиеся в военном секторе индустрии, где трудится самая крупная по численности и наиболее талантливая, хорошо оплачиваемая часть ученых, не имеют никаких шансов попасть в гражданскую промышленность и хоть частично возместить понесенные потери. А сами индустриальные гиганты, производящие боевую технику, получая беспрекословно, по первому требованию необходимые им сырье, материалы, валюту для приобретения на мировом рынке узлов и деталей высшей степени сложности, приучаются смотреть на все это, как барчук, обласканный родителями и ни во что не ставящий бесконечные их подарки. Поскольку всем нам внушается, что истребитель или танк - это высшая ценность для Родины, какое значение в глазах его производителей имеет стоимость затраченного металла, электроэнергии, человеческого труда?

Признаюсь, я и сам был проникнут некоторое время таким настроением, искренне полагал, что к нашей индустрии вооружений неприменимо понятие военно-промышленного комплекса. Почему? Потому что "там" работа на подготовку войны (необязательно с намерением немедленно ее развязать) стала профессиональным делом определенной части финансового и промышленного капитала, способом его процветания и сохранения рычагов власти. А у нас речь идет о предприятиях, коллективы которых с таким же успехом могут производить мирную продукцию. Они не подотчетны военному ведомству, не связаны с ним кровно родственными узами, а только выполняют его заказы. И если бы удалось начать процесс разоружения, охотно готовы пойти на конверсию.

Я начал сомневаться в сколько-нибудь существенном отличии советской военно-политической структуры от американской, когда по поручению Русакова стал заниматься в Отделе ЦК Организацией Варшавского Договора и получил доступ к вопросам военного сотрудничества с союзными государствами. При подготовке каждого очередного заседания Политического Консультативного Комитета в ЦК представлялся проект доклада Главнокомандующего вооруженными силами ОВД. После его доработки, учета замечаний членов Политбюро и помощников генсека он получал одобрительную санкцию. В ходе делового общения с военачальниками разного ранга, от маршалов до полковников,

выполнявших функции тех же консультантов, бросалось в глаза, что они и мыслят, и ощущают себя не только как военные специалисты, а именно как служители некоего могущественного целого, объединяющего армию с индустрией вооружений.

Иногда возникали споры и приходилось ездить в Генеральный штаб, чтобы найти согласованное решение. Мы сравнительно легко нашли общий язык с маршалом Ахромеевым - может быть, потому что были одногодками, смолоду повоевали. А между фронтовиками без особых усилий, только из чувства принадлежности к фронтовому братству возникает взаимное уважение и понимание. Впрочем, это не мешало нам с Сергеем Федоровичем схватываться в споре и тогда, и позднее, когда он, как и я, стал помощником Генерального секретаря, а затем Президента СССР. Один из таких споров возник, когда, сидя в просторном уютном кабинете начальника Генерального штаба, мы с ним томились в ожидании, пока перепечатают текст только что совместно отредактированного документа.

- Сергей Федорович, - спросил я его, - скажите, чего мы каждый раз навязываем братским странам огромное количество вооружения?

- Они покупают ровно столько, сколько нужно, чтобы поддерживать боеготовность своих армий, - возразил Ахромеев.

- Допустим, тогда я поставлю вопрос несколько иначе: а зачем им иметь большие армии, требующие такой груды вооружений?

- Как зачем? - удивился Ахромеев. - Каждая страна ОВД и соответственно ее армия выполняют свою долю задач по защите безопасности социалистического содружества. Кстати, - добавил маршал, - на Западе все обстоит точно так же. Там американцы постоянно жмут на союзников, чтобы те не уменьшали своих взносов в коллективную военную мощь. Так что все логично.

- А на мой взгляд, это перевернутая логика. Вы ведь лучше меня знаете, что если, не дай бог, вспыхнет война, она не ограничится танковыми и артиллерийскими батальонами, как это было, когда мы с вами воевали. Неизбежно в ход будет пущено ядерное оружие. Раз так - значение малых армий, не имеющих на вооружении ракет с ядерными боеголовками, будет ничтожно. Если же все-таки обойдется без этого, нет никаких гарантий, что, скажем, те же венгры будут беспрекословно выполнять приказы нашего штаба, не захотят остаться нейтральными или даже перейти на сторону Запада, чтобы отомстить за 1956 год. Сильно сомневаюсь я и в том, что гэдэровские немцы захотят воевать со своими кровными родственниками на стороне России. Так не разумнее ли не подталкивать наших союзников к милитаризации экономики, а, напротив, сказать им: мы гарантируем вашу безопасность, а вы можете вполтину или в три раза сократить свои военные расходы и часть высвободившихся средств внести в качестве своего вклада в коллективную оборону содружества?

- Они на это не пойдут. Каждому государству хочется иметь свою собственную армию.

- Я и не говорю, что им надо вовсе отказаться от своих вооруженных сил. Речь только о том, чтобы не было непосильного военного бремени. Вы ведь знаете, в странах ОВД военные расходы на душу населения в два, а то и в три раза выше, чем на Западе.

- Что же, наша ноша еще тяжелее.

- Верно. И об этом стоит подумать. Но, в конце концов, это наша ноша. Мы супердержава. А они-то почему должны страдать?

- Социалистический интернационализм, - улыбнулся Сергей Федорович.

- Нам выгодно избавить друзей от лишних военных расходов. Это позволило бы повысить жизненный уровень, значит, и притягательность социализма. Ведь факт, что в ГДР население живет в полтора-два раза хуже, чем рядом, в ФРГ, а армию республика содержит такую, что могла бы завоевать пол-Европы. Ну и в Чехословакии то же самое. В Польше...

- А куда в таком случае денем оружие, которое сейчас продаем им? - спросил маршал.

- А зачем его производить в таких количествах? - ответил я вопросом на вопрос.

- А затем, что мы ценой огромных усилий и жертв создали первоклассные заводы, не уступающие американским. Так что же, прикажете оставить их без работы или перейти на производство кастрюль? Нет. Это все утопии.

- А вы верите, что ядерная война неизбежна?

- Не знаю. Но если ее и удастся избежать, то как раз благодаря тому, что мы не будем уступать Западу в силе. В этом я как начальник Генерального штаба и вижу свою задачу.

Целостное "военно-промышленное мышление" глубоко укоренилось в нашей военной среде, как и в директорском корпусе. И называть этот альянс ВПК или как-то иначе, он, как раковая опухоль, засел в нашем государственном организме, пустив метастазы буквально во все сферы жизни - в экономику, быт, нравы, литературу, искусство и обыденное сознание. Ну а в формальном плане последние сомнения рассеял у меня не кто иной, как Дмитрий Федорович Устинов.

Само назначение этого крупного организатора военного производства министром обороны олицетворяло как бы унию армии и индустрии вооружений. Симпатичный, открытый, общительный человек, он не чурался при случае и, так сказать, общетеоретических проблем. Однажды, во время перекура между двумя заседаниями, на мой вопрос, есть ли у нас ВПК, подумал и ответил:

- Конечно, в чистом виде. А как его еще иначе назвать? Думаю, это связано с нынешним уровнем развития боевой техники. Знаешь, раньше не столько от оружия зависело дело, сколько от силы, смелости, умения солдата. А теперь, пожалуй, наоборот. Кнопки нажимать - не хитрое дело.

Из всех задач, которые выпали на долю перестройки, самой сложной была демилитаризация страны. Сразу же следует сказать, что она ни в коем случае не мыслилась Горбачевым как тотальное саморазоружение, рассчитанное на то, что воодушевленный нашим примером Запад по-христиански ответит тем же. Будучи по убеждениям, как принято теперь говорить, "государственником", он вовсе не намерен был лишать Советский Союз военной мощи, а хотел только привести ее в соответствие с разумными целями и возможностями. В этом смысле его вполне устраивали принятая ОВД еще при Брежневе и Андропове доктрина оборонительной достаточности: "расходовать на оборону ровно столько, сколько нужно, и ни копейки больше", готовность разоружаться на равной основе с Западом при постоянном сохранении достигнутого стратегического паритета.

Но все дело в том, что, если эти неплохие намерения до сих пор только декларировались, Горбачев, в отличие от своих предшественников, твердо решил осуществить их на деле. Он без колебаний предал гласности данные о наших непомерных военных расходах, благодаря чему на смену "воинственному миролюбию" в обществе пришли антимилитаристские настроения. Создав таким образом благоприятную атмосферу, Горбачев начал шаг за шагом осуществлять намеченные меры. Их очередность подразумевалась сама собой: уйти из Афганистана; снять опаснейшее на тот момент противостояние ракет средней дальности в Европе; подвести к финишу бесконечные переговоры по стратегическому ядерному оружию. Дальнейшее целиком зависело от успешного решения этих первоначальных проблем. В тот момент не имело смысла задумываться над тем, какое именно событие будет расценено как конец "холодной войны" и чем новый мировой порядок будет отличаться от прежнего.

Теперь, когда решение этих проблем осталось позади, когда политики, дипломаты и военные ломают головы уже над задачами другого рода, ликвидация ракет средней дальности или соглашение по стратегическим вооружениям могут показаться не столь уж великими достижениями. Между тем это был в полном смысле поворотный момент в истории человечества: удалось остановить мчавшуюся на бешеной скорости машину вооружений и впервые развернуть ее в обратном направлении. Решающая заслуга в этом принадлежит Горбачеву.

Постоянно помня об этом, легче объяснять и тактические шаги, которые порой давали повод подозревать, что генсек ведет ту же игру, какую вели его предшественники: клянется в своей приверженности миру, клеймит гонку вооружений, но за этой пропагандистской завесой Советский Союз продолжает наращивать военные мускулы. Те, кто так думал, не давали себе труда уразуметь, насколько адски сложной и опасной задачей было обуздание

милитаризма, за которым у нас стояли вековые традиции.

Как ни парадоксально звучит, проще всего было принять решение об уходе из Афганистана. И политическому руководству, и генералитету давно уже было ясно, что война эта нами проиграна и нужно уносить ноги. Вопрос был только в том, как это сделать. Признать поражение, публично покаяться, приравняв афганскую авантюру к агрессии США против Вьетнама, начать отвод войск и прекратить поставки оружия режиму Наджибуллы? Кабул в таком случае пал бы через неделю после вывода советского контингента, удалось бы сэкономить многомиллиардную стоимость оружия, которое еще много месяцев продолжало поставляться в Афганистан, американский конгресс стоя аплодировал бы миротворцу, а Нобелевский комитет, пожалуй, присудил бы ему премию мира тремя годами раньше. К такому варианту подталкивали некоторые нетерпеливые демократы. Подозреваю, нашлись бы политические лидеры, которые действовали бы именно так.

Горбачев предпочел иное решение, потому что по природе своего политического мышления он не революционер, а реформатор, не пацифист, а реалист. Он предпочел не бежать с поля боя, не "бросить" войну, а постепенно, в несколько этапов ее остановить. Это позволило сделать поражение менее болезненным, не подвергать чрезмерной перегрузке психику солдат (каково, если еще вчера вы считали, что выполняете интернациональный долг и делаете благое для Родины дело, а сегодня говорят, что вы участвовали в грязной войне, убийца и насильник), не бросать на произвол судьбы людей, перед которыми страна взяла на себя определенные обязательства. И хотя не вызвать в результате всего особых восхвалений, но встретить достаточное понимание, потому что прагматичные американцы ничего иного от нас и не ожидали.

Нелегко одержать победу, но намного сложнее достойно перенести поражение и выйти из войны с наименьшим ущербом. Горбачев сумел это сделать и тем самым предотвратил гибель многих людей - и наших, и афганцев, - которая стала бы неизбежной и в случае продолжения войны, и при резком, внезапном ее прекращении.

Параллельно с окончанием афганской авантюры начался демонтаж военного конвейера, через который в пасть Молоха выбрасывалось национальное богатство. Здесь приходилось проявлять предельную осторожность, вести в некотором смысле дипломатическую игру с военными. Впрочем, и они, в свою очередь, проявляли изощренное искусство докладывать политическому руководству одно, а думать и исполнять совсем другое. Шла игра в кошки-мышки.

Летом 1988 года в Москве должно было состояться очередное заседание Комитета министров обороны государств - участников Варшавского Договора. Генеральный штаб присылает материал для беседы генсека с членами комитета. Даже самый придирчивый глаз не обнаружит в нем подвоха. В полном соответствии с нашим внешнеполитическим курсом и состоянием переговоров по военным вопросам с США подчеркивается готовность завершить вывод советских войск из Афганистана, добиваться радикального сокращения стратегических наступательных вооружений при одновременном укреплении режима Договора по ПРО, а также значительного сокращения вооруженных сил и вооружений от Атлантики до Урала; принимать меры по предотвращению угрозы военного нападения (инициатива ГДР и ЧССР о безъядерном коридоре в Центральной Европе и о выводе наиболее опасных наступательных вооружений из зоны непосредственного соприкосновения двух военных блоков), созданию зоны, свободной от ядерного и химического оружия на Балканах и т. д. Вновь делается акцент на оборонительном характере стратегической доктрины Варшавского Договора.

А незадолго до этого, знакомясь с проектом доклада Главнокомандующего вооруженными силами ОВД маршала Виктора Григорьевича Куликова, можно было убедиться, что генералитет не принимает всерьез все эти бесконечные инициативы, исходит из убеждения, что, пока политики и пропагандисты болтают о разоружении, военные должны заниматься своим делом. Так, из проекта доклада следовало, что, несмотря на соглашение по ракетам средней и малой дальности, военная опасность в Европе фактически

не уменьшилась, а увеличилась. Значит, необходимо перевооружение всех видов вооруженных сил, нечего и думать о сокращении военных расходов, нужно изыскивать средства для дальнейшего значительного их роста.

Мы повсюду твердили о готовности к полному запрещению и ликвидации химического оружия, а из доклада выясняется, что "возрастает роль химического обеспечения боевых действий войск" и что в связи с этим химические войска "должны будут усилены огнемётными средствами и средствами обеспечения маскировки". Своеобразно трактуется концепция оборонительной доктрины. Оказывается, раз уж мы ее приняли, нужно в следующем пятилетии уделить "больше внимания десантно-штурмовым войскам". Вносится предложение об увеличении резерва по горючему, боеприпасам на территориях Венгрии и Болгарии, образовании запасов вооружений и техники для развертывания резервных формирований, расширения аэродромной сети, оборудования защитных укрытий для боевых самолетов и т. д.

По указанию генсека в доклад маршала были внесены коррективы, из документа убраны наиболее одиозные формулы. Но это, естественно, никак не отразилось на настроениях и планах военных, которые продолжали с упорством гнуть свою линию. Накануне каждого заседания ПКК приходилось буквально выбивать согласие на каждую небольшую подвижку в сторону реального разоружения. Среди наших партнеров из Министерства обороны и Генштаба было немало интеллигентных толковых людей, но корпоративный дух почти всегда брал верх. И мне кажется, они не воспринимали всерьез доводов, что милитаризм подорвал силы страны, что она все больше уподобляется колоссу на глиняных ногах. "Уж чего-чего, а для своей армии народ деньги всегда найдет. Он ее любит" - вот что сидело в их сознании, отгоняло мысль о необходимости хоть чем-то поступиться.

Разумеется, за этим упорством стоял и вполне весомый эгоистический интерес. Наш генералитет привык к отеческой заботе партии и жил на широкую ногу даже сравнительно с высокопоставленными работниками партийно-государственного аппарата. Глубоко проникла в эту среду и коррупция. Одним из самых доступных методов личного обогащения была торговля живым товаром. Пришлось заниматься расследованием скандальных дел и работникам Отдела ЦК. Командиры некоторых частей, дислоцированных в Чехословакии, вступали в "деловое партнерство" с местными хозяйственниками - солдаты отряжались на уборку урожая или строительство. Журналисты с чувством расписывали это как образец дружбы народов, а председатель колхоза в порядке возмещения "интернациональной помощи" вручал нашему генералу или полковнику конверт с кронами и поставлял продукты к его столу. В нескольких случаях современные работорговцы были пойманы за руку, но, насколько мне известно, виновных отправили в отставку и дела замяли, чтобы не наносить ущерба чести советской армии.

За сохранение наших баз и воинских контингентов на территории союзных государств генералитет цеплялся особенно рьяно. При этом корыстный интерес (необязательно обеспечиваемый преступным путем, ведь можно было получить немало благ и радостей жизни, просто живя в Берлине или Будапеште, отдыхая в Карловых Варах или на Мазурских озерах, летая за рубеж и обратно на комфортабельных самолетах за счет казны) вполне гармонично совмещался с геостратегическими соображениями. Выдвинутые как можно дальше на Запад боевые порядки обеспечивали возможность того самого броска танковых армий к Бискайскому заливу, которого панически боялась Европа. А этой угрозой обосновывались массированное военное присутствие США на континенте, ядерное вооружение Англии и Франции.

Наш милитаризм питал их милитаризм, их - наш. Нужно было разорвать этот порочный круг. Горбачев приступил к решению этой задачи тем же методом, какой был применен при выводе наших войск из Афганистана. Речь никоим образом не шла о признании нашего поражения в "холодной войне", о капитуляции после почти полувекового жесткого противостояния. Разоружение мыслилось как одновременный процесс сокращения военной



силы у обеих сторон при постоянном сохранении стратегического паритета. В таком духе, достаточно твердо с нашей стороны, велись переговоры.

Чтобы окончательно рассеять сомнения, навеянные обвинениями Горбачева в неоправданных уступках Западу, расскажу о встрече с министрами обороны стран Варшавского Договора, состоявшейся 8 июля 1988 года. Встреча эта происходила в зале Секретариата ЦК. Представив своих коллег, Дмитрий Тимофеевич Язов доложил, что министры обменялись информацией, собранными на своих направлениях разведывательными данными ("венгерские товарищи раскрыли Италию, болгарские Турцию"). Пришли к выводу, что надо поддерживать уровень боевой готовности, отвечающий уровню противника. Имеем в виду показать друзьям в Наро-Фоминске современное оружие, в частности все танки, начиная с тридцатьчетверки, чтобы было видно, на каком рубеже мы сейчас находимся. По разведывательным средствам АВАКС есть отставание. Военные заводы должны не просто гнать вооружение, а добиваться, чтобы оно не уступало в качественном отношении.

Что же сказал министрам Горбачев?

Прежде всего он популярно разъяснил им решения только что прошедшей XIX Всесоюзной конференции КПСС, сделав упор на одной мысли: необходима политическая реформа, но речь ни в коем случае не идет об отходе от социализма. Напротив, мы хотим вернуться к исконным социалистическим ценностям, к ленинскому идеалу, и знаем, что братские партии хотят того же.

Стратегическая доктрина союзных государств должна быть в полном смысле слова современной. Мы с вами ведь не собираемся воевать со всем миром и паритет не следует понимать как примитивное арифметическое равенство: пушка на пушку, танк на танк, пулемет на пулемет. Он означает лишь, что обе стороны способны причинить друг другу неприемлемый ущерб. В военном строительстве нужно делать акцент на качестве техники и боевой подготовки. В Афганистане потери среди личного состава специально подготовленных и оснащенных частей в 10 раз меньше, чем в обычных армейских подразделениях. Выводы делайте сами.

Короче, нужна перестройка и вооруженных сил. Когда мы начали об этом говорить, пошли слухи, что Горбачев хочет чуть ли не разгромить армию. До меня стали доходить тревожные сигналы и обращения. Но это чепуха. Мы намерены в действительности укрепить свои вооруженные силы, сделав их более компактными и лучше организованными. Конечно, нужна и разумная экономия. Согласитесь, ненормально, когда национальный доход за пятилетку вырос на 20 процентов, а военные расходы - почти на 40. Сохраняя должный уровень военной готовности, нам нужно более энергично использовать политические средства для упрочения безопасности.

На первой нашей встрече с Рейганом американский президент начал говорить мне о преимуществах капитализма. Я ему возразил: не учите нас, ваш образ жизни нам не подходит. Сейчас, когда мы взялись за реформы, еще раз выяснилось, что наши люди за социализм. Сами живите как хотите. Но и в наш монастырь со своим уставом не лезьте. Давайте лучше вместе думать, как сделать мир более устойчивым и безопасным. Это нужно всем.

Сотрудничество между союзными армиями я ставлю на уровень сотрудничества между братскими партиями. Иногда до меня доходит: а не пришло ли время рассмотреть вопрос о дальнейшем пребывании советских войск в ваших странах. Мне думается, сейчас, когда идет процесс разоружения, такие разговоры могут только повредить делу. Если возникают конкретные проблемы с неудачной дислокацией отдельных частей или поведением наших командиров - надо ставить эти вопросы и решать к обоюдному удовлетворению. А в целом, в комплексе это проблема большой политики. И должно быть ясно, что судьба братских стран нам дорога, как собственная.

Болгарин Джурев, поляк Сивицкий и другие министры, засвидетельствовав положительное отношение своих партий к перестройке, согласились с суждениями генсека

по военным вопросам. Положительно откликнулись они и на наше предложение создать постоянный секретариат при штабе Объединенных вооруженных сил Варшавского Договора. Не странно ли: всего лишь через год-полтора начнется спешный вывод наших войск с территорий союзных стран, сам этот союз распадется с неприличной быстротой, а тут ответственные люди, не ощущая подземных толчков, рассуждают о совершенствовании коллективной обороны и даже уславливаются о создании новых ее звеньев? Очень уж похоже все это на поведение героев фильма Стенли Крамера "На последнем берегу": мир уже сгорел в атомной войне, осталась одна Австралия; люди здесь знают, что через несколько недель и до них докатится атомное облако, но делают вид, что ничего не происходит, чтобы не сойти с ума.

Убежден, у всех было предчувствие, что мы находимся на пороге великих перемен, когда утратят свое значение, уйдут в небытие формы жизни, к которым приучено наше поколение. Но пока этот момент не наступил, приходилось жить по старым законам. А кроме того, предчувствие - это всего лишь предчувствие. Никто не мог тогда еще предполагать, что через год с небольшим рухнет Берлинская стена, а с нею придет конец и всему мощному военному кулаку в Восточной Европе, этому опасному и дорогостоящему наследству генералиссимуса, которое мы бережно хранили 45 лет.

Мне пришлось заниматься подготовкой доклада к этой годовщине. По просьбе президента представил обширную справку Дмитрий Антонович Волкогонов, бывший тогда директором Института военной истории. Поделится своими размышлениями Ахромеев. А над текстом работали мы с Валентином Ивановичем Фалиным и Георгием Владимировичем Пряхиным.

Два-три раза сидели в Волынском над докладом и с Михаилом Сергеевичем. При этом открылась неизвестная мне до сих пор черта его натуры. Что он человек равнодушный, ясно всем, кто с ним общается. Однако я видел в нем больше хладнокровного, рассудочного политика, не предполагал, что он способен так остро чувствовать.

Седьмого мая президент пригласил последний раз пройти по тексту. Я застал его с покрасневшими глазами.

- Знаешь, не могу читать, комок к горлу подступает. Подумать только, сколько вынес наш народ, как его нещадно мордовали. Революция, индустриализация, коллективизация - все с огромными жертвами, с безумным напряжением. А тут еще такая война! Она ведь и по мне катком прокатилась. С Запада на Восток, потом с Востока на Запад прошли через Привольное немцы. Помню, как мы маялись, как потерянно ждали своей участи, когда наши ушли. После войны отец вернулся потемневший. Мало, редко рассказывал, что ему пришлось пережить. - Михаил Сергеевич помолчал и добавил: - Это всегда со мной.

Я тоже пустился в воспоминания. Рассказал, как пришел на фронт 18-летним. Как в третий раз после Ивана Грозного и Фрунзе брали Крым, освобождали Минск и другие белорусские города, потом Литву, которая теперь опять "бунтует". Разговор переключился на эту жгучую тему, и я в третий раз посоветовал срочно созвать круглый стол республик, чтобы начать разработку нового Союзного договора. Теперь уже ясно, что обойтись одними поправками в Конституции не удастся. Лучше взять инициативу в свои руки, не ждать, пока республики, по литовскому примеру, начнут разбегаться.

- Время еще не созрело, Георгий, - возразил Горбачев. - Я им не могу уступить, - продолжал он, имея в виду притязания Литвы. - Это без меня.

- Без вас никто не сможет решить такую задачу. То есть она все равно когда-нибудь решится, но с кровью.

- Ничего, мы их дождем, - сказал Горбачев и, махнув рукой, предложил вернуться к докладу.

В последний момент перед выступлением он еще вписывал поправки. Стенографистки приносили перепечатанные страницы, и мы несколько раз переговаривались по телефону - уточняли факты. Цифры потерь в Отечественной войне были разные. Язов дал в интервью "Правде" примерно 27 миллионов, Волкогонов называл, 26-28, Госкомстат - 26 миллионов

236 тысяч. В конце концов решили назвать 27, чтобы не расходиться с военными. А то получалось неприлично - за два дня две цифры.

Однако Михаил Сергеевич все-таки выкинул кое-что, чем я дорожил. Мне не сказал, зная заранее, что буду уговаривать оставить. Это о том, что большие арсеналы всегда искушают применить оружие и что Венгрия 1956 года и Чехословакия 1968-го, да и наша военная экспедиция в Афганистан - все это метастазы той большой войны. Черкнул он и идею Фалина - предложить немцам заключить в 1991 году, в год 50-летия нападения Германии на Советский Союз, советско-германский договор. Взяли верх осторожность, нежелание пугать американцев призраком нового Рапалло, хотя я полагал, что это не повредит, чтобы не слишком своевольничали.

Читал Горбачев доклад трудно, с комком в горле. Оттого произносил фразы медленно, непривычно для себя, и многим даже показалось, что он нездоров. Я подумал тогда, что для людей нашего поколения всегда останется священной память о перенесенных испытаниях и пережитой радости победы.

Закрываю глаза - и мерещится мне двойной лик войны. С одной стороны мчится на белом коне закованный в латы благородный Марс, а с другой - навстречу ему несется на суператомном вездеходе гнусный Молох с распахнутой кровавой пастью. Вижу с одной стороны груды смерзшихся, как бревна, трупов, страшные картины дотла разрушенных городов - Севастополя, Минска, Кенигсберга. С другой - парад войск Бобруйского гарнизона осенью 1945-го, блеск орденов на наших гимнастерках и мундирах, восторженные лица зрителей и приподнятое ощущение слитности с могучей силой, частицей которой ты являешься.

Когда слышишь яростный спор пацифистов и патриотов, хочется сказать тем и другим: прислушайтесь друг к другу.

Президентские метания

Понадобилось всего лишь полгода, чтобы стало очевидным: отказ одновременно с созданием новых высших законодательных органов учредить пост президента был ошибкой. Верховному Совету в прежнем "варианте" соответствовал коллегиальный глава государства - Президиум. Парламенту, избранному на действительно свободных выборах и представляющему форум соперничества и сотрудничества политических партий, не единственному органу верховной власти, а только одной из трех его ветвей - такому парламенту соответствовал президент как единоличный глава государства. Можно было назвать его и председателем, но в таком случае не Верховного Совета, а республики. Так, кстати, решен вопрос в Китае.

Советская одновластная модель проще. Она не исключает состязательность в политическом процессе, но не содержит на этот счет никаких гарантий, если не принимать за гарантию добрую волю. Причем добрая воля должна присутствовать у всех партий, группировок и лидеров. А человек несовершенен. У большинства всегда есть соблазн увековечить свою власть. У лидера этого большинства устранить соперников. Меньшинство готово использовать любой метод, чтобы стать большинством. И так далее. В результате одновластная модель почти неизбежно стремится к единовластию. Не случайно Ленин считал Советы идеальной формой диктатуры пролетариата. Они стали инструментом диктатуры Сталина, потом Политбюро.

Парламентская, трехвластная модель несравненно сложнее. Она явно уступает советской по оперативности. Разделенность властей неизбежно порождает соперничество между ними, а там, где соперничество, не обходится и без сутяжничества, усложненных процедур, юридического крюкотворства и тому подобного. И здесь достаточно лазеек для коррупции, мздоимства, кумовства, нарушения гражданских прав. Но эти недостатки с лихвой возмещаются тем, что власти ревниво следят друг за другом, страхуя общество от политического авантюризма. Открытая Монтескье гениальная формула разделения властей - это, безусловно, высшее достижение политической мысли, успешно прошедшее испытание на практике.

Парламентская система относится к советской примерно так, как атомные электростанции новейших конструкций - к станциям типа Чернобыльской. Они дороже, сложнее, но намного надежней. Что же касается бытовавшего у нас мнения, что советская система связана с социализмом, что Советы ближе к народу, то опыт - и наш, отечественный, и зарубежных стран - за три четверти века достаточно ясно показал: мера народности органов власти зависит не столько от их структуры, сколько от соотношения социальных сил и господствующего в стране политического режима. Неважно, как будут называться органы местного самоуправления - Советами или муниципалитетами, а главный управитель - председателем исполкома, мэром или городским головой. Важно, какими материальными возможностями и полномочиями они обладают, чтобы удовлетворять интересы своей общины и поддержать на местах государственный порядок.

В любом случае нужна последовательность. Нельзя установить трехвластный механизм наверху и одновластный внизу. Горбачев, как я уже сказал, пришел к этому выводу не сразу, потому что верил в преимущество советской системы. Казалось бы, какое это имеет значение, ну исправили ошибку через несколько месяцев. Беда, однако, в том, что это не были обычные месяцы. Экономика все глубже погружалась в кризис, политическая борьба обострялась. Весной 1988 года еще была возможность избрать президента на всеобщих выборах. Год спустя Горбачев сохранял шансы быть избранным, но было рискованно проводить еще одну избирательную кампанию в накаленной атмосфере. После долгих обсуждений было решено предложить Съезду народных депутатов самому избрать первого президента. И позднее это стало своего рода ахиллесовой пятой первого Президента СССР, дало повод политическим противникам утверждать, что он побоялся народного голосования и его президентская печать не той же чеканки, что у Ельцина, возведенного в ранг главы Российского государства народной волей.

Будет предпринята постыдная попытка и на Съезде омрачить избрание президента. Побоявшись выдвинуть кандидатом своего лидера или кого-нибудь из видных политических деятелей, радикально-демократическая оппозиция не нашла ничего лучшего, как поддержать Оболенского, объявив его чуть ли не национальным героем. Депутаты, отдавшие голоса вчера еще никому не известному самовыдвиженцу, явно намеревались придать комический характер процедуре избрания главы Союзного государства, но лишь показали свою политическую невоспитанность. Право же, достойней было бойкотировать выборы.

Учреждение президентства потянуло за собой много новых вопросов, и прежде всего - как следует теперь строить отношения между главой государства, парламентом и правительством. В Институте государства и права, Президиуме Верховного Совета были подготовлены справки о специфике американской и французской модели. Там и там президентские республики, с той разницей, что в США правительство целиком ответственно перед президентом, и он фактически является его главой, а во Франции - перед парламентом. Горбачев и многие в его окружении считали предпочтительным американское устройство, ссылаясь на то, что в наших условиях кабинет подвергнется яростным нападкам и не имеет шансов уцелеть, если его не возглавит и тем самым не защитит своим авторитетом президент. Добавляли, что Штаты, как и мы, федеративное государство, их модель больше нам подходит и с учетом размеров территории, численности населения.

Я стоял за французскую модель - прежде всего потому, что она позволяла президенту сохранить роль арбитра, не становиться мальчиком для битья при каждой неудаче правительственного курса. Американский вариант может быть и не плох, но он больше подходит для страны с устоявшейся политической системой и высоким уровнем экономической стабильности. При всей полезности использования зарубежного опыта, не следовало забывать и о своих традициях. Худо ли, хорошо ли, но в Союзе многие десятилетия существовала политическая система, основными звеньями которой были выборные Советы и их исполнительные комитеты. Да и по любым "демократическим меркам" ответственность правительства перед Законодательным собранием не противоречит принципу разделения властей. Дело ведь не в том, что они независимы друг от друга, а в том,

что у каждой свои четко очерченные полномочия, своя сфера и методы государственной работы. В других же отношениях между ветвями власти не обойтись без иерархии и взаимного контроля. В том и смысл формулы "сдержек и противовесов".

Согласившись с необходимостью сохранить пост главы правительства, Горбачев, однако, остановился на "срединном" варианте, когда кабинет фактически подчиняется президенту, а отчетываться должен вполне самостоятельно перед парламентом. Это было не самое удачное решение, и оно стало источником многих недоразумений, вплоть до обращения Валентина Павлова к Верховному Совету за дополнительными полномочиями.

Вообще, склонность Михаила Сергеевича искать чуть ли не арифметическую середину между альтернативами сослужила ему плохую службу. Нечто подобное погубило и экономическую реформу, поскольку Горбачев пытался поженить программы Абалкина и Явлинского и получить от этого брака полноценное потомство в виде некоего идеального плана реформ. Увы, ничего путного не вышло.

Немало дебатов было вокруг структуры президентской власти. Я считал вредным плодить государственные органы, поскольку они неизбежно станут конкурировать с правительством и парламентом за свою долю государственной работы, а это ничем не лучше дележки государственного пирога. Но услужливые юристы, выполняя заказ, подкинули очередную справку, в которой восхвалялся опыт госсоветов, функционирующих в ГДР и Болгарии, хотя в действительности эти органы оказались мертворожденными, разве что использовались изредка для демонстрации демократизма генеральных секретарей.

Совсем уж нелепо выглядела ссылка на английскую модель и практику некоторых других государств, в которых наряду с правительством существовал узкий кабинет, включавший несколько ведущих министров. В замысел самого Горбачева входило образование некоего Совета не в рамках правительства, а в стороне от него. Иначе говоря, предусматривалось в новых условиях воспроизвести своеобразное разделение труда, имевшее место у нас в прошлом: Совет Министров занимался хозяйственными вопросами, а политика находилась в исключительном ведении Политбюро. Если на заседания Совмина и приглашались министры иностранных и внутренних дел, то больше для ритуала. Непосредственно же эти ведомства управлялись со Старой площади.

Похоже, эта привычная схема устраивала президента, ему хотелось иметь при себе нечто вроде государственного Политбюро. Об этом и в шутку, и всерьез говорили в его окружении не раз, но он отвечал, что нам не удастся "превратить его в английскую королеву". Свое, и немаловажное, значение имело то обстоятельство, что заседания новых органов проходили в продолговатом зале, примыкавшем к "Кабинету на высоте", где регулярно заседало Политбюро ЦК КПСС (не там ли теперь в порядке преемственности заседает Совет безопасности?). В том же председательском кресле восседал Михаил Сергеевич, раньше - в роли генсека, теперь - президента. Так же по ранжиру рассаживались члены правящего синклита, а вдоль стен - помощники и приглашенные. Так же время от времени по сигналу Главного подавали чай с небольшими булочками, печеньем, а после особенно долгого сидения - с миниатюрными бутербродами. Казалось, ничто не изменилось под луной, только зал из партийного стал государственным.

Впрочем, когда такие мысли приходили в голову, я урезонивал сам себя, говоря: посмотри, какие перемены за столом, это ведь гораздо важнее, чем поверхностные параллели. В конце концов в этих кремлевских кабинетах заседали и все другие советские лидеры со своими соратниками. Здесь же, ну может быть, в соседних залах или по ту сторону Ивановской площади, в Большом Кремлевском Дворце встречались с воеводами и дьяками Романовы. А если переступить порог и оказаться в Грановитой палате, то вполне можно представить, как Иван Грозный сочиняет очередное послание своему наперснику и врагу Курбскому или дает указания Малюте Скуратову.

Остаются, переходя от поколения к поколению, из рук одной власти к другой, дворцы, коридоры, кабинеты. Если скинуть со счетов новые названия - Верховный Совет вместо Думы, ЦК вместо правительствующего Сената, Совбез вместо Политбюро, во многом

остаются и учреждения. Что по-настоящему имеет значение меняются люди.

В новом качестве помощника президента, сидя там же у стены, за небольшим столиком, где я занимал место в качестве помощника генсека, и переглядываясь с Анатолием Сергеевичем Черняевым, сидящим по другую сторону столика и прошедшим через те же метаморфозы, смотрю на сидящих за главным столом и одновременно восстанавливаю в памяти картины недавнего прошлого.

В первую очередь глаз задерживается, разумеется, на тех, кто был тогда и уцелел после перетряски, остался у кормила власти. Ближе всех к президенту, по правую руку, в кресле, которое раньше занимал Лигачев, сидит А.Н. Яковлев. Рядом с ним, как всегда, В.А. Медведев. По левую руку, на своем обычном месте, вплотную к председательскому столу, остался Н.И. Рыжков. Дальше в вольном порядке расположились В.А. Крючков и Э.А. Шеварднадзе, Д.Т. Язов и Е.М. Примаков.

А вот новые лица. Широколобый, с орлиным носом и холодноватыми голубыми глазами, в светлом пиджаке и темных брюках, аккуратный, подтянутый, солидный, большей частью строгий, но не лишенный мягкого украинского юмора Григорий Иванович Ревенко. Бывший первый секретарь Киевского обкома КПСС, которому пришлось пережить Чернобыль, легко вписывается в когорту союзных руководителей. Ему будет поручено заниматься отношениями с республиками, а затем нам двоим шеф поручит вести подготовку Союзного договора.

В самом конце стола, с левой стороны, скромно занял место еще один новоиспеченный член государственного руководства. Среднего роста, худощавый, с мелкими чертами лица, в котором нет ни одного запоминающегося элемента. В противоположность "человеку, который смеется", Болдин один из тех, кто почти никогда не смеется. За четыре года, что мы знакомы, я видел его улыбающимся разве четыре раза. В такое невероятное для себя состояние он приходит только выпив рюмку крепкого напитка. Этот невзрачный человек редко раскрывает рот, а если говорит, то почти всегда таинственным шепотом. Своими повадками и карьерой он чем-то напоминает Константина Устиновича Черненко. Странно, что законченный бюрократ, способный умертвить любое живое дело и наводящий страх на подчиненных одним своим молчанием, вышел из журналистской среды, где, казалось бы, обитают люди общительные, веселые, говорливые. Необъяснимо и то, что наш лидер избрал именно его своим наперником и упрямо не желал слушать, когда ему буквально со всех сторон твердили, что подчиненный Болдину Общий отдел стал непроходимым бюрократическим затором, кладбищем, где тихо и без почестей хоронили важные сведения, и, наоборот, откуда подкидывали на стол президенту направленную информацию.

Странно, наконец, и то, что 19 августа 1991 года Валерий Болдин в компании с другими гэкачепистами придет в Форос с ультиматумом своему благодетелю. Меня удивляет не сам факт неблагодарности - в конце концов предательством "верного и надежного слуги" никого не удивишь, таких случаев в истории, в том числе отечественной, не перечесть (народная молва распространила анекдот, будто Михаил Сергеевич, когда к нему явились "парламентеры" с ультиматумом, сказал, обращаясь к Болдину: "И ты Брут?!"). Удивляет другое: как этот крайне расчетливый человек ввязался в рискованную авантюру, откуда взялась эта отчаянная решимость? От 100-процентной уверенности в успехе или от сознания всемогущества, которым всегда был наделен в нашей системе "шеф канцелярии" первого лица и которое на этот раз роковым образом лишило Болдина присущей ему осторожности?

Рядом с Ревенко еще один бывший первый секретарь обкома (Кемеровского), сумевший совершить невозможное: за короткий срок пребывания на самом неподходящем для приобретения популярности посту министра внутренних дел ("главного милиционера") внушил к себе симпатию несколькими неординарными заявлениями и поступками, а главное - искренней манерой вести себя на трибуне.

Много раз за последние "демократические" четыре года пришлось нашим министрам, командующим, генералам подниматься на трибуну Съезда народных депутатов как на лобное место, отчитываться и подвергаться перекрестному допросу. Почему применялась

против народа вооруженная сила или почему не сумели люди, которым доверено оружие, защитить жизнь и имущество граждан? И всякий раз, когда отвечавший был тверд, решителен, не лез за словом в карман, а в голосе его звучал металл - то есть был таким, какого привычно видеть на этих постах и каким, на взгляд обывателя, должен быть человек, отвечающий за безопасность, - ему доставалось полной мерой. А вот когда с ответом вышел человек, явно переживающий за то, что произошло, иной раз перебивающий сам себя, искренний, прямодушный, с дрожью в голосе, но не от слабости душевной, а от сострадания к жертвам инцидента - тогда у самых негодующих депутатов, взыскующих справедливости, не поворачивается язык уязвить министра, и он сходит с трибуны под аплодисменты.

Но эта как-то очень легко доставшаяся популярность столь же просто может быть и утрачена. Вадиму Викторовичу Бакатину придется напрячь все духовные силы, чтобы доказать самому себе и стране, что он незаурядная личность и заслуживает быть среди лидеров. Ему не удастся сделать это на выборах российского президента, и не только потому, что соревнование с находившимся тогда в зените популярности Ельциным было заведомо проигрышным для всех остальных претендентов. Сказались отсутствие ораторского таланта, непреодоленный несколькими годами пребывания в столице провинциализм мышления.

За президентским столом можно увидеть еще двух людей, которых знает вся страна. Один из них - широкоплечий, плотный, с пышной шевелюрой волнистых полуседых волос, со смуглым, чуть скуластым лицом и глубоко посаженными глазами, пространно красноречив; его речь изобилует высокими понятиями мира, справедливости, прогресса, Вселенной, космоса, духовности, культуры. Второй со вздернутым носом и пристальным взглядом, темноволосый, угрюмый, почти всегда сосредоточенный в себе, молчалив; если все-таки заговорит, то на свою болезную тему - о природе, о том, как провинился перед ней человек и как важно сберечь для потомков хотя бы то, что от нее осталось. Чингиз Айтматов и Валентин Распутин - два замечательных наших писателя. Я преклоняюсь перед обоими и спрашиваю себя: а что им, собственно, делать здесь? Представлять культуру? Эту роль выполняет "играющий министр" Николай Губенко. Повышать уровень духовности этого синклита при главе государства, подавать своим новым коллегам пример совестливости?

Скорее всего, дело обстоит проще. Приглашение двум писателям и ученому, вице-президенту Академии наук СССР Ю.А. Осипьяну, войти в Совет продиктовано главным образом возможностью пообщаться с интересными и яркими людьми, а через них - знать, о чем думают интеллигенция, народ. Так объясняет свой замысел Михаил Сергеевич, отклоняя мои рекомендации: если уж создан Совет, ввести в него влиятельных и популярных политических деятелей - Ельцина, Сахарова, Собчака, а также многообещающих молодых парламентариев.

- Если я вас правильно понял, - говорю я ему, - вы хотите иметь консультативный орган при президенте, члены которого не будут обладать никакими полномочиями - за исключением, естественно, министров. В таком случае почему бы не назвать этот орган президентским советом?

И вот вновь назначенные его члены уже пожимают друг другу руки, готовясь к дружной совместной работе, интересуются, будут ли им отведены кабинеты в Кремле, полагается ли секретарша, какая информация будет поступать каждому. Горбачев, открывая заседание, говорит о важном предначертании Совета, о том, какие надежды возлагает на вошедших в его состав выдающихся граждан. В торжественной обстановке, как своего рода инаугурация, проходит первое заседание Президентского совета в Кремлевском зале на четвертом этаже, где обычно вручаются правительственные награды. Затем с увеличивающимися интервалами были проведены еще два-три заседания. И случилось то, что с неизбежностью должно было случиться. Так уж устроено в природе: орган, не наделенный специальной полезной функцией, отмирает.

Сотворив Совет, в котором государственные чиновники и служители муз должны были советоваться неизвестно о чем, сам президент очень скоро потерял к нему интерес и

попросту перестал собирать. Со своей стороны, быстро заскучали писатели, которые не привыкли протирать брюки в правительственных креслах, и разъехались по домам защищать мир, природу, а главное - писать романы. Маялись бездельем и только после долгих препирательств с Болдиным получили кабинеты "деловые люди": Ревенко, Примаков, Бакатин. Да и потом им приходилось в основном ждать, пока президент даст какое-то поручение, а в оставшееся время ходить друг к другу и сетовать на никчемность своего положения. Одни только Яковлев да Медведев были при деле - как писали в Волынском доклад к очередному форуму, так и продолжали заниматься тем же в новом ранге.

Кто-то тогда сострил: "Что такое член Президентского совета? Это безработный с президентским окладом".

Вся эта история лишний раз свидетельствует об одной из характерных черт Горбачева - безразличии к формальным институтам, причем даже к тем, которые он сам творил, и даже больше именно к этим, поскольку в нем склонность к вольной импровизации странным образом сочетается с почтением к традициям. Будучи человеком деятельным и неравнодушным, смолodu приученным к долгому и напряженному трудовому дню, он чуть ли не ежедневно совещался с премьером, тербил руководителей ключевых ведомств, принимал зарубежных гостей. Но удовольствием для него было встречаться с учеными, писателями, артистами, журналистами, людьми творческими, кого интересно послушать и перед кем можно блеснуть. Попытавшись запрячь в одну телегу коня и трепетную лань, Михаил Сергеевич очень скоро убедился, что попытка эта негодная, от Президентского совета ни практической пользы, ни отдохновения души. Правда, он уже занесен в Конституцию, но бог с ним.

Охладев к никчемному своему детищу, Горбачев находит ему замену в неформальных встречах. Этот своеобразный стиль управления, манеру создавать заведомо ненужные органы, а затем игнорировать их и действовать через другие каналы обнаруживает не только описанная печальная история Президентского совета. В конце концов в государственном деле, как во всяком другом, единичное неудачное решение еще не повод для критики. Тем более, если оно не повлекло катастрофических последствий. А создание Президентского совета было делом неврeдным, только бесполезным.

Ошибиться вообще легко, труднее ошибку исправить. Еще труднее - признать, очень трудно - извлечь из нее уроки, но самое трудное - ее не повторять. Увы, еще несколько раз на протяжении полутора лет у нас будет проектироваться и создаваться множество ненужных органов, порождая неупорядоченность, чехарду на высших этажах власти, ограничивая ее способность действовать энергично и эффективно, что особенно необходимо в кризисной ситуации. Повторяя один к одному просчет с Президентским советом, словно начисто вычеркнув из памяти этот эпизод, президент создает при себе так называемый Консультативный совет. Хватило его на два заседания, потому что составлен он был по такому же странному принципу смешения нужных и ненужных людей, способных и неспособных.

Но и это еще полбеда, не вредная, а лишь бесполезная затея. Вот действительный вред приносит бесконечная перестройка аппарата. Болдину доверена в этом практически безграничная власть, и он сладострастно ею пользуется. Создаются все новые и новые подразделения, количество чиновников растет в геометрической пропорции по отношению к числу органов, растущих в пропорции арифметической. Приобретается огромное количество все более совершенной вычислительной и канцелярской техники. Поскольку ее невозможно освоить, она складывается штабелями и пылится в коридорах Кремля - думаю, она и сейчас там. Развертывается грандиозное перемещение служб, основанное, разумеется, на безупречной логике: обитателей третьего этажа перевести на первый, первого на второй, второго на третий. Производится капитальный ремонт и без того достаточно чистых и уютных комнат, причем для себя заведующий Общим отделом, впоследствии руководитель аппарата президента, отделяет два кабинета\*.

Вся эта псевдоделовая суeta сопровождается чудовищной организационной



неразберихой. В приемной президента то и дело разыскивают неизвестно куда запропастившиеся документы. Сам он названивает помощникам, выясняя, кому из них поручил подготовить материал. Контроль за исполнением решений подменяется составлением толстенных гроссбухов с перечнем заданий и указанием ответственных лиц, папки с этими шедеврами бюрократического творчества пылятся потом в одном из бесконечных помещений общего отдела. Президентские указы не прорабатываются достаточно тщательно, на другой день после опубликования приходится вносить в них коррективы и краснеть, выслушивая упреки коллег-юристов.

Два-три раза мне на глаза случайно попали указы, которые должны были быть обнародованы назавтра и содержали серьезные огрехи. Я вызвал к себе заведующего юридическим отделом, и, посоветовавшись, мы внесли нужные поправки. Одновременно предложил ему показывать для страховки указы перед их публикацией. Он был благодарен, но на следующий день со смущенным видом сообщил, что руководитель аппарата президента не дал согласия, сославшись на то, что и помощникам не все знать положено. Думаю, здесь сыграло роль другое соображение: чего ради отдавать кому-то на откуп занятие, которое дает основание многократно входить в кабинет президента, лишний раз подчеркнуть свою полезность и необходимость.

В конце концов мы с Примаковым решили проявить инициативу: засели на несколько дней со своими консультантами и разработали оптимальную, как нам казалось, схему президентского аппарата. Михаилу Сергеевичу она вроде бы понравилась, но шла неделя за неделей, а все оставалось по-прежнему. Президента явно переубедили.

Присматриваясь к методам работы Горбачева, я все больше убеждался в том, что импровизации он отдает предпочтение перед системой, и, будучи выдающимся политиком, наш президент неважный организатор. Это может показаться странным. Возможно ли, чтобы человек, прошедший все ступени партийной иерархии, отличался таким недостатком? Ведь от секретаря райкома, горкома, обкома требовалось в первую очередь именно умение организовать дело. По этому критерию оценивались качества партийного работника, определялось его продвижение по ступеням карьеры.

Все так. Но за многие десятилетия пребывания у власти партия отшлифовала свой управленческий механизм до такой степени, что он как бы работал в автоматическом режиме. Секретарствуя на Ставрополье, Горбачев мог посвятить свои недюжинные способности тому, к чему имел наибольшую склонность, - общению с людьми, испытанию новых форм хозяйствования, политике, насколько это было возможно в масштабе края. Он и там был в определенном смысле перестройщиком, реформатором, во всяком случае устремлялся мысленно к высокой материи, сознательно или интуитивно готовился к будущей своей роли. И не было необходимости тратить слишком много времени на нужную, но нудную оргработу, любимую разве только лишенными воображения исполнителями. Для того и существовал весь аппарат обкома, чтобы организовывать исполнение решений, поднимать на это коммунистов, передавать властные токи из обкома в Советы, ведомства, общественные организации, коллективы, печать.

И уж если мог не обременять себя "канцелярщиной" секретарь обкома, генсеку сам бог велел заниматься большой политикой и генерировать идеи, претворять которые в жизнь полагалось двухтысячному аппарату ЦК, 40 тысячам партийных работников на местах. Но вот беда. Как раз главная из этих идей состоит в том, что власть следует передать народу в лице избранных им депутатов. И чем дальше продвигаются реформы, тем слабее становится некогда мощный организационный механизм партии, тем хуже и неохотней воплощает он революционные замыслы генсека. А нового, президентского механизма ему на смену не создается. Невнимание Горбачева к этой стороне дела, отсутствие у него вкуса к организации, которые раньше мало что значили, становятся едва ли не самым уязвимым звеном его политики. Если добавить к этой "ахиллесовой пяте" другую, позволю себе сильное выражение - бездарный подбор кадров, реформатор хромает уже на обе ноги, и это в конечном счете становится причиной неудач и бед, выпавших на его долю.

В бестолковой суете проходят "сто дней" президента. К этой ритуальной дате, когда принято подводить первые итоги, похвалиться, скажем прямо, нечем. Напротив, отовсюду подступают заботы, дела идут все хуже, а тут еще добавляется противостояние президента с парламентом. Занятые работой на будущее, сочинением законов, уже начинающие обживаться в столице и привыкать к учтивому вниманию репортеров народные депутаты, тем не менее, почувствовали, что избиратели скоро возьмут их за шиворот и скажут: "Мы вас посылали в Верховный Совет не для того, чтобы получать московскую прописку и выторговывать другие привилегии. Законы, конечно, вещь хорошая, но надо прежде всего думать о сегодняшней жизни..." Подгоняемые кто совестью, кто раздражением своего электората, народные избранники стали требовать президента и правительство к ответу. А иные горячие головы уже поговаривали об импичменте.

Горбачеву и в голову не пришло ополчиться на восставших, поступить так, как поступали в подобных случаях многие другие правители - разогнать парламент или, по крайней мере, поугатать этим. Спустя полтора года именно так поведет себя Ельцин: пригрозит разгоном Съезду народных депутатов РСФСР, а еще через год расстреляет Верховный Совет.

Нет, жесткие, диктаторские меры не в характере Горбачева. Он не собирается "очищать зал от этой швали", как приказал Мюрат своим уланам в 1795 году; надо думать, аналогичным по смыслу, если не по словам, был и приказ матросу Железнякову прикрыть Учредительное собрание. Вместо этого президент решает предстать перед разгневанными депутатами и попытаться убедить их, что все идет не так уж плохо, сам он, во всяком случае, видит огрехи своей политики и намерен энергично поправить дело. Но при этом допускает серьезную ошибку, свидетельствующую о том, что он по-прежнему свято верит в свою способность убедить кого угодно в чем угодно. Не желает понять, что люди накалены до предела, терпение их иссякло. Им чертовски надоели пространные доклады, насыщенные революционной романтикой. Их воротит от одного слова "перестройка". Весь героический антураж, встречавшийся поначалу с таким восторгом, теперь, когда реальные жизненные условия покатались вниз, встречается не иначе как с озлоблением.

В условиях, когда общество ждет от президента не очередной порции обещаний "принять решительные меры", а самих этих мер, президент доверчиво принимает подсунутый ему экономистами отчет о положении дел - с данными о производстве продукции и понесенных потерях, с процентами по отношению к прошлому году и плану, с резкой по выражениям, но умеренной по смыслу критикой министерств и ведомств, чтобы не обидеть правительство и не сыграть на руку оппозиции, требующей его отставки. За этой размазней теряется политическая часть отчета. Вдобавок ее искусственно растягивают, ведя отсчет от "царя Гороха": почему нужна была перестройка, чем был плох застойный период, мы недооценили остроты накопившихся за десятилетия проблем и т. д. Словом, это был самый банальный, традиционный доклад, который мог сойти еще год назад, но не имел никаких шансов утихомирить разбушевавшуюся политическую стихию.

Так и произошло. Выступление президента впервые было выслушано не то что с молчанием, а просто без всякого интереса. Аудитория - депутаты, министры, журналисты - явно скучала, да и сам он, уже в преамбуле почувствовав отсутствие контакта с залом, прочитал текст вяло, почти не отвлекаясь на сторонние рассуждения, которые всегда составляли изюминку в его речах. Едва сойдя с трибуны, Горбачев не стал задерживаться, чтобы, как обычно, побеседовать с депутатами, а удалился к себе в кабинет, куда через некоторое время пригласил помощников. Кажется, были еще Медведев, Примаков. Настроение было подавленное, все понимали, что, грубо говоря, произошел провал, и оппозиция не преминет использовать его для фронтальной атаки на президента. Обсуждали, как поправить дело, и я, в частности, предложил воспользоваться заключительным словом и коротко перечислить конкретные меры, которые он намерен принять. Михаил Сергеевич кивнул, отказался от помощи и уехал.

На другой день с утра я пришел в Верховный Совет, забитый до отказа пришлось бы

стоять, если бы не услужливые работники Секретариата, притащившие приставной стул. Слушать выступления было тягостно: почти все ораторы выражали неудовлетворение отчетом президента, кто вежливо намекал, а кто и откровенно говорил, что у него нет программы действий. Огорченный, я вышел из зала, здесь меня обступили журналисты, и на их назойливые просьбы прокомментировать ситуацию, я отвечал только одно: ждите заключительного слова.

Ко мне подошел сотрудник охраны и сказал: "Зовет". В кабинете никого, кроме меня, не было, у шефа вид был усталый. Заметив сочувственный взгляд, он сказал:

- Не спал всю ночь. Вот, посмотри. - И протянул мне несколько листов текста, отпечатанного на домашней машинке, испещренного поправками.

Принесли чай, и, пока он пролистывал срочную информацию, я прочитал его записки и с чистым сердцем сказал:

- Михаил Сергеевич, это именно то, что нужно, причем нужно было еще вчера.

- Верно, - улыбнулся он, - мы оказались задним умом крепки. А что в зале?

Я вкратце передал ему суть выступлений, он нахмурился.

- Боюсь, теперь и это не сработает.

Но опасения были напрасны. Скептически настроенный зал, ожидавший, что его опять начнут шпиговать нотациями о значении перестройки, быстро и благожелательно откликнулся на предложенный ему деловой текст, в котором не было ничего лишнего, а только конкретика: первое, второе, третье...

Подозреваю, не все депутаты с ходу, со слуху уловили смысл предлагавшихся решений. Были потом и вопросы, и споры. Но в тот момент одобрение вызвал сам факт перехода от слов к делу. Энергичная короткая речь, в полном смысле антипод вчерашнему вялому докладу, внушала надежду, что президент меняет стиль.

Этот эпизод многое проясняет в "загадке Горбачева". В нем Михаил Сергеевич еще раз обнаружил свою способность с блеском выходить из самых трудных положений. Он понял, что не должен упорствовать, и, как капитан корабля, обнаруживший прямо перед носом рифы, сумел резко переложить руль. С другой стороны, обнаружилось, и не впервые, что пылкое многословное красноречие, к которому склонен был Горбачев и некоторые ближайшие его соратники, не находит отклика. Время увлечения риторикой прошло. Когда людей одолевают заботы о хлебе насущном, им не до нового мышления, общечеловеческих интересов и тому подобных высоких материй. Да и настолько запутали их политические группировки множеством противоречащих друг другу программ, настолько оглушили пышными декларациями и яростными взаимными обвинениями, что больше всего хотелось ясности, от лидера ждали не очередной порции умствований, а живого дела, не разъяснений и призывов, а поручений и указаний, если хотите - просто команды.

Это настроение уловили советники Ельцина. Его лаконичные выступления, облеченные в форму ультимативных требований, стали восприниматься как свидетельство: этот человек знает, что нужно стране, и, как говорится, в отличие от "предыдущего оратора" сумеет быстро вытащить ее из трясины. При этом не слишком вдумывались в само содержание требований. В политике стиль иной раз бывает важнее курса, во всяком случае, когда речь идет о штурме власти.

Создав парламент и истощая свои силы, чтобы в начале придать ему боевой характер, а потом от него отбиться, Горбачев не успел завершить формирование новой политической системы. Остались недостроенными некоторые ее элементы, без которых собрание народных представителей уподобилось верхнему этажу здания, парящему в воздухе.

#### Соперники

Можно усомниться: так ли важно соперничество двух ведущих фигур нашей реформации по сравнению с громадностью трагедии, в которую вовлечены были мощные социальные силы, стоит ли отвлекать на него внимание? Безусловно. Борьба Горбачева и Ельцина не только оказалась в центре противостояния основных политических лагерей. Само это противостояние в большинстве случаев сводилось к спору лидеров и раскрывалось

через их личный успех или неудачу в каждом очередном "раунде". Нечто вроде старинного способа выяснять отношения, когда два войска выставляли своих предводителей или чудо-богатырей сразиться на нейтральной полосе и так добыть одному из них победу.

История знает много примеров, когда исход событий определялся исключительным влиянием незаурядной личности. Труднее найти аналогию данному случаю, потому что здесь все зависело не столько от личностей, сколько от их взаимодействия, столкновения воли, характеров, интеллектов, амбиций. Столкновения, которое развивается по законам классической драмы и заслуживает пера самого Шекспира. Это ведь не междоусобица милейших Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. На кону у соперников лежали судьбы страны и народа.

Первое явление Ельцина народу произошло, как известно, на XXVII съезде КПСС. Он уже входил в правящую партийную элиту, будучи членом ЦК, но оставался деятелем провинциального масштаба. Публично покайсявшись за то, что не нашел смелости выступить против благоглупостей брежневского режима, Борис Николаевич сразу перешел в разряд деятелей общенациональных. Так непривычно, так дико было слышать подобные признания со съездовской трибуны, что свердловский первый секретарь покорила сердца многих, истосковавшихся по искреннему, идущему от сердца слову. Да и могучее телосложение, благородная седая шевелюра, открытый взгляд выразительных серых глаз, горделивая осанка - все это производило отрадное впечатление. Женщины были без ума, мужчины не скупились на похвалы. Да вот, одним из его поклонников стал Фидель Кастро. Помню, пришла телеграмма, в которой посол рассказывал о разговоре с вождем кубинской революции: в каких восторженных выражениях Фидель говорил о мужестве Ельцина, его честности; он даже выразил пожелание в ближайшее время встретиться с Борисом Николаевичем.

Сам я, не скрою, с восторгом выслушал его выступление на съезде и уже в первом перерыве, обсуждая с коллегами, высказал мнение, что Горбачев получил сильного союзника, который может быть использован как своего рода "таран" демократических реформ. И в силу своего бойцовского темперамента, и поскольку он не был связан ответственностью за общий ход дел в стране, Ельцин мог выступать более напористо и смело, а Горбачеву оставалось проследить за реакцией и либо поддержать смельчака, либо пожурить за излишнюю прыть. В таком тандеме они могли продержаться долго.

Однако очень скоро выяснилось, что Ельцин не намерен брать на себя роль "горбачевского авангарда", будет добиваться собственного места на политическом небосклоне. Одновременно выявился его стиль как политического деятеля - резкие неожиданные шаги, нежелание идти на компромисс, готовность рисковать, ставить все на карту, чтобы не ограничиваться какими-то отдельными выигрышами, а "снять банк". Таким он был, когда писал свою записку об отставке из состава Политбюро и с поста первого секретаря Московской парторганизации; выступал на пленумах ЦК и на XIX конференции со все более резкой критикой проводившейся политики; развернул кавалерийскую атаку на твердыни власти и бросил перчатку лично Горбачеву в борьбе за верховенство.

К тому времени, когда я стал помощником генсека, отношения между ними носили уже открыто враждебный характер. Михаил Сергеевич раздраженно отвечал на критические выпады Ельцина, называя их "демагогичными", "безответственными", "провокационными", и в то же время защищал Бориса Николаевича от свирепых нападков ретроградов на пленумах ЦК. Питая уже личную антипатию, он не желал быть обвиненным в непоследовательности. Чрезвычайно дорожа мнением о себе и перестройке либерально мыслящей интеллигенции, стремился быть в ее глазах выше упреков в произволе. Как раз в то время горячо дискутировалась тема инакомыслия, кто-то из журналистов напомнил знаменитую фразу Вольтера (что-то вроде: "Я не люблю N., но отдал бы жизнь, чтобы он имел право говорить, что думает"). Михаилу Сергеевичу этот эпизод пришелся по душе, и он как-то сказал в нашем кругу, что мог бы повторить ее применительно к Ельцину.

Нет сомнения, что Горбачев видел в Ельцине своего будущего главного соперника.

Будучи невысокого мнения о его уме и прочих качествах, опасался не столько личностного соревнования, сколько самого факта появления лидера оппозиции. Поносимый в цековских коридорах на Старой площади, встречаемый едва ли не улюлюканьем в зале пленумов в Кремле, Ельцин становился все более популярным уже просто в силу того, что значительная часть общества была критически настроена в отношении партийного истеблишмента. Человек, открыто бросивший ей вызов, безошибочно играл на повышение. Идеологи сформировавшейся радикал-демократической оппозиции быстро почувствовали это, протянули ему скипетр и приобрели таким образом главное, что им недоставало, чтобы реально претендовать на власть, - вождя.

Должен сказать, что в этих кругах личность Бориса Николаевича оценивали немногим выше, чем Горбачев. На Первом съезде народных депутатов СССР в перерыве между заседаниями я подошел к Гавриилу Попову, сидевшему неподалеку, и спросил его, почему демократы решили взять себе в вожаки Ельцина, что они в нем нашли.

- Народу нравится, - хитро подмигнув, объяснил Попов. - Смел, круче всех рубит Систему.

- Но ведь политический потенциал не больно велик, - возразил я, говоря, чуть ли не дословно, словами своего шефа.

- А ему и не нужно особенно утруждать себя, это уже наша забота.

- Гавриил Харитонович, ну а если он, что называется, решит пойти своим путем? - спросил я.

- Э, голубчик, - ответил он, тихо посмеиваясь в обычной своей манере, - мы его в таком случае просто сбросим, и все тут.

А я вспомнил, что нечто подобное происходило 20 лет назад, когда Шелепин и его друзья, которых за глаза называли "комсомолятами", приняв активное участие в свержении Хрущева, двинули на первый пост Брежнева как своего рода промежуточную фигуру, серого, никчемного человека, который будет вынужден по первому требованию уступить свято место бывшему молодежному лидеру. Не тут-то было. Леонид Ильич так уцепился за власть, что его невозможно было оторвать от нее даже полупарализованного. Он оказался к тому же гроссмейстером политической интриги, и Шелепина скоро вытолкали вназад. Тем же кончилась игра радикал-демократов с Борисом Николаевичем.

Именно недооценка возможностей оппозиции и бойцовских качеств Ельцина сыграла решающую роль в его успехе. Наполеона как-то спросили, почему ему удастся неизменно одерживать победы над немецким фельдмаршалом Блюхером? Полководец ответил: "Потому что Блюхер строит свои стратегические планы, исходя из того, что перед ним Блюхер. А я, Наполеон, вижу перед собой Наполеона". Горбачев, как я уже сказал, был невысокого мнения о своем сопернике и поплатился за это. Он потерпел первое поражение, когда не смог помешать избранию Ельцина Председателем Верховного Совета России. На заседаниях Политбюро при обсуждении этого вопроса разговор в целом шел корректный - в том смысле, что никто из выступавших не говорил прямо о необходимости любой ценой не допустить избрания Ельцина как признанного к тому времени лидера оппозиции.

Говорили о другом - как обеспечить победу своего кандидата. На эту роль выдвинули первоначально Александра Владимировича Власова, занимавшего пост Председателя Совета Министров Российской Федерации. Ему и Георгию Петровичу Разумовскому было поручено доложить, как складывается обстановка. Оба были оптимистичны. По их словам, 80 процентов российских депутатов - коммунисты, и будут голосовать по рекомендации Центрального Комитета. Конечно, какая-то часть может отколоться под влиянием демократов, поэтому следует основательно с ними поработать. Предлагалось, чтобы секретари ЦК встретились с первыми секретарями обкомов партии, те в свою очередь проинструктировали "своих" депутатов. По итогам заседания был утвержден, как водится, план действий на нескольких десятках страниц, где скрупулезно расписывалось, кому, что надлежит делать. И над всей этой сценой витало ощущение спокойной уверенности власти, которая полагает себя неколебимой. Эти люди, привыкшие повелевать и убежденные в

вечности системы, просто не допускали мысли, что что-то может случиться наперекор их воле. Наверно, так полагал и Николай II в канун революции.

Воспользовавшись одной из встреч с генеральным после заседания Политбюро, я рискнул обратить его внимание на ошибочность оценки ситуации. В действительности не было никаких гарантий, что члены партии будут выполнять решение ЦК. Не первый раз была возможность убедиться, что политическая реформа начала действовать хотя бы на этом уровне - многие партийцы не считали себя более обязанными слепо подчиняться велениям ЦК. Более того, в силу вступили разнообразные социальные, национальные и местные интересы, которые приобретали решающее значение для голосования депутатов. Уже тогда партийные социологи считали, что итоги голосования в Верховном Совете непредсказуемы, поскольку, по их подсчетам, голоса расколются почти поровну. В таких условиях решающее значение приобретает личность кандидата, а в этом смысле тягаться с популярным Ельциным Власову, хотя он симпатичный человек и неплохой работник, просто не под силу.

- Если вы хотите, Михаил Сергеевич, иметь близкого и надежного человека на этом посту, надо не пожалеть кого-то из своих соратников. Наибольшие шансы выиграть этот раунд имеет Николай Иванович Рыжков. В конце концов, премьера найти легче.

Горбачев отрицательно покачал головой.

- Николай Иванович нужен мне здесь, - сказал он. - Это ключевой пост. А там... нечего бояться, все будет как надо. Вот увидишь.

Оптимист по натуре, которому в жизни всегда везло, он неизменно был уверен в благополучном для себя исходе всякого дела и, соответственно, не готовился к худшему. За время нашей работы я почти не видел его в состоянии страха перед будущим и даже опасений, побуждающих принять дополнительные меры предосторожности. Так и на этот раз: он спохватился лишь тогда, когда изнурительный выборный марафон подходил к концу и чаша весов склонялась явно в пользу оппозиции, правильно сориентировавшейся в обстановке и кинувшей в бой все свои не столь уж великие в то время силы.

Горбачев к тому же сделал неверный шаг, отправившись в Верховный Совет России, чтобы лично убедить депутатов в нежелательности избрания Ельцина. В окружении ему настойчиво рекомендовали не делать этого. Он никого не послушал и только раздражил российских депутатов, которые до того воздерживались, а теперь, как говорится, "из принципа" решили проголосовать за лидера оппозиции.

Надежду лично воздействовать на депутатов еще можно объяснить уверенностью президента в неотразимости своего обаяния и силу аргументов. Но ничем нельзя оправдать, что, когда Власов благоразумно снял свою кандидатуру, он согласился поддержать притязания на пост Председателя Верховного Совета Ивана Ивановича Полозкова. Заведомо было ясно, что человек, за которым утвердилась репутация ретрограда, обречен на поражение. Однако Горбачев упрямо отводил все доводы, возражал, что мы не знаем психологии депутатов, Полозков популярен в простом народе.

- А знаешь, - сказал он как-то, - ведь Полозков неплохой парень, хотя и звезд с неба не хватает.

- Но ведь он уже несколько раз с трибуны ЦК выступал с явно антиперестроечными речами да и в ваш адрес бросал камни. Если бы мне пришлось выбирать между Ельциным и Полозковым, я бы, честно говоря, голосовал за Ельцина.

- Знаю, Георгий, вы, мои помощники, не прочь подсобить демократам.

- Так вы ведь сами первый демократ. К тому же, помните, я ведь рекомендовал выдвинуть на российского председателя Рыжкова.

- Чего уж теперь говорить, он не депутат.

В шахматах довольно обычная история, когда выдающийся гроссмейстер проигрывает партию мастеру средней руки, потому что не принял его всерьез. Так и Горбачев проиграл эту важную партию Ельцину. Благоразумный гроссмейстер, потерпев неожиданное поражение, пристальней присмотрится к противнику, сделает домашние заготовки и при очередной встрече возьмет реванш.

Увы, несмотря на чувствительный удар по его положению и самолюбию, Михаил Сергеевич продолжал ни во что не ставить Ельцина, сам себя убеждал, что потенциал соперника исчерпан, и пытался убедить в том же общество. Обида брала верх над политическим расчетом, гордость заслонила здравомыслие.

Это проявилось во время поездки президента в Свердловск. Сам выбор маршрута был своего рода вызовом в момент, когда рейтинг Горбачева резко упал, а Ельцин продолжал набирать очки. Свердловск считался в некотором роде цитаделью демократического движения. Ельцин вырос на этой земле, многие годы работал в различных организациях и, наконец, был первым лицом местной партийной власти. Конечно, у всякого, кто занимал подобный пост, достаточно врагов: кого-то незаслуженно обидел, кому-то не уделил внимания; один ненавидит "губернатора" за то, что 10 лет ждал и не получил жилья, другой - за то, что был несправедливо осужден и т. д. Полагаю, Ельцин в этом смысле не исключение. Во всяком случае у меня не сложилось впечатления, что свердловчане как один обожают своего бывшего руководителя и готовы поставить ему памятник за мудрое правление. Да и сам он, честно надо признать, не похвалялся особыми достижениями, как Лигачев, без лишней скромности утверждавший, что при нем Томск благоденствовал.

Если Ельцин не облагодетельствовал Свердловск, как, впрочем, и Горбачев Ставрополь, уже одна только гордость за то, что "наш человек" оказался в Кремле, "на высоте", предопределяла настороженное, если не враждебное отношение к его сопернику. Но Горбачев, привыкший действовать наперекор судьбе, намеренно выбрал Свердловск. Я и другие товарищи из его окружения пытались отговорить, советовали выбрать какой-нибудь другой из уральских или сибирских городов, тем более что в Свердловске он был, и не так давно. Приводили, конечно, довод, что ехать туда небезопасно для его пошатнувшегося престижа. Но этот большой упрямец отмел все уговоры и настоял на своем. Ему явно хотелось доказать и другим, и самому себе, что он способен одержать моральную победу как раз в самом невыгодном месте.

Мне пришлось готовить материалы к этой поездке и сопровождать его. Первоначально прием был вежливый, но холодноватый. Когда мы ехали из аэропорта в город, лишь редкие прохожие проявляли любопытство, почти не было таких, кто приветствовал бы вереницу черных лимузинов. Довольно спокойно, я бы сказал вяло, прошла встреча и на "Уралмаше". Рабочий люд, конечно, собрался по призыву администрации и просто из обычного любопытства, желания поглазеть на высокого гостя. Вручили цветы, поаплодировали. Но ажиотажа, каким встречали Горбачева до этого в других городах и весях, не было.

В такой обстановке началась его встреча в большом заводском зале с коллективом. Сначала выступали директор, инженеры, представители цехов, профсоюзные работники. Говорили по делу, немало было и упреков в адрес центральных властей. Между тем Горбачеву сообщили, что на улице возле здания собралась большая толпа. Он попросил организаторов встречи передать его выступление через динамики и произнес яркую речь, не заглядывая в подготовленный материал. К чести его, Горбачев не опускался до примитивного популизма, не говорил просто то, что людям хотелось бы от него услышать, - так было и на этот раз. Он говорил о перестройке, о трудностях переживаемого времени, о том, как многое зависит от Урала и уральцев. И отношение аудитории к оратору постепенно менялось, она "разогревалась", а в конце одарила его искренними аплодисментами.

Затем, как всегда, последовали вопросы, в том числе о его отношениях с Ельциным. Пересказав всем известные факты и выразив готовность сотрудничать с Борисом Николаевичем, Михаил Сергеевич, можно сказать, попал в десятку: ничто народ так не ценит, как великодушие. Но вот, выйдя из здания, окруженный уже огромной толпой заводчан, он двинулся по территории "Уралмаша", пробившиеся к нему журналисты опять спросили о Ельцине. На этот раз Горбачев не удержался и весьма резко отозвался о способностях своего соперника.

Теперь я подхожу к наиболее существенной части своего рассказа. В поездках такого рода помощник отвечает за передачу информации прессе. Довольно сложная, можно сказать

- муторная работа. Тассовцы отдают тебе стенографическую запись выступлений, которую нужно утром следующего дня отослать в Москву. Поскольку рабочий день заканчивается в резиденции поздним ужином, на эту работу остается только ночь. Вдобавок запись пестрит пробелами и полна загадок - делалась на ходу, когда репортера то и дело оттирали от президента, да и многое, что неплохо воспринимается на слух, выглядит несолидно, а то и неприлично на бумаге.

Позволю себе еще одно замечание профессионального свойства. Письменная информация должна быть, разумеется, как можно ближе к тому, что было произнесено публично. Это тем более существенно, что телевидение дает прямой репортаж, и если на другой день в газетах читатели, особенно специалисты, не найдут того или иного выражения, то это уже достаточный повод для размышлений и спекуляций. С другой стороны, должны быть убраны всякого рода оговорки, повторы и очень уж неудачные словосочетания, от которых в конце концов не застрахован никто. Эта работа очень ответственна, и Горбачев никогда не жалел времени на просмотр отредактированного текста перед его отправлением в печать. В то же время, многократно убедившись в том, что редакция делается квалифицированно, с должным чувством меры, он стал доверять А.С. Черняеву и мне действовать "в полевых условиях" на свой страх и риск.

Правда, бывали у нас иногда по этому поводу и небольшие стычки. Черняев предпочитал меньше вторгаться в запись сказанного президентом. У меня, как у человека, работавшего в издательствах и журналах, большая склонность к литературной обработке текста. Иной раз Михаил Сергеевич досадовал: "Вот, Георгий, опять самоуправствуешь. Почему вычеркнул такую-то фразу?" Я объяснял, что сделал это, чтобы устранить дословный повтор. "Ну ладно. Бог с тобой. Только, смотри, не перестарайся, а то все норовишь сделать по-своему". Так на мирной ноте заканчивались попреки, никогда дело не доходило до прямого выражения недовольства результатами моей работы. И единственный раз это случилось как раз в Свердловске.

Я взял на себя смелость сократить наиболее резкие его высказывания по адресу Ельцина, считая, что публичная словесная перепалка не украшает политического деятеля. Мы обсуждали это место с Георгием Владимировичем Пряхиным и тассовцами. Они были единого со мной мнения. Закончив работу, поспешили в аэропорт, и уже в воздухе состоялся крайне неприятный разговор. Вызвав меня в свой отсек, Михаил Сергеевич спросил:

- Ты почему опустил мои слова о Ельцине?

Я возразил, что его оценки Бориса Николаевича только сокращены, и объяснил почему.

- Вы не должны были этого делать, не имели права, - вмешалась Раиса Максимовна.

Должен сказать, за время многих наших совместных поездок это был первый и последний случай, когда она позволила себе упрекнуть меня. Видимо, уж очень высокого накала достигла антипатия к Ельцину, и это можно было понять после грубых нападок, с какими тот обрушился в то время на президента.

Неудовлетворенный моими разъяснениями, Михаил Сергеевич попросил показать полный текст стенограммы, и по возвращении в Москву мне пришлось довольно долго копаться с этим делом. Убедившись, что общий смысл высказываний сохранен, а убраны лишь некоторые грубоватые, скажем прямо, выражения, он успокоился.

Два других эпизода, о которых я хочу рассказать, показывают другое свойство Горбачева: как бы ни был он оскорблен своим соперником и с какой бы резкостью о нем ни отзывался, никогда не считал он возможным переступить рамки допустимого в политической борьбе.

Обычным своим узким составом мы работали в Ново-Огарево, когда Вадиму Медведеву, как члену Политбюро, ведавшему идеологией, передали заметку из итальянской газеты "Република", которая в издевательских тонах описывала пребывание Ельцина в США и утверждала, что он предается там чуть ли не ежедневному пьяному разгулу. Состоялось оживленное обсуждение: стоит или нет публиковать ее в нашей печати? Почти все говорили, что дело беспроектное, речь идет всего-навсего о перепечатке, и



непонятно, почему надо щадить человека, который переходит границы дозволенного; он подставился, а значит следует этим воспользоваться, в конце концов борьба есть борьба. Кто-то, правда, выразил сомнение: чем больше ругают Ельцина в официальной прессе, тем больше ему сочувствует народ. На Руси принято сострадать мученикам и гонимым властями, так что бросить лишний камушек в его огород - только помочь ему набрать очки.

Горбачев задумался. Встал, походил по просторной продолговатой комнате на первом этаже, в которой шла работа. Подошел к застекленной двери, выходящей на веранду. Был уже вечер, шел сильный дождь, косые его струи били в окна. Шумели листвою исполинские деревья в парке. Мы сидели за столом, каждый на своем привычном месте. Я - слева от Горбачева, справа от него Яковлев, затем Черняев. По ту сторону - Болдин, Медведев, Фролов. Молча ждали решения генсека. Он еще раз прошелся вокруг стола, потом остановился у своего кресла и, оглядев нас, сказал:

- Не лежит у меня душа. Что-то в этом неэтичное. Конечно, от Бориса всякого можно ожидать, но не будем же мы ему уподобляться.

Были после этого еще попытки убедить Михаила Сергеевича, но он остался при своем.

- Ну а если все-таки какая-то газета перепечатает? У нас теперь свобода печати, никому не закажешь, - спросил кто-то.

Горбачев развел руками.

На том и порешили, Медведев передал в ТАСС указание: никаких рекомендаций газетам о перепечатке статьи из "Республики" не давать. А на другой день она красовалась в "Правде". И хотя редакция поступила так по собственному почину, все равно этот эпизод был воспринят в обществе как инспирированная руководством очередная злонамеренная попытка дискредитировать Ельцина. "Правде" пришлось перед ним извиняться\*, а Горбачев позвонил редактору В.Г. Афанасьеву, отчитал его.

Было немало и других случаев, когда он с брезгливостью отвергал советы доброхотов устроить какую-нибудь вылазку против Ельцина. Ему явно претило мелкое интригантство в борьбе против своего соперника. Не говорю уж о коварстве - качестве, которое пытаются приписать ему недруги и которое вовсе ему не присуще. Обладая практически неограниченной властью, он имел тысячи возможностей убрать Ельцина со своего пути. Да хотя бы отправить его послом, а не оставить в Москве пусть на второстепенном, но все же министерском посту, и тем самым дать возможность продолжить политическую карьеру.

Бессмысленны и домыслы - якобы предпринимались попытки его физического уничтожения. Можно не сомневаться, что КГБ вел за ним наблюдение и чинил мелкие пакости. Но если бы было принято решение устранить лидера оппозиции, да еще получено согласие на это с самого "верха", то уж такой приказ был бы наверняка выполнен. Надо быть уж очень наивным, чтобы верить, что наши органы безопасности совершили несколько покушений на Ельцина и спасла его лишь одна Божья благодать.

Летом 1989 года я дал интервью немецкому журналу "Шпигель". Корреспондент задал вопрос, не собирается ли Горбачев арестовать Ельцина за призыв к мятежу. Я ответил, что у президента другой стиль, он с оппонентами не расправляется, а пытается найти общий язык. Ну а если не получается, что ж, тогда политическая борьба.

Когда я пересказал это Михаилу Сергеевичу, он с жаром воскликнул:

- Ну, скажи, Георгий, разве я не относился к Борису сдержанно, не позволяя себе и другим даже выступать с сильными выражениями по его адресу, хотя оснований для этого было более чем достаточно. Я уж не говорю о том, что пригласил его в руководство, защищал от Егора.

- А теперь он вас по-своему отблагодарил, требуя отправить в отставку.

- Да, теперь, я считаю, он переступил черту. Но все равно, мы не боксеры, а политики и должны держаться определенных правил. По крайней мере, я другого не принимаю.

- А почему бы не удовлетворить его амбиции. Скажем, сделать вице-президентом?

- Не годится он для этой роли, да и не пойдет. Ты его не знаешь. У него непомерное честолюбие. Ему нужна вся власть, и ради этого он решится на что угодно.

Этот прогноз не замедлил подтвердиться. Позиционная борьба соперничающих лидеров вскоре перешла в стадию открытой войны на всех мыслимых фронтах. Временами они сходились, так сказать, в рукопашную, обмениваясь увесистыми политическими заявлениями и уничижительными оценками. Но инициатива постоянно исходила от Ельцина. Причем если до этого он держался на заднем плане, вступал в бой только после артподготовки, проведенной штабом и активистами Демороссии (массированные атаки на правительство в прессе, массовые демонстрации в Москве и Ленинграде, забастовки шахтеров), то после смерти А.Д. Сахарова занял место впереди атакующей колонны. Тараном, с помощью которого наносились мощные удары по союзному руководству и президенту, стала идея российского суверенитета.

После резкого "антицентристского" выступления Ельцина на Второй сессии Верховного Совета РСФСР (16 октября 1990 г.) Горбачев предложил обменяться мнениями на Президентском совете. Приговор был общим: это - объявление войны, а вот как реагировать - голоса разделились. Одни высказывались за решительный публичный отпор, другие предостерегали, что ничего хорошего из этого не получится. Все дружно сетовали на прессу, которая чуть ли не целиком подыгрывает "демороссам".

Пожалуй, сильнее других выступил Рыжков.

- Первая атака в сентябре, - сказал он, - захлебнулась, и теперь Ельцин начинает новую. Он не успокоится, пока нас не добьет либо сам голову сложит. Вокруг него собралась циничная публика. Согласия с ними быть не может. То, что вы, Михаил Сергеевич, пошли на компромисс, ничего вам не добавило.

Я сидел вчера со своими замами. Одни за то, чтобы сражаться, другие скисли, говорят: "Мы выдохлись, управлять не в состоянии, вожжи у нас отобраны". В конце концов это не связано с Ельциным. Может быть, пойти на создание коалиционного правительства?

- Это путь "Солидарности", - возразил кто-то.

- И бог с ним, - продолжал Рыжков. - О нас уже говорят: не бей лежачего. Больше так работать не сможем, будем вынуждены ставить перед президентом вопрос об уходе. Партия - Ивашко, Дзасохов - тоже не поддерживает правительство, что же нам, искать другую партию? Мы прокоммунистическое правительство, а родная партия говорит, что она в оппозиции. В Верховном Совете у нас нет поддержки депутатов-коммунистов. Я уже не говорю о средствах массовой информации - те нас недоумками изображают. Это правительство, в котором 7 академиков и 20 докторов наук.

Впереди худшие времена. Любые попытки удержать производство от обвала в 1991 году не проходят; директора озверели, слушать ничего не хотят, да их можно понять. Словом, нужно говорить с народом, не сосредотачиваясь на Ельцине.

"Не Ельцин идет к власти, - прозвучала реплика, - а Бурбулис".

Горбачев согласился, что не следует видеть за всеми проблемами одного Ельцина. В обществе нарастает хаос, и люди требуют порядка, поддержат каждого, кто возьмется его навести даже крайними мерами. Расчеты демократов, пришедших к власти в Москве, Ленинграде, что им удастся управлять лучше коммунистов, не оправдались. Хотя мы им не мешаем, напротив - поддерживаем. Попов уже заявил, что им надо переходить в жесткую оппозицию. Дела делать не умеют, только политиканствовать. В окружении Ельцина есть и такие, кто за сотрудничество с нами. Надо двигать Союзный договор.

В тот же день Горбачев встретился с секретарями ЦК и порекомендовал не кричать караул, а говорить, что конфронтационный тон Ельцина не на пользу дела, что общество хочет гражданского мира и консолидации. Это святая правда. Нарастает поток писем и телеграмм от встревоженных граждан. Страна вызывает к двум лидерам: Михаил Сергеевич, Борис Николаевич, помириться, Христа ради! И они встречаются. Горбачев, потому что у него нет выхода, одна надежда урезонить соперника, воззвать к его патриотическим чувствам. Ельцин, чтобы продемонстрировать миролюбие и готовность к компромиссу. А параллельно с долгими беседами, взаимными заверениями и обещаниями парламент и правительство России изо дня в день ведут методическое наступление на союзные власти,

отбирая у них предприятие за предприятием, банк за банком, отрасль за отраслью, заключая договора с другими республиками и сколачивая антисоюзный блок.

Чем дальше идет эта двойная игра, тем отчаяннее становится положение президента. Вроде бы и соперник утихомирился, а дела все равно идут все хуже, беспорядок усиливается. Ему не остается ничего иного, как просить у Верховного Совета дополнительных полномочий. И тут на Горбачева обрушивается иезуитски подготовленный удар. Ельцин обвиняет его в попытке установить диктатуру. "Такого объема законодательно оформленной власти, - заявил он, - не имели ни Сталин, ни Брежнев. Крайне опасно, что президентская власть у нас формируется под личные качества и гарантии конкретного человека. Фактически Центр стремится сделать конституционное оформление неограниченного авторитарного режима"\*.

Это говорилось в то время, когда у президента и союзного правительства фактически не было уже никакого контроля за ходом событий - его, следуя за Россией, перехватили республики.

В тот же день перед заключительным выступлением Горбачева меня попросили подняться на третий этаж в один из кабинетов президента. Там была Раиса Максимовна. Она спросила, что я думаю относительно выступления Ельцина.

Я пожал плечами.

- Объявление войны, уже не первое. Но еще не начало боевых действий.

- А как, по-вашему, надо ответить?

Я сказал, что советовал президенту без обиняков раскрыть перед страной смысл плетущейся против Союза интриги. А одновременно связать Ельцина и других глав республик предложением начать совместную работу над Союзным договором, чтобы положить конец искусственному ее затягиванию.

- Боюсь, - сказала Раиса Максимовна, - медлить больше нельзя. Этот человек идет ва-банк.

Нападки на президента шли по нарастающей.

"Либо он встанет на путь переговоров с Литвой (переговоры велись. - Г.Ш.), откажется от своей попытки установить диктатуру и сосредоточить абсолютную власть в одних руках, - а все идет именно к этому, - либо он должен уйти в отставку, распустить Верховный Совет и Съезд народных депутатов СССР... Если Горбачев попытается добиться диктаторских полномочий, Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан отделятся от СССР и создадут свой собственный союз"\*.

"Я предупреждал в 1987 году, что у Горбачева в характере есть стремление к абсолютизации личной власти. Он все это уже сделал и подвел страну к диктатуре, красиво называя это "президентским правлением". Я отмежевываюсь от позиции и политики президента. Выступаю за его немедленную отставку, передачу власти коллективному органу - Совету федерации республик"\*\*\*.

20 февраля президент собрал свое ближнее окружение. Настроен был мрачно. Начал размышлять вслух:

- Происходит нечто подобное тому, что случилось в 1987 году. Придя в Моссовет, Ельцин энергично взялся за дело, начал менять кадры. Я его поддержал. Но, разделившись с первой "гарнитурой", он пошел по второму кругу, потом по третьему. У него нет вкуса к нормальной работе. Видимо, ему для тонуса нужно постоянно с кем-то драться. Не случайно понравился Егору своей крутостью, и тот рекомендовал его на Москву. В нем гремучая смесь, способен только на разрушение.

Ситуация созрела, нарыв готов прорваться. Ельцин хотел сколотить "союз четырех" (т.е. России, Украины, Белоруссии и Казахстана), но эта затея сорвалась. Теперь поехал в Ярославль подстрекать к неповиновению, забастовкам. Упрощать не следует. Положение серьезное. Многие верят, что он за бедных.

Знаете, - сказал нам Горбачев, - если на референдуме народ пойдет за "демороссами" и проголосует против Союза, мне не останется ничего иного, как уйти. Это - последний рубеж. Но я верю, что этого не случится.

Уверенное "да" Союзу на референдуме дало уникальный шанс переломить ход событий, и Горбачев его не упустил, предложив руководителям республик собраться в Ново-Огарево и в сжатые сроки завершить работу над Союзным договором. Ельцин, готовившийся к предвыборной борьбе за президентское кресло, вынужден был согласиться. Он просил Горбачева сохранять нейтралитет на этих выборах. Михаил Сергеевич обещал ему это и слово сдержал. Ни сам президент, ни его команда не пытались вмешиваться в избирательную кампанию, а когда Ельцин победил - Горбачев принес ему свои поздравления и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.

Президент России попросил Президента Союза "благословить на царствие". Разговор в пересказе Горбачева был любопытный.

"- Не следует ли организовать прямую трансляцию церемонии на Красную площадь? - спросил Ельцин.

- Зачем? И так ведь будут передавать по телевидению, а в этом случае получится столпотворение, не дай бог, новая Ходынка.

- Не следует ли дать залп из 24 орудий?

- Хотел сказать: "Ворон распугаешь и людей насмешишь", но он ведь обидчив. Я его начал отговаривать.

- На чем присягу принимать, на Конституции или Библии?

- Понимаешь, Борис Николаевич, покажется странным, если на Библии, ты ведь не шибко верующий.

- А как же в США присягают президенты!

- Так у них другая культура, традиции. К тому же в России миллионы мусульман, они обидятся: почему не на Коране. Или еще евреи - на Торе".

- Какие амбиции, - вздохнул Горбачев, - и простодушная жажда скипетра. Как это совмещается с политическим чутьем - ума не приложу. Однако, черт знает, может быть, именно в этом секрет, почему ему все прощается. Царь и должен вести себя по-царски. А я вот не умею.

Лето 1991-го было относительно спокойным в отношениях двух лидеров. Они, правда, не раз схватывались при отработке текста Союзного договора, но с помощью Назарбаева и других участников новоогаревских "сидений" удавалось найти компромиссные решения. Раза два даже пообедали и, чокаясь, пообещали друг другу лояльно сотрудничать в рамках создаваемой федеративной государственной структуры. Горбачев поверил. И только после августа стало выясняться, что параллельно с "новоогаревским процессом" велась интрига, имевшая целью сорвать подписание Союзного договора. Или добиться внесения в него поправок, которые свели бы полномочия союзных органов к прерогативам Европейского Совета. Ельцин, Кравчук и Шушкевич готовили свой вариант антисоюзного заговора, и, опередив их, гэкачеписты только сыграли им на руку.

Горбачев проиграл, хотя явно превосходил своего соперника и находился в несравненно более сильной исходной позиции. В свое время ему писала одна доброжелательница: "Михаил Сергеевич, вы сильнее Бориса Николаевича, сделайте первый шаг, протяните ему руку. Ведь ваш спор может повлечь за собой раскол страны и гражданскую войну. Не допустите этого!"

Сделав эту выписку, я подумал, что здесь, как нередко бывает, перепутаны причины и следствия. Конечно же, не взаимная неприязнь Горбачева и Ельцина грозила вызвать национальный раскол. Наоборот, глубокое расхождение в народном сознании проявило себя через отношения двух лидеров. Но в то время это была всего лишь смутная догадка, мне, как и многим другим, казалось, что для вражды нет серьезных оснований. Больше того, они вроде бы делают в конечном итоге одно дело - тянут страну из одного качества в иное, разрушают тоталитарную модель, строят, как могут, демократическое государство.

Эта точка зрения распространена и поныне. Девяносто процентов аналитиков и широкое общественное мнение видят разницу между Горбачевым и Ельциным только в том, что один более твердо и решительно проводил начатую другим политику реформ. Нечто

вроде бегунов, передающих друг другу эстафетную палочку. Вот как излагает такую концепцию американский политолог Роберт Легволд: "И у Горбачева, и у Ельцина совершенно разная историческая роль. Михаил Горбачев был необходим как лидер, чья задача заключалась в том, чтобы начать преобразования в стране, приступить к демонтажу советской системы. Но, будучи человеком этой системы, он был ограничен определенными пределами. И когда жизнь стала обгонять его отношение к переменам, возникла необходимость в новом лидере, сознающем появление новых факторов в общественном сознании. Главными из них стали пробуждающийся национализм и обреченность Советского Союза как единого государства"\*.

Таким образом, здесь "разная историческая роль" двух лидеров рассматривается в плоскостном плане - один сменил другого, пошел дальше. При этом Легволд указывает только на одну сторону дела, связанную с национально-государственным устройством. Между тем он мог бы добавить социальную сферу, в которой Ельцин по своему разумению или понукаемый окружением намного "опережает" Горбачева. Не успев избавиться от пресловутого Союзного центра, дав себе передышку после "взятия Кремля" всего-навсего пару недель, Президент России приступил к шоковой терапии в экономике; буквально схватив страну за шиворот, потащил ее, полуголодную, упирающуюся, не очень понимающую, чего от нее хотят, десятилетиями приученную жить по плану и повиноваться партии, к частному предпринимательству, всевластию банков и бирж, формированию заново отечественной буржуазии и вообще всему тому, что присуще, как говорили раньше, капиталистическим или западным, а теперь говорят цивилизованным странам.

Но вся концепция строится на ошибочной посылке, будто Горбачев как "человек Системы" не мог уйти за пределы ее притяжения, порвать пуповину, связывавшую с прошлым, а Ельцин смог. Для подобной "разности потенциалов" должны быть определенные психофизические предпосылки. А где они? Оба принадлежат к одному поколению, больше того, одноклассники. Выросли в бедных семьях, в полном смысле выходцы из народа. Формировались в одной и той же политической атмосфере. Сумели подняться по лестнице партийной иерархии, а это требует определенного типа мышления и навыков, становящихся второй натурой. Что же касается образования, то у Горбачева, как политика, явное преимущество - он юрист в отличие от инженера Ельцина.

Могут возразить: какое все это имеет значение, тут ведь речь не о воспитании и образовании, а об умонастроении, политических убеждениях, наконец, свойствах характера и талантах, благодаря которым один становится трибуном, а другой писарем, один отважно штурмует небеса, а другой прячет голову под крыло страуса. Мало ли, что происходит из одного теста! Горбачев дотянул свою колымагу-перестройку до заставы, а дальше не смог - то ли выдохся, используя его собственное излюбленное выражение, "исчерпал потенциал", то ли не посмел, испугался. А вот Ельцин не побоялся, впряг свою медную грудь в постромки да рванул так, что страна понеслась вихрем к высотам цивилизации.

Это распространенное представление было бы недалеко от истины при одном условии - если бы Горбачев оказался действительно не в состоянии перешагнуть черту, которая в нашем мистифицированном общественном сознании отделяла социализм от капитализма. В действительности его можно обвинить в чем угодно, только не в догматизме. Находясь у кормила власти, он демонстрировал способность постоянно обновлять свою программу. Как всякий здравомыслящий человек и отменный прагматик, если на пути его возникают препятствия, не предусмотренные теорией, не отказывается их признать, а стремится обойти. Для твердолобых защитников "принципиальности" такая гибкость равнозначна предательству, по их разумению, лучше разбить голову о камень, чем допустить, что великий "картограф" ошибся, не обозначив его на данном месте. Но разве не так поступал Ленин, меняя "всю нашу точку зрения на социализм" всякий раз, когда это диктовалось здравым смыслом.

Однажды у меня с Михаилом Сергеевичем был длинный разговор на мировоззренческие темы. Он сказал, что почти во всех его беседах с руководителями

зарубежных государств не обходится без обсуждения философских проблем, поскольку нет настоящей политики без надежной философской опоры. И хотя приходится иметь дело с людьми разных взглядов и убеждений, почти всегда есть возможность нащупать нечто общее.

- Не помню случая, когда я и мои собеседники не нашли бы общего языка. Трудней всего было с иранским президентом. Мы никак не могли понять друг друга, он - свое, я - свое, идем как бы на параллельных, не пересекаясь. Он мне начал всю мудрость Корана выкладывать, причем непререкаемым тоном. Я прервал: "Может быть, все-таки поступим иначе? А то ведь вы мне свое учение, я в ответ марксизм-ленинизм, так и будем друг друга поучать. Боюсь, мы для этого оба не в подходящем возрасте. Правильнее поговорить о государственных интересах. Убежден, что у Советского Союза и Ирана эти интересы во многом перекликаются, а то и совпадают". И дальше разговор принял деловой характер.

Но это исключение. Я нашел много общего, когда встречался с такими людьми, как Андреотти, Миттеран, Малруни, да и Тэтчер, Рейган, Буш. Хотя были поначалу острые стычки, спуска друг другу не давали, а все-таки нашлось немало тем, в том числе философских, по которым мы оказались близки.

- Михаил Сергеевич, а не считаете ли вы, что пришла пора всерьез двинуться навстречу социал-демократам, не ограничиваться разговорами о совместных действиях, совпадении взглядов "в некоторых сферах", общей борьбе за мир. Весь опыт нашего столетия показал, что именно социал-демократическая концепция жизненна. Наша партия тоже ведь возникла как социал-демократическая.

На это Горбачев ответил дословно следующее:

- Думаю, мы к этому придем. Сейчас еще пока рано. Ты не учишь, что всех нас воспитывали в категорическом неприятии социал-демократизма, и эта закваска еще очень сильна. Что касается меня, то можешь быть уверен, у меня на этот счет нет лимита. - Горбачев разоткровенничался и добавил: - Я-то знаю, вы иногда шушукаетесь, вот, мол, генсек переступить через догму не может. Чепуха это! Можешь не сомневаться: я пойду так далеко, как потребуются.

И действительно, еще будучи на президентском посту, не оставил сомнений на сей счет. И уж тем более позднее, когда его перестали связывать соображения политической тактики. Логическим завершением его мировоззренческой эволюции стало создание в 1999 году Объединенной социал-демократической партии России, избравшей Горбачева своим почетным председателем.

Какой вывод из этого следует? Если бы Горбачев не был выбит из седла, он довел бы начатые реформы до логического конца. Но, разумеется, по своему графику, поскольку не считал шоковую терапию хорошим средством для нашей страны, искал более эффективного и одновременно менее болезненного для людей способа перехода к рынку. Именно этим, а отнюдь не идеологическими табу объясняется и его колебание в этих вопросах. Приняв поначалу программу "500 дней", он не решился проводить ее в жизнь, опасаясь, что результатами станут катастрофическое снижение жизненного уровня, массовая безработица, социальное недовольство и политическая нестабильность.

Нет, не разными историческими ролями следует характеризовать Горбачева и Ельцина, а разными подходами к стоящей перед страной задаче, которую оба они, разумеется - с нюансами, но все же понимают одинаково. Горбачев, хотя он любил называть перестройку революцией, на самом деле был и остается реформатором по всем измерениям - по методу, стилю, по складу характера и нравственным установкам. Его природе противны "большие скачки", во всяком деле он предпочитает плавное течение событий. Стремится не рубить негодный сук, а подпиливать его, не вводить новые порядки в течение суток, а растянуть это предприятие на достаточно долгий срок, чтобы не потрясти общество, не выбить его из колеи. Горбачев, если можно так выразиться, неисправимый центрист, а центристы никогда не были сторонниками лихих революционных наскоков. Центрист, если он не консерватор, значит, реформатор.

Иное дело Ельцин. По складу своего политического дарования он революционер и чувствует себя в своей стихии только тогда, когда атакует. Эту сторону его натуры отмечают многие. Ельцин прекрасно смотрелся, когда произносил речь, стоя на танке у прикрытого баррикадами Белого дома. Горбачева трудно, если вообще возможно, представить в такой роли. Ему больше подходят трибуна, зал, освещенный хрустальными люстрами, доверительная беседа с "ходоками".

Если революции ругают за разбой, разгул, крайность, то реформы - за половинчатость, убогость, робость. А ведь иной раз за всем этим стоит отнюдь не чрезмерная осторожность, а более или менее точный расчет. Так что не следует торопиться с осуждением Горбачева как "кунктатора". По мнению многих взыскательных аналитиков, масштаб и сложность преобразований, в которых нуждалась наша страна, таковы, что оптимальным было бы растянуть их на два-три десятилетия. Какой же Горбачев кунктатор, если он в июне 1988 года провел XIX партийную конференцию, на которой определил задачи политической реформы, а уже в начале будущего года в Москве заседал Первый съезд народных депутатов. В течение нескольких последовавших месяцев была ликвидирована монополия Коммунистической партии на власть, признан принцип разделения властей, приняты законы о свободе печати и общественных объединениях, подготовлены предпосылки для радикальной экономической и военной реформы.

Целью Горбачева как реформатора был демонтаж тоталитарной системы. Целью Ельцина как революционера стало ее разрушение. Сейчас некоторые утверждают, что эта система не поддавалась демонтажу. В действительности к августу 1991-го она находилась почти в разобранном состоянии. Именно поэтому, между прочим, и состоялся заговор - последняя отчаянная попытка сторонников прежнего режима предотвратить неизбежный его конец. Единственным трагическим результатом ее стало то, что реформа была прервана, осталась незавершенной, а неоконченное дело взяла на себя революция, действовавшая уже по-своему, своими методами. Впрочем, она может быть названа так лишь по отношению к режиму, который добила. В большом же историческом плане это - контрреволюция\*.

После августа события развивались по формуле Горького: если враг не сдается, его уничтожают. Президент не сдавался, и его начали методически уничтожать. Когда лидеры трех славянских республик нанесли Союзу смертельный удар, когда Горбачев сдался, с ним обошлись отнюдь не по-джентльменски. Правда, упоенный победой Ельцин позволял себе поначалу быть милостивым к поверженному сопернику. Отвечая на вопрос итальянского журналиста, где Горбачев допустил наибольшие ошибки, он сказал: "Я бы не стал говорить о его ошибках. С точки зрения этики это было бы некрасиво. Мы, как и весь мир, уважаем его за то, что он сделал, особенно в первые годы перестройки, начиная с 1985-1986 годов. Даже если в 1987 году он и начал совершать ошибки, которые привели страну к нынешнему негативному периоду, он думал соединить невозможное: коммунизм с рынком, собственность народа с частной собственностью, многопартийность с КПСС. Это - невозможные союзы. Он же хотел добиться их, и в этом-то и заключалась его стратегическая ошибка. Еще раз повторяю: я бы не хотел говорить о них. Мы должны уважать Горбачева как президента Союза, который много сделал для своей страны"\*.

Но великодушие не в характере Ельцина, а смирение не в характере Горбачева. Их противостояние продолжалось, хотя уже и не в стиле русской драки. Оно все больше переносилось в сферу соревнования политических принципов, сравнительного анализа плюсов и минусов реформистского и революционного образа действий, о чем шла речь выше. Рассудить их - дело уже не толпы, а философии и истории. Не только и не столько их, сколько тех социальных сил и политических движений, которые за ними стояли, тенденций развития, которые они сознательно или интуитивно выражали.

На заседании Политбюро 20 апреля 90-го года был знаменательный эпизод. Горбачев задумался, пожал плечами и с явным недоумением, с вопросом, обращенным к себе и присутствовавшим, сказал:

- Странные вещи в народе происходят. Что творит Ельцин - уму непостижимо! За

границей да и дома не просыхает, говорит косноязычно, несет порой вздор, как заигранная пластинка. А народ все твердит: "Наш человек!"

Тогда никто не смог объяснить эту странность. А она, грубо говоря, заключалась в "раздвоении" самой России, русского народа.

И последнее замечание о личном соперничестве Горбачева и Ельцина.

Всякий, кто читал Плутарха, помнит, конечно, его излюбленный парный портрет. Взяв в герои выдающихся полководцев, трибунов, ораторов античной эпохи, этот исторический писатель подыскивал грека и римлянина, близких по масштабу деяний, достоинствам, а в известной мере - и порокам. Целью своих сравнительных жизнеописаний он ставил не изложение исторических событий, а "понимание нравственной стороны человека и его характера". Сопоставление биографий служило в сущности инструментом психоанализа.

Как ни хорош сам по себе этот прием, он страдает искусственностью. Герои Плутарха принадлежат разному времени. Цезарь не тягался с Александром в полководческом искусстве. Демосфен и Цицерон не состязались за пальму первенства в красноречии. Перикл и Фабий Максим не имели возможности полемизировать по вопросам государственного устройства или соперничать на выборах.

Прямое столкновение воли и характеров - вот двигатель истории и основной предмет для постижения человеческой природы. Не случайно мировая литература представляет по сути дела бесчисленные вариации на тему борьбы героя и антигероя. Но что любопытно: и эта более чем достоверная, повседневно встречающаяся в обыденной жизни схема приобретает натужный, искусственный вид в применении к фигурам исторического масштаба. Разве не странно, что Эрнест Ренан противопоставил Христу в роли Антихриста Нерона? Почему не Калигулу, не губителя младенцев Ирода, да мало ли злодеев было в его распоряжении? Потому, видимо, что никто из них не "тянул" на единоличное олицетворение зла, никого нельзя было противопоставить как равного обожественному олицетворению добра. Ведь противопоставить - значит в определенном смысле приравнять, но даже сам Сатана не может быть приравнен к Богу. А раз так - сойдет и Нерон, вроде бы он Рим сжег.

Нечто подобное происходит почти во всех случаях, когда течение мировых событий подчиняется воле одной личности. Можно принимать Наполеона за героя или антигероя - неважно. Но кого с ним сопоставить, кто был для него злым гением или, с другой точки зрения, спас от злодея мир - Питт, Меттерних, Александр I, Веллингтон, Кутузов? Увы, не найти равнозначной Бонапарту фигуры и среди его соратников. Хотя здесь уйма незаурядных людей, все они светятся отраженным светом его славы, тускнеют и, за редкими исключениями, исчезают без следа, когда их вождю изменяет удача.

Правда, это относится почти исключительно к военным и политическим лидерам. В литературе, искусстве, науке гений создает вокруг себя зону своего рода наибольшего творческого благоприятствования, в которой произрастают другие звезды первой величины. Как ни безмерно высок Пушкин, нельзя сказать, что он на голову выше Лермонтова и Гоголя. Три гения эпохи Возрождения Леонардо, Микеланджело, Рафаэль - не случайно встретились во времени: соперничая, они возвышали друг друга. Благородная муза не боится соревнования, будучи уверена, что превзойти ее нельзя, можно лишь создать нечто иное - пусть не хуже, но и не лучше.

В сфере политики правят другие законы. Власть и идеология не любят конкуренции. Великие правители умышленно или побуждаемые инстинктом самосохранения вытаптывают почву вокруг себя, чтоб никто не подобрался к ним врасплох. Вступая в противоборство со своими антагонистами, они смотрят на последних свысока: не как на достойных равных соперников, а как на бандитов и злоумышленников. Курбский не чета Ивану Грозному, Троцкий - Сталину. Изгои нужны самодержцам только для того, чтобы в полемике с ними укрепить у своей рати воинственный пыл. Это не более чем школа ненависти.

Дух искусства и науки устремлен к умножению талантов, дух власти - к ее максимальному сосредоточению в одних руках, к искоренению соперников. Другой вопрос, что за столетия человечество научилось кое-как обуздывать эту страсть, уравнивать



власти с помощью "сдержек и противовесов". У нас этого пока не получилось - ни в государственных структурах, ни в человеческих отношениях.

Ну а об исходе очного и заочного соперничества Горбачева и Ельцина уместно судить, сравнив результаты политики или, говоря "высоким слогом", основные деяния того и другого.

М.С. Горбачев Б.Н. Ельцин

1985-1991 гг. 1990-1999 гг.

Свободные выборы Декларация независимости  
России

Действующий парламент, Подавление августовского  
разделение властей путча в 1991 г.

Отказ от политической моно- Подписание тройственного  
полии КПСС, идейный и по- Беловежского соглашения  
литический плюрализм о ликвидации СССР

Свобода слова, совести Введение внутренней конвер  
(вероисповедания) и другие тируемости рубля  
политические свободы Наполнение потребительского  
рынка

Подготовка нового Союзного Приватизация, передача около  
договора с целью преобразо- 70% государственной соб  
вания унитарного государства ственности акционерным об  
в федеративное ществам и частным владель  
цам ("новым русским", оли  
гархам)

Де милитаризация; прекраще- Ликвидация Советов, замена  
ние войны в Афганистане их муниципальными органа  
ми, создание Федерации с пре  
зидентами и губернаторами  
во главе субъектов Федерации

Ликвидация ракетно-ядерного Расстрел Верховного Совета  
противостояния в Европе, РСФСР, Конституция РФ  
первые шаги по свертыванию 1993 г.

стратегических ядерных во- Войны в Чечне (1994-1996  
оружений и 1999-2000 гг.)

Восстановление нормальных Договор с Украиной, преду  
отношений с Китаем, Японией, сматривающий отказ России  
Южной Кореей и другими от Крыма и Севастополя  
странами

Объединение Германии, рос- Дефолт в августе 1998 г., по  
пуск Организации Варшав- влекший четырехкратное па  
ского Договора дение курса рубля (от 6 до 24  
за доллар) и жизненного уров  
ня населения

Вступление Советского Сою- Установление партнерства с  
за в МВФ и МБРР, первое НАТО, вступление в Совет  
участие в "семерке"; подписа- Европы, АСЕАН, Лондон  
ние Парижской хартии ОБСЕ ский и Парижский банков  
ские клубы

Отделение Литвы, Латвии, Участие в миротворческих  
Эстонии акциях в Боснии и Косово,  
подписание Европейской хар  
тии на саммите ОБСЕ в Стам

буле  
Распад СССР Заключение Договора о Союзе  
России и Белоруссии  
В тисках

Созидательный, героический этап реформации Горбачева завершился падением Берлинской стены. К тому времени он сделал все, что смог (или успел?): ввел свободу слова, сотворил парламент, положил начало обузданию милитаризма, снес "железный занавес". Мир продолжал ему рукоплескать, он и сейчас пользуется уважением и симпатией, каких не знал ни один русский человек, за исключением Льва Толстого. Но из бутылки, плотно запечатанной Сталиным и откупоренной Горбачевым, уже вырвались на волю силы, которым суждено было сокрушить своего освободителя. У него уже появился грозный соперник, которого он вытащил из провинции, вознес на политический олимп, а затем неловкими действиями помог вырасти в глазах народа в равного себе лидера. И, наконец, на него ополчилась его собственная партия, у которой он отнял власть, чтобы передать ее легитимным органам народного представительства.

Наступал этап изнурительной борьбы реформатора с левыми, правыми и самим собой. Реформы захлебываются, топчутся на месте, общество трещит по швам, беспомощно болтается, как корабль в бурю, на борту которого бунт, а капитан сомневается в показаниях компаса и правильности проложенного им курса.

С того момента, как оппозиция у нас оперилась, она не перестает уличать Горбачева в том, что у него не было и нет программы. А он с возмущением отвергает эти обвинения, заявляя, что с самого начала заглядывал далеко вперед и намеревался идти до конца. Полагаю, стороны в споре говорят о разных вещах. У Горбачева, безусловно, была выношенная за жизнь программа, которой он остался верен до завершения своего правления, - утвердить в стране демократию и интегрировать ее в мировые структуры. Но это была не та или не совсем та программа, которую хотели видеть наши радикалы. И совсем не та, какая пришлась бы по душе нашим консерваторам. Первые требовали полного и безоговорочного разрыва с системой, вторые - "совершенствования", не покушающегося на ее устои. Горбачев же считал необходимым сохранить социалистические принципы при полном обновлении общественной модели. Не соглашался ни с отказом от первоначальных ценностей Октября, ни с поверхностным ремонтом тоталитарного монстра. Он оказался, таким образом, в идейно-политическом центре, в право-левых тисках. И в итоге был раздавлен.

Похожая участь постигла Александра II. Революционные демократы требовали освобождения крестьян с землей, помещики соглашались на некоторые послабления в крепостном праве, а царь и его советники приняли промежуточное решение. В наказание народовольцы уничтожили Александра II физически. Современные же радикалы распыли Горбачева морально. У каждой эпохи свои методы расправы с реформаторами.

Но это случилось уже на исходе второго этапа горбачевской эпопеи, завершившегося в августе 1991 года. А весь 1990-й и первая половина 1991-го еще заполнены острой политической и идейной борьбой, которая прерывается отдельными фронтальными схватками, но в основном носит маневренный характер. Как небесные тела, едва выделившиеся из хаоса, находятся в расплавленном состоянии, не сразу обретают четкую конфигурацию, так и социальные силы, разбуженные перестройкой, не успели еще окончательно сгруппироваться, определить свое идейное кредо и местоположение на общественном форуме, избрать стратегию.

Все революции по мере их развития демонстрируют перемещение с фланга на фланг, а подчас и перелицовку участвующих в них политических сил. Можно принять за общее правило, что правые постоянно левеют, чтобы не потерять доверие масс. Народ разогревается медленно, не сразу избавляется от страха перед мечом и кандалами, которые держали его в повиновении. Но с того момента, как он почувствует, что оковы сброшены, стремительно растут его эгалитаристские притязания, а вместе с ними и то, что можно назвать революционной яростью, неудержимое желание смести старые порядки и

вытряхнуть рухлядь, которая при них преуспевала.

Чтобы не быть раздавленным в этом смерче, даже отъявленные консерваторы и ретрограды предпочитают напяливать на себя фригийские колпаки и вдевать в петлички красные ленточки. Они мимикрируют в ожидании часа, когда, разрушив вместе со старым порядком всякий порядок вообще и оставшись без хлеба, массы оборотят свой гнев против вчерашних кумиров. Так было во Франции, так было и в России, с той разницей, что якобинцы дали застигнуть себя врасплох и им снесли головы, а большевики, проявив решительность, жестоко расправились с мятежами в Кронштадте и на Красной горке, подавили крестьянские бунты и... "сим победиши".

При сходстве революций, у каждой из них, разумеется, свой почерк. В этом отношении "кривая перестройки" "кривее" всех других общественных переворотов. В самом деле, у ее истоков все общество за ничтожными исключениями безоговорочно поддерживает предложенные перемены, полагая, что "так дальше жить нельзя". Даже ретрограды записываются в ряды реформаторов, рассчитывая, что Горбачев, по примеру Рузвельта, всего лишь укрепит существующие, сильно расшатанные порядки. С другой стороны, радикалы из радикалов еще не смеют надеяться, что сбудется их тайная мечта перевести Россию в разряд "цивилизованных западных стран", и готовы пока довольствоваться малым. Их аппетиты растут только по мере того, как выясняется, что, выпустив революционного джинна, Горбачев уже не в состоянии загнать его обратно в бутылку - уместно добавить, водки. Вот тогда они по-настоящему берутся за дело.

Стоит полистать страницы газет тех лет, вспомнить первые программные заявления кандидатов в народные депутаты, а затем и предвыборные документы вновь возникших многочисленных партий, чтобы увидеть, как быстро меняли они свои ориентиры и обнажали истинные намерения. Всего лишь через год после Первого съезда народных депутатов СССР, который прорвал плотину страха и впервые за послеоктябрьский период утвердил в нашей стране легальную оппозицию, многие из тех, кто еще вчера клялся в верности коммунистическим идеям, объявили себя социал-демократами, затем побывали в либералах и окончательно самоопределились в качестве христианских демократов или даже монархистов. Другие проскочили туда без промежуточных остановок, так сказать, "зонным составом".

В этом нет ничего удивительного, потому что в прежней системе публичное существование каких-либо иных взглядов, кроме коммунистических, просто исключалось. Я не вижу основания корить людей, которые воспользовались дарованной им свободой и открыто заявили о своем истинном идейном веровании. Только тупоголовые ортодоксы могут инкриминировать им в этой связи так называемое отступление от принципов. Принципы имеют смысл при условии, если никто не возбраняет вам избрать другие.

Столь же легко понять, что на первом этапе формирования политических партий неизбежна была своего рода сутолока, когда каждый ищет себе место, столбит участок на социальной ниве, ревниво поглядывая на удачливых соседей и переругиваясь с ними. Нечто вроде захвата золотиносных жил в целинном Клондайке. В этой кутерьме неизбежны и своеобразные кульбиты, когда тот или иной деятель попал по спешке не в свою партию, и она его отторгает. Или, напротив, ему самому разонравилась избранная команда, и он перебегает в другую, часто на противоположный фланг. Или крайне правые и крайне левые, не найдя себе союзников из числа ближних соседей, скрепя сердце заключают блоковые соглашения. Вещи такого рода обычны и в устоявшейся политической системе, а уж в нашей буче без них и быть не могло.

Но вот вопрос вопросов: кто правые и кто левые? Не разобравшись в нем, бесполезно пытаться правильно оценить ход политической борьбы.

Изначально принято именовать левыми партии или группировки, которые отстаивают (по крайней мере на словах) интересы обездоленных, трудящихся, в широком смысле - простого народа. В их программных установках равенству отдается предпочтение перед свободой, коллективизму перед частной инициативой, государственному регулированию

отводится, как минимум, не меньшая роль, чем рыночной стихии. Левые всегда недовольны существующей системой, хотят ее изменить и потому требуют реформ или революции.

Правые, естественно, полярная противоположность левых. Защищая интересы богатых, преуспевающих, как правило, власть предержащих, они по самой своей природе либо консерваторы, туго и с неохотой соглашающиеся на новшества, либо вовсе реакционеры, отрицающие необходимость социального прогресса.

Примерно такую характеристику можно извлечь из политических словарей. Вот как БСЭ пишет о правых социалистах: "Реформистские деятели социал-демократических партий, отрицающие революционные принципы марксизма, проводящие политику классового сотрудничества пролетариата и буржуазии".

Подставив под эти "словесные портреты", с одной стороны, самых отчаянных наших "бунтарей - леваков" - скажем, Юрия Афанасьева или Глеба Якунина, а с другой - столь же отчаянных правых "охранителей" - скажем, Виктора Анпилова и Сергея Бабурина, невольно придешь в замешательство. По идейным своим установкам и лозунгам, по речам и поступкам те и другие никак не подпадают под хрестоматийные определения. Выясняется, что левые у нас не левы, а правые не правы. И в некотором смысле все обстоит наоборот. В чем тут дело? Аберрация зрения, самообман, обман?

Всего понемногу, и уяснить это стоит, потому что речь идет, может быть, о самом фундаментальном вопросе - социальном содержании нашей реформации.

Прежде всего надо обратить внимание на то, что положение в Советском Союзе объективно не соответствовало традиционной ситуации, от которой и произошли представления о борющихся партиях как левых и правых. Наше общество, как к нему ни относиться, возносить или проклинать, было продуктом Октябрьской революции и при всех искажениях начального замысла сохранило свою первозданную суть. После экспроприации буржуазии вся собственность сосредоточилась в руках государства - как ее ни называй, это антипод частной собственности. Политический режим - тоталитарный, у власти партократия, но это ведь не князья и не магнаты, а люди из народа. Все вожди да и 90 процентов партийно-государственного руководства, генералитета, других отрядов правящей элиты - выходцы из рабочих и крестьян в первом поколении. Планирование доведено до абсурда, но оно опять-таки антипод конкуренции и рыночной стихии. До главной цели коммунизма - уничтожения классов далеко, но равенства здесь больше, чем в каком-либо другом обществе. У нас не было буржуазии, и даже правители, живущие на этом свете не хуже арабских шейхов, уходя на тот свет, оставляли детям ничтожное, по нынешним понятиям, наследство, а то и вовсе ничего, как Сталин своей дочери Светлане.

Трагедия нашего общества в том, что все в нем было чудовищно перекошено в сторону общественного начала. Повсюду - в экономике, политике, в духовной и частной жизни был перейден разумный предел применения социалистических принципов. Их безусловные достоинства начали оборачиваться недостатками, а затем, как бывает при неумеренном потреблении чего угодно, вести к деградации. Это явный абсурд, но абсурд социалистический, болезнь на почве злоупотребления социальным. И не случайно все попытки поправить дело имеют противоположный вектор. Таков смысл начатых и брошенных на полдороге экономических реформ конца 50-х, середины 60-х и начала 80-х годов. Требования рентабельности, прибыли, сокращения плановых показателей, свободной торговли и т. д. диктовались пониманием необходимости выправить чрезмерно "левый" крен экономики. И хотя идеологи объявляли это "совершенствованием социализма", всякий мало-мальски соображающий человек понимал, что речь идет о привитии нашему чихающему хозяйственному механизму порции бодрящего капиталистического фермента.

Короче, наше общество было даже не просто социалистическим, а чересчур социалистическим. Но раз так, понятия "правые" и "левые" должны были по отношению к нему поменяться местами, как "меняются местами" руки, когда смотришь на себя в зеркало. С этой точки зрения Афанасьев и Якунин, открыто призывавшие к полному разрыву с социализмом, конечно же, правые, а Анпилов и Бабуринов - стопроцентные левые.

Требуется, правда, уточнение. Партии осознают свое место в спектре политических сил, определяясь не только в отношении великих социальных вопросов: собственности и государства, но и в отношении конкретного режима, с которым они имеют дело. В этом смысле наши межрегионалы имели все основания объявить себя демократами, поскольку добивались полного искоренения тоталитаризма и воплощения парламентской демократии в ее классическом образце. Это послужило основанием и для закрепления за ними звания "левые". Звания выгодного и почетного, которое в массовом политическом сознании ассоциируется с понятиями "прогрессивные", "передовые", в то время как "правые" - с понятиями "ретрограды", "реакционеры".

Но если на первых порах, пока в центре общественной борьбы стоял вопрос политического устройства, гордое звание "левые" наши межрегионалы носили заслуженно, вроде красной гвоздики в петлице, то позднее, когда вперед вышел вопрос социальный, обнаружилось, что к левизне-то как раз у партий и деятелей, вылупившихся из межрегионального гнезда, устойчивая аллергия, а то и отвращение. За редкими исключениями, они подняли знамя не социал-демократическое, а либеральное или консервативное.

Тогда-то и пришлось в голову назвать вещи своими именами. Пусть каждый значится по тому политическому направлению, какого придерживается. Зачем морочить голову людям? Разве могут именоваться левыми те, кто отнятые реформацией у партократов первоклассные закрытые поликлиники, больницы, санатории отдает в пользование новоиспеченным буржуа, открывает для них ночные клубы и игорные дома, а главное - прокладывает дорогу к рынку методом шоковой хирургии, под ножами которой найдут гибель многие миллионы людей.

Потребность внести ясность в расстановку политических сил стала особенно настоятельной в начале 1991 года, когда Горбачев подвергался яростным атакам с двух флангов. Слева на него давили бывшие соратники по Политбюро, справа рвали зубами радикалы. Надо было с предельной откровенностью объяснить людям ситуацию, раскрыть им глаза на цели и намерения борющихся политических лагерей, застолбить, наконец, собственную позицию и постараться привлечь на свою сторону всех здравомыслящих.

Возник и благоприятный "микромомент" для такого прямого разговора. Горбачева покинули те из его окружения, кто тяготел к радикалам, - А.Н. Яковлев, Э.А. Шеварднадзе, С.С. Шаталин, Н.Я. Петраков. А с "охранителями", остававшимися на министерских постах, его отношения резко ухудшились. Они еще не выступили с инвективами в Верховном Совете (впрочем, это случится очень скоро), но заговор зрел. В этих условиях, может быть, впервые за долгое время он был избавлен от сильных внешних воздействий, максимально свободен в выражении своих истинных, сугубо центристских убеждений. Это и было сделано в речи на политическом собрании в Минске 28 февраля 1991 года.

В речи прозвучало несколько принципиальных констатаций. Что в условиях действующих демократических институтов события направляются уже не партией и не одним президентом, становятся результатом взаимодействия политических сил. Что в стране развернулась ожесточенная борьба за власть, в которой радикалы применяют необошевистские методы. Что искусственно нагнетаемая лидерами враждующих группировок атмосфера страха и подозрительности угрожает расколом общества и распадом государства.

В этих условиях спасительную роль способно сыграть только центристское направление, призванное воспрепятствовать столкновению крайностей и предложить приемлемую для большинства антикризисную программу. Здесь Горбачев процитировал замечательно точную характеристику Александра Исаевича Солженицына: "Труднее всего прочерчивать среднюю линию общественного развития: не помогает, как на краях, горло, кулак, бомба, решетка. Средняя линия требует самого большого самообладания, самого твердого мужества, самого расчетливого терпения, самого точного знания".

Горбачев "дрогнул" перед речью: сохранив отповедь радикалам, вычеркнул в последний момент резкую оценку антиперестроечного, неосталинистского "крыла". Тем

самым его позиция скособочилась, потеряла устойчивость. Психологически это объясняется тем, что в тот момент он видел главную опасность в таранных ударах Ельцина, не отводил глаз от Белого дома, не придавал большого значения тому, что делалось у него под носом в Кремле и на Старой площади. Эдакая беспечная уверенность в подчиненных: "Да разве эти смотрящие мне в рот осмелятся!"

Но даже если б речь появилась на свет уравновешенной, она, увы, не произвела бы ожидаемого впечатления. Опоздала минимум на год и вдобавок была искусно "замолчана" печатью. Заявив о себе фактически в качестве новой политической партии, Центр уже не смог расширить ряды своих сторонников, переманив к себе, как обычно, левое крыло правых и правое левых. Напротив, он продолжал суживаться, как шагреневая кожа, пока не был окончательно расплюсчен в августе.

Независимо от того, что вскоре после этих событий оба наши лидера объявили себя социал-демократами, "процесс пошел" намного дальше того предела, который мысленно ставил перед ним Горбачев, может быть, перевалил и за ту черту, до которой собирался его довести Ельцин. При всей их идеологической гибкости и конформизме, людям, ходившим в коммунистах три четверти сознательной жизни и побывавшим полтора года в социал-демократах, трудно, если возможно, было завершить преобразование советской модели в западную. Это сподручнее молодым, вроде Е. Гайдара и А. Чубайса, у которых нет комплекса вины за революционное прошлое, кому не надо мысленно оправдываться перед портретом Маркса, подписав очередной Указ о приватизации.

Впрочем, Горбачев сказал: "Это уже без меня", только когда возникала угроза распада Союзного государства.

Теперь, когда мы постарались хотя бы правильно расставить "знаки", следует остановиться на отношениях радикал-демократов с Горбачевым. Именно эти отношения составляли тот нерв, вокруг которого разворачивалась политическая борьба после создания основных демократических институтов.

В то время "настоящие" левые еще не выступили на политическую арену в качестве самостоятельной организованной силы. Они в растерянности, никак не могут поверить, что КПСС перестала быть правящей партией, а ее генсек, по идее "наш человек", благоволит радикалам и "предает своих". После "красной ракеты", запущенной Ниной Андреевой, кое-где начинают формироваться кружки и малочисленные партии "истинных" коммунистов, своего рода "твердых искровцев". Но левые окончательно сложатся в движение только тогда, когда поймут, что власть им больше не принадлежит, осознают себя в качестве оппозиции и примут на вооружение соответствующие методы борьбы. А пока можно только недоумевать и возмущаться бездействием Центра (не станешь ведь митинговать и подбивать рабочих на стачки против своего правительства), требовать от него решительных действий и выступать с предостережениями на пленумах ЦК.

Но поскольку левые опаздывают к полю боя, правые, используя исключительно выгодную для себя диспозицию, смело атакуют Центр. Точнее, не Центр, какого еще не существует в природе, а олицетворяющего это политическое направление президента.

При этом, похоже, не отдают себе отчет в том, что могут действовать безнаказанно лишь за его широкой спиной, благодаря тому, что Горбачев уже самим фактом своего существования в двойной роли генсека и президента парализует левый лагерь. Бьют эту свою защиту безжалостно, наотмашь. Едва только начнут функционировать новые органы власти, в июне 1989 года соберется 1-я сессия "перестроечного" Верховного Совета СССР, а уж в июле "с подначки" эмиссаров радикал-демократического штаба начнутся забастовки шахтеров Донбасса, Караганды, Печорского бассейна. Не успев толком оглядеться после своего появления на свет, юный парламент и его председатель втягиваются в изнурительную многомесячную нервотрепку, вынуждены в спешном порядке принимать закон о забастовках, пытаться остановить стачечную волну посредством судебных запретов, убедиться, что плетью обуха не перешибешь, и в конце концов капитулировать, уступить по всем статьям, открыть шлюзы для астрономического роста зарплат, который ускорит

окончательное расстройство финансовой системы.

От тех забастовок и потянется цепь следствий, помешавших мирному развитию реформации. Они буквально выбьют Горбачева из колеи, спутают его планы. Теперь он будет уже не столько продолжать и углублять реформы, сколько защищаться; вынужден расходовать силы и тающий авторитет, чтобы сдерживать сторонников "жестких мер" и уговаривать вождей радикального лагеря образумиться, не форсировать событий и не загонять его в угол.

Горбачев имел право рассчитывать если не на признательность, то хотя бы на известную лояльность с их стороны. Ведь это его заботами они получили шанс состояться в качестве политических деятелей, по крайней мере поначалу он оберегал их от враждебно настроенных аппаратчиков. На моих глазах произошел следующий эпизод. Генсеку сообщили, что "прорабы перестройки" Попов и Афанасьев забаллотированы в своих парторганизациях и не получили мандатов на Московскую конференцию, а значит, лишаются шансов быть среди делегатов и Всесоюзной. В кабинет приглашается тогдашний первый секретарь МК Зайков.

- Лев Николаевич, ты понимаешь, что мы не можем прийти на Конференцию без самых активных сторонников реформ? Ну пусть они временами перехлестывают, но ведь болеют душой за перестройку.

- Я-то понимаю, Михаил Сергеевич, да что делать, если коммунисты избрали других.

- Подумай. Может быть, провести через другие организации, в общих списках на районной конференции.

- Сложно это... - робко возражает дисциплинированный Зайков.

- Я на тебя надеюсь, - рубит генсек.

И конечно, "прорабы" были избраны. Спустя несколько месяцев они окажутся среди застрельщиков антигорбачевской кампании, а Афанасьев будет осыпать его оскорбительными эпитетами. Воистину никто не умеет так опекать своих врагов, как доброжелательный центрист Горбачев. И это в полной мере относится к первому признанному лидеру оппозиции Андрею Дмитриевичу Сахарову.

История выдвинула в соратники и соперники Горбачева личность гигантского масштаба. И легендарная слава создателя советской водородной бомбы, трижды Героя, и мужественное многолетнее стояние его против тоталитарного монстра, и поразительная благородная стойкость перед беснующимся залом Дворца съездов, все три грани его дарования - ученого, мыслителя, лидера, безусловно, возвели его в ранг великого гражданина.

Судьба горьковского ссыльного перекликалась с участием саратовского отшельника. Чернышевский после амнистии не вернулся в столицу, остался доживать век в провинции. Сахаров вернулся и сразу же стал центром мощного интеллектуального притяжения, второй общенациональной фигурой на политическом форуме страны. Горбачев вызволил мятежного академика из заточения не только из чувства справедливости и понятного желания заслужить симпатии свободомыслящей интеллигенции. Он рассчитывал найти в Сахарове сильного соратника в борьбе за реформы. И мало сказать - не ошибся. Ведь если Андропов был его политическим предтечей, то идейным предтечей был именно Андрей Дмитриевич. За годы до перестройки он выступил со своего рода Демократическим манифестом, а к своему звездному часу располагал уже программой политической и экономической реформы, проектом преобразования Союза ССР в Союз республик Европы и Азии - словом, целостной концепцией реформ.

Когда Сахаров прислал Горбачеву свой проект новой Конституции, мне было поручено "познакомиться и доложить". Это был глубокий и оригинальный документ, в котором выносились на первое место, служили точкой отсчета права человека. Если не считать некоторых пробелов и огрехов в формулировках (документ писался все-таки физиком, не профессиональным юристом), проект вполне заслуживал быть принятым за основу при работе над новой Конституцией. В таком духе было доложено, и Михаил Сергеевич дал

принципиальное согласие. Хотя и с опозданием, лишь в конце 1991 года, но было дано согласие и на предложение назвать Союз "евразийским", что, кстати, высказывал в свое время и Ленин.

Оказав неоценимую поддержку делу реформ, Сахаров стал не только сподвижником, но, как уже говорилось, и первым серьезным оппонентом Горбачева. И потому, что он шел на шаг впереди, тянул, торопил. И потому, что этот согбенный, невзрачный с виду человек с тихим голосом и добрым взглядом обладал несокрушимой волей революционера. Если уж он, не дрогнув, бросил вызов могущественному брежневскому Политбюро и КГБ, не сошел с трибуны, несмотря на враждебный вой съезда, так неужто не шагнет в костер, как Джордано Бруно! И такой же жертвенности, такой же отваги, на какие способен сам, требует от своей партии.

Как ни парадоксально это звучит, Сахаров, прибыв из Горького в Москву, действует почти так же, как Ленин после его приезда из Женевы в Петроград. Он собирает разрозненных "прорабов перестройки" в Межрегиональную группу, то есть партию "радикалов", как сам их называет. Рассылает надежных людей на места, особенно в районы крупной промышленности, перспективные очаги рабочего движения. Считает, что колеблющемуся, медленнодвигающемуся вперед Центру не следует давать никакой передышки, и на Первом же съезде народных депутатов СССР выступает не с концепцией каких-то там половинчатых реформ "по Горбачеву", а с полновесной бескомпромиссной революционной программой принять декрет о власти, законы о собственности и о земле... Иными словами, одним махом, в один присест разрушить прежнюю систему и сотворить новую, осуществить не постепенные преобразования, а молниеносный общественный переворот. И когда этот политический штурм, подкрепленный волной шахтерских забастовок, не достигает успеха, а, наоборот, заставляет защитников системы ошетиниться, дает указание перейти к "радикальному давлению, пусть даже в форме забастовок". Это "хотя и опасно, но не настолько, и во многих случаях оправданно"\*.

Сахаров и в новой для себя роли революционного вождя, прибегая к неомошеистским методам, остается благородным человеком. Он не забывает, кто вызволил его из горьковской ссылки, и даже после того, как Горбачев пару раз бросил ему на съездах раздраженные реплики, говорит о нем с уважением, старается понять и объяснить своим сторонникам причины колебаний лидера. Те при нем еще кое-как сдерживаются, но после ухода из жизни своего вождя уже считают себя свободными от всякого "джентльменства".

Вдобавок после некоторого перерыва радикалы избирают себе уже совсем другого, зубастого и задиристого предводителя, для которого крепкое слово в адрес обидчика, что елей на душу. Так ату его! И вот уже подконтрольные радикалам газеты и телеканалы льют на президента ушаты грязи. Соревнуются, кто пнет его побольнее, сочиняют байки о дачах в Финляндии, на Канарских островах, во Флориде, о сотнях тысяч долларов, якобы потраченных на драгоценности и наряды для Раисы Максимовны и т. д. С предельным цинизмом объявляют его "основным источником нестабильности в Советском Союзе". Продолжая рассуждать в подобном духе, будущий московский полицмейстер Аркадий Мурашов скажет: "Если что-то и случилось за эти пять лет при нем, то не благодаря Горбачеву, а скорее вопреки ему"\*\*\*.

Повторю: радикалы обошлись с Горбачевым, как полтора века назад народовольцы с Александром II, только не физически уничтожили, а постарались раздавить политически и ослабить морально. Они вполне следовали завету В.И. Ленина: "Весь опыт мировой истории, как и опыт русской революции 1905 года, учит нас... либо революционная классовая борьба, побочным продуктом которой всегда бывают реформы (в случае неполного успеха революции), либо никаких реформ... Единственной действительной силой, вынуждающей перемены, является лишь революционная энергия масс"\*\*\*\*.

Спрашивается, какая "революционная энергия масс" вынуждала идти на реформы в 1985 году? Владимир Ильич, как нетрудно догадаться, находился под впечатлением 1905



года. Тогда "неполный успех революции" вынудил царя решиться на кое-какие реформы. В других же случаях все обстоит как раз наоборот: удачные реформы предотвращают революцию, делают ее ненужной. Если б радикалы, сгорая от "революционного нетерпения", не прибегли к небольшевистским методам, оказался бы возможным демонтаж тоталитарной системы с более растянутым по времени, но гораздо менее болезненным переходом к рыночной экономике.

История, однако, не существует в сослагательном наклонении. Рвущиеся к власти правые фактически "обезвластили" президента еще до того, как бывшие соратники по партии лишили его свободы и голоса на три августовских дня. В феврале 1991 года на митинге, официально названном "В защиту гласности и против травли Председателя Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельцина", И. Заславский и другие будут заходиться в истерику, требуя немедленной отставки Горбачева и его команды. А на референдум 17 марта 1991 года радикалы выйдут уже с программой развала Союза ССР. И, потерпев поражение, добьются-таки своего. Таков стиль, таков характер небольшевизма.

При всем значении вопросов государственности главное, что на кону между левыми и правыми, - это собственность. Те и другие могут быть патриотами и демократами. Но у каждого лагеря свое представление о том, что нужно Отечеству и отвечает идее народовластия. Что бы ни говорили об ошибках Маркса, а его теория классовой борьбы сохранила свое значение, хотя и нуждается в обновлении. Пусть не существует больше классов

в прежнем измерении, но никуда не делись социальные слои и группы, никто не аннулировал противоречия между ними и никогда люди не откажутся от борьбы за свое существование и преуспевание.

Парламентская реформа на короткое время отвлекла общество, но едва оно свыклось с новыми условиями политической жизни, на первый план вновь выдвинулись болезненные экономические вопросы. При пассивном поведении все еще дезориентированных левых правые развернули мощное наступление на правительство Н.И. Рыжкова, обвиняя его в неумении и нежелании осуществлять реформы, в развале хозяйства, снижении жизненного уровня. Обвинения эти были не совсем справедливы. Главной причиной начавшегося спада были как раз первые шаги по пути преобразований. Свертывание системы централизованного планирования не могло пройти безболезненно. Рыжков не торопился с переходом к рынку, это верно, опасаясь вызвать обвал производства, но плавный, замедленный ход реформ никак не устраивал оппозицию. Признать рациональность такого метода значило для нее отложить на годы взятие власти.

Тогда и была предпринята, пожалуй, единственная серьезная попытка создать коалицию центристов с радикалами, в основу которой положили программу Г. Явлинского "500 дней". Горбачев склонился ее поддержать без большой охоты. В немалой мере потому, что не хотел приносить в жертву премьера. Фактически в обмен на такую коалицию правые требовали от него головы Рыжкова, как через два года левые будут требовать у Ельцина головы Гайдара. Президент долго колебался не только из-за личной симпатии к человеку, который был ближайшим его соратником в первые годы перестройки. Его предостерегала от методов шоковой терапии группа видных экономистов во главе с Леонидом Ивановичем Абалкиным, которого никто не мог заподозрить в ретроградстве.

В согласии со своей натурой Горбачев попытался найти компромисс, совместив "500 дней" с программой правительства (по словам Ельцина, "поженить ужа и ежа"). А когда эта, заведомо обреченная попытка провалилась, отказался от обязательств перед "радикальной командой", вызвав на себя шквал обвинений в отказе от реформ, капитуляции перед старой гвардией, трусости и т. п. Включились в кампании травли президента и многие обласканные им представители творческой интеллигенции. Станислав Шаталин, на каждой "сходке у Михаила Сергеевича" клявшийся положить за него жизнь, выступил с несколькими истерическими по тону статьями и открытыми письмами. Егор Яковлев опубликовал в "Московских новостях" подписанное им и другими "разгневанными интеллектуалами"

заявление с требованием отставки президента. И сколько еще таких было.

Должен признаться, что и в "ближнем" его окружении внезапный отказ от "500 дней" не нашел понимания. Общась с экономистами из "правительственного лагеря", мы разделяли опасение, что реализация программы Явлинского может вызвать чрезмерные перегрузки, которые будут переложены на плечи народа. К тому же не было твердой уверенности в том, что Запад по-настоящему раскошелится, чтобы помочь Советскому Союзу встать на ноги: кому охота помогать потенциальному конкуренту. Но в тот момент казалось, что выигрыш от политической коалиции с лихвой компенсирует уязвимость программы. Покончить с нервотрепкой, заключить если не вечный мир, то хотя бы перемирие с оппозицией, изолировать кликуш на крайних флангах, восстановить элементарный порядок - вот что было необходимо в первую очередь. А огрехи экономической программы можно будет в конце концов устранить по ходу ее воплощения.

Теперь эта точка зрения кажется небезупречной. Видимо, экономисты правительства сумели доказать Горбачеву, что, вступив на путь "шоковой терапии", с него уже не сойти, а грозящая при этом гиперинфляция повлечет катастрофический спад жизненного уровня. К тому же раскручивалась спираль требований, выдвигаемых национальными движениями, со дня на день сокращались управленческие возможности Центра, а в таких условиях, как честно признал несколько месяцев спустя сам Явлинский, идти на "шоковые" методы было чересчур рискованно.

Что осуществить экономическую реформу в 1990 году было легче, чем в 1992-м, - очевидно, но эта "легкость" сама по себе обещала быть достаточно тяжелой - вот почему Горбачев решил продолжить поиск более щадящей, менее болезненной для общества программы. Но не только. Была и другая фундаментальная причина. К тому времени президент, как и многие миллионы его соотечественников, не мог еще перешагнуть через высшую заповедь ортодоксального социализма - отрицание частной собственности.

Чем глубже наша экономика погружалась в кризис, тем тверже становилась уверенность, что выкарабкаться из трясины и, тем более, интегрироваться в мировое хозяйство мы сможем только при условии денационализации (приватизации) большинства предприятий, демонополизации производства, создания социально ориентированного рыночного хозяйства. Попытки остановиться на полпути, усидеть на двух стульях оказались неудачными повсюду. Но для того чтобы отважиться на столь резкий поворот, фактически означавший смену мировоззренческих установок, надо было убедить общество в том, что другого пути нет и что допущение рынка и частной собственности не повлечет потерь в социальном обеспечении, не отнимет у людей тот минимум благ и безопасности, коими они располагали.

Горбачев дозревал медленно. Вначале он и слышать не хотел о частной собственности, считал возможным создать рыночное хозяйство со свободно конкурирующими государственными предприятиями и кооперативами. Особенно он противился частной собственности на землю. С колоссальным трудом, после долгих споров, в политических документах, а затем в законах проходили формулы сначала об "общественной и других формах собственности", потом - "всех формах собственности", потом - "всех формах собственности, в том числе частной".

До конца президент был непреклонен в том, что вопрос о частной собственности на землю может быть решен только референдумом, поскольку он затрагивает народную судьбу и только сам народ вправе его решить. И он был прав. В течение 1991 - 1992 годов будут один за другим приниматься законодательные акты о праве собственности на землю, наследовании ее и в конце концов - купли-продажи земельных участков. Будут приняты указы президента России, изданы всевозможные инструкции, проведена мощная пропагандистская кампания. И после всего этого надумают начать сбор подписей за проведение референдума, а Верховный Совет России примет еще один закон. И это еще явно не конец. Колхозное землеустройство воцарилось у нас после многих лет политической борьбы и насилия над крестьянином. Попытка таким же образом утвердить фермерство

может стать губительной. Надо, видимо, и здесь идти не "культурой взрыва", а "культурой огня", больше полагаться на самих сельских тружеников, их самовластный выбор.

На протяжении 90-х годов опросы показывали почти равное распределение установок - "за" и "против" частной собственности, приватизации. Не партии, а все общество расколото на правых и левых. Ну а если вернуться к вопросу о "центризме", то последний бывает разного свойства. Есть и такой, который можно назвать "по М. Волошину".

И там, и здесь между рядами

Звучит один и тот же глас:

"Кто не за нас - тот против нас.

Нет безразличных: правда с нами!"

А я стою один меж них

В ревущем пламени и дыме

И всеми силами своими

Молюсь за тех и за других.

Ново-Огарево

1991 год, который по насыщенности и драматизму событий сравним лишь с 1793-м и 1917-м, прошел под знаком борьбы вокруг вопроса: быть Союзу ССР или не быть? Кульминация этой борьбы пришлась на четыре даты - 17 марта, 12 июня, 19 августа и 8 декабря. А ее стержнем стал проект нового Союзного договора. Вокруг этого документа кипели страсти и ломались копья. В нем сфокусировалась вся летопись этого неординарного года. Он стал жертвой политических интриг и приобрел в последнем виде характер законченного компромисса. И хотя Договор остался неподписанным, вполне возможно, что его еще извлекут из архивов только перепечатают набело, поправят пару статей и скажут: это уже совсем другая бумага.

С вопросом о Союзе, о его судьбе связаны и пик противостояния Горбачева с Ельциным, и высшая точка их сотрудничества.

Что касается противостояния, оно достигло апогея, когда Ельцин, выступая по телевидению, обвинил Горбачева во всех смертных грехах и потребовал немедленной его отставки. Этот выпад встретил крайне раздраженную реакцию у президента и его окружения, был расценен как "объявление войны". Впрочем, то же говорилось и по другим поводам - когда Ельцин подписал договор с Литвой и другими Прибалтийскими республиками, тем самым поддержав их требования независимости и фактически лишив союзное руководство возможностей дальнейшего маневрирования. Когда было объявлено, что все предприятия на территории России переходят под ее юрисдикцию. Когда провозгласили приоритет республиканских законов над союзными. Когда Ельцин попытался разрушить Союз де-факто с помощью серии двусторонних договоров, а затем де-юре - заменить его четырехсторонним соглашением (России, Украины, Белоруссии и Казахстана), то есть сделать то, что удалось ему со второй попытки в декабре 1991 года.

Перебирая в памяти события этого бурного года, трудно с большой точностью назвать момент перелома в соотношении сил, когда в результате таранных ударов оппозиции Союзный центр ослаб настолько, что уже не только был не в состоянии диктовать свою волю всем республикам, но и пасовал, если две-три из них сговаривались занять общую позицию. Решающую роль при этом играла, конечно, Россия. Пожалуй, где-то в марте-апреле авторитет и влияние союзного Президента и Председателя Верховного Совета РСФСР сравнялись. Ни один из них не мог управлять, игнорируя другого, и такое равновесие сил сохранялось до августа.

На протяжении периода, который можно назвать "новоогаревским", два основных лагеря состязались в привлечении на свою сторону общественного мнения. Это не был прочный политический мир, но с обеих сторон в угоду народному настроению не уставали заявлять о необходимости согласия, коалиционного правительства, единого фронта, круглого стола и т. п. Народные массы устали от бесконечной перепалки, включая свару между лидерами. Характерно, что и тональность писем, поступавших тогда в президентский

аппарат, изменилась, здесь уже не столько призывали Михаила Сергеевича и Бориса Николаевича "помириться", сколько предостерегали, что оба будут нести ответственность за развал государства, одинаково повинны в переживаемых страной трудностях. В этих условиях противоборствующие лагеря и сочли для себя выгодным заключить своего рода перемирие.

В зимние месяцы 1991 года, когда Горбачева покинули несколько человек из его "команды" (Яковлев, Шеварднадзе, Шаталин), мне пришлось общаться с ним чаще обычного. Я рассказывал шефу о настроениях депутатов, с которыми работал в Комитете Верховного Совета по законодательству, законности и правопорядку. Люди, заявлявшие о себе как твердые его сторонники, настоятельно просили двинуться навстречу демократическому движению, которое само в тот момент находилось в разобранном состоянии, панически боялось призрака надвигающейся диктатуры. Со своей стороны я настойчиво советовал президенту встретиться с ведущими деятелями оппозиции, и не просто "по-отечески" поговорить с ними, пожурить или похвалить, а договориться о создании коалиции реформ. Он соглашался в принципе, но без большой охоты, явно опасаясь обидеть и озлобить своих соратников по Политбюро.

В свое время с его согласия мы с Петраковым встречались с "межрегионалами" - Поповым, Мурашовым, Шостаковским, Фильшиным, Волковым и другими. Интерпретируя состоявшийся тогда разговор, обозреватель французской газеты "Монд" Б. Гетте писал: "Выход Ельцина на сцену не только знаменует изменение соотношения сил в пользу сторонников рынка, но и создает ситуацию, в которой Горбачев должен либо вновь возглавить "партию движения", либо дать обойти себя слева"\*.

Президент не откликнулся на соответствующее предложение ведущих сторонников "демократической платформы", и им не осталось ничего иного, как "взять в вожжи" Ельцина. Этот вроде бы малозаметный эпизод имел серьезные последствия. По существу, был утрачен шанс консолидации демократической оппозиции и центристов, сторонников реформ в КПСС. Те и другие ожесточились по отношению друг к другу, грызня усилилась. Народу это надоело, и он готов был взяться за дубину, чтобы отдубасить всех без разбору.

В этих условиях единственным выходом становилось верхушечное соглашение на уровне лидеров, к которому позднее присоединятся парламенты. Я высказал мнение, что, если Горбачев предложит Ельцину отказаться от взаимных нападок, заключить своего рода перемирие и вместе с руководителями других республик взяться за завершение работы над Союзным договором, Борис Николаевич не сможет отказаться: в этом случае на нем сосредоточилось бы негодование соотечественников, жаждущих мира в стране. В то время и доброжелатели президента, и многие люди, не входившие ни в какие лагеря, а просто болевшие душой за судьбы Родины и реформации, настойчиво уговаривали, можно даже сказать - толкали его к соглашению.

И он решился, хотя это было далеко не просто. Ведь создав первую встречу "9 + 1" и положив тем самым начало "новоогаревскому процессу", Горбачев признавал, что отныне он не в состоянии править единолично и готов пойти на передачу власти республикам с сохранением за Союзом в основном координационных функций. До того момента были только обещания да декларации о необходимости преобразовать унитарное государство в федеративное, с этого же момента, еще до подписания нового Союзного договора, такое преобразование становилось фактом.

Мощное давление в пользу соглашения оказывалось и на Ельцина. Конечно, в его "команде" было немало "ястребов", тех, кто считал, что инициатива на стороне "демороссов", и, пойдя даже на временное перемирие, они потеряют темп, упустят возможность одержать полную и безоговорочную победу. В таком духе выступали тогда Ю. Афанасьев, Л. Баткин и другие противники каких-либо соглашений с Центром. Но здравый смысл возобладал, и случилось то, что можно отнести к немногочисленным позитивным эпизодам политической борьбы 1991 года.

По поручению Михаила Сергеевича я подготовил проект сообщения о заседании

"девятки". С раннего утра собрались в Ново-Огарево, прошли по тексту. Хотя Михаил Сергеевич держался спокойно, ощущалось внутреннее напряжение. Зная взрывной характер Ельцина, не будучи уверенными, что его команда твердо решила идти на сближение, приходилось быть готовыми к любым неожиданностям. Начали подъезжать республиканские лидеры. Ровно в 10 захлопнулись двери Зала заседаний, а мы с Г.И. Ревенко решили пройти по парку, скоротать время ожидания.

Но вот перерыв на обед. Первым из зала вышел Председатель Верховного Совета (ныне Президент) Туркменистана Сапармурад Ниязов и, широко улыбнувшись, сообщил: все в порядке, волноваться не следует. Вышедший следом Горбачев попросил сразу же передать ожидавшим в фойе журналистам сообщение для печати. Его содержание изменилось ровно наполовину, но этого следовало ожидать, иначе нельзя было рассчитывать ни на какой компромисс.

Некоторое время соглашение "9 + 1" было источником своеобразной эйфории. Словно в момент, когда два войска готовы были сойтись в яростной рукопашной схватке, вожди их вняли гласу народа и договорились жить дружно. Даже отметили это событие бокалом шампанского. Как рассказывал потом Михаил Сергеевич, за обедом они с Борисом Николаевичем, чокнувшись, выпили за здоровье друг друга. Сильно помог успеху, по словам президента, Нурсултан Назарбаев.

Но если сами лидеры были довольны, этого нельзя сказать об их "командах". Наиболее воинственные "демороссы", полагавшие, что Центру нельзя давать передышки, надо его добить, обрушили шквал упреков на Ельцина. Прозвучали даже обвинения в предательстве демократического лагеря. Экстремисты вынудили самого Бориса Николаевича выступить с оговорками, которые ставили под сомнение прочность достигнутого компромисса. Роптала и консервативная часть президентского окружения. "Что же вы, братцы, сделали? Отдали власть, а с нею Союз", - сказал мне в сердцах один из членов Политбюро. Бесполезно было объяснять, что речь идет о компромиссе, которому в тот момент не было альтернативы, и что новоогаревская встреча лишь привела содержание государства в соответствие с его конституционной федеративной формой.

Так, через пень-колоду, вынужденные чуть ли не ежедневно отбиваться от нападков слева и справа, то и дело отступаясь и возобновляя перебранку, мы втягивались в новоогаревский процесс. Мне пришлось за одним исключением присутствовать на всех заседаниях, в ходе которых шла работа над проектом Союзного договора, а попутно решались многие существенные вопросы. Сохранилась стенограмма этих заседаний, не сомневаюсь, она будет опубликована, поэтому ограничусь общими впечатлениями.

Перед каждым заседанием шла скрупулезная работа над учетом замечаний республик к проекту Договора. Их сортировали, распределяли по темам, сводили в реестр, позволявший видеть все поправки к каждой статье. Одновременно предлагалось несколько вариантов уточненной редакции. Работа была объемная, но делалась она силами небольшой группы - мы с Ревенко, вице-президент Академии наук Владимир Николаевич Кудрявцев, директор Института государства и права Борис Николаевич Топорнин, консультанты - Ю.М. Батурин, А.А. Сазонов, С.А. Станкевич. Засиживались в Волынском за полночь. Горбачев регулярно звонил, иногда приезжал к нам на несколько часов. Затем назначалась дата очередной встречи и подготовленный материал рассылался от его имени руководителям республик.

Мы приезжали в Ново-Огарево загодя, чтобы еще раз проверить готовность техники, раскладку документов, удостовериться в готовности вспомогательных служб. С утра собирались и журналисты, старавшиеся вытянуть из нас хоть какую-то информацию до появления главных действующих лиц. Но вот один за другим начинали прибывать президенты и Председатели Верховных Советов. У входа в дом, выстроенный при Хрущеве в стиле русской помещичьей усадьбы XIX века, они давали короткие интервью, обменивались впечатлениями, столпившись на балюстраде, ожидали Горбачева. Михаил Сергеевич приезжал, как правило, минут за пять-десять до назначенного времени, а вслед за ним, перед самым началом заседания, Ельцин. За этим явно стоял расчет: подчеркнуть, что он ничем не

уступает союзному президенту. Поздоровавшись и обменявшись первыми репликами, направлялись в небольшой по размерам нарядный зал на втором этаже, ярко освещенный хрустальными люстрами и обставленный добротной мебелью, но в общем-то не отличавшийся особой роскошью.

Первые десять-пятнадцать минут проходили в ожидании момента, когда президент займет председательское место и пригласит начать работу. Большинство выходило на просторный балкон, где, разбившись на группы, лидеры обсуждали последний вариант Договора либо насущные свои проблемы. Участвуя в этих беседах, мы имели возможность присмотреться к людям, оказавшимся в переломный момент развития страны на командных постах. Кто они, понимают ли выпавшую на их долю небывалую ответственность, чего хотят: сохранить Союз либо, напротив, обрести свободу?

На эти вопросы было нелегко ответить, потому что, пожалуй, самой характерной в этой среде чертой была привычка скрывать свои мысли. Это качество, воспитанное многими десятилетиями продвижения по ступеням партийной иерархии, являлось, по сути дела, пропускным билетом на верхний этаж Системы, допуском к ее секретам. Впрочем, успешней других скрывают, что у них на уме, те, у кого там вовсе ничего нет. Как с этим? Есть ли доля правды в утверждениях, будто прежняя наша политическая система выталкивала на поверхность одних бездарей, способных лишь гнуть спину перед начальством и измываться над подчиненными?

Присматриваясь к нашим лидерам, я имел возможность убедиться, что это далеко не так. В подавляющем большинстве это были неплохие специалисты, с житейским опытом и прагматическим складом ума. Иногда они подходили к нам с Кудрявцевым, прося растолковать смысл той или иной нормы или предлагая поправку. Разъяснения схватывались на лету, и я не помню случая, когда не удалось бы найти разумную компромиссную формулу по спорным вопросам. За редкими исключениями, почти все руководители союзных и автономных республик занимали первые посты до перестройки либо находились где-то на подступе к ним, как принято говорить, в верхнем эшелоне. Иначе говоря, они никоим образом не относились к тому человеческому материалу, который перестроечная волна подняла на политический олимп (ученые, разночинцы, бывшие диссиденты). Сколько я знаю, никто из них не подвергался репрессиям. Это были типичные представители того, что называлось в прошлом ленинской гвардией. Не заглядывая в анкеты, можно было составить среднестатистическую биографию: из крестьян, по образованию инженер или агроном, учился в партийной школе либо в Академии общественных наук, работал в комсомоле, затем главным инженером или директором предприятия, предисполкома или секретарем райкома, дальше - обком, потом - республика.

Может показаться удивительным, что эти люди, воспитанные в духе ортодоксальной коммунистической доктрины, оказались способны очень быстро, буквально с лету подхватить новые идеи и стать их носителями. (Для циника: приспособиться к обстановке, суметь выжить, перекуситься и т. д.) В сущности, каждый из них по-своему повторил эволюцию, проделанную Горбачевым, без особых страстей и душевной боли расставшись с марксист-скими догмами, не просто провозгласив, но и осознав себя социал-демократами или либералами. Вдобавок еще недавно закоренелые атеисты без особого над собой насилия вспомнили: лидеры христианских республик - о Христе, мусульманских - о Магомете, обогатили свои политические убеждения мудростями Библии и Корана. Чего не сделаешь, чтобы ублажить верующих соотечественников!

Вопреки распространенному незатейливому мнению, популизм - неотъемлемая часть политики. Там, где существуют демократические институты, политический деятель просто не состоится, если не сумеет внушить избирателям симпатию. Да и в авторитарных системах популизм далеко не лишняя вещь. Конечно, диктатор может править страхом, но ведь полезнее и приятнее внушать любовь и поклонение, даже если ты правишь жестоко, как это удавалось Сталину и Гитлеру, Перону и Франко, похоже, удастся Каддафи и Саддаму Хусейну.

В чем же секрет той поразительной легкости, с какой совершается чудесное превращение ортодоксального коммуниста в либерала, солдата партии в народного избранника, атеиста в верующего, партийного секретаря в президента? Первое и самое простое объяснение заключается в том, что мы недооцениваем резервов гибкости, пластичности человеческой натуры. Нередко можно слышать панегирики физической выносливости человека, его способности выносить перегрузки. Газеты с восторгом повествуют, как очередной олимпийский чемпион поднял планку высоты до немыслимого уровня; четырехлетний малыш, заблудившийся в лесу, выжил, неделю питаясь ягодами и кореньями; отважный мореход пересек Тихий океан в крохотной лодке под парусом и т. д. Все это, безусловно, достойно восхищения. Но ведь не менее поразительные нагрузки способна выдержать психика человека, неисчерпаемы ресурсы организма, когда ему надо перевоплотиться, перейти из одного состояния в другое. Господствующая мораль применяет в данном случае иные критерии, рекомендует не восхищаться, а осуждать подобные метаморфозы. Я же полагаю, здесь не место восхищению или осуждению, просто это надо принимать как часть человеческой натуры, нечто данное от природы.

Есть и другое объяснение названному феномену. Оно заключается в том, что смена коммунистической доктрины на социал-демократическую многократно облегчается их общим идейным происхождением. За небольшими, хотя и существенными исключениями (диктатура пролетариата, примат классовой борьбы, ориентация на революционное насилие), набор ценностей, которым апеллирует марксизм, безупречен с точки зрения демократического сознания. Свобода, равенство, братство, социальная справедливость, демократия, прогресс - разве не этому нас учили в школах и институтах, не об этом же мы писали в книгах и проповедовали с партийных кафедр? Разве лозунг "От каждого по способностям, каждому по труду" не составляет неотъемлемый элемент подлинно демократического сознания, а "моральный кодекс коммунизма" не повторяет чуть ли не дословно заповеди Священного Писания и нравственные максимы, выношенные философской мыслью?

Вот почему нашим партийным функционерам даже самого высокого ранга нет нужды совершать над собой насилие, совеститься предательством принципов и переходом в другую веру, за что их почем зря честят фанатики типа Нины Андреевой. Именно этим ценностям они смолоду клялись быть верными, именно этим богам поклонялись. Больше того, если раньше, произнося слова "свобода и демократия", совестливый коммунист ощущал себя лицемером, зная о колоссальном разрыве между идеей и практикой, то теперь он может черпать вдохновение в том, что прекрасные политические лозунги обретают в жизни истинный смысл. И если мы говорим - выборы, так это действительно выборы между несколькими кандидатами, а не опереточный фарс. Если говорим о политической свободе, так это действительно возможность инакомыслия. За что же и на каком основании можно осуждать людей, которые получили возможность поступать в лад со своими убеждениями и решили ею воспользоваться?

Наконец, есть еще одно объяснение тому, что я назвал идейным перевоплощением или политической метаморфозой. Институт номенклатуры представляет собой одну из опор, на которых держалась вся прежняя наша политическая система. Нельзя сказать, что это было оригинальное изобретение советского режима. Во всех государствах - деспотических и демократических, монархиях и республиках - существует система подбора, подготовки и расстановки управленческих кадров. И в этом смысле наша Академия общественных наук или Институт международных отношений ничуть не хуже и не лучше Итона и Оксфорда в Англии, Гарварда и Принстона в США, Эколь де Пари во Франции, аналогичных учреждений в других странах, где готовят будущих министров, послов и прочую государственную знать.

Но, пожалуй, никогда и нигде не было еще системы, выстроенной с таким тщанием и изощренностью, так надежно защищенной от всяких опасных нововведений, как партийная номенклатура. Подбор в нее производился самым скрупулезным образом, причем если на

первых порах после революции решающее значение имело социальное происхождение, которое, по идее, гарантировало чистоту классовых помыслов, то позднее этот критерий сохранялся больше для проформы. На первый план выходили верность системе, истовость служения ее целям, а уж потом профессиональные качества. Решающий перелом произошел в годы Отечественной войны, когда обнаружилась, так сказать, профессиональная непригодность Ворошилова, Буденного и многих других, отличившихся в революцию и гражданскую войну. Сталин был вынужден сделать ставку на новое поколение военачальников и командиров производства. Тогда фактически был перетряхнут весь кадровый состав партийного и государственного руководства. И в добавление к тем, кто стал жертвой политических репрессий, были заменены многие неспособные люди. Вопреки распространенному мнению, будто каждая последующая "гарнитура" руководителей была хуже предыдущей, война, с ее неумолимой потребностью вручить бразды правления в руки самых талантливых людей, каких страна тогда имела, привела к благотворному обновлению управленческого корпуса. Лучшим тому свидетельством служит и сама победа в Отечественной войне, и поразительно быстрое по всем меркам послевоенное восстановление.

С годами замкнутость номенклатурной системы стала неодолимым препятствием для притока свежих сил в правящую элиту. Особый вред нанесла в этом смысле установка Брежнева на так называемую стабильность кадров. Подчиняя всякое государственное дело прежде всего своему личному интересу, Леонид Ильич дал своего рода гарантии соратникам по Политбюро, членам Центрального Комитета да и всем чиновникам высокого ранга, что они могут оставаться на своих постах, пока их не призвет Господь. Разумеется, такая же привилегия закреплялась за самим генеральным секретарем. В результате почти за два десятилетия его правления состав ЦК изменился крайне незначительно. Люди старились, погружались в спячку, теряли былой энтузиазм, превращались из трудяг в сановников. С этим барским составом прекрасно уживался Брежнев, его не успел тронуть Андропов, и только при Горбачеве начались по-настоящему серьезные перемены в номенклатуре, причем и он был в этом отношении крайне осторожен, опасаясь, как говорил нам не раз, "ворошить осиное гнездо" и довольствуясь тем, что преклонный Центральный Комитет поначалу покорно глотал нововведения перестройки и стал просыпаться лишь при признаках угрозы монополии партии на власть.

Кстати, один из самых больших просчетов нашего лидера заключается как раз в том, что он считал возможным отложить глубокое обновление партийного руководства. Тем самым была заблокирована возможность реформирования партии. Когда реформатор и его соратники сетуют на то, что КПСС оказалась "неподдающейся реформе", им бы следовало признать, что повинны в этом они сами. Партию не удалось реформировать именно потому, что никто толком не собирался этого делать (разве что на словах) и не принималось никаких серьезных мер в этом направлении.

Но если массив кадров, сосредоточенных в Центре, связанных в основном с союзными ведомствами, дожил, дотянул до печального финала перестройки, то на местах произошло существенное их движение. Сначала вторые секретари чуть ли не повсюду заняли место первых, затем настал звездный час бывших председателей исполнительных комитетов. А в целом в 80-е годы, особенно при Горбачеве, сформировался костяк руководителей, которых я бы назвал профессиональными управленцами. К ним можно отнести таких людей, как Нурсултан Назарбаев, Ислам Каримов, Сапармурад Ниязов, и многих руководителей автономных республик, которые прошли выучку на совминовской и госплановской работе, а если занимали партийные посты, то, в сущности, делали то же дело - занимались организацией строительства, производства, обеспечением продовольствия и т. д.

Потолковав между собой, участники новоогаревских встреч рассаживались за длинным столом. Михаил Сергеевич занимал председательское кресло, справа от него место отводилось Лукьянову и Ельцину. Затем располагались руководители других союзных республик, после них, в алфавитном порядке, лидеры автономий. Неподалеку от президента



за отдельным столиком усаживался В.И. Болдин как секретарь новоогаревских встреч. В другой части зала отводилось место для экспертов. Когда возникали споры вокруг тех или иных формулировок, Горбачев и другие участники встречи нередко просили нас высказаться или дать пояснение. Да и сами мы подавали голос, отнюдь не чувствуя себя в этом собрании безмолвными свидетелями.

Не сразу, не с первого раза, но у меня возникало и постепенно крепло убеждение, что мы участвуем в предприятии головоломной сложности. Действительно, речь ведь шла не о попытке достичь компромисса между двумя сторонами. Тут был целый комплекс противоречий, чуть ли ни у каждого участника собрания находился свой интерес, и он, естественно, домогался его защитить.

Главная линия противостояния проходила, конечно, между Горбачевым и Ельциным. Хотя внешне оба старались держать себя в руках, между ними явно ощущалось поле напряжения, в котором то и дело возникали мелкие разряды, а раза два-три не обошлось без грома и молнии. Михаил Сергеевич держался спокойней: всякий раз, когда Ельцин вступал с ним в пререкания, начинал его уговаривать, я бы даже сказал, улещивать, взывая то к здравому смыслу, то к чувству справедливости. Борис Николаевич, впрочем, не слишком поддавался на уговоры. Он большей частью молчал, но если уж говорил, то почти никогда не отступал от своего. И дело неизменно кончалось поиском формулы, приближенной к той, которая была заготовлена его командой и привезена им в портфеле. Иногда компромиссные формулы предлагали Лукьянов, кто-нибудь из участников встречи, мы с Кудрявцевым.

Элемент неуверенности в том, что мы заняты стоящим делом, вносила ироническая отрешенность, которую демонстрировал Ельцин в ходе дискуссий. На его устах почти неизменно блуждала полуулыбка, как бы говорившая, что он не слишком серьезно воспринимает всю процедуру, дело это зряшное, и ему, в общем-то, все равно, будет Договор, не будет его, поскольку Россия прекрасно проживет без Союза. Так я расшифровывал тогда скучающее, безразличное выражение его лица.

Более тщательно скрывал свои мысли Кравчук. Он сравнительно редко вступал в дискуссии, за свои поправки тоже держался цепко, но делал это без нажима, не в такой резкой и безапелляционной форме, как Ельцин. Впрочем, тогда ведь Леонид Макарович не был еще президентом, не чувствовал себя уверенно и, видимо, не желал портить отношения с Горбачевым. Была, на мой взгляд, еще одна причина, побуждавшая его не проявлять чрезмерной активности. Дело в том, что дискуссия часто касалась не общих политических вопросов, в которых украинский лидер, идеолог и пропагандист, чувствовал себя как рыба в воде, а юридических тонкостей, требовавших специальных познаний. Раз или два пришлось растолковывать их ему, особой сметки при этом не чувствовалось.

Станислав Шушкевич свободно разбирался в юридических понятиях, говорил веско и здраво, ничем не давал повода заподозрить в себе ярого националиста, в недалеком будущем - участника "беловежской тройки". Вообще же белорусская делегация и на предыдущих стадиях работы над Союзным договором обнаруживала максимум доброй воли и здравого смысла. Видимо, играло свою роль и то обстоятельство, что Белоруссия по всем статьям была идеальным членом будущей федерации. Она не собиралась рвать с Россией, и в то же время чувство собственного достоинства помогало белорусам отмерить необходимую степень самостоятельности, не допустить над собой произвола Центра. На протяжении послевоенного времени белорусам удавалось быть чуть более суверенными, чем другие. И сменявшие друг друга республиканские лидеры - Мазуров, Машеров, Киселев, Слюньков - тоже выделялись спокойной рассудительностью. Говорят, Хрущев гневался на Машерова, не жаловал белорусских лидеров и Брежнев, недовольный их "своеволием". А они делали все возможное в тех условиях и по многим показателям добивались большего, чем другие республики. Это, кстати, говорит о том, насколько непродуктивны попытки охарактеризовать все содержание советского периода, включая постсталинские времена, одним хлестким словом "тоталитаризм". При таком подходе, в частности, невозможно понять, почему на высокие руководящие посты нередко выдвигались люди действительно

одаренные, интеллигентные и порядочные, как тот же Машеров.

Еще одной ключевой фигурой в новоогаревских "сидениях" был Нурсултан Назарбаев. Я проникся уважением к этому человеку, услышав его выступление на одном из пленумов ЦК. Он рисовал положение без прикрас, говорил резко, но не агрессивно, как иные ораторы. Нередко развязки удавалось находить благодаря тому, что к Нурсултану Абишевичу прислушивались и Ельцин, и Кравчук, и "автономисты". Отстаивая разумную самодостаточность республик в будущей федерации, он в то же время не хотел допустить ослабления союзных функций, сознавал, чем грозит разложение целостного народно-хозяйственного организма.

Скажу теперь о том, что составило основной сюжет, можно сказать, драматическую интригу новоогаревских встреч. Это - фундаментальный спор между союзными и автономными республиками. Он затянул на несколько месяцев работу над проектом договора, остался недорешенным и наверняка вспыхнул бы вновь, даже если бы этот документ был подписан 20 августа. Хотя и в другой ситуации, в ином плане, эта проблема остается камнем преткновения для успокоения обстановки и в нынешней России. Скажу больше: по сути дела, речь идет о глобальной проблеме, может быть, о самой головоломной, какую ход развития поставил перед человечеством. Если не будет найдено ее решение - цивилизация бесславно закончит свой путь, погрязнув в бесконечных конфликтах и войнах.

Автономные республики, все без исключения, хотели, говоря юридическим языком, повысить свой статус. А проще - им надоело иметь над собой помимо центрального руководства еще союзно-республиканское. Первый тур борьбы они выиграли, когда добились принятия соответствующей резолюции на Съезде народных депутатов СССР. Но все понимали, что резолюция - это только политический документ. На деле никаких существенных изменений не произошло, и лишь признание нового статуса автономий в Союзном договоре могло положить начало реальному перераспределению властных полномочий. На протяжении новоогаревских встреч едва ли не две трети времени было посвящено этой проблематике. Руководители автономий были хорошо подготовлены, воодушевлены надеждой на скорое удовлетворение их требований. Они привели множество доводов в пользу "уравнения в правах" с союзными республиками... и встретили дружный отпор последних.

Сложилось равновесие сил, какое всегда придает особое значение Центру как арбитру. Михаил Сергеевич должен был сделать трудный выбор: целиком стать на сторону "союзников" значило оттолкнуть от себя "автономистов" и лишиться их поддержки в борьбе против сепаратистских настроений, за сохранение целостности Союзного государства. С другой стороны, стать целиком на сторону "автономистов" значило окончательно поссориться с лидерами союзных республик, поставить точку над созданным с таким трудом новоогаревским совещанием, разрушить хрупкое соглашение с оппозицией. Словом, куда ни кинь, всюду клин.

Говорят, из двух зол приходится выбирать меньшее. В данном случае такое просто не просматривалось. Все мы долго ломали головы, как выйти из тупика. Предлагалась уйма компромиссов: дать полный перечень республик в преамбуле и тем самым как бы поставить их в один ряд; подчеркнуть равный статус всех республик, но при этом опять-таки оговорить, что одни из них входят в состав других. И так далее. Не было недостатка в самых остроумных и хитроумных формулировках. Но все понимали, что это - паллиативы, ничего не решающие на деле. Рано или поздно вопрос встанет в практическую плоскость и тогда заговорит оружие.

Лидеров автономий уговаривали не выдвигать максималистских претензий. Они же, в особенности выступавший чаще всех от их имени Президент Татарстана Минтимер Шаймиев, упорствовали, говоря, что их хотят "заманить в ловушку", заставить подписать Договор, который оставит их в неравном положении, а тем самым будут посеяны зерна многих конфликтов, из которых страна никогда не выберется.

Положение осложнялось тем, что уже в течение нескольких месяцев оппозиционная

русская пресса обвиняла президента в намеренном подыгрывании автономистским настроениям, с тем чтобы "разрушить Россию". Большой глупости и подлости придумать невозможно. Это, пожалуй, один из тех случаев, когда цинизм в политической борьбе превосходит все мыслимые пределы. Действительно, ведь именно Ельцин, набирая очки, провозгласил в том же Татарстане, а затем повторял в других местах лозунг: "Берите столько суверенитета, сколько сумеете проглотить". Своей Декларацией независимости, прямым неповиновением союзным властям, провозглашением верховенства республиканских законов над союзными всем этим российское руководство, можно сказать, толкало автономии на выдвижение своих претензий. С другой стороны, Горбачев никогда не давал повода подозревать себя в антирусских замыслах. У него много недостатков и велик счет допущенных ошибок. Но справедливость требует сказать, что в этих вопросах он был безупречен.

Могу засвидетельствовать, что Михаил Сергеевич неизменно самым решительным образом отклонял советы некоторых доброхотов не то что натравить автономии на Россию, но даже "поиграть" на этой теме, чтобы припугнуть русских лидеров, побудить их корректней держаться по отношению к Союзному центру. Единственное, что позволял себе Горбачев, - так это предостерегать о неизбежном последствии антисоюзной политики Белого дома, говорить российскому президенту и законодателям, что они рубят сук, на котором сидят, и если им удастся разрушить Союз, следующая волна сепаратизма угрожает накрыть уже Россию да и другие союзные республики, в которых есть свои автономии либо национальные меньшинства, претендующие на самоопределение. Он не устал повторять, что Союз - это обруч, стягивающий не только союзные, но и автономные республики, откинуть его - значит невероятно усложнить сохранение целостности России.

Больше того, когда все эти предостережения начали сбываться, Горбачев, вопреки, казалось бы, собственным политическим интересам, использовал все возможности убеждения и даже нажима на лидеров автономий, чтобы не допустить ослабления целостности Российской Федерации. Опять-таки в то время многие советовали ему по крайней мере отмолчаться: пусть-де Ельцин сам расхлебывает кашу, которую заварил, зачем протягивать руку сопернику, когда он попал в трудное положение. Президент неизменно отводил эти доводы, говоря, что преступно заниматься интриганством, когда речь идет о судьбах России: "Не пойду на это даже ради сохранения президентского кресла". И не раз на Совете Федерации, а затем на встречах в Ново-Огарево Михаил Сергеевич страстно убеждал автономистов согласиться на приемлемый компромисс, не требовать невозможного. С пламенными речами в том же духе обращался к ним Нурсултан Назарбаев. Дважды Ельцину поручалось встретиться со "своими" автономиями и выработать взаимоприемлемую формулу. Такие встречи состоялись. Президент России обещал, что эти животрепещущие вопросы найдут справедливое решение при заключении Российского Федеративного договора и создании новой Конституции России.

Спустя 10 лет целостность России остается под угрозой, теперь уже области требуют равноправия с национальными республиками, а часть последних претендует на повышение своего статуса. Вопрос о том, быть России жизнеспособным федеративным государством или рыхлой конфедерацией, решается сегодня в Чечне не авторитетом конституционных принципов, а силой оружия.

В конце концов страсти кое-как улеглись и путь к подписанию нового Союзного договора казался открытым. Но это впечатление было обманчивым, существовали веские основания для тревоги. По сути дела, тогда на союзном уровне разыгрывался первый раунд противостояния исполнительной и законодательной власти. Надо признать, сделав ставку на новоогаревские встречи, президент допускал пренебрежение правами парламента. Верховный Совет СССР и Верховные Советы республик были фактически отстранены от работы над Союзным договором, которая, конечно же, входила в их прерогативу и ими зачиналась. Мы с Ревенко и Кудрявцевым обращали его внимание на ненормальность такого положения, и Горбачев предлагал коллегам хотя бы регулярно информировать Верховный

Совет о ходе работы. Но встречалось это без энтузиазма. Народные депутаты неделями оставались в неведении в отношении того, чем занимались их президенты и председатели. Брожение в депутатской среде усиливалось. Все чаще оно прорывалось в гневных выступлениях и горьких сетованиях с трибуны Верховного Совета. Лукьянов в силу своего служебного, положения аккумулировал эти настроения и несколько раз предупреждал конклав лидеров, что в парламенте назревает бунт. Но те просто отмахивались от предостережений, полагая, очевидно, что если это и бунт, то только на коленях. Действительно, ведь реальная власть, уплыв из рук Политбюро, так и не досталась парламенту, а попала в руки новоогаревской десятки.

От раза к разу напряжение росло. Однажды дело дошло до прямой перепалки, и в перерыве разгоряченный Анатолий Иванович, решив, видимо, выместить свое раздражение на "стрелочнике", обрушился на меня с упреками в нежелании учитывать требования депутатов. Я спокойно возразил, что рабочая группа скрупулезно включает все поступающие замечания и они лежат перед каждым из участников новоогаревских встреч. Тогда Лукьянов, окончательно потеряв контроль над собой, впервые за наше долгое знакомство сказал с угрозой в голосе: "Имей в виду, это тебе даром не пройдет, придется ответить". Я тоже не удержался, послал его куда следует. На том мы расстались, а после перерыва Лукьянов подошел к моему столу проконсультироваться по одной из формулировок, нарочито показывая, что ничего между нами не случилось.

Теперь, когда я описал персонажи "новоогаревской драмы", стоит сказать и об общем впечатлении, которое она оставила. Заседания проходили с довольно большими интервалами во времени, в течение которых в стране происходило много тревожных событий. Продолжали рваться хозяйственные связи. Нарастали социальные волнения. Все более агрессивно вели себя народные фронты. Словесные баталии в парламентах и перепалка газет - все это через телеэкран выплескивалось на возбужденное нервное общество и, конечно, не могло не влиять на настроение участников того, что стало принято именовать "новоогаревским процессом". Хотя Ново-Огарево казалось отгороженным от внешнего мира высокой каменной стеной, защищено колючей проволокой и многочисленной охраной, дискуссия, которая там велась, была лишь отражением нараставшего кризиса. Страна в муках решала для себя вопрос: оставаться и дальше такой, какой она была, либо разделиться, а если разделиться, то как именно.

Каждый раз, когда сообщалось об очередной встрече союзных и республиканских лидеров, у издерганных людей появлялась надежда, что будут найдены мудрые согласованные решения и мы начнем наконец выбираться из кризиса. Уже сам факт этих встреч успокаивал, приглушал политические страсти. Несмотря на, как я уже сказал, длительные интервалы, они сливаются в сознании - своего рода спектакль в нескольких актах. Горбачев как его режиссер-постановщик выбирал декорации, определял порядок мизансцен, верховодил статистами. Но, увы, он уже не распределял роли и тем более не мог наставлять главных исполнителей, которые вполне свободно импровизировали. К суфлерам, за которых можно принять советников и экспертов, тоже мало кто прислушивался, а играли актеры больше для себя и друг для друга, потому что публика на спектакли не допускалась, как онаотреагирует на каждую реплику аплодисментами или свистом - оставалось тайной.

Ну, а содержание пьесы писала сама История. Мне почему-то кажется, что, если бы "новоогаревцы" могли заглянуть на год вперед и увидеть народную беду, до которой довело растаскивание страны, они не захотели бы искушать судьбу, за пару дней согласовали документ и поставили под ним свои подписи.

Перебирая мысленно всю эпопею с Союзным договором, начиная с тех дней, когда, засев в Волынском, я набросал по поручению Михаила Сергеевича первый вариант проекта, и до того момента, когда Договор был подготовлен для подписания, над ним корпели тысячи людей. Помимо официально назначенных экспертов, на конкурсной основе и просто так, в порядке самодеятельного творчества, были созданы десятки альтернативных проектов. Но первоначальный вариант и по структуре, и по содержанию в основе своей сохранился. И мне

кажется, это свидетельствует о том, что сам замысел превращения Союза в полнокровное федеративное государство был правилен, отвечал истинным потребностям страны. Можно ведь по-разному располагать те или иные статьи договора, начинать с провозглашения принципов или кончать ими, но сама конструкция федерации диктует определенный набор требований, без соблюдения которых ничего путного не получится.

Сверхзадачу нового договора Горбачев выразил формулой: сильный Союз сильные республики. Вместо этого мы имеем теперь слабый союз в виде СНГ и столь же ослабленные распрями независимые государства, а В.В. Путину в нелегкой борьбе с "осуверенившимися" благодаря Ельцину субъектами приходится восстанавливать "вертикаль власти", чуть ли не собирать заново Государство Российское.

Впрочем, история договора, как и новоогаревский процесс, не завершилась августовским фиаско. Был еще второй акт, также изобиловавший радужными проблесками и опасными поворотами.

#### Несгибаемая

Все великие идеологии замкнуты в себе и потому не поддаются логической атаке извне. Точнее - они не приемлют аргументов, исходящих из иного источника опыта. Неподражаемым художественным образом такой самодостаточности служит сцена из пьесы Б. Брехта "Галилей". Смастерив подзорную трубу и открыв с ее помощью спутники Юпитера, родоначальник современной науки приглашает ученых мужей папской академии удостовериться в этом. Но те наотрез отказываются: у Аристотеля ничего не сказано о спутниках Юпитера, заглянуть в трубу - значит уже усомниться в правоте этого мудреца, признанного церковью за верховного носителя истины. Как только не упрашивает их Галилей, становясь даже на колени, - все напрасно.

Здесь водораздел между наукой и верой. Последняя не позволяет себе сомневаться - в этом залог ее прочности. Но ничто не вечно под луной, и самые, казалось бы, несокрушимые крепости падают, а системы идей разрушаются под влиянием сил раскола, гнездящихся внутри. Вселенскую христианскую церковь раскололи на католическую, лютеранскую и православную, не говоря уж о всевозможных сектах, не происки мусульман или буддистов. Мусульманскую - на суннитов и шиитов не крестоносцы и не пронырливые христианские миссионеры. Все расколы стали результатом ереси, то есть делом диссидентов, отступников, ревизионистов. Как бы свирепо ни расправлялись с этой "порченной" породой ортодоксы, стоит недожечь сектантов, недовытравить худое поветрие - оно начинает смущать умы, порождает очаги инакомыслия. Вроде бы и его надо выкорчевать, да ведь всех не отлучишь, за каждым в отдельности не присмотришь и в душу каждому не вступишь. Не остается ничего иного, как терпеть в своем лагере нетвердых в вере, даже обниматься с ними, называя товарищами, а в голове держа при этом: "Брат мой - враг мой".

Марксистская ортодоксия не раз и не два очищала свои авгиевы конюшни от теоретических ересей (прудонизм, бакунизм, каутскианство, бернштейнианство, троцкизм и т. д.) и революционные ряды от фракционеров. Каждое большое "очищение" сопровождалось пересмотром первоначальных канонов в сторону упрощения, а партийной дисциплины - в сторону ужесточения. Ленинизм намного проще марксизма, основательно "очищен" от гегельянских изысков, которые не по зубам пролетарию ("Мы диалектику учили не по Гегелю"). Сталинизм же и вовсе стерилен по части теории, весь его идейный арсенал уместился в 4-й главе "Краткого курса истории ВКП(б)", которую каждый, если он не совсем дурак, может вызубрить.

Таким же образом упрощалась и методика борьбы за чистоту марксистского учения. Основоположники, обнаружив отступничество, писали гневные письма или целые трактаты, разоблачали виновных на конгрессах. Ленин, большевики этим не довольствовались, гнали оппонентов из партии. А в сталинскую эпоху за лишением партбилета следовали расстрел или ссылка, что надежно гарантировало единство партийных рядов.

И все-таки бациллы сомнения проникали в умы. Я был принят в КПСС на фронте, 19-летним. Партия вместе с народом защищала Отечество, состоять в ее рядах было честью.

А вот после войны пришло время думать. Перелом в моем сознании наступил после того, как в 1950 году, будучи аспирантом, я был направлен в Свердловскую область с пропагандистской группой ЦК. Возглавлявший "пропгруппу" инструктор Белобородов должен был "прощупать" руководство местной парторганизации на предмет лояльности и соблюдения Устава, а нам, ученой братии, полагалось просвещать кадры относительно международного положения.

Побывал я в Краснотуринске, Серове и других промышленных городках, много было встреч с интересными людьми, но навсегда запали в память два эпизода этой поездки.

Ранним утром мы едем на алюминиевый комбинат. Сильный мороз, не погашены еще тусклые фонари, редко расставленные вдоль тракта. Под тяжестью заледевшего снега гнутся к земле ветви статных уральских сосен. Подъезжаем к перекрестку и останавливаемся, чтобы пропустить печальную процессию. Словно на похоронах, медленно бредут люди в телогрейках, пряча в карманах брюк озябшие руки, свет выхватывает из полутьмы серые землистые лица, в глазах - отрешенная покорность судьбе. Цепью по обоим бокам колонны солдаты с автоматами наготове. Население одного из островов архипелага ГУЛАГ.

А вот и место назначения. Входим в шамотный цех и в первые мгновения слепнем. Воздуха нет, застывшей пеленой стоит густая коричневатая пыль. Через несколько минут начинаем дико кашлять, столичных гостей спешат увести в заводоуправление. Спрашиваю: как же люди работают в этой атмосфере без вентиляции? Ставили вопрос, жалуется начальник цеха, говорят, средств нет, страна не оправилась от войны, заключенные потерпят. Работают они у нас всего по 4 часа, подкармливаем чем можем, есть больница... Потом, на выходе, он мне шепчет на ухо: "Что говорить, год-два поработают - верный туберкулез, в тридцать-сорок лет - на погост". Сколько же таких бедолаг, среди которых не каждый разбойник, умостило костями площадку для побед социализма?

В уральском селе смотрели скотный двор, ходили по избам. Война сюда не докатилась, а разруха, как после побоища. Убожество, нищета, женщины под тридцать-сорок выглядят старушками. Потом я выступал с лекцией в сарае, игравшем роль клуба, отвечал на вопросы.

- Сынок, - спросила одна, - ты Сталина часто видишь?

В голове мелькнуло, что видел один раз генералиссимуса на Мавзолее, шагая в рядах демонстрантов. Вроде бы это дает право ответить: "Иногда".

- Так ты передай ему, пожалуйста, спасибо за нашу счастливую колхозную жизнь.

С тех пор и навсегда я разуверился в справедливости и разумности насажденного в стране порядка, хотя знал о его скрытых пороках малую толику. Для меня, как и для миллионов членов партии, громом с ясного неба прозвучали разоблачения XX съезда. Немало открылось и в самое последнее время, уже после запрета КПСС. Но не случайно числюсь в "шестидесятниках". Уже тогда, в 60-х, пришел к твердому убеждению, что строй наш уродлив, его надо кардинально менять, а партию преобразовать из коммунистической в социал-демократическую, причем не переодеванием, не сменой вывески - глубоким внутренним обновлением. К такому же выводу пришли многие, в нем кредо "шестидесятничества". У нас это важно понять - не было помысла изменять партии, было желание изменить ее.

Четверть века пришлось ждать часа, когда стало возможным взяться за практическое решение этой задачи, а когда час настал, возникло сомнение: решается ли она в принципе? Можно преобразовать, конвертировать рубль в доллар, танковый завод в тракторный, колхоз в ферму, общественную собственность в частную, даже в ином случае преподавателя марксизма-ленинизма в армейского капеллана. Но можно ли конвертировать партию коммунистов в демохристианскую, либеральную, хотя бы социал-демократическую? Непросто поменять название, труднее - идеологию, еще труднее - руководство и самое трудное - отказаться от убеждения, что история поручила коммунистам осчастливить человечество и в этих целях выдала им мандат на вечную власть.

Опыт восточноевропейских стран показал, что сравнительно успешно "конвертируется" часть компартии, которая уже исповедовала социал-демократические взгляды, но должна

была об этом помалкивать. Там компартии поглотили социалистов, растворили их в себе, поделившись крохами власти (Циранкевич, Гротеволь). У нас их (меньшевики, эсеры) перестреляли в 1918 году и позднее, за исключением разве тех, кто, как А.Я. Вышинский и В.Р. Менжинский, сами согласились пойти в палачи, чтобы доказать свое полное обращение в коммунистическую веру. Но как ни уберегали вожди партию от "социал-демократической заразы", она все-таки проникла в ее ряды. И с началом перестройки вопрос стоял так: отделиться "еретикам" или постараться переубедить своих ортодоксально мыслящих товарищей и повести всю партию по пути обновления? Нечего говорить, насколько предпочтительней был второй вариант. Горбачев избрал его, долго пытался реализовать и потерпел поражение. Слишком поздно расстался он с надеждой реформировать партию и пришел к выводу, который в свое время без колебаний сделал Ленин: "Сначала надо размежеваться".

Ну, а впервые вопрос о судьбе партии встал в практической плоскости после учреждения поста президента. В ходу тогда был анекдот: приходит кто-то к нему с предложением и слышит в ответ: генсеку нужно посоветоваться с президентом. Шутка, близкая к действительности. Занятие двух руководящих постов с неизбежностью ведет к раздвоению личности. И дело не только в сумасшедшей двойной нагрузке. Тут требуется два не совсем совпадающих типа мышления. Иное дело в прошлом, когда именно генсек правил как самодержец. Ему и не было нужды занимать одновременно другое кресло. А ведь Горбачев выстраивал легитимную систему и относиться к этому легкомысленно не мог. Поэтому двойственность доставляла много хлопот и ему самому, и тем более окружающим.

Не обошла она и помощников Михаила Сергеевича. Месяца через два-три после его избрания главой государства Анатолия Черняева и меня официально "перепрофилировали" - из помощников генсека в помощники президента. На деле ничего не изменилось, приходилось выполнять поручения, касающиеся и партийных, и государственных дел.

Проблема "раздвоения личности" на политической почве не связана с нашей спецификой, в той или иной мере возникает всюду, где партийный лидер избирается главой государства или правительства, на другие посты. Регулируется она по-разному, в некоторых странах полагается на срок пребывания в государственной должности снять партийные полномочия. Но и в этом случае политический деятель обвиняется оппозицией в "партийных пристрастиях". Тут уж ничего не поделаешь.

В случае с Горбачевым дело обстояло куда серьезнее, потому что целью реформы была передача власти от всемогущей, монополично правившей страной партии выборным представительным органам. Процесс этот был далек от перевала, после которого можно было счесть произошедшие изменения необратимыми. Больше того, тогда для реставрации прежнего режима не было даже необходимости прибегать к каким-то чрезвычайным средствам, вроде заговора или переворота, настолько сильна была семидесятилетняя традиция, настолько уверены в себе партийные комитеты, державшие в руках реальную власть на всех уровнях. Позиции партии были чуть потеснены в результате созыва съездов народных депутатов и начала работы нового Верховного Совета, формирования оппозиции. В этом смысле следующей по значению ставкой становилась судьба президентского кресла: будет глава государства, как все его предшественники после Октября 1917 года, править от имени КПСС или станет "президентом всех советских граждан".

В силу исключительной важности этого вопроса он обсуждался многократно. Несколько раз речь об этом заходила при подготовке XIX общепартийной конференции КПСС, но тогда сторонники ухода Горбачева с поста генсека и, как принято было говорить "на партъязе", его "сосредоточения" на высшей государственной должности, были в меньшинстве. Предстояла сложнейшая реформа, и не было никаких шансов осуществить ее, вручив жезл лидера КПСС другому лицу. Да и кому? Ни в Политбюро, ни на широком политическом горизонте не видно было человека, который был бы достаточно авторитетен, чтобы рассчитывать на избрание, и в то же время придерживался твердых реформаторских убеждений. Эти свойства ни в ком не соединялись, что, впрочем, наглядно показали выборы

руководителя компартии России.

Был еще один, не менее существенный аргумент против спешки с решением этого вопроса. Планируемая передача власти Советам на местах приводила не то что в смущение, а в ужас могущественный корпус руководителей республиканских и областных партийных комитетов, составлявших большинство членов ЦК. Их надо было любым способом привлечь в союзники или хотя бы нейтрализовать. Ради этого и было предложено "рекомендовать" первых секретарей в председатели новых Советов. Сам Горбачев воспринимал это как способ "откупиться" от партийной элиты. Хорошо зная этих людей, он ценил многих из них как управленцев, не видел ничего плохого в том, что самые способные пересядут из партийного кресла в государственное, а слабые отсеются в ходе двойных выборов - сперва в Совет, затем в его председатели.

Об этом шел разговор на нескольких "кустовых" совещаниях с "первыми". Горбачев убеждал их в преимуществе изложенного варианта, не забывая успокоить тех, кто, не без оснований, сомневался, что будет избран: они могут продолжать работать в обкоме. Хотя, откровенно говоря, было не очень понятно, почему коммунисты должны оставлять у руля человека, отвергнутого избирателями? Опасения такого рода читались на лицах присутствующих, но весь фокус был в том, что никто не осмеливался в них признаться. Это ведь означало публично заявить о своей несостоятельности.

Поэтому в своих выступлениях секретари говорили больше о положении в области, на производстве, видах на урожай, настроениях людей, политической борьбе - то есть как было заведено на совещаниях такого рода. Но по угрюмому молчанию некоторых было видно: они сделали для себя вывод, что отныне предоставлены собственной судьбе и не могут больше рассчитывать на "поддержку ЦК". Под этим эвфемизмом подразумевалась пожизненная гарантия принадлежности к элите со всеми вытекающими отсюда преимуществами. Всякий, кого за те или иные качества привечал лидер, становился членом ЦК и, если не совершал уж очень серьезного проступка (в первую очередь - не давал повода усомниться в своей преданности вождю), мог спать спокойно: освободят от секретарства - пошлют послом, сделают министром или дадут какое-нибудь другое хлебное местечко с полным "джентльменским набором", в который входили приличный оклад, закрытая столовая, поликлиника, казенная дача, машина, просторный кабинет с персональным туалетом, аппараты правительственной связи - вертушка и ВЧ.

Как бы то ни было, проводя душеспасительные встречи, Горбачев связывал партийных боссов, и никто уже не мог открыто выступать на Пленуме против реформ. При этом генсек поступал как бы в согласии с принципом "партийного товарищества": сам я баллотируюсь в президенты и вам предоставляю такую же возможность на своем уровне. Все правильно, все справедливо.

Справедливо, но лишь с точки зрения все той же монополии КПСС на власть. Маневрируя в своих отношениях с коллегами по партии, Горбачев не слишком тогда считался с демократической оппозицией. Она, разумеется, подняла шум, что стране навязывают прежний режим в новой упаковке, политическая реформа свелась к еще большему сосредоточению власти. Раньше была хоть видимость ее разделения, а теперь первый секретарь и председатель - в одном лице. Не давали себе труда понять, что с помощью тактических маневров Горбачев сумел ослабить противодействие реформам со стороны консервативных элементов. Без этого августовский заговор произошел бы на год раньше и наверняка увенчался бы успехом. А еще за год до этого, как я уже говорил, и заговора не понадобилось бы, чтобы прихлопнуть перестройку и продолжить коммунистическое строительство.

Но представьте себе генерала, который ловко обвел противника вокруг пальца, поставил ему несколько ловушек и настолько увлекся тактической игрой, так вдохновился собственным хитроумием, что прозевал час, когда надо было переходить в наступление. Если взять пример из области спорта - это форвард, который изящными финтами обводит игроков соперничающей команды в центре поля, упуская выгодный момент прорваться к



воротам и забить гол.

Дело в том, что реформы не имели никакого шанса увенчаться успехом без того, чтобы к руководству страной пришли новые люди. Каким бы отчаянным реформатором ни был сам президент, он, естественно, ничего не мог сделать в одиночку, без единомышленников, соратников, без им же избранных и назначенных руководителей на всех ответственных постах, своих сторонников во всех регионах. В целом - без партии. Но у Горбачева уже была своя партия, и он был слишком кровно с ней связан, чтобы бросить ее на произвол судьбы. Эта партия, ее руководство доверили ему роль лидера, и, сознавая свой долг перед ними, он намеревался не просто отбросить КПСС от власти, а перегруппировать ее ряды и подготовить к политической борьбе, в которой она могла бы подтвердить свое право управлять страной дальше - только уже на конституционной, легитимной основе.

Здесь сказались и сознание ответственности перед миллионами партийцев и далеко еще не преодоленная вера в целесообразность системы, которой он преданно служил всю сознательную жизнь. Да и боязнь быть обвиненным в ревизионизме, то самое горделивое нежелание "поступиться принципами". Не случайно в речах на протяжении первых лет перестройки он не устает напоминать о своей приверженности социализму, о том, что для него это генетическое - отец и дед были коммунистами.

Но после избрания президентом его уход с поста генсека стал необходим со всех точек зрения. Этим актом, которого требовала демократическая оппозиция и ожидали все мыслящие люди, он выводил себя из-под шквального огня со всех сторон и занимал позицию арбитра. Причем в тот момент достаточно было сложить полномочия генерального, сохранив партийный билет, - и в партии, и в обществе большинство отнеслось бы к этому с пониманием.

Больше того, нельзя исключать, что для самой партии это имело бы благотворные последствия. Во-первых, она перестала бы возлагать все надежды на одного вождя, соответственно ему покоряясь и его же коря за все свои неудачи. Во-вторых, генсек практически только своим авторитетом удерживал в одной организации два четко заявивших о себе течения ортодоксально-коммунистическое и социал-демократическое, искусственно продлевал состояние единства, и его уход мог, вероятно, уже тогда привести к разделению КПСС на две жизнеспособные политические партии, что положило бы начало формированию действенной многопартийной системы.

В окружении Михаила Сергеевича сформировалось тогда общее мнение на этот счет. Мы настойчиво убеждали его решиться, приводили множество аргументов. Увы, без успеха. Неточный расчет помешал ему принять решение, которое могло изменить дальнейший ход событий. Он отводил все доводы, ссылаясь на то, что мы недооцениваем опасности сопротивления консервативных элементов, нельзя "отдавать власть этой публике", в принципе такой шаг неизбежен, но не настало еще время.

Не менее худо было то, что без конца откладывались практические меры по реформированию партии. Это можно и нужно было сделать в сжатом темпе, воспользовавшись тем очевидным подъемом, который вызвали решения XIX конференции. Тогда многие партийные организации предлагали провести съезд осенью 1989-го или же весной 1990 года, чтобы решить главные задачи - обновить состав руководителей и принять новую Программу. Но Горбачев не хотел торопить события на этом направлении - в немалой мере потому, что был слишком занят сотворением парламента. Первоначально он планировал созвать XXVIII съезд в начале 1991 года, и только после того, как посыпался шквал требований, было решено его приблизить.

Но, пожалуй, самую роковую роль в судьбе и самой партии, и перестройки, да и в участии ее инициатора сыграла его простодушная уверенность в том, что можно идти по пути радикальных реформ, сохраняя почти без изменений прежнюю высшую когорту руководителей. В данном случае я имею в виду не только партийных секретарей, но и министров, дипломатов, военных. За многие десятилетия пребывания в той же когорте, и особенно за последние годы, он хорошо их изучил; обладая отличной памятью, звал каждого

по имени и отчеству. Просто к ним привык. И даже когда начал встречать в этой среде глухое противодействие своим реформаторским замыслам, не обрушивался на них с яростной бранью, как это делал Ленин по отношению ко всем, кто осмеливался ему перечить, не снес им голов, как это делал Сталин, если кто-то ему переставал нравиться, не отправил послами и не перевел на пенсию, как это делал Брежнев по "доброте душевной", а только журил и выговаривал. Когда же ему, пользуясь случаем, говорили, что нельзя делать реформы, не обновив радикально управленческого корпуса, только отмахивался.

Разве что иной раз отведет душу в узком кругу, неліцеприятно отозвавшись о каком-нибудь сановном дураке. Да время от времени вспыхивали стычки на заседаниях Политбюро. Однажды, когда Рыжков стал жаловаться на "непотребное" поведение прессы, Лигачев подал реплику: "Распустили мы их, мер не принимаем", генсек рассердился: "По тебе, Егор, меры - это снять, разогнать, исключить. Вижу, у тебя другая позиция, на пленумах выступаешь с нею. Это твое право, но не думай, что мне не видно".

Это был один из первых симптомов того, что демоны раскола проникли уже в "кащееву душу" партии - Политбюро. Конечно, и раньше царившее в нем единство было во многом показным. Его члены в соответствии с лицемерной партийной этикой избегали напрямую опровергать друг друга (как же, ведь единомышленники!), но "гнули" каждый свою линию. Нетрудно было угадать, что, если, к примеру, Лигачев или Рыжков посетуют на дерзкие выпады средств массовой информации, Яковлев и Медведев за них вступятся; если консервативное крыло пожалуется на "наглеющую оппозицию", либералы предостерегут от попыток расправиться с ней, посоветуют "видеть бельмо в собственном глазу".

Но от раза к разу разность убеждений обнаруживала себя рельефней, и Горбачеву приходилось все труднее приводить их к общему знаменателю. Пытаясь любой ценой сохранить мнимое единство, он вынужден был приносить в жертву собственные приоритеты. Это наглядно проявилось, когда на Политбюро определялось отношение к возникшей в партии "Демократической платформе" (22 марта 1990 г.).

- Мы именуем ее сторонников радикалами, - говорил Лигачев, - а они отъявленные ревизионисты. Их программа - основа для создания буржуазной партии. Особенно опасны те, кто намерен остаться в КПСС, чтобы разложить ее изнутри. Нужно решительно с ними размежеваться.

- Надо торопиться с этим, - поддержал его В.А. Ивашко. - "На глаз" в партии сейчас треть радикалов и прочих, от анархистов до монархистов, треть наших, остальные выжидают.

Робкое замечание Медведева, что установки "ДП" немногим отличаются от опубликованной к съезду официальной платформы, потонуло в гуле голосов, требующих принятия санкций. Присоединился к ним и генсек.

- Мы подошли к этапу размежевания, прежде идейного, а затем и организационного. Все надо сделать до съезда, не допустив никаких выборов от "платформ". Если целые организации выразят несогласие с платформой ЦК распустить. Мы не собираемся громить их, как предателей. Нужно с пониманием отнестись к тому, что как генсек я занимаю принципиальную позицию размежевания, а как президент буду выступать за диалог со всеми.

9 июня 1990 года, в субботу, работали в Волынском над докладом к съезду. Были Яковлев, Фалин, Петраков и мы с Черняевым. Зашла речь о необходимости принять новый гимн, а М.С. вспомнил, как в детстве распевали:

Союз нерушимый

Залез под машину

И лопає кашу

За Родину нашу.

Посреди дискуссии поднял руку, требуя тишины, М.С. спросил меня в упор:

- У тебя, Георгий, какая идея?

Я не понял.

- В каком смысле?
- Ну, за что ты?
- Я социал-демократ по убеждению.
- А в какую партию пойдешь, если расколемся?

- В ту же, что и вы, Михаил Сергеевич, - ответил я без всякого намерения расписаться в преданности. - Я умру в нашей партии. Перебегать мне уже поздно, а вот переделать ее изнутри - этого хочу, не скрою. Убежден, что только в этом ее спасение. Народ не верит больше в коммунизм. Надо возвращаться к РСДРП. Только без приставочки "б".

Черняев возразил, что большинство в партии не позволит ее переименовать, "поднимут бунт на съезде и вынесут нас на свалку". Поспорили, но без страсти, потому что все понимали, что коммунистическое будущее не светит, и дело сейчас не в теории, а в политике.

Потом Горбачев рассказал, как в Штатах какой-то церковно-служитель сказал, что на его долю выпала миссия Христа. Мир пребывал во грехе, катился в пропасть, надо было остановить его, произнеся слова надежды, любви, единения.

- Понимаешь, - зыркнул он на меня, - единения, а вы меня на раскол толкаете. Все равно пророков в конце концов распинают. Вот и я думаю, не настал ли мой час быть распятым?

Он не подозревал, насколько близко окажется от креста на XXVIII съезде КПСС. Многие и у нас, и за рубежом спорили, закончился он победой или поражением Горбачева. Были и такие, кто считал, что сражающиеся стороны разошлись, как при Бородино, с тяжелыми потерями, но не выяснив, кто взял верх. Причем за стороны брали не Демократическую платформу и консервативное крыло, а Центр во главе с Горбачевым и партийный аппарат, хотя это было явное упрощение.

В преддверии съезда вновь остро встал вопрос, не следует ли ему передать руководство партией в другие руки, чтобы не просто "сосредоточиться" на выполнении президентских обязанностей, а встать над партиями, приобрести моральное право считаться президентом всех советских людей, независимо от их политических пристрастий и партийной принадлежности. За две-три недели до съезда я написал ему на сей счет очередное послание, которое предложил подписать Черняеву и Петракову, что они с удовольствием, почти без поправок, сделали. Мы, можно сказать, наперебой уговаривали Горбачева пойти на непростой для него шаг, доказывая, что это будет полезно и для самой партии - очнется от головокружения, связанного с постоянным присутствием во власти, начнет заниматься выборами, постарается восстановить авторитет в массах. Говорили, что его влияние на КПСС сохранится, кроме того, можно подыскать надежного человека, который останется верен идеям перестройки. Но, выслушав все эти доводы, М. С. сказал, что мы его не убедили, он остается при мнении, что партия - это слишком важная политическая сила, чтобы отдавать ее на откуп кому бы то ни было.

- Поймите, - увещевал он, - ведь если, не дай бог, она попадет не в те руки, это грозит не просто двоевластием. Будет положен конец всему, что мы сделали, по существу, похоронит наши реформы. Вы недооцениваете запасов энергии, которые таятся в глубинах партийного организма, недооцениваете и силу аппарата. Почувствовав себя покинутыми, эти люди могут решиться на самые отчаянные шаги.

Был нами приведен и такой довод: а если на выборах генсека партократы, которых на съезде будет предостаточно, провалят его кандидатуру? На это он возразил, что имеет представление о расстановке сил. Даже отъявленные его недруги отдают себе отчет, что без Горбачева партии грозит быть оттесненной от всякого участия в политической жизни, произойдет огромный отток из ее рядов. Фактически, вставил Яковлев, речь пойдет о создании другой партии, горбачевской, за что я все время агитирую. Действительно, он давно носился с идеей разделить КПСС на две партии, которые работали бы в режиме двухпартийной системы.

В предсъездовские дни ситуация отличалась крайней напряженностью. Чуть ли не

ежедневно приходили сообщения об очередных своевольных шагах Ельцина, продолжалось противостояние с Литвой, накапливался горячий материал для очередного взрыва в Закавказье, беспокойно было в Средней Азии, грозили забастовкой шахтеры. Словом, надвигалась гроза, и мало кто сомневался, что она грядет. Вероятно, впервые в нашем кругу стали высказываться опасения, что обаяние Горбачева и его умение убеждать окажутся бессильны перед крайней озлобленностью, которая ощущалась уже на российском съезде и должна была еще сильнее проявиться на всесоюзном. Съезд должен был внести ясность в вопрос, сумеет ли партия образумиться. Впрочем, партия в широком смысле была здесь ни при чем, речь шла о делегатах, представлявших руководящий ее состав, который сумел правдами и неправдами заполучить значительную часть делегатских мест, составляя какие-нибудь полтора процента от 20-миллионной КПСС.

Да простится мне такое сравнение, но с самого начала съезда его агрессивная антиперестроечная часть напоминала хищников, готовых броситься на своего дрессировщика и растерзать его, но удерживаемых звонкими ударами бича. Время от времени Горбачев вынужден был прибегать к угрозам, приводившим в чувство "рыкающих" ретроградов, а увещевания, доводы рассудка предназначались "середине" зала, откликающейся на серьезные доводы.

Само собой разумеется, все основные группировки пришли на съезд с собственными планами. Консервативное крыло явно намеревалось нарастить успех, полученный на российском съезде, по крайней мере не допустить дальнейшего отстранения партии от власти. Не менее решительно были настроены сторонники Демократической платформы. Не рассчитывая, конечно, провести съезд по своему сценарию (их было не более 200 делегатов), они собирались использовать съездовскую трибуну, чтобы апеллировать к партийной массе и привлечь на свою сторону хотя бы пятую часть коммунистов. Это дало бы основание в дальнейшем претендовать на раздел партийного имущества.

Мне приходилось говорить сторонникам Демплатформы об уязвимости этой тактики. В политической борьбе не цепляются за материальную базу, как бы ни хотелось завладеть зданиями, домами отдыха, кассой и прочим добром, находившимся во владении КПСС. Заявление В.И. Шостаковского, что Демплатформа считает необходимым выйти из партии, но просит своих сторонников пока остаться, до смешного напоминало формулу Троцкого: ни мира, ни войны.

На съезде практически не было увертюры, противостояние развернулось сразу в полную силу. Одним из первых голосований было отвергнуто предложение о названии резолюции, в которой присутствовали слова "регулируемый рынок". Хотя провалили его с небольшим перевесом, могло показаться, что съезд пройдет по сценарию правого крыла. В действительности у него набралось 1200-1400 надежных голосов. Примерно столько же оказалось на левом фланге. А всякий раз, когда позиции полюсов сходились в рукопашную, решали оставшиеся примерно полторы тысячи. Шла борьба за них, и здесь вновь обнаружилось умение Горбачева овладевать массой.

Как Ленин, угрожая отставкой, добивался принятия нэпа и заключения Брестского мира, так и Горбачев с помощью крайне резких заявлений трижды настоял на своем. Так было, когда ему удалось снять предложение о вынесении "школьных" оценок членам бывшего руководства; когда выбирали заместителя генерального секретаря и Лигачев пытался получить это место вопреки ясно выраженному желанию Михаила Сергеевича видеть своим замом Ивашко; когда решался вопрос о включении в состав ЦК 14 кандидатов, которых дружно стремилось забаллотировать консервативное крыло.

Вся эта драма разыгрывалась на глазах миллионов зрителей, но значительная часть работы делалась за кулисами. Многие решалось в многочисленных беседах Горбачева с делегатами - фактически все одиннадцать дней с утра до поздней ночи он убеждал, доказывал, предостерегал, просил. Наиболее напряженной была его встреча с секретарями партийных комитетов. На другое утро, когда я зашел в комнатку президиума, Михаил Сергеевич рассказывал окружившим его двум-трем товарищам о своих впечатлениях. Он

был до крайности возмущен тем, какой прием ему был там оказан. Похоже, они готовы были наброситься на него чуть ли не с кулаками, обвиняя в том, что он погубил партию, разорил страну, разрушил соцсодружество, нанес смертельный удар социализму, отдал Восточную Европу и т. д. Все это делалось в откровенно хамской форме, на что он особенно сетовал в заключительной своей речи на съезде. Но чего иного он мог ждать от людей, которые в результате его реформ потеряли свои посты, власть, благополучие!

В ином ключе прошла его встреча с делегатами - рабочими и крестьянами. Здесь критика перестройки, вернее, того, как она делалась, была не менее острой. В отличие от партчиновников работяги не имели оснований цепляться за прошлое. Они всей душой хотели перемен, но тревожились, и не без оснований, тем, что страна погружалась в экономический и политический кризис.

Убежденность Горбачева в своей правоте невольно передавалась его слушателям. Но очередные победы, вырванные им у рока, сыграли не лучшую роль в последующих событиях. Они укрепили его уверенность в свою звезду, в способность при любых обстоятельствах навязать свою волю и тем самым притупили бдительность. Занятый бесплодной, в общем, борьбой за реформирование партии, он на несколько месяцев полуотключился от государственных дел. Опьяненные вседозволенностью новые люди, пришедшие в Верховные Советы республик, принимали постановление за постановлением, бросая вызов центральной власти и вовсе не задумываясь о последствиях своих шагов. Они смотрели уже не на Москву, а друг на друга. Из Белого дома наблюдали за тем, что скажут и сделают в Киеве. Киевляне все больше действовали под давлением Галиции, настроенной непримиримо по отношению к "Московии". В Минске, долго дремавшем, неожиданно проснулись силы национального возрождения и, присмотревшись к тому, что делается у соседей в Прибалтике, а затем и в Киеве, отважились на принятие своей декларации независимости. В Грузии тысячи людей вышли на станцию Самтредиа, где остановили движение поездов на Юг, требуя немедленного признания многопартийности в республике, выборов по-новому.

Страна словно взгромодилась на вулкан. Стремительное развитие событий уже на другой день после XXVIII съезда дало почувствовать, что этот партийный форум ничего путного не принес ни партии, ни обществу, разве что засвидетельствовал расклад сил в КПСС. Выбитая из колеи перестройкой, полулишенная власти, но все еще за нее судорожно цепляющаяся, безнадежно отстающая от разворачивающихся в стране социальных и национальных движений, партия находилась в состоянии полураспада. В ней неизбежно должны были вызреть силы, которые отринут Горбачева как отступника от марксизма-ленинизма (в действительности - от сталинизма) и предпримут отчаянную попытку спасти советский строй с его решающим элементом - монопольным господством коммунистической партии. Как женщина, которую разлюбили и бросили, партия была способна на самый безумный поступок.

Горбачев ощущал "подземные толчки" в глубине партийного организма, хотя делами партии почти не занимался. После съезда он целиком погрузился в государственные заботы, почти не бывал на Старой площади, всецело доверившись Владимиру Антоновичу Ивашко, Александру Сергеевичу Дзасохову, Олегу Сергеевичу Шенину и другим вновь избранным членам Политбюро. Помощников президента, естественно, перестали приглашать на заседания нового коллективного руководства КПСС, и мы неделями не получали оттуда никакой информации. А там постепенно формировалось мнение, что КПСС пора переходить в оппозицию.

Надо признать, у членов Политбюро были основания для недовольства. Один из них признавался, что они чувствуют себя не у дел, никому не нужными. Еще более "ликвидаторские" настроения воцарились в аппарате. Инструкторы и референты забросили обычные свои занятия, поскольку никто больше не нуждался в их указаниях и наставлениях, слонялись как неприкаянные по цеховским коридорам, судачили о том о сем; многие уже подыскивали хлебные места в возникающих коммерческих структурах.

Тогда нагляднее всего обнаружилась и невозможность реформирования КПСС. Лишенные прежних властных полномочий, ее руководящие органы продолжали по инерции выполнять работу, в которой не было уже никакого смысла. Словно двигатель на холостом ходу, они принимали никому не нужные решения, штамповали нигде не публиковавшиеся постановления, производили ничего не значащие назначения. Из архивов КПСС извлекаются любопытные документы, в них еще отыщутся сенсационные ответы на загадки минувшей эпохи. Но едва ли не самым поразительным свидетельством обреченности существовавшего механизма служит короткая выписка из протокола № 188 заседания Политбюро ЦК КПСС от 4 июля 1990 года: "Освободить т. Сакалаускаса В.В. от обязанностей председателя Совета Министров Литовской ССР в связи с переходом на другую работу". Те, кто подписывал это распоряжение, прекрасно знали, что больше не в их воле судьба литовского премьера, и все же делали вид, что все остается по-прежнему. В сущности, тешили себя, как Брумеля, взявшийся выполнять функции "регента российского престола" и возведший в княжеский сан Горбачева, Ельцина и других пришедшихся ему по душе деятелей.

Мы обращали внимание Горбачева на ненормальность, больше того - опасность такого положения. Тактика плавного демонтажа прежней системы с помощью совмещения постов генсека и президента полностью себя исчерпала. Оставаться и дальше в роли лидера КПСС, фактически ничего не делая для того, чтобы она нашла себе достойное место в новых политических структурах, было бы непорядочно по отношению к миллионам рядовых коммунистов. Надо было честно и прямо им сказать, что дальнейшее существование КПСС как "марксистско-ленинского авангарда общества" невозможно; нет больше основы и для единства ее рядов, которое опиралось не столько на общее мировоззрение, сколько на общее участие во власти. Следовательно, не остается ничего иного, как разделиться "по убеждениям". Достойней и лучше для всех разойтись мирно, без скандалов, чем продолжать постылое сожительство ортодоксов со сторонниками "нового мышления", которые, на потеху недругам партии, грызутся и чуть ли не кидаются друг на друга с кулаками на каждом очередном пленуме ЦК.

Горбачев согласился, что оптимальным способом "цивилизованного развода" может стать принятие новой программы. Предложив коммунистам радикально обновленную теоретическую основу партийной деятельности, руководство тем самым предоставляло им свободу выбора. По "прикидкам", за ним, наряду с убежденными сторонниками "нового мышления" (считалось, примерно пятая часть членского состава), потянулось бы много неопределившихся, которые в подобных случаях идут за лидером.

Но всю операцию надо было проводить в молниеносном темпе, она и так крайне запоздала. Между тем генсек действовал не спеша и вполне традиционно. Вместо того чтобы обратиться к партии со своим вариантом программы, он положился на созданную съездом комиссию, в состав которой было включено около 100 человек, представлявших различные течения и не оформленные официально, но давно уже существовавшие на деле фракции. Заведомо было ясно, что ничего стоящего этот конгломерат "разномышленников" не создаст, а драгоценное время будет потеряно. Так оно и случилось.

Следует признать, что перед официальными составителями новой программы стояла нелегкая задача. На XXVII съезде КПСС слегка обновили прежний программный документ, очистив его от бросавшихся в глаза глупостей и включив несколько свежих идей. Но то, что позднее получило название "нового мышления", находилось еще в зачаточной стадии. Буквально на другой день после съезда потребовалось переосмысливать те или иные программные установки, а в последующие три-четыре года они безнадежно устарели. В документах XIX конференции и пленумов ЦК, в многочисленных выступлениях генерального секретаря прозвучало признание истин, которые еще вчера были бы названы "марксопротивной" ересью, наказывались изгнанием из партийных рядов, если не хуже. Интеллектуальная жизнь в обществе, преподавание в вузах, содержание газет и журналов шли уже на другой волне, а в большинстве партийных организаций, словно они были отгорожены от мира железной стеной, все оставалось как раньше. Принимавшиеся в партию

молодые люди должны были штудировать программу, выглядевшую как Ветхий завет, комиссии с участием ветеранов придирчиво проверяли выезжающих в заграничные командировки на "идеологическую стойкость", в партшколах и сети политпросвещения проповедовали марксистско-ленинские догмы едва ли не в интерпретации "Краткого курса истории ВКП(б)".

Задолго до XXVIII съезда стало ясно, что дальше терпеть такое положение нельзя, нужно привести программу партии в соответствие с новым уровнем интеллектуального развития общества. Но это оказалось крайне сложной проблемой именно потому, что КПСС с самого начала формировалась не только как политическая, но и как идеологическая партия, даже в большей мере как вторая. Здесь, кстати, заключается одно из существенных различий между партиями социал-демократического и коммунистического типа. У социал-демократов организация строится главным образом на совместной борьбе за власть. Этому всецело подчинена идейная сторона, поэтому снисходительно смотрят на отклонения от программных установок, допускаются свободные дискуссии, существование различных течений. Сказался и опыт, накопленный в Западной Европе за два тысячелетия существования Христианской церкви. Сожжение еретиков на кострах инквизиции, религиозные войны, предание анафеме выдающихся просветителей - каких только проявлений нетерпимости не было в ее истории. Но, сделав из нее должные выводы, церковь сумела приспособиться к условиям нового времени, не требуя больше от верующих фанатизма, спасла этим самое себя. Примерно так же поступают социал-демократы да и другие традиционные политические партии.

Иначе обстоит дело с коммунистами. Наша партия перестала быть социал-демократической не в 1919 году, когда по предложению Ленина сменила свое прежнее название РСДРП(б) на РКП(б) и позднее ВКП(б), а намного раньше когда произошел ее раскол на две ветви, и одна из них, большевики, по сугубо идеологическим причинам (политических в то время было недостаточно, партия находилась в подполье и, следовательно, речь не шла о борьбе за власть внутри нее) вышвырнула из организации инакомыслящих. С той поры сама идеология партии стала не предметом убеждения, а символом веры. Всякий, кто осмеливался усомниться в истинности тех или иных догм, наказывался или изгонялся, а после Октября 1917 года платился свободой или головой. В соответствии с принципом любой религии право толкования канонического учения принадлежало только первосвященнику. Ленин стал своего рода пророком при Марксе, как потом Сталин и следовавшие за ним генеральные секретари - при Ленине.

Не случайно противодействие реформаторским намерениям Горбачева приняло первоначально не политический, а именно идеологический характер. Ревнителю чистоты марксизма-ленинизма, от имени которых выступила Нина Андреева, были более всего возмущены посягательством на основополагающие элементы марксистско-ленинского учения о коммунизме. С их стороны это была неслыханная дерзость - как если бы захудалый провинциальный священник бросил вызов самому Римскому Папе и клану кардиналов, обвинив их в богохульстве (впрочем, церковно-боярская оппозиция реформам Петра в свое время объявила его антихристом). Но Андреева и те, кто водил ее пером, понимали, что самое опасное для политического господства партии - самим усомниться в справедливости исповедуемой доктрины, ее абсолютной неприкасаемости. "Внутренняя мощь всякого верования, - заметил Стефан Цвейг, - всякого мировоззрения оказывается надломленной в тот момент, когда оно отрекается от безусловности своих прав, от своей непогрешимости"\*.

Приняв все это во внимание, легко понять, с какими трудностями столкнулась программная комиссия. Чуть ли не у каждого ее члена были свои представления о том, какой быть идейной основе партии. Посыпались письма от коммунистов с предложениями изложить тот или иной раздел в их интерпретации. Одни категорически настаивали сохранить тезис о диктатуре пролетариата, другие столь же страстно требовали его убрать. А уж от преподавателей марксизма-ленинизма и научного коммунизма поступали целые проекты.

Никогда еще 100 человек не водили одновременно перьями. В конце концов было решено создать рабочую группу во главе с бывшим помощником генсека, главным редактором "Правды" Иваном Тимофеевичем Фроловым. Засев в Волынском на несколько месяцев, "программисты" высидели не один вариант, а целых шесть. Получился пухлый документ, оставлявший странное впечатление - нечто вроде попытки пришить к старческому телу юношескую голову. Беда составителей заключалась в том, что они, следуя традиции, старались положить в основу программы философские постулаты, звучащие анахронизмом. К тому же смысл реформы - превратить КПСС из "авангарда" в нормальную политическую партию требовал изменить сам тип программного документа. Не сочинять нового коммюниста, а изложить цели партии и средства их достижения, не затрагивая мировоззренческих проблем, которые должны быть заботой не партии, а науки, религии, совести.

Увы, как ни старалась рабочая группа улучшить свой труд, он оставался именно новым изданием "Коммунистического манифеста" без блеска и новизны последнего. Познакомившись с последним вариантом, я пришел в уныние, а затем начал соображать, чем бы следовало "начинить" этот документ. Сперва машинально, по привычке, свойственной, думаю, всякому политологу, а потом с проснувшимся азартом занес на листок из блокнота сложившийся в голове план, вызвал стенографистку и тут же продиктовал ей проект. Никогда еще столь сложный документ не давался так легко, и причина очевидна: все время наша мысль работала в этом направлении, новая программа стала естественным итогом теоретических исканий и практического опыта, накопленного в ходе реформ. И лучшим тому доказательством явилось то, что Горбачев сразу же его одобрил, внес несколько небольших поправок и стал активно продвигать.

Задача была из деликатных. Чтобы не обидеть рабочую группу, которая продолжала безмятежно заседать в Волынском, генсек попросил нас с Фроловым обогатить новый вариант за счет официального. Подобные операции всегда болезненны, ведут к нарушению логики, ломке целостного текста. Хотя не без препирательств, мы с ним поладили, помогли и другие члены рабочей группы Дзасохов, Красин. Затем была созвана Программная комиссия, и все выступавшие одобрительно отозвались о новом варианте, он получил путевку в жизнь.

Впрочем, еще до официального обнародования проект был опубликован "Независимой газетой", неизвестно откуда раздобывшей его копию. В "заставке" Ю. Лебедев писал: "Горбачев, которому надоело баловство марксистов-теоретиков, отправил в корзину все пять официальных редакций проекта Программы, а заодно и все альтернативные документы и решил, что пленум будет обсуждать один-единственный проект - тот, который подготовил его помощник Георгий Шахназаров"\*. "Правда" откликнулась на это репликой, утверждавшей, что проект, "целиком приписываемый "НГ" непонятно почему Г. Шахназарову, практически мало чем отличается от предпоследнего, якобы выброшенного в корзину"\*\*.

Конечно, это была чепуха. В том-то и дело, что в отличие от проекта, выношенного в Волынском и оставшегося в целом на почве коммунистических представлений, новый вариант носил принципиально иной характер, являлся, как отмечали многие, программой социал-демократической партии. А игра тщеславия не имела смысла, потому что истинным ее автором следовало считать Горбачева - без его санкции она осталась бы одним из многочисленных альтернативных вариантов и была бы отправлена в корзину вместе с трудами Рабочей группы.

В конечном счете она там и оказалась. Какое-то время сохранялась надежда на то, что Программа станет основой для размежевания и деления одряхлевшей КПСС на две жизнеспособные политические партии. Василий Семенович Липицкий один из руководителей Демплатформы - предлагал провести общепартийный референдум, в ходе которого каждый член КПСС определил бы свою приверженность к одной из стратегических линий, выраженных в проектах программной комиссии и так называемого инициативного съезда, затем сформировать новые партии, решить вопрос о судьбе материальной базы,



средств массовой информации и инфраструктуры КПСС.

Но и этот последний шанс на реформирование партии был перечеркнут августовским заговором. Не Горбачева следует клясть Шенину и его единомышленникам за печальный ее конец, а самих себя. Сложив с себя функции генсека, предложив Центральному Комитету самораспуститься, а парторганизациям - самостоятельно определить свою судьбу, Горбачев хотел лишь отделить миллионы ни в чем не повинных членов партии от ее обанкротившегося "руководящего ядра", получившего кличку "партократии".

Спустя год были предприняты попытки, с одной стороны, возродить КПСС, с другой - пригвоздить на веки вечные к позорному столбу, объявив изначально преступной организацией. Только недомыслием можно объяснить обе. У КПСС нет оснований рассчитывать на возрождение (по крайней мере в ближайшей перспективе), хотя бы потому, что распался Советский Союз. Судить же ее - все равно что судить саму Историю. Не случайно появилась она на свет и пришла к власти, не случайно при ней Россия достигла пика своего могущества. И не случайно деградировала, превратившись в инструмент деспотии, не случайно ее вожди бесславно закончили свой путь тем же, с чего начинали, - заговором.

Пожалуй, самый беспристрастный приговор партии был вынесен народом. Когда Конституционный суд в долгом и нудном "сидении" решал, соответствует ли Конституции указ Ельцина о ее запрете, подавляющая часть общества демонстрировала безразличие к исходу процесса. Оно не кинулось на защиту коммунистической партии и не жаждало ее крови. Им обуревали иные заботы, и оно откликалось на голоса других пророков.

Мне могут возразить: выборы в Государственную Думу в декабре 1999 года подтвердили, что КПРФ остается самой влиятельной политической партией России, многие ее представители избраны губернаторами, депутатами местных собраний, мэрами городов. Все так. Но КПРФ не КПСС, ее идеология размыта и эклектична, а главное - она застряла на полпути между революционностью и реформизмом (Зюганов: "Россия исчерпала отпущенный ей лимит на революции"). Чтобы вновь обрести шанс "встать у руля", ей придется пройти через еще одну перестройку.

#### Заговор

В истории горбачевской реформации и судьбах России навсегда черным цветом отмечен день 19 августа. Само по себе случившееся событие кажется не столь уж большой трагедией: страна была выбита из колеи всего на три дня, обошлось без массовых жертв - не сравнить с кровопролитием в Приднестровье, Таджикистане, Чечне. Но эти роковые дни имели катастрофические последствия, вплоть до одной из величайших мировых трагедий - распада Советского Союза. Вознамерившись воспрепятствовать подписанию Союзного договора, назначенному на 20 августа (разумеется, это была не единственная их цель), высшие сановники союзного государства нанесли ему смертельный удар. С тяжело протекавшего движения по пути реформации, с "пути огня", говоря словами поэта, страну столкнули на революционный путь, "путь взрыва".

В начале 2000 года не всякий расшифрует аббревиатуру ГКЧП, бывшие обвиняемые по делу о путче давно вернули себе положение уважаемых граждан, стали парламентариями, губернаторами, министрами. Но свой приговор по этому делу вынесет суд Истории - суд народный или Божий. И, конечно, не единовременным актом, потому что каждое поколение заново судит прошедшее на основе собственного опыта, зная и понимая несравненно больше тех, кто участвовал в событиях и судил их по горячим следам.

Прежде всего - о квалификации. Выступление гэкачепистов получило официальное наименование "государственный переворот". Как его называть, в конце концов, не самое важное. Но от этого в немалой степени зависят последующие оценки. Так вот, определение некорректно. Не могут быть названы переворотом действия, не приведшие к смене власти. Переворот по смыслу понятия может быть только успешным, в отличие от мятежа, который, как сказал английский поэт: "Не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе".

Между прочим, разумные люди предпринимали попытки уточнить квалификацию, говоря: раз переворот не состоялся, значит, это уже не переворот. К ним не прислушались, не желая, видимо, ослабить позиции обвинения. Но разве можно назвать убийством покушение на человеческую жизнь, даже самое коварное, если жертва все-таки осталась в живых?

Не слишком подходит в данном случае и понятие "путч". Этот латиноамериканский термин употребляют, когда речь идет о неудавшемся покушении на захват власти или государственном перевороте, совершенном военными. В русском языке ближе всего к нему понятия "мятеж", "бунт". А августовская авантюра, хотя в ней участвовал министр обороны, не была делом рук генералитета. Она задумана и осуществлена высшими чинами правительства. И единственно точное ее определение - заговор.

История в избытке насыщена заговорами, такова природа вещей: политическая власть подавляет своих противников, и время от времени они сговариваются ее опрокинуть. В отличие от переворота, заговор бывает удавшимся или проваливается. Иногда удавшийся заговор завершается государственным переворотом, то есть перехватом власти в нарушение установленного порядка, нелегитимным путем. В результате заговоров и дворцовых переворотов были возведены на российский престол Елизавета и Екатерина II. Но никому не приходит в голову называть переворотом воцарение Александра I, хотя оно произошло в итоге заговора и убийства императора Павла I.

Нередко можно услышать, будто августовский заговор 1991 года - уникальное явление. Поскольку заговорщиками стали люди, сами стоявшие у власти, им вроде бы нечего было переворачивать. Но это из области публицистических прикрас. В действительности, сколь ни значительны были властные полномочия вице-президента Янаева, премьер-министра Павлова и иже с ними, верховной властью обладал и по Конституции, и на деле президент. Следовательно, здесь нет ничего исключительного, напротив, можно сказать, самый банальный случай: посчитав, что правитель (президент, государь) ведет страну не туда, и не без основания решив, что им самим грозит вылететь из седел, высшие сановники, ссылаясь на интересы Отечества, предъявляют ему ультиматум с требованием изменить курс (разогнать оппозицию, ввести военное положение). А если он не соглашается, его тем или иным способом убирают с дороги (убивают, заключают в темницу, высылают за границу).

Так повелось испокон веков. Три с половиной тысячи лет назад египетские жрецы расправились с фараоном Аменхотепом IV, супругом незабвенной Нефертити, который провел реформы, угрожавшие, по их мнению, интересам государства и воле Амона-Ра. В заговор против Павла I была вовлечена чуть ли не вся знать, окружавшая трон, во главе с военным губернатором Санкт-Петербурга графом Петром Алексеевичем Паленом. По многим источникам, дело совершилось при молчаливом согласии наследника престола. Цареубийцы оправдывали себя тем, что "император, как Гарун аль Рашид, начал господствовать всеобщим ужасом, не следуя никаким уставам, кроме своей прихоти. Если это время ужасного бедствия будет продолжаться, должно ожидать революции, произведенной чернью. Народная революция была бы у нас страшной. Она выдвинет миллионы Стенок Разиных и Пугачевых, превзойдет по жестокости все кошмары, затеянные чернью предместий Сен-Марсо и Сен-Антуан в Париже. Погибнет все дворянство, но и императорская семья будет уничтожена". Это предостережение графа Воронцова передавалось петербургской знатью из уст в уста, и участь Павла была решена.

Похожее случилось в феврале 1917 года, когда монархисты, не видя иного способа спасти существующий строй и продлить царствование династии Романовых, потребовали от Николая II отречься от престола и назначить регентом при малолетнем наследнике Великого князя Михаила Александровича. Николай, как известно, решил передать брату трон. Тот отказался, что расстроило планы сторонников монархии. Впрочем, согласись Великий князь, было бы уже поздно, революция надвигалась неотвратимо.

Словом, покопавшись в истории, всегда можно найти повод для параллелей, а может быть, даже и ответ на вопрос, почему августовский заговор потерпел фиаско. Объясняли это разными причинами. В первую очередь тем, что демократические реформы не прошли

даром, в стране сформировались политические силы, полные решимости отстоять завоеванную свободу. Мужеством защитников Белого дома. Решительными действиями Президента России Ельцина и его сподвижников. Категорическим отказом Президента СССР Горбачева уступить требованиям заговорщиков и освятить своим авторитетом введение чрезвычайного положения. Отказом армии поддержать заговор. Негативной реакцией республик, опасавшихся потерять едва обретенную независимость. Неодобрением мирового сообщества.

Все справедливо. Но недостает еще одной причины, притом самой важной. Если бы введенные в Москву танки открыли огонь по баррикадам и были поддержаны атакой с воздуха, почти мгновенно все было бы кончено. Покорились бы и республики, о чем свидетельствует их осторожная реакция, явно рассчитанная на то, чтобы выиграть время, посмотреть, как будут развиваться события в столице Союза. Ну, а найдись смельчаки, зовущие к сопротивлению, на них быстро накинули бы петлю.

В печати приводились заявления офицера о том, что он и его солдаты были готовы выполнить любой приказ. Такого приказа не последовало. Главная причина провала августовского заговора в том, что у него не было признанного вождя, готового пойти до конца, взять на себя ответственность за кровопролитие. Ни один заговор никогда еще не увенчался успехом, если не находился человек, без колебаний отдающий приказ: "Пли!"

В этом отношении августовская авантюра не выходит из ряда известных истории заговоров. На ее примере повторяются и подтверждаются некоторые общие оценки этого феномена. Но есть у нее одна если не уникальная, то, по крайней мере, странная, крайне редко встречающаяся черта. Чем больше вникаешь в детали, тем поразительней представляется полное несоответствие между замыслом и результатом. В каждом заговоре есть тайна, это ведь по природе своей дело темное. Сговариваются не на публике. Тут, однако, совсем уж мистика, фантазмагория. Не просто провал, а какая-то фатальная катастрофа. Кажется непостижимым, как можно одним неосторожным движением разрушить сверхдержаву.

Впрочем, не потому ли, что она дышала на ладан, и гэкачеписты лишь ускорили неминуемый крах? Объяснение кажется резонным, тем более что в отечественной истории был схожий случай. Мятеж генерала Л.Г. Корнилова окончательно подорвал и без того ослабленные позиции Временного правительства, помог большевикам усилить влияние на массы и одержать победу в Октябре\*. За этим последовали распад империи и Гражданская война. Но кому придет в голову утверждать, что выступление Корнилова, имевшее целью растоптать революцию и парадоксальным образом пошедшее ей на пользу, было, так сказать, подстроено большевиками. А вот в отношении августовского заговора есть и намеки, и открытые обвинения в том, что демократы коварно спровоцировали "несмышленишей"-гэкачепистов, пошли, так сказать, на небольшой риск, чтобы одним махом расправиться с компартией и установить свою диктатуру.

Да и те, кто не заходит в своих предположениях столь далеко, все-таки ломают головы над вопросом: почему последствия августовской авантюры столь исчерпывающим образом послужили целям, прямо противоположным намерениям заговорщиков? Если бы Шерлок Холмс или комиссар Мегрэ взялись расследовать это дело, руководствуясь классическим принципом следствия "qui prodest?" (то есть ищи, кому выгодно), то даже эти гении сыска встали бы в тупик.

Я изложу свою версию, но прежде стоит поделиться непосредственными впечатлениями, поскольку в те августовские дни мне пришлось быть близко к эпицентру событий.

Президент СССР имел обыкновение уходить в отпуск в августе и проводить его на Южном берегу Крыма. Одновременно он предлагал своим помощникам отдыхать в то же время. Санаторий "Южный", в котором находился я со своей семьей, расположен в нескольких километрах от государственной дачи президента в Форосе.

Горбачев привык интенсивно работать во время отпуска. В этот раз он писал статью, в

которой хотел подвести итоги сделанного за годы перестройки. Параллельно готовилось его выступление на торжественной церемонии подписания нового Союзного договора 20 августа. На этот счет Михаил Сергеевич несколько раз звонил мне по телефону; последний такой разговор состоялся 18 августа в 15.50.

Сколько бы ни говорили о суевериях и предрассудках, даже самые отъявленные скептики не отрицают предчувствий. Выйдя в три часа дня прогуляться, мы с Примаковым, отдохавшим в том же санатории, завели разговор об угрожающем поведении высших сановников, которые все более открыто бросают вызов президенту. Говорили, что нельзя проходить мимо провокационных высказываний правых депутатов и генералов, которые можно расценить как призыв к мятежу. Разошлись, условившись откровенно поставить эти вопросы перед президентом сразу же после подписания Договора.

Едва я вернулся к себе, раздался звонок. Михаил Сергеевич поинтересовался, есть ли у меня какие-нибудь новости, но я мог поделиться лишь впечатлениями от последних газетных публикаций. Затем он коснулся предстоящего своего выступления, сказал, что после подписания Союзного договора намерен посоветоваться с главами республик, с чего и как начать его воплощение в жизнь.

- Ты готов лететь со мной в Москву?
- Разумеется, - ответил я.
- Вернемся через два-три дня, успеем еще поплавать.
- А как ваша поясница? - спросил я, зная, что у него разыгрался радикулит.
- Да все в порядке. Анатолий (врач Михаила Сергеевича. - Г.Ш.) подлечил, так что я в полной форме.

Положив трубку на рычажок, я тут же поднял ее вновь, чтобы поговорить с Черняевым, который, как обычно, находился в командировке, помогая президенту во время отпуска. Гудка не было. Молчал и городской телефон. Может быть, обрыв? В конце концов всякое могло случиться на узкой полосе земли между морем и горами. Я взглянул на часы - ровно четыре. Подождем, когда связь восстановят. Однако прошел час, два, все оставалось по-прежнему. Начала зарождаться тревога. Она окрепла, когда мы узнали, что телефоны отключены во всем санатории.

Оставалось ждать, пока вернется Черняев. Обычно он приезжал к ужину, но вот уже 10, 11 часов, а его все нет. Для тех, кого интересуют психологические подробности, могу сказать, что в тот момент все еще не было у меня, да и у других, с кем пришлось общаться, мысли о государственном перевороте или внезапно начавшейся войне. Нет, в голову приходила возможность очередного стихийного бедствия или крупной аварии типа черновыльской, которые могли изменить обычный порядок вещей и потребовать принятия чрезвычайных мер. В таком случае президент мог не отпустить Черняева, они были заняты какими-то спешными делами. Так или примерно так мы представляли себе ситуацию в затянувшихся до поздней ночи разговорах и тревожных раздумьях.

А утром по телевидению уже передавали обращение ГКЧП. Затем пресс-конференция "шестерки". Тогда стала ясной и причина внезапного отъезда в Москву министра внутренних дел Б.К. Пуго, который тоже отдыхал в "Южном" и улетел по срочному вызову 18 августа.

Ни у кого из нас не возникло сомнения, что речь идет о попытке переворота, логично было ожидать, что люди, отважившиеся на это, постараются прежде всего изолировать ближайшее окружение президента. Я не сомневался, что с часу на час за нами придут. Надо было узнать, что происходит в резиденции Горбачева, однако нам сказали, что все отдыхающие должны оставаться в санатории, дорога в Форос заблокирована погранчастями. Без особой надежды на успех мы обратились с требованием предоставить нам, как народным депутатам СССР, возможность немедленно вернуться в Москву, на что неожиданно получили согласие. Сначала Примаков, а затем и я выехали в Симферополь и без всяких препятствий вылетели в столицу.

Во время полета, проходившего по расписанию на комфортабельном широкофюзеляжном самолете, была включена запись по радио - заявления Ельцина,

призавшего к решительному противодействию заговорщикам. Это говорило и о настроениях экипажа, и о том общем скепсисе, с каким были встречены декларации гкачепистов. Похоже, мало кто из мыслящих людей не понимал (или предчувствовал?), что авантюра обречена на провал.

В аэропорту Внуково мне рассказали, что, по сообщению подпольной в тот момент радиостанции "Эхо Москвы", я и моя семья арестованы. На улицах подходили незнакомые люди, с беспокойством спрашивая, не задержан ли мой сын кинорежиссер, поставивший ряд популярных фильмов. Люди с облегчением воспринимали, когда я говорил, что этого, к счастью, не случилось, было трогательно принимать эти знаки солидарности.

Без помех пройдя в свой кабинет в здании ЦК КПСС на Старой площади (аппарат Президента не успел "переселиться" в кремлевские помещения), я попытался связаться по телефону с Лукьяновым и Ивашко. Однако секретари сообщили, что первый занят, проводит совещание, а второй болен. Единственный, с кем удалось переговорить в тот день, был член Политбюро, секретарь ЦК Дзасохов. Я поинтересовался, какие меры намерено принять руководство партии. Он ответил, что Ивашко в больнице, остальных до сих пор собрать не удалось, да и неизвестно, какой из этого может быть толк. Я возразил, что у партии, ее руководства единственный шанс сохранить лицо - немедленно заявить о своем решительном осуждении заговора, призвать коммунистов к противодействию и потребовать освобождения Генерального секретаря ЦК, Президента страны. Иначе КПСС - конец. Дзасохов согласился, обещал сделать, что может, чтобы собрать Политбюро и принять соответствующее решение. Вечером того же дня он позвонил мне и сообщил, что встреча руководства, хотя и не в полном составе, состоялась, однако провести решение, осуждающее ГКЧП, не удалось. Политбюро ограничилось заявлением, что до освобождения генерального секретаря партия не может вынести своего суждения о случившемся.

Это был трусливый ход, попытка уйти от ответственности, типичная для партийной элиты, которая на протяжении всей перестройки фактически тащила за генсеком, делая вид, что поддерживает его революционные начинания, а в душе своей не разделяла его взглядов и, как могла, прямо или косвенно, саботировала реформы. По некоторым данным, только немногие (один из них - секретарь ЦК Андрей Николаевич Гиренко) настаивали на осуждении путчистов. Так был упущен исторический шанс спасения партии.

Я возвращался домой вечером, шел через Центр, было немногочисленно и не видно признаков того, что столица находится на военном положении, а буквально в полукилометре от затихшего Арбата разворачивается драматическое противостояние, грозящее перейти в кровавое побоище.

Встав задолго до рассвета 21 августа, я набросал несколько тезисов своего выступления, еще не будучи уверенным, смогу ли его произнести. Раздавались звонки. Журналисты, радиокомментаторы, друзья, сослуживцы по президентскому аппарату - все они интересовались, что было на юге, как здоровье Михаила Сергеевича. Рассказав им все, что знал, я вместе со своим консультантом Ю.М. Батуриным отправился в Белый дом, где шло заседание Верховного Совета РСФСР. Подъехать к нему не удалось, пришлось остановиться на противоположном берегу Москвы-реки и идти через мост, перекрытый в ряде мест троллейбусами и автобусами. Все пространство вокруг белокаменного здания было заполнено людьми, царил необычайное возбуждение, на лицах отражалась решимость стоять до конца, но уже не было ощущения опасности.

Нас несколько раз останавливали, проверяли документы и пропускали, удостоверившись, что имеют дело с помощником президента. Некоторые расспрашивали о его здоровье. Пришлось взбираться на каменные глыбы, преодолевать другие препятствия в наспех сооруженных баррикадах. Едва войдя в зал, где шло заседание, я послал записку в президиум с просьбой предоставить слово, и через несколько минут, сразу же после выступления Бакатина, был приглашен председательствовавшим Хасбулатовым на трибуну.

Позволю себе воспроизвести основные тезисы своего выступления.

Я начал с решительного осуждения методов введения чрезвычайного положения.

Обстановка действительно тяжелая, во многих отношениях она требует исключительных мер. Но эти меры должны приниматься в рамках закона, уже созданных и действующих политических институтов, а не на путях произвола.

Могут возразить: "Тут не до юридического чистоплюйства, надо спасать страну!" Но все дело как раз в том, что независимо от намерений такие действия приводят к противоположным результатам. Хотели укрепить порядок, а ситуация резко обострилась. Хотели ударить по сепаратизму, а вызвали усиление центробежных тенденций. Хотели улучшить положение в экономике, а кризис стремительно углубляется. Хотели укрепить международное положение СССР, а существенно его подорвали.

И так во всем. Случившееся точнее всего охарактеризовать метафорой: это хуже, чем преступление, это - ошибка\*. Страна оказалась в положении пикирующего самолета, который уже не спасти без экстраординарных усилий.

Выбор момента для введения чрезвычайного положения показывает, что главной его целью было не допустить подписания нового Союзного договора. Не секрет: против этого ополчились крайне правые и крайне левые, те, кто готов разорвать Союз на части, и те, кто хотел бы сохранить сверхцентрализованное, неизбежно опирающееся на силу унитарное государство.

В итоге длительной напряженной работы достигнут компромисс, приемлемый для всех ответственных политических сил, за которыми идет огромное большинство народа. Иного способа принятия решений в демократическом обществе не существует. Договор, естественно, не может удовлетворять всех в равной мере, на то он и Договор. Но ведь его подписание - не финиш, а лишь начало преобразования Союза. Впереди - принятие Конституции, нового избирательного закона. У всех политических сил есть легальные возможности пропагандировать и проводить свою точку зрения.

Нельзя не пожалеть о том, что нарушено согласие, достигнутое ценой огромных усилий и обещавшее вывести страну из "войны законов". При этом ГКЧП заявляет, что будет продолжаться курс реформ, начатый Горбачевым. Спрашивается: для этого надо было отстранить его от власти? Поскольку же ссылаются на болезнь президента, должен дать справку. Я отдыхал в санатории на Южном берегу Крыма. Михаил Сергеевич несколько раз связывался со мной по телефону. Мы обсуждали ряд предстоящих мероприятий, в частности его выступление при подписании Союзного договора 20 августа. Президент позвонил в последний раз 18-го в 16.00, спросил: "Завтра едем?" В конце разговора я поинтересовался его здоровьем, ответ был: все нормально, подлечился, можно ехать.

В заключение я сказал: "Правы те, кто призывает к спокойствию и выдержке. Но спокойствие - не ценой капитуляции перед беззаконием и произволом. Мы должны сказать организаторам переворота: остановитесь, не усугубляйте свою вину и не доводите до катастрофы, которую вы, по собственным вашим словам, хотели предотвратить. Прежде всего необходимо вернуть войска в казармы и допустить к президенту группу народных депутатов, восстановить конституционный порядок".

Мне поаплодировали. Был объявлен перерыв. Я вышел на площадь и стал пробираться сквозь густую людскую массу к Калининскому проспекту. Некоторые останавливались, интересовались деталями "крымской эпопеи". Как раз в этот момент через громкоговорители передали сообщение, что заговорщики арестованы правда, чуть позднее выяснилось, что информация Би-би-си не подтвердилась. Впрочем, это уже не имело большого значения, поскольку задержание произошло вечером того же дня и на другой день. Собравшиеся вокруг Белого дома ликовали, ощущая себя в тот момент участниками действительно исторического события. Наверное, такое же чувство владело парижанами, когда они разрушили Бастилию и водрузили на будущей площади Согласия древко с плакатом "Здесь танцуют!".

Мы направились на Старую площадь, где в помещении Союза предпринимателей состоялась пресс-конференция. Бакатин и Примаков сообщили, что вместе с А.В. Руцким и И.С. Силаевым летят в Крым "вызволять Президента". Ответил на несколько вопросов

иностранных корреспондентов и я.

Вот, собственно говоря, непосредственные впечатления от тех двух дней, когда политика делалась на улицах. Затем она вернулась в кабинеты, но отнюдь не для того, чтобы войти в обычное для себя русло. События продолжали развиваться стремительно, намного превзойдя по своему масштабу и последствиям все происшедшее до того. Провалившийся заговор сорвал покровы с партийно-государственных структур, которые отчаянно сопротивлялись реформированию общества. Плотины рухнули, и хлынувший поток (какой именно - я долго думал над эпитетом, но так и не сумел охарактеризовать его одним словом) смел все преграды, еще вчера казавшиеся могущественными и неодолимыми.

Теперь я подхожу к самому любопытному - тайне заговора, над которой будут ломать головы наши потомки и которую пытаемся отгадать мы сами.

Одна из версий, предложенная Валерием Лебедевым, сводится к тому, что и Горбачев, и Ельцин знали о готовящемся введении чрезвычайного положения и благословили его, связывая с этим свои сокровенные замыслы. Первый решил не противиться наседавшим на него соратникам, но отказался подписывать указ, "мотивируя это тем, что он слишком тесно связал свое имя с демократией и что его лучше иметь в качестве неприкосновенного политического запаса". Попросту говоря, повел двойную беспроборную игру: выгорит у гэкачепистов - он к ним примкнет, нет - отмежует. А посему весь эпизод с заточением в Форосе хорошо разыгранный спектакль, свидетельством чему, в частности, служит то, что, помимо трех разных систем связи - радио, ВЧ и обычного телефона, у президента была еще одна, четвертая - персональный передатчик с непосредственным выходом на космический спутник, который транслирует сигнал во много мест. Отключить эту линию никак нельзя, и, следовательно, делает вывод Лебедев, "невыход Горбачева на связь мог быть только добровольным".

Что касается Ельцина, то и с ним заговорщики загодя вели душевительные беседы, убеждая, что Родина в опасности, и взывая к его патриотическим чувствам. Скорее всего, "догадывается" автор, эта деликатная миссия поручалась Лукьянову. Да Ельцин "и через своих людей не мог не знать накануне 19-го числа о замыслах союзного руководства и, вполне возможно, специально вел последние разговоры так, чтобы создать впечатление о своей поддержке будущих "путчистов". Тем самым они провоцировались на неконституционные действия, а это позволяло обвинить их в перевороте и одним ударом ликвидировать ненавистный Центр. Риск? Безусловно. Это был крупный политический риск, но именно в этой области силен Б. Ельцин".

Короче, и в Белом доме, как на даче в Форосе, разыгрывалась сцена для публики, о чем говорит необъяснимое поведение заговорщиков: прибывшего в Москву 18 августа Ельцина никто не задерживает, он свободно совещается со своим окружением, его не отключают от телефонов и даже позволяют передавать по факсам и телеграфу в города России приказы о невыполнении распоряжений ГКЧП. Вот до какой степени основательное доверие питают, по Лебедеву, заговорщики к Президенту России. Остается предположить, что их арест и годовое пребывание в тюрьме тоже согласованы заранее и представляют третий акт комедии, разыгранной, чтобы сокрушить Центр, привести к власти демократов и запретить КПСС.

Предположение, что Ельцин и его команда провоцировали заговор и даже косвенно в нем участвовали, - из области детективных фантазий. Ссылка на склонность российского президента к риску в данном случае неубедительна. При всей своей решительности, он действует в "пиковых" ситуациях достаточно расчетливо и этому обязан тем, что сумел в конечном счете "переиграть" Горбачева. Но можно ли было, будучи в здравом уме, положиться на своего рода психологическую гипотезу, что в рядах гэкачепистов не найдется генерала Кавеньяка или Пиночета? Да необязательно генерала, достаточно было лейтенанта, считающего, что держава гибнет и для ее спасения нужно всего-то сбросить пару бомб на Белый дом? Что танкисты не откроют огонь по баррикадам на свой риск и страх, без приказа? Или: при крайне враждебном отношении к Горбачеву Ельцин мог ведь предположить, что тот примкнет к заговорщикам, чтобы спасти Союз и свое президентское

кресло.

Короче, со всех точек зрения было бы безумием, зная о готовящемся выступлении гэкачепистов, спокойно дать ему совершиться, чтобы использовать затем в своих стратегических целях. В то время, конечно, все могли строить предположения, что рано или поздно будет сделана попытка переворота. Вслед за Шеварднадзе появилась целая куча предостерегателей, угроза "витала" в общественной атмосфере, поэтому нет ничего странного в том, что участники будущих событий по-своему к ним готовились. Некоторые провидцы даже предсказывали дату, резонно связывая ее с подписанием Союзного договора. Наконец, есть основания предполагать, что в окружении Ельцина вынашивался свой способ сорвать заключение Договора. На этот счет вполне мог существовать сговор с руководством Украины. Но все это из области догадок.

Малая вероятность того, что в Белом доме располагали точными сведениями о готовящемся выступлении, подтверждается и тем, что, по многим свидетельствам, решение выступить окончательно созрело у заговорщиков буквально за несколько дней до 19 августа. Свою роль, видимо, сыграло то, что в отсутствие президента, уехавшего в отпуск, психологически проще договориться, открыть друг другу карты и сочинить проекты заявлений, которые затем повезут в Форос, чтобы вырвать подпись у Михаила Сергеевича. Это не значит, что мысль о необходимости что-то предпринять, чтобы не допустить развития событий по огаревскому сценарию, не приходила раньше в головы будущих участников заговора. Чего там! Они фактически и не скрывали недовольства ходом дел и поведением президента. Но недовольство, пересуды за спиной - это еще не заговор.

Очевидно, Ельцин и его помощники узнали о готовящемся выступлении сразу после того, как были отданы первые распоряжения. Некоторые генералы, не желая участвовать в авантюре, поставили об этом в известность российское руководство. Однако и сами они не имели исчерпывающей информации - в таких случаях исполнителям говорят только, чем им конкретно надлежит заняться. Значит, о планах заговорщиков в Белом доме стало известно далеко не все. В этих условиях, посоветовавшись, руководители России приняли единственно возможное решение - занять круговую оборону. Едва ли в тот момент у них в головах прокручивалась мысль о том, как воспользоваться провалом заговора.

Вероятно также, однодневное замешательство в противном лагере ослабило бдительность заговорщиков. Решив, что отсюда не следует ожидать немедленного отпора, они сочли излишним торопиться с арестом Ельцина и других своих оппонентов, решили попытаться придать введению чрезвычайного положения легальный характер, а там, как говорится, будет видно. Это был их главный просчет.

Но чем все-таки объяснить, что безотказно действующий обычно принцип "qui prodest" на сей раз не помогает "взять след" - нечто вроде взбесившейся стрелки компаса, которая вдруг стала указывать на Юг? Есть только одно правдоподобное объяснение: при диаметрально противоположных стратегических целях тактические интересы гэкачепистов и их противников в тот момент совпали. Те и другие жаждали сорвать подписание Союзного договора. Первые, потому что он, по их мнению, стал бы лишь промежуточной станцией на пути к окончательному распаду СССР. Вторые, потому что видели в Договоре спасение Центра (пусть не с прежними неограниченными полномочиями), опасались, что его подписание может надолго отложить столь страстно желаемые разгром остатков прежней системы и выселение Президента СССР из Кремля.

Ну а как обстоит дело с приписываемой самому Горбачеву причастностью к планам заговорщиков? Версия еще более фантастическая.

Для начала стоит рассмотреть факты. Они сводятся к упомянутой "4-й" линии связи. Инкриминируя Горбачеву столь тяжкое обвинение, Лебедев не задумался над тем, что у президента могли отобрать и пресловутый персональный передатчик. Генеральный прокурор России В. Степанков и руководитель следствия по делу ГКЧП доказывают, что с 16 часов 30 минут 18 августа 1991 года Горбачев уже не контролировал "ядерного чемоданчика", так называемый ядерный караул (группа офицеров во главе с полковником В.Т. Васильевым)



изолирован, а затем отправлен в Москву, и, вообще, роковая кнопка находилась все это время в распоряжении Генерального штаба.

Забавно, что отрывок из книги Степанкова и Лисова опубликован в том же номере "Независимой газеты", в котором Лебедев предается своим детективным фантазиям.

Стоит привести и показания телефонистки коммутатора "Мухолатка" Тамары Викулиной:

- Я только собиралась соединить Горбачева с его помощником Шахназаровым вдруг откуда ни возьмись за моей спиной появились офицеры правительственной связи. Сейчас, говорят, отключим связь с Горбачевым. Я в ответ: "Только что сообщила Горбачеву, что соединяю его с Шахназаровым. Неудобно теперь не соединять". Как только разговор с Шахназаровым закончился, связь тут же пропала. Следующим должен был с Михаилом Сергеевичем говорить Председатель Верховного Совета Белоруссии Дементей. Но офицеры - они уже распоряжались на коммутаторе - посоветовали ему положить трубку и больше не беспокоить президента звонками...

Коммутаторы перешли на ручной режим работы. Только по автомату никто не мог бы дозвониться с "Зари", если бы даже каким-то образом восстановил связь. Все разговоры в процессе ручного режима становились подконтрольными. На правительственном коммутаторе в Ялте место дежурной телефонистки занял офицер КГБ. Он получил указание предоставлять связь только радиостанции "0254", установленной в автомобиле Генералова. И только по паролю. Пароль был "Марс"\*.

Полагаю, этого достаточно, чтобы раз и навсегда отказаться от подозрений, будто у Горбачева была возможность связаться с миром и он ее сознательно не использовал. Это - фактическая сторона дела. Но следует рассмотреть и основанную на чистой дедукции версию Л. Баткина о мнимой причастности президента к заговору\*\*.

Суть ее концентрированно изложена в следующих утверждениях. "Это был не столько государственный переворот, сколько государственный поворот", "В программе хунты не значилось, по существу, ничего такого, что расходилось бы с официальной или закулисной политикой Центра вообще и Горбачева в частности".

Напрашиваются два вопроса. Первый: следует ли отсюда, что заговорщики были согласны с проектом нового Союзного договора, подготовленным к подписанию 20 августа? И второй: если их планы не расходились с политикой Горбачева, зачем вообще понадобилось это рискованное предприятие и почему они отважились на тягчайшее государственное преступление, отстранив от власти законно избранного президента?

Ответ таков: "Идея чрезвычайного положения и чрезвычайных полномочий на протяжении почти двух лет была самой навязчивой идеей Горбачева". В соответствии с этой логикой Михаил Сергеевич оказался во власти навязчивой идеи ЧП уже тогда, когда по его инициативе (я бы даже сказал, "при его понукании") в стране начала формироваться парламентская система, обрела свободный голос печать, готовились предпосылки для формирования многопартийной системы. Разъезжал генеральный секретарь по городам и весям, уговаривал трудящихся взять свою судьбу в собственные руки, гнать бюрократов, а у самого в это время в мыслях: "Как бы мне ввести чрезвычайное положение". Большой шутник - Леонид Баткин!

Но разве идея ЧП - выдумка, не носилась ли она в воздухе, не доказывали ли некоторые политологи, что стране не обойтись без "железной руки", а структурные реформы успешно осуществляются только под надежным прикрытием штыка? Да и Верховный Совет не от нечего делать принял Закон о чрезвычайном положении.

Все это было. Но, обыгрывая мнимую "одержимость Горбачева" чрезвычайными методами, Баткин преднамеренно умалчивает о двух обстоятельствах. Во-первых, если президент и говорил о возможности введения ЧП в отдельных регионах, то только в связи с возникавшими там конфликтными ситуациями, когда на почве этнических раздоров начинала литься кровь (кстати, именно это пришлось сделать Ельцину в Осетии в ноябре 1992 года).

Что еще важнее, сама возможность введения ЧП мыслилась исключительно в рамках законности. Когда был поставлен вопрос о принятии специального законодательного акта на этот счет, некоторые публицисты недоумевали: зачем президенту это понадобилось, у него и так "вагон полномочий". Другие же не без оснований критиковали его за то, что не были своевременно приняты жесткие меры, в том числе - с введением чрезвычайного положения, для предотвращения насилия в Фергане, Новом Узене, Сумгаите и других местах.

Надо быть уж очень пристрастным, чтобы не понять: если Горбачев и одержим какой-либо идеей, то отнюдь не ЧП. Как раз напротив, его идефикс, подлинная страсть - легитимность власти и политики. Ради этого, собственно говоря, предпринята и вся политическая реформа. Как раз последние два года, о которых говорит Баткин, Михаил Сергеевич от речи к речи призывал отказаться от "кулачных" форм политической борьбы, возмущался теми, кто не понимает преимуществ парламентской демократии перед голодовкой и булыжником как "оружием пролетариата".

В поисках доводов для подтверждения своей версии Баткин использует известный эпизод выступления трех министров на закрытом заседании Верховного Совета СССР с косвенной критикой президента, а затем и эскападу Павлова, потребовавшего от парламента расширить полномочия кабинета министров. Почему президент всего лишь пожурил своих бывших соратников, а не прогнал их? Согласен, надо было гнать. Но дело как раз в том, что Горбачев не усмотрел состава преступления в попытке высших чиновников его администрации ставить волнующие их вопросы с парламентской трибуны. Он был, безусловно, раздражен, даже выведен из себя этим проявлением нелояльности, чего не скрывал в своем кругу. И тем не менее не видел оснований для принятия дисциплинарных мер. Во всяком случае, отложил это на будущее, тем более что впереди было подписание Союзного договора, за которым неминуемо последовала бы смена всей структуры властных органов Союза.

Что все это так, вероятно, лучше всего подтверждает содержание первого разговора Горбачева с заговорщиками. Он им сказал: если вы не согласны с Союзным договором, с нашей политикой, считаете необходимым ввести чрезвычайное положение - ставьте этот вопрос на Верховном Совете. Я такой необходимости не вижу, но готов лететь вместе с вами в Москву, пусть вопрос решается на конституционной основе.

После избавления из "форосского плена", в течение 22-24 августа Михаил Сергеевич рассказывал своему "ближнему" окружению, как все это происходило. Одновременно решались многие неотложные вопросы, но в промежутках между подписанием документов и телефонными беседами с лидерами зарубежных государств он вновь и вновь возвращался к этой теме, вспоминал подробности, делился новыми догадками. Президент был в редком для себя возбужденном состоянии, когда человек раскрывается, распаивается до предела, когда потребность снять с души груз забот и сомнений побуждает его быть искренним до конца. Оставляя в стороне все доводы логики и холодного разума, можно не сомневаться, что в тот момент мы услышали неприкрашенную правду. И я дословно воспроизвожу сказанное им, хотя примерно то же самое Михаил Сергеевич не раз повторял в различных интервью и беседах.

- В тот день я разговаривал по телефону с Янаевым, Щербаковым. Геннадий Иванович... Вот ведь какая подлость!.. Как ни в чем не бывало: все здесь готово к подписанию, мы вас будем встречать.

Последний разговор был с Георгием. Помнишь? - Я кивнул. - Речь не потеряй, она еще пригодится.

Потом отключили все телефоны, наглухо изолировали. А около пять часов мне говорят: "К вам приехали товарищи Бакланов, Болдин, Шенин, Варенников". - "Кто их приглашал?" Пожимают плечами: "Приказал пропустить Плеханов\*". - "А Медведев где?" - "Уехал".

Начальник охраны президента генерал В. Медведев, выполнявший те же функции при Брежнев, получил приказ срочно выехать из Фороса. Михаил Сергеевич не обвинял его: человек военный, обязан подчиниться прямому начальству. А вот другие охранники

говорили, что просто струсил, сбежал. Они правы и формально: Президент - высшая власть, главнокомандующий, никто без его согласия не вправе распоряжаться его личной охраной.

- Ладно, - продолжал Михаил Сергеевич, - я велел провести их в кабинет. Вошли по-хозяйски, без былого почтения. Видно, хотели подчеркнуть свою решимость. Сели, не дожидаясь приглашения. И с места в карьер: обстановка тяжелая, надо спасать страну, создан комитет по чрезвычайному положению. Спрашиваю: "Кто создал?" Называют членов ГКЧП и предлагают подписать президентский указ. А нет - так передать полномочия Янаеву. Говорил в основном Бакланов. Порой подключались и другие. Болдин держался подчеркнуто холодно, отчужденно, словно мы с ним и незнакомы. Стал рассуждать, что у меня нет выхода.

Ну тут я им выдал. Никаких указов подписывать не буду, под дулом ничего от меня не добьются. Сказал им, что они безумцы, самоубийцы. Себя загубите - черт с вами, но ведь страну сталкиваете в пропасть. Не удержался от сильных выражений.

Они опять: надо спасать Родину, другого выхода нет. Не хотите подписывать - откажитесь от поста. Я пробовал призвать к уму-разуму: считаете, что нужны перемены, вносите предложения, соберем Верховный Совет, будем действовать по Конституции, по закону. Но понял, что переубеждать их бесполезно. Заключил так: требую немедленно восстановить связь, дать самолет, иначе будете отвечать за государственное преступление.

Вошла Раиса Максимовна. Они поднялись ей навстречу. Она им руки не протянула, спросила: "С чем приехали?" - "Мы ваши друзья, хотим спасти страну и президента..." - "Вы предатели, потерпите сокрушительное поражение!"

Уехали визитеры, мы собрали охрану - все тридцать два человека сказали, что будут с нами до последнего. Боялись отравления, подсчитали, что есть в доме из продуктов - хлеб, крупы, сахар, овощи. Решили, что надо любым способом дать знать о происшедшем. Засняли на видеокамеру мой рассказ, дважды продублировали, потом прятали у разных людей - одну пленку взялась сохранить стенографистка Оля Ланина, другую доверили доктору...

- Грубее всех, - вспомнил с обидой Михаил Сергеевич, - держался Варенников. Когда я отказался подписать указ о чрезвычайке, он выругался и сказал: "Иного мы не ждали, что же, будем действовать сами".

Весь этот эпизод гораздо полнее описан самим Горбачевым\*. Суть дела в том, что в канун решающих перемен, когда подписание нового Союзного договора стало неминуемым, противники его пошли ва-банк. То, что для президента явилось плодом длительных усилий и искусства компромиссов, для них было "предательством". В новом, подлинно федеративном и демократическом государстве Михаил Сергеевич видел свое детище, а заговорщики - монстра, пятнадцатиглавую гидру. Привычка покорно следовать воле генсека, бывшая для партийных чиновников столь же непререкаемой, как для верующего католика слово Папы Римского, провела их до августа 1991 года через все другие преобразования, многие из которых, конечно же, были им не по душе. Но реформа Союза явилась для них настолько сильным шоком, что идеологическое табу не устояло. Все как один выдвинутые им на высокие должности, они подняли на него руку.

Здесь я вынужден вернуться к своему выступлению в Верховном Совете РСФСР 21 августа. Дело в том, что некоторые идеологи истолковали его чуть ли не как оправдание действий гэкачепистов с одной оговоркой: "чрезвычайку" надо было вводить другими методами. В действительности смысл сказанного состоял в следующем: заговор сверг страну в такое состояние, из которого не выйти иначе как с помощью экстраординарных, то есть чрезвычайных, методов. Именно так и случилось. Сосредоточение власти в руках Государственного совета, фактический роспуск Съезда народных депутатов - это были уже неконституционные меры, диктовавшиеся чрезвычайной обстановкой. Увы, и они оказались бесполезны.

Почему я прибег к знаменитой метафоре Жозефа Фуше? Потому что заведомо было ясно, что попытка сорвать заключение нового Союзного договора при нынешнем состоянии вещей неминуемо приведет к резкому усилению сепаратистских тенденций. Даже если бы

заговорщикам удалось закрепиться у власти, они не смогли бы предотвратить федерализацию или конфедерализацию бывшего унитарного государства. Поначалу республики подчинились бы грубой силе, но едва ли согласились вернуться в прежнее состояние. Само покушение на это сыграло роль детонатора взрывной волны: хотя и не обходившийся без осложнений, но все же направляемый процесс преобразования Союза был грубо оборван. Возникла угроза спонтанного его распада, которую так и не удалось предотвратить.

Баткин не случайно воспринял с неодобрением эту часть моего выступления. Дело в том, что, в конечном счете выиграв от всего случившегося в августе 1991 года, радикалы рассматривают это как свою победу, даже пытались объявить 21 августа национальным праздником. Я же полагаю правильным видеть в этом событии национальную трагедию. Не потому, конечно, что провалился заговор, а потому, что был поставлен крест на относительно мирном, плавном развитии реформации.

Ближайшей целью гэкачепистов было сорвать подписание Союзного договора, стратегической - разрушить новоогаревский процесс. А Баткин не без удовлетворения замечает, будто "после августа несостоятельность новоогаревского процесса стала общепризнанной (со стороны российского руководства тоже)". В действительности Ново-Огарево стало символом единственно рациональной политики в условиях происходивших у нас структурных реформ. Это ведь не что иное, как формула согласия. В период, когда рухнувшая тоталитарная система грозит погребсти страну под своими обломками, когда маячит опасность новой гражданской войны вокруг на сей раз "наследия социализма", когда весь мир трепещет перед тем, к чему это приведет на земле, насыщенной ядерными боезарядами и атомными станциями, в этот период более всего нужны здравый смысл и высочайшее чувство ответственности у власть предержащих. Их-то они и проявили, собравшись в Ново-Огарево, а после августовских потрясений возобновив свои встречи на заседаниях Государственного совета.

Но остановить лавину уже не удалось. Заговор обреченных обрек страну на распад.

Последняя попытка

Многие обращали внимание на внешнее сходство Горбачева с Бонапартом. Тот же чеканный профиль, решительная походка, горделивая осанка...

Но есть некое сходство и в их судьбе. Наполеон после бегства с Эльбы и возвращения в Париж продержался у власти 100 дней. Горбачев, после того как его вызволили из заключения в Форосе и восстановили в правах президента, оставался им 125 дней, а если не быть формалистами (или, напротив, быть ими?), нужно вычесть отсюда еще 17 дней: с 8 декабря, когда Ельцин, Кравчук и Шушкевич сговорились в Беловежской Пуще распустить СССР, у главы Союзного государства не было больше государства.

Наполеон предпринял последнюю отчаянную попытку отстоять трон, и она стоила жизни десяткам тысяч человек, павших под Ватерлоо. Есть легенда, что французы проиграли сражение по вине нерасторопного генерала Груши, опоздавшего привести свой отряд на выручку императору. Даже если так, на сколько дней можно было отложить неизбежное в конце концов поражение в неравной борьбе с объединенными силами всей остальной Европы?

Горбачев отказался от попытки отстоять целостность Союзного государства ценой неизбежной в таком случае гражданской войны. Был ли у него малейший шанс добиться этого политическими средствами в борьбе с объединившимися президентами, а затем и Верховными Советами России, Украины и Белоруссии, к которым через неделю примкнули президенты и парламенты еще шести бывших советских республик, ныне независимых государств? Ответ на этот вопрос мы получим, еще раз прокрутив в памяти роковые 110 дней.

К чему, однако, все эти поверхностные параллели? Что общего, за исключением легкого портретного сходства и случайного совпадения дат, у выдающегося полководца, сколотившего могущественную империю, и советского лидера, которого доброжелатели

жалеют как неудачника, а противники проклинают как виновника развала великой супердержавы? Я прошу читателей самим поразмыслить над этим, а своей догадкой поделюсь в конце книги.

Если три дня - 19, 20 и 21 августа - угрожали вернуть Советский Союз к тоталитарной системе правления, а мир - к "холодной войне", то три дня - 24, 25 и 26 августа - ознаменовались разрывом с существовавшей в СССР на протяжении 73 лет политической и экономической системой. Волею судьбы мне довелось быть свидетелем того, как разворачивались события в их эпицентре - в кабинете Президента СССР в Кремле.

Если смотреть на историю с высоты веков, кажутся не столь уж важными детали событий, тем более - побуждения, двигавшие людьми. И все же в этом огромном историческом полотне есть эпизоды, когда приобретает значение каждый час, если не минута. Аналитики дотошно устанавливают календарную последовательность фактов, имевших место в эти драматические августовские дни. И особенно их интригует крутой поворот, который, казалось бы, произошел в мышлении и решениях М.С. Горбачева где-то между 23 и 25 августа.

Мне кажется, в поисках достоверного ответа нужно учесть психологическую сторону дела. Прилетев в Москву, президент находился под сильным впечатлением от перенесенного. Не следует забывать, что он подвергся грубому насилию, причем со стороны людей, которым безгранично доверял. В течение 70 с лишним часов Горбачев был лишен связи с внешним миром и мог ожидать худшего. Припертые к стене заговорщики могли решиться на все, в том числе - физическое насилие над президентом, включая применение психотропных препаратов, лишаящих памяти и воли. Что это было возможно, свидетельствуют попытки получить от врачей официальные заверения о болезни и недееспособности президента\*.

Нельзя упускать из вида и то, что вместе с М.С. Горбачевым находилась его семья. Тревога за судьбу близких людей не могла не усугублять положение. Возвращаясь мысленно к тому, что ему пришлось пережить, нужно воздать должное его человеческому и гражданскому мужеству. Нетрудно представить, насколько серьезней стали бы шансы заговорщиков на успех, если бы им удалось вырвать у Горбачева хотя бы косвенное согласие на введение чрезвычайного положения. Переворот был бы фактически легализован, и это намного затруднило серьезное ему противодействие.

Вернувшись в Москву и будучи вынужденным сразу же выступить с рядом публичных заявлений (сначала на пресс-конференции, а затем на заседании Верховного Совета РСФСР), он просто еще не мог "переключиться", осознать целиком значение совершившегося и тем более извлечь из него уроки. Что это так, лучше всего свидетельствуют подробные, часто детализированные рассказы обо всем, что произошло на даче в Форосе. Он говорил об этом не только потому, что его просили, но и потому, что мыслями был все еще прикован к тем злополучным дням своей жизни. Характерно, что, и собрав свое близкое окружение в так называемой Ореховой комнате 23 августа, Михаил Сергеевич большую часть времени уделил подробному рассказу о случившемся в Форосе. Лишь в конце дня разговор переместился с этой истории на обсуждение политической ситуации. Но по-настоящему всесторонний серьезный анализ был дан на следующий день - 24 августа, когда в кабинете президента собрались Яковлев, Примаков, Медведев, Ревенко и мы с Черняевым. В течение субботнего дня были не только приняты "по идее", но написаны, отредактированы и подписаны президентом кардинальные решения, означавшие, по сути дела, конец одной и начало другой эпохи политического развития страны.

Прежде всего это его заявление о том, что руководство партии не выполнило своего долга поднять коммунистов на борьбу против заговора, а отдельные партийные организации прямо его поддержали. В этой связи М.С. Горбачев сложил с себя выполнение обязанностей Генерального секретаря ЦК КПСС и рекомендовал Центральному Комитету самораспуститься. Позднее он сам прокомментировал этот документ, сказав, что до последнего момента надеялся на возможность реформирования партии на основе новой

Программы, опубликованной в конце июля. Однако заговор перечеркнул эти надежды. Стало ясно, что КПСС просто не способна преобразоваться в политическую партию, действующую наравне с другими в условиях парламентской демократии. В заявлении подчеркивалось, что миллионы коммунистов не могут нести ответственности за позицию ее руководства, и выражалась уверенность, что прогрессивно мыслящие члены КПСС сумеют создать организацию социалистической ориентации, которая вместе с другими демократическими силами доведет до завершения проводимые в стране реформы.

Логическим следствием кардинальной переоценки роли партии и ее места в обществе стал Указ президента о взятии под охрану местных органов власти имущества КПСС. Были приняты также указы об отставке кабинета министров, департизации правоохранительных органов и госаппарата.

Покончив с первоначальными заботами, президент занялся кадровыми вопросами. Подписав указы об освобождении с занимавшихся ими постов Янаева, Павлова, Крючкова, Язова и Пуго, он, не сходя с места, назначил председателем КГБ Шебаршина, министром обороны Моисеева и министром внутренних дел Трушина. Делалось это в спешке, и на другой день, после беседы с Ельциным, на эти ключевые посты были утверждены другие.

Пожалуй, так впервые дало о себе знать новое соотношение сил, сложившееся после августовских событий. Было ясно, что недавний "форосский узник" уже может рассчитывать на подчинение только союзных органов власти, да и то небезоговорочное. Боюсь, в тот момент Горбачев еще не осознал в полной мере, что он остается фактически хозяином Кремля, за стенами которого властвует Ельцин. Но вот то, что отныне единственным органом, способным если не управлять, так хотя бы влиять на ход дел в союзном масштабе, является "девятка", сомнений ни у кого не было. Горбачев поручил нам с Бакатиным и Примаковым подготовить материал к первой "поставгустовской" встрече в Ново-Огарево.

Без обсуждений было принято мое предложение официально включить ту же "девятку", то есть руководителей союзных республик, участвующих в подготовке Союзного договора, в состав Совета безопасности. Это позволяло избежать упреков, что страной управляет неконституционный орган, да и придавало вес самому Совету, который, как до него президентский, практически ничего не значил.

В тот день зашел разговор и о премьере. Я предложил не торопиться с его назначением, поскольку было не очень ясно, какой вид примет теперь структура союзных органов, какие за ними сохранятся полномочия. Михаил Сергеевич прошелся на мой счет ("Вечно ты со своими провидческими претензиями"), но спорить не стал. Пригласив Ивана Степановича Силаева, он предложил ему на временной основе взять на себя руководство союзными ведомствами. Силаев заволновался, сильно покраснел, начал отнекиваться. Он, разумеется, понимал, что положение союзного премьера в тех условиях было незавидным, но Михаил Сергеевич сразил его, сообщив, что Ельцин дал согласие. К тому времени у Президента России накопились претензии к своему премьеру, и он решил воспользоваться ситуацией, чтобы убить двух зайцев: и место в России освободить, и поставить над союзным правительством верного человека.

Под занавес, где-то часов в 11 вечера, вспомнили о вице-президенте. Примаков предложил Яковлева. Я возразил: предстоят выборы, на них надо идти с выгодной комбинацией. Оптимальный выбор - Назарбаев. Человек энергичный, не будет довеском, в политическом плане крупная фигура. Страна у нас евроазиатская.

Михаил Сергеевич слушал нас, сам больше отмалчивался. Явно не хотел обижать Яковлева, портить с ним отношения, но и брать его в "вице" не был расположен.

Долгое "сидение" продолжалось 25-го. Теперь уже к нам присоединились по приглашению Горбачева Собчак, Кудрявцев, председатель Верховного Суда Смоленцев, генеральный прокурор Трубин. Последний не без смущения сказал, что придется вызвать президента в качестве свидетеля. Михаил Сергеевич пожал плечами:

- Охотно дам показания. Правда, предпочел бы для экономии времени встретиться со следователем здесь.

На сей раз обсуждали главным образом политическую обстановку. А она предельно обострилась. Вокруг здания ЦК на Старой площади собралась огромная толпа. Точнее, была собрана, без организации здесь явно не обошлось. Очевидно, какой-то штаб в Белом доме приказал штурмовать твердыни прежнего режима, как три четверти века назад из Смольного отдали приказ "брать" Зимний дворец. Ссылаясь на распоряжение президента, "комиссары" начали опечатывать комнаты, не обошли и кабинет генсека на пятом этаже. Второй подъезд, через который мы обычно ходили, был закрыт, и мне пришлось выбираться через двери, которые выходят во двор и использовались обычно только членами партийного руководства. Весь участок улицы Куйбышева до Кремля был запружен народом, я и мои сотрудники шли как сквозь строй.

Но публика была настроена миролюбиво. Неожиданно ко мне пробрались журналисты с Московского радио и итальянского ТВ, попросили прокомментировать события. Демонстранты нас обступили и это своеобразное уличное интервью прошло под их реплики. Спрашивали, что было в Форосе, куда пойдет дело дальше, чем занят Горбачев.

С большим трудом пришлось вызволять в последующие дни свою библиотеку и личные вещи. Черняеву, задержавшемуся до вечера, пришлось выбираться по подземному переходу из ЦК в Кремль, о котором ни он, ни я за годы работы в аппарате и слыхом ни слыхивали.

Самый тревожный эпизод, когда, казалось, толпа сорвется на погромы, произошел на Лубянке, где стащили с пьедестала памятник Дзержинскому. Видимо, в "штабе" недооценили опасность возбуждения страстей. На каждого сознательного демократа сразу же нашлось несколько люмпенов, преступников, любителей покуражиться и просто зевак, не упускающих шанса безнаказанно пошуметь. Дело могло принять худой оборот, и только после разговора Горбачева с Ельциным активистам Демроссии была отдана команда померить революционный пыл.

Зная о настроениях среди части депутатов Верховного Совета России, некоторые из нас не советовали президенту идти на сессию. Но он возразил, что труса праздновать не станет, бояться нечего, надо все разъяснить, и люди поймут. К сожалению, сбылись худшие опасения. Его перебивали выкриками и оскорбительными репликами, издевательски смеялись, а Президент России, нарочито игнорируя предостережение Горбачева, стоявшего на трибуне, подписал в Президиуме Указ о запрете КПСС. В тот момент стало окончательно ясно, что великодушия от своего соперника Михаилу Сергеевичу не дожидаться, будет делаться все, чтобы его унижить и добить.

Так завершилась самая горячая послеавгустовская пора. Тогда все было предрешено. Оставшиеся до финала четыре месяца были заполнены отчаянными, увы, бесплодными попытками спасти Союз.

Уже 27-го утром Горбачев вызвал меня по селектору:

- Георгий, ты занимаешься Союзным договором?
- Мне и в голову не приходило, - откровенно ответил я.
- Ну так вот, берись и не медли.
- А вы уверены, что удастся возобновить все это, по крайней мере в ближайшее время?
- Уверен не уверен - не тот разговор. Будем сидеть сложа руки, окончательно все проиграем. Страну растащат к чертовой матери.
- Но ведь обстановка совсем не та. Республики захотят урвать побольше прав.
- Конечно, а мы, со своей стороны, должны им объяснить, что без Союза ни одна из них не выживет. Даже Россия. Всем будет плохо. Кое-что можно поправить, но все-таки держись ближе к согласованному тексту. Соберитесь в ближайшие дни с Ревенко, Кудрявцевым и дайте мне предложения.

На этом он отключился, и уже на следующий день у меня собралась рабочая группа, участники которой не разделяли оптимизма шефа. Все мы отдавали себе отчет, что отныне политическая погода в стране все меньше зависит от Кремля и все больше от Белого дома. В этих условиях было малопродуктивно браться за дело, не попытавшись выяснить намерений

Ельцина и его команды. Как они теперь относятся к самой идее заключения нового Союзного договора, что предпримут, не воспользуются ли ситуацией, чтобы вовсе поставить на Союзе крест, о чем мечтали чуть ли не с самого начала?

Сделав с учетом новых реалий поправки в проекте, я начал звонить помощникам российского президента Шахраю и Станкевичу. Оба они не стали раскрывать карты, заявив, что Ельцину сейчас не до этого, да и вообще Союзный договор, похоже, выпал из повестки дня, утратил актуальность. Со слов Михаила Сергеевича, примерно то же говорил ему и сам Ельцин; он явно не торопился возвращаться в Ново-Огарево. По многим признакам становилось ясно, что в "мозговом центре" Белого дома решено вернуться к идее подмены Союза серией двусторонних договоров России с республиками и, возможно, четырехстороннего соглашения России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Горбачева и Верховный Совет СССР при этом старательно обходили. Мы были подвергнуты своего рода политическому и информационному ostracismu. Это ощущалось даже в том, что днями, а то и неделями невозможно было соединиться с ключевыми фигурами по телефону - наталкивались на бесконечные отговорки: занят, уехал, проводит совещание.

Между тем Горбачев теребил, требуя как можно скорее выяснить позицию руководства России и других республик. Этим занимался Ревенко, названивая чуть ли не ежедневно президентам и их помощникам. Картина складывалась невеселая. Готовы были сразу же вернуться в Ново-Огарево и засесть за проект Союзного договора среднеазиатские лидеры, хотя и они заявляли о необходимости существенной корректировки текста. По-прежнему конструктивно были настроены белорусы. Но наряду с двусмысленной, во многих отношениях обструкционистской линией российского руководства серьезным препятствием для продолжения работы над Союзным договором становилось негативное отношение к нему Киева. Из умеренного сторонника Союза Л.М. Кравчук, движимый честолюбивыми замыслами стать национальным лидером самостоятельной Украины, а в большей мере - под нажимом Руха, превратился сначала в скрытого, а затем и открытого противника.

Правда, все это случилось не сразу. Горбачеву удалось убедить Ельцина в желательности возобновления новоогаревских встреч. Но согласие это было дано только при том условии, что будет подготовлен новый проект Договора с установкой уже не на федерацию, а конфедерацию. И сделать это должны были сообща мы с советниками Белого дома. Персонально Ельцин поручил заняться этим Г.Э. Бурбулису, С.М. Шахраю и С. Станкевичу.

Теперь уже Шахрай сам позвонил мне, и я предложил встретиться, чтобы обсудить концепцию нового варианта. Такая встреча состоялась у меня в кабинете. Обменявшись мнениями, мы условились, что ельцинская команда подготовит свой вариант, после чего начнется практическая отработка текста. Спустя неделю мы получили такой документ. Зачитав его, я понял, что никакого Союза в Белом доме оставлять не собирались. Это было примерно то, что потом получило название "Содружество Независимых Государств". Но выбора не было. Я проинформировал президента, и он велел искать компромисс, добиваясь, тем не менее, чтобы за основу был взят наш вариант. Начался длительный торг, и после двух-трех туров совместной работы мы более или менее сошлись на компромиссном проекте.

Я рассказывал в первой части о встрече с Г.Э. Бурбулисом, на которой обсуждалась судьба Академии наук. Но главным предметом был Союзный договор. Бурбулис и Шахрай начали доказывать, что представленный вариант негоден, потому что основывается на старой концепции создания Союзного государства, а не Союза государств. Их доводы сводились примерно к следующему: сейчас сложилась недееспособная структура политической власти, поскольку одновременно существуют два президента. Договор в нынешних условиях означал бы нечто вроде соглашения России с самой собой. Раньше Россия как "донор", спаситель Союза ложилась на амбразуру, чтобы прикрыть любую брешь в нем. Она готова была сделать это в том числе ценой собственной гибели. Теперь, после 19 августа, это невозможно, потому что республики просто ушли и не хотят возвращаться в



прежнее состояние. Возможен в новых условиях лишь договор между ними при посреднической деятельности Горбачева. Роль его сейчас даже поднялась, а в дальнейшем будет зависеть от того, насколько он поймет иллюзорность сохранения Союза как государства. Надо помочь договорному процессу, в результате которого Россия станет правопреемницей Союза.

Вожделенное экономическое соглашение также нереально. Республики закусили удила. Украина ведет себя как политический недоросль. Поэтому мы должны спасти Россию, укреплять ее независимость, отделяясь от всех остальных. Вот после того, как она встанет на ноги, все опять к ней потянутся, вопрос можно будет решать заново. В этих рамках просматривается и "личная перспектива". Мы понимаем, что Горбачев - выдающийся реформатор, он по-прежнему играет большую роль на мировой арене. Если будет объявлен договорный процесс по сценарию России, понадобятся координационные структуры для осуществления оборонной стратегии, выращивания дипломатических органов (так сказал мой визави). Все эти функции никто не может выполнить лучше Горбачева. Борис Николаевич рассматривает как своего рода кодекс чести - помочь Михаилу Сергеевичу в данных условиях найти оптимальный для себя вариант. А он заключается в том, чтобы быть председателем в Союзе государств.

Бурбулис добавил, что Госсовет - не орган государства, а некая дренажная система, раздевалка, в которой каждый заботится лишь о своем интересе. Республики начали сбрасывать многомиллионные суммы денег в российские банки, чтобы потом перекачать себе материальные богатства России.

Я сказал, что в целом согласен с концепцией, согласно которой Россия на время должна "заняться собой, собраться с силами". Но сейчас вопрос в том, чтобы не ошибиться в тактике, придерживаясь одной стратегии. Можно разрушить Союз и распустить его официально, однако рассчитывать, что удастся повторить опыт 20-х годов, нереально. За те несколько лет, на протяжении которых Россия будет приходить в себя, бывшие республики разойдутся по разным отсекам, втянутся в другие союзы, блоки, возвращать их силой, разумеется, никто не захочет. Поэтому целесообразно сохранить Союз именно как обруч на это переходное смутное время. Причем это двойной обруч, он служит не только самому Союзу, но и России. Один из важнейших новых постулатов Договора гласит: пока республики остаются в Союзе, не ставится вопрос о границах, если же они будут уходить, этот вопрос должен быть обсужден заново. Готовы ли собеседники отдать Крым Украине, если она выйдет из Союза? Ни в коем случае - прозвучал дружный ответ.

Во время нашей беседы меня вызвали к телефону и соединили с Горбачевым. Выслушав, о чем идет разговор, президент начал вновь убеждать меня, что нужно иметь единое Союзное государство. А когда я возразил ему, что дело сейчас не в слове - с досадой сказал, что, видимо, и меня убедили "все эти бурбулисы". Он сухо прервал разговор, а когда я вернулся, позвонил вновь, чтобы узнать о конечных результатах. Уже самым обращением "Жора" он как бы извинился за то, что был перед этим несправедлив. Надо отдать ему должное: чутко ощущает, когда без оснований обидит человека. Тем не менее по существу дела он по-прежнему стоял на своем.

Самое любопытное, однако, в том, что где-то около 10 вечера мне позвонили из приемной и сообщили, что Ельцин прислал из дома отдыха, где он проводил отпуск, вариант договора со своими замечаниями. Я тут же запросил его и убедился, что Борис Николаевич пошел на гораздо большие уступки Михаилу Сергеевичу, чем это намеревались сделать его соратники. Я вновь соединился с Горбачевым, сообщил ему о замечаниях, он признался, что звонил Ельцину, просил его поскорей определиться.

Говорили на той встрече с "послами" Ельцина и о судьбе КПСС. Я передал Бурбулису письменный текст записки, представленной ранее Горбачеву. Смысл ее заключался в том, что надо дать возможность партийным организациям определиться, стимулируя уже начавшийся процесс создания социал-демократической партии. Соглашаясь с таким подходом в принципе, собеседники с яростью накинулись на КПСС. Присоединившийся к

нам министр юстиции Н.В. Федоров заявил, что после ознакомления с некоторыми документами из архива ЦК у них сложилось твердое убеждение в возможность возбуждения уголовного преследования против партии, ее руководства и даже генерального секретаря. В частности, сослался на передачу больших сумм валюты другим партиям. Завязался спор относительно того, можно ли избежать уголовного процесса, и если "да", то нужно ли в таком случае затевать парламентское расследование. С. Станкевич был сторонником последнего, считая, что должна быть создана специальная комиссия, а затем проведены слушания по этому вопросу.

Я сказал, что встать на этот путь - значило бы нанести непоправимый ущерб не только партии, но и остаткам политической стабильности, углубить кризис в обществе, поставив его на грань гражданской войны. Речь ведь идет не о восточноевропейских странах, где коммунизм не пустил столь глубоких корней, у нас 20 миллионов членов партии, а если взять их семьи, то несколько десятков миллионов людей, так или иначе связанных с прежним режимом. Как ни концентрировать удар на руководстве, антикоммунистическая истерия может обернуться кровавой бойней.

Что касается лидера, неужели повернется язык обвинить в злоупотреблении служебным положением человека, который опрокинул тоталитарную систему? Да и нет законов, которые позволяли бы осуждать за поступки, совершавшиеся в иной шкале ценностей. Тогда это принималось как нормальное проявление пролетарского интернационализма, не более. Американцы передали правым итальянским партиям 10 млрд. долларов, чтобы вытеснить коммунистов из правительства.

В конце концов было решено, что мы с Федоровым доработаем записку и она будет представлена Горбачеву и Ельцину. Однако на том сотрудничество по этому острому вопросу и прервалось. Мы еще несколько дней "толклись" над Договором, пытаюсь, где можно, усилить союзное начало. Кое-что удалось отстоять. Отправляя президенту согласованный на рабочем уровне проект, я, откровенно говоря, полагал, что он будет удовлетворен и велит послать его в республики. Вышло не совсем так. На другой день ранним утром я был приглашен к нему, и состоялась самая крупная за время нашей совместной работы размолвка.

- Что же вы, братцы, сложили оружие, без боя сдали все позиции! - без предисловия начал Михаил Сергеевич.

- С чего вы взяли? Напротив, в основу проекта как раз положен наш вариант. Россияне согласились отказаться от предложенной ими структуры, которая, по существу, упраздняла Союз.

Горбачев сердито взмахнул рукой.

- При чем тут структура. Это последнее дело. Гораздо важнее то, что вы капитулировали по главным пунктам.

- Каким именно?

- Прежде всего Союзное государство или Союз государств? Категорически нельзя соглашаться с последней формулой.

- Вы сказали, что теперь приходится соглашаться на конфедерацию. А что такое конфедерация, как не Союз государств. Да и само название нашей страны Союз республик, то есть Союз государств. И знаете, Михаил Сергеевич, дело ведь не в названии. Какое бы словечко мы тут ни оставили бы - федерация, конфедерация, - все будет зависеть от реального распределения полномочий. А в проекте четко прописаны все функции союзного государства - оборона, транспорт, связь, границы, гражданство. Если говорить всерьез, в мире нет ни одной конфедерации. Конфедерация - это временное состояние между федерацией и унитарным государством...

- Будешь мне лекции читать, - рассердился президент. - Это я и без тебя знаю, в университете учил. Сейчас речь не о словечках, а о существе дела. Извольте написать: Союзное государство. Никаких возражений слушать не хочу. Пошли дальше, - продолжал Горбачев, - почему выкинули союзную конституцию? Их логику я понимаю: нет

Конституции, нет и государства.

- Мы исходили из того, что Союзный договор плюс Декларация гражданских прав, которую уже принял Верховный Совет СССР, составят конституционную основу. Это не все. Никто не мешает будущему союзному парламенту принять конституционный закон об устройстве союзных органов власти и управления. Ну и в самом Союзном договоре прописаны основные позиции - я имею в виду президента, Верховный Совет, Суд, Прокуратуру и т. д.

- Кстати, о президенте. Ни в коем случае нельзя соглашаться, чтобы он избирался парламентской ассамблеей. Получается, что глава союзного государства будет просто марионеткой, целиком зависеть от республик.

- Согласен. Мы долго спорили, но так и не удалось отстоять эту позицию. Может быть, вы попробуете поговорить непосредственно с Борисом Николаевичем?

- Я-то попробую, - сказал он. - А пока вот по всем этим трем пунктам пишите то, что я сказал, и тогда будем рассылать.

- Как, не показывая россиянам?

- Да, да. Нечего тянуть с этим.

- Но может быть скандал.

- Не надо бояться, Георгий. Что вы перед ними на задних лапках ходите! Держите себя с достоинством. Ты что, подпал под влияние Бурбулиса?

- Михаил Сергеевич, - возразил я, - еще раз хочу сказать, что они уступили гораздо больше, чем мы. Я считаю подготовленный текст оптимальным, он соответствует соотношению сил. Начнем упираться, требовать слишком многого, можем потерять все.

Ответом было повторение, что не надо бояться, паниковать и т. д. Я, разумеется, был раздосадован этим разговором. И не только из-за колкостей, которые воспринимал спокойно, потому что знал, что Михаил Сергеевич говорил это в сердцах, отыгрываясь в тот момент на мне, чувствуя на деле свое бессилие. Нет. Меня больше тревожило, что если шеф заупрямится, переоценит свои возможности, то тем самым только даст своим противникам шанс сделать то, чего они давно добиваются - вовсе сорвать работу над договором. "Ах, вы не хотите, все тянете в сторону унитарного государства, не желаете признавать суверенитет республик, вновь навязываете нам диктат ненавистного центра - что ж, оставайтесь при своих интересах. А мы продолжим заключать двусторонние договоры, а то и создадим свой новый союз на чистом месте". Вот чего я боялся.

Но делать нечего. Получив безоговорочное указание, я в течение пяти минут внес поправки, подготовил текст, и на другой день Горбачев его разослал с приглашением собраться вновь в Ново-Огарево. Как и следовало ожидать, работа застопорилась уже на преамбуле, где теперь было восстановлено союзное государство. Ельцин заявил, что категорически не может принять этой формулы, и вообще это совсем не тот проект, который согласовывался с россиянами. Начались долгие дебаты, в конце концов Горбачеву пришлось-таки пойти на попятную слова "союзное государство" были убраны из текста.

Долго толковали вокруг разделения полномочий. Опять "зациклило", когда подошли к проблеме бывших автономий. Но все эти трудности можно было в конечном счете преодолеть. Блеснула была надежда повторно подвести Договор к подписанию, когда вдруг из Киева последовал отказ участвовать в дальнейшей работе и обещание вернуться к вопросу о возможности вхождения Украины в Союз только после президентских выборов.

Горбачев предложил завершить подготовку проекта и начать подписание, имея в виду, что Украина, как и некоторые другие республики, присоединится к нему позже. Но Ельцин решительно отклонил это, заявив, что без Украины Россия подписывать договор не станет. Подозреваю, у него была уже достигнута на этот счет предварительная договоренность с Кравчуком.

Начинался финал.

Финал

Жизненные испытания люди переносят по-разному. Одни покоряются судьбе, пассивно

и отрешенно наблюдают за тем, как их челн катится в стремнину. Другими овладевает бешеная жажда деятельности; мобилизуя скрытые резервы организма, они творят чудеса, нередко ухитряются выкрутиться из самых тяжелых передрыг, спасти, казалось бы, безнадежное предприятие. За свои 110 дней Горбачев действовал чаще всего в таком ключе. Стараясь спасти Союз, не давал покоя ни себе, ни своей команде, работал до изнеможения, без конца изобретал какие-то ходы, до хрипоты доказывал республиканским лидерам, парламентариям, журналистам, народу, что "мы не можем разделиться!", это абсурд, безумие, следствием которого могут быть величайшие бедствия - голод, гражданская война, большая кровь.

Отчаянная активность прерывалась иногда периодами несвойственной ему апатии. Они не были вызваны физическим состоянием - президент не жаловался на здоровье, просиживал, как всегда, рабочий день с 10 утра до 10-11 вечера, занимался текущими делами, был досягаем для помощников и посетителей. Но казалось, бесконечная бесплодная борьба, не приносившая результатов, изматывала его и побуждала хоть на день-два отвлечься, переключиться на второстепенные, ничего не значащие дела, малость прийти в себя. Пережив очередной приступ такой опустошенности, и, позволю предположить, не без труда отведя все чаще мелькавшую мысль о безнадежности задачи, какую он хотел решить, президент возвращался в обычное свое деловое состояние.

Это чередование активности с бездействием продолжалось до финала. Начало конца союзному государству было положено комплексом решений, принятых "девяткой" и без особого труда навязанных ошеломленным народным депутатам. Это - признание необходимости подписания Союзного договора, а также отдельных соглашений - экономического, оборонного и других, - в которых могли бы принять участие республики, не пожелавшие войти в состав Союза; сосредоточение исполнительной власти в руках Государственного совета, состоящего из руководителей союзных республик во главе с президентом СССР; образование республиками на паритетных началах Межреспубликанского экономического комитета для координации управления народным хозяйством и согласованного проведения экономических реформ и социальной политики.

Завершив свой недолгий жизненный путь, V внеочередной Съезд народных депутатов СССР самораспустился. Формально были соблюдены конституционные принципы, за роспуск проголосовало большинство. Это оказалось возможным благодаря жестким указаниям республиканских лидеров "своим депутатам" и позиции союзного президента. В то время к нему было немало "ходов" от различных депутатских групп, выражавших опасение, что роспуск съезда может стать прологом к ликвидации самого союзного государства: лишенное головы, оно долго не продержится, станет легкой добычей сепаратистов. Горбачев успокаивал, говоря, что это вынужденное решение, речь идет о компромиссе, Съезд уходит с исторической арены, выполнив свой долг; поскольку теперь республики признают необходимость подписания Союзного договора, за судьбу Союза можно не тревожиться, народные депутаты СССР как бы отдают свой статус на алтарь Отечества, давая возможность Госсовету возродить Союз уже в новом, федеративном качестве. К тому же страна не останется без высшего законодательного органа, поскольку Верховный Совет СССР будет продолжать выполнение своих функций.

Думаю, последний аргумент производил решающее впечатление. Нет оснований беспокоиться, создана ведь еще одна линия обороны - так, наверное, мыслили народные представители. А тех, кто цеплялся за депутатские права и привилегии, утешили обещанием привлечь к работе республиканских парламентов. Их, разумеется, обманули, как обманули во многих отношениях и самого Горбачева. Расскажу по своим записям о событиях осени 1991 года.

18 сентября. У президента собрались с целью определить подход к доработке Союзного договора Яковлев, Черняев, Ревенко и я. Разговор по теме сопровождался, как обычно, отвлечениями на злобу дня. Черняев выразил возмущение двуличием телевидения. Вчера была вызывающая антигорбачевская вылазка. Д. Ольшанский и В. Буковский обвинили его

не то что в косвенном соучастии, но в прямом участии и даже организации заговора.

Посетовали на непорядочность журналистов.

Горбачев предложил Яковлеву пост государственного советника по особым поручениям. Это предложение было не без удовольствия принято.

Зашла речь о том, что у нас всякий крупный политик перешагивал определенный рубеж, после чего круто менялись и сам он, и его политический курс. Вспомнили Хрущева, каким он был на XX съезде и позднее. Брежнева, начавшего свое правление с лозунгов "строгой научности" и "борьбы с субъективизмом", а затем пятизвездного генсека, маршала и автора бессмертной трилогии. Я добавил, что и Ленин был до и после нэпа, будут, наверное, говорить и о "Горбачеве до и после переворота". Михаил Сергеевич, смеясь, согласился: есть для того веские основания.

27 сентября. Зашел к президенту с просьбой получить согласие на свою поездку в США (в качестве президента Советской ассоциации политических наук на встречу с руководством американской ассоциации).

- Да ты что! Какие там США! Вот подпишем Союзный договор, на другой день можешь ехать.

- Так мы его подпишем, даст бог, не раньше декабря.

- Почему?

- Украина раньше не решится.

- Ну и что, подпишем с Россией, Беларусью, Казахстаном, остальные потом примкнут...

Какие новости от Ельцина?

- Пока никаких. Может быть, съездить к нему?\*

- Чего еще! Нам надо честь беречь.

- Похоже, у них к нам снисходительное, может быть, даже высокомерное отношение.

Играют с нами в кошки мышки, - сказал я.

- У них самих проблем достаточно, - сухо возразил президент. - Ты вот лучше скажи, что думаешь по поводу Политического консультативного совета?

- Думаю, от него будет мало толку. Проведете два-три заседания, тем дело и кончится.

Как было в свое время с Президент-ским советом.

- Ну ты всегда горазд критиковать, - недовольно буркнул Горбачев.

- Даже "Известия" и те, вежливо похвалив вас за выбор состава, заметили, что там все "шестидесятники".

- А что? Мы действительно "шестидесятники".

- Притом двойные: и вышли из 60-х годов, и по возрасту всем за 60.

30 сентября. В Ореховой комнате собрались помощники, Силаев, Руцкой, Явлинский, Сабуров, Сергеев. Обсуждали Экономическое соглашение, и стало выясняться, что российское руководство фактически ведет дело к тому, чтобы подменить им Союзный договор. Президент крайне нервно заявил:

- Если вопрос о союзном государстве является проблематичным, мне делать нечего. Тогда я займу нейтральную позицию. Сейчас они нас употребляют, выют веревки. Надо с этим кончать.

С его согласия Явлинский подошел к телефону, позвонил Ельцину. Задал ему вопрос, затем, обращаясь лицом к присутствующим, сказал в трубку:

- Могу я повторить вслух ваши слова? Хорошо: "Экономическое соглашение единственное, что сейчас возможно. На этой основе позднее можно будет заключить Союзный договор. Так мы включим в Союз максимальное число республик. Меня Михаил Сергеевич критикует за слово "сообщество". Но дело же не в слове. Что толку, если мы сейчас начнем подписывать договор и останутся всего три республики".

Горбачев подошел к столу, отобрал у Явлинского трубку. Поздоровался.

- Твоя позиция изменилась? Ты ведь признавал, что должны быть разные типы экономических отношений внутри Союза и вне его. В одном случае режим благоприятствования, в другом - нет.

Ты пойми, Борис Николаевич, есть экономическое сообщество, то есть государства, которые не вошли в Союз. Потребность в Союзе у них отпадает. Им выгодно получать от России все, а решения принимать, обязательные для всех, она не будет вправе. А я хочу, чтобы была Россия, действующая в союзном государстве и через него. Откровенно говоря, думал, мы с тобой достигли согласия. Этот разговор меня обеспокоил. По моим данным, к Союзному договору подключатся сразу восемь республик, а не три.

Я участвовать в похоронах Союза не буду, - заключил Горбачев. - Нужно решить главный вопрос - каким быть государству. Будет это сделано, подтянется и экономика.

Затем они с Ельциным договариваются, что в Алма-Ату поедут премьеры, чтобы продолжить обсуждение проекта Экономического соглашения.

Тут же Горбачев велел соединить его по телефону с Назарбаевым и сказал ему, что представленный вариант Экономического соглашения сильно отличается от того, о чем улаживались на Госсовете. Главное - есть намерение подменить им Союзный договор.

- Если будете принимать такой проект, Нурсултан, делайте это сами... Я не сомневался в тебе. Может быть, поставить вопрос, как Экономическое соглашение соотносится с политическим союзом? В течение недели доработать, подписать, потом ратифицировать семи-восемью государствам. Образуется союзный рынок, а остальным придется иметь дело уже с этим союзом. Нам важно вскрыть проблему, кто куда тянет, и определиться. Борис Николаевич сказал, Союзный договор дело месяцев. А я ему возразил, что собрал здесь его советников - Собчака, Попова - и все за скорейшее подписание договора.

Опустив трубку, Горбачев сказал:

- Назарбаев за то, чтобы в течение недели подписать Союзный договор.

2 октября. Заседание новоиспеченного Политического консультативного совета. А. Собчак жалуется на тяжелое продовольственное положение Ленинграда, исключенного из союзного и российского обеспечения, то есть обязательных поставок. Заключает:

- Если так будет продолжаться, я вынужден буду запретить вывоз тракторов на Украину, прекратить поставки промышленных товаров республикам, не выполняющим своих обязательств.

Ю. Рыжов. В России образовалось несколько центров власти: Верховный Совет - Хасбулатов, Госсовет - Бурбулис, аппарат Президента - Петров.

М. Горбачев. Есть опасность повторить нашу ошибку. Мы не сумели организовать сильную президентскую власть. Я об этом не распространялся, но видел, чувствовал: получилось не то.

А. Собчак. Нужна президентская система.

Ю. Рыжов. Рассуждение академическое, а диктовать условия будет улица.

М. Горбачев. Надо оказывать максимальную товарищескую поддержку России и Ельцину. Не допускать раскола между союзным и российским руководством, исходить из единых действий. Я вчера говорил с Борисом Николаевичем. Он понимает, что предпринимаются попытки дискредитировать союзное руководство.

Э. Шеварднадзе. Обстановка быстро ухудшается. Люди становятся все более агрессивными. Есть опасность массовых выступлений. Хуже всего, если это случится в Москве и Ленинграде. Прошло 40 дней после заговора, а все катится вниз. Надо, чтобы Госсовет собирался раз в неделю. Делать заседания гласными.

А. Собчак. Ельцина уговаривают потянуть с подписанием Договора. Условьтесь с ним о дате.

Е. Яковлев. Подписывать Договор надо как можно скорее. Окружение Ельцина работает против этого под лозунгом: "Борис Николаевич не должен отдать своей славы Михаилу Сергеевичу". Правых начинают бояться. Поговаривают о "ночи коротких ножей". Общее мнение публики: прислониться не к чему, в стране нет никакого руководства.

Ю. Лужков вслед за Собчаком жалуется на тяжелое продовольственное положение в Москве.

А. Яковлев. Правые нагледят. Распространяют версию, будто я и Шеварднадзе

переправляем валюту за границу. "Правда" нападает на президента.

Н. Петраков. В Договор надо внести коррективу, чтобы имущественные претензии решались на основе международного права. А Союз назвать Содружеством свободных суверенных республик.

В. Бакатин. Россияне хотели просто поменять вывеску - КГБ СССР на КГБ РСФСР. По-прежнему пытаются душить Центр, теперь уже не существующий.

М. Горбачев. Если это будет содружество, а не союзное государство, ничего путного не получится. Я просто уйду (это заявление прерывается возгласами: "Ни в коем случае!").

Так поговорили, чаю попили и разошлись.

10 октября. Неожиданно для своих помощников Горбачев встречается с председателями московских районных Советов.

Один из них выражает озабоченность засильем исполнительной власти. Нет законов о фонде потребления, о строительном подряде, о порядке приватизации. Чиновник не может быть объективнее даже самой слабенькой депутатской комиссии. Централизация в Москве достигла немыслимых размеров. Это диктатура личности. Дурной пример может поползти по стране.

Горбачев. Разговор мог быть одним до голосования москвичей за введение поста мэра. Раз система вводится, она должна быть системой. Нельзя быть наполовину женщиной, наполовину мужчиной. Или полубеременной. Надо уважать волю москвичей. Дело представителей власти создавать законы, но не вторгаться в механизмы рынка.

Председатели дружно возражают: мэр ввел префектуру и субпрефектуру, а райсоветы лишил исполнительной власти. Мы готовы сотрудничать с префектами, но намерены отстаивать свои права. Попов своими заявлениями о ненужности Советов восстановил против себя депутатов. Когда он был председателем Моссовета, тащил все сюда. Теперь наоборот.

Затем между председателями начинается полемика. Некоторые признают, что Советы в ряде случаев действительно тормозят реформы. Им возражают, что никаких реформ толком у нас еще не проводится, а под предлогом "торможения" пытаются удушить народную власть, вывести себя из-под всякого контроля.

Президент в заключение беседы советует не доводить дело до противостояния между исполнительной и законодательной властями, ибо за этим неминуемо последует раскол общественный. Не нужно подчинять дело амбициям, говорит он. Этого мы и наверху нахлебались вдосталь.

- Исполкомы не должны препятствовать реформам. Ничего не получится, если не будем решать вопросы власти, управления, собственности. Сидим на огромных ресурсах, а народ нищенствует. Лучшие люди и средства шли у нас на содержание военно-промышленного комплекса. Так неужто надо и дальше гнать так же? Но если бы ребром поставили этот вопрос, реформы были бы похоронены. Что мне только пришлось вынести на пленумах! Разве партия, рядовые коммунисты были виноваты? Нет. Это удельные князья, сатрапы. Я имею право ставить вопросы так, ибо мог спокойно править, но совесть не позволила. От левой, утопической модели, которая навязывалась обществу, надо уходить. Пути действительной реализации социалистической идеи - через экономическую и политическую свободу.

11 октября. На заседании Госсовета Кравчук предложил ограничиться обсуждением Экономического соглашения, а Горбачев доказывал необходимость обсудить также вопрос о дальнейшем порядке работы над Союзным договором.

В результате дискуссии подтверждается готовность подписать Договор до 15 октября.

Бакатин докладывал о направлении реформирования КГБ. Это, по его словам, функциональная дезинтеграция, децентрализация, деидеологизация, демократизация. А численность органов около 500 тысяч, бюджет свыше 6 млрд. рублей.

14 октября. С утра Михаил Сергеевич пригласил нас с Ревенко, Андреем Грачевым и Черняевым обсудить положение с Экономическим соглашением и Союзным договором.

Разговор, как всегда, выплеснулся вширь: от Гоголя (в связи с обращением к Верховному Совету Украины с призывом облагородиться) до предстоящей президентской кампании. Михаил Сергеевич пожурил меня за то, что якобы я поддался влиянию россиян и вместо единого государства ратую всего лишь за Союз. Настойчиво повторял: нужен избранный всенародно президент. Однако согласился, что сейчас не следует чересчур спешить. Надо дать республикам ощутить вкус независимости и груз ответственности.

16 октября. На заседании Госсовета об экономическом союзе докладывает Григорий Явлинский. Называет цифры: спад производства в 1991 году на 15 процентов, в 1992 году ожидается 23-25 процентов. Безработица порядка двух миллионов человек. Если не будет создан общий рынок труда, можно ожидать и пяти миллионов. Уровень инфляции - 2-3 процента в месяц, внешний долг - 800 млрд. рублей. Остановка производства и рост цен в 2-3 раза создадут тупиковую ситуацию.

21 октября. В узком кругу в Ореховой комнате обсуждали вопросы Союзного договора. Речь шла о том, как стимулировать интерес республик к объединению, не переживая, чтобы, не дай бог, не появилось опасения, что их хотят загнать в общий котел.

Горбачев. Надо, чтобы в народе не забыли о референдуме 17 марта. Это ведь мы первый в истории провели. И вот теперь чуть ли не посылаем его к ядре бабушке. Госсовет в принципе согласился, что нужно подписывать Договор в ноябре. Республики разбрелись далеко, надо их собирать. Ничто сейчас не пойдет без согласования с Ельциным. Пока получается, но будет плохо, если у Бориса Николаевича сложится мнение, что хитрый Горбачев реанимирует старый Центр и хочет лишить россиян плодов августовской победы. Ему это подбрасывают. Я с ним на эту тему разговаривал. Говорит: вижу.

1 ноября. С утра Горбачев просидел с Григорием Явлинским, Ревенко и председателем Арбитражного суда Вениамином Федоровичем Яковлевым. Обсуждали: что делать? Ельцин после выступления на Съезде народных депутатов РСФСР с программой реформ и требований особых полномочий на переходный период буквально вверг в шок дерзкими заявлениями о намерении объявить Госбанк СССР российским, сократить на 90 процентов численность МИДа, распустить 80 министерств и т. д.

Правда, после разговора с Силаевым Борис Николаевич отрекся от покушения на Банк, которое озлобило и напугало республики да и Запад привело в смущение при всем его расположении к новому нашему реформатору.

2 ноября. Горбачев встречался с Ельциным, затем позвал нас с Ревенко и рассказал, что и как было.

- Я сказал Борису: "Давай говорить по-мужски. Ты меняешь политику, уходишь от всего, о чем мы условились. А раз так - теряет смысл и Госсовет, и экономическое сообщество. Я подаю в отставку. Бери вожжи в руки, раз тебе этого хочется, правь в одиночку. Я в этой кутерьме участвовать не буду. Скажу всем так: вот, друзья, лидеры 15 республик, я вас подвел к независимости, теперь, похоже, вам союз больше не нужен. Что ж, живите дальше, как заблагорассудится, а меня увольте".

Ельцин стал горячо доказывать, что политику менять не собирается, верен обязательству, слово у него твердое. Тогда я его спросил, значит ли это, что он согласует свои реформы с республиками? "Обязательно, - отвечал он, - я их ведь только решил поприжать: дескать, не будете следовать за Россией в реформах, нам придется все делать без вас, а уж тогда не посетуйте, будем блюсти прежде всего свой интерес. Так что в ближайшие дни все согласуем. Им деваться некуда".

Ладно. Пошли дальше. Ты, понимаешь, Борис Николаевич, что значит, когда Козырев заявляет, что-де обойдемся без союзного МИДа? Кто будет участвовать в Хельсинкском процессе, представлять в ООН, вести разоруженческие дела? Ведь все это требует и опыта, и знаний, и кадров, и главное - права выступать от всех республик.

Ельцин согласился. Сказал, что насчет сокращения на 90 процентов мидовского персонала - это был образ, примерная цифра. Можно и не 90, а, скажем, 70. "Ой, Борис, - возразил Михаил Сергеевич, - кто-то тебя все время подначивает, толкает на крайние



заявления, а потом тебе же приходится отдуваться. Зачем это? Будь аккуратней в заявлениях. МИД - это ведь русские люди, мощное, можно сказать, столетиями формировавшееся учреждение. Так зачем же его разорять. Уж лучше возьми целиком в Россию. Придет момент, так и будет. Но сейчас-то надо сохранить".

Ельцин и с этим согласился. Так он по всем пунктам отступил, обещал действовать согласованно.

Горбачев был явно доволен. Видимо, действительно приготовился уйти, хлопнув напоследок дверью. А когда это отложилось, у него отлегло от сердца. Все-таки он, что ни говори, человек момента - часа, дня, недели. Сегодня хорошо - и ладно, а там видно будет.

Между тем я слушал и думал про себя, что российский президент лукавит. Завтра опять что-нибудь такое-этакое вытворит. Да что завтра! Он ведь клялся, что будет вести дела разумно, а в папке бумаг к заседанию Госсовета, назначенному на 4 ноября, лежит у него обращение к Президенту СССР с требованием передать все торгпредства России без каких-либо обещаний компенсировать другим республикам их долю. Даже не потрудились его молодая ватага напрячь мозги и выдать 2-3 приличествующих случаю довода. Просто так: забираем и все. Вообще все сильнее ощущается почерк "ребятишек", как их обозвал Хасбулатов. Наша команда не без греха, но эта такое вытворит, что страна еще вздрогнет и вздыбится.

Я не стал в этот раз его расстраивать, тем более он ощущал себя победителем. Разговор зашел об организации аппарата. Ревенко сказал, пора навести порядок с помощниками и советниками, многие болтаются без дела. Горбачев согласился.

Я ушел с чувством, что все это прелюдия краха.

4 ноября. На заседании Госсовета Горбачев выступил с тревожной речью.

- Почему с нами происходит то, чего не должно было бы быть? Мы легко, безответственно распорядились капиталом, который получили после заговора в результате совместной работы. Я имею в виду возникшую тогда у людей надежду на возможность выйти из кризиса. Осознали недопустимость распада государства, раскола демократических сил. Первые недели внушали надежды, потом опять пошли политические игры, перетягивание каната. В муках рождается Экономическое соглашение, с трудом продвигается работа над Союзным договором. Страна задыхается, и Госсовет несет за это ответственность.

Центральный вопрос - объявленная Президентом России Программа ускорения реформ. Я уже высказал общую поддержку, должен определиться и Госсовет. Но у меня вызвало беспокойство отсутствие ясности в отношении экономического сообщества. Вопрос принципиальный. Ни одна из республик не справится в одиночку. У нас был разговор с Борисом Николаевичем, он подчеркнул, что Россия будет действовать в рамках соглашения. Подготовленные россиянами предложения по реформам могут стать базой для общих позиций.

Возник беспрецедентный ажиотаж на потребительском рынке. Повторены ошибки 90-го и 91-го годов: помните, когда было сказано от имени правительства Рыжкова о предстоящем повышении цен. Между тем то же самое было сделано Павловым. Люди и сейчас со дня на день ждут прыжка цен. А ведь мы не можем пойти на это, не приватизируя предприятия. Назревает взрыв. Нужны безотлагательные меры, иначе начнут штурмовать магазины.

Необходима интенсивная работа с западными партнерами. Там боятся распада Союза, убеждают, что нужно поскорее заключить Договор. Они давно поняли, что надо обновить Союз, но сохранить его как фундаментальную, стратегическую основу современного мира.

В связи с судьбой Союза нам придется решать вопросы МИДа, МВД, Минобороны. Уже в ближайшие дни сесть за постатейную проработку Договора. Такого же мнения Ельцин, Назарбаев, Каримов и другие. Без решения вопросов государственности не справиться и с экономическими проблемами.

Выступают все присутствующие. Остается ощущение, что не продвинулись вперед ни

на шаг.

19 ноября. В самолете по дороге в Иркутск Горбачев пригласил журналистов в свой салон и рассказал о работе над Союзным договором.

- Не под меня подгоняем. Если понадобятся доказательства, готов заявить, что не буду выдвигать свою кандидатуру на выборах президента. Гонсалес меня убеждал, что нужно спасти Союз, Миттеран. Они понимают, осталось и нам понять.

21 ноября. Лондонская "Таймс" так комментировала возвращение Шеварднадзе на пост главы дипломатического ведомства СССР: "Фактически воссоздается общий контур команды, которая окружала Горбачева до прошлой зимы, когда он дал "зеленый свет" консерваторам. Вадим Бакатин, снятый тогда с должности министра внутренних дел, стал ныне главой реорганизованного и переименованного КГБ. Александр Яковлев, бывший в то время главным советником президента и мишенью постоянных нападок со стороны "ястребов", вернул себе по существу позицию вице-президента. А Григорий Явлинский, соавтор радикальной программы "500 дней" назначен главным президентским экономистом. Нашлось в высших сферах место и для горбачевского помощника Георгия Шахназарова".

25 ноября. На заседании Госсовета президент, как и было условлено, объявляет, что сегодня должно произойти парафирование Союзного договора. Сразу же берет слово Ельцин, заявляя, что в Договоре речь должна идти не о конфедеративном государстве, а о конфедерации демократических государств. В противном случае Верховный Совет России может его не ратифицировать.

Горбачев возражает, ссылаясь на свои беседы в Иркутске. Ельцин отвечает: "Вы хуже знаете обстановку. На ратифицировании мне придется изложить особую позицию по этому и другим вопросам, где у нас есть замечания".

Разворачивается продолжительный спор между Горбачевым и Ельциным. Михаил Сергеевич в конце концов обращается к остальным участникам заседания с просьбой определиться. Шушкевич, за ним Ниязов, Каримов фактически присоединяются к Ельцину, предложив пока не торопиться с парафированием, а разослать проект Верховным Советам. Только Назарбаев и Акаев поддерживают президента.

- Хорошо, я умолкаю. А то выглядит так, будто я пытаюсь вам навязать свою волю. Давайте в таком случае примем решение Госсовета о внесении проекта на рассмотрение парламентов, а те поручат полномочным делегациям окончательно согласовать его и подписать.

Б. Ельцин. Еще один принципиальный вопрос, без Украины Союза не будет. Она ведь может принять решение, которое сразу развалит Союз. Достаточно для этого обзавестись своей валютой.

М. Горбачев. И наоборот. Если откажемся от Союза, это будет подарок сепаратистам.

В. Шушкевич. Может быть, трансформация текста позволит и украинцам присоединиться?

Б. Ельцин. Что за Союз без Украины!

М. Горбачев. У нас была та же информация и раньше.

Б. Ельцин. Давайтеждемся 1 декабря. Хотя, уверен, и после 1-го не все прояснится.

М. Горбачев. Значит ли это, мы можем сказать, что проект согласован и направляется на рассмотрение Верховных Советов?

Б. Ельцин. Не нужно писать "согласован".

М. Горбачев. Я констатирую, что руководители некоторых республик занимаются ненужными маневрами.

Ельцин, Шушкевич и Каримов не соглашаются с этим утверждением.

М. Горбачев. Надо наконец прийти к одному тексту. Борис Николаевич явно изменил свою позицию. Мы ведь с ним договорились о союзном государстве.

Б. Ельцин. Это не так.

М. Горбачев. Надо честно сказать, что россиянам не нужно союзное государство. Зачем мы людей мордуем? Вы проталкиваете идею угробить союзное государство, берете на себя

тяжелейшую ответственность. Если договор не нужен, скажите ясно. Может быть, сами решите? Оставайтесь здесь, а мы, так сказать, связанные с Союзом, вас покинем. Почувствуйте, что вам важнее - народ или сепаратисты.

Б. Ельцин. Мы за то, чтобы направить в основном согласованный проект.

М. Горбачев. У меня все это вызывает глубокую грусть и разочарование. Создадим Союз, подобный богадельне. Придут люди, которые легко возьмут власть. Вы ориентируетесь на крикунов, а не на массы.

Б. Ельцин. Думаю, это лучше, чем просто разойтись.

М. Горбачев. Мы вас оставляем. Решайте.

Поднимается, уходит из зала, с ним все, кроме руководителей республик. Примерно через полчаса вниз спускаются Ельцин с Шушкевичем.

Б. Ельцин. Ну вот, пришли мы к хану Союза. Возьми нас под свою высокую руку.

М. Горбачев (в тон). Видишь, царь Борис, все можно решить, если честно сотрудничать.

Затем Ельцин излагает программу перехода на свободные цены с 16 декабря.

- Это тяжелый шаг. Одно дело критиковать руководство, другое - вступать в конфликт с людьми. Период роста цен будет длиться примерно шесть месяцев. Они могут возрасти от 3 до 6 раз, а затем следует думать уже о денежной реформе. Беспокоит, удастся ли удержаться на общерублевом денежном рынке. Украинцы уже переходят на купоны. Если учредят свою валюту, придется принимать встречные меры. Задача: удержать потребление на уровне по крайней мере двух третей. С республиками, не подписавшими Союзный договор, с 1 января перейдем на торговлю по мировым ценам, снизим поставки нефти.

И. Каримов. Риск велик.

Б. Ельцин. А что делать? Другого выхода не вижу. Потеряли два года. Провалили программу "500 дней".

Г. Явлинский. Ельцин проявляет огромное мужество, берет все на себя. Но риск действительно очень велик. Цены уже дико подскочили, инфляция ударит по всем.

М. Горбачев. Скажи прямо, есть другой выход?

Г. Явлинский отвечает, что теперь поздно: "в свободном падении речь уже не может идти о парашюте".

М. Горбачев. Другого решения нет. Россия берет на себя огромную ответственность. Нужна солидарность. Через несколько лет Россия выкарабкалась бы - есть у Бориса Николаевича толкачи в этом направлении, но потери были бы невосполнимы. Важно предупредить выход людей на улицы в массовом порядке, осилить социальную защиту, до предела ужать бюджет, только не оставить на голодном пайке армию и науку.

Принимается предложение отложить введение новых цен до января 1992 года.

Горбачев зачитал телеграмму Муталибова с требованием ввести войска в зону конфликта по 5 километров по каждую сторону от границ Армении и Азербайджана. После обсуждения было решено предложить президентам двух республик прибыть в Москву, чтобы с их участием обсудить положение и принять меры по предотвращению эскалации конфликта.

27 ноября. На заседании Госсовета обсуждается положение вокруг НКАО и в отношениях Армении и Азербайджана. Дискуссия завершается призывом к Муталибову и Тер-Петросяну осознать свою ответственность и найти способ прекратить бойню.

Радио "Свобода" следующим образом комментировала пресс-конференцию, на которой мы с А. Грачевым рассказывали о заседании Госсовета: "Основной момент расхождений - это формула Союза. Конфедерация, как явно по совету Сергея Шахрая предлагал Ельцин, или более демократическое конфедеративное государство. Георгий Шахназаров упирает на спасение общей государственности, его оппонент Сергей Шахрай предлагает сильную Россию в более мягком союзе содружестве".

5 декабря. Пригласив меня к себе, президент попросил подготовить материал к беседе с Ельциным, Кравчуком и Назарбаевым, назначенной на 8 декабря. Я высказал

предположение, что в Минске лидеры славянских республик сойдутся на "содружестве" или "сообществе" типа МЭС. Надо искать промежуточное решение.

Горбачев возразил, что ему нужны аргументы в пользу подписания Союзного договора в нынешнем виде: "Нужно доказать, почему необходим союз". Он все еще надеется убедить, объяснить, доказать, а у них другое на уме. Здесь не научная конференция, а политическая борьба.

После обсуждения президент согласился на возможность "ассоциированного членства Украины". Похоже, мы начинаем утрачивать ощущение реальности.

8 декабря. После опубликования сообщения из Беловежской Пущи о том, что президенты трех славянских республик подписали соглашение о создании "Содружества Независимых Государств", мне домой (было воскресенье) позвонил Горбачев и попросил подготовить ему выступление, в котором "должны быть проставлены все точки над "и", прямо и без обиняков сказано о роли Кравчука и других участников Минских соглашений". Перед встречей с Ельциным и Назарбаевым он опять позвонил и спросил в несколько необычной для себя манере: "Что будем делать?" Я сказал, что подготовил текст заявления, которое завершается предложением созвать Съезд народных депутатов и провести референдум. Михаил Сергеевич согласился.

С 12 часов того же дня он засел сначала с Ельциным и Назарбаевым, а затем с Муталибовым и Председателем Верховного Совета Таджикистана Набиевым.

В 16.30 президент собрал советников и специалистов. Е. Яковлев, Ю. Калмыков, С. Алексеев высказались за то, чтобы союзные структуры продолжали выполнение своих обязанностей. Развернулась дискуссия в отношении того, как отреагировать на беловежскую сенсацию. Большинство считало, что промолчать нельзя, три человека не вправе решать судьбу Союза. Были и предостережения: не торопиться, не пороть горячку.

Горбачев рассказал о своем разговоре с Ельциным 5 декабря.

- Я предъявил ему развернутую аргументацию в пользу Союза. Он рассуждал: может, заключить договор на 3-5 лет, Украина ограничится участием в экономическом сообществе; а может быть, создать славянский союз?

Я ему сказал, что этот вариант не следует выдвигать. Если уж он и выплывет, не афишировать. Кто первым признал независимость Прибалтики? И смотри, что они теперь делают с армией, какие решения принимают по гражданству. Борис Николаевич согласился, добавив, что особенно сволочную позицию заняла Латвия. Я ему сказал, понятно почему, там ведь население примерно 50 на 50, они и стараются "выжить" как можно больше русских.

Словом, вроде бы разговор был неплохой. Но он ушел, и не было уверенности, что будет держаться, как условились. Я уже тогда знал, что его окружение подготовило текст соглашения о славянском сообществе. И вот теперь случилось.

В последнем нашем разговоре Ельцин оправдывался, что он пытался продвигать несколько вариантов, а Кравчук все их отклонял - и заключение договора на 4-5 лет, и ассоциированное членство Украины, и славянский союз... Начал упрекать меня за то, что трижды в день переговариваюсь с Руцким. На это я ему говорю, что это обычный разговор у нас внутри, в Союзе. А вот Президент России по несколько раз в день переговаривается с американским президентом. Он вспыхнул: "Будете так продолжать, я уйду!" От государства не уйдешь, сказал я ему. Вы собрались втроем. А кто вам дал такие полномочия? Госсовет не поручал. Верховный Совет не поручал, народ окончательно запутали. "Ничего, - сказал Ельцин, - содружество будет работать. А вы вот всем недовольны".

Далее, продолжал Горбачев, я ему постарался показать полную несостоятельность Минского соглашения. Он хватался за сердце. Я ему сказал: знаешь, Борис, это товарищеский разговор, я тебе привожу все доводы, которые будут приводиться другими. Нужен референдум, пусть сам народ решит. Он ответил: "Выдвигайте свои позиции, только не надо личной брани". Я в ответ: никогда этим не занимался.

Говорил по телефону с Назарбаевым. Он хватается за голову: "Я шел на выборы с

одним лозунгом - за Союз".

Попов. Завтра назначен объединенный митинг ДПР, партии Руцкого и ДДР с лозунгами созыва двух съездов. Надо дать понять, что эти вопросы требуют обсуждения на парламентах. Они сейчас проваливаются с реформами, вот и пытаются отвлечь внимание.

Примаков. Нужен прогноз. Не исключаю, что к этому присоединятся другие республики.

Шахназаров. Надо спокойно, но четко сказать, что три лидера не имели права решать судьбу Союза. Сейчас единственная надежда - если Минское соглашение будет отклонено Верховным Советом России.

10 декабря. В Ореховой комнате в 17.30 Горбачев собрал Яковлева, Шеварднадзе, Попова, Примакова, Вольского, Бакатина, Ревенко, Егора Яковлева, меня. Сообщил, что получил распоряжение о переходе Управления правительственной связи под юрисдикцию России.

- Со мной об этом ни слова. И вот пришло мне в голову: может быть, действительно мы теперь встали на пути какой-то неумолимой тенденции, мешаем хоть в такой форме стабилизировать положение?

Попов. Если бы были шансы, что республики, хотя бы часть из них, смогут держаться - тогда другое дело. В противном случае, увы, ничего не поделаешь.

Примаков. Нет практически никаких возможностей воспрепятствовать. На армию не опереться, международные силы будут взаимодействовать с Россией, с республиками.

Е. Яковлев предложил поставить вопрос о чрезвычайном съезде депутатов СССР: едва ли такой съезд удастся провести, но сам факт останется в истории. Дергаться сейчас бесполезно. Может быть, еще раз поговорить с Ельциным? Сказать ему: в 1985 году мы начали новый курс. Ты всегда был за перестройку. Первую часть эстафеты я пронес, ты готов пронести вторую?

Шеварднадзе. Отставку президента воспримут как уход от ответственности. Но все равно будут валить на нас, говорить, что мы довели страну до ручки. Им нужен повод сказать: общими усилиями мы избавились от Центра, от Горбачева, давайте пару лет поработаем спокойно. В дни путча я всерьез считал, что без санкции президента он не мог бы совершиться. Говорил с Борисом Николаевичем, спросил его: если так, сможете вы занять место президента? Он сказал: "Нет". Тогда нужен ли вообще этот пост?

Горбачев. Но тогда они могли решить эту проблему, Бурбулис наверняка жалеет, что не сделали. В результате Беловежских соглашений более всего пострадает Россия. У них нет ясной программы, здесь все непредсказуемо. Поверьте, у меня к этим людям нет никакой антипатии, не говоря уж о ненависти. Они взяли власть, и все. Мне говорят: нельзя идти на конфронтацию. Это правильно. Но нельзя не сказать правду, не предупредить о последствиях. Ведь Конституция-то существует, Верховный Совет тоже. Разве они имели право распустить его? Или Госсовет. Самое опасное, что грозит - развал России.

Шеварднадзе. Это чистой воды переворот. Завтра придут опечатывать кабинеты.

Яковлев. События будут развиваться так. Нет Центра, нет Горбачева. Скоро выяснится, что без координации содружество жить не может, и начнут быстро создавать центральные органы. Пойдет ли Ельцин на ведущую фигуру? Скорее всего, нет. Захочет остаться героем России. Во главе исполнительного органа будет поставлен какой-нибудь слабый человек, но начнут раскручиваться серьезные конфликты.

Закончился разговор предложением Горбачева подготовиться к заседанию Верховного Совета СССР.

12 декабря. Горбачев встречается с журналистами. Начинает с шутки: "Где мне работать теперь, может, в Интерфакс пойти?"

Процесс после Беловежской Пуши приобрел новое измерение, вошел в другую колею. Решать надо все только в рамках конституционных принципов. Если все республики поддержат Беловежское соглашение, я должен буду его признать. Как президент буду уважать волю представительных органов. Но остаюсь на прежних позициях. Допустив

распад союзного государства на несколько независимых, мы можем резко ухудшить экономическую ситуацию, осложнить переход к рынку. То, что создавалось десять веков, нельзя разделить в одночасье. Был референдум 17 марта, а мы идем против воли народа.

Вы знаете, я способен на компромисс. Но в данном случае убежден: делается не то. Дай мне бог ошибиться! Мы разрушаем государство, а его надо реформировать. Некоторые считают, что может быть политика без нравственности. Я с этим не согласен. Меня испытывали, гнали и партия, и номенклатура, и ВПК. Нужно было отважиться на преобразование такого сложнейшего мира. Когда говорят, что не было программы, стратегии, - это ерунда. Я лишь хотел раскрепостить людей и, кажется, главную свою задачу выполнил. А так... что ж, и Христос не разглядел, что есть иуды, а я не Христос.

Наши люди еще не понимают, чего они лишаются. Если будет подписано соглашение и не останется места для президента, - это чепуха. Страну потеряли - вот что страшно. Я на Госсовете много раз говорил: если у вас есть сомнения в отношении меня, тяжело вам со мной - тут же слагаю полномочия, только подпишите Союзный договор.

Мне позвонил Шушкевич, сообщил, что "Буш согласен". С ним говорил Ельцин, доложил ему. А с Президентом СССР не говорили. Позор, стыдобище! Но я перешагиваю и через это. Есть страна, о ней надо думать прежде всего.

Меня напрасно трудоустраивают. В структуре СНГ не вижу для себя места. Два года я твердил, что нужно сохранить Союз, перераспределить полномочия. Что еще нужно было! Нет, взяли верх амбиции.

Какое у нас всех, пришедших в этот мир на 60-70 лет, право разорять то, что создавалось десять веков? Как пирог, разрезали его, выпили и закусили. Мне этого не позволяют моя мораль, убеждения, опыт. Я сказал Борису Николаевичу: мы делаем выбор, вы - свой, я - свой.

Дальнейшее известно. Сначала Верховные Советы трех славянских республик ратифицировали Беловежское соглашение, затем к ним присоединились пять среднеазиатских и Армения. Явно неконституционный акт, который многие с полным основанием называли государственным переворотом, получил легитимацию. Высшие органы власти практически всех республик, подписавших в свое время Союзный договор (за исключением Грузии), конечно же, имели право его денонсировать. Так просто завершилось 70-летнее существование Советского государства.

24 декабря. Горбачев встречается со своими советниками, помощниками, руководителями отделов и служб аппарата Президента. Вот что он нам сказал:

- Процесс преобразования Союза должен завершиться в конституционном русле. После ратификации Договора о СНГ всеми республиками Верховному Совету не останется ничего иного, как самораспуститься.

Завтра я собираюсь выступить с заявлением. Моя позиция остается без изменений. Нужно продолжить реформы, сохранить завоевания демократии. Стране нужна союзная государственность, жаль, что этот процесс не удалось подвести к успешному завершению. После путча я приложил максимум усилий, чтобы добиться подписания Союзного договора, но настроения против Союза были уже необратимы. Четырнадцатого ноября разговор доходил до самых высоких отметок. Положение осложнилось в результате референдума на Украине, позиции ее руководства.

Я стремился, чтобы в результате наших усилий родилось нечто жизнеспособное, и не сомневаюсь, что центростремительные тенденции будут теперь нарастать. Буду содействовать реформам и добиваться согласия в обществе. Народ в тяжелейшем состоянии, надо помочь ему быстрее встать на ноги. Это сейчас высший национальный приоритет.

Что касается нас с вами, то органы Президента прекратят свои функции со 2 января. Из Кремля надо уходить 29-го. За два месяца все будут трудоустроены. Для этой цели создается комиссия под совместным руководством Г.И. Ревенко и Ю.В. Петрова.

Я перейду к общественной деятельности, в Международный фонд социально-экономических и политологических исследований.

Горбачев в те дни получал много обращений от людей, для которых невыносима была сама мысль о возможности распада страны. В его приемной толпились депутаты, ежедневно поступали требования от коллективов и граждан принять меры к спасению Союза, от военных - с выражением готовности выполнить любой приказ Главнокомандующего.

Он должен был принимать решение, отдавая себе отчет в его последствиях. Созвать Съезд народных депутатов, призвать к сопротивлению сторонников сохранения целостности страны, объявить недействительным соглашение, ратифицированное парламентами? Неминуемая гражданская война. Пойти на это он не мог, хотя сознавал, что на него вместе с Ельциным, Кравчуком, Шушкевичем будет возложена главная ответственность за развал Союза.

Отчаянно пытался не допустить этого. Уговаривал, убеждал, предостерегал; в ряде случаев, вопреки своему принципу ненасилия, закрывал глаза, когда его соратники на свой страх и риск пытались силой подавить сепаратизм; произносил пылкие речи, призывая не изменять памяти предков, которые веками собирали страну и защищали ее, общими усилиями создали великую уникальную культуру.

Увы, все усилия оказались тщетны. Им же введенные гласность и демократия дали развернуться национальным движениям и политическим силам, которые в конце концов разодрали страну на части. И оставалась только надежда, что она опять склеится. "Все-таки СНГ лучше, чем ничего", - со вздохом сказал Горбачев в одном из своих последних интервью.

В обращении к главам суверенных государств, своего рода политическом завещании, президент сказал о необходимости сохранить единство Вооруженных Сил как гарантию безопасности государств, входящих в Содружество, и сохранения контроля за огромным ракетно-ядерным арсеналом СССР. Указывал на важность скоординированной внешней политики. Значительная часть послания затрагивала проблему гражданских прав, столь острую на территории страны, где четвертая часть населения, 75 миллионов человек, живет на территории инациональных республик. Горбачев призвал создать "общее гражданское пространство", предусмотреть единообразные социальные гарантии на всей территории бывшего Союза. Упомянул и о необходимости взаимных обязательств по дальнейшему продвижению демократических реформ.

Лично у меня вызывает особое сожаление, что руководители суверенных государств не сочли возможным принять совет и назвать новое образование "Содружеством евро-азиатских государств". В наименовании СНГ отсутствует "геополитическая привязка". Определение "евро-азиатское" подчеркивало бы уникальную особенность нашей страны, столетиями бывшей мостом между двумя великими континентами и цивилизациями.

В день, когда первый и последний Президент Советского Союза объявил о своем намерении уйти в отставку, он встретился с журналистами. Я сидел рядом и не ощущал в нем никакого напряжения. Разговор был элегический. Вспоминали и о неровных отношениях с прессой. Закончили по пословице: "Кто старое помянет глаз вон". Лучше всех сказал прощальное слово Павел Гутинтов в "Литературке".

На другой день Горбачев должен был дать обещанное интервью редактору японской газеты "Йомиури" Като. Когда ранним утром я стал выяснять готовность приемной, оказалось, что вещи Президента СССР уже вынесли из кабинета, получен приказ до 10 часов утра подготовить его к приезду нового хозяина. Пришлось давать интервью в кабинете Ревенко.

- Знаете, - сказал президент, - я считаю, что свою задачу выполнил. Дело не только в том, что мы разрушили тоталитарную систему, казавшуюся неприступной крепостью, положили начало глубочайшим преобразованиям общества. Главное - изменились люди. Они почувствовали вкус свободы, и теперь, надеюсь, никто и ничто не сумеет вернуть их в прежнее состояние.

С цоколя Кремлевского дворца опустили флаг Союза, на его месте взвился трехцветный флаг России.

"И в октябре, - вещал Нострадамус, - вспыхнет великая революция, которую многие сочтут самой грозной из всех, когда-либо существовавших. Жизнь на земле перестанет развиваться свободно и погрузится в великую тьму. И это продлится 73 года и 7 месяцев".

Для любителей мистики: отсчитав от Октябрьской революции (по новому стилю) 73 года и 7 месяцев, попадаем в июнь 1991 г. Здесь выделяется дата - 12. Остается предположить, что французский астролог связывал падение "третьего Рима" с избранием первого Президента России.

#### Рок событий

Настала пора отвлечься (насколько возможно) от "злобы дня" и задуматься над вопросами, которые были поставлены в начале этой книги: о "калибре личности" зачинателя реформации, происхождении разбушевавшейся национальной и социальной стихии, о том, кто и за что в ответе, кому честь, а кому стыд. Попытаться понять, "куда несет нас рок событий" (С. Есенин), или, говоря словами Достоевского, "извлечь хоть какой-то толк из всеобщей бестолочи".

Редко кому в мировой истории выпадала на долю такая оглушающая популярность, как Горбачеву. Тут, естественно, сыграло свою роль совершенство современных коммуникаций, молниеносно разносящих во все уголки планеты добрую и худую весть, слово, жест, улыбку. Но одной техникой чуда не объяснить. Оно случается, если только его сильно ждут. Люди устали жить под дамокловым ядерным мечом, страстно хотели избавиться от мысли о неумолимо приближающемся апокалипсисе. И когда удалось наконец даже не остановить - попридержать Молоха, общая благодарность сосредоточилась на советском лидере. Разумеется, дело совершилось благодаря многим политическим деятелям, благословившим разоружение, дипломатам и военным, которые вели переговоры, журналистам, бывшим тревогу, многим тысячам энтузиастов мирозащитного движения. Но таков уж порядок вещей: все малые дольки и доли складываются в одну - для простоты и для ясности. Миллионы у нас воевали, победу добывали всей страной, а признаем победоносцем одного - Георгия Константиновича Жукова.

Уже завершив свою государственную деятельность и переселившись из кремлевских кабинетов в Фонд социально-экономических и политических исследований своего имени, Горбачев получил приглашения от правительств и общественных организаций доброй половины мира. Повсюду, где побывал бывший президент бывшего Советского Союза, ему был оказан восторженный прием. Толпы народа стекались его приветствовать. Цвет национальной элиты собирался, чтобы выслушать его лекцию, главы государств и правительств страны считали долгом с ним встретиться.

Как я уже говорил, ни один русский человек со времен Льва Толстого не пользовался таким безграничным признанием и поклонением в мире, и ни один другой не подвергался таким поношениям на родине. Толстой был предан анафеме церковью, Горбачева прокляла партия, вернее - когорта бывших соратников, да и все, кто возлагает на него вину за распад Союза. Вот некоторые оценки.

#### Дома

Я бы лично Горбачеву памятник при жизни поставил: за одно то, что он эту твердокаменную коммунистическую державу расшатал.

#### Николай Амосов, хирург

Горбачев первым из политиков нашел в себе силы назвать вещи своими именами, честно и до конца. Все, чего мы достигли в демократии за столь короткий промежуток времени, - начал и добивался именно этот человек

#### Кирилл Лавров, артист

Горбачев заслужил Нобелевскую премию мира в гораздо большей мере, чем любой другой ныне живущий государственный и политический деятель. Он разрушил фундамент большевистского тоталитаризма, последней в мире империи.

#### Алексей Кива, историк

Для меня Горбачев является страшной, демонической ужасной фигурой, которая,



процарствовав на русском троне шесть с небольшим лет, оставила после себя руины, каверну. Он вселяет в меня ненависть, Он медиум, через которого силам, находящимся за пределами СССР, на Западе, в Штатах, удалось воздействовать на эту огромную страну и так ее блистательно, без применения ядерных средств истребить.

Александр Проханов, писатель

Горбачев остается источником всей напряженности и причиной неудач.

Юрий Афанасьев, историк

"6. Утвердить решения июньского (1992 г.) Пленума ЦК КПСС об исключении Горбачева М.С. из рядов КПСС за предательство интересов партии и народа".

Из решения "XX Всесоюзной конференции КПСС"

За границей

Для меня Горбачев и сегодня величайший политический и государственный деятель мира. Достаточно вспомнить об освобождении им Восточной Европы.

Иегуди Менухин, музыкант

Михаил Горбачев является одним из деятелей, оказавших наибольшее влияние на историю XX века. Он установил в своей стране свободы, способствовал прекращению "холодной войны" и началу процесса разоружения.

Франсуа Миттеран,

президент Франции

Горбачев, вне всякого сомнения, это фигура, выходящая за рамки XX века.

Вилли Брандт

Горбачева без натяжки можно назвать хитрым обманщиком западного мира. Все его действия вполне соответствуют традиции Ленина, замыслившего первый грандиозный обман Запада. И он особенно опасен, потому что красиво разыгрывается.

Дюбар Зинк, обозреватель

Канадского радио

Началась вторая "холодная война". Михаил Горбачев требует нового состязания сверхдержав в ближайшие десятилетия. Обезоружив Запад, диктатор направил своих убийц в черных беретах и танки на подавление горстки прибалтийских патриотов.

Уильям Сэфайр,

американский журналист

Горбачев давно должен был уйти в отставку и попросить прощения у своего народа.

Меир Вильнер, Генеральный

секретарь Компартии Израиля

С некоторых пор ослепленные ненавистью хулители экс-президента не довольствуются самыми суровыми оценками и требуют над ним уже не только земного, но и "небесного суда". Вслед за А. Прохановым, объявившим Горбачева "медиумом", Эдуард Лимонов установил, что он "мутант". А почему не марсианин или агент Альфы Центавра?

Всех переплюнул Борис Олейник. В книге "Князь "тьмы" он вполне серьезно утверждает, что в лице Горбачева ...на землю явился сам Сатана, дабы вершить свои черные дела. К ним относятся выдача иностранным спецслужбам секретов госбезопасности, роспуск партии, развал державы, изменение общественного строя, раскол церквей, развязывание войны в Персидском заливе и даже безнаказанный пролет Руста через всю систему ПВО с вызывающей посадкой у Кремля.

Вменив в вину экс-президенту этот клубок преступлений, Олейник перебирает мотивы, которые могли толкнуть его на этот путь. С небольшими оговорками отклоняются предположения, что это могли быть амбициозность, властолюбие, авантюризм или "сотрудничество с разведкой одной из высокоразвитых стран". Автору, чувствуется, очень хотелось бы поставить Горбачева в ряд перечисленных им "канонических злодеев" - Каина, Прокруста, Герострата, Нерона, Юлиана-отступника. Однако, преодолевая соблазн, он остается верен своему сверхзамыслу. Оказывается, не следует, как это делают даже самые лютые враги Горбачева, "оценивать его поведение и действия по человеческим меркам и

критериям. Не лежит ли феномен Горбачева, спрашивает Олейник, за рубежом привычных человеческих понятий и оценок? И не с целью ли отвлечь от раскрытия сей зазеркальной тайны он совершал поступки, которые по-человечески оцениваются как предел падения?" (То есть дьявол совершал нечеловеческие преступления, для того чтобы в нем не угадали дьявола!).

Продолжая свое "расследование", автор выяснил, что "властелин преисподней пометил нечто, уже априори обладавшее "осиновым комплексом", сиречь пусть и невинной, но негативной аурой". В итоге же встречи М.С. Горбачева с Папой Римским Иоанном Павлом II "статическая минусовая энергия умножилась на адский вольтаж энергии дракона" и "родился феномен такой разрушительной мощи, которая сравнима разве что с гибельными деяниями... "второго зверя". Впрочем, и сам Антихрист не годится в подметки Горбачеву, поскольку "князь тьмы сокрушил свою оппозицию огнем и мечом, а наш фантом учинил не только спланированные Содом и Гоморру, но даже, не поднимая меча, непроизвольно, уже самой своей энергией, только пассивным присутствием детонирует прямо-таки апокалипсические стихийные действия, катастрофы и аварии, и необъяснимые взрывы толпы, и изуверские убийства..."

До всей этой непролазной чуши додумался не какой-нибудь полуграмотный шаман, а известный публицист и политический деятель, бывший одним из советников Президента СССР и им же выдвинутый на пост заместителя Председателя Совета национальностей Верховного Совета СССР.

Вспоминаю, мне пришлось присутствовать при встрече президента со священнослужителями. Разговор шел по преимуществу деловой, обсуждали, как церквям помочь улаживанию национальных конфликтов. Но каждый из почтенных иерархов - православные епископы, мусульманские улемы, раввин и настоятель буддийского монастыря - считал своим долгом воздать благодарность человеку, покончившему с притеснением религии, вернувшему ей храмы, восстановившему в полном объеме свободу совести. Они говорили, что он совершил святое дело. Это к вопросу о "князе тьмы".

А теперь о другом знамении "небесных сил". В опубликованных многочисленных книгах и статьях о Горбачеве его нередко приравнивают к Петру I и Александру II, Лютеру или Рузвельту, а наиболее экзальтированные и страстные натуры утверждают, что это - не кто иной, как сам Спаситель, явившийся наконец в мир, чтобы предотвратить его ядерную гибель и наставить человечество на путь дружбы и согласия. Были и у нас публикации такого рода, хотя больше в ранний, "розовый" период перестройки - 1986-1988 годы. Наступившие потом тяготы жизни сместили в худшую сторону оценку ее зачинателя, а после распада Союза и его отставки с поста президента сказать о нем публично доброе слово стало уже делом небезопасным, требующим известного политического мужества.

В этой связи обратила на себя внимание брошюра Эдуарда Самойлова. Стремясь рельефней показать значение того, что он считает "главным подвигом Горбачева", ее автор называет Советский Союз "самой мощной фашистской империей". Это некорректно и с точки зрения содержания существовавшего у нас общественного строя, и особенно с точки зрения той роли, которую наше государство играло на мировой арене. Но бесспорно то, что без перестройки, при всех допущенных в ее ходе просчетах, страна и мир могли столкнуться с гораздо большими опасностями. В сравнительно короткий срок удалось произвести демонтаж тоталитарных структур, потому что Горбачев сумел пройти все стадии иерархии внутри системы и занять единственное положение, позволяющее ее реформировать. "Столь титаническая, сложная по содержанию и блестящая по результатам работа человеческого духа не имеет ни одного исторического аналога"\*

На этом бы остановиться. Пусть не имеющая аналогов (в конце концов в политике, как в спорте, возможны свои рекорды), но все же человеческая. Увы, Самойлова, как и Олейника, неудержимо тянет "по ту сторону". Стоя на полярных позициях, тот и другой не могут, не хотят поверить, что все у нас случившееся есть дело рук человеческих. И в то время как Олейник усмотрел в деятельности Горбачева происки сатаны, Самойлов убежден,

что "этого человека вели и охраняли какие-то могущественные, внешние по отношению к нам силы, обязанные в данном случае проявить себя более откровенно, чем когда-либо в политической истории". Здесь, утверждает он, "вполне можно применить понятие "чудо" в том его значении, которое предполагает явление людям действия, необъяснимого ни с точки зрения обыденного человеческого опыта, ни с точки зрения науки... Горбачев - это воплощенная с беспрецедентной откровенностью воля провидения"\*\*.

Как политолог, заключает Самойлов свою "разгадку" Горбачева", я другого объяснения этому феномену не нахожу. Между тем именно в этом пункте автор статьи, содержащей немало глубоких наблюдений, расстается с наукой и вслед за Олейником вступает на бесплодный путь мистических откровений. Методологическое сходство находит отражение и в словаре двух авторов. Слова "антихрист", "зверь", "дракон" то и дело мелькают в языке Олейника, они же, с противоположным знаком, составляют языковой материал Самойлова ("оказывается, добро способно проникнуть в... самый мозг Дракона, в самое логово зверя..." и т. п.).

Сходство здесь не только методологическое, оно и существенное. Оба автора, выражаясь словами Маркса, приписывают своему герою (антигерою) "небывалую мощь личной инициативы", делают его, по сути, единственным творцом исторического процесса. И есть своя логика в том, что после этого представляется невозможным возложить подобную непосильную ношу на Человека, "поневоле" приходится допустить вторжение небесных сил. Одно заблуждение влечет за собой другое.

Гомер в "Илиаде", живописуя подвиги Ахилла, Гектора и других ахейских и троянских воинов, тоже слал им на помощь Ареса или Афину, когда, казалось, отвага и воинское искусство воителей превосходят человеческие возможности. Но, смею думать, для великого слепца это был больше художественный прием, а для наших авторов, увы, "включение" потусторонних сил становится, похоже, символом веры.

Кто же он, все-таки, наместник Сатаны или посланец Божественного провидения?

Он незаурядный русский человек с южным говорком и отметиной на лбу, потомок казачьей вольницы, наделенный дарованием атамана, вожака, политического деятеля, которому стечением обстоятельств суждено было сыграть роль реформатора своей страны.

Стиль его как политика открыт для обозрения, прослеживается в каждом пережитом эпизоде. А вот наблюдения за характером.

У него нет ни малейшей склонности к мистицизму, веры в знамения. Однажды я спросил, приходила ли ему мысль о высоком предназначении. Это было в самолете на пути в Ереван, и Михаил Сергеевич с Раисой Максимовной рассказали, что в молодости, когда им было под 30, обоим приснился один и тот же сон: длинный черный туннель, в конце которого внезапно вспыхнуло мощное свечение и огненный столп вознесся куда-то вверх. Поговорили, посудачили: "Что бы это значило?" Раиса Максимовна сказала: "Быть тебе, Миша, великим человеком". На том и забыли.

А вообще Михаил Сергеевич не раз удивлялся своей судьбе - вознесению на вершину могущества и выпавшим затем на его долю испытаниям. Со смехом читал статьи, в которых говорилось о заключенной в нем "магической силе", пронизательности взгляда, мощном биополе и т. д.

- Вот уж, ей-богу, никогда не замечал в себе таких способностей.

Хладнокровен. За пять лет тесного, почти каждодневного общения ни разу не видел его вышедшим из себя или окончательно потерянным. В самые драматические моменты сохраняет присутствие духа. Это идет от оптимистического мировосприятия, неистребимой веры в то, что в конечном счете, как говорил классик, "все образуется".

Честолюбив, как всякий крупный политический деятель. Честолюбие у него не дешевого пошиба, не направлено на собирание наград, орденов, званий - все эти символы его мало тешат, а преломляется в стремление совершить нечто значительное на благо своей стране и миру. Приемля достаточно спокойно хвалу и клевету, небезразличен к отзывам о себе людей выдающихся, к которым сам относится с почтением.

Властолюбив в меру. Те, кто корит его за этот порок, забывают, что в нашем случае, одном из редчайших в мировой истории, человек, обладавший по существу неограниченной властью, добровольно, по собственной инициативе поставил ее под контроль парламента, открыл шлюзы для критики и смирился перед волей им же созданных демократических институтов. Конечно, занимая с молодых лет секретарские должности и быстро продвигаясь по ступеням партийной иерархии, он привык повелевать и не очень-то любит противодействия. Но когда все-таки с ним сталкивается - не прибегает к дубинке. Дважды, трижды будет доказывать свою правоту, а уж потом скажет: "Вижу, мне вас не убедить, делайте, как сказал".

Сочетание терпимости к чужому мнению с упрямством завязанного спорщика, редко сомневающегося в своей правоте, - вот, пожалуй, самая характерная его черта. Оттого-то ему пришлось по душе процитированные И. Гельманом строки Пастернака о "власти над умами". Михаил Сергеевич часто повторял, что признает стоящей, настоящей только такую власть. В этом - в стремлении не подчинять силой, не гнуть "в подкову", а покорять логикой, аргументами, обаянием - его тщеславие. Отсюда и странная для многих манера поведения: уйдет кто-нибудь из окружения, хлопнув дверью и заявив о своем несогласии с его политикой, Горбачев не считает его за изменника, не мстит и не поворачивается навсегда к нему спиной, как поступают девять из десяти людей в таких обстоятельствах. Напротив, всячески старается вернуть отступника. Есть в этом и доля политического расчета, но, думаю, главное - успокоить свое задетое самолюбие. Пошла даже шутка: хочешь быть в фаворе у президента - сделай предостережение и гордо удались.

Не скуп и не жаден. Все немалые свои гонорары, валютные и рублевые, отдавал детским больницам на приобретение медицинской аппаратуры и медикаментов, перечислял в партийную кассу. После отставки часть заработанных средств выделяет на финансирование работы своего Фонда. Возмущается всякий раз, когда недруги запускают в печать очередную байку о якобы купленных за миллионы домах и дворцах во Флориде, Финляндии, на Канарских островах, яхтах, бриллиантах для Раисы Максимовны.

Как всякий партийный работник, достигший высшей ступени карьеры - членства в Политбюро, привычен к комфорту. Работа, исполнение представительских функций, приемы в Кремле, житие во дворцах или первоклассных отелях во время зарубежных поездок, отдых на благоустроенных приморских дачах - вся эта "сладкая жизнь" даже самых по природе невзыскательных людей приучит ценить окружение дорогих вещей, красивую мебель, изысканную пищу. Привычка эта подвела и Горбачева. Пожалуй, единственный его промах: постройка дачи в Форосе, давшая повод обвинять его в склонности к роскоши и сыгравшая роковую роль в его судьбе.

Чужд семейственности, кумовства. Брежнев поставил в этом рекорд, устроив на высокие посты всю свою родню, а заодно преданных сослуживцев по Днепропетровской области, Молдавии, Казахстану. Хрущев был поаккуратней, но близких и земляков тоже "не обижал". Горбачев практически никого не притащил за собой из Ставрополя, в кадровых назначениях не ставил на первый план личную преданность, хотя это не помешало ему допустить ряд грубейших промахов.

Как-то я столкнулся в подъезде с немолодым статным мужчиной - роста выше среднего, глаза черные, живые, черты лица правильные, вроде бы даже знакомые. Он мне протягивает руку.

- Вы ведь Шахназаров?

- Да. А вы?

- Александр Сергеевич.

- А дальше?

- Что дальше?

- Фамилия?

- Ну, есть Михаил Сергеевич, а я Александр Сергеевич.

Тут до меня дошло, что это брат шефа. Похож весьма. Дослужился до полковника, в

генералы его президент не произвел, как не помогал делать карьеру зятю Анатолию и другим близким.

Расхожий упрек по адресу Горбачева: он подкаблучник, ничего не решает без жены, на ней вина за все и т. д. Удивляться особенно не приходится - таков уровень политической культуры. Только не следует относить это на счет старой России. В ней, при господстве в целом патриархальщины, не было неуважительного отношения и к женщинам-правительницам (напротив, в народном понимании Екатерина II чуть ли не рядом с Петром, а к Елизавете отношение самое благожелательное), и к супругам самодержцев. Оставляя в стороне конкретные претензии, связанные с личными свойствами и поведением императрицы, как они отражались в молве, это, употребляя теперешнее понятие, та же "первая леди", за которой признаются важные государственные функции (в первую очередь организация благотворительности, забота о детях).

Негативное отношение к женам правителей сформировалось у нас как часть сталинского мифа о вожде. Поскольку одно из требований революционной морали решительная борьба с семейственностью и кумовством, его семейные отношения должны служить образцом. В Риме говаривали: "Жена Цезаря должна быть выше подозрений", - у нас выше подозрений был сам "Цезарь". В глазах обывателя он "принадлежал" всему народу и не мог поэтому принадлежать одной женщине.

Если при Ленине Крупская и супруги других руководителей партии и государства обладали общественным статусом, находились "на виду", то Сталин сам никогда не появлялся на публике в сопровождении Аллилуевой и не позволял этого своим соратникам. В то время как пропаганда призвала женщин активно участвовать в общественной жизни, "кремлевским женам" полагалось "не высываться". Само их существование было окружено тайной, пикантные подробности семейной жизни вождей становились предметом слухов и сплетен. Не случайно столь популярна книга Ларисы Васильевой, взявшейся описать эту сторону нашей истории, весьма важную для понимания подоплеку тех или иных событий.

При том что жены по-разному влияют на своих мужей, это в некотором роде закон природы, противиться ему бессмысленно. Здесь, как и повсюду, нужна мера, и Горбачев, насколько я могу судить, ее не переступал. Разумеется, он делился дома своими заботами и прислушивался к мнению жены - так поступают все государственные деятели, и, может быть, даже выиграл бы, если б чаще следовал ее советам. Раиса Максимовна достойно несла свою миссию, и первая наша президентская супружеская пара заложила традицию, которая, надеюсь, укоренится. А это немаловажно для расставания с "домостроем" и признания общественной роли женщин, в чем мы сильно преуспели на словах и серьезно отстали на деле.

В отношении к людям Горбачев ровен и доброжелателен. Не слышал, чтобы на кого-нибудь кричал. Иной раз, впад в раздражение, повысит голос, но тут же спохватится, улыбнется или махнет рукой, как бы предлагая забыть неприятный эпизод. С теми, в ком разочаровался как в работниках или кто подвел его, расстается без сантиментов, но и не питая злобы. Не мстителен: никого из своих противников со свету не свел, не посадил, не выслал, не лишил работы. Наглядный пример - эта книга. Прочитав ее, Михаил Сергеевич был раздосадован некоторыми оценками, в особенности не соглашался с тем, что у него две "ахиллесовых пяты" - организация и кадры. Но когда я попросил его написать несколько слов для немецкого издания, оценил ее как лучшую книгу о перестройке.

Как порой ни раздражал его Сахаров, в близком кругу отзывался о нем неизменно с уважением. Высоко ставит Солженицына, как писателя, хотя так я его и не уговорил послать Александру Исаевичу письмо с приглашением вернуться на родину. Сказалось "классовое чувство". Они земляки, только Солженицын сын крупного землевладельца, а Горбачев из крестьян.

Не было отказа всякий раз, когда речь заходила о том, чтобы восстановить справедливость, реабилитировать незаконно осужденного, помочь беженцам. С "ходу"

подписал указ о возвращении гражданства Жоресу Александровичу Медведеву, велел выдать визу Юрию Петровичу Любимову до оформления его паспорта. Мелочи? Конечно, решались не судьбы человечества, но ведь она складывается из судеб отдельных людей.

По Шопенгауэру, значительность человека определяется его способностью восхищаться другими. Горбачев искренне и щедро восторгается понравившейся книгой, театральным спектаклем, музыкальным произведением. Иной раз зайдешь с утра к президенту, начнешь докладывать, он прервет ("потом!") и начинает читать вслух с комментариями поразившую его статью из журнала. Любит сказать слово похвалы талантливому человеку. Вот где он сдержан, порой несправедлив в оценках - так это по поводу выступлений политических соперников. Дает о себе знать авторская ревность.

Едва ли не самая важная для политического деятеля черта - терпимость к критике, умение выслушивать хотя бы от друзей и соратников не одни похвалы, но горькую правду. Расскажу об эпизоде, дающем некоторое представление на этот счет.

28 декабря 1990 года в Волынском работали над докладом Президента на Съезде народных депутатов СССР. Разговор пошел откровенный. Черняев дал "затравку": мы ваши самые близкие, смею сказать, надежные люди, неделями не знаем, что творится, каковы ваши планы; иногда узнаем о событиях из газет. А ведь могли бы и совет добрый дать. Вы встречаетесь с кем попало журналистами, депутатами, директорами, а на нас уже нет времени.

Короче, обида была выложена в довольно резкой форме. Михаил Сергеевич начал отбиваться: без встреч политику не делают, я вот не бывал долго в Верховном Совете, так там черт знает что творилось, а поговоришь с людьми начинаешь понимать, что к чему; да вы и сами мне подсовываете разные randevu... Но тут на него набросились с упреками Примаков и Шаталин, поддакнул Медведев, пробурчал что-то Яковлев, и он капитулировал, признал, что дело у нас идет бессистемно, мало видится с помощниками. "Да, я ведь, друзья, загнанный, как лошадь".

Много было еще сказано вокруг этого, и я бы не стал описывать этот эпизод - в конце концов обычная технология управления, интересная только для специалистов, - если бы не какое-то странное ощущение присутствия при необычной, не имевшей места в прошлом сцене. Потом понял, в чем дело. Слишком прямо, резко, без околичностей выкладывались ему упреки. По существу, это была нелцеприятная критика его неорганизованности, и хотя "по углам" ворчалось окружение давно, но высказать свою досаду напрямую не решалось. Теперь, когда его клюют со всех сторон противники, решились на это и друзья. Конечно, с благими намерениями - остеречь, помочь, но психологически это выглядело как "бунт на корабле", когда команда предъявляет капитану свой счет, а он уступает и обещает впредь "хорошо командовать кораблем". Вроде бы все по-прежнему, но что-то неузнаваемо изменилось в отношениях. Он отныне не просто повелитель, но и член команды. Не знаю, ощутил ли Михаил Сергеевич перемену, но держался он молодцом. Впервые за те годы, что я его близко знаю, скрутил свою гордыню и полупризнал неправоту, неумение организовать дело. Хорошо, что только полупризнал, подумалось мне, нет ведь ничего хуже, если политический лидер теряет уверенность в себе. Надеюсь, с ним это не произойдет. Но поубавить самоуверенность ему не вредно.

После этой сцены произошло и вовсе "размягчение": как бы откликаясь на наши притязания, Михаил Сергеевич пропустил нас в самый укромный уголок высшей власти - пригласил сказать, у кого какие предложения по кандидатам в вице-президенты, премьеры и на другие посты. В прошлом такого никогда не бывало, и все наперебой стали называть имена: Назарбаев, Акаев, Явлинский... Он слушал, кивал, а на съезде назвал кандидатом Павлова.

Бывали и другие случаи, когда Горбачев "приноровлялся" к ситуации, предпочитал не вступать в спор, а поступал по-своему. Не думаю, чтобы это шло ему на пользу. Да и лукавство, скрытность - хотя и частые спутники политических деятелей, не слишком их украшают. Не остались они незамеченными для наблюдателей у нас и за границей.

С ходом времени Михаил Сергеевич все с меньшей охотой выслушивал критические замечания - атмосфера восторженного поклонения делала свое дело. Он по-прежнему прост в обращении, охотно беседует на любые темы... Кроме тех, что задевают его самолюбие. Тут на его лице появляется выражение скуки и ясно читается мысль: "Кого вы учите, друзья?"

Впрочем, все это маленькие слабости большого человека. Явление Горбачева закономерный итог развития русской нации, ее самосознания после 70-летнего коммунистического господства. Он поразительным образом выражает среднее, центральное в нашей политике, философии, культуре. Среднее не в смысле серое, посредственное, а в смысле умеренное, здоровое, рациональное, взвешенное. Это не озарение одинокого, возвышенного над толпой гениального ума, а внутренний голос самого народа, выражение его мудрости и осторожности, тревоги и надежды. Такой лидер должен был появиться именно так, как он появился - из толщи народной, пройдя все ступени иерархии правящей партии и социалистического государства. Нужно было очень долго думать и делать дело по-старому, чтобы на каком-то этапе "очнуться", прийти к пониманию необходимости думать и делать дело по-новому. Решить задачу должен был сам русский народ, и он сделал это, выдвинув Горбачева.

Но вот вопрос: если так, почему тот же народ, по крайней мере значительная его часть, отвернулся от своего лидера? Сказать пресловутое: "Нет пророка в своем отечестве" - значит ничего не сказать.

Вернемся в 80-е годы. Чем больше мы продвигаемся по истории перестройки, припоминая выпавшие из памяти детали и заново осмысливая причинную связь событий, тем причудливей выглядит характер человека, которому суждено было сыграть в этой драме главную роль. Романтизм и вера в высокие идеалы легко совмещаются в нем с практицизмом, идейной и политической изворотливостью. Истории было угодно, чтобы миссию реформатора в России сыграла не цельная, высеченная из одной глыбы личность, как Петр и Ленин, а гибкая и пластичная, способная воспринять иную систему ценностей. Горбачев - один из первых, если не первый российский лидер, мыслящий как западный. Поэтому он без труда нашел общий язык с Тэтчер и Рейганом, Колем и Андреотти. И по той же причине наше евразийское национальное сознание отказало ему в безоговорочной симпатии, когда он превратился из генсека в президента. По меркам этого сознания Горбачев завел страну на путь поражения: "Выведет ли этот путь к западному процветанию, еще неизвестно, а пока одни бедствия, да как бы не растерять в дороге все, что у нас было, чем гордились".

Не "уважают" у нас многие бывшего лидера еще и потому, что испытывают ностальгию по "железной руке". Не оттого, что якобы рабы по природе, добровольно тянут шею в ярмо - глупости это! Как раз по обратной причине. Народ наш горд, упрям, своенравен, вольнолюбив, он и умом понимает, и нутром чувствует, что нельзя нам сразу вводить европейские порядки, стоит снять узду - и пойдет вселенский разгул. За несколько лет свободы мы догнали прочий мир по алкоголизму, наркомании, проституции, порнографии, бандитизму, терроризму, а там, глядишь, недалеко и до абсолютных рекордов. Отсюда желание иметь на "капитанском мостике" не милого интеллигента, пространно рассуждающего о "процессе, который пошел", а бравого басовитого "хозяина", которого, по его же словам, самому Господу с президентского поста не сместить.

Смена лидера оказалась неизбежной и по самой прозаической причине потребности установить "ответчика за все", свалить на него грехи едва ли не каждого. И выглядит это вполне правдоподобно, поскольку у нас испокон веков все решалось волей самодержцев. Но в том-то и фокус, что Горбачев сломал традицию самовластия и с определенного момента перестал быть единственным демиургом событий. Вспомним.

1985 год. Располагая всей суммой информации, тщательно укрываемой от общества, и отдавая себе отчет в том, что страна погружается в трясину кризиса, Политбюро ЦК КПСС по инициативе М.С. Горбачева решает приступить к тому, что вначале называют совершенствованием социализма, затем - перестройкой или революцией, а в конце концов -

реформами. Начинают с бесплодной попытки ускорить технический прогресс, не меняя ничего в экономическом и политическом механизме.

1986-1987 годы. Предпринимается серия попыток оживить экономику путем предоставления самостоятельности предприятиям, сокращения плановых показателей, создания сети кооперативов, осторожного поощрения частных хозяев на земле. Почти весь набор мер, которые позднее составят полномасштабную экономическую реформу. Но они пока в зародышевом виде, формулируются крайне робко, мало кто осмеливается произносить вслух слова: рынок, свободная торговля, частная собственность. Все это еще под идеологическим запретом.

1988-1989 годы. Убедившись, что в наших условиях никакие серьезные сдвиги в экономике невозможны без политической свободы, Горбачев предлагает начать конституционную реформу. Проводятся первые демократические выборы и вместо марионеточного Верховного Совета страна получает работающий парламент. Вводится свобода слова, формируется оппозиция. Финальным актом обновления политической системы становится ликвидация монопольного положения коммунистической партии.

1990 год. Республики одна за другой провозглашают независимость. Зарождаются и набирают силу сепаратистские движения. Обостряются конфликты на этнической почве. Развертывается острая борьба вокруг формулы экономических реформ. Рвутся хозяйственные связи. Резкое снижение жизненного уровня вызывает волну забастовок. Избранный в мае на пост президента, Горбачев уже осенью становится объектом яростных атак оппозиции, требующей его отставки.

Из этих фактов следует два очевидных вывода.

Первый. Горбачев выступал инициатором большинства принципиальных решений, но принимались они коллективно, в полном соответствии с нормами и традициями, которые существовали в прежней политической системе. При обсуждении тех или иных вопросов на заседаниях Политбюро высказывались различные точки зрения, однако все завершалось единогласным утверждением постановлений. И смею добавить: не только в силу традиционно непререкаемого авторитета генсека. Обновленный им состав партийного руководства верил в необходимость осуществляемых мер, серьезные несогласия и трения начались позднее. То же относится к Центральному Комитету - первые голоса "против" начали подаваться лишь в конце 1990 года. На XIX Всесоюзной партийной конференции за глубокие преобразования высказалось подавляющее большинство делегатов.

Перестройка была коллективным деянием партии и народа, а значит, и последствия этого предприятия не могут быть связаны с именем и деятельностью одного лишь Горбачева. Независимо от того, как их оценивать - со знаком плюс или минус, они также представляют собой результат коллективного действия. Причем не одной партии, но и государственного аппарата, профсоюзов, Академии наук, творческих организаций, прессы, трудовых коллективов - всех, кто так или иначе поддержал курс радикальных перемен и участвовал в его реализации.

Второй принципиальный вывод: с того момента, когда начались "послабления" на распространение информации, а тем более - с образованием новых высших органов власти, ход событий уже не контролировался целиком официальным руководством партии и государства. Перераспределение политического влияния в результате реформы привело к тому, что практически каждый шаг в общественном развитии определялся взаимодействием политических сил.

К концу 1991 года в острейшей форме были поставлены перед нашим обществом кардинальные вопросы - о государственном и общественном устройстве страны. И как только дала о себе знать угроза распада союзного государства, Горбачев всеми силами стремился ее предотвратить. Вопреки упорному сопротивлению оппозиции в парламенте и в печати, он добился проведения референдума 17 марта, который завершился впечатляющим вердиктом в пользу сохранения Союза. Чуть позже по его инициативе начинается новоогаревский процесс, цель которого примирить противоречивые национальные интересы



и найти оптимальный вариант преобразования унитарного государства в жизнеспособную федерацию.

Что касается вопроса об общественном строе, то Горбачев не только постоянно декларировал, но и подтверждал на практике свою приверженность социализму - в обновленном виде, в соединении с демократией. Достаточно напомнить, с каким упорством он сопротивлялся введению частной собственности на землю, соглашаясь пойти на это только по итогам всенародного референдума. Опасениями утраты социальных гарантий объясняются его колебания в выборе программы реформы. Приняв первоначально вариант "500 дней", президент не остался глухим к доводам тех государственных деятелей и экономистов, которые считают, что методы "шоковой терапии" не годятся для нашей страны, что шквальный рост цен может пагубным образом отразиться на условиях жизни людей, особенно малообеспеченных, поставить в тяжелое положение науку, искусство, здравоохранение, народное образование, армию и другие институты, не способные существовать без государственной поддержки.

Судьба распорядилась так, что, одержав победу в выборе магистрального направления политики, Горбачев проиграл борьбу за власть. Голосованием 12 июня избиратели, многие, видимо, сами того не подозревая, перечеркнули результаты своего голосования 17 марта. Им казалось, что они только выдвигают более решительного и смелого лидера, в действительности они отдали предпочтение другой программе: отобрали власть у центристского, социал-демократического по своей сути политического течения и отдали ее радикально-либеральному. После 12 июня оставалась гипотетическая возможность сохранить Союзное государство и избрать оптимальный вариант экономической реформы. Такой возможности не стало после 19 августа. Завершающий смертельный удар Союзу нанесли те, кто намеревался восстановить его бывшее могущество. Исходя из противоположных побуждений и действуя врозь, левые и правые дружно столкнули страну с пути реформ на путь революционных катаклизмов. Союз, как целое, перестал существовать. Сепаратистским силам оставалось довести до конца свою победу, устранив носителей союзного суверенитета - президента, Съезд народных депутатов, Верховный Совет. Это и было сделано после 8 декабря - четвертой роковой даты 1991 года.

Ретроспектива показывает, что экс-президенту могут быть предъявлены только две претензии. Первая - что он ввел в стране демократию, и вторая - что он от нее не отказался ради целостности государства.

Горбачев не виноват в том,

Что народы Прибалтийских республик захотели обрести независимость.

Что армяне Нагорного Карабаха решили присоединиться к Армении, а азербайджанцы этому воспротивились.

Что абхазы не захотели оставаться в подчинении Тбилиси.

Что таджикские фундаменталисты рвались к власти и развязали гражданскую войну.

Что народы Восточной Европы свергли коммунистические режимы.

Что немцы решили воссоединиться.

Что 52 процента жителей России, воспользовавшись своим избирательным правом, проголосовали за Ельцина на президентских выборах.

Что Верховный Совет России принял Декларацию независимости и тем самым поощрил сепаратизм во всех остальных союзных и автономных республиках.

Что Президент России издал указ о верховенстве российских законов над союзными.

Что он же признал Литву.

Что группа высших сановников Союза попыталась ввести чрезвычайное положение и сорвала подписание Союзного договора.

Что Политбюро ЦК КПСС не выступило против заговора.

Что Ельцин, Кравчук и Шушкевич заключили Беловежское соглашение.

Что Верховные Советы 9 республик признали это решение и ратифицировали договор о создании СНГ.

Что правительство России с благословения парламентского большинства начало проводить экономическую реформу по методу "шоковой хирургии".

...Можно вписать сюда практически все другие события, происшедшие до декабря 1991 года и уж тем более - после.

Это не значит, что экс-президент безгрешен. Он допустил много ошибок, в ряде случаев неоправданно колебался, запаздывая с принятием решений. Но за все свои промахи понес наказание - и тем, что лишился власти, и в особенности тем, что история скажет о нем как о реформаторе, начавшем грандиозное дело, но не сумевшем довести его до конца.

Вот что написал мне один из доброжелателей президента: "Ведь как все рады были приходу Михаила Сергеевича, как любили его. Ему нужно было спокойно, без шума делать дело, поправлять, обновлять что надо. Зачем понадобилось произносить слово "перестройка"? Протрубили, и пришлось под него подстраиваться, оправдывать его все новыми и новыми крутыми мерами. И так далеко забрались, что уже выбраться оттуда стало невозможно".

Выберемся, конечно. Но предстоит выяснить, можно ли было даже при самой безупречной стратегии провести реформацию за несколько лет, не относится ли она к тем предприятиям, которые, как строительство Кельнского собора, требуют участия нескольких поколений? Ответ на этот вопрос узнают те, кому жить в XXI веке.

Остается выполнить свое обещание и сказать, в чем же известное сходство Горбачева и Наполеона.

Оба из низов поднялись на вершину могущества, владели полмиром. Оба были фанатично почитаемы и проклинаемы. Оба потерпели фиаско при жизни. И оба, что самое важное, открыли новые эпохи.

С высоты истории

Хочу начать эту главу с двух цитат:

"На место старого буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностями приходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех". К. Маркс и Ф. Энгельс

"Мне бы хотелось, чтобы на нескольких больших примерах было показано, что в социалистическом обществе жизнь сама себя отрицает, сама подрезает свои корни. Земля достаточно велика, и человек все еще недостаточно исчерпан, чтобы такого рода практическое поучение, *demonstration ad absurdum* представлялось мне нежелательным, даже в том случае, если бы оно могло бы быть достигнуто лишь ценой затраты огромного количества человеческих жизней". Ф. Ницше

В 1995 году, когда исполнилось 10 лет с избрания М. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС, перестройка стала предметом оживленных дискуссий в России и за рубежом. У нас отношение к ней диаметрально противоположное. Одни считают, что это было нужное, по крайней мере исторически неизбежное предприятие, хотя и принесло оно не те результаты, какие ожидалось. Другие, напротив, усматривают в ней козни империализма, сумевшего таким способом погубить Советский Союз и покончить с коммунизмом.

Была перестройка благом или бедой для России - ответ на этот вопрос прояснится не раньше чем через два-три десятилетия. В 1927 году, когда отмечалась 10-я годовщина Октябрьской революции, тоже непросто было дать объективную оценку этому событию. До сих пор спорят, чем был Октябрь для мира - очистительной грозой или разрушительным ураганом.

Но вот что можно сказать с уверенностью: окончательный, однозначный приговор на этот счет не будет вынесен никогда, потому что "раздвоение" политического сознания, метания между идеями свободы и равенства заложены в самой природе человека.

XIX век, как известно, стал веком систематизации знаний. Эту задачу, каждый в своей сфере, выполнили Ламарк и Дарвин, Гумбольдт и Менделеев, Фрейд и Вернадский. Итогом исканий социалистической мысли стало учение Маркса и Энгельса. А параллельно шла

систематизация либеральных воззрений. Обе эти идеологии взяли на вооружение лозунги Французской революции, но либералы сделали акцент на свободе и связанных с ней индивидуализме, частном предпринимательстве, конкуренции, а социалисты - на равенстве с такими его атрибутами, как коллективизм, план, общественная собственность.

Из гениальных голов, со страниц философских трактатов и кафедральных дискуссий две соперничающие социальные идеи перекочевали в головы энтузиастов и фанатиков, обрядились в партийные программы, воплотились в грандиозные проекты и в конце концов схлестнулись в гражданских и мировых войнах. XX век стал испытательным полигоном идей XIX, принял на себя все его теоретические грехи и, уходя в прошлое, оставляет нам в наследство не только превосходные достижения техники, но нечто еще более важное - горький опыт и поучительные уроки.

В самом общем виде их можно сформулировать следующим образом: любая благодатная идея, доведенная по крайности, приводит к противоположным результатам. "Соблюдай меру", - начертал Платон на вратах своей академии. Та же мысль составляет ядро учений Конфуция и Будды. Но если они рассматривали умеренность и сопутствующие ей добродетели (способность соизмерять желаемое с возможным, равное отрицание гордыни и самоуничтожения, терпимость к инакомыслию) как условия самосовершенствования человека, то в наше время мера во всем становится условием сохранения самого рода человеческого.

Лучшим тому доказательством служит великий социалистический эксперимент. Маркс проектировал диктатуру пролетариата, вдохновляясь целью покончить с неравенством и учредить рай на земле. А Ницше считал такой опыт полезным, чтобы "от обратного" доказать невозможность и неэффективность порядка, основанного на всеобщем равенстве, неизбежность и необходимость господства людей исключительных, обладающих "волей к власти". Оба были правы и оба ошибались.

Общество, созданное в Советском Союзе и группе других стран по модели Маркса и Ленина, действительно отличалось самым высоким уровнем социального равенства, какое когда-либо достигалось на земле. Оно стало пионером комплексного экономического планирования и социальной инженерии. По его почину труд, отдых, обеспечение в старости, бесплатное образование и здравоохранение получили признание в качестве таких же естественных и неотчуждаемых прав человека, как свобода слова и другие политические свободы.

Но сами эти свободы, хотя они и значились в советских конституциях, были принесены в жертву безопасности новой системы и торжеству ее идеологии. А более всего - удержанию власти теми, у кого была пресловутая воля к ней. Этот странный симбиоз ницшеанства с марксизмом, тоталитарного правления с народным строем оказался живучим только потому, что волею исторических судеб совпал с геополитическими устремлениями России и помог ей превратиться в одну из двух супердержав. Но он же нес в себе семена саморазрушения.

Следствием фанатизма, с каким воплощалась у нас "коллективистская идея", стало окостенение общественного сознания. Произошла тотальная идеологизация всех сторон общественной жизни, при которой каждое слово и поступок измерялись по шкале не практической пользы, а "идейной чистоты". Идеология почти растворила в себе науку, искусство, мораль, опутала политику и экономику. Она проникла в такие уголки, где ей, пожалуй, не довелось побывать за всю мировую историю.

Оговоримся: без идеологии не обходится никто. Нет признаков дряхления таких универсальных идеологий, как христианская и мусульманская, консервативная и либеральная, социалистическая и коммунистическая. То и дело предпринимаются попытки реставрировать фашизм. У каждого народа есть и собственная идеология - немецкая, французская, русская и т. д. Общеизвестно, какую роль в "экономическом чуде" Японии сыграла ее идеология, которую называют патерналистской.

Скажем больше. Никакие изменения в социальном строе или международном порядке не способны истребить заложенную в природу человека потребность в идеологии как

осознанной цели общественной деятельности. Ни наука, ни искусство не могут удовлетворить неизбывную тягу к Идее как Идеалу. А если бы она была вытеснена прозаическими нуждами жизни, за этим с неизбежностью последовало бы возвращение гомосапиенс в пещеру.

Словом, идеология - необходимый и конструктивный элемент общественного развития. Все дело в том, чтобы она занимала место, отведенное ей природой вещей. Можно считать общим правилом: действуя в этих рамках, она способна играть плодотворную роль в жизни общества, выходя за них, становится его бичом.

Точно так же обстоит дело с социализацией общественной жизни. Обобществление собственности в масштабе всей страны неизбежно ведет к ее огосударствлению и предельной централизации управления, а последние - к сосредоточению власти в руках бюрократического слоя, которая вырождается в личную диктатуру. Конечным результатом всех этих превращений становится вторичное экономическое закабаление и политическое подавление народа. Прodelав круг, революция возвращается к исходному своему пункту, независимо от первоначальных намерений ее творцов.

Но было бы очередной несусветной глупостью на этом основании предавать анафеме саму идею социализма, объявлять ее, по аналогии с некоторыми международными договорами, "несостоявшейся с самого начала". Наш опыт показал как опасность безмерной социализации, так и ее необходимость в определенных пропорциях с частной инициативой. Стремиться к динамическому равновесию между свободой и равенством, экономической эффективностью и социальной защищенностью - вот, пожалуй, самый важный урок и наставление XX века XXI.

Семь послеоктябрьских десятилетий прожиты нами не зря. Вообще несостоятельны попытки малевать их одной черной краской. Разве этот период не вместил ничего, кроме репрессий? Разве народ, воодушевленный высокой идеей, не совершил многих великих дел, включая победу над фашизмом и прорыв в космос? Огромна советский вклад в научно-техническую революцию уходящего столетия, а литература и искусство, рожденные Октябрем, сыграли роль "бродила" в обновлении всех сфер художественного творчества. Достаточно назвать имена Прокофьева, Шостаковича, Петрова-Водкина, Шагала, Мухомовой, Блока, Есенина, Маяковского, Шолохова, Булгакова, Платонова, Эйзенштейна... Множества других талантов, взращенных как верой в коммунизм, так и сомнением в ней, "коммунистической ересью".

Наша послеоктябрьская история была не "одноцветной", а резко контрастной. В то время как часть людей была обречена на заклание, другие получили ощутимый выигрыш от революционных преобразований. Целые поколения жили с ощущением исторической значимости своих дел. Это было мессианство народа, который считал себя призванным "сказку сделать былью", осчастливить человечество.

Трагедия нашей страны не в том, что в ней впервые в истории в широких масштабах был поставлен социалистический эксперимент - в этом как раз ее достоинство, и этим она оказала огромную услугу человечеству, продемонстрировав возможности плановой системы и ее уязвимые места. Беда в том, что на протяжении почти трех четвертей века мы были отгорожены от магистрального потока цивилизации, жили в полуизоляции.

Отвечая на вопрос, почему сравнительно легко рухнула существовавшая у нас модель социализма, обычно указывают на недостаток мотивации к производительному труду, нерасположенность к нововведениям и другие спутники тоталитарных режимов. Это верно. Но столь же верно, что при всей уязвимости модели запас ее прочности не был исчерпан. Она могла протянуть еще долго, если бы в мире сохранялась возможность преуспевать в отрыве от международного рынка современных технологий. Такой возможности с началом компьютерной эры не осталось. Всякий, кто не принимал правил игры на этом рынке, был обречен на отставание. Вступив в соревнование с объединенным Западом, Советский Союз надорвался и вынужден был пойти на интеграцию.

Мы нередко говорим об этом, подразумевая нечто вроде еще одной попытки по

примеру Петра I прорубить окно в Европу. Но аналогия крайне условна. С петровских времен Россия, хотя и с периодическими "уходами в себя", не переставала быть европейской страной. Со Второй мировой войны Советский Союз являлся супердержавой, неотъемлемой частью и даже одним из "столпов" международного порядка.

Интеграция в мировое сообщество имела для нас смысл только в том случае, если под этим понималось преодоление разрыва с доминирующими формами экономической и социальной жизни. Причем это - "вхождение" не в капитализм, как утверждают наши ортодоксы, а в международную социально-экономическую среду, в которой, при многообразии моделей общественного устройства, доминируют принципы демократии и социально-рыночной экономики.

Было бы ошибкой представлять себе эту интеграцию как нечто подобное стыковке космического корабля со станцией на орбите. Дело даже не в том, что мировое сообщество должно соответствующим образом перестроить свою структуру, чтобы принять в свое лоно такую огромную "массу". Дело в том, что само сообщество, которое мы называем мировым, становится по сути своей таковым, только вобрав в себя все составные компоненты миропорядка. Причем "соединение" Востока с Западом представляет собой лишь первый этап этой грандиозной операции, за которым должен, по идее, последовать другой, еще более сложный интеграция Севера с Югом.

То, что называли конфронтацией Востока и Запада, было на самом деле внутренним противоречием европейской цивилизации. Россия, как и все восточноевропейские государства, - это часть Европы, а марксизм - порождение европейской культуры. Так что точнее говорить о преодолении раскола внутри европейского (евро-американского) или западного мира. Действительная же проблема в отношениях двух основных ветвей цивилизации определяется формулой "Север - Юг".

Условия существования современного мира предопределяют беспрепятственную циркуляцию капитала, рабочей силы, идей, ценностей и, конечно, людей. Эта благотворная тенденция обещает поднять цивилизацию на истинно общечеловеческую высоту. Однако есть и другая перспектива. Тотальное взаимопроникновение означает одновременно, что Юг вывозит на Север свою нищету, а Север на Юг свою массовую культуру и отходы производства. Если развитие пойдет по типу сообщающихся сосудов, конфронтация Севера с Югом выльется в конфронтацию человечества с самим собой, в мировую гражданскую войну. Противостоящие стороны, не имея четкой границы между собой, будут душить друг друга в объятиях.

Могут оспорить такое видение будущего: богатые страны не отказываются протянуть руку помощи бедным. Действительно, в последние годы были свидетельства щедрости и трезвого расчета. Ведь если сытый Север не хочет, чтобы в его и без того изрядно перенаселенные города ринулся весь полуголодный Юг, надо помочь последнему обрести нормальный жизненный уровень.

Однако есть некий объективный предел помощи, переступить через который современное общество даже при желании не может. Нельзя обеспечить всей планете уровень преуспевающих стран в силу ограниченности природных ресурсов. Американец потребляет в среднем столько энергии, сколько 500 индийцев, и оставляет после себя в атмосфере в 1500 раз больше отходов, чем житель Индии. При переводе всего человечества на режим потребления развитых государств разведанных ресурсов хватило бы на пару десятилетий. На перераспределение же ни одна богатая нация пойти не согласится.

С этой точки зрения кризис России, других бывших республик Союза, восточноевропейских стран - это и общечеловеческий кризис. Тот факт, что не оправдалась надежда на создание идеального строя, сочетающего свободу с равенством, - это поражение созидательного разума, за которым следует обычный в таких случаях возврат к религии и мистицизму, возрождение архаических ценностей, ренессанс монархического сознания.

Умерла, с малой надеждой возродиться - по крайней мере в предстоящие десятилетия, эсхатологическая идея, предполагающая возможность создания рая на Земле в результате

применения научной доктрины. Но эта неудача не означает, что нужно отказаться от поиска гармонии в мировом общественном устройстве. Социалистический принцип (подход, метод) должен найти применение в регулировании отношений между Севером и Югом, смягчении новых социальных противоречий, которые будут возникать в формирующемся мировом обществе (именно - обществе, уже не сообществе).

Вдохновляющей целью и для левого движения, и для широкого круга политических течений сейчас должно стать утверждение нового мирового порядка, основанного на принципах свободы, справедливости и солидарности, ставящего во главу угла обеспечение и защиту прав человека.

Итак, Маркс и Ницше, оба были правы в меру своего озарения. Еще один урок нашего времени будущему - не сотвори себе кумира. Своим горьким опытом мы во многом обязаны тому, что возвели марксизм в ранг "новейшего завета". Между тем Маркс, Энгельс, Ленин были обыкновенными гениями. Такими же, как Локк, Монтескье, Гегель, Кант, Чернышевский и немало других. У каждого из них свои прозрения и заблуждения. Глупо не прислушаться к этим мудрецам и столь же глупо жить одним их умом.

Вероятно, заслуга Горбачева и состоит в том, что он отважился сбросить шоры мертвящего догматизма и увидел свою страну и мир как они есть. А освободившись сам, счел долгом освободить свой народ.

Перестройка - великий поворот истории XX века. Но как ни громадно ее значение, личное значение Горбачева многим больше. Он доказал своим примером, что "бунтующий человек", личность, не способная смириться с несуразностями Системы (Замка, по Кафке) - не плод фантазии поэтов и философов. Что и наша прозаическая, скудная на героев эпоха может рождать донкихотов, гамлетов, мышкиных. А Замятин и Оруэлл не были прекраснодушными оптимистами, предположив, что нарисованные ими чудовищные миры будут раньше или позже разрушены, ибо явится Человек, не желающий ни сам быть невольником Системы, ни повелевать подневольными людьми.

### Часть III

#### После перестройки

#### В Фонде

"Перелистав" в памяти бурные 1988-1991 годы, завершу свою книгу рассказом о Фонде Горбачева, с которым связаны последние 10 лет моей жизни.

Начало этому необычному для нашей общественной практики учреждению было положено за несколько месяцев до драматических событий, приведших к распаду Советского Союза. В августе, предшествовавшем путчу, мы с моим давним соратником и другом Красиным отдыхали в санатории "Южный". Прогуливаясь, обсуждали, как пойдут дела после подписания нового Союзного договора, делились смутным беспокойством, что этому может помешать, и размышляли, как уберечь от превратностей "смутного времени" Институт общественных наук, ректором которого был тогда Юрий Андреевич.

Начальным предназначением Ленинской школы была подготовка кадров братских партий. Молодым коммунистам, тщательно подбиравшимся для учебы в Москве, опытные педагоги, как правило, со знанием иностранных языков, читали теорию научного коммунизма, политэкономии и другие предметы, составлявшие в сумме курс марксистско-ленинского образования. Наряду с идеологическими дисциплинами учащиеся получали знания, необходимые революционерам-подпольщикам, учились обращению с радиотехникой. Впрочем, эта конспиративная часть обучения отходила на задний план, по мере того как компартии отказывались от ставки на насильственный захват власти, делали основной упор на парламентские средства борьбы. Да и воспитание слушателей в духе советской ортодоксии становилось все более сложным делом - преподавателям приходилось не столько обучать, сколько вести дискуссии с молодыми еврокоммунистами.

Словом, учебная функция клонилась к упадку, если вообще себя не исчерпала, зато процветала исследовательская. Как все идеологические учреждения, находившиеся под непосредственной опекой ЦК КПСС (Академия общественных наук, партийные школы и

издательства), школа помещалась в элитном, специально для нее построенном архитектурном комплексе, состоявшем из шести соединенных переходами зданий, располагала богатой библиотекой, прекрасными аудиториями, общежитием и даже гостиницей с собственным бассейном. Собранные здесь квалифицированные специалисты, не слишком обремененные чтением лекций, могли посвятить себя научным занятиям. К началу 90-х годов школа уже вполне отвечала своему официальному названию - Институт общественных наук.

Мы с Юрием Андреевичем, однако, рассудили, что в таком качестве у нее мало шансов выжить. Рано или поздно будет поставлена под вопрос целесообразность существования научного учреждения, претендующего на охват практически всей системы гуманитарных знаний. К тому же тематика проводившихся там исследований тяготела к внутренней и международной политике, был прямой резон на этом сосредоточиться. В пользу такого решения была и потребность подкрепить научными исследованиями работу президентского аппарата. Соответственно этому замыслу мы набросали проект перестройки Института в Фонд социально-политических исследований (уж потом была подключена и экономическая тематика, которая, кстати, по большому счету так и осталась неосвоенной), предусматривающий окончательный отказ от учебных функций, значительное сокращение штатного состава, поручение заняться актуальной в тот момент проблематикой. Указом 26 августа 91-го года Фонд был учрежден в качестве исследовательского учреждения при главе союзного государства. Меня, как политического советника, утвердили президентом этого учреждения, Красина генеральным директором.

Не думаю, что, подписывая соответствующий указ, Михаил Сергеевич сознательно готовил себе место на случай отставки. Такие мысли еще не бродили у нас в головах. Верилось, что новый Договор о Союзе будет все-таки подписан, Горбачев останется его руководителем. Но ход событий опрокинул эти надежды. В один из дней второй половины декабря, когда уже стало ясно, что у Михаила Сергеевича нет шансов остаться в большой политике (разумеется, в "действующем" режиме), я спросил, не захочет ли он возглавить наш Фонд, чтобы хоть таким путем, через анализ и рекомендации, оказывать посильное влияние на положение в стране, отстаивать идеи "нового мышления".

- Да уж придется потеснить тебя, - сказал он с грустной улыбкой.

Так закончилось мое кратковременное правление Фондом, и он перешел в руки своего учредителя.

По словам Михаила Сергеевича, когда Ельцин подписывал новый, теперь уже российский указ о создании Фонда, то спросил: "Что это будет? Оппозиционная партия?" Горбачев ответил: "Нет, это будет Фонд". Спустя 5 лет он подтвердил это намерение: "Я хочу, чтобы Фонд так и остался. И чтобы он был центром независимой мысли, потому что это, может быть, сегодня даже важнее, чем создавать партии. Эта предпосылка очень важна для всех, для всего общества, чтобы у нас таких центров было по России много и они действовали, оказывали влияние на политику, на самосознание граждан, на их гражданскую позицию"\*.

Став президентом, Горбачев возвел в ранг "вице" А.Н. Яковлева и Г.И. Ревенко. Первый в этой роли не ударил палец о палец, занялся писанием книг, а потом и вовсе "дезертировал", переметнувшись на второстепенные роли в ельцинском окружении. Александр Николаевич не подписывал обязательства оставаться с Горбачевым пожизненно, и ни у кого не возникло бы вопросов, реши он посвятить остаток дней академическим занятиям. Иное дело - покинуть Фонд, чтобы вернуться в коридоры власти, пусть даже чужой, подкинуть пищу для злорадных замечаний, что даже ближайшие сподвижники бывшего советского президента его покидают.

Раз уж зашел разговор на эту тему, не вижу ничего предосудительного в переходе нескольких других сотрудников Фонда на службу в президентский и правительственный аппарат. К данному случаю уместно применить известную латинскую поговорку, перефразировав ее таким образом: что можно Быку, нельзя Юпитеру. Алексей Салмин, Марк

Урнов, Юрий Батурин не были политическими деятелями, принадлежавшими к команде Горбачева. К тому же сравнительно молодые люди, они имели все основания идти работать во властные структуры - и платят больше, и можно отличиться, и есть хотя бы иллюзия причастности к живой, сегодняшней политике. Юра Батурин, получив предложение идти помощником к Президенту России, обратился ко мне за советом, и я заверил, что ему не следует терзаться угрызениями совести, никто его не примет за перебежчика: "Решай сам. Единственный совет, который я считаю себя вправе тебе дать, старайся говорить правду новому своему боссу. А если поручит совершить нечто, по твоим понятиям недостойное, наберись мужества уйти в отставку".

Батурин продержался довольно долго на посту помощника и даже некоторое время был секретарем Совета обороны. Когда-нибудь он сам расскажет о том, как складывались его отношения с Ельциным, что стало причиной его отстранения от дел и вынудило отправиться в космос. Во всяком случае, я не сомневаюсь, что кратковременное "хождение в российскую власть" этого умного и наблюдательного человека поможет лучше понять, что творилось на одном из самых темных отрезков новейшей российской истории. Будем ждать его "свидетельских показаний".

Скажу заодно и о том, как сам я понимаю свой долг перед Горбачевым. Мои отношения с ним никогда не носили характера личной преданности. Я всегда говорил ему то, что думаю, в том числе достаточно неприятные для него вещи. Если он не признавал критические замечания серьезными, то просто отмахивался. Если они его хоть отчасти задевали своей правотой, принимал к сведению. На замечания, казавшиеся ему несправедливыми, обижался, но никогда не держал зла и тем более не пытался чем-то отплатить, хотя имел для этого уж какие возможности. Сильно сомневаюсь, чтобы многие лидеры согласились держать при себе зловредных помощников, то и дело режущих правду-матку им в глаза. А так, смею заверить, держались все входившие в "мозговой центр" Горбачева. Разве что за исключением Болдина - ни разу не слышал с его стороны каких-либо критических нотаций шефу, при том что в конце концов он выразил свое неодобрение, примкнув к заговорщикам.

Но хотя ни сам Михаил Сергеевич не требовал от своего окружения личной преданности, ни окружение, за редкими исключениями, не теряло достоинства и не позволяло собой понукать, за все годы после переселения из Кремля в Фонд на Ленинградском проспекте у меня ни разу не мелькнула мысль о возможности покинуть своего последнего шефа. Может быть, здесь говорило то понятие чести, какое не позволяет офицеру изменить флагу и бросить своего начальника раненым на поле боя. Именно эта метафора отражает положение Горбачева после отставки. Практически он оказался в роли человека, преданного остракизму. Правда, не набрались нахальства лишить его свободы передвижения. Но и здесь чинили препятствия как могли, затягивая с оформлением поездок, несколько раз поставив под угрозу выезд искусственной задержкой с оформлением паспортов ему самому или сопровождающим лицам. А "дома" навалились со всех сторон: левые обвиняли в предательстве, правые - в трусости. Не проходило дня, чтобы какая-нибудь газетенка не прошла ехидно по его адресу. По телевидению то и дело демонстрировали эпизод из работы Первого съезда народных депутатов СССР, когда Горбачев, поднявшись с председательского места, урезонивает Сахарова, прося его покинуть трибуну. Так пытались изобразить махровым ретроградом человека, который вернул академика из "горьковского заточения" и дал ему возможность возглавить легальную оппозицию собственной власти.

Соответственным было отношение к Фонду. У Ельцина и его окружения был какой-то панический страх перед тем, что наше учреждение может стать если не оппозиционной партией, то своего рода якобинским клубом, под крышей которого будут собираться все недовольные. Компартию в тот момент загнали в полуподполье. Других сил, не согласных с режимом, еще не сложилось, старательно гасились вероятные очаги их возникновения. Странное и страшное было это время. Вынырнувшие из небытия, не отличавшиеся особыми дарованиями эмэнэсы, оказались в положении хозяев богатейшей страны мира и кинулись жадно расхватывать собственность и власть. Наряду с исполнением установки "давить



Горбачева" политически, как можно и как нельзя, они алчно присматривались и к зданию, которое Ельцин, расщедрившись по случаю вступления на престол, закрепил своим указом за Фондом Горбачева.

Первые "пасы", впрочем, делались еще в мою бытность президентом Фонда. Где-то в октябре или ноябре 91-го года, когда ельцинисты уже входили во владение Москвой, назначенный благодаря покровительству Попова префектом Центрального округа Музыкантский явился ко мне с предложением отдать его управе одно из зданий Фонда и поделиться остальными.

- А почему мы должны с вами делиться? - поинтересовался я.

- Потому что, - ответил он без смущения, - у вас раньше или позже отберут все здания.

- На каком основании?

- Очень просто. В районе не хватает школ. Мы приведем сюда матерей будущих учеников, покажем эти великолепные помещения, и они устроят такую бучу, что вы сами поторопитесь унести отсюда ноги.

Не ручаюсь за точность выражений, я их не записывал, но запомнилось, что разговор был очень жесткий. Получив от ворот поворот, этот доблестный представитель демократического племени, кстати, досидевший до сего времени в кресле префекта, не оставил попыток выгнать Горбачева и его Фонд на улицу. Конечно, не он один. Очевидно, эта задача в числе других "реформ" была сформулирована в администрации российского президента и начала методически осуществляться. Похоже, буквально на другой день после подписания упомянутого указа Борис Николаевич проснулся недовольный собой (с какой стати было дарить Михаилу Сергеевичу архитектурный шедевр!) и загорелся мыслью, как отобрать свой дар назад. А может быть, к нему явились соратники и попеняли на неоправданную щедрость. Когда-нибудь узнаем детали. Все тайное становится явным.

Поначалу "горбачевская" твердыня была подвергнута систематической осаде. Фонд не успел еще зарегистрировать свой новый устав, как его стали терзать всевозможными проверками в поисках так называемых денег партии. Никаких сокровищ не нашли, но почти все, что "по наследству" перешло от Института общественных наук Фонду, конфисковали, вынудив Горбачева провести первое крупное сокращение штатов. Однако у нас оставалась еще гостиница, доход от которой, хотя и не слишком большой, позволял как-то существовать. В полном соответствии с классическими правилами осады, предписывающими морить осажденных жаждой и голодом, было решено лишить нас этого источника доходов. У Фонда отобрали гостиницу, а затем, решив, что гарнизон достаточно ослаблен, пошли на штурм.

8 октября 1992 года, отправившись, как всегда, утром на работу, я был удивлен тем, что уже в туннеле на выходе из станции метро "Аэропорт" скопилось необычное количество людей, причем не разрозненных, а явно организованных. Они переговаривались между собой, возбужденно жестикулируя, явно готовились к каким-то действиям. Перед самым зданием Фонда также собралась толпа в несколько сот человек. Дом был оцеплен. Стоявшие у дверей милиционеры не пропускали никого внутрь. Потолкавшись несколько минут, я увидел в сторонке наших машинисток. Напуганные происходящим, они рассказали, что, придя на работу, застали "пикет", а милиция, видимо извещенная заранее, взяла здание под охрану. К нам подошел Георгий Остроумов, и уже с его слов я узнал, что организованную часть пикетчиков составляют рабочие какого-то ленинградского завода, прибывшие в Москву утренним поездом; к ним присоединились местные зеваки и бомжи, каких всегда в достатке вокруг станций метро. Среди демонстрантов было несколько женщин, переминавшихся с ноги на ногу, явно не ведающих, что делать дальше. Мужики, изрядно подогретье, галдели, время от времени выкрикивая невнятные лозунги и грозя расправиться с врагами трудового народа.

Остроумов сообщил, что Горбачев "в курсе", поставлены в известность по телефону и вице-президенты - Яковлев и Ревенко. Оба не изъявили готовности броситься на выручку, пообещав "выяснить, в чем дело". Нам с Остроумовым пришлось, что называется, ложиться

на амбразуру. Пораспросив пикетчиков, нашли жоака - им оказался высокий, худощавый парень лет двадцати пяти с открытым симпатичным русским лицом. Я обратился к нему с вопросом, чего они добиваются, подняв эту шумиху. В ответ услышал нечто вроде "прижать вашу кодлу к ногтю". Столпившиеся вокруг нас демонстранты поддержали его одобрителными возгласами, раздались угрозы "намять бока этим сволочам". Почувствовав, что без драматических жестов не обойтись, я сказал:

- А ну-ка перестаньте орать и не пугайте, не на тех напали! Вас, ребята, еще на свете не было, когда я воевал с фашистами, и я вам не какой-то лавочник, к которому вы пришли качать права, а член-корреспондент Российской академии наук. Будете буяннить, вызовем милицию.

- Милиция с нами! - выкрикнул кто-то.

- Не думаю. Разберутся, что к чему, вас же и призовут к ответу за нарушение общественного порядка, - сказал я, не слишком веря в тот момент в такую благостную перспективу. Но твердый тон подействовал, встретив отпор, революционный пыл поути, толпа начала редеть.

- Так что давайте разговаривать по-человечески, - продолжил я.

- А чего разговаривать, - выпалил жоак, - наше дело маленькое.

Это была явная "подставка".

- Значит, вы не сознательные борцы за правду, а приехали и шумите по чужой воле, так?

Он замялся.

- Выкладывай, друг, сколько вам заплатили за эту поездку, что пообещали... Билеты вам, конечно, купили, автобус подали на предприятие, вот вы и решили, отчего не прокатиться в Белокаменную.

Он кивнул своим, чтобы расходились. Те отошли нехотя, их, видно, тоже заинтересовал оборот, какой приняла наша беседа. Когда мы остались вдвоем, парень признался, что так все и было.

- Но вы не думайте, что нас купили. Нам сказали, что Горбачев укрывает в Фонде партийную кассу, а народ голодает.

- Вас обманули, никакой кассы здесь и в помине не было, - сказал я. - Это ельцинская шпана, пришедшая к власти, чужими руками хочет жар загрести. В данном случае добить Горбачева и захватить вот это здание, - кивнул я на мощную колоннаду. - А вам что, по кирпичу из него обещали?

- Ничего нам не обещали! - возразил он возмущенно.

- Тем более. Пока здесь не разразился скандал, после которого тебя же за устройство беспорядка потащат в милицию, собирай свою команду, и езжайте вы, ребята, в Ленинград, не срамите рабочую честь. У вас когда обратный поезд? Оказалось, где-то около пяти. - Вот и хорошо, погуляете, полюбуетесь Москвой, может, покупки какие, и домой.

Он кивнул, отошел, посоветовался со своей гвардией, и через несколько минут они скрылись в тоннеле метро. Остались зеваки да несколько фондовцев, ожидавших результата переговоров. Разобравшись с народом, мы пошли разбираться с властью. Кое-как уговорили стражников у ворот пропустить для беседы с "главным", руководившим всей этой операцией. Войдя наконец внутрь, узнали, что в этой роли выступает не кто иной, как сам "обер-полицмейстер" Москвы Аркадий Мурашов.

Мы с ним были слегка знакомы. Еще до путча по поручению Михаила Сергеевича я и другие помощники вели переговоры с демократами. Ими верховодил Гавриил Попов, а в числе его приближенных был рослый малый, с зычным голосом и решительными жестами. Может быть, именно этому он был обязан тем, что Гавриил Харитонович, став мэром и решив обзавестись надежными вооруженными силами, выбрал на роль их командарма Мурашова. Аркадий Николаевич не сумел долго удержаться на этом посту, но в тот момент переживал пик своей революционной карьеры, был вальяжен, разговаривал со мной даже милостиво. Сразу согласился пустить фондовцев, топтавшихся у порога здания, отдать

ключи от комнат.

Когда я поинтересовался, на каком основании произведен этот захват вполне мирного гражданского учреждения, он ухмыльнулся и, зыркнув в потолок, сказал:

- Есть распоряжение.

- Аркадий Николаевич, - спросил я его, - а вам не кажется, что методы, к которым вы теперь прибегаете, не имеют ничего общего с демократическими лозунгами, которыми вы с Гавриилом Харитоновичем козыряли во время нашей последней встречи?

- Нисколько, - ответил он нахально, - ведь еще Владимир Ильич учил, что всякая революция должна уметь защищаться.

Потолкавшись еще несколько часов по фондовским закоулкам и порывшись в сейфах, полицмейстер со своим войском удалился. Если они искали сногшибательный компромат на Горбачева, то не нашли, зато присмотрелись к зданию и, может быть, даже составили опись имущества на предмет последующего захвата в собственность мэрии. Допускаю, что в приемных у ельцинских фаворитов уже толпились многочисленные претенденты из демократической братии, которые, выполнив свою историческую миссию в рядах "коммуноборцев", предпочли слиться, захватив в виде компенсации за свои заслуги солидный материальный куш. Гавриил Попов, Юрий Афанасьев, Эдуард Бурбулис, Егор Гайдар и немало других из ельцинского интеллектуального окружения подхватили монументальные постройки, возведенные для нужд идеологических учреждений КПСС. Сдавая почти две трети просторных территорий под салоны мебели или автомобилей, они могут безбедно существовать до окончания дней своих.

Допустить, чтобы таким же образом устроился Горбачев со своим Фондом, Президент России, конечно, не мог: не отпускала жажда добить соперника. Тем более что Горбачев, первое время после ухода в отставку выполнявший обещание не становиться в оппозицию к режиму, не мог переносить творимых им бесчисленных глупостей и начал там и здесь выступать с критикой, болезненной для ельцинского самолюбия. Кто-то из окружавших его интриганов, угадывая страстишки шефа, подкинул мысль воспользоваться отказом Михаила Сергеевича явиться по вызову Конституционного суда для дачи свидетельских показаний на процессе коммунистической партии.

Признаюсь, я был в числе немногих, советовавших ему использовать эту трибуну для изложения своей оценки всего случившегося со страной. В то время его не печатали, наглухо перекрыли доступ к радио и телевидению, только иностранные агентства изредка доносили до нашего общества мнение советского президента. А тут шанс говорить на всю страну... Хотя, с другой стороны, где гарантии, что и в этом случае постараются использовать только ту часть его показаний, которую власти сочтут для себя выгодной? Словом, тут был определенный риск; помимо прочего, я понимал нежелание Михаила Сергеевича являться во враждебно настроенную аудиторию - нервотрепки у него и так хватало.

Сочувствуя шефу, мы не сомневались, что режим не осмелится доставить его в суд "приводом" в сопровождении двух дюжих милиционеров - побоятся резко негативной реакции Запада, с которым флиртовал Козырев. Зато на всю катушку постараются уцепиться за этот предлог, чтобы наказать Михаила Сергеевича. Так и случилось. С неделю-другую стыдили в официозной печати за недостаток гражданского мужества, уличали в причастности к "преступлениям Компартии", попытались сорвать поездку в Италию. А затем нанесли главный удар - росчерком пера Ельцин отнял у Фонда здание, обязав нового владельца выделить нам 800 кв. метров площади с соответствующей арендной платой. Из солидного домовладельца Фонд превратился в бедного квартиранта. Единственным для нас утешением было то, что здание отдали не очередным жуликоватым приватизаторам, а серьезному учебному заведению, вполне заслуживавшему такого подарка. К тому же ректор Финансовой академии Алла Георгиевна Грязнова, умная и энергичная женщина, с самого начала установила для фондовцев режим благоприятствования.

Сильно ужавшись, наш коллектив по-прежнему чувствовал себя дома. Но Фонду теперь пришлось изо всех сил бороться за существование, потому что на его шею была

накинута финансовая петля-удавка. Печатной продукцией, если речь не идет о детективах или эротике, теперь не проживешь. Автор в наше время должен сам платить издателю или искать себе спонсора. В этом смысле мы откатились лет эдак на двести, ведь литературный труд, даже научно-литературный, со времен Пушкина приносил доход, достаточный для безбедного существования.

Пришлось Михаилу Сергеевичу провести очередное болезненное сокращение штатов, оставив 10-15 творческих работников, в основном давних своих соратников, да и тех переведя на договор. К минимуму был сведен технический персонал. Все равно содержание и этого небольшого коллектива требовало чрезвычайного напряжения сил. Мы помогали Михаилу Сергеевичу в подготовке текстов, он без усталости разъезжал по свету, чтобы заработать деньги на содержание своего Фонда, а желтая наша печать ехидничала по поводу того, что бывший президент якобы ударился в накопительство, то и дело появлялись утки о приобретенных им несметных драгоценностях для Раисы Максимовны, дворцах и виллах с бассейнами.

Казалось бы, после того как Горбачева лишили материальной базы, вынудив странствовать по миру, чтобы поддержать свой Фонд, его недруги должны были бы этим удовлетвориться. Но не было предела мстительности Ельцина и изобретательности его сатрапов в их старании побольнее уколоть и уязвить Горбачева. Куда бы он ни летел, его самолет опережала депеша Министерства иностранных дел с поручением послу России не оказывать ему никакого внимания и добиваться от руководства страны пребывания сведения к минимуму контактов. Прямо давали понять, что излишняя сердечность в приеме бывшего союзного президента будет воспринята в Москве неодобрительно и не пойдет на пользу отношениям России с соответствующим государством. Справедливости ради надо сказать, что у большинства правительств хватило достоинства игнорировать эти намеки и оказывать теплый, а иногда и пышный прием Нобелевскому лауреату, сыгравшему решающую роль в окончании "холодной войны".

Находились и послы, осмеливавшиеся не исполнить директивы своего прямого начальства. Бовин, бывший в то время послом в Израиле, не побоялся встречать Михаила Сергеевича в аэропорту. Лукин пригласил его на прием в Вашингтоне. Но то были смельчаки. Большинство строго следовало инструкции. Мне самому довелось стать свидетелем курьеза. Я сопровождал Михаила Сергеевича в его первой после отставки поездке в Японию. Ему оказали почести по рангу главы государства. На заключительном приеме присутствовали в полном составе правительство, лидеры партий, крупнейшие банкиры, промышленники и весь дипломатический корпус... за исключением посла и вообще кого-либо из работников российского посольства.

Апофеозом хамского отношения к отставному лидеру страны, пожалуй, следует считать 9 мая 1995 года. Ельцин принимал парад войск по поводу 50-летия Победы над фашизмом и произносил речь на приеме в окружении Клинтона, Коля и других глав государств. Не удостоился приглашения ни на трибуну, ни на прием Президент Советского Союза.

Кульминационным моментом, после которого травля Горбачева несколько пошла на спад, стала его неудача на президентских выборах 96-го года. По данным многочисленных опросов, шансы у него были невелики, большинство фондовцев считало, что шефу не следует ввязываться в эту кампанию, она не сулит ему ничего, кроме новых щелчков по самолюбию и падения и без того не слишком высокого на родине рейтинга. Но нашлись и такие, особенно за стенами Фонда, кто предрекал ему чуть ли не триумфальное возвращение к власти, на худой конец 10-15 процентов голосов, что означало бы возврат в когорту действующих политиков. Михаил Сергеевич соблазнился, доверил свою избирательную кампанию, может быть, и неплохим людям, но неумехам, не обладающим ни знанием современных электоральных технологий, ни хотя бы чутьем и воображением, которые способны частично его заменить. Всем нам пришлось испытать разочарование более чем скромными результатами голосования в его пользу. Но, видимо, именно это ослабило

патологический страх Ельцина перед своим поверженным соперником. Перестав бояться Горбачева, он и его окружение не то что сменили гнев на милость, а просто оставили Фонд в покое. Между нами и режимом установились отношения, которые я бы назвал "неприязненным нейтралитетом".

Провал реформ, мафиозный беспредел, метко окрещенный Станиславом Говорухиным криминальной революцией, финансовые обвалы, многомесячные задержки с выплатой пенсий и зарплат, болезнь и явная неадекватность Ельцина президентскому посту, унижительные для национального самолюбия неудачи во внешней политике - все это перевело в лагерь оппозиции добрых девять десятых общества. Начал возрождаться "спрос на Горбачева", его стали чаще интервьюировать и звать на телевидение, а он не упускал возможности оценить политику режима, как она того заслуживала. Прорывались изредка в средства массовой информации, естественно, с таким же настроением, и мы, благодаря чему за Фондом сохранялась репутация если не политической, то, по крайней мере, интеллектуальной оппозиции режиму. Но затюканная, хотя и огрызающаяся время от времени власть уже не видела в Фонде главной для себя опасности. Должно быть, потому, что ругали ее теперь все кому не лень. Хитроумные политики в администрации президента избрали единственно эффективную в таких условиях тактику - не обращать внимания на шквал критики, зато в ключевой момент собирать все свои ресурсы в кулак и решать исход дела в свою пользу.

Посильное участие в политической полемике принял и я. Несколько раз удалось прорваться в самую читаемую в элитном кругу "Независимую газету". Но с некоторых пор я почувствовал сдержанность в отношении к себе Виталия Третьякова. Талантливый журналист, сумевший создать самую популярную газету, он, как мне кажется, был загнан обстоятельствами и вынужден пойти на поклон к "денежному мешку". Хотя "донор" сообразил, что нужно не пережимать с "заказом музыки", оставил редакции известную свободу маневра, ее зависимое положение вскоре перестало быть секретом. В газете по-прежнему много интересной информации. Но первая страница с установочными статьями уже не доставляет удовлетворения. Заранее знаешь, кого будет поносить, а кого восхвалять (пусть элегантно, намеками) присяжные авторы. Скучно.

Я все еще надеюсь, что Виталий Товиевич вырвется из капкана и не на словах, а на деле вернется к своему девизу: "Sine ira et studio".

Охотно предоставила мне свои страницы "Рабочая газета". Там был опубликован целый цикл моих статей с анализом проекта Конституции. Я предупреждал, что, если проект будет принят, перед нашим обществом вновь встанет задача, какую ставили перед собой еще декабристы: при некоторых различиях, основы самодержавной власти те же, независимо от того, как именуют самодержца - императором, генеральным секретарем или президентом. Разумеется, эти выступления не повлекли никаких последствий. Я был единственным членом-корреспондентом Академии наук в области права, которого ни разу не пригласили ни на одно обсуждение проекта Конституции. А ведь если бы мои коллеги-юристы набрались мужества и хором, солидарно выступили против принятия проекта, вполне возможно, тем, кто его проталкивал, пришлось бы пойти на серьезные уступки. Может быть (пофантазирую дальше), в Конституции удалось бы закрепить правило, согласно которому президент вынужден был бы просить согласия Думы на ведение военных действий, не мог распоряжаться бюджетом, как мелочью в своем кармане, и т. д.

Было и несколько других изданий, печатавших мои статьи ("Век", "Новая газета", журнал "Свободная мысль"). Но каждый раз, беря в руки свежий газетный лист со своими материалами, я думал о том, что это очередной холостой выстрел, в некотором роде развлечение для десятка моих коллег, которые тщатся что-то поправить в этом неразумно устроенном мире. Напрягаешь извилины, сочиняешь, бегаешь по редакциям, чтобы потом кто-нибудь из твоих знакомых позвонил и поздравил с хорошей статьей, осведомившись заодно, читал ли я последнюю его работу.

Во всяком случае, мы не сидели сложа руки. Когда шеф не был в отъезде, он регулярно

собирал нас для перекидки мнениями о том, что творится в стране. Разговоры были долгими, по несколько часов, и достаточно содержательными. Надо сказать, в Фонде собрался серьезный творческий коллектив, состоявший из двух неплохо притершихся друг к другу "половинок". Одна из них - старые соратники Горбачева Медведев, Черняев, Загладин, Брутенц, мы с Остроумовым. Другая старожилы Фонда, органично влившись в горбачевский "мозговой центр". Мой давний соавтор, рассудительный, педантичный Красин; пытливый, неизменно спокойный и доброжелательный историк Александр Абрамович Галкин; яркий и шумный Владлен Терентьевич Логинов, наряду с историей "посетивший" на своем веку и драматургию в паре с Михаилом Шатровым; темпераментный философ-искусствовед Валентин Иванович Толстых; вдумчивый и молчаливый Виктор Борисович Кувалдин. Я сознаю, что эти лаконичные характеристики мало что говорят. Добавлю поэтому, что редко когда мне приходилось общаться с группой столь равноценно способных и интересных людей. Несмотря на то что почти всем изрядно за шестьдесят, они сохранили ясность ума, живость реакции на события, молодой азарт, а то и задиристость в дискуссиях. Возможность общаться с этими людьми, быть в этой среде составила одно из удовольствий, доставшихся мне на закате жизни.

Другим, не только делом, но также удовольствием, стала организация коллективных исследований. С американцами и индийцами мы подготовили программу безопасности, посланную от имени Горбачева в Организацию Объединенных Наций, где она бесследно канула в вечность. Грант Корпорации Карнеги позволил нам в течение четырех лет провести несколько десятков конференций, симпозиумов, круглых столов с участием многих первоклассных, мыслящих специалистов. По их итогам подготовлены и опубликованы доклады: "Национальные интересы и проблемы безопасности России", "Самоопределение России". Надеюсь, кто-то их прочитал и кому-то они помогли лучше понять, что происходит сейчас в стране и на что можно рассчитывать в недалеком будущем.

В эти годы я много ездил. По приглашению Болонского университета работал несколько месяцев в небольшом итальянском городе Форли, известном главным образом тем, что здесь родился Муссолини. В мое распоряжение было предоставлено роскошное палаццо. Днем там трудились несколько сотрудников кафедры политологии, а по вечерам я оставался один, бродил по залам, украшенным картинами и старинными гобеленами, проигрывал

в воображении читанные и запомнившиеся сцены красочного итальянского Средневековья. Было много выступлений, встреч, застолий. Особенно теплые воспоминания храню о встречах с известным историком Джузеппе Боффа, с автором многих интересных книг, обаятельным и веселым человеком Антонио Рубби.

В американском городе Провиденс, столице маленького штата Род-Айленд, мы с американскими советологами провели конференцию, посвященную 100-летию Хрущева. Главным ее организатором стал сын бывшего генсека Сергей Никитович. А с нами вместе летели в Штаты и обратно дочь Рада, внук Никита и другие члены хрущевского клана. Во Франкфурте, где пришлось шесть часов ждать пересадки, Хрущевых пригласили в салон для особо важных персон, предоставив возможность наслаждаться выпивкой и широким ассортиментом съестного за счет "Люфтганзы". Там все-таки чтут незаурядных политиков, в том числе и тех, кто грозил показать Западу "кузькину мать".

Запомнилось участие в конгрессе, организованном Афинским технологическим университетом. Всякое посещение Эллады - пиршество для духа. Мне посчастливилось не однажды побывать в этой колыбели цивилизации, и каждый раз я заново открывал для себя Парфенон, парящий над огромным современным мегаполисом, раскинувшийся у его подножия рынок золота и памятной посуды с ликами древних богов и героев, веселую и странным образом неутомительную суету центра. Но в этот раз было и нечто особенное - впервые в жизни я столкнулся с настоящим богатством. Конечно, не могу сказать, что мне оно было вовсе не знакомо. Приходилось во время официальных поездок бывать на приемах в королевских и президентских дворцах, останавливаться в люксах шикарных гостиниц и

быть представленным всякого рода знатным особам. Не говорю уж о том, что у себя в Москве не просто лицезрел великолепные кремлевские палаты, но занимал кабинет в одном из дворцовых зданий, окна которого выходили прямо на центральную площадь с царь-пушкой и царь-колоколом.

Но все это историческое или государственное богатство, не частное, не семейное. В Афинах же выпала возможность увидеть, как живут дико богатые люди. Мультимиллионер Лацис пригласил Горбачева и сопровождающих его лиц прокатиться на своей яхте. В нашем понимании слово "яхта" ассоциируется с небольшим суденышком. Прибыв в порт, мы поднялись на борт белоснежного красавца-теплохода, не слишком уступавшего по размерам тем, что курсируют у нас в Черном море. Нас повели по анфиладе салонов, каждый из которых был оформлен в оригинальном стиле и представлял в полном смысле шедевр дизайнерского искусства. Детали отделки, от инкрустированной драгоценными камнями мебели и люстр "Мария Терезия" до дорогих гобеленов и даже подлинников великих мастеров, свидетельствовали, что мы находимся во владениях современного Крёза. Сам он, выступив в роли гида, с гордостью сообщил, что его яхта по роскоши занимает второе место в мире после судна короля Саудовской Аравии, а королева Великобритании, прослышав об этом чуде, изъявила желание купить ее. Однако судовладелец не пошел навстречу капризу ее величества.

Невысокого роста, с правильными грубоватыми чертами лица, коренастый, на редкость подвижный для своего почти 80-летнего возраста, Лацис был одет в обычный гражданский костюм, на голове у него была белая капитанская фуражка. Говорили, он с ней неразлучен - очевидно, чтобы подчеркнуть принадлежность к морской профессии и трудовой характер накопленного богатства. Он охотно рассказал, что начинал капитаном на небольшом судне каботажного плавания и никогда не выбрался бы из бедности, не приди в голову ему и нескольким его товарищам идея взяться за нефтеперевозки. Присмотревшись к конъюнктуре рынка, они сообразили, что грядет время гигантских танкеров, и тем, кто станет пионером, светят огромные барыши. Продали или заложили все, что у них было, скинулись, взяли кредит, построили один такой танкер, подрались на нефтеперевозку и отправились в плавание, как он сказал, дрожа от страха: случись что-нибудь с их первенцем, попали бы в безвылазную кабалу на всю оставшуюся жизнь. К счастью, обошлось. За первым судном последовали другие. И вот теперь Лацис - владелец одной из самых крупных компаний со многими тысячами моряков, портовых работников и другого персонала.

Михаил Сергеевич заметил, что, должно быть, нелегко управлять таким предприятием. Наш хозяин согласился с некоторым уточнением.

- Всякое было, - сказал он, - особенно поначалу. Пришлось отваживать всевозможных рэкетиров, повозиться с профсоюзами. Но теперь у меня очень надежный, крепко сколоченный коллектив, в котором поддерживается железная дисциплина. Я забочусь о своих людях, и они отвечают на это добросовестным выполнением своих заданий. Если у кого-то в семье несчастье, скажем, нужно сделать дорогостоящую операцию, компания поможет. То же самое, когда нужно пристроить детей в университет. Но кто нечестен со мной или работает спустя рукава, немедленно увольняется.

Кто-то из нас заметил, что это можно назвать патернализмом. Лацис кивнул: "Да, я им как отец". Разумеется, у нас не было возможности проверить, насколько считают себя "детьми" те, кто на него трудится. Но на другой день нам наглядно продемонстрировали разницу между западными и отечественными богачами. Нас пригласили на концерт и собеседование в роскошном дворце культуры, построенном Лацисом и подаренном городской управе. Причем это не единственный его дар. Равно как не он один, но и другие супербогачи занимаются щедрой благотворительностью. Она в какой-то мере воплощает обращенное к богатым требование "делиться" и, конечно, смягчает остроту классовой неприязни.

Доброе дело, очищая совесть богатым самаритянам, не мешает им жить в свое удовольствие. Вечером мы были приглашены на ужин в расположенное в центральной части

Афин поместье Лациса. Красивый дом окружен роскошным парком, где то и дело натыкаешься на подсвеченные статуи, искусственные пруды с мостками над ними, оригинально сконструированные часовни и прочие чудеса. Но вот мы усаживаемся за большой стол вместе с семьей хозяина. Симпатичные и общительные люди. Сын не пожелал принять на себя управление компанией; выпускник одного из американских университетов, он защитил докторскую диссертацию и намерен заниматься социологией. Взлся помогать Лацису в делах зять, красивый и, как говорят, весьма популярный в Греции киноартист. Напитки и блюда за ужином подавались, разумеется, самые изысканные, но, как говорится, ничего сверхъестественного. Что стало действительно сюрпризом, никогда не виданным, так это приборы - тарелки, ножи, вилки, ложки из чистого золота.

Принимали Горбачева в Греции по высшему разряду. С ним встретился престарелый президент Караманлис. На другой день мы всей гурьбой ввалились в дом Андреаса Папандреу. Они с Горбачевым пришли друг другу по душе. Состоялась долгая беседа, во время которой наш хозяин обнаружил живость ума, глубину и точность суждений о том, что происходит и у него на родине, и у нас в стране.

Не менее интересным был следующий день. С утра, позавтракав, я вышел на длинную галерею, окружавшую весь этаж гостиницы, на котором мы были размещены. Стояла ясная солнечная погода, во всей красе смотрелся Парфенон. Я вернулся к себе за фотоаппаратом, сделал несколько снимков, а тут как раз на галерею вышли из своего люкса Михаил Сергеевич с Раисой Максимовной. Я их сфотографировал, затем Раиса Максимовна "щелкнула" меня с шефом.

К слову, никогда не занимался всерьез фотографией. Начал поневоле, когда японцы подарили фотоаппарат. Меня всегда отвращала от этого занятия леность. В годы моей молодости фотография была довольно изнурительным занятием. Надо было возиться с проявителями и закрепителем, иметь специальное помещение, терпеливо сидеть в темноте, подсвеченной красной лампочкой, в ожидании, пока на пленке появится изображение. А тут никаких хлопот. Нет нужды даже учиться наведению, все за тебя сделает автоматика. Нажал кнопку, поснимал, извлек пленку, отдал в мастерскую - получай карточки и считай себя приличным фотографом.

Конечно, я не мог тягаться с профессионалами, которые, как "папарацци", не давали проходу Горбачеву и после того, как он стал частным лицом. Зато у меня была возможность снимать его иногда в неформальной обстановке. И в моей коллекции скопилось немало интересных, редких снимков. Не только снимков, но и пленок, снятых видеокамерой. Там, в частности, запечатлены некоторые эпизоды работы над документами в Ново-Огарево. Записал я свои беседы с Ярузельским и Фиделем Кастро. Качество невысокое, любительское, но мне эти образы недавнего прошлого дороги.

Только закончили с фотографированием, бегут звать Горбачева - оказывается, к нему целая очередь ведущих политических и культурных деятелей Греции. В последующие два-три часа в его кабинет один за другим являлись лидеры всех ведущих партий Греции, за исключением генсека КПП Флоракиса. В беседах, помимо взаимного изъяснения в уважении, затрагивались главным образом проблемы политической жизни Греции. Прислушиваясь, я пытался понять, чем вызвано это паломничество. Очевидно, столь велик был тогда авторитет Горбачева, так высоко котиrowались его оценки, что политические деятели разных направлений считали важным для себя "застолбить" сам факт своего с ним общения. Михаил Сергеевич держался тактично, не становился в позу всезнающего мудреца, чем завоевал еще большее уважение у визитеров.

Пока он вращался в высшем кругу греческого общества, я участвовал в секционных заседаниях "афинского саммита", посвященного проблемам политического, экономического и культурного развития на пороге XXI столетия. Почему его называли саммитом, не очень понятно. По сути дела, это была конференция или круглый стол, организованный национальным техническим университетом Афин совместно с нашим Фондом и при покровительстве Европейского парламента. Мне также пришлось несколько раз выступать, а



сам я с наибольшим интересом приготовился послушать Питера Устинова. Разносторонне талантливый человек - писатель, драматург, артист - показал себя и зрелым политическим мыслителем. В своем выступлении он, как, впрочем, и многие другие участники конгресса, солидаризировался с мыслью Горбачева о необходимости "капитального ремонта" демократии, приспособления ее к вызовам XXI столетия.

Эту мысль шеф развернул в заключительном своем выступлении, которое состоялось на открытой площадке гольф-клуба Афин. Прошло оно, что называется, на ура. Но вот сейчас, перелистывая свои тогдашние записи, я подумал, насколько все-таки мало значат, если вовсе не бессмысленны, подобные мероприятия. Ведь и мы, и другие участники конгресса серьезно к нему готовились, напрягали память, интуицию, воображение, чтобы понять, что ожидает нас в наступающем столетии, старались изложить свои оценки по возможности в яркой литературной форме. Немало интересных мыслей родилось в дискуссии от скрещения разных точек зрения. А что в итоге? Прошло всего пять лет (конгресс состоялся 4-5 сентября 1995 г.), но он не оставил после себя никаких следов, разве что два-три участника упомянут о нем в мемуарах.

Грустные размышления о тщете многих предприятий такого рода, о чрезвычайно низком, приближающемся к нулю коэффициенте полезного действия теоретических дискуссий приходили мне в голову и раньше. Впрочем, может быть, только таким способом и может в наше время продвигаться, точнее, ползти интеллектуальный прогресс. И если мы хоть что-то уясняем себе в результате бесчисленных круглых столов, симпозиумов, конференций, конгрессов, то эти крохи добытого вновь знания, запав в коллективную память, неожиданно всплывут где-нибудь и когда-нибудь. По Давиду Самойлову: "То, что тогда в меня запало и лишь потом во мне очнулось".

В этой связи у меня возникла одна мысль, которая, увы, осталась пока без последствий. Не состоит ли главная причина низкой эффективности научных дискуссий в их разорванности, раздробленности, бессистемности, нельзя ли хоть чуть-чуть повысить их отдачу, придав более регулярный и, что не менее важно, всеобщий характер? И не плодотворней ли обсуждать те же проблемы демократии демократически, привлекая к ним внимание всего человечества, усиливая тем самым и "мозговую атаку", и волевой напор на тех, от кого зависит принятие практических решений? А с этой целью организовать проведение олимпиад демократии. Созываемые раз в четыре года в промежутках между спортивными Олимпийскими играми, они, как мне кажется, могли бы быстро завоевать аналогичный вселенский авторитет - на этот раз как соревнование в сфере народоправства. И кому как не Афинам, на площадях которых, по существу, родилась классическая демократия, положить начало, а может быть, стать единственным и постоянным хозяином такого форума.

Агора видных политических деятелей, конкурс "демосфенов" на заданную злободневную тему (скажем, сегодня Косово и Чечня), представление и награждение лучших студенческих работ о правах человека, диспуты философов и политологов могли бы составить основную, содержательную часть Олимпиады. В дополнение к ней кино- и театральные фестивали, художественные выставки, музыкальные ринги. Все это могло бы стать своего рода смотром достижений цивилизации, поводом задуматься над стоящими перед ней головоломными проблемами.

У нашего Фонда установились дружеские отношения с греческой партией "Синаспизмос". По приглашению ее лидера Дмитриуса Констатопулоса я побывал на конференции родственных партий Балканских стран. Мы с женой отдыхали в Волосе - городе, откуда, по преданию, Ясон отплыл со своими аргонавтами за золотым руном. Идея "демократической олимпиады" всеми встречалась с интересом, с энтузиазмом отнесся к ней и давний мой друг, известный журналист и писатель Григорис Фаракос. Но пока дело дальше одобрения не двинулось - нужен крупный первоначальный капитал, потом предприятие окупится с лихвой. Может быть, это одна из моих фантазий, но я почему-то верю, что когда-нибудь над Акрополем взойдется новый олимпийский флаг и на месте, где собирались в древности народные собрания, поднимется чаша с Олимпийским огнем.

Как я уже говорил, с фурором встречали чету Горбачевых в Японии. Инициатором поездки выступила газета "Иомиури", главный редактор которой Като взял у Президента СССР последнее интервью утром того дня, когда он покидал Кремль. Возможно, здешняя политическая элита хотела подчеркнуть неодобрительное отношение к мелочному преследованию бывшего советского лидера на Родине. Но если у властей были какие-то дипломатические соображения, то простой народ оказал Михаилу Сергеевичу и Раисе Максимовне в полном смысле слова восторженный прием. Повсюду, где они появлялись, немедленно образовывался круг почитателей, раздавались аплодисменты, женщины протягивали детей, прося прикоснуться к ним, чтобы таким образом передать свою "карму". Лидер одной из фракций либерально-демократической партии Кайфу, только побывавший в премьер-министрах, закатил в честь Горбачевых торжественный ужин с участием нескольких сот человек и обнаружил неплохие вокальные способности, распевая вместе с нами "Подмосковные вечера". Руководители корпораций помогали, чтобы Михаил Сергеевич заглянул к ним хоть на несколько минут здесь, разумеется, маячили откровенно рекламные цели. Университеты один за другим присваивали ему почетное докторское звание.

Философ и религиозный лидер Дайсаку Икэда пригласил его выступить с лекцией перед студентами своего университета. Двадцать тысяч студентов и преподавателей завороченно внимали каждому его слову. Затем на трибуну поднялась Раиса Максимовна; она не стала повторять банальных фраз о том, что нашим народам надо жить дружно, а рассказала о том, как они с Михаилом Сергеевичем учились в МГУ, узнали и полюбили друг друга, нашла свежие, незатасканные слова о том, как прекрасна молодость, и заслужила продолжительную овацию. В поездках ей часто приходилось по разному поводу произносить небольшие речи. Эта была лучшей.

Горбачевых пригласил погостить в своем загородном поместье патриарх японской политики Ясухиро Накасонэ. Мне дважды пришлось с ним встречаться, выполняя поручения шефа. Он охотно вступал в беседу на разные темы, обнаруживая философский и поэтический склад ума, что, впрочем, по моим наблюдениям, свойственно и другим видным японским политикам, составляет, очевидно, черту национального характера. Выше среднего роста, худощавый, подтянутый, можно сказать, отличающийся военной выправкой, с правильными чертами азиатского лица, строгим и проницательным взглядом - всем своим обликом Накасонэ подходил к классическому образу японского самурая, который я вынес из литературы и фильмов Акиро Куросавы.

Михаил Сергеевич выкроил время для посещения штаб-квартиры концерна "Тойота" в Нагое. Здесь у нас была возможность увидеть воочию многократно описанную в романах семью магната. В особняке, лишенном архитектурных излишеств, обставленном дорогой, но тяжеловесной мебелью, за большим столом расселись братья, унаследовавшие компанию от отца, ее основателя. Старший председатель правления, те, что помоложе, руководители финансового и производственного департаментов. А кроме того, их сыновья и внуки, занимающие различные должности на предприятиях концерна. Все как один холеные, вежливые, без чопорности, свободно владеющие английским языком.

Незабываемое впечатление оставило посещение Хиросимы, приуроченное к дню ядерной бомбардировки. В поминальном траурном шествии участвовали многие сотни тысяч людей, соблюдавших при этом идеальную дисциплину. Мэр в выступлении, транслировавшемся на весь город, воздал должное Горбачеву как "великому политику, положившему начало ядерному разоружению". Прочувствованным было и ответное слово Михаила Сергеевича.

Мне еще несколько раз довелось побывать в Японии по приглашению "Иомиури". По просьбе редакции я писал статьи о положении в России, злободневных международных проблемах, наших отношениях с Японией. Все они печатались с приложением небольшой фотографии, и, честно говоря, для меня стало сюрпризом, когда на улицах, в метро подходили незнакомые люди, осведомлялись, тот ли я Шахназаров, делились своими

мыслями по затронутой в моих статьях тематике. Как говорится, пустяк, но приятно: значит, все-таки читают.

Сотрудничая с "Иомиури", я свел знакомство со многими работающими в газете журналистами и имел возможность к ним присмотреться. Главное впечатление высокий профессионализм и скрупулезность в изложении информации. Не хочу проводить параллели, может быть, и в Японии есть свои доренки, но те, с кем я сотрудничал, ни разу не обманули моего доверия и не позволили себе изменить без авторского согласия хотя бы одно слово. Добавлю, что я не встречал часто приписываемых японцам фанатизма, высокомерия и коварства. По природе сдержанные в выражении чувств, они раскрываются навстречу дружелюбию и в способности к общению не уступают никакому европейцу. Во всяком случае, мы с женой испытывали искреннюю симпатию к ироничному и хитроумному Хамадзаки, серьезному и сердечному Коджике, немногословному, искреннему Фусэ, сердечному Сайто.

В ноябре 1991 года, когда я еще был в роли государственного советника при Президенте СССР, редакция "Иомиури" предложила организовать мой диалог с Киссинджером. Михаил Сергеевич дал согласие, и я отправился в Лондон, избранный в качестве своего рода нейтрального поля для этой встречи. Запись беседы, продолжавшейся три часа, была опубликована в нескольких номерах газеты. Говорили мы главным образом о том, какой вид может принять международная система после окончания "холодной войны". "На Западе, - сказал Киссинджер, - говорят, что США остались теперь единственной сверхдержавой. Это чепуха. Я верю, что мы движемся к многополярному миру пяти или шести относительно равных центров силы: того, что возникнет на территории Советского Союза, даже если это будет лишь Российская республика, Европы, Японии, вероятно Китая, возможно Индии и США". О наступлении "эры многополярности" бывший госсекретарь США говорил убежденно и даже, как показалось, с энтузиазмом. Мне пришлось возразить, что и в новой международной структуре, по крайней мере в обозримом будущем, наши государства сохраняют сверхдержавный статус хотя бы потому, что только они обладают ядерным арсеналом, способным уничтожить мир, - теперь это, пожалуй, единственное, что унаследовала Россия от былой мощи Советского Союза.

На этом мы, в общем, и согласились: многополярный мир при особой ответственности двух ядерных сверхдержав. Доктор Киссинджер оказался приятным собеседником. Называемый "Метерником XX века", возносимый в качестве международного оракула, он, тем не менее, держался достаточно скромно, внимательно слушал и больше поддакивал, чем возражал. Меньше чем через два месяца мы встретились снова, на этот раз в Фонде Горбачева (14 января 1992 г.). Киссинджер, посетивший Москву, попросил о встрече с Михаилом Сергеевичем, а я был приглашен на ней присутствовать. Они обменялись комплиментами, затем Киссинджер проинтервьюировал Горбачева, интересуясь его мнением о том, что будет с Россией, как устроятся ее отношения с Украиной, и т. д.

Но вот проходит три года, и бывший государственный секретарь США публикует в журнале "Newsweek" статью, высказывая в ней ту самую точку зрения, какую окрестил чепухой. Причина такого "разворота" объясняется достаточно просто. После распада Советского Союза Соединенным Штатам не с кем стало считаться. Еще вчера Белому дому нужно было согласовывать с Кремлем едва ли не каждый свой шаг в районе конфликтов, а после 91-го года в Москве стали только поддакивать Вашингтону. Так продолжалось не день и не два, у американского руководства созрела мысль: чего нам, собственно, носиться с этой Россией, почему мы должны отказываться от заслуженного Америкой права стать наставником и лидером мирового сообщества и повести его в XXI век? Киссинджер как "трубач" американской политической элиты и озвучил этот выбор\*.

Разумеется, не он один. Как всегда, резче и острее выразил его Збигнев Бжезинский. С этим "злым гением" России у меня были давние личные "теоретические счета". Еще в 60-е годы я критически отозвался о книге Бжезинского и Хантингтона "Сравнение политических систем СССР и США". В свою очередь Збиг, как его называют в американских и польских

научных кругах, ответил написанной по заказу госдепа критикой учебника "Обществоведение". В 90-е годы мы сталкивались с ним на различных конференциях: в Римини, Москве, Варшаве. Держались обходительно. Человек он умный, жесткий, наделенный способностью мыслить в историческом масштабе. Но эти отменные качества существенно портит явная предвзятость по отношению к России. Став американцем, занимая одно время престижную должность помощника президента США по национальной безопасности, Бжезинский все-таки остается польским националистом, затаившим неутолимую ненависть к России.

Когда на круглом столе в Варшаве я сказал ему, что предвзятость сильно вредит поиску истины, он стал возражать, заверял, что в нем обосновательно видят врага России, на самом деле желает ей добра. Примерно в таком же духе клялся в своих симпатиях к нашей стране и его постоянный соавтор Сэмюэль Хантингтон, с кем мне также довелось встречаться. В его напумевшей последней книге "Столкновение цивилизаций" эти симпатии выразились в том, что России будет разрешено примкнуть к Западу, когда христианство вступит в последний бой с исламом\*.

Хочу свидетельствовать, что среди американской научной интеллигенции достаточно много людей, не разделяющих имперских устремлений политической элиты и относящихся к России если не с симпатией, то с должным уважением. В разное время я встречался с такими незаурядными людьми, как Олвин Тоффлер и Джонатан Шелл, Роберт Такер и Стивен Коэн. Обсуждая всевозможные проблемы, в большинстве случаев находили общий язык, а если не удавалось убедить друг друга - расставались без ощущения, что разногласия непримиримы. Такое же впечатление осталось у меня от беседы с патриархом американской дипломатии и политики Джорджем Кеннаном. Такер привел меня к нему, заодно показав расположенный неподалеку дом Эйнштейна. Кеннану было уже под девяносто, но он был в курсе самой свежей информации о том, что происходит у нас в стране. Его оценки и суждения не слишком расходились с нашим "новым мышлением": взаимозависимость, баланс интересов и т. д. Прощаясь, подарил мне свою книгу.

Из моего рассказа видно, что и годы, проведенные вне большой политики, были насыщены трудами и размышлениями, поездками и встречами. Не проходило недели, чтобы в Фонде не собирались какие-нибудь симпозиумы или коллоквиумы. С помощью своих зарубежных поклонников Михаил Сергеевич построил для Фонда престижное здание на Ленинградском проспекте в нескольких шагах от Финансовой академии. Где-то в июне 99-го года Раиса Максимовна просила нас поделиться своим мнением о том, как следует распланировать новую фондовскую обитель, чем ее обустроить и украсить. Потом - внезапная весть о ее болезни, за тяжелым течением которой следил весь мир, кончина в немецкой клинике.

Казалось, бесконечно тянутся люди к дому Фонда российской культуры на Гоголевском бульваре, чтобы сказать последние "прощай" и "прости" женщине, на долю которой выпала необыкновенная судьба. Простой советский человек и русский интеллигент, вознесенная на вершину могущества, она достойно сыграла роль первой леди, добавив тем самым еще одну черту в рекорды русской женщины.

Ко мне она относилась сердечно, с искренним уважением, и я отвечал ей тем же.

Тяжело переживший утрату, Михаил Сергеевич вернулся к заботам о своем Фонде. Его не оставляют в покое посетители со всего света. С присущим ему азартом он начинает втягиваться в создание российской социал-демократической партии.

А главное, что избавляет его от одиночества, - с ним рядом всегда дочь Ирина, поразительно похожая на мать внешне и, насколько я понимаю, перенявшая многие черты ее духовного облика. Мой, можно сказать, последний начальник вице-президент Фонда Горбачева.

Истоки и итоги

Подводить итоги жизни всегда болезненно - ощущение такое, словно захлопываешь за собой дверь, и если придется еще что-то придумать, то уже "в коридоре". С другой стороны,

и откладывать нельзя, можно не успеть.

Итак, я армянин по рождению, русский по языку, культуре и мироощущению. Князь (мелик) по происхождению, социал-демократ по убеждениям. Юрист по образованию, политолог по призванию. Ученый по складу ума, публицист по профессии. Футуролог и фантаст по увлечениям, поклонник старины по предпочтению.

Таков мой автопортрет. Теперь несколько комментариев к нему.

Я никогда не увлекался мыслью составить свою родословную. Не раз получал письма от однофамильцев, интересовавшихся, не прихожусь ли я им родственником. Фамилия моя довольно распространена на Востоке. Есть Шахназаровы узбеки, таджики, персы. Но самая обширная их ветвь все-таки армянская. Как-то мне позвонил Ашот Заревич Мелик-Шахназарян, работавший тогда в МИДе. Мы с ним пытались разобраться, какая степень родства нас связывает. Не так давно мне прислали книгу его отца\*, в предисловии к ней, написанном его сыном Арсеном, говорится, что род Мелик-Шахназарянов, коренных шушинцев и потомственных дворян, дал России более 50 офицеров, в том числе нескольких генералов. Давид Мелик-Шахназаров был личным другом Наполеона Бонапарта и его послом по особым поручениям. Нариман Мелик-Шахназаров служил и погиб вместе с Грибоедовым, будучи сотрудником российского посольства в Тегеране. Были в роду ученые, писатели, инженеры, государственные служащие.

Не столь давно, читая Павла Александровича Флоренского, я, к удивлению своему, узнал, что наша фамилия имеет честь быть в родственных отношениях со знаменитым философом.

Так же случайно, из книги о покушении на Александра II, узнал, что группу военных специалистов, давших заключение о примененных заговорщиками бомбах и огнестрельном оружии, возглавил подполковник инженерных войск Мелик-Шахназарян.

Судя по всему, основным занятием мужчин моего рода была воинская служба. Когда я вернулся с войны, отец достал бережно хранимую папку и торжественно вручил мне, сказав, что содержащийся в ней документ передается в нашем роду от отца к старшему сыну. Несколько пожелтевших листков бумаги большого формата были заполнены аккуратной персидской вязью. Документ, как полагается, был скреплен печатью и подписью. К нему прилагался следующий перевод с персидского.

"К Высочайшему престолу Вашего Августейшего Величества повергается со всеподданнейшею просьбою Еген, управляющий пятью армянскими частями Карабаха.

Так как Мелик Гуссейн, Мелик округа Веренды сделался жертвою за Августейшее Ваше Величество, а Шах Назар, его сын, имеет способность быть владельцем вместо отца, то всеподданнейше прошу пожаловать Высочайшую Грамоту и утвердить его, Шах-Назара, по прежнему Закону Меликом упомянутого округа, дабы он занимался управлением и обязанностями Дивана. Я осмелился доложить так, как должноствовало.

Высочайшая резолюция.

Именем Всевышняго Бога (печать Надир-Шаха) повелеваем Высочайше:

По просьбе просителя, округ Веренду, по-прежнему, подобно как оный принадлежал Мелик Гусейну, пожаловали мы сыну его Шах-Назару, чтобы сей Шах-Назар владел тем округом и старался об управлении так, как должно.

17 месяца Зильвгадже 1155-го. На обороте семь печатей министров и директоров.

Что сей перевод учинен в Азиатском Департаменте Министерства иностранных дел, по прошению отставного Капитана Хосрова Шахназарова, в том свидетельствует сей Департамент с приложением печати. Октября, 14 дня 1838 года. Вице-директор (фамилия неразборчива)".

На венчающей перевод круглой печати изображен двуглавый орел, под которым надпись: "цена два рубли". Так оплачивались услуги переводчиков в те времена.

Любопытен и другой документ, под названием "Верное свидетельство". Сохраняю орфографию перевода, сделанного там же (за исключением буквы "ять", которую сейчас на машинке не сыщешь).

"Дана почтенному ширихану внуку Карабахского вирандинского могола Мелика Шахназарова в том, что сей ширихан сын Джангира сына Мелика Шахназара, Мелика вирандинского могола Карабахского владения, по наследству, по праву и по высочайшему повелению Его Императорского Величества мне принадлежащего и как помянутый ширихан желает вступить в военную службу Его Императорского Величества в 9-й Егерский полк, то я и согласен, чтобы он был принят и сим свидетельствую, марта 11-го дня 1818-го года.

Его Императорского Величества Всемилостивейшаго государя моего Генерал майор Мехти Кулихан наследный владетель Карабахаский.

Приложена печать.

Подленное из слов подполковника мирзы Энитокопова перевел майор князь Бебутов".

Наказав мне беречь семейную реликвию, отец рассказал по этому случаю любопытную легенду. Будто бы однажды один из ближайших потомков означенного в фирмане Мелик Шах-Назара принимал у себя в Веренде офицеров русской воинской части. Тем понравился смышленный паренек, прислуживавший за столом, и Мелик с кавказским "шиком" подарил им своего крепостного. Мальчик вырос "сыном полка", стал офицером, потом генералом, прославился участием в Отечественной войне именем генерала Мадатова назван даже переулком в Москве. Герой решил побывать на родине. Когда он приехал, Мелик был в отлучке. Жена его дала в честь именитого гостя обед. Не тут-то было, вернувшийся с охоты Шах-Назар заявил, что не сядет за один стол со своим бывшим служкой. Оскорбленный Мадатов пожаловался государю. Тот велел отнять у Мелика округ и передать его в управление Мадатову. Наследники двух родов вели судебную тяжбу чуть ли не до Октябрьской революции.

Такая вот байка. Я, честно говоря, не очень верю, что предок был настолько глуп, спесив да вдобавок негостеприимен. Но вот что любопытно. По рассказам отца, крестьяне селения Ченахчи ежегодно присылали деду бочонок вина, то ли соблюдая феодальную повинность, то ли просто по привычке.

Оснований принимать на веру подобные легенды тем меньше, что сам Шах-назар стал частью национального фольклора, поскольку у него в услужении был шут Пулпухи - своего рода армянский вариант Ходжи Насреддина. Вот один из анекдотов этой серии. Мелик принимал в своих владениях караван индийских купцов, красочно расписывавших богатство своей земли. Соблазнившись, дал им золото, взяв обещание привезти ему драгоценные камни. Как-то со скуки он приказал шуту составить список всех дураков своего округа. Пулпухи исполнил, поставив первым в списке самого Шах-назара.

- Как, - вскричал разгневанный Мелик, - ты осмелился назвать меня дураком!

- Да, мой повелитель, - отпарировал шут, - только дурак мог дать золото незнакомым людям, веря, что они вернутся.

- А если вернутся?

- Тогда я твое имя вычеркну, их напишу.

Что бы ни говорилось о моих предках, у меня есть основание гордиться тем, что один из них вместе с другими меликами принял историческое решение обратиться к русскому царю с просьбой взять Карабах под свою руку. У этих армянских дворян было геостратегическое мышление, они сознавали, что малому христианскому народу не уцелеть в мусульманском окружении без опоры на православную Россию. Таков был смысл миссии Ури, отправленного к Петру I, который принял его благосклонно и обещал помочь единоверцам.

Из тех разрозненных сведений, которыми я располагаю, видно, что основным занятием мужчин в роду Мелик-Шахназарова была защита Отечества с оружием в руках. Из этого ряда выбивается дед. Вот что написано о нем в книге "Россия в ее прошлом и настоящем. В память 800-летия державного дома Романовых" (М., 1915, раздел "Нефтепромыслы"): "Мелик-Шахназаров Амбарезум бек Хосроевич потомственный дворянин, член Правления и товарищ-распорядитель нефтепромыслов Карабаха, родился в 1858 г. в деревне Авитаранц (Ченахчи) в Шушинском уезде Елисаветпольской губернии. Образование получил в

Армяно-Григорианской духовной семинарии в г. Шуше, по окончании которой служил в рыбопромышленной и паровой фирме в Баку с 1879 по 1896 г. С 1897 г. занялся специально нефтяным делом, учредив Т-во "Радуга" в Сабунчах, затем Т-во "Арагац" в Балаханах, ныне существующие. В 1909 г. было основано им же Т-во "Армус" на арендованном на 24 года участке в Сабунчах. В настоящее время на промыслах имеется 17 работающих вышек. Буровые работы обслуживаются нефтемоторами. Месячная добыча достигает от 65 до 70 тыс. тонн".

Таким образом дед был, по нынешним представлениям, менеджером или бизнесменом средней руки, а по революционным понятиям 1917 года - буржуем. Он мог ездить на пролетке в клуб, где играл в преферанс, но ничего существенного сыновьям не оставил, хотя продолжал администрировать на промыслах и после Октября.

Старшая сестра отца, учившаяся в Санкт-Петербурге, была поэтессой и подписывалась: княжна Арус Мелик-Шахназарян. Я храню тетради, исписанные ее красивым каллиграфическим почерком. На каждой пергаментно-желтой странице сонет - изысканная лексика, возвышенные романтические образы, мистические откровения, словом, вполне в духе господствовавшего тогда в русской поэзии декаданса.

Зрочки расплеснуты фантазиями феерий

В зеленой глубине тропических озер

И сумасшествием испепеленный взор

Слепит Жар-птицею, расправившею перья.

Целый томик таких сонетов. Потом, видимо, наскучил изыск и зазвучала чистая сердечная лирика.

Я пою о блеклой зелени весной,

Осенью о крыльях бабочки цветной...

В зимний день морозный снится мне свирель,

В знойный полдень лета - снежная метель...

Во дворцах мечтаю о тиши лачуг,

В тишине - о звонком серебре кольчуг...

Я капризней моря... Мне закона нет...

Не судите строго, люди, я - поэт!

Она была принята в литературных кругах. Среди ее знакомых называют Куприна, Игоря Северянина, Городецкого, Крученых; Маяковский посвятил ей стихотворение. Умерла рано от туберкулеза.

Отец мой тоже учился в Санкт-Петербурге. Они снимали комнату с братом Гришей, которая стоила недешево. В Питере, по его словам, уже тогда отношение к южанам было настороженное, можно было встретить объявление: "Сдается комната. Евреев и кавказцев просят не беспокоить". Для провинциалов, привыкших к строгим нравам, столичная жизнь представляла много соблазнов. Выдаваемые дедом деньги на жизнь и учебу прокучивались быстро. Несколько дней жили за счет старшей сестры, потом и она снимала их с довольствия. Оставалось обратиться за кредитами к банкиру-армянину, который должен был, по поручению родителя, субсидировать их в крайнем случае.

Устроили совет и решили, что нужно подъехать к его дому с шиком. На последний рубль наняли извозчика в двухстах метрах от банковского дома. Подлетев, нарочито замедленно рассчитывались с кучером, чтобы быть увиденными хозяином. Тот действительно увидел или ему доложили. На просьбу о займе сказал:

- Раз вы разъезжаете на рысаках, чего сам я не могу себе позволить, то, видимо, не бедствуете. Вот когда действительно не на что будет хлеба купить милости прошу, приходите, помогу.

Когда грянула революция, отец вызвался добровольцем в красную дружину. Надел повязку, получил винтовку, с которой не знал, как обращаться, под командой матроса-балтийца ходил арестовывать какого-то генерала. Генерал был явно раздосадован, увидев, что за сопляк будет брать его под стражу. Подошел к отцу.

- Студент?

- Да.

- Вам бы учиться, а не в солдатики играть. В руках у вас, молодой человек, не шампур для шашлыка, а боевая винтовка. Ее надо держать прямо.

- Ну, ну, не трожь юнца, - вмешался матрос. - Научится.

Учиться военному делу отцу не пришлось, в Красную Армию его не взяли. Видимо, он принадлежал к той части интеллигенции, которая приняла новый, революционный порядок без особого восторга, но и без враждебности, просто как реальность, к которой нужно как-то приспособиться. В Петрограде было голодно, пришлось возвращаться домой. А там - коммуна, мусаватисты, дашнаки, англичане, турки. Вспышки хаотических военных действий без четко обозначенной линии фронта - от того еще более тягостных для населения, не знающего, откуда ждать спасения. Необходимость, едва устроившись, бежать от резни, оставляя на разграбление жилье и имущество.

Когда после всех этих мытарств установилась твердая власть, отец обзавелся семьей и устроился в адвокатуру в Махачкале. Дипломированных юристов в Дагестане насчитывались единицы, он был неплохим оратором и участием в нескольких крупных процессах составил себе имя. В 20-е годы газеты щедро отводили полосы для отчетов о судебных заседаниях, особенно имевших воспитательное значение. Целую неделю сообщался в подробностях, с изложением выступлений прокурора и защитника, ход процесса над 13 милиционерами, которых обвиняли в изнасиловании и убийстве горянки, задержанной по подозрению в воровстве. Всем 13 был вынесен смертный приговор. Обжаловав приговор, отец сумел доказать, что его подзащитные не принимали непосредственного участия в убийстве. Верховный Суд СССР заменил казнь различными сроками тюрьмы. "Рейтинг" отца после этого пошел в гору, у него не стало отбоя от клиентов.

Начинала налаживаться в дагестанской столице и культурная жизнь. Родители регулярно посещали театр, у нас собиралась компания: завсегдатаи - врач Клычев, юрист Коркмасов - после "пульки" засиживались за бутылкой вина, обсуждали мировые события. Тогда я впервые услышал и запомнил имена: Сталин, Молотов, Гитлер, Геринг, Чемберлен, Рузвельт, Барту...

Несмотря на относительно материальное благополучие, родителей потянуло к близким. Обменяли трехкомнатную квартирку в Махачкале на одну комнату в Баку. Отец устроился в юридическую консультацию, мама вносила свою долю в семейный бюджет, работая секретарем-машинисткой.

Политических разговоров в доме у нас не вели. Если говорили о чем-то отец с матерью на эти темы, то шепотом, чтобы не слышали мы с сестрой. Человек он был законопослушный, принимал власть во всех ее проявлениях как неизбежное зло, с которым нужно мириться. Чтобы не мозолить глаза дворянским происхождением и не попасть под классовую чистку, стал вместо МеликШахназарян писать в паспорте просто Шахназаров.

Однажды я застал его врасплох за странным занятием. Возвращаюсь из школы, смотрю, сидит у печки, держит в руках прекрасно изданную "Историю гражданской войны", вырывает лист за листом, бросает в огонь и печально смотрит на пламя. Не знаю уж как, то ли по радио, то ли в газете сообщили, что все, кто приобрел эту книгу, должны ее сдать. Отец предпочел сжечь, сочтя, что, если пойдет сдавать, сам факт ее приобретения может быть поставлен ему в вину. Он не стал объяснять мне, что книгу велено изъять из-за "троцкистского содержания", да я бы и не понял. Помню только, у меня остался неприятный осадок из-за самого факта. Не мог понять, как можно сжечь книгу.

Мои родители не писали по-армянски да и разговаривали крайне редко. Учить меня армянскому языку пыталась одна только бабушка по отцовской линии. Она происходила из известного рода Пирумовых, была родной сестрой Даниэль Бека, который командовал армянскими войсками в битве против турок при Сардарабаде. И она, и другая моя бабушка по материнской линии одевались неизменно в черные платья и носили на голове традиционный головной убор армянских женщин. Им, как и всему нашему



многострадальному народу, досталась нелегкая жизнь. Разрушение армянской части Шуши, резня, бегство, потеря близких - чего только не пришлось испытать моим родным на своем веку. Тем не менее отец и мать сохранили добрый нрав, жили достойно. До последних дней верили, что грядут лучшие времена.

Теперь вошла в моду так называемая наука выживания. Сочиняются учебники, ведутся даже разговоры о необходимости преподавать такую дисциплину в школах. Родителей никто не учил этой науке, зато у них в генах был опыт выживания, копившийся предками на протяжении столетий. Какая-то его толика досталась по наследству и мне.

Когда говоришь о себе "родился и вырос в семье адвоката", это как бы "по определению" предполагает принадлежность к некоему среднему классу, по крайней мере - зажиточному сословию. Возможно, с точки зрения статистики так оно и было в 30-40-е годы. А вот если судить по собственному опыту, это была трудная, в некоторых отношениях убогая жизнь, какая, по нынешним понятиям, даже в "постдефолтовой" России расценивалась бы по категории "ниже черты бедности".

Судите сами. Ни газа, ни центрального отопления, ни душа, не говоря уж о ванной, то есть никаких элементарных удобств. Туалет во дворе, один на полдома. В одной комнате проживают пять человек, включая постороннюю старушку, которую родители приютили из жалости, она помогала маме по хозяйству, но принималась не за домработницу, а за полноправного члена семьи. Дом почти всегда в полуаварийном состоянии, не ремонтировался со времен царя гороха. Диван, на котором я спал, был, несомненно, антикварной ценностью, произведен где-то в XIX веке, то и дело выбивавшиеся из-под ткани пружины впивались в спину, что, может быть, было и к пользе, своего рода массаж.

Ну а принадлежность к среднему классу, вероятно, выражалась в том, что каждый свой случайный дополнительный заработок, сверх того, что было нужно для пропитания и приобретения скромного гардероба, отец тратил на книги. Однажды даже приобрел суперсовременный по тем понятиям радиоприемник СВД-10. Необыкновенно красивым казался мне коричневый полированный ящик, из которого доносились дикторские тексты и лилась прекрасная музыка. Да, именно прекрасная, поскольку в те времена, при всей их бытовой убогости, были и свои радости. Я имею в виду, что вместо сумасшедшего тарарама, какой чаще всего представляет собой нынешняя поп-музыка, этого назойливого битья по барабанным перепонкам, тогда по радио звучали волшебные мелодии Верди и Чайковского, пленительные цыганские напевы и неаполитанские песни в исполнении Джильи, Карузо и нашего Александровича, зажигательные фокстроты и томные танго или вальсы-бостоны.

Если эту книгу прочитают молодые люди, а я надеюсь, что хотя бы мои внуки удосужатся, в этом месте они наверняка подумают, что у каждого поколения свои вкусы и игры. Испокон веков старики не могли приспособиться к новым веяниям, называли их упадком, декадансом, концом искусства, а культура тем не менее прогрессировала.

Конечно, в таком рассуждении есть доля правды. Но ведь в традиционном порядке смены эпох, жизненных укладов, стилей и форм искусства неизбежно должен наступить момент "исчерпания сценария", по которому до сих пор проходило развитие. То ли ему на смену придет другой, более совершенный, то ли начнется деградация. Ужасно хотелось бы ошибиться, но многое, очень многое указывает, что мы сейчас переживаем начало конца той модели культуры, которую до сих пор создавал человек и которая, в свою очередь, сама его вылепила таким, каков он сейчас есть.

Разумеется, передавались по радио не одни классические европейские мелодии, но и заунывные азербайджанские мугамы, которые я не очень жаловал. Так же, впрочем, как и армянские напевы, - своего рода плач над безысходной народной судьбой. Из закавказской музыки больше ласкали слух грузинские песни, близкие по мелодике тем же неаполитанским.

Раз уж зашла речь на эту тему, позволю высказать и свои скромные соображения. Мелодию Ромен Роллан назвал душой музыки, а я бы сказал, что это все-таки мысль в ней. Нет мелодии, и музыка лишается всякого содержания - это значит, что она уже не музыка.

Музыка изначально играла в своей сфере ту же роль, что литература и живопись - служила инструментом организации, упорядочения звуков ради выражения с их помощью определенных идей, чувствований; передачи информации, говоря современным языком. Гармония и ритм - это не равные мелодии компоненты, а всего лишь подсобные средства ее изложения, аналогичные рифме в поэзии и стилю в прозе. Один голый ритм имеет так же мало оснований именоваться музыкой, как дизайн живописью или дом-коробка архитектурным сооружением. Я вовсе не хочу сказать, что исчезновение мелодии означает фатальный конец искусства, связанного со звуком и голосом. Но, повторяю, это уже не музыка, как она понималась до сих пор, а нечто совсем иное.

Роскошный СВД вскоре замолк, в республиканском центре не нашлось мастерской, где бы взялись его чинить, пришлось довольствоваться черной "тарелкой" громкоговорителя. По утрам я беззаботно врубал его на полную мощность, будя весь дом, делал зарядку под команды мастера спорта, сопровождаемые веселыми маршами.

Много радости доставил самокат, которым я особенно дорожил, поскольку сам его смастерил, как ярославский мужик: "с одним топором да долотом". Трудился я над этим сооружением в 6-м классе целый месяц. Сначала надо было раздобыть две прилично обструганные доски и соединить их железной скобой под прямым углом. Затем выпросить у отца несколько рублей, чтобы купить два подшипника у жившего в нашем доме выпивохи-механика, который таскал их с завода. Серьезнейшей инженерной проблемой стало изготовление руля из найденного во дворе тонкого металлического бруса. Потом серия безуспешных попыток собрать все эти детали в нечто целое, способное передвигаться, - тут мне на помощь пришел тот же механик. Я полдня катался по нашей улице под завистливые взгляды соседских мальчишек, а на другой день мой экипаж похитили.

Я повествую об этих житейских пустяках не просто из старческой говорливости, а помня о сформулированной в предисловии "загадке советского человека". Хочу засвидетельствовать и уверен, что найду поддержку большинства своих сверстников: у меня не было никакого ощущения бедности, обделенности, не говоря уж о зависти. Может быть, просто потому, что завидовать-то особенно было некому, если кто и жил в те времена богато, шикарно, то не афишировал. На поверхностный взгляд все вокруг жили примерно так же, как мы.

Ни разумом, ни инстинктом не ощущал я нехватки того, что называют "полнотой существования". Единственное, что отчаянно хотелось иметь, велосипед. Но нам он был не по зубам. Уже в Восточной Пруссии мне попался на глаза в одном из заброшенных домов, где мы устроили свой наблюдательный пункт, этот вожаемый предмет. Обрадовавшись, как ребенок, я начал его осваивать. По асфальтированному большаку, не чета российским дорогам, наши пушки тянули американские "студебеккеры", а личный состав во главе с комбатом, подобрав шинели, скользил за ними на велосипедах. Красочное зрелище.

Конечно, у нас не было и не могло быть полного социального равенства, но не было и того унижительного ощущения неравенства, которое порождается открытой, агрессивной демонстрацией самодовольного богатства. Вот почему я не сомневаюсь, что коммунистическая идея скончалась (или только занемогла?) у нас, чтобы воскреснуть где-нибудь в другом месте в другое время. Ее присутствие в мире неизбежно, к ней применим закон сохранения энергии, энергии униженных и обездоленных. Коммунизм - их религия, мораль, наука, утешение, надежда. Глупцы те, кто полагает возможным истребить его запретами. Его можно на время приглушить только социализмом, более или менее сносным, терпимым существованием для всех.

В последние годы хулителю существовавшей у нас модели авторитарного или "казарменного социализма" вдоволь поупражнялись в разоблачении привилегий номенклатуры. Но даже если бы все сказанное на этот счет было 100-процентной правдой, остается непреложным тот факт, что в социалистических странах был минимальный из когда-либо существовавших в истории разрыв между низкими и высокими доходами. Конечно, даже самый мизерный разрыв может восприниматься болезненно, но советская

система содержала ряд, если можно так сказать, "компенсационных механизмов", которые устраняли, по крайней мере делали не таким оскорбительным, ощущение неполноценности, какое испытывает всякий человек, когда его ставят в неравное положение с другими. Хотя бы та же всеобщая доступность высшего образования, благодаря которой способные выходцы из любого социального слоя получали равные стартовые возможности для карьеры. Во всяком случае, небольшой гандикап, который получали на старте жизни выходцы из номенклатуры, быстро растрачивался, если не подкреплялся способностями и прилежанием. А сказка о Золушке сбывалась по версии фильма Григория Александрова "Светлый путь".

У меня было много дядюшек, но ни одного из них богатого. Д'Артаньян получил в наследство от отца шпагу и лошадь, а я "Три мушкетера" Александра Дюма в академическом издании (небольшая библиотека и домашний скарб, все достояние родителей, перешли к сестре, в семье которой они доживали свой век). На исходе жизни мы с женой оставим в наследство сыну и внукам трехкомнатную квартиру и дачу в Подмоскowie, в которых нет ни антикварной мебели, ни ценных художественных полотен. Словом, не бог весть какое богатство. А ведь я четверть века находился на втором или третьем "этаже" партноменклатуры да к тому же прирабатывал литературным трудом, опубликовав полтора десятка книг и брошюр, неслучайное количество статей, учебник, роман, научно-фантастические рассказы.

Получив впервые к 40 годам отдельную двухкомнатную квартиру и достигнув того, что можно назвать безбедным существованием, я мог себе позволить непредвиденный расход на удовлетворение своей прихоти. Но, как правило, не позволял себе этого, потому что всегда должен был считать деньги в кармане, а лишних у меня никогда не было. В этом смысле я вполне советский человек.

Раз уж я взялся рисовать свой автопортрет, не обойти национальной темы. Наш род превращается из армянского в русский (у сына русская мать, в его детях четвертая часть армянской крови).

Для меня Россия не только огромное пространство, по которому я могу путешествовать без виз и знания английского языка. Не только страна, за которую воевали мои предки, а я завещаю беречь и защищать ее своим потомкам. Не только народ, частицей которого я себя ощущаю, и государство, с которым связан правами и долгом гражданина.

Все это - великие ценности, но они существуют отдельно от моей скромной персоны. Как ни тяжело, но люди выживают на чужбине, без родины и гражданства. Россия для меня - то, без чего я не мог бы выжить, что во мне составляет основу моего сознания - русский язык и культура.

Не буду скрывать, бывали в жизни моменты, когда я проклинал судьбу за то, что не родился в какой-нибудь более благополучной стране. Но одумывался при одной мысли, что в этом случае мне была бы недоступна божественная музыка поэзии Пушкина и Лермонтова, Блока и Есенина. Я сознаю, что то же самое вправе сказать англичанин о своем Байроне, француз - о Гюго, немец - о Гёте. Жалею, что мне не дано разделить их восторги. Не сомневаюсь, настанет время, когда люди будут общаться на одном "интернетовском" языке. Но ценой этого, несомненно грандиозного, достижения явится утрата той самой "божественной музыки".

Низкий мой поклон России за счастье ее слышать.

Усвоив всецело русский язык и культуру, я все же остаюсь армянином, может быть, даже не замечая, как это проявляется в каких-то моих привычках и поступках. Не говоря уж о записях в паспорте и пятом пункте биографической анкеты, мою национальную принадлежность всегда было не сложно определить по типичной в этом смысле внешности. Так вот, хочу торжественно заявить, что никогда за полвека моей жизни в Москве я не сталкивался с проявлениями какого-либо пренебрежения и недоброжелательства в связи со своей национальной принадлежностью.

Допускаю, этот фактор принимался во внимание при служебных назначениях, поскольку полагалось соблюдать определенную "национальную квоту". Впрочем,

достаточно условно. Центральные органы власти и учреждения не комплектовались на основе пропорционального представительства всех наций Советского Союза. Даже в аппарате ЦК КПСС, где, можно сказать, сам бог велел блюсти принципы ленинской национальной политики, редко можно было встретить прибалта или выходца из Средней Азии. Зато заметную долю составляли в нем те же армяне и грузины, что в общем соответствовало более высокому уровню образованности молодежи этих народов. И та же, можно сказать, объективная закономерность просматривалась в немалом числе евреев среди работников аппарата, в основном полукровок, значившихся по паспорту русскими.

В своей исповедальной книге я считаю себя обязанным высказаться по этому вопросу. Его не обошел, пожалуй, ни один крупный русский философ и политический мыслитель. Мне кажется, это свидетельствует об исключительной отзывчивости и благородстве русского национального сознания. Евреев в массовом порядке изгоняли из Испании и Франции, Великобритании и Италии, в Германии гитлеровцы учинили над ними кровавый геноцид, но мне неизвестно, чтобы в какой-либо из цивилизованных стран беды этой нации принимались просвещенной частью общества так близко к сердцу, как в России, чтобы где-нибудь еще так истово каялись за грехи своих правителей в отношении евреев.

Дело не только в российском правдолюбстве и в сострадательности ко всякому униженному и оскорбленному. Мало-мальски объективный взгляд на вещи обязывает признать, что именно Россия, за исключением, может быть, Соединенных Штатов Америки, явилась страной, давшей этой нации наиболее надежное убежище, стала ей второй родиной. Переселившиеся в Израиль миллион с лишним советских евреев - живое напоминание о той роли, какую Россия сыграла в сохранении генофонда этой нации. Но мне, честно говоря, не приходилось встречать ясное понимание еще более существенного проявления этой роли. Ведь именно благодаря России, на ее почве, в ее самобытных условиях выросла плеяда замечательных людей еврейской национальности, делающих честь своему народу. Конечно, они работали для России и творили советскую культуру, но разве евреи не должны гордиться такими поэтами, как Пастернак и Бродский, таким композитором, как Дунаевский, такими физиками, как Иоффе и Ландау... Скольких можно еще назвать. Где и когда в своей истории народ Израиля находил столь благодатные возможности для приложения своих творческих сил?

Я понимаю горечь человека, встречающегося с проявлением антисемитизма в быту. Тем более нетерпим был, хотя и не афишируемый, запрет принимать людей "с пятым пунктом" в тот же аппарат ЦК КПСС. Но смехотворно утверждение, будто евреям был закрыт доступ повсюду, даже в высшие учебные заведения. А такие вещи говорят, несмотря на то что еще до перестройки число людей с высшим образованием на 10 тысяч населения составляло среди евреев 192, за ними же следовали грузины (90), армяне (85), русские (45) и по нисходящей все остальные народы Советского Союза. До сих пор представительство евреев в Академии наук и других престижных научных и культурных учреждениях многократно превышает их долю в населении страны. В свое время шутили, что в редакционном совете любого издательства и ученом совете института - на каждые 10 русских в обязательном порядке приходится два еврея и один армянин. Полагаю, и теперь, несмотря на массовый исход евреев на родину, такая пропорция сохраняется.

Жизнь много раз сводила меня с людьми этой национальности, и по своему личному опыту могу засвидетельствовать, что среди них соотношение умных и дураков, честных и жулья примерно такое же, как у всех других народов. Нелепы байки о всемирном масонском заговоре, коварных планах "сионских мудрецов" уничтожить православную Русь и т. п. Сами авторы статей, разоблачающих происки сынов Авраама и Якова, время от времени признают, что есть и "хорошие" советские евреи. Чем же объясняется явная вспышка антисемитских настроений в нашем обществе, преимущественно - его социально ущемленных слоях?

Объективно - непропорционально большим числом евреев, выбившихся в "новые русские" и сумевших в ничтожные сроки приобрести капиталы, которые повсюду в мире

создавались столетиями. Эта явная аномалия не могла не поразить общественное мнение; даже без потока компромата, ежедневно выплескиваемого нашей прессой, ясно, что такие вещи без воровства не делаются, это неправильно, преступно, подсудно. А поскольку за преступлением не следует наказание, в массе обобранных людей растет "революционная ярость". Она, несомненно, была бы направлена против всего клана "новых русских", независимо от того, кто там русского происхождения, а кто армянин или грек, азербайджанец или еврей. Свою роль в фокусировании этой неприязни именно на евреях, конечно, сыграли антисемитские выпады Макашова и ему подобных. Но справедливости ради следует признать, что никто не сделал для этого больше, чем Борис Березовский.

Его называют Распутиным для России, но не меньше вреда принес этот человек своему народу, во всяком случае, той его части, которая проживает в нашей стране. Всем своим поведением он ее дискредитирует. С "кальки" таких, как Березовский, Абрамович, Кох, формируется в глазах обывателя образ еврея беспардонного стяжателя, подлого интригана, циничного прохвоста. Теперь уже неважно, в какой степени свойственны реальному прототипу все эти пороки. Понадобится с десятков Марксов, Мандельштамов и Дунаевских, чтобы "отмыть" нацию от грязи, которой забрызгали ее имидж эти люди.

В той среде, в какой я вращался практически всю свою сознательную жизнь, среде советской интеллигенции, было много людей еврейского происхождения. Мне никогда не приходило в голову выделять их по этому признаку. Но, заговорив на эту тему, невольно вспоминаю своих добрых товарищей по Институту права Абрама Исаковича Иойрыша, Владимира Александровича Туманова, Самуила Лазаревича Зивса. Пока жив, храню память об Анатолии Аграновском. Уж *post mortum* все мы принадлежим к одной нации - человеческой.

Я недоговорю очень важного, не сказав о своем отношении к религии. Мне думается, человек придумал Бога не от самоуничтожения, как считают многие, а, напротив, от гордыни, мысля примерно так: "Да неужто бездушная и безмозглая природа способна была произвести такое чудо, как я? Нет, такое под силу только всеблагому и всемогущему вселенскому разуму".

Бог нужен людям не для того, чтобы было перед кем стоять на коленях, а для того, чтобы ощущать себя венцом творения. Это в некотором роде доказательство их права на главенствующую роль в природе, их особой миссии в этом мире. Ссылкой на божью благодать или волю удобно оправдывать все, что нуждается в оправдании с точки зрения совести. Все живые существа, кроме человека, не способны верить в Бога и тем самым заведомо отключены от его благодати, могут разве что пользоваться его милостыней, установленным им божественным порядком. Человек же способен верить, и потому он один "владеет" Богом, причащен к нему, обладает уникальным правом искать у Всевышнего защиту и грешить, заранее зная, что можно потом покаяться, чтобы спастись.

Вполне вписывается в эту гипотезу и дьявол. Его придумали, чтобы было на кого списывать промахи Бога. Поскольку мы считаем Всевышнего непогрешимым, нужен мальчик для битья или козел отпущения.

И все-таки Бог есть, настоящий, живой, реальный. Каждый человек становится Богом, когда он состраждет себе подобным. Евангелие стало книгой книг именно потому, что впервые внятно провозгласило эту истину, ставшую нравственным законом для рода человеческого, хотя, увы, далеко не всеми и всегда исполняемому, как и другие Законы.

Ну а к Богу, отделенному от нашего сознания, люди обращаются обычно с молитвами, осядая всевозможными просьбами и проблемами. Беда, однако, в том, что даже у всемогущего нет возможности удовлетворить наши непомерные желания, а вопросы, которые мы ему задаем, вообще не имеют ответов. Жан Жироду однажды изрек, что только тот сохраняет непосредственность веры в Бога, кто не задает ему никаких вопросов.

Что касается безответных вопросов, то для размышления на этот счет существует философия. Она, по сути дела, приступает к своим занятиям только там, где кончаются физика и другие точные науки. То, что поддается объяснению, не требует философии. Если

бы была в принципе возможность понять, что такое вечность, бесконечность, смысл жизни и т. д., люди постарались бы решить эти задачи в лабораториях с помощью приборов, а не на философских диспутах.

Как я уже сказал, божественное начало в человеке определяется его способностью сострадать ближним. Смею сказать о себе - я не лишен этого качества. Был неизменно доброжелателен к людям, с которыми сводила меня судьба, помогал, когда мог, тем, кто нуждался в моей помощи.

У меня достаточно трезвое мнение о людской природе. По моему разумению, все люди делятся на порядочных и подлых. Порядочные делятся на пробивных и слюнтяев. Подлые - на умных и глупых. Подлые глупцы и порядочные слюнтяи ни на кого не делятся.

Но при этом главный вывод из опыта моей жизни заключается в том, что порядочных, отзывчивых, сострадательных людей несравненно больше, чем подлых, черствых, эгоистичных. По натуре я достаточно доверчив, можно даже сказать, простодушен, но редко попадал из-за этого впросак. И думаю, все-таки не потому, что везло не нарываться на прохвостов, а потому, что на доверие большинство людей отвечают доверием.

Конечно, есть люди, к которым я питал антипатию, и они, в свою очередь, меня не жаловали. Но зла никому сознательно не причинял, и виноватить меня за причиненные боли и огорчения вправе только один человек - моя жена.

Как-то мне попался на глаза индийский анекдот - непротивительный, но со смыслом. Министр беседует с журналистом, говорит, говорит, потом вдруг: "Что это мы все обо мне, давайте поговорим о вас... Как вам понравилась моя последняя речь?"

Написав целую книгу о своих начальниках и о себе, не обойду и этой темы. За рубежом самым лестным образом отзывался обо мне профессор Оксфорда Арчи Браун, назвавший меня вместе с Бурлацким "основателями политической науки в СССР".

Вот как охарактеризовал мою персону популярный американский журнал:

"Юрист, политолог, автор научно-фантастических произведений, продвигающий радикальные реформы внутри страны и в международных делах, Шахназаров, 65 лет, член узкого окружения (personal staff) Горбачева. Вместе с Примаковым явился соавтором многих идей "нового мышления" во внешней политике, сфере взаимной безопасности и контроля над вооружениями. Постоянно выступал за широкие реформы и децентрализацию. Будучи работником ЦК КПСС, в 1972 г. высказывался в пользу западной социал-демократии и предлагал разделить функции партии и государства в Советском Союзе. В этом году (1990) заявил, что власть должна быть отнята у Политбюро и передана "в руки легитимных государственных институтов... как во всякой демократической стране". Предсказал эволюцию многопартийной системы\*.

Дома мое самолюбие было в достаточной степени "утешено" многими положительными рецензиями на статьи и книги, благожелательными отзывами журналистов. Теплее всех отозвались обо мне Лилия Лагутина и Леонид Никитинский, связавшие с моим именем выдвижение гражданского общества и правового государства в качестве главной цели реформ. Справедливости ради скажу, что появление этих формул в тезисах к XIX Общепартийной конференции КПСС стало итогом коллективных раздумий в команде Горбачева. Не столь уж важно, кто там первым сказал "А".

Не оставлю без "свободы слова" и моих недругов, к которым, разумеется, не отношу добросовестных критиков всего мной написанного. Помимо упоминавшейся Тани Микешиной, сильнее всего мне досталось от некоего В. Солодова. По его словам, меня "можно без колебаний отнести к категории людей, которые, ни по одному принципиальному вопросу не имея собственного мнения, с давних пор затрачивали всю свою энергию лишь на оправдание и толкование идей, провозглашаемых лидерами". Далее сообщается, что со времен выхода газеты "За прочный мир, за народную демократию" я "славил Сталина", потом "переключился на активное славословие Хрущева", принялся "с тем же успехом исполнять величальные песни Брежневу", а теперь "яростно защищаю Горбачева\*\*".

Прочитав эти язвительные строки, я стал перебирать в памяти: к газете "За прочный

мир..." не имел никакого отношения; "культ личности" только критиковал, хотя вовсе не свожу личность Сталина к "культу"; о Хрущеве не написал ни строчки до последнего времени\*\*; никогда не писал ничего хвалебного о Брежнев, а о Горбачеве, как выдающемся реформаторе, высказался лишь в книге "Цена свободы", то есть уже тогда, когда он стал частным лицом и стало выгодней его ругать, чем занимаются многие бывшие горячие его почитатели.

Не слишком убедительна и попытка объявить меня "потомком "янычар" все-таки происхожу из христианского рода да и сам крещен. С другой стороны, почему иметь в предках янычар позорней, чем, скажем, крестоносцев?

Я помню, конечно, о пушкинской заповеди "не оспаривать глупца", но в данном случае просто проверяю себя. Вроде бы по этим пунктам обвинения нет оснований для самобичевания. Не слишком задает меня и язвительная характеристика "лукавый царедворец". Тем более что, по мнению автора единственной рецензии на книгу "Цена свободы", мои "рассуждения, хотя они не столько научные, сколько очень и очень субъективные... часто верны"\*\*\*\*. Вопрос только в том, почему субъективно верные рассуждения не могут считаться научными?

Без обиды познакомился я с отзывом на свой счет бывшего коллеги по "команде Горбачева" Болдина. Воздав должное моему "теоретическому багажу" и "монументальному внешнему виду", которого я за собой не замечал ("густая шапка серебристых волос" - это у меня-то, лысого), Валерий Иванович далее живописует мою личность следующим образом:

"Это был своего рода человек-реликвия. Он знал практически всех руководителей КПСС и мирового коммунистического движения. Георгий Хосроевич был в аппарате ЦК при нескольких последних генсеках. И при всех вождях был незаменим, плавно колебался в воззрениях вместе с линией партии. Универсальность знаний этого человека обернулась способностью теоретически прокладывать дорогу всем руководителям, которые с удовлетворением узнавали, что, оказывается, действуют согласно марксистско-ленинской теории, во всяком случае, согласно чему-то научному... Он мог писать на любую тему, шла ли речь об экономике, политике, армии, экологии, и все, что выходило из-под его пера, было талантливым"\*.

Невзирая на ехидство, заключенное в этой характеристике, мне, видимо, следует поблагодарить Болдина за признание "универсального таланта". "Из-под его пера" я выхожу кем-то вроде Александра Гумбольдта, прославившегося своими энциклопедическими дарованиями. Сам я, однако, так высоко себя не ставлю, трезво оцениваю свою роль в "перестроечных событиях", не говоря уж о мировой истории. Но в одном пункте все же должен возразить Валерию Ивановичу. Вопреки упреку в "колебании вместе с линией партии", который бросают не мне одному, всем "шестидесятникам", когда хотят побольнее уязвить, я и мои единомышленники никогда не шатались в своих воззрениях, оставаясь верными усвоенным смолоду идеям политической свободы, равенства, демократии.

Ну а то, что я пережил в аппарате ЦК нескольких генсеков, объясняется как раз тем, что не был приближенным ни одного из них, избегал клясться в личной преданности, руководствуясь грибоедовской мудростью: "Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь". Кстати, не я один. В международных отделах многие трудились по два-три десятка лет, как в научно-исследовательских институтах и идеологических учреждениях, куда люди приходят если не с университетской скамьи, то приобретя первичный опыт работы по специальности, становятся профессионалами и трудятся всю сознательную жизнь до ухода на пенсию.

Пожалуй, болезненней всего я воспринял упрек в свой адрес автора статьи под заголовком "Мыслитель в стиле Горбачева"\*\*. "Шахназарова иногда называют одним из тех, кто помогал Горбачеву при разработке "нового мышления". Может быть, это он объяснил Генеральному секретарю наличие "взаимозависимости" между различными государствами и общественными системами... Цель его очевидна, и в этом он един со своим руководителем, - сделать советскую систему эффективной и конкурентоспособной. В этом смысле он -

реформатор и человек, который учитывает интересы окружающего мира. Вопрос только в том, не зашло ли уже далеко мимо поставленных им же самим целей то развитие, которое он помогал начинать?"

Этот вопрос я давно задаю себе сам. Можно, конечно, отговориться тем, что более или менее определенный ответ на него станет ясен через два-три десятилетия. Но если быть честным до конца, я должен принять на себя бесчисленные инвективы, которые адресуются Горбачеву и его окружению. Правда, в этом случае остается неясным, следует мне лично покаяться за все последствия перестройки и "нового мышления" или, выборочно, только за те, в которых можно установить долю моего непосредственного участия.

Удалась ли моя жизнь?

Судьба не дарила мне подарков, каждый шаг на служебном поприще давался ценой неустанного труда, я привык работать по 10-12 часов в сутки, часто пропуская выходные дни. Печальная участь постигла сочиненные мной документы. За почти 4 года работы помощником первого лица я написал помимо докладов, речей, записок несколько по-настоящему значительных вещей. Конечно, над первоначальными текстами "толклись" потом множество людей, но, как ни странно, они дошли до финальной отметки почти в первозданном виде, сохранив структуру и основное содержание. А что толку? Из них только частично, притом в ничтожной степени, исполнились тезисы к XIX Общепартийной конференции КПСС, остальные отправились в корзину. Программа партии осталась без партии, Союзный договор без Союза, авторство Закона о свободе печати (официально - о средствах массовой информации) приписывается кому не лень, только не мне.

И все же грешно жаловаться. Я уцелел на войне. Знал любовь и дружбу, радость творчества. Счастлив в потомстве. Горжусь своей родиной - большой Россией, от которой не отделяю Карабах. Имел честь общаться со многими выдающимися людьми своего времени. Объездил полмира. Постиг некоторые ученые премудрости и был награжден способностью наслаждаться прекрасными созданиями искусства.

Нельзя объять необъятное, есть в мире много такого, что мне не удалось сделать, увидеть и узнать или просто оказалось для меня недостижимым. Что ж, когда такая мысль посещает меня, я отгоняю ее четверостишием Омара Хайяма.

Тот, кто мир преподносит счастливчикам в дар,

Остальным за ударом наносит удар.

Не печалься, что меньше других наслаждался,

Будь доволен, что меньше других пострадал.

Закончить эту книгу хочу эссе, неким "сухим остатком" моих полувековых раздумий о прожитом и пережитом.

РОКОВОЕ РАССТАВАНИЕ С ПРОШЛЫМ,  
ИЛИ PASTSHOK

Солнце свирепое, солнце грозящее,

Бога, в пространствах идущего,

Лицо сумасшедшее,

Солнце, сожги настоящее

Во имя грядущего,

Но помилуй прошедшее!

Николай Гумилев

1. Итак, не освободить ли нам прошлое от будущего и будущее от прошлого, не избавить ли полюса Хроноса от взаимного притяжения, возведя между ними непроницаемый занавес отторжения и забвения?

Зачем?

Ну, конечно же, чтобы ускорить Прогресс! Мертвые цепляются за живых, не дают им развернуться во всю молодецкую удаль и безоглядно рвануть за горизонт - туда, где лежит в ожидании открывателей и завоевателей земля обетованная. Прошлое, как дряхлый, ни на что уже не способный, но необыкновенно говорливый и мнящий о себе старец, обожает



наставлять потомков, навязывая им свои архаические представления и предрассудки. У него бездонная память, и, подробно пересказывая события минувших тысячелетий, оно настойчиво требует держать их в голове. Не понимает, что, загрузив мозги этой рухлядью, мы окажемся не в состоянии освоить только сейчас открывающуюся во всем космическом блеске виртуальную реальность и проникнуть мыслью в блаженное будущее.

Любит наш старец живописать свои достижения в строительстве цивилизации, похвалиться вкладом в науки и изящные искусства. Для этого, следует признать, есть кое-какие основания. Вместе с тем он отнюдь не столп благочестия - кровь проливал нещадно, развлекался, проказничал, грешил на все лады, преступая законы Божьи и человеческие. Может быть, поэтому, гонимый раскаянием, не устает теперь предостерегать нас, ссылаясь на свой печальный опыт. А это, хотя и не бесполезно, но уж слишком раздражительно. Можно представить, насколько ускорится триумфальное шествие прогресса, если удастся избавиться от его старческих нашептываний, смело и размашисто двинуться вперед, не заглядывая поминутно в Энциклопедию в поисках одобрения и положительного примера. Мы ведь прокладываем путь в неизведанное, так чего ради оглядываться!

Правда, вырвавшись на волю, не избежать угрызений совести, какие испытывает блудный сын, покидая родительский дом и не обещая взять на себя уход за могилами. Однако и совесть замолкнет, когда ей укажут, что у прошлого свой резон желать освобождения от будущего, что все это ко взаимному благу. Разве не заманчиво избавиться от роли преступника, перманентно находящегося под следствием, или трупа под ножом патологоанатомов, пытающихся установить, какими покойник страдал недугами и от чего отдал концы? Перестать служить каталогом великих мыслей и изречений, бессовестно присваиваемых нынешними бездарными ораторами. Защититься от неутомимых археологов, разрушающих гробницы в поисках мумий, пергаментов и черепков, от честолюбивых бакалавров, стремящихся проложить путь к славе, переписывая летописи на свой лад?

Словом, и у прошлого, и у будущего есть свои причины если не разойтись, то по крайней мере взаимно отстраниться, перестать жадно и пристально вглядываться друг в друга, отказаться от взаимной опеки. Но возможно ли это? Под силу ли человеку, не лежит ли это за пределами отпущенной ему Провидением воли к власти, к устройству жизни по своему разумению, вкусу, капризу? Не кощунственна ли сама попытка прервать связь времен?

Не будем торопиться с ответом, ограничимся пока тем, что сама эта связь *ad definitio* предполагает как единение, так одновременно и разъединение. Новое, получая заряд энергии от старого, уходит в отрыв. Но и старое не остается на месте - отталкивается, как реактивная струя ракеты, окутывается дымкой забвения.

Прошлое подобно фундаменту, который держит на себе здание цивилизации. Чем выше оно возносится, тем труднее фундаменту нести на себе его тяжесть - он оседает, уходит в землю, угрожая обвалом всему сооружению.

Само прошлое не бесконечно, если не иметь в виду мертвую природу. Около миллиона лет длится эволюция человека, но всего несколько тысячелетий назад он обрел свой нынешний вид. Природа, или Бог, или Цивилизация-праматерь, удовлетворенно взглянув на дело рук своих, решили, что нет смысла опекать его дальше - способный самообучаться, он достаточно прочно стоит на собственных ногах и сумеет за себя постоять в борьбе за существование. Уже к эпохе образования ранних, речных цивилизаций человек сложился таким, каков он по сей день. С той вехи имеет смысл вести отсчет прошлого в соотношении с настоящим и будущим, оценивать его относительную роль в круговороте времени.

Опьяняемые собственным всемогуществом, способностью в считанные часы покрывать огромные пространства, передавать мысли и изображения на межпланетные расстояния, создавать электронный мозг, черпать энергию из атома, заменять уставшие биться сердца и творить другие чудеса, мы верим, что цивилизация всем обязана научно-технической революции истекшего XX и в какой-то мере XIX столетий. До этого люди, за малым

исключением, жили как пращуры: ездили на лошадях, плавали под парусами, готовили пищу и обогревали жилища, сжигая дрова и уголь, умирали молодыми от легкой простуды.

Но если по справедливости взвесить долю каждой эпохи в достижениях цивилизации, нашему замечательному веку следовало бы по чести отвести пять, ну десять процентов, потому что все устои современного общества - Государство, Закон, Семья, Религия, Мораль - были смоделированы и сработаны в безмашинном, бескомпьютерном прошлом. Тогда же были заложены зачатки философии, науки, литературы и искусства, но свое великолепие они приобрели позднее - это все-таки заслуга нового времени. А вот устои, на которых, как на плечах мифических титанов, держится весь мировой порядок, остались в основе своей произведением старины.

Чем объяснить эту могучую вспышку интеллектуального гения у людей, едва вышедших из состояния дикости? Мне кажется, у них просто не было иного выхода. Строя на чистом месте, они вынуждены были все это придумать, чтобы выжить. Не осиль они эту задачу, нас бы вовсе не было, человек вернулся бы в пещеру, в животный мир. Сейчас их называют древними, в действительности древние - это мы, теперешние. Если вести отсчет от Рождества Христова, каждому из нас к своему возрасту следует прибавить еще 2000 лет. Мы обладаем бездной информации, накопленной за минувшее время, но это они, совсем юные по "историческому измерению", создали ту систему (организацию, структуру, порядок, правила общежития), которая держится по сию пору. И альтернативы ей на горизонте не просматриваются.

Как, однако, ни величественно прошлое, его трагедия в том, что оно прошло, не располагает средствами самозащиты, всецело во власти сотворенного им (сознательно или по ошибке) будущего. Тотальность этой власти, пожалуй, лаконичнее всего выражена в раздумье Гамлета над судьбой черепа Александра:

"Пред кем весь мир лежал в пыли,  
Теперь затычкою в щели".

Каждое поколение отчаянно стремится сообщить потомкам как можно больше сведений о себе, веря, что таким образом надолго, если не навечно, продлит свое зыбкое присутствие в этом мире. Но вещные послания старины подвергаются неумолимому разложению, как их ни береги, а духовные заветы предаются забвению. Посетовав на бренность царственных могил и статуй, Шекспир уверял свою "леди сонетов", что "врезанные в память письма грядущие столетия не сотрут". Только много ли их, помнящих нынче эти бессмертные строки? И мог ли он предположить, что ухитрятся поставить под сомнение даже авторство его трагедий?

История, заметил Бальзак, подделывается в тот самый момент, когда она делается. Участники событий, даже если их всего двое, придерживаются каждый своего мнения о случившемся. Не было и, вероятно, не будет ни одного эпизода в жизни человечества, который был бы однозначно оценен современниками и потомками. Иначе говоря, история - это то, что мы о ней думаем. Разумеется, цепь событий, запечатленная в памятниках, может быть описана с большей или меньшей точностью. Но не столько понята, сколько интерпретирована, истолкована, потому что понять историю - значило бы закрыть ее.

Пока род людской существует, он творит свою биографию, сознательно или бессознательно реализуя какие-то расчеты и вожеления. Конечный смысл и цель этого процесса равнозначны его итогу. Они откроются только некоему внешнему наблюдателю (если таковой найдется) на руинах цивилизации, когда закроет глаза последний землянин. Как в хитроумной пьесе, смысл которой раскрывает лишь последняя реплика героя. До той же поры люди упражняются в догадках и дают волю воображению, пытаясь с помощью современных детективных технологий установить, действительно ли Фаэтон упал на Солнце, а Атлантида погрузилась на океанское дно; состоялся ли Всемирный потоп; насколько достоверно, что Цезарь построил мост через Рейн; был Ричард III кровавым злодеем или жертвой оговора; куда девалась янтарная комната Царскосельского дворца; кто убил премьера Пальме и президента Кеннеди.

А там, где недостает фактов, - неограниченный простор для домыслов и фантазий.

Но все это сравнительно безобидные игры. Прошлое становится жертвой бессовестного и беспощадного насилия, когда его подгоняют под политический интерес. Литературные образцы такого издевательства оставил Оруэлл в "1984" и особенно в "Скотном дворе". Увы, история о том, как трусливый боров "Наполеон", став диктатором, был объявлен народным героем, в разных вариациях многократно повторялась и, надо думать, будет повторяться в жизни.

Нельзя, конечно, винить всех подряд в злонамеренном искажении прошлого. Немало подвижников стремилось scrupulously восстановить истинную картину минувшего и извлечь из нее полезные поучения. Искращения бывают подчас следствием неумышленной ошибки, но чаще все-таки происходят от корыстного расчета. У нас историк Михаил Покровский подвел под произвольное судилище над прошлым своего рода теоретическое обоснование: "История - это политика, обращенная в прошлое". Соответственно, история Государства Российского излагалась в школьных и вузовских учебниках, в исследованиях и романах как того требовали каноны марксистско-ленинской идеологии. Что не поддавалось подгонке - вычеркивалось. Многие незаурядные фигуры российской политики, философии, искусства были изъяты из общественного сознания, словно их вовсе не существовало. Лишь при Горбачеве, с провозглашением гласности, их имена и мысли начали возвращаться на родину.

Увы, маятник нетерпимости не замер на срединной отметке, а привычно качнулся в другую крайность. Теперь пытаются взять реванш, вырубив из памяти народной три четверти века, прожитых страной при Советах, свести все наследие революции, потрясшей мир, к ГУЛАГу и процессам 1937 года. Словно не было превращения России в одну из двух супердержав, бесплатного всеобщего образования и здравоохранения, первого спутника Земли и первого космонавта, открытий в науке, новаторства в искусстве, порождавшегося и верой в коммунизм, и коммунистической ересью.

Речь ведь идет об уникальной попытке построить на Земле царство свободного труда. И многие открытия на этом пути, и причины трагического исхода "социалистического эксперимента" заслуживают беспристрастного анализа. XXI век не застрахован от революций и реформ, как и XX. Печально, если он окажется тупым учеником и повторит ошибки, за которые уже дорого заплачено, а при повторении придется платить безмерно дороже.

Прошлое не безмолвно, оно говорит с нами, убеждая и доказывая свою правоту, пытается достучаться до наших сердец, иногда истошно вопит от бессилия, невозможности быть услышанным и правильно понятым. Ему остается только утешаться тем, что будущему за глухоту рано или поздно придется расплачиваться. Пренебрежительное отношение к прошлому, высокомерное игнорирование его заветов, не говоря уже о злокозненном искажении минувших событий, подгонке их под сиюминутную выгоду, не проходят бесследно. Передергивание истории - всегда самообман, загоняющий в ловушку. Но тот, кто на коне, кто повелевает живыми, будь он хоть халиф на час, присваивает себе право судить мертвых и редко задумывается о возмездии - разве только в минуту душевной слабости, в темных и мрачных сновидениях.

Итак, ответ на первый вопрос должен быть отрицательным: прошлое не может освободиться от будущего, напроць к нему привязано, всецело от него зависит. Единственное, чем оно могло бы относительно обезопасить себя, - это постараться произвести лучшее будущее, более благоустроенное и справедливое, способное сострадать ушедшим, хранить их память. Так родители, заботящиеся о воспитании добронравных детей, гарантируют себе ухоженную старость и благоговейное отношение *post mortum*.

Но если нас ожидает худшее будущее, с тотальной враждой, тиранией и нищетой, прошлое может подвергнуться такой кастрации, так изуродовано, что его уже невозможно будет восстановить в первоизданном виде. Вероятно, в предчувствии такой катастрофы, склоняясь перед "железной поступью истории" и смирясь с тем, что настоящее будет безжалостно брошено в топку грядущего, русский поэт Николай Гумилев просил помиловать

прошедшее.

2. Вслед за вопросом: "можно ли?", требует ответа еще более важный вопрос: "нужно ли?" Поможет "изменить мир к лучшему" (из рекламного листка фирмы "Филипс") или, напротив, подтолкнет к гибели, лишит опоры, которую мы находим в заветах предков, и надежды, которую связываем с потомками?

Прошлое всегда во власти будущего, а оно, напротив, постоянно освобождается от прошлого - в этом, собственно говоря, его предназначение. Но если таков порядок вещей, если все предрешиено "объективными законами общественного развития", стоит ли беспокоиться?

Стоит. История движется не сама по себе. От наших разума, выбора, воли зависят во многом и ритм, и результат загадочного превращения дня вчерашнего в день завтрашний. Мы не стадо, ведомое небесным пастырем по заранее начертанному маршруту, и если спотыкаемся, падаем лицом в грязь, топчемся на месте, то большей частью из-за того, что творим историю интуитивно, а главное - несогласованно.

Прошлое уже ни за что не отвечает, будущее - еще нет, вся ответственность лежит на живущих, от них зависит, быть миру или не быть и каким ему быть. На рубеже двух тысячелетий наступает момент, когда у людей не остается права на ошибку. Не столько потому, что на нас с нарастающей скоростью катится вал перемен, грозящий, по определению Олвина Тоффлера, вызвать потрясение от встречи с будущим, сколько потому, что мир с чрезмерным, недопустимым ускорением порывает с прошлым.

Pastshock намного опасней, чем futureshock.

"Можно ли знать, что будет десять поколений спустя?" - спросили у Кун-цзы (Конфуция) ученики. Учитель ответил: "Династия Инь унаследовала ритуал династии Ся; то, что она отбросила, и то, что она добавила, - известно. Династия Чжоу унаследовала ритуал династии Инь; то, что она отбросила, и то, что она добавила, - известно. Поэтому можно знать, что будет при преемниках династии Чжоу, хотя и сменят друг друга сто поколений""\*.

Идея преемственности выражена здесь досконально. Что-то отмирало под луной, что-то зарождалось, но эти изменения поддавались предвидению, поскольку происходили в заданных, predeterminedных рамках системы - поднебесной империи как вечного космоса китайской цивилизации. Причем не имел особого значения знак, с каким происходили перемены. Они затрагивали столь ничтожную часть традиционного ритуала, что никоим образом не подрывали устоев, не покушались на почитаемый тысячелетиями закон судьбы.

А что сказал бы Учитель Кун, окажись он в нашем времени? Дерзнем предположить, что, будучи любителем странствий, он одобрительно отнесся бы к возможности передвигаться на моторных экипажах, летать над облаками и снимать свежую информацию с голубого экрана. Как патриоту, ему не могли бы не импонировать целостность и могущество китайской державы, установленный в ней четкий административный порядок и сохраняющийся в целом ритуал почитания старших. Вероятно, более всего пришлось бы Учителю по душе, если бы власти заботились не только о хлебе насущном, но и о воспитании и обучении народа. Китайский мудрец, говоря современным языком, был поборником всеобщего народного образования.

Можно предположить, что и другие "отцы-основатели цивилизации" вряд ли испытали бы шок от встречи с чудесами современной техники. Их трудно было бы удивить тем, что люди по-прежнему воюют и додумались до создания абсолютного оружия: ракетные установки можно принять за усовершенствованные камнеметательные машины, а ядерные взрывы - за молнии Юпитера. Компьютеры - за счеты, тоже усовершенствованные. Не были бы они ошеломлены, узнав о посещении человеком Луны и погружении в океанские глубины, - это описано в романтических мифах, есть определенные чертежи Леонардо, хватало и "экспериментов" на манер Свифта и Сирано де Бержерака. Чему уж тут особенно удивляться! Вполне возможно, наши мудрецы, за неделю-другую освоившись с принципами устройства хитроумных современных приборов, с энтузиазмом подключились бы к миллионам болельщиков, следящих за перипетиями мирового футбольного первенства, и

стали бы охотно раздавать интервью телекомментаторам.

Настоящее по части технических чудес не настолько оторвалось от прошлого, чтобы в одночасье привести предков в изумление. А вот побудь они у нас в гостях подольше, присмотришь к беспорядочной суеде дымных мегаполисов, к спазматическому дыханию истощенной природы, почувствуешь они нервную, болезненную напряженность жизни современного человека, то, пожалуй, действительно испытали бы шок и задумались: стоила ли игра свеч?

С количественной точки зрения всякий переход от прошлого к будущему может быть измерен балансом потерь и приобретений. Казалось бы, чего проще: приобретений больше - выиграли, потерь больше - проиграли. На деле задача невероятной сложности, ибо неясно, что именно считать приобретением, а что потерей. Все зависит от системы ценностей и предпочтений, положенной в основу исчисления. Что ценнее - чистый воздух, реки, полные рыбы, чащи лесные, еще не слышавшие электрической пилы, или автомобиль, пастеризация, антибиотики? Средний срок жизни человека теперь в два-три раза больше, чем несколько веков назад, но стал ли он счастливее от своего долголетия? Когда было интереснее, радостнее, полнее жить - в Афинах времен Перикла, во Флоренции при Лоренцо Великолепном, в Багдаде Харун ар-Рашида, в социалистическом Советском Союзе, в одной из современных благополучных стран "золотого Запада"? Кому было лучше жить там и тогда?

"Что тут сравнивать! - возразит прогрессивно мыслящий читатель. Как можно не радоваться тому, что человеческий гений расщепил материю, проложил путь к звездам, проник в механизм гена, создал робототехнику, находится на пороге клонирования человека и подбирается к "живой воде", к бессмертию. Только обскуранты способны лить слезы по милой их сердцу старине со всем ее убожеством, противиться наступлению новой эры, обещающей небывалый, немыслимый расцвет человека в информативном обществе".

К тому же собиратели антиквариата и даже никому не нужного хлама могут утешиться тем, что в бездонных ячейках памяти вычислительных машин хватит места для любых сведений, поступивших в обращение от пресловутого Мафусаила до наших дней. По свидетельству специалистов, вскоре станет возможным носить с собой компьютер размером со спичечной коробок, содержащий сумму всех знаний, накопленных человечеством.

Проблема, однако, в том, что в отличие от компьютера человеческий мозг не в состоянии воспринять и творчески усвоить нарастающий поток информации. У него не останется иного выхода, как часть за частью отсекал устаревшие сведения, то есть решать ту самую задачу, какую мы исследуем, - освобождать будущее от прошлого.

Не приходится гадать, чем при этом будут жертвовать, что пойдет в утиль, в отходы, в лучшем случае - опустится на полки подземных хранилищ, будет предоставлено грызущей "критике мышей". Такой процесс совершается испокон веков, он набрал в последние два-три века курьерскую скорость и наверняка получит дальнейшее ускорение.

Испанский драматург Лопе де Вега сочинил несколько сотен пьес. В наше время на сценах изредка ставят две из них: "Хозяйка гостиницы" и "Овечий источник". Все прочее начисто забыто. Такая же участь выпала на долю многих других плодовитых сочинителей, даже из числа тех, кто в свое время пользовался шумным успехом. Как бы ни принимались те или иные произведения в момент своего появления на свет, годы и десятилетия выносят свой приговор, отбирая крупницы истинного искусства, отбрасывая подделки, халтуру, шлак.

Иными словами, в литературе шел и продолжается жестокий естественный отбор. Это нормально, с этим ничего не поделаешь, да и не нужно что-то делать. Никому ведь не приходит в голову сокрушаться по поводу барака, который сносят, чтобы возвести на освободившемся месте каменный дом. Тысячи вещей создаются, чтобы послужить какое-то время и быть замененными на нечто лучшее. Прижимистый хозяин еще подержит старье в сарае, пока наследники, позубоскалив по поводу его скупости, не отправят хлам на свалку. Не боясь быть обвиненными в цинизме, спросим: а чем средняя книжонка лучше того же барака, дивана с вывороченными пружинами или дырявого костюма? Умирают люди,

умирают и книги.

Но вот незадача: на определенном этапе человечество стало производить намного больше ценной художественной продукции, чем оно в состоянии потребить. Дальновидные умы подняли тревогу: в результате случайного чтения люди, забрасываемые новинками, будут проходить мимо шедевров. Нашли выход в издании специально подобранных библиотек мировой классики. Такое издание по почину Максима Горького было предпринято и у нас. В 60-70-е годы его повторили в количестве 60 томов. Из произведений Льва Толстого туда были включены "Война и мир" и "Анна Каренина". В следующем издании места для "Анны", видимо, не останется.

Ну а полное собрание классики составит несколько тысяч томов. Если читать в день по книге, отложив все прочие занятия, понадобится полвека, чтобы его "проглотить". Разумеется, сроки жизни удлинились, культивируются методы интенсивного поглощения информации. Но все это не имеет принципиального значения - возможности человеческого мозга небезграничны.

Кроме того, люди не могут жить без новой, современной им литературы, помогающей хоть как-то разобраться в суете и безумии повседневности, вооружающей опытом выживания и удовлетворяющей неистребимую потребность в зрелище и новостях. Эта "свежая" литература, не обладая достоинствами классики, агрессивно подает себя под грифами бестселлеров, зазывает яркими обложками с изображением стреляющих суперменов и обнаженных красоток, теснит с видных мест на полках магазинов старинные фолианты, пока вовсе не сталкивает их в подвал. И нельзя винить в этом книгопродавца, вынужденного потрафлять господствующему вкусу, если он не хочет разориться.

На духовном рынке, как и на материальном, только один повелитель - Спрос. А вольного человека, усвоившего свои гражданские права, не усадишь насильно поглощать тягучие гексаметры Гомера, следить за перемещениями душ на этажах Дантова загробного царства, искать смысл жизни с Фаустом, терзаться нравственно с Алешей Карамазовым и проливать слезы над участью несчастной Девы. Его все труднее завлечь даже сыскными импровизациями Шерлока Холмса и фехтовальными терциями д'Артаньяна. Герои нашего времени, по крайней мере на ближайшее десятилетие, не Чайльд Гарольд и Евгений Онегин, не Гагарин с Армстронгом, даже не мать Мария и не Че Гевара. Это - Арнольд Шварценеггер и Чак Норрис. Неплохие парни. Но все же...

Едва ли не с каждым годом сокращается число постановок шедевров драматургии, оперной и симфонической музыки. Тает круг энтузиастов, ценителей и хранителей великой культурной традиции. С непостижимой беспечностью, чуть ли не с веселым разбойничьим гиком, под рокот поп-музыки настоящее помогает будущему освободиться от прошлого.

Кстати, там немало такого, от чего действительно следовало бы избавиться. Но по этой части дело идет туго. Давайте не обманывать себя: проще расстаться с Шопеном и Моцартом, чем с ядерными арсеналами, вооруженными конфликтами, терроризмом, наркотиками и СПИДом. Этот смертоносный багаж XXI век получил от своего предшественника в полной сохранности. А "Трех сестер" или "Кошку на раскаленной крыше", вполне возможно, последние могикане культуры будут конспиративно ставить у себя в подвалах, плотно затянув окна шторами, как первые христиане разыгрывали в катакомбах сцены из Библии, укрываясь от римских соглядатаев.

Не слишком ли мрачная картина, нет ли здесь преувеличения? Конечно, есть, если иметь в виду, что в Париже все еще распахивает двери "Комеди Франсес", а в Милане - "Ла Скала", заполнена посетителями мюнхенская Пинакотека, московский Большой балет гастролирует в Токио, европейская и американская элита встречает овациями великую певческую троицу - Доминго, Паваротти, Каррераса и неподражаемую Кабалье. Нет, рано еще править тризну по культуре!

Но страхи и предостережения алармистов не покажутся проявлениями паники, чуть ли не истерики, если призадуматься о неминуемых последствиях расставания с прошлым, которое разворачивается на наших глазах.

Давно признаны негодными попытки унифицировать сознание. Возможность выбора согласно природным склонностям и вкусу, эта предпосылка многообразия индивидуальностей и талантов, позволяла до сих пор человеческому роду умножать свой коллективный разум. Между тем стремительно углубляющаяся специализация формирует кланы профессионалов, у которых свой словарный запас, можно сказать - свои языки, непонятные прочим смертным. Если так пойдет дальше, через век-другой люди вынуждены будут общаться с помощью перевода не с английского на немецкий или с русского на арабский, а с "математического" на "медицинский" и с "аграрного" на "юридический". Единственное, что способно помешать новому фатальному разобщению, - общность гуманитарной культуры, язык искусства.

Однажды мы отправились в ресторан отметить завершение международной конференции. Все подвыпили, и один из русских, не знавший иностранных языков, завел оживленную беседу с итальянским коллегой. Заинтересовавшись, я прислушался. Они хлопали друг друга по плечу, закатывали глаза, поднимали большой палец и говорили: "Микеланджело - О!", "Пушкин - О!", "Травиата - О!", "Борис Годунов - О!".

Беда грозит не одному искусству, не только одной, гуманитарной "ипостаси" цивилизации, но и другой, технической. Каждый, кто хотя бы любительски занимается компьютером, раньше или позже ловит себя на раздражительной мысли: разыскиваю нужные позарез данные, запомняю, что они "пылятся" в одном из файлов, загруженных в брюхо машины. Правда, опытный вычислитель не допустит такой оплошности, он тщательно "пошарит" на полках своей чудо-машины, а уж потом возьмется разыскивать нужную информацию в Интернете. Проблема, однако, в том, что сочиняющий, изобретающий, творящий человек не всегда знает, что именно искать.

Новаторство пропорционально объему удерживаемых в голове знаний, позволяющих сопоставить то, что до сих пор никому другому не пришло в голову. И если будущие новаторы предпочтут не отягощать свой мозг сведениями, которые кажутся излишними, - зачем, когда под рукой компьютер? - их шансы на открытия будут сокращаться пропорционально удерживаемым в памяти знаниям. Не случайно компьютеризация, принеся колоссальный эффект в упорядочении экономических и финансовых расчетов, ставшая неоценимым помощником в моделировании, виртуальных развлечениях и многих других человеческих занятиях, не принесла столь же внушительных результатов в фундаментальных исследованиях. Компьютер не заменил Галилеев, Кеплеров, Ньютонов, Ломоносовых, Эйнштейнов, и пока к его творческим подвигам относится лишь победа над Каспаровым.

Но, может быть, изобретательский взлет "машинного ума", а с ним и второе дыхание всей цивилизации впереди?

3. Конец XX века. Этот рубеж побуждает задуматься: что нас ожидает впереди? А "загадку будущего" не разгадать, не разгадав прежде "загадку прошлого", не оценив, с каким знаком войдет в историю уходящий век, какое наследство оставит своему преемнику.

Могут возразить: что тут гадать, вот он лежит перед нами во всем своем великолепии и бесстыдстве. Со сверхскоростной авиацией, высадкой на Луну, зеленой революцией, автомобилем, телевизором, сотовым телефоном, сексуальной революцией и торжеством демократии. С двумя мировыми войнами, ядерным оружием, фашизмом, тоталитаризмом, терроризмом, наркоманией и алкоголизмом. Жестокий, как XVI век, блистательный, как XVII, просвещенный, как XVIII, деятельный, как XIX. И сверх того - изменивший мир больше, чем он изменился за всю прошедшую бездну времени.

Мы знаем о нем почти все, за исключением самого важного: стал он венцом прогресса или, напротив, началом упадка, отступления с занятых до сих пор позиций? Невозможно представить альпиниста, не отдающего себе отчет, какой путь он проделал за прошедший день - шел в гору или спускался с нее. Между тем мы находимся именно в таком неведении.

Что может быть плачевнее оптимиста, который уверен, что приближается к цели, а в действительности удаляется от нее, рассчитывает, что впереди его ждут лучшие времена, а

на деле доживает последние дни? Не в лучшем положении и пессимисты, убежденные, что мир катится к катастрофе. Ведь если пророки "судного дня" ошибаются, значит, они беспричинно угнетают свой дух, лишают себя надежды, вдобавок своим карканьем отравляют жизнь другим.

Словом, нет сейчас ничего более важного и для науки, и для политики, и для общего нашего мироощущения, чем ответить на вопрос: продвинулось человечество в XX веке вперед или попятилось назад?

Диалектически мыслящий читатель с ходу скажет: то и другое. В одних отношениях - прогресс, в других - упадок. И будет прав. Постоянно обновляясь, общество что-то приобретает, а что-то теряет. Но ведь это не уравнение с нулевой суммой. Как игрок, отошедший от рулетки, или спортсмен, участвовавший в состязании, отлично знает, выиграл он или проиграл, победил или потерпел поражение, так и человечество, подводя итог прожитой эпохи, должно попытаться понять, идет оно "на ярмарку или с ярмарки". Если с ярмарки, то потому ли, что это предопределено, другой путь заказан, или по собственной глупости, в результате ошибочного выбора? Если в результате ошибки, то не поздно ли ее исправлять? Если не поздно, то на что именно ориентироваться?

"Загадка XX века" - не пища для праздной игры ума. Это жизненная проблема, без решения которой невозможен выбор рациональной стратегии на будущее. И решить ее можно только на глобальной основе, ибо всякое частное мнение откровение гения, вердикт науки, убежденность целого народа и даже вера половины населения Земли - будет неполноценным, ущербным, однобоким.

Но как вынести общее суждение о состоянии многообразного мира? Казалось бы, логичней всего взять за основу положение человека. Однако при огромном прогрессе цивилизации ее блага (долголетие, образование, здравоохранение, комфорт и т.д.) распределялись весьма неравномерно, а в конце века зона периодических вспышек голода охватывала от 800 млн. до 1 млрд. человек. Можно ли, уместно ли вывести некую среднюю человеческую участь и взять ее за критерий оценки века?

Больше того. Имея в виду вполне благополучного человека из "золотого миллиарда" (так модно называть жителей развитых стран), следует спросить, перевешивают ли упомянутые блага цивилизации ее "отходы" - загрязнение среды обитания, "ядерный меч" над головой, прогрессирующую криминализацию? Можно ли с уверенностью утверждать, что наш современник априори счастливее своего предка, жившего где-то в предшествующих веках?

И все-таки задача поддается решению, критерий, годный для объективного измерения итогов XX века, существует. Это - творческая сила человека. Пока она на подъеме, нет нужды беспокоиться - будет найден выход из всех ловушек, которые расставляет нам Вельзевул. Наступит спад этой силы, начнется "элоизация" и "морлокизация" людей (по Г. Уэллсу) - печальный исход станет неизбежен. Вот тогда действительно замаячит "конец истории", ошибочно отнесенный Фукуямой к концу XX века.

Не возвращает ли нас это в заколдованный круг? Ведь о творческой энергии людей, их изобретательности, воображении, способности благоустраивать свою жизнь, грубо говоря, двигаться вперед, судить можно по достижениям естествознания и техники, а можно и по состоянию искусства, философской мысли. Примем за аксиому, что оба основных компонента культуры, материальный и духовный, равноценны и взаимозависимы. Каждый из них может какое-то время существовать автономно и даже развиваться за счет накопленной внутренней инерции. Но если другой "буксует", деградирует - раньше или позже неизбежен общий упадок. И поскольку по "технической линии" прогресс пока очевиден, следует выяснить, как обстоит дело по "линии гуманитарной".

Опять-таки, и об этом можно судить по-разному. Например, по уровню грамотности, численности "занятых" в сфере творчества, потребителей их продукции. Подбив сумму, даже компьютер ахнет от удовольствия и назовет уходящий век венцом духовного прогресса. Но если мы не хотим уподобиться анекдотическому секретарю писательской парторганизации,



который с гордостью констатировал, что раньше в Тульской области был один писатель, Лев Толстой, а теперь целых пятьдесят, нужно избрать другой критерий. И, на мой взгляд, им как раз должна стать способность человечества порождать гениев.

Это вовсе не означает какой-либо недооценки созидательной роли нормального, "среднего" человеческого материала, возведения пресловутого "сверхчеловека" в единственного субъекта исторического процесса. Просто гении - это люди, наделенные от природы даром аккумулировать интеллектуальную работу своего поколения или даже целой эпохи и открывать новое. Без них оказался бы невозможен прорыв на очередные этажи умственного и духовного развития. Вот как полусерьезно выразил эту мысль Гете: "Сотворить из простейших элементов нашу пошлую планету и из года в год заставлять ее крутиться в солнечных лучах - вряд ли бы это доставило ему (Богу) радость, не задумай он на сей материальной основе устроить питомник для великого мира духа. Так этот дух и доньше действует в высоких натурах, дабы возвышать до себя натуры заурядные"\*.

На что можно рассчитывать в этом смысле?

Всемирное значение русской литературы как одной из вершин духовного творчества общепризнано. Если исходить из того, что творческая жизнь художника длится около трех-четырех десятилетий, в каждой трети XIX века творили одновременно несколько гениальных писателей и поэтов. В первом поколении эта плеяда представлена А.С. Пушкиным (1799-1837), М.Ю. Лермонтовым (1814-1841), Н.В. Гоголем (1809-1852). Им на смену приходят И.С. Тургенев (1818-1883), Ф.М. Достоевский (1821-1881), Л.Н. Толстой (1828-1910). Последняя треть века и первая часть XX столетия озарены гением А.П. Чехова (1864-1904), А.М. Горького (1868-1936), А.А. Блока (1880-1921), В.В. Маяковского (1893-1930), С.А. Есенина (1895-1925), М.А. Булгакова (1891-1940), А.А. Платонова (1891-1954). Слово исчерпав запас природных богатств, приливная волна все реже выносит на поверхность жемчужины высшей пробы, катит бисер, а там - гальку и песок. С М.А. Шолоховым (1905-1984) уходит последний русский классик.

К этому перечню можно добавить много имен из прошлого века: И.А. Крылов, Ф.И. Тютчев, Н.А. Некрасов, М.Е. Салтыков-Щедрин, И.А. Гончаров, А.Н. Островский, А.К. Толстой и немало из нынешнего от И.А. Бунина, М.А. Волошина, А.Н. Толстого, Н.Г. Гумилева, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, Л.М. Леонова, А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, Э.О. Мандельштама до наших современников А.И. Солженицына, В.Г. Распутина, Р.Г. Гамзатова... Вообще, оценка художественного творчества - дело тонкое, окрашенное личными вкусами. Поэтому я намеренно ограничился "звездами первой величины", стоящими выше пристрастий. Теми, кого ставят в ряд с Гомером, Шекспиром, Сервантесом. Таких "властителей дум" на все времена у нас сейчас нет.

Та же тенденция обнаруживается и в других сферах творчества. Русская музыка XIX века представлена "созвездием" - М.И. Глинка, П.И. Чайковский, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, А.П. Бородин. На стыке двух столетий - А.И. Глазунов, С.В. Рахманинов, А.И. Скрябин. Мир музыкальной классики пустеет с уходом "последних из могикан" - С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского, Г.А. Свиридова. Знатоки считали последним великим композитором Альфреда Шнитке, ушедшего совсем недавно.

Скажем еще о живописи. Поразительно щедр на гениев прошлый век и в этом отношении. И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.М. Васнецов, К.П. Брюллов, А.А. Иванов, В.Г. Перов, А.Н. Крамской, И.И. Левитан, И.К. Айвазовский, В.В. Верещагин, И.И. Шишкин, В.Д. Поленов. На переломе эпох - М.А. Врубель, М. Шагал, К.С. Петров-Водкин, русский авангард. Теперь спроси образованного человека, не искусствоведа, кто в России известный художник, назовет И.С. Глазунова, а напрягши память, добавит А.М. Шилова.

Читатель, знающий больше о скульптуре, архитектуре и других видах художественного творчества, усмотрит повсюду ту же тенденцию. Может быть, земля русская не оскудела пока талантами, но на гениев ей уже явно недостает плодородия. И единственное, что способно еще утешить ревнивого патриота, - то же самое прослеживается во всех других

великих национальных культурах. Это не заболевание какой-то одной страны и народа. Это - болезнь века, признак надвигающегося (продолжающегося, углубляющегося?) упадка.

Заранее прошу извинения, если, назвав кого-то или, напротив, умолчав о ком-то, задену чьи-то устоявшиеся представления о "иерархии" национальных гениев. Вопрос этот бесконечно деликатный, и я смею лишь обозначить тенденцию, оставляя глубокий анализ специалистам.

Начав с Германии, спросим, есть ли сейчас в ней хоть один писатель или поэт такого масштаба, как Гёте, Шиллер, Гейне, Т.Манн, Рильке; композитор, как Бетховен, Шуман, Вагнер, Мендельсон, Брамс? В Англии - равный Скотту, Байрону, Диккенсу, Теккерею, Шоу? Во Франции - композитор, который мог бы соперничать с Берлиозом, Гуно, Массне, Бизе, Равелем; писатель - со Стендалем, Бальзаком, Гюго, Дюма, Флобером, Золя, Франсом, Ролланом; художник - с Давидом, Делакруа, Курбе, Мане и другими импрессионистами? Кто в итальянской музыке может претендовать на лавры Россини, Верди, Пуччини, Беллини, Леонковалло, Паганини? Кого в современной американской литературе уместно "уравнивать" с Э.По, Купером, Твенном, Мелвиллом, Драйзером, Лондоном, О'Нилом, Фолкнером, Хемингуэем?

Поставим вопрос иначе: много ли сейчас в мире людей, безоговорочно признаваемых гениями в литературе, музыке, живописи, других искусствах? Боюсь, даже при самом расширительном толковании понятия "гениальное", с натяжкой могут быть названы два-три имени.

Но, может быть, проблема сформулирована некорректно? Ведь признание нередко приходит *post mortum*. Да, так бывало. Однако главным образом из-за крайне медленного распространения информации. После изобретения книгопечатания такое случалось редко. Практически все названные выше творцы были признаны гениями при жизни. В наше время, когда любая оригинальная и плодотворная идея в считанные дни становится известной во всех уголках мира, явление гения не осталось бы незамеченным, как не остался незамеченным роман Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества".

Единственное, чем возвысился в "царстве муз" наш век по сравнению со своими предшественниками, - это кинематограф. Появилась надежда, что искусство не падет в неравном соперничестве с техникой - напротив, их альянс породит новые формы самовыражения и развития духовной сущности человека. Увы, последние десятилетия не внушают оптимизма. И на экране дает о себе знать общая тенденция упадка культуры. Пока еще нет недостатка в "звездах", а вот равных Эйзенштейну, Чаплину, Феллини, Бунюэлю, Ренуару, Курасае и другим ушедшим великим маэстро не видно. Да и откуда им взяться, если самым выгодным занятием становится производство "мыльных опер".

Как ни горько это сознавать, на исходе XX века "большая культура" все больше перемещается в библиотеку, музей, архив, хранилище, досье. Там сейчас жемчужины музыки и литературы, живописи и скульптуры - все то, что зовется классикой. Нового "соразмерного" ей искусства современное общество уже не в состоянии производить. Хорошо еще, что оно пока ценит, точнее, "доценивает" старое.

Культура в истинном смысле есть не грамота, не знание и даже не потребление созданных кем-то когда-то ценностей, а творчество как непрерывный процесс самопознания человека и постижения окружающего мира. С этой точки зрения прекращение творчества или его увядание, "вторичность" есть признаки вырождения. Ограничиваться сохранением шедевров в коллекциях - значит постепенно уподобиться дикарям, обожествляющим упавший с неба амулет. Поклоняться ему они могут, а сами создать нечто подобное, увы, не в состоянии.

В таком "созерцательном" положении мы находимся и по отношению ко всем великим мировоззренческим учениям. Христианство, мусульманство, буддизм, иудаизм, синтоизм и другие религии, даже их секты и ереси, - это продукт творчества далеких предков. То же относится к философским концепциям, составляющим в совокупности идеологический фундамент цивилизации. До сих пор они развивались - от прозрений Платона, Аристотеля,

Демокрита и прочих мудрецов через многовековые поиски к созданным в XIX веке универсальным системам Канта, Гегеля и других. XX век мало что придумал своего, он только проверял практическую приложимость этих систем, подтвердив одни, опровергнув другие, попытавшись без большого успеха их синтезировать. Это была весьма важная, но по преимуществу экспериментальная работа.

Главная причина усиливающейся творческой импотенции лежит на поверхности. Итогом XX столетия оказалось не социалистическое общество по Марксу, не общество "1984-го" по Оруэллу, не "изобильное общество" по Кейнсу. Все эти вещие прогнозы по-своему сбылись, но произвели они не конечный продукт, а только полуфабрикат исторического процесса. Финальным же его произведением (по крайней мере, на сегодняшний день) стало массовое общество. Именно это качество является общим для всех многообразных жизненных укладов, сохраняющихся в современном мире. И наряду с другими характерными чертами (склонность к охлократии, конфликтогенность, криминализация и пр.) предопределяет снижение духовных потребностей и стандартов в области культуры.

Ошибаются те, кто полагает, что так называемая масс-культура не грозит нарушить "естественное" распределение духовных ценностей: высокое искусство для элиты, площадное для масс. Ссылаясь на то, что "так было всегда", они не учитывают радикальных перемен, связанных с созданием "масс-медиа". Сваленное в один телевизионный ящик со своим низкорожденным собратом и вынужденное подчиняться законам коммерции, для которой fuga Баха и завывание рокера - в равной мере товар на продажу, высокое искусство неизбежно будет отступать и перерождаться. Это не прогноз, а констатация факта - достаточно посидеть день у телеэкрана или посмотреть, что продается в книжных лавках. В Москве и Нью-Йорке, в Риме и Токио...

Я был бы рад ходатайствовать о присуждении Нобелевской премии тому, кто сумеет опровергнуть эту гипотезу. Ну, например, доказать, что означенная тенденция не является необратимой, просто наш мировой ковчег вступил в зону штиля. В истории бывали ведь периоды длительного спада творческой активности. Почему не предположить, что где-то впереди нас ожидает новый Ренессанс?

А если этого не случится, останется утешаться тем, что отпадет проблема переизбытка художественных ценностей и потомкам не придется перенапрягать мозги освоением новой классики.

4. Прошлое и будущее - это знаки, символы. Легче всего представить их верстовыми столбами на дороге судьбы. Мы знаем, что осталось позади, но не можем заглянуть дальше линии горизонта. Прошлое состоялось, будущее - пока лишь догадка, фантом, предвкушение. Прошлое мертво, будущее еще не родилось. Оба они существуют только в нашей памяти и нашем воображении. Реально и всемогуще одно настоящее. Оно правит бал. Каждая очередная "связка" отцов, детей и внуков решает участь рода человеческого, "дежуря" за пращуров и потомков.

На дежурство нашей "тройки" выпало дьявольское испытание: впервые человечество получило способность сознательно или нечаянно совершить самоубийство. Задачей номер один стало для него не развитие, а выживание. Старшее поколение XX века пролило больше крови, чем было пролито ее за всю предыдущую историю. Но свой долг этот "караул" все же выполнил, удержавшись от ядерного апокалипсиса. А вот наследство тем, кто идет нам на смену, мы оставляем сколь богатое, столь и опасное. Нечто вроде шкатулки с бриллиантами, в поддон которой упрятана взрывчатка: стоит неосмотрительно коснуться блестящих камушков - взлетишь на воздух.

Есть ли шанс избавиться от дурного наследия, сохранив вечные ценности, без которых жизнь потускнеет и зачахнет? До сих пор решали эту проблему бегством от действительности. Прокрутив в голове всемирную историю, приходишь к неутешительному выводу: люди никогда не были всецело в ладах с реалиями жизни. Бежали от них к зрелищу, как римский плебс на бои гладиаторов и современные подростки на дискотеки. Замыкались в

уединенный мир грез, как поэты всех времен и народов. Прятались в своих жилищах - надменных замках и убогих хижинах. Искали отвлечения в странствиях, утешения в любви, забвения в вине и наркотиках.

Все это были попытки убежать в одиночку. В XX веке пролетариат попытался спастись от ненавистной ему действительности, уничтожив ее. Оказалось, разрушить мир насилия значит с неизбежностью погрести и себя под его обломками, ибо все мы, правые и виноватые, невольные обитатели этого мира.

Бегство от действительности всегда самообман - вот главный урок, который следует извлечь из опыта уходящего века. Прошрое нельзя рассматривать как неоплаченный груз, который можно в нужный момент скинуть с гондолы воздушного шара, чтобы взлететь. Его невозможно пустить в расход, некому продать, негде закопать в землю. Его можно только преодолеть, переработать, перестроить. Нужны не потрясения основ и не героические подвиги, а упорная, тяжелая, временами грязная, часто неблагоприятная, плохо оплачиваемая почестями и богатством работа.

Ни один грамм прошлого не должен пропасть без пользы. Все ст?ящее может войти в будущее в прямом или преобразованном виде, стать его органичным элементом. Даже отходы ядерного топлива невозможно уничтожить - они должны пройти предписанный природой срок своего распада, возвращения в безвредное состояние. Непригодное сейчас может пригодиться в будущем. Непотребное послужит самообучению "от противного".

Но что толку в мудрости предков и уроках прошлого, если мир уже обречен и остается открытым лишь вопрос, от чего именно он погибнет - от ядерной войны или удушья ("озоновые дыры"), всемирного потопа ("парниковый эффект") или эпидемии СПИДа, перенаселенности или истощения энергетических ресурсов. С высокой степенью достоверности рисуя подступающие отовсюду угрозы, алармисты заключают обычно мистическим: "Будем надеяться!" Засим следует перечень условий, ожидать выполнения которых можно лишь при условии, если человечество построится как воинская часть на плацу и будет беспрекословно подчиняться командам. "Если мы хотим выжить, нам следует отрешиться от эгоизма и отказаться от чрезмерного потребления... Мы должны... Необходимо...".

Все, безусловно, хотят выжить, проблема, однако, в том, что эти пожелания и требования адресуются сознательному, просвещенному и объединенному человечеству, способному принимать ответственные решения. Но такого адресата не существует, есть, в лучшем случае, сто тысяч проницательных и совестливых интеллектуалов, перекидывающих друг другу свои мысли. И великое достижение, если хоть стотысячная их доля идет в дело.

Но, допустим, в конце концов удастся с помощью телевидения донести эти заклинания до каждого взрослого жителя планеты - что от этого принципиально изменится? Иллюзорны надежды на то, что, осознав, каких неприятностей надо ожидать со дня на день, земляне, как один, кинутся исполнять предписания разума. Скорее всего, из грозных предостережений ученых кассандр часть сделает вывод, что грядут лихие времена и нужно позаботиться о себе и своих близких. А большинство просто отмахнется: сколько раз пророчили конец света, и ничего, пронесло, так будет и теперь.

Следует, видимо, смириться с тем, что в обозримом будущем дела в мире будут идти примерно так же, как до сих пор. Возможно, будут заключены несколько новых договоров по ядерному разоружению, но одновременно атомными бомбами и ракетами обзаведутся еще несколько государств. Возможно, будут созваны два-три экологических саммита по типу Рио-де-Жанейро, но принимаемые меры не остановят наступления пустынь, сокращения пахотных земель, увеличения выбросов в атмосферу углекислого газа и прочих факторов наступающей экокатастрофы. Возможно, удастся урегулировать какие-то вооруженные конфликты, но вместо них вспыхнут другие - тлеющих очагов для этого более чем достаточно. Возможно, будут пойманы и наказаны некоторые организаторы чудовищных террористических актов и распространители наркотиков, но пока не видно стратегии, которая могла бы положить конец терроризму и наркомании.

Иными словами, меры, принимаемые для решения глобальных и неглобальных проблем, будут, как и до сих пор, отставать от необходимых - значит, будет увеличиваться энтропия. Мы уподобляемся должнику, который из последних сил выплачивает проценты, но продолжает залезать во все большую кабалу. У него, по большому счету, только один выход - продать дом, рассчитаться полностью с кредитором и переселиться в более скромное жилище. Человечество может выжить только при двух условиях: если будет остановлен демографический рост и если страны "золотого миллиарда" откажутся от сверхпотребления ресурсов, сядут на умеренный паек.

Предположим, следующий президент Соединенных Штатов, осознав свою ответственность, предложит конгрессу и народу своей страны вспомнить правила пуританской аскезы и сократить потребление американцами всех продуктов до уровня среднестатистического жителя Земли. Он почти наверняка будет объявлен безумцем и подвергнут импичменту. Демократия, которую мы воспринимаем как замечательное достижение XX века, грозит стать непреодолимым препятствием на пути спасения человечества, потому что она замкнута в национальных границах и поневоле становится заложницей национального эгоизма.

Значит, положение безвыходное? В общем - да, если не иметь в виду одну грустную гипотезу. Это - спасение через катастрофы. Похоже, только они могут прерывать безвольное сползание в бездну, подталкивать к спасительным действиям. Не об этом ли говорит весь опыт XX столетия?

Первая мировая война побудила создать Лигу Наций. Хотя этот опыт оказался неудачным, он не прошел даром.

Ужас, каким обернулась Вторая мировая война, был настолько силен, что руководители держав-победительниц, оставив на время идеологические предрассудки и политический эгоизм, создали международную организацию на таких надежных основаниях, что она устояла под ледяными ветрами "холодной войны" и располагает достаточным запасом прочности, чтобы послужить миру и в XXI веке.

Потрясение, испытанное во всем мире последствиями бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, сыграло решающую роль в том, что, хотя был создан огромный ядерный арсенал и проводились испытания, это оружие больше ни разу не применялось против людей. Картина отпечатавшегося на стене силуэта сожженного атомным взрывом человека делает немислимым повторение этого преступления.

Испуг, вызванный берлинским кризисом 1953 года, привел к установлению "красной линии" между Москвой и Вашингтоном, ряду предосторожностей против сбоев техники и других опасных случайностей.

В течение нескольких дней осенью 1963 года люди запасались продуктами, ожидая рокового момента, когда приближавшиеся к Кубе советские корабли будут встречены американскими бомбардировщиками. Тревога, охватившая мир, и тяжесть ответственности, испытанная лидерами двух стран, были настолько велики, что удалось в короткий срок заключить ряд соглашений, обеспечивающих безопасность в воздухе и на море, а свобода Кубе была гарантирована без ракет с ядерными боеголовками.

Понадобился Чернобыль, чтобы резко актуализировать проблему безопасности атомной энергетики. Авторитет МАГАТЭ вырос многократно. Экспертные заключения агентства оказывают серьезное влияние на перспективу поддержки или, напротив, бойкотирования мировым сообществом тех или иных атомных проектов.

Распространение СПИДа заставило с большим уважением относиться к Всемирной организации здравоохранения. Рост преступности побудил многие государства, предпочитавшие опираться на собственные силы, присоединиться к Интерполу. Учащение столкновений и аварий требует принятия более эффективных мер от международных транспортных организаций. И так далее.

Напрашивается аналогия с прививкой смертельных болезней - организм не приобретает иммунитета, пока не переболеет ими хотя бы в легкой форме. Разумеется, ничего хорошего в

том, что этот метод, искусно применяемый в медицине, становится в политике и экономике своего рода дубиной, заставляющей братья за ум. Этот, безусловно, худший метод выживания означает поражение разума. Так дикие звери убегают от пожара, если есть куда бежать. "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится" - гласит русская пословица. Ее аналоги есть наверняка во всех языках.

"Спасение через катастрофы" к тому же не панацея от всех зол, поскольку "порог прививки" с каждым разом повышается. Страх быть ввергнутыми в пучину ядерной войны после Карибского кризиса привел к разрядке международной напряженности. Но она оказалась недолговечной. Дьявол взялся за свое, выветривая страх из хилой памяти престарелых руководителей сверхдержав. Успешно запущенный общеевропейский процесс не помешал утыкать Европу, с одной стороны, ракетами СС-20, а с другой - першингами и крылатыми ракетами. Мир вновь был подведен к пропасти, и только отчаянно смелые инициативы Горбачева, встретившие после некоторых колебаний отклик у Рейгана, позволили отделаться на этот раз легким испугом.

Какие же героические усилия понадобятся в следующий раз и какой ценой будет достигнуто очередное "спасение через катастрофы"? На этот вопрос в свое время ответил Герберт Уэллс - человек, наделенный сверхъестественной проницательностью. В романе "Освобожденный мир", написанном в 1913 году, рассказывается, как великие державы, вступив в смертельную схватку, впервые применили атомное оружие (Уэллс описал "ядерный гриб" так, словно видел его собственными глазами). После того как добрая треть мира была разрушена и уничтожены сотни миллионов людей, воюющие стороны пришли в ужас и согласились остановить побоище. Представители всех государств съехались на конференцию, где было сочтено необходимым создать мировое правительство, чтобы разумно распорядиться сохранившимися ресурсами, спасти оставшихся в живых, поднять мир из развалин.

Мини-катастрофы - это своего рода запасные тормоза, встроенные в двигатель нашего мира. Они автоматически включаются, когда он несется, не разбирая дороги, к пропасти. Но даже эта уловка "конструктора" не поможет, если те, у кого в руках руль, проигнорируют последние предостережения или не смогут убедить людей в необходимости пойти на жертвы во имя спасения будущего.

Плохо, очень плохо, что мир одолевает масс-культура, что не являются на свет новые гении в литературе и искусстве. Но у нас есть хотя бы созданные до сих пор шедевры. А вот одним наследием великих лидеров прошлого не обойтись. Лидеры нужны живые.

Притом не просто правители - президенты, короли, императоры, султаны, первосвященники, партийные боссы. Тем более - не диктаторы, деспоты, тираны. Не пророки и прорицатели абсолютных истин. Не поводыри слепых. Нужны незаурядные личности, способные понять веления времени, прорвать паутину предрассудков, проложить оптимальный курс. И главное - внушить к себе доверие.

Умных людей вообще пруд пруди. Среди них, вероятно, каждый десятый имеет свою концепцию, как облагодетельствовать страну, а каждый сотый знает, что нужно для выживания человечества. Надо думать, не один из них сумел бы воплотить свои замыслы на практике. Но вот сделать свою веру всеобщей - дано только лидеру.

XX век выдвинул много выдающихся личностей - харизматических революционеров, мудрых реформаторов, благородных духовных наставников и просто талантливых администраторов. Но если бы предложили назвать одного, кто больше других отвечает сегодняшней потребности, следовало бы остановиться на Махатме Ганди. Этот человек всем набором дарованных ему от природы и приобретенных самовоспитанием качеств словно специально был сотворен для наименее болезненного, насколько возможно, решения исторической задачи, а примененный им принцип ненасилия остается единственно разумным способом продвижения в будущее мира, перенасыщенного враждой и смертоносными вооружениями. Только человек такого масштаба, такой несокрушимой воли и преданности своей идее, с таким непререкаемым авторитетом мог удерживать от разрушительного насилия

многомиллионную массу униженных и оскорбленных, отчаянно желавших вырваться на свободу людей. Удержать от разгула, бунта, бойни и привести к победе.

Существует мнение, что всякий раз, когда ход событий делал необходимым появление определенной личности, такой человек обязательно появлялся; более того, на заглавную роль находилось несколько кандидатов. Увы, если так и происходит, то далеко не всегда. История сильно изменила бы свое течение, случись кто-то другой на месте Цезаря, Наполеона, Петра Великого, в роли Ленина, Рузвельта, Черчилля, де Голля и других лидеров, оказавших наибольшее влияние на ход событий в XX столетии. Финал века, прокладывающий мост в следующее тысячелетие, связан с именем Горбачева, его новым мышлением, в центре которого - идея взаимозависимости мира и все тот же принцип ненасилия.

В разные эпохи будущее смотрится по-разному: ясным и туманным, многообещающим и мрачным. Сегодня оно выглядит тревожным. Даже если где-то впереди раскинулся благодатный оазис, путь к нему пролегает через большие испытания и труды. И ни в чем так не нуждается сейчас род людской, как в лидерах, способных провести его через пески тревожного времени.

5. Буквально всё на стыке тысячелетий тянется к соединению, консолидации, целостности. Царит оживление на строительстве Вавилонской башни. Кто только не трудился на этом поприще! Завоеватели тщились объединить географическое пространство и людскую массу мечом. Больше преуспели создатели вероучений и творцы художественных ценностей.

Особенно отличились мореплаватели и изобретатели. Но самым властным объединителем стал общий враг - нависшие над человечеством смертельные угрозы. От них не спастись иначе, как единой волей, общим разумом, согласованным действием.

Достанет ли у нашего "караула" мужества и сознания ответственности выполнить выпавшую на его долю миссию - не дать порваться связи времен в настоящем.

Ибо "...завтрашний [день] сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы" (Матфей, 6:34).

#### СТИХОТВОРНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Если я осмеливаюсь включить несколько стихотворных текстов в эту книгу, то лишь как составную часть рассказа о пережитом, индикатор настроения и самопонимания. Ведь стихи - самый благодатный материал для суждения о натуре человека. Всякий, кто их сочиняет, становится сам того не желая более искренним.

Начну с "программного" для себя стихотворения.

Рифмоплетство

Я рифмоплет, плету стихи,  
И, как ткачиха-мастерица,  
Могу сплести их из трухи,  
Из шелка, бархата и ситца.  
Могу из радости их сшить,  
Из огорченья и страданья.  
И так свой личный суд вершить  
Над очумелым мирозданьем.  
Но чувств ответных мне вовек  
Не пробудить заемной болью.  
Я чищу прошлогодний снег  
Подмоченной аэрозолью.  
Хоть удавись, от горя вой,  
Но не рожденный для полетов,  
Я - рядовой мастеровой  
В цеху миллионном рифмоплетов.  
Но иногда, вдруг озарен  
Звезды своей волшебным светом,

Я слышу колокольный звон  
И чувствую себя поэтом.  
Я этот дар ловить спешу,  
Ниспосланный мне небесами,  
Я не рифмую - я пишу,  
Слова ложатся в рифму сами.  
И сам родится их узор,  
Их музыкальное звучанье,  
Как задушевный разговор  
И как сердечное признание.  
Так водит Сон моей рукой,  
Мой старый, добрый, щедрый гений,  
Ведь без него напев такой  
Я б не придумал, без сомненья.  
И разве мне сложить с утра  
Вот этот стих, скажи на милость,  
Когда бы ты еще вчера  
Мне спозаранку не приснилась?

\* \* \*

Миг озаренья миновал,  
И, возвратясь к земным заботам,  
Я опускаюсь в общий зал  
К своим собратьям рифмоплетам.  
Непорядковая страна  
Народ велик, страна убога,  
История ее страшна.  
Но не судите слишком строго,  
Еще не кончена она.  
Не завершен ни счет потерям,  
Ни перечень ее побед,  
И на вопрос о нашей вере  
Мы ищем все еще ответ.  
Глядимся в будущее смело,  
Не ценим в прошлом ничего,  
А на проклятое "Что делать?"  
Мы отвечаем: "Кто кого?"  
Дух мстительный всегда живет в нас.  
Когда наш дом огнем объят,  
Наш первый клич не "Кто спасет нас?!"  
А хмурое: "Кто виноват?!"  
Где наш позор, где наша слава,  
Не разобраться нам, увы,  
И наши правые неправы,  
И наши левые нелевы,  
И в центре тоже ведь не львы.  
Мускулатурой мы богаты  
И в драке не ударим в грязь.  
Кулак заносит брат на брата,  
Сын на отца, на князя князь.  
И умники у нас не в моде,  
И каждый на соседа зол.  
Мы поклоняемся свободе,



А обожаем произвол.  
Царей, генсеков, президентов  
Мы любим только первый год.  
Потом клянем и ждем момента,  
Когда бы их пустить в расход.  
Перевороты и реформы  
У нас особо хороши.  
Реформы - больше для проформы,  
Перевороты - для души.  
Мы любим выпить - что за диво!  
Но ведь и здесь все та же прыть:  
То запиваем водку пивом,  
То вовсе возбуждаем пить.  
Порядок строго нам заказан,  
Хотя и конституций тьма.  
Мы все их нарушаем разом,  
То ль без ума, то ль от ума.  
Так все у нас не по ранжиру.  
Но не до жиру,  
Быть бы живу.  
Сначала пустим себе кровь,  
А там, глядишь, воспрянем вновь.  
И ринемся за новой славой  
В зияющий водоворот...  
О, Господи, уйми Державу  
И помоги спасти Народ!  
Ты только вразуми. Мы сами  
Спасем ее - на всех одну  
Свою, омытую слезами,  
Дарованную небесами,  
Непобежденную врагами,  
Непорядковую страну.  
Политическая география  
Богатство наше высшей пробы  
Лица многообразие.  
Когда нам надо, мы Европа,  
Когда не надо - Азия.  
Взлетаем в космос, как с трапеции,  
Танцуем всем на диво,  
Но жить хотели бы, как Швеция,  
А тянем - на Мальдивы.  
Страна бескрайняя и грозная,  
Посмей-ка только, тронь ее!  
И все же, если по-серьезному,  
Завидуем Японии.  
Ни с кем не связаны мы узами,  
Не ладим с эсэнгэвцами,  
Дружить нам по душе с французами,  
Торгуем больше с немцами.  
Но не к лицу нам сеять панику  
Или впадать в истерику.  
Даст Бог, догнать сумеем Африку

И перегнуть Америку.  
Проклятые вопросы  
Кто виноват, мы ищем,  
Врагов находим много,  
Не одного, а тыщи...  
И отпускаем с Богом.  
Что делать, мы гадаем,  
Гонимые злым роком.  
Разинув рты, внимаем  
Лукавым лжепророкам.  
А между тем не сложны  
Проклятые вопросы.  
На них ответить можно  
При помощи опросов.  
Кто виноват? Все дружно  
Укажут на Чубайса.  
Повесить, скажут, нужно  
Мошенника за шею.  
Что делать? Тоже ясно.  
Народ ответит смело,  
Что власти ежечасно  
Должны хоть что-то делать.  
А не хотят - так гнать их  
Ко всем чертям, не ближе.  
Сурово наказать их  
Пушай живут в Париже.  
Вслед обложить их, братцы,  
Со всей свободой слова.  
Затем же постараться  
Избрать таких же снова.  
Признание Москве  
Люблю Москву от А до Я,  
Бульвары, площади и парки  
От Самотеки до Кремля  
И от Таганки до Варварки.  
Я не московский "коренник".  
Скитаясь в поисках удачи,  
Я к ней пожизненно приник  
И не могу теперь иначе.  
Век благодарен я тому,  
Что мне пришлось - по малой мерке  
Оборонять Москву в Крыму,  
В Херсоне, Минске, Кенигсберге.  
А по окраинам ее  
Бродил я не столичным франтом,  
Одетым в старое тряпье  
Полуголодным аспирантом.  
Экватор целый отшагал  
По улицам ее центральным,  
Благоговейно замирал  
Под каждым знаком поминальным.  
Здесь жил Некрасов, там Толстой,

Тут умер Фет, родился Герцен,  
А в монастырской башне той  
Огнем пытали страстотерпцев.  
И, на Ваганьковском бродя,  
Снимая шляпу с умилением,  
Шептал, к Сергею подойдя,  
"Спасибо, дорогой Есенин!"  
А возложивши свой букет,  
Я вслух, при всем честном народе,  
Кричал Высоцкому: "Привет!"  
(Бывал в гостях у нас Володя.)  
С Москвою легче мне в беду,  
В судьбы суровые моменты.  
Когда мне плохо, я иду  
За утешеньем к монументам.  
Стою, застыв, как часовой,  
Я перед Пушкиным, который,  
Поникнув гордой головой,  
Глядит на нас с немым укором.  
Ты прав, поэт, пора уж нам  
Перед Москвою повиниться.  
Хоть нет доверия к слезам,  
Поплачем вместе со столицей.  
Не успокоюсь я, пока  
С души своей не сброшу груза.  
Да, мы остались в дураках,  
Не сберегли тебе Союза.  
Не быть тебе уж "Третьим Римом".  
Но не печалуйся, как знать,  
Святым угодником хранима,  
Ты ведь и Пятым можешь стать.  
В старинных храмах и дворцах  
Мелькают царственные тени.  
Здесь Грозный каялся в грехах,  
Там просвещал рабочих Ленин.  
Не чужд политике и я,  
Мотался в коридорах власти.  
Там вдосталь грязи и вранья,  
Избави Бог от сей напасти.  
Пустились "новые" в загул,  
Притихли "старые" в отчаянье.  
Как Бах, звучит, Москва, твой гул,  
И как Шопен - твое молчанье.  
Мороз. Мерцают фонари.  
Проносятся автомобили.  
Дождусь ли новой я зари?  
Мы были или мы не были?

\* \* \*

Люблю Москву от А до Я.  
Любил всегда, люблю поныне...  
Но лишь с тобой,  
А без тебя

Она безмолвна, как пустыня.  
Куда мир движется  
Куда мир движется, к чему,  
И кто его толкает в спину?  
Пока загадки не пойму,  
Я эту землю не покину.  
Перечитал тьму мудрых книг  
От Аристотеля до Маркса,  
Нашел ответ... и сразу сник:  
Увы, его закрыла клякса.  
Пришлось трудиться самому.  
Всю жизнь провел я в размышленье  
И наконец - хвала уму!  
Пришло искомое решение.  
Куда мы движемся? Туда,  
Откуда больше нет возврата.  
Что нами движет? Суета  
И любопытство виноваты.  
Ну и последнее: зачем?  
Не может мир остановиться.  
Мы вечно движемся затем,  
Чтоб ухватить крыло жар-птицы.  
О смысле бытия  
Терзался я над смыслом бытия,  
И есть ли Бог, и где его обитель,  
А если есть - кто в этой драме я,  
Герой, статист или случайный зритель?  
Полжизни прожил и миллион дорог  
Я отшагал, пока не осенило:  
Я человек, в моей душе есть Бог  
И в ней же место для нечистой силы.  
Я человек - я мал и я велик,  
Богат и беден, пусть в неравной мере.  
Правдив и лжив мой ум и мой язык,  
Я Пушкин и Дантес,  
Я Моцарт и Сальери.  
Я человек - не дрогнув, я умру  
За истину, за Родину, за веру.  
Я человек - не дрогнув, я убью  
За золото, за землю, за химеру.  
А уж потом пойму, что суетой  
Я был по неразумию охвачен,  
И истине служил совсем не той,  
И участи иной я предназначен.  
Искать не надо смысла бытия,  
Его там нет. Есть самое простое:  
Одна любовь чего-то в мире стоит,  
Одна любовь, и значит - ты да я.  
Как полагается каждому стихотворцу, независимо от того, относится он к семье поэтов  
или клану рифмоплетов, я обязан был сочинить себе эпитафию.  
Такой, как все, но чуточку другой,  
Я чуточку не унесу с собой.

Ведь чуточка - надеюсь, так случится!  
Хоть чуточку кому-то пригодится.